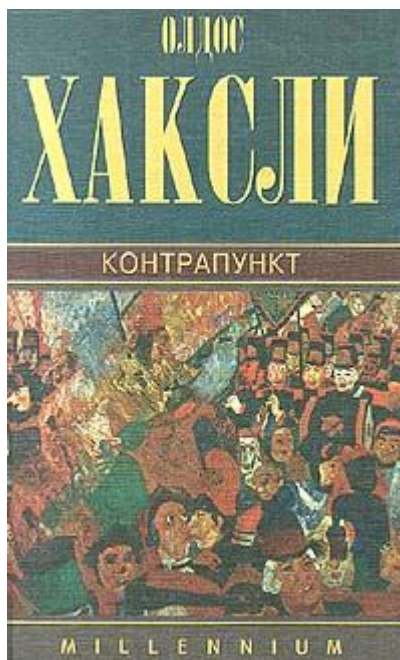


Олдос Хаксли Контрапункт



«Олдос Хаксли. Контрапункт»: Амфора; СПб.; 1999
ISBN 5-8301-0008-8

Аннотация

Полное отсутствие того, что эти странные нормальные люди называют «сюжетом». «Контрапункт» — роман идей. Разных идей — от классификации женщин до совершенно бредовых или совершенно гениальных. Почти каждый герой считает своим долгом изъяснить свою идею, но роман он этого не принимает вид искусственный или натянутый — хотя бы потому, что герои не несут в массы проповедуемые идеи, взяв топор, подобно Раскольникову, а поступают, как нормальные люди. То есть живут, заводят любовниц и любовников, жрут, спят и умирают; по пути высказывая свои идеи в качестве забавного анекдота, либо в качестве пространных сытых измышлений о судьбах цивилизации либо в качестве внутренних монологов.

Олдос Хаксли Контрапункт

*О, как удел твой жалок, человек! —
Одним законом сотворён, в другой — закован:
Зачат в грехе — но презираешь грех,
Рождён больным — но тщишься быть здоровым!
И как Природа все смешала жутко —
Веленья страсти с прихотью рассудка!*
Фулк Гревилл¹

¹ Эпиграф взят из трагедии «Мустафа» (1609 г.) (акт V, сц. 6) английского поэта Фулка Гревилла (1554-1628) (перевод К.Н. Атаровой).

— Ты вернёшься не поздно? — В голосе Марджори Карлинг слышалось беспокойство, слышалось что-то похожее на мольбу.

— Нет, не поздно, — сказал Уолтер, с огорчением и с чувством вины сознавая, что он лжёт. Её голос раздражал его. Она растягивала слова, у неё было слишком изысканное произношение, даже когда она волновалась.

— Не позже двенадцати. — Она могла бы напомнить ему о том времени, когда он ходил в гости с ней. Она могла бы это сделать, но она этого не сделала: это было против её принципов, она не хотела навязывать свою любовь.

— Ну, скажем, в час. Ты сама знаешь, с этих вечеров раньше не уйдёшь.

Но она этого не знала по той простой причине, что её на эти вечера не приглашали, так как она не была законной женой Уолтера Бидлэйка. Она ушла к нему от мужа, а Карлинг был примерным христианином и, кроме того, немного садистом и поэтому отказывался дать ей развод. Уже два года они жили вместе. Всего два года; и он уже перестал любить её, он полюбил другую. Грех потерял своё единственное оправдание, двусмысленное положение в обществе — свою единственную компенсацию. А она ждала ребёнка.

— В половине первого, Уолтер, — умоляла она, отлично зная, что её назойливость только раздражает его и заставляет его любить её ещё меньше. Но она не могла не говорить: её любовь к нему была слишком сильной, её ревность — слишком жгучей. Слова вырывались у неё сами собой, этому не могли помешать никакие принципы. Было бы лучше для неё, а может быть, и для Уолтера, если бы у неё было меньше принципов и если бы она была менее сдержанна в выражении своих чувств. Но с детства её приучили владеть собой. По её мнению, только невоспитанные люди «устраивают сцены». Умоляющее «в половине первого, Уолтер» было все, что могло пробиться сквозь её принципы. Слишком слабый, чтобы тронуть Уолтера, этот взрыв чувств мог вызвать в нем только раздражение. Она это знала и все-таки не могла заставить себя молчать.

— Если мне удастся. — (Ну вот: готово. В его голосе слышалось раздражение.) — Но я не могу обещать, не жди меня. — Потому что, думал он (образ Люси Тэнтмаунт неотступно его преследовал), конечно, он не вернётся в половине первого.

Он поправил белый галстук. В зеркале он увидел её лицо рядом со своим. Бледное лицо и такое худое, что в тусклом свете электрической лампочки щеки казались ввалившимися от глубоких теней, отбрасываемых скулами. Вокруг глаз были тёмные круги. Её прямой нос, даже в лучшие времена казавшийся слишком длинным, выступал над худым лицом. Она стала некрасивой, она выглядела утомлённой и больной. Через шесть месяцев у неё родится ребёнок. То, что было отдельной клеткой, группой клеток, кусочком тканей, чем-то вроде червя, потенциальной рыбой с жабрами, шевелилось внутри её и готовилось стать человеком — взрослым человеком, страдающим и наслаждающимся, любящим и ненавидящим, мыслящим, знающим. То, что было студенистым комком внутри её тела, придумает себе бога и будет поклоняться ему; то, что было чем-то вроде рыбы, будет творить и, сотворив, станет полем брани между добром и злом; то, что жило в ней бессознательной жизнью паразитического червя, будет смотреть на звезды, будет слушать музыку, будет читать стихи. Вещь станет индивидом, крошечный комок материи станет человеческим телом с человеческим сознанием. Поразительный процесс созидания происходил внутри её; но Марджори ощущала только тошноту и усталость. Для неё вся эта тайна сводилась к тому, что она подурнела и находилась в постоянной тревоге за своё будущее; физическое недомогание, к которому прибавлялось нравственное беспокойство. Когда она впервые поняла, что беременна, она обрадовалась, несмотря на преследовавший её страх неприятных последствий для её тела и общественного положения. Она надеялась, что ребёнок вернёт ей Уолтера, который уже тогда начал отходить от неё, ребёнок возбудит в нем те чувства, которых не хватало его любви, чтобы быть полной. Она боялась физических страданий и

неизбежных трудностей. Но ради того, чтобы усилить привязанность Уолтера, стоило пойти на все страдания, на все трудности. Несмотря ни на что, она была довольна. Сначала казалось, что её надежды оправдались. Узнав, что она ожидает ребёнка, он стал относиться к ней с большей нежностью. Две-три недели она была счастлива, она примирилась со страданиями и неудобствами. Но очень скоро все изменилось: Уолтер встретил ту женщину. В те часы, когда он не ухаживал за Люси, он старался быть как можно более заботливым, но она понимала, что за этой заботливостью скрывается недовольство, что он нежен и внимателен из чувства долга и что он ненавидит ребёнка, который заставляет его считаться с матерью. Его ненависть к ребёнку передалась и ей. Ощущение блаженства исчезло, остался только страх. Страдания и неудобства — вот что сулило ей будущее. А пока что — дурнота, усталость, физическое безобразие. Как может она в этом состоянии отстаивать свою любовь?

— Ты любишь меня, Уолтер? — вдруг спросила она.

Уолтер на мгновение перевёл взгляд своих карих глаз с отражения галстука на отражение её грустных серых глаз, напряжённо смотревших на него. Он улыбнулся. «Если бы она только оставила меня в покое!» — подумал он. Он сжал губы и снова раздвинул их, имитируя поцелуй. Но Марджори не ответила ему улыбкой. Её лицо осталось по-прежнему грустным и беспокойным. Её глаза заблестели, и на её ресницах неожиданно выступили слезы.

— А ты не остался бы сегодня вечером со мной? — попросила она, забывая о своём героическом решении никогда не взывать к его любви и не заставлять его делать ничего против воли.

Вид её слез, звук её взволнованного, упрекающего голоса наполнил Уолтера смешанным чувством злобы, жалости и стыда.

«Неужели ты не понимаешь, — хотелось ему сказать, но у него не хватило мужества сказать это, — неужели ты не понимаешь, что теперь не так, как было прежде, что теперь не может быть так, как было прежде? А если говорить правду, прежде тоже никогда не было так: я только делал вид, но на самом деле я никогда не любил тебя по-настоящему. Будем друзьями, будем товарищами, мне приятно с тобой, я прекрасно отношусь к тебе. Но, Бога ради, не пичкай меня своей любовью, не насилуй меня. Если бы ты знала, как отвратительна чужая любовь, когда сам не любишь, каким насилием, каким оскорблением она кажется».

Но она плакала. Слезы катились по капле из-под опущенных век. Лицо дрожало и расплывалось в страдальческой гримасе. А он её мучает. Он ненавидел себя. «Какое она имеет право шантажировать меня своими слезами?» При этом вопросе он сам начинал ненавидеть её. Слеза катилась по её длинному носу.

«Она не имеет права так поступать, не имеет права. Почему она не может вести себя разумно? Потому что она любит меня».

«Но я не хочу её любви, не хочу. — Раздражение его усиливалось. — Она не имеет права так себя вести, во всяком случае теперь. Это шантаж, — повторял он про себя, — шантаж. Какое она имеет право шантажировать меня своей любовью или тем, что я когда-то тоже любил её! Да и любил ли я её когда-нибудь?»

Марджори достала платок и принялась вытирать глаза. Ему было стыдно своих гнусных мыслей. Но причиной стыда была она: это была её ошибка. Ей не следовало бросать мужа. Они отлично могли бы устроиться. Послеобеденные часы у него в мастерской. Это было бы так романтично.

«Но ведь я сам потребовал, чтобы она ушла от мужа».

«Но она должна была понять и отказаться. Она должна была понять, что моя любовь не может продолжаться вечно».

Но она поступила так, как хотел он: ради него она отказалась от всего, согласилась на двусмысленное положение в обществе. Тоже шантаж. Она шантажировала его своими жертвами. Он возмущался тем, что своими жертвами она взывала к его порядочности и чувству долга.

«Но если б у неё самой была порядочность и чувство долга, — думал он, — она не

стала бы требовать их от меня».

Но она ждала ребёнка.

«Неужели она не могла сделать так, чтобы его не было?»

Он ненавидел ребёнка. Из-за этого ребёнка он чувствовал себя ещё более ответственным перед его матерью, ещё более виноватым, когда причинял ей страдания. Он смотрел, как она вытирает мокрое от слез лицо. Беременность обезобразила и состарила её. На что она вообще рассчитывала? Но нет, нет, нет! Уолтер закрыл глаза и сделал чуть заметное судорожное движение головой. Эту подлую мысль нужно раздавить, уничтожить.

«Как могут такие мысли приходить мне в голову?» — спросил он себя.

— Не уходи, — повторила она. Её утончённый выговор, манера растягивать слова, высокий голос действовали ему на нервы. — Прошу тебя, не уходи, Уолтер!

В её голосе слышалось рыдание. Снова шантаж. Господи, как мог он дойти до такой низости? И все-таки, несмотря на стыд, а может быть, даже благодаря ему, постыдное чувство все усиливалось. Отвращение к ней усиливалось, потому что он стыдился его; болезненное ощущение стыда и ненависти к самому себе, которое Марджори вызывала в нем, порождало в свою очередь отвращение. Негодование порождало стыд, а стыд в свою очередь усиливал негодование.

«О, почему она не может оставить меня в покое?» Он страстно, напряжённо желал этого, тем более страстно, что сам он подавлял в себе это желание. (Ибо он не смел его проявить; он жалел её, он хорошо относился к ней, несмотря ни на что; он неспособен был на откровенную, неприкрытую жестокость — он был жесток только от слабости, против своей собственной воли.)

«Почему она не оставит меня в покое?» Он любил бы её гораздо больше, если бы она оставила его в покое; и она сама была бы гораздо счастливее. Во много раз счастливее. Ей же было бы лучше... Тут ему вдруг стало ясно, что он лицемерит. «И все-таки, какого дьявола она не даёт мне делать то, чего я хочу?»

Чего он хотел? Но хотел-то он Люси Тэнтамаунт. Он хотел её вопреки рассудку, вопреки всем своим идеалам и принципам, неудержимо, вопреки своим собственным стремлениям, даже вопреки своему чувству, потому что он не любил Люси; мало того, он ненавидел её. Благородная цель оправдывает постыдные средства. Ну а если цель постыдна, тогда как? Ради Люси он причинял страдания Марджори, которая его любила, которая все принесла ему в жертву, которая была несчастлива. Но и своим несчастьем она шантажировала его.

Одна часть его «я» присоединилась к её мольбам и склоняла его к тому, чтобы не поехать на вечер и остаться дома. Но другая часть была сильнее. Он ответил ложью — наполовину ложью, в которой была лицемерно оправдывавшая его доля истины; это было хуже, чем неприкрытая ложь.

Он обнял её за талию. Само это движение было ложью.

— Но, дорогая, — возразил он ласковым тоном взрослого, который уговаривает ребёнка вести себя как следует, — мне необходимо быть там. Знаешь, там ведь будет отец. — Это была правда: старый Бидлэйк всегда присутствовал на вечерах у Тэнтамаунтов. — Мне необходимо переговорить с ним. О делах, — добавил он неопределённо и внушительно: эти магические слова должны были поставить между ним и Марджори дымовую завесу мужских интересов. Но, подумал он, ложь все равно просвечивает сквозь дым.

— А ты не мог бы встретиться с ним в другое время?

— Это очень важное дело, — ответил он, качая головой. — А кроме того, — добавил он, забывая, что несколько оправданий всегда менее убедительны, чем одно, — леди Эдвард специально для меня пригласила одного американского издателя. Он может оказаться полезным; ты знаешь, какие бешеные деньги они платят. Леди Эдвард сказала, что она с удовольствием пригласила бы издателя, но тот, кажется, уехал обратно в Америку. У них неслыханные гонорары, — продолжал он, сгущая дымовую завесу шутливыми

замечаниями. — Это единственная страна в мире, где писателям иногда переплачивают. — Он сделал попытку рассмеяться. — А не мешало бы, чтобы мне где-нибудь переплатили как возмещение за все эти бесчисленные заказы по две гиней за тысячу слов. — Он крепче сжал её в объятиях, наклонился поцеловать её. Но Марджори отвернулась. — Марджори, — умолял он, — не плачь. Не надо. — Он чувствовал себя виноватым и несчастным. Но, Господи, почему она не оставляет его в покое?

— Я не плачу, — ответила она. Щека, к которой он прикоснулся губами, была влажная и холодная.

— Марджори, если ты не хочешь, я не пойду.

— Я хочу, чтобы ты пошёл, — ответила она, все ещё не глядя на него.

— Ты не хочешь. Я останусь.

— Нет, не оставайся. — Марджори посмотрела на него и заставила себя улыбнуться. — Это просто глупо с моей стороны. Было бы нелепо не повидаться с отцом и с этим американцем.

В её устах его собственные доводы казались ему бессмысленными и неправдоподобными. Он содрогнулся от отвращения.

— Подождут, — ответил он, и в его голосе прозвучала злоба. Он злился на самого себя за ложь (почему он не сказал ей всю правду, не скрывая, не прикрашивая? Она ведь все равно знала), и он злился на неё за то, что она напоминала ему о лжи. Ему хотелось, чтобы ложь была забыта, чтобы было так, словно он и не произносил её никогда.

— Нет, нет, я требую. Это было глупо с моей стороны. Прости меня.

Теперь он сопротивлялся, отказывался уходить, просил разрешения остаться. Теперь, когда опасность миновала, он мог позволить себе поломаться. Потому что Марджори — это было ясно — твёрдо решила, что он должен идти. Ему представлялась возможность проявить благородство и принести жертву по дешёвке, даже задарма. Какая гнусная комедия! Но он играл её. В конце концов он согласился уйти, как будто этим он делал ей одолжение. Марджори надела ему на шею кашне, подала цилиндр и перчатки, поцеловала его на прощание, мужественно стараясь казаться весёлой. У неё была своя гордость и свой кодекс любовной чести; и, несмотря на страдания, несмотря на ревность, она держалась за свои принципы: он должен быть свободным, она не имеет права вмешиваться в его жизнь. К тому же самое разумное — это не вмешиваться. По крайней мере ей казалось, что это самое разумное.

Уолтер закрыл за собой дверь и вышел в прохладную ночь. Преступник, бегущий от места преступления, бегущий от вида жертвы, бегущий от жалости и раскаяния, не чувствовал бы большего облегчения. Выйдя на улицу, он глубоко вздохнул: он свободен, он может не вспоминать о том, что было, не думать о том, что будет. Может в течение одного или двух часов жить так, словно нет ни прошлого, ни будущего. Может жить настоящей минутой и только там, где в эту минуту находится его тело. Свободен! Но это было пустое хвастовство: забыть он не мог. Бежать не так легко. Её голос преследовал его. «Я требую, чтобы ты пошёл». Его преступление было не только убийством, но ещё и мошенничеством. «Я требую». Как благородно он отказывался! Как великодушно согласился под конец! Шулерство венчало собой жестокость.

— Господи! — сказал он почти вслух. — Как я мог? — Он чувствовал к самому себе отвращение, смешанное с удивлением. — Но зачем она не оставляет меня в покое! — продолжал он. — Почему она не ведёт себя разумно? — Бессильная злоба снова охватила его.

Он вспомнил то время, когда он желал совершенно иного. Больше всего ему хотелось, чтобы она не оставляла его в покое. Он сам поощрял её преданность. Он вспомнил коттедж, где они прожили несколько месяцев в полном уединении, среди голых меловых холмов. Какой вид на Беркшир! Но ближайшая деревня отстояла за полторы мили. Как тяжела была сумка с провизией! Какая грязь, когда шёл дождь! И воду приходилось таскать из колодца глубиной в добрых сто футов. Но даже тогда, когда он не был занят чем-нибудь

утомительным, было ли ему хорошо? Был ли он когда-нибудь счастлив с Марджори — по крайней мере настолько счастлив, насколько должен был бы быть? Он ожидал, что это будет похоже на «Эпипсихидион»², — это не было похоже, может быть, потому, что он слишком сознательно стремился к этому, слишком старался сделать свои чувства и свою жизнь с Марджори похожими на поэму Шелли.

— Искусство нельзя принимать слишком буквально. — Он вспомнил, что сказал муж его сестры, Филип Куорлз, когда они однажды вечером разговаривали о поэзии. — Особенно когда речь идёт о любви.

— Даже если искусство правдиво? — спросил Уолтер.

— Оно может оказаться слишком правдивым. Без примесей. Как дистиллированная вода. Когда истина есть только истина и ничего больше, она противоестественна, она становится абстракцией, которой не соответствует ничто реальное. В природе к существенному всегда примешивается сколько-то несущественного. Искусство воздействует на нас именно благодаря тому, что оно очищено от всех несущественных мелочей подлинной жизни. Ни одна оргия не бывает такой захватывающей, как порнографический роман. У Пьера Луиса³ все девушки молоды и безупречно сложены; ничто не мешает наслаждаться: ни икота или дурной запах изо рта, ни усталость или скука, ни внезапное воспоминание о неоплаченном счёте или о ненаписанном деловом письме. Все ощущения, мысли и чувства, которые мы получаем от произведения искусства, чисты — химически чисты, — добавил он со смехом, — а не моральные.

— Но «Эпипсихидион» — не порнография, — возразил Уолтер.

— Конечно, но он тоже химически чист. Вы помните этот сонет Шекспира:

Её глаза на солнце не похожи⁴,
Коралл краснее, чем её уста,
Снег с грудью милой — не одно и то же,
Из чёрных проволок её коса.
Есть много роз пунцовых, белых, красных,
Но я не вижу их в её чертах.
Хоть благовоний много есть прекрасных,
Увы, но только не в её устах.

И так далее. Он понимал поэзию слишком буквально, и это — реакция. Пусть это будет предупреждением для вас.

Разумеется, Филип был прав. Месяцы, проведённые в коттедже, не были похожи ни на «Эпипсихидион», ни на «Maison du berger»⁵. Чего стоили хотя бы колодец и прогулки в деревню!.. Но даже если бы не было колодца и прогулок, даже если бы у него была одна Марджори без всяких примесей — стало ли бы от этого лучше? Вероятно, только хуже. Марджори без примесей была бы ещё хуже, чем Марджори на фоне житейских мелочей.

² Поэма Перси Биши Шелли (1792-1822) «Эпипсихидион: стихи, обращённые к благородной и несчастной даме Эмилии В***, в настоящее время заключённой в монастырь***», воспевающая идеальную любовь. Слово «эпипсихидион» сочинено на греческий манер самим Шелли и означает «гармония душ».

³ Луис, Пьер (1870-1925) — французский писатель, близкий к символистам, автор ряда эротических романов («Афродита» и др.).

⁴ У. Шекспир, сонет СXXX (перевод М. Чайковского).

⁵ «Пастушеский дом» (фр.) — поэма французского поэта-романтика Альфреда де Виньи (1797-1863). Простая и прекрасная жизнь на лоне природы противопоставляется в ней испорченности современной цивилизации.

Взять, например, её утончённость, её холодную добродетель, такую бескровную и одухотворённую; теоретически и на большом расстоянии он восхищался ими. Но практически, вблизи от себя? Он влюбился в её добродетель, в её утончённую, культурную, бескровную одухотворённость; а кроме того, она была несчастна: Карлинг был невыносим. Жалость превратила Уолтера в странствующего рыцаря. Ему казалось тогда (ему было в то время двадцать два года, он был чист страстной чистотой подростка, привыкшего сублимировать свои сексуальные стремления. Он только что окончил Оксфордский университет и был начинён стихами и сложными построениями философов и мистиков), ему казалось, что любовь — это разговоры, что любовь — это духовное общение. Такова истинная любовь. Сексуальная жизнь — это лишь одна из житейских мелочей, неизбежная, потому что человеческие существа, к сожалению, обладают телами; но считаться с ней нужно как можно меньше. Страстно чистый и привыкший претворять свою страстность в серафическую духовность, он восторгался утончённой и спокойной чистотой, которая у Марджори происходила от врождённой холодности и пониженной жизнеспособности.

— Вы такая хорошая, — говорил он, — вам это даётся так легко. Мне хочется стать таким же хорошим, как вы.

Это желание было равносильно желанию стать полумёртвым; но тогда он не осознавал этого. Под оболочкой робости, застенчивости и тонкой чувствительности в нем скрывалась страстная жажда жизни. Ему действительно стоило большого труда сделаться таким же хорошим, как Марджори. Но он старался. И он восторгался её добротой и чистотой. И её преданность трогала его — по крайней мере до тех пор, пока она не начала утомлять и раздражать его, — а её обожание льстило ему.

Шагая к станции Чок-Фарм, он вдруг вспомнил рассказ отца о разговоре с каким-то шофёром-итальянцем о любви. (У старика был особый дар вызывать людей на разговор, всяких людей, даже слуг, даже рабочих. Уолтер всегда завидовал ему в этом.) По теории шофёра, некоторые женщины похожи на гардеробы. Sono come i cassetoni⁶. С каким вкусом старый Бидлэйк рассказывал этот анекдот! Они могут быть очень красивы; но какой толк — обнимать красивый гардероб? Какой в этом толк? (А Марджори, подумал Уолтер, даже не очень красива.) «Нет, уж лучше женщины другого сорта, — говорил шофёр, — будь они трижды уроды. Вот моя девочка, — признался он, — та совсем другого сорта. E un frullino, proprio un frullino⁷ — настоящая взбивалочка для яиц». И старик подмигивал, как весёлый порочный сатир. Чопорный гардероб или бойкая взбивалочка? Уолтер должен был признать, что у него такие же вкусы, как у шофёра. Во всяком случае, он по личному опыту знал, что, когда «истинная любовь» снисходила до «мелочей» сексуальной жизни, ему не очень нравились женщины «гардеробного» сорта. Теоретически, на расстоянии, чистота и доброта и утончённая одухотворённость достойны восхищения. Но на практике, вблизи, они гораздо менее привлекательны. А когда женщина непривлекательна, её преданность и лесть и обожание становятся невыносимыми. Не отдавая себе отчёта, он одновременно ненавидел Марджори за её терпеливую холодность великомученицы и презирал себя за свою животную чувственность. Его любовь к Люси была безудержной и бесстыдной, но Марджори была бескровна и безжизненна. Он одновременно оправдывал себя и осуждал. И все-таки больше осуждал. Его чувственные желания низменны; они неблагородны. Взбивалочка и комод — что может быть омерзительней и подлей подобной классификации? Мысленно он услышал сочный, чувственный смех отца. Ужасно! Вся сознательная жизнь Уолтера протекала под знаком борьбы с отцом, с его весёлой, беспечной чувственностью. Сознательно он всегда был на стороне матери, на стороне чистоты, утончённости, на стороне духа. Но кровь его была по крайней мере наполовину отцовской. А теперь два года жизни с Марджори

⁶ Они как гардеробы (ит.).

⁷ Она взбивалочка, настоящая взбивалочка (ит.).

воспитали в нем активную ненависть к холодной добродетели. Он возненавидел добродетель, но одновременно стыдился своей ненависти, стыдился того, что он называл своими скотскими, чувственными желаниями, стыдился своей любви к Люси. Ах, если бы только Марджори оставила его в покое! Если бы она перестала требовать ответа на свою нежеланную любовь, которую она упорно навязывала ему! Если бы она перестала быть такой ужасающе преданной! Он мог бы остаться её другом: ведь он прекрасно относится к ней за её доброту, нежность, верность, преданность. Ему было бы очень приятно, если бы она платила ему за дружбу дружбой. Но её любовь вызывала в нем тошноту. А когда она, воображая, что борется с другими женщинами их же оружием, насильовала свою добродетельную холодность и пыталась вернуть его любовь страстными ласками, тогда она становилась просто ужасна.

А кроме того, продолжал размышлять Уолтер, её тяжёлая, лишённая тонкости серьёзность просто скучна. Несмотря на всю свою культурность, а может быть, именно благодаря ей Марджори была туповата. Конечно, ей нельзя было отказать в культурности: она читала книги, она запоминала их. Но понимала ли она их? Была ли она способна их понять? Замечания, которыми она прерывала свои долгие-долгие молчания, культурные, серьёзные замечания, — как тяжеловесны они были, как мало в них было юмора и подлинного понимания! С её стороны было очень разумно, что она по большей части молчала. В молчании заключено столько же потенциальной мудрости и остроумия, сколько гениальных статуй — в неотёсанной глыбе мрамора. Молчаливый не свидетельствует против себя. Марджори в совершенстве владела искусством сочувственного слушания. А когда она нарушала молчание, её реплики состояли наполовину из цитат. У Марджори была прекрасная память и привычка заучивать наизусть глубокие мысли и пышные фразы. Уолтер не сразу обнаружил, что за её молчанием и цитатами скрывается беспомощность мысли и тупость. А когда он обнаружил, было слишком поздно.

Он подумал о Карлинге. Пьяница и верующий. Вечно твердящий о церковных одеяниях, о святых и непорочном зачатии — а сам мерзкий пьяный извращенец. Не будь он так отвратителен, не будь Марджори так несчастна — что тогда? Уолтер представил себя свободным. Он не пожалел бы, он не полюбил бы. Он вспомнил красные распухшие глаза Марджори после одной из тех отвратительных сцен, которые ей устраивал Карлинг. Грязная скотина!

«Ну, а я-то кто?» — подумал он.

Он знал, что, как только за ним закрылась дверь, Марджори дала волю слезам. У Карлинга было хоть то оправдание, что он пил. Прости им, ибо не ведают, что творят ⁸. Но сам он был всегда трезв. Он знал, что сейчас Марджори плачет.

«Я должен вернуться», — сказал он себе. Но вместо этого он ускорил шаги, он почти побежал вперёд. Это было бегство от своей совести и в то же время неудержимое стремление навстречу желанию.

«Я должен вернуться, я должен вернуться».

Он торопливо шёл дальше, ненавидя её за то, что причинял ей боль.

Когда он проходил мимо табачной лавки, человек, стоявший у витрины, неожиданно сделал шаг назад. Уолтер со всего размаха налетел на него.

— Простите, — машинально сказал он и, не оглядываясь, пошёл дальше.

— Чего толкаетесь? — услышал он позади себя злобный окрик. — Надо смотреть, куда идёшь. С цепи сорвался, что ли?

Двое уличных мальчишек поддержали его яростным улюлюканьем.

— А тоже, в цилиндре! — продолжал обиженный с презрительной ненавистью к джентльмену в полном параде.

Следовало бы обернуться и дать сдачи этому типу. Его отец уничтожил бы его одним

⁸ Евангелие от Луки, 23:34.

словом. Но Уолтер умел только спастись бегством. Он побаивался таких столкновений и предпочитал не связываться с «низами». Ругань потерялась в отдалении.

Какая гадость! Его передёрнуло. Мысли вернулись к Марджори.

«Почему она не может вести себя разумно? — говорил он себе. — Просто разумно. Если бы у неё было хоть какое-нибудь дело, чтонибудь такое, что занимало бы её!»

Все несчастье Марджори в том, что у неё слишком много свободного времени. Ей не о чем думать, кроме как о нем. Но ведь в этом виноват он сам: он сам отнял у неё все занятия и лишил её возможности думать о чем бы то ни было, кроме него. Когда он познакомился с ней, она состояла членом артели художественного труда — одной из чрезвычайно приличных любительских художественных мастерских в Кенсингтоне. Абажуры и общество разрисовывавших абажуры молодых женщин и — самое главное — обожание, которым они окружали миссис Коль, председательницу артели, утешали Марджори в её несчастном замужестве. Она создала свой собственный мирок, независимый от Карлинга, — женский мирок, чем-то похожий на пансион для девиц, где можно было болтать о платьях и магазинах, сплетничать, «обожать» миссис Коль, как школьницы обожают начальницу, и, кроме всего прочего, воображать, будто делаешь нужное дело и содействуешь процветанию Искусства.

Уолтер убедил её бросить все это. Ему это удалось не сразу. Девическое «обожание» и преданность миссис Коль скрашивали её несчастную жизнь с Карлингом. Но Карлинг становился все хуже, так что совместную жизнь с ним не могла скрасить даже миссис Коль. Уолтер предложил то, чего, вероятно, не могла и безусловно не собиралась предлагать эта леди, — убежище, защиту, денежную поддержку. Кроме того, Уолтер был мужчина, а мужчину, согласно традиции, полагается любить, даже в том случае, если, как установил Уолтер относительно Марджори, женщина не любит мужчин и находит удовольствие только в обществе женщин. (Снова влияние литературы! Он вспомнил слова Филипа Куорлза о губительном воздействии искусства на жизнь.) Да, он мужчина: но «не такой», как все мужчины, неустанно повторяла Марджори. Тогда эта характеристика казалась ему лестной. Но была ли она и в самом деле лестной? Как бы то ни было, Марджори считала его «не таким» и находила, что в нем сочетаются достоинства обоих полов: он мужчина и в то же время не мужчина. Поддавшись убеждениям Уолтера и будучи не в силах больше выносить грубость Карлинга, она согласилась отказаться от мастерской, а значит, и от миссис Коль, которую Уолтер ненавидел, считая её рабовладелицей, грубым и жестоким воплощением женской власти.

— Разве это дело для такой женщины, как ты, быть мебельщиком-любителем? — говорил он ей: в те времена он искренне верил в её интеллектуальные способности.

Она станет помогать ему (как именно — это не уточнялось) в его литературной работе, она будет писать сама. Под его влиянием она принялась писать этюды и рассказы. Но они явно никуда не годились. Сначала он поощрял её, потом стал относиться к её писаниям сдержанно и перестал говорить о них. Вскоре Марджори бросила это противоестественное и бесполезное занятие. У неё не осталось ничего, кроме Уолтера. Он сделался краеугольным камнем, на котором покоилась вся её жизнь. Теперь этот камень вынимали из постройки.

«Если бы только, — думал Уолтер, — она оставила меня в покое!»

Он подошёл к станции метрополитена. У входа человек продавал вечернюю газету. *Грабительский законопроект социалистов*. Первое чтение — *гласил бросающийся в глаза заголовок*.

Уолтер воспользовался предложением отвлечься от своих мыслей и купил газету. Законопроект либерально-лейбористского правительства о национализации рудников получил при первом чтении обычное большинство голосов. Уолтер с удовольствием прочёл об этом. По своим политическим убеждениям он был радикалом. Но издатель вечерней газеты рассуждал иначе. Передовая была написана в самых свирепых тонах.

«Сволочи», — подумал Уолтер. Статья пробудила в нем сочувствие ко всему, на что она нападала; он с радостью почувствовал, что ненавидит капиталистов и реакционеров.

Ограда, в которую он замкнулся, на мгновение разрушилась, личные осложнения перестали существовать. Радость борьбы вывела его из узких рамок собственного «я», он как бы перерос самого себя, стал больше и проще.

«Сволочи», — мысленно повторил он, думая об угнетателях, о монополистах.

На станции Кэмден-Таун рядом с ним уселся маленький, сморщенный человечек с красным платком на шее. Его трубка распространяла такое удушающее зловоние, что Уолтер оглядел вагон в поисках другого свободного места. Места были; но, подумав, он решил не пересаживаться. Это могло обидеть курильщика, могло вызвать с его стороны какое-нибудь замечание.

Едкий дым раздражал горло — Уолтер закашлялся.

«Не следует идти наперекор своим вкусам и наклонностям, — не раз говорил Филип Куорлз. — Какой толк от философии, если её основной предпосылкой не является разумное обоснование наших собственных чувств? Если вы не испытываете религиозных переживаний, верить в Бога — нелепость. Это все равно как верить в то, что устрицы вкусны, тогда как вас самого от них с души воротит».

Затхлый запах пота, смешанный с табачным дымом, достиг ноздрей Уолтера. «Социалисты называют это национализацией, — читал он в газете, — но, с точки зрения всех остальных, у этого мероприятия есть другое, более короткое и выразительное имя: „грабёж“. Ну что ж: грабёж грабителей ради блага ограбленных. Маленький человечек наклонился вперёд и очень аккуратно плюнул между расставленных ног. Каблуком он размазал плевков по полу. Уолтер отвернулся; ему очень хотелось почувствовать любовь к угнетённым и ненависть к угнетателям. „Не следует идти наперекор своим вкусам и наклонностям“. Но вкусы и наклонности возникают случайно. Существуют вечные принципы. А если вечные принципы не совпадают с вашей основной предпосылкой?

Воспоминание всплыло неожиданно. Ему девять лет, и он гуляет с матерью по полям около Гаттендена. У обоих — букеты баранчиков. Должно быть, они ходили к Бэттс-Корнер: это — единственное место в окрестностях, где растут баранчики.

— Мы зайдём на минутку к бедному Уэзерингтону, — сказала мать. — Он очень болен. — Она постучала в дверь коттеджа.

Уэзерингтон служил младшим садовником в усадьбе; но последний месяц он не работал. Уолтер помнил его: бледный, худой человек, страдающий кашлем, необщительный. Уэзерингтон не очень интересовал его. Женщина открыла дверь.

— Добрый день, миссис Уэзерингтон. Их ввели в комнату.

Уэзерингтон лежал в постели, обложенный подушками. У него было ужасное лицо. Пара огромных глаз с расширенными зрачками смотрела из впалых глазниц. Белая и липкая от пота кожа обтягивала торчащие кости. Но ещё более тягостное впечатление производила шея, невероятно худая шея. А из рукавов рубашки торчали две узловатые палки — его руки, оканчивающиеся, точно грабли, огромными костлявыми пальцами. А запах в комнате больного! Окна были плотно закрыты, в маленьком камине горел огонь. Душный воздух был насыщен затхлым запахом дыхания и испарений больного тела — застарелым запахом, сладковатым и тошнотворным от долгого пребывания в этой тёплой, непроветренной комнате. Какой-нибудь новый запах, даже самый отвратительный и зловонный, был бы менее ужасен. Этот запах комнаты больного был особенно невыносим именно потому, что он был застарелым, сладковато-гнилым, застоявшимся. Даже теперь Уолтер вздрогнул при одной мысли о нем. Он зажёл папиросу, чтобы дезинфицировать свою память. Его с детства приучали к ежедневным ваннам и открытым окнам. Когда его ещё ребёнком в первый раз повели в церковь, его затошнило от затхлого воздуха, от запаха человеческих тел; пришлось его поскорей увести. С тех пор мать больше не водила его в церковь. Наверное, подумал он, нас воспитывают слишком гигиенично и асептично. Можно ли считать хорошим воспитание, в результате которого человека тошнит в обществе себе подобных? Он хотел бы любить их. Но любовь не может расцвести в атмосфере, вызывающей у человека непроизвольное отвращение и тошноту.

В комнате больного Уэзерингтона даже жалости расцвести было трудно. Он сидел там, пока его мать разговаривала с умирающим и его женой, смотрел словно загипнотизированный, с ужасом на мертвенно-бледный скелет в постели и вдыхал сквозь букет баранчиков тёплый тошнотворный воздух. Даже сквозь свежий, чудесный аромат баранчиков проникал затхлый запах комнаты больного. Он ощущал не жалость, а ужас и отвращение. И даже тогда, когда миссис Уэзерингтон заплакала, отворачиваясь, чтобы скрыть свои слезы от больного, он почувствовал не жалость, а только неловкость и стеснение. Зрелище её горя только усиливало в нем желание уйти, выбежать из этой ужасной комнаты на безгранично чистый воздух и на солнечный свет.

Ему стало стыдно при воспоминании о тогдашних своих чувствах. Но так он чувствовал тогда, и так он чувствует теперь.

«Не следует идти наперекор своим наклонностям». Нет, не всем, не дурным: им необходимо сопротивляться. Но преодолеть их нелегко. Старик рядом с ним снова зажёл трубку. Уолтер вспомнил, что он как можно дольше задерживал дыхание, стараясь как можно реже вдыхать заражённый воздух. Глубокий вдох через букет баранчиков; потом сосчитать до сорока, выдохнуть и снова вдохнуть. Старик опять наклонился вперёд и плюнул. «Было бы глубоко ошибочно предполагать, что национализация повысит благосостояние рабочих. За последние несколько лет налогоплательщики на своём горьком опыте убедились, что значит бюрократический контроль. Если рабочие воображают...»

Он закрыл глаза и увидел комнату больного. Когда настало время прощаться, он пожал костлявую руку. Она лежала неподвижно поверх одеяла; он подсунул свои пальцы под мертвенные и костлявые пальцы больного, на мгновение поднял его руку и снова опустил её. Она была холодная и влажная. Отвернувшись, он потихоньку вытер ладонь о курточку. Он с силой выпустил долго задерживаемое дыхание и снова вдохнул тошнотворный воздух. Это был последний вдох: его мать уже направлялась к выходу. Её маленький китайский мопсик с лаем прыгал вокруг неё.

— Перестань, Т'анг! — сказала она своим ясным, красивым голосом.

«Вероятно, — думал Уолтер, — она была единственным человеком в Англии, который правильно произносил апостроф в имени Т'анг».

Они возвращались домой по тропинке среди полей. Фантастический и нелепый, словно маленький китайский дракон, Т'анг бежал впереди, с лёгкостью перепрыгивая через препятствия, казавшиеся ему огромными. Его перистый хвост развевался по ветру. Иногда, когда трава была очень высокая, он усаживался на маленький плоский зад, словно прося сахару, и смотрел круглыми выпуклыми глазами на травинки, как будто измеряя их высоту.

Под солнечным небом, запятнанным белыми облаками, Уолтер почувствовал себя так, точно его выпустили из тюрьмы. Он бежал, он кричал. Его мать шла медленно, не говоря ни слова. Иногда она на мгновение останавливалась и закрывала глаза. Она всегда так делала, когда была взволнована. Она часто бывала взволнована, подумал Уолтер, слегка улыбаясь про себя. Бедный Уэзерингтон, вероятно, сильно взволновал её. Он вспомнил, как часто она останавливалась по дороге домой.

— Идём скорей, мама! — нетерпеливо кричал он. — Мы опоздаем к чаю.

Кухарка испекла к чаю лепёшки, а кроме того, был вчерашний пирог со сливами и только что начатая банка вишнёвого джема.

«Не следует идти наперекор своим вкусам и наклонностям». Но его вкусы и наклонности определялись случайностями его рождения. Существует вечная справедливость; милосердие и братская любовь прекрасны, несмотря на вонючую трубку старика и ужасную комнату Уэзерингтона. Прекрасны, может быть, именно благодаря им. Поезд остановился. Лестер-сквер. Он вышел на платформу и направился к лифту. Но, подумал он, ваша собственная основная предпосылка — от неё не отвертишься; а если это не ваша собственная предпосылка, поверить в неё трудно, как бы хороша она ни была. Честь, верность — это все прекрасно. Но основная предпосылка его теперешней философии — это то, что Люси Тэнтемаунт — самое прекрасное, самое желанное...

— Предъявите билеты!

Внутренний спор грозил возобновиться. Он сознательно прекратил его. Лифтёр захлопнул дверцу. Лифт поднялся. На улице Уолтер подозвал такси.

— Тэнтемаунт-Хаус, Пэлл-Мэлл.

II

Три призрака Италии беспрепятственно пребывают в восточной части Пэлл-Мэлл. Богатства только что индустриализованной Англии и энтузиазм и архитектурный гений Чарлза Барри⁹ вызвали их из солнечного прошлого. Под копотью, покрывающей Клуб реформ, глаз знатока различает нечто, отдалённо напоминающее дворец Фарнезе. Немного дальше в туманном лондонском воздухе возвышается воспоминание сэра Чарлза о доме, построенном по проекту Рафаэля для Пандольфини: Клуб путешественников. А между ними подымается уменьшенная (и все-таки огромная) копия Канцеллерии, строго классическая, мрачная, как тюрьма, и чёрная от копоти. Это — Тэнтемаунт-Хаус.

Барри спроектировал его в 1839 году. Сотни рабочих года два трудились над ним. Счета оплачивал третий маркиз. Счета были крупные, но пригороды Лидса и Шеффилда начали распространяться по землям, которые его предки отняли у монастырей триста лет назад. «Католическая церковь, вдохновлённая Духом Святым, учит, основываясь на Священном писании и заветах отцов церкви, что существует чистилище и что души, пребывающие в нем, спасаются молитвами верующих и в особенности жертвами, приносимыми на алтарь церкви». Богатые люди с нечистой совестью жаловали монахам земли, чтобы их души быстрее миновали чистилище с помощью непрестанно приносимых на алтарь жертв. Но Генрих VIII воспылил страстью к одной молоденькой женщине и захотел иметь от неё сына; а папа Климент VII, находившийся во власти двоюродного племянника первой жены Генриха, отказался дать ему развод. В результате были закрыты все монастыри. Тысячи нищих и калек умерли голодной смертью, но зато Тэнтемаунтам досталось несколько десятков квадратных миль пахотных земель, лесов и пастбищ. Позднее, при Эдуарде VI, они присвоили собственность двух уничтоженных школ латинской грамматики, дети остались без образования ради того, чтобы Тэнтемаунты могли стать ещё богаче. Они с большой тщательностью обрабатывали землю, стараясь извлечь из неё максимум прибыли. Современники смотрели на них как на «людей, которые живут так, словно нет Бога, людей, которые хотят забрать все в свои руки, людей, которые ничего не оставляют другим, людей, которые не довольствуются ничем». С кафедры собора Святого Павла Левер заклеил их за то, что они «богохульствуют и разрушают благосостояние народа». Но Тэнтемаунты не обращали внимания. Земля принадлежала им, деньги поступали регулярно.

Поля засеивались пшеницей; она созревала, её убирали снова и снова. Быки рождались, откармливались и отправлялись на бойню. Землепашцы и пастухи работали от зари до зари, год за годом, до самой смерти. Тогда на их место вставали их дети. Тэнтемаунт наследовал Тэнтемаунту. Елизавета сделала их баронами; при Карле II они стали виконтами, в царствование Вильгельма и Мэри — графами, при Георге II — маркизами. Все они женились на богатых наследниках: десять квадратных миль земли в Ноттингемшире, пятьдесят тысяч фунтов, две улицы в Блумсбери, пивоваренный завод, банк, плантация и шестьсот рабов на Ямайке. А тем временем безымянные люди изобретали машины, которые делали вещи быстрее, чем их можно было сделать руками. Деревни превращались в городишки, городишки — в большие города. На пахотных землях и пастбищах Тэнтемаунтов вырастали дома и фабрики. Под травянистым покровом их лугов полуголые люди врубались в чёрный блестящий каменный уголь. Женщины и дети подвозили тяжело нагруженные вагонетки. Из

⁹ Барри, Чарлз (1795-1860) — английский архитектор, возродивший в Англии романский и флорентийский стили.

Перу везли на кораблях помёт десятков тысяч поколений морских чаек, чтобы удобрить им поля. Урожай увеличивался: можно было накормить больше людей. И год за годом Тэнтемаунты богатели и богатели, а души набожных современников Чёрного Принца ¹⁰, которым больше не помогали жертвы, принесённые некогда на алтарь церкви, продолжали страдать в неутолимом огне чистилища. Деньги, которые, будучи применены должным образом, могли укоротить срок их пребывания в вечном огне, послужили, между прочим, и для того, чтобы вызвать к жизни на Пэлл-Мэлл копию папской Канцеллерии.

Внутренность Тэнтемаунт-Хауса была столь же благородно римской, как его фасад. Два яруса открытых арок окружали внутренний двор; над ними находились антресоли с маленькими квадратными окошками. Но внутренний двор не был открытым сверху: его покрывала стеклянная крыша, которая превращала его в огромный зал высотой во всю постройку. Благодаря аркам и галерее он выглядел очень величественно; но он был слишком велик, слишком похож на бассейн для плавания или на скэтингринг — жить в нем было неуютно.

Сегодня, однако, он оправдывал своё существование. Леди Эдвард Тэнтемаунт устраивала музыкальный вечер. Внизу сидели гости, а над ними, в архитектурно оформленной пустоте, сложно пульсировала музыка.

— Что за пантомима! — обратился к хозяйке дома старый Джон Бидлэйк. — Хильда, дорогая, вы только посмотрите!

— Ш-ш! — запротестовала леди Эдвард, закрывая лицо веером из перьев. — Не мешайте слушать музыку. Кроме того, я и так вижу.

В её шёпоте слышался колониальный акцент, и букву «р» она произносила на французский лад: леди Эдвард родилась в Монреале, и её мать была француженкой. В 1897 году съезд Британской Ассоциации проходил в Канаде. Лорд Эдвард Тэнтемаунт прочёл в биологической секции доклад, вызвавший всеобщее восхищение. Профессора называли его «восходящим светилом». Но для всех остальных быть Тэнтемаунтом и миллионером означало «светило, уже достигшее своего зенита». Этого мнения придерживалась и Хильда Саттон. Лорд Эдвард остановился в Монреале у отца Хильды. Она использовала предоставившуюся ей возможность. Британская Ассоциация отбыла на родину, но лорд Эдвард остался в Канаде.

— Поверьте мне, — призналась однажды Хильда одной из своих подруг, — ни до этого, ни после я никогда до такой степени не интересовалась осмосом.

Интерес к осмосу привлёк внимание лорда Эдварда к Хильде. Он заметил то, чего раньше не замечал, а именно: Хильда очень хороша собой. Хильда вела игру по всем правилам. Задача была не из трудных: к сорока годам лорд Эдвард оставался ребёнком во всем, что не касалось интеллекта. В лаборатории и за письменным столом он был стар, как сама наука. Но чувства, восприятия и инстинкты оставались у него младенческими. Значительная часть его духовного «я» не развилась за отсутствием практики. Он был ребёнком, но его ребяческие привычки стали к сорока годам неискоренимыми. Хильда помогала ему преодолевать неловкость и застенчивость двенадцатилетнего мальчика, а когда страх мешал ему ухаживать за ней должным образом, она сама шла ему навстречу. Его страсть была мальчишеской — одновременно бурной и робкой, отчаянной и немой. Хильда говорила за обоих и вела себя смело, но осторожно. Осторожно — потому что взгляды лорда Эдварда на то, как должны вести себя молодые девушки, сформировались преимущественно под влиянием «Записок Пиквикского клуба». Неприкрытая смелость могла испугать, могла оттолкнуть его. Хильда соблюдала весь диккенсовский этикет, но вместе с тем ухитрилась провести все ухаживание, создать все возможности и направить разговоры в надлежащее русло. Она была вознаграждена: весной 1898 года она стала леди Эдвард Тэнтемаунт.

— Да право же, — с сердцем сказала она однажды Джону Бидлэйку, когда тот

¹⁰ Так называли Эдуарда, принца Уэльского, старшего сына Эдуарда III (1330-1376).

издевался над бедным Эдвардом, — я в самом деле очень люблю его!

— По-своему, может быть, — насмешливо сказал Бидлэйк. — По-своему. К счастью, не все любят так. Посмотри-ка в зеркало.

Она посмотрела и увидела отражение своего обнажённого тела, растянувшегося среди подушек на диване.

— Животное! — сказала она. — Но это вовсе не мешает мне любить его.

— Да, конечно, по-своему ты очень любишь его. — Он засмеялся. — И все-таки, какое счастье, что не все...

Она закрыла ему рот рукой. Это было четверть века тому назад. Хильда была замужем пять лет; ей было тридцать. Люси была четырехлетним ребёнком. Джону Бидлэйку исполнилось сорок семь, и он был в расцвете сил и в зените своей славы как художник, он умел смеяться, умел работать, умел есть, пить и лишать невинности.

— Живопись — одна из форм чувственности, — отвечал он тем, кто осуждал его образ жизни. — Написать обнажённое тело может только тот, кто подробно изучил его руками, губами и всем телом. Я серьёзно отношусь к искусству. Поэтому я не жалею сил на подготовительные занятия. — И кожа вокруг его монокля покрывалась морщинами смеха, а глаза лукавого сатира подмигивали.

Хильде Джон Бидлэйк принёс откровение её собственного тела, её физических возможностей. Лорд Эдвард был ребёнком, ископаемым младенцем в облике солидного пожилого мужчины. Интеллектуально, в лаборатории, он понимал явления пола. Но в жизни, по эмоциям, он оставался ребёнком, ископаемым младенцем викторианской эпохи, в неприкосновенности сохранившим детскую робость и все запреты, внушённые двумя нежно любимыми и добродетельными незамужними тётками, у которых он воспитывался после смерти своей матери, все удивительные принципы и предрассудки, приобретённые тогда, когда он впервые восторгался шутками м-ра Пиквика и Микобера. Он любил свою молодую жену любовью ископаемого младенца шестидесятых годов — робко и словно извиняясь: извиняясь за свою страсть, извиняясь за своё тело, извиняясь за её тело. Конечно, его извинения были не столь многословны, потому что от застенчивости ископаемое дитя становилось немым: они состояли в том, что он молчаливо отрицал участие их тел в проявлениях страсти, за которой к тому же отрицалось право на существование. Его любовь была сплошным бессловесным извинением, а потому не имела оправданий. Оправдание любви — в духовной и телесной близости, в теплоте, в наслаждении, которые она порождает. Если она нуждается в оправданиях извне, значит, она не имеет оправданий. Джон Бидлэйк не оправдывался за свою любовь: она полностью оправдывала самое себя. Чувственный здоровяк, он любил прямо и честно, с хорошим животным аппетитом сына природы.

— Не воображайте, пожалуйста, что я стану говорить о звёздах и девственных лилиях и космосе, — говорил он, — это не по моей части. Я не верю в них. Я верю в... — И тут он переходил на язык, по каким-то таинственным причинам считающийся непечатным.

Это была любовь без претензий, но тёплая, естественная, а следовательно — хорошая; это была честная, добродушная, блаженная чувственность. Для Хильды, знавшей раньше только стыдливую, извиняющуюся любовь ископаемого младенца, она была откровением. Она пробудила в ней умершие было чувства. Она с восторгом нашла самое себя. Но восторг её не переходил границ. Она никогда не теряла голову. Потеряв голову, она вместе с тем потеряла бы Тэнтемаунт-Хаус, миллионы Тэнтемаунта и титул Тэнтемаунта. Она вовсе не собиралась терять все это. Поэтому голова её оставалась трезвой и рассудительной среди самых бурных восторгов, как скала среди бурного моря. Наслаждаясь, она никогда не наносила этим ущерба своему положению в обществе. Благодаря трезвой голове и желанию сохранить себе положение в обществе она никогда не теряла способности смотреть со стороны на свои самые бурные восторги. Джон Бидлэйк одобрял её умение совместить несовместимое.

— Благодарение Богу, Хильда, — часто говорил он, — ты — разумная женщина.

На собственном горьком опыте он испытал, как утомительны женщины, считающие, что ради любви можно пожертвовать всем на свете. Ему нравились женщины, любовь была необходимым удовольствием. Но ни одна женщина не стоила того, чтобы ради неё запутывать и портить себе жизнь. К безрассудным женщинам, принимающим любовь чересчур всерьёз, Джон Бидлэйк относился беспощадно. Против их лозунга «Все за любовь» он выставил свой: «Дайте мне жить спокойно». Он всегда оставался победителем. В борьбе за спокойную жизнь он не знал жалости и не знал страха.

Хильда Тэнтемаунт стремилась к спокойной жизни не меньше, чем Джон. Их связь продолжалась несколько лет, а потом кончилась незаметно для них самих. Они остались добрыми друзьями или заговорщиками, как их называли, злонамеренными заговорщиками, вступающими в союз, чтобы вместе позабавиться на чужой счёт.

Сейчас они смеялись. Вернее, смеялся Джон, не терпевший музыки. Леди Эдвард пыталась сохранить декорум.

— Замолчите же наконец, — прошептала она.

— Да вы только посмотрите, до чего это комично, — настаивал Бидлэйк.

— Ш-ш...

— Но я говорю шёпотом. — Ему надоело это бесконечное шиканье.

— Да, как лев.

— Ничего не поделаешь, — раздражённо ответил он. Когда он говорил шёпотом, он считал, что никто, кроме собеседника, не должен его слышать. Он сердился, когда ему говорили, что то, что он считал верным, на самом деле неверно. — Лев! Подумать только! — возмущённо пробормотал он. Но его лицо сейчас же прояснилось. — Смотрите, — сказал он, — вот ещё одна опоздавшая. На сколько спорим, что она сделает то же, что все остальные?

— Ш-ш... — повторила леди Эдвард.

Но Джон Бидлэйк не обращал на неё внимания. Он смотрел в сторону двери, где стояла последняя из опоздавших. Желание незаметно скрыться в молчаливой толпе боролось в ней с долгом гостии сообщить хозяйке дома о своём приходе. Она растерянно смотрела по сторонам. Леди Эдвард приветствовала её через головы гостей взмахом веера и улыбкой. Опоздавшая ответила ей улыбкой, послала воздушный поцелуй, приложила палец к губам, показала на свободное место в другом конце зала и распростёрла руки, выражая этим жестом, что она извиняется за опоздание и сожалеет, что при сложившихся обстоятельствах ей нельзя подойти и поговорить с леди Эдвард; затем, втянув голову в плечи, сжавшись в комок и словно стараясь занимать как можно меньше пространства, она очень осторожно, на цыпочках, направилась к свободному месту.

Бидлэйк веселился от всей души. Он передразнивал все жесты бедной дамы. Он с подчёркнутым жаром ответил ей на воздушный поцелуй, а когда она приложила палец к губам, он закрыл рот всей пятернёй. Жест, выражавший сожаление, стал в его гротескно-преувеличенной передаче жестом смехотворного отчаяния. А когда она на цыпочках пошла между рядами, он принялся хлопать себя по лбу и считать по пальцам, как делают в Неаполе, чтобы отвести дурной глаз. Он с торжеством обернулся к леди Эдвард.

— Я вам говорил, — прошептал он, и его лицо покрылось морщинами от сдерживаемого смеха. — Можно подумать, что находишься в санатории для глухонемых или разговариваешь с пигмеями в Центральной Африке. — Он открыл рот и показал пальцем, он сделал вид, что пьёт из стакана. — Мой хочет есть, — сказал он. — Мой очень хочет пить.

Леди Эдвард ударила его веером.

Тем временем музыканты играли b-moll'ную сюиту Баха для флейты и струнного оркестра. Молодой Толли вёл оркестр со свойственной ему неподражаемой грацией, изгибаясь, как лебедь, и чертя руками по воздуху пышные арабески, словно он танцевал под музыку. Двенадцать безымянных скрипачей и виолончелистов пикикали по его приказу. А великий Понджилеони взасос целовал свою флейту. Он дул через отверстие, и цилиндрический воздушный столб вибрировал; раздумья Баха наполняли четырехугольный

римский зал. В начальном *largo* Иоганн Себастьян при помощи воздушного столба и амбушюра Понджилеони твёрдо и ясно сказал: в мире есть величие и благородство; есть люди, рождённые королями; есть завоеватели, прирождённые властители земли. Размышления об этой земле, столь сложной и многолюдной, продолжались в *allegro*. Вам кажется, что вы нашли истину; скрипки возвещают её, чистую, ясную, чёткую; вы торжествуете: вот она, в ваших руках. Но она ускользает от вас, и вот уже новый облик её в звуках виолончелей и ещё новый — в звуках воздушного столба Понджилеони. Каждая часть живёт своей особой жизнью; они соприкасаются, их пути перекрещиваются, они сливаются на мгновение в гармонию; она кажется конечной и совершенной, но потом распадается снова. Каждая часть одинока, отдельна, одна. «Я есмь я, — говорит скрипка, — мир движется вокруг меня». «Вокруг меня», — поёт виолончель. «Вокруг меня», — твердит флейта. И все одинаково правы и одинаково не правы, и никто из них не слушает остальных.

Человеческая фраза состоит из двухсот миллионов частей. Её шум говорит что-то статистику и ничего не говорит художнику. Только выбирая каждый раз одну-две части, художник может что-то понять. Вот здесь, например, одна часть: Иоганн Себастьян рассказывает о ней. Начинается рондо, чудесное и мелодично-простое, почти как народная песня. Девушка поёт сама себе о любви, одиноко, немножечко грустно. Девушка поёт среди холмов, а по небу плывут облака. Одинокий, как облако, слушает её песню поэт. Мысли, которые вызвала в нем песня, — это сарабанда, следующая за рондо.

Медленно и нежно размышляет он о красоте (несмотря на грязь и глупость), о добре (несмотря на все зло), о единстве (несмотря на все запутанное разнообразие) мира. Это — красота, это — добро, это — единство. Их не постичь интеллектом, они не поддаются анализу, но в их реальности нерушимо убеждается дух. Девушка поёт сама себе под бегущими по небу облаками — и вот уже в нас родилась уверенность. Утреннее небо безоблачно, и рождается уверенность. Это иллюзия или откровение глубочайшей истины? Кто знает? Понджилеони дул, скрипачи проводили натёртым канифолью конским волосом по натянутым бараньим кишкам; и в продолжение всей сарабанды поэт неторопливо размышлял о своей нежной и спокойной уверенности.

— Эта музыка начинает надоедать мне, — шёпотом сказал Джон Бидлэйк хозяйке дома. — Скоро она кончится?

Старый Бидлэйк не любил и не понимал музыку и откровенно признавался в этом. Он мог позволить себе быть откровенным. Какой смысл такому замечательному художнику, каким был Джон Бидлэйк, притворяться, будто он любит музыку? Он посмотрел на сидящих гостей и улыбнулся.

— У них такой вид, точно они сидят в церкви, — сказал он. Леди Эдвард погрозила ему веером.

— Кто эта маленькая женщина в чёрном, — продолжал он, — которая закатывает глаза и качается всем телом, точно святая Тереза в экстазе?

— Фанни Логан, — прошептала леди Эдвард. — Но замолчите же наконец!

— Принято говорить, что порок преклоняется перед добродетелью, — неугомонно продолжал Джон Бидлэйк. — Но теперь все позволено — моральное лицемерие нам больше не нужно. Осталось лицемерие интеллектуальное. Преклонение филистеров перед искусством — так, что ли? Посмотрите-ка, как они преклоняются — постные рожи и благоговейное молчание!

— Вы должны быть благодарны за то, что их преклонение перед *вами* выражается в гинях, — сказала леди Эдвард. — А теперь извольте молчать.

Бидлэйк с комическим ужасом прикрыл ладонью рот. Толли сладострастно взмахивал руками; Понджилеони дул; скрипачи пиликали. А Бах, поэт, размышлял об истине и красоте.

Слезы подступали к глазам Фанни Логан. Её легко было растрогать, особенно музыкой; а когда она испытывала какое-нибудь чувство, она не старалась подавить его, но всем существом отдавалась ему. Как прекрасна музыка, как печальна и в то же время как успокоительна! Она чувствовала, как музыка претворяется в чудесное ощущение, незаметно,

но настойчиво наполняющее все извилины её существа. Все её тело вздрагивало и покачивалось в такт мелодии. Она думала о своём покойном муже; поток музыки приносил ей воспоминания о нем, о милом, милом Эрике; с тех пор прошло почти два года; он умер таким молодым! Слезы потекли быстрее. Она отёрла их. Музыка была бесконечно печальна, но в то же время она утешала. Она принимала все: преждевременную смерть бедняжки Эрика, его болезнь, его нежелание умирать; она принимала все. Она выражала всю печаль мира, но из глубин этой печали она утверждала — спокойно, примирённо, — что все правильно, все идёт так, как нужно. За пределами печали простиралось более широкое, более полное блаженство. Слезы струились из глаз миссис Логан; но, несмотря на печаль, это были блаженные слезы. Ей хотелось поделиться своими чувствами с дочерью. Но Полли сидела в другом ряду. Миссис Логан видела за два ряда от себя её затылок и её тонкую шею с ниткой жемчуга, которую милый Эрик подарил ей, когда ей исполнилось восемнадцать лет, за несколько месяцев до своей смерти. И вдруг, словно почувствовав на себе взгляд матери, словно догадавшись о её переживаниях, Полли обернулась и с улыбкой взглянула на неё. Грустное и музыкальное блаженство миссис Логан стало теперь полным.

Но не только глаза матери смотрели в сторону Полли. Удобно расположившись немного сбоку и позади неё, Хьюго Брокл восторженно изучал её профиль. Как она очаровательна! Он размышлял, хватит ли у него смелости сказать ей, что в детстве они играли вместе в Кенсингтонском парке. Он подойдёт к ней после музыки и скажет: «А знаете, мы были представлены друг другу в детских колясочках». Или, чтобы проявить ещё более неожиданное остроумие: «Вы — та самая особа, которая стукнула меня по голове ракеткой».

Взгляд Джона Бидлэйка, беспокойно блуждавший по комнате, неожиданно натолкнулся на Мэри Беттертон. Да, это чудовище — Мэри Беттертон! Он опустил руку, он потрогал дерево кресла. Когда Джон Бидлэйк видел что-нибудь неприятное, он всегда чувствовал себя спокойней, потрогав дерево. Конечно, он не верил в Бога; он любил рассказывать анекдоты о священниках. Но дерево, дерево — в этом что-то есть... И подумать только, что он был влюблён в неё, безумно влюблён, двадцать, двадцать два — он боялся вспомнить, сколько лет тому назад. Какая старая, какая отвратительная толстуха! Он снова потрогал ножку кресла. Он отвернулся и попробовал думать о чем-нибудь другом, только не о Мэри Беттертон. Но воспоминания о том времени, когда Мэри была молода, преследовали его. Тогда он ещё ездил верхом. Перед ним возник образ его самого на чёрном коне и Мэри — на гнедом. В те дни они часто выезжали вместе. Он писал тогда третью и лучшую картину из серии «Купальщицы». Какая картина, черт возьми! Даже в то время Мэри, с точки зрения некоторых, была слишком полна. Он этого не находил: полнота всегда нравилась ему. Эти современные женщины, старающиеся быть похожими на водосточные трубы... Он снова взглянул на неё и вздрогнул. Он ненавидел её за то, что она так отвратительна, за то, что она была когда-то так прелестна. А ведь он на добрых двадцать лет старше её!

III

Двумя этажами выше, между piano mobile¹¹ и мансардами прислуги, лорд Эдвард Тэнтмаунт работал у себя в лаборатории. Младшие сыновья Тэнтмаунтов обычно шли в армию. Но так как наследник был калекой, отец предназначил лорда Эдварда к политической карьере, которую старшие сыновья по традиции начинали в палате общин и величественно заканчивали в палате лордов. Едва лорд Эдвард достиг совершеннолетия, как на руки ему свалились избиратели, о которых он обязан был заботиться. Он заботился о них не за страх, а за совесть. Но до чего он не любил произносить речи! А когда встречаешься с

¹¹ Бельэтаж (ит.).

потенциальным избирателем, что следует ему сказать? И он никак не мог запомнить основных пунктов программы консервативной партии, а тем более — проникнуться к ним энтузиазмом. Решительно, политическая деятельность не была его призванием.

«Ну а чем бы ты *хотел* заняться?» — спрашивал его отец.

Но вся беда была в том, что лорд Эдвард сам этого не знал. Единственное, что доставляло ему истинное удовольствие, было посещение концертов. Но ведь нельзя же всю жизнь только и делать, что ходить в концерты! Четвёртый маркиз не мог скрыть своего гнева и разочарования. «Мальчишка — кретин», — говорил он, и сам лорд Эдвард готов был согласиться с ним. Он был никчёмным неудачником; в мире не было для него места. Бывали минуты, когда он думал о самоубийстве. «Если бы он хоть начал прожигать жизнь!» — жаловался его отец. Но к прожиганию жизни юноша был ещё меньше склонён, чем к занятиям политикой. «Даже спортом не интересуется», — гласил следующий пункт обвинительного приговора. Это была правда.

Избиение птиц, даже в обществе принца Уэльского, решительно не привлекало лорда Эдварда: он не ощущал ничего, кроме разве некоторого отвращения. Он предпочитал сидеть дома и читать, рассеянно, неразборчиво, всего понемногу. Но даже чтение не удовлетворяло его. Главное достоинство этого занятия состоит в том, что оно занимает ум и помогает убивать время. Но какой в этом толк? Убивать время с помощью книги немногим лучше, чем убивать фазанов и время с помощью ружья. Он мог бы предаваться чтению до конца своих дней, но, этим он все равно ничего бы не достиг.

Вечером 18 апреля 1887 года он сидел в библиотеке Тэнтемаунт-Хауса и размышлял о том, стоит ли вообще жить и как лучше умереть — утопиться или застрелиться? В этот день «Тайме» опубликовала подложное письмо Парнелла¹², якобы санкционировавшее убийство в Феникс-Парке. Четвёртый маркиз с самого завтрака пребывал в волнении, едва не доведшем его до апоплексии. В клубах только и говорили, что об этом письме. «Вероятно, это очень важно», — говорил сам себе лорд Эдвард. Но он не мог заинтересоваться ни парнелловским движением, ни убийствами. Послушав, что говорят об этом в клубе, он в отчаянии отправился домой. Дверь библиотеки была открыта. Он вошёл и бросился в кресло, чувствуя себя совершенно разбитым, как после тридцатимильной прогулки. «Я, наверно, идиот», — уверял он сам себя, размышляя о политическом энтузиазме других и о собственном безразличии. Он был слишком скромн, чтобы считать идиотами всех остальных. «Я безнадежен, безнадежен».

Он громко застонал, и его стон зловеще прозвучал в учёной тишине большой библиотеки. Смерть, конец всему; река, револьвер... Время шло. Лорд Эдвард понял, что даже о смерти он не может думать связно и последовательно: даже смерть скучна. На столе около него лежал последний номер «Куотерли»¹³. Может быть, это окажется менее скучным, чем смерть? Он взял его, открыл наудачу и принялся читать абзац из середины статьи о каком-то Клоде Бернаре¹⁴. До тех пор он никогда не слышал о Клоде Бернаре. Наверное, какой-нибудь француз. «Интересно, — думал он, — что это такое — гликогенная функция печени? Видимо, что-то учёное». Он пробежал глазами страницу. В одном месте стояли кавычки: это была цитата из сочинений Клода Бернара.

¹² Парнелл, Чарлз Стюарт (1846-1891) — ирландский политический деятель, поборник независимости Ирландии. В 1882 г. ирландская террористическая организация «Непобедимые» совершила ряд политических убийств в Феникс-Парке (Дублин). Политические противники Парнелла использовали эти убийства, чтобы скомпрометировать его деятельность.

¹³ «Куотерли» («Модерн Куотерли») — крупнейший английский научно-популярный журнал.

¹⁴ Бернар, Клод (1813-1878) — французский физиолог и патолог, один из основоположников эндокринологии и экспериментальной медицины; открыл образование гликогена (основного запасного углевода человека и животных) в печени.

«Живое существо не является исключением из великой гармонии природы, которая заставляет вещи применяться одна к другой; оно не противоречит великим космическим силам и не вступает с ними в борьбу. Напротив: оно — лишь один из голосов в хоре всех вещей, и жизнь какого-нибудь животного есть лишь частица общей жизни вселенной».

Сначала он рассеянно пробежал эти слова, затем перечёл их более внимательно, затем перечёл ещё несколько раз со все возрастающим интересом. «Жизнь животного есть лишь частица общей жизни вселенной». А как же самоубийство? Частица вселенной, разрушающая сама себя? Нет, не разрушающая: она не могла бы разрушить себя, даже если бы попыталась это сделать. Она просто изменит форму своего бытия. Изменит... Кусочки животных и растений становятся человеческими существами. То, что было некогда задней ногой барана и листьями шпината, станет частью руки, которая написала, частью мозга, который задумал медленные ритмы симфонии «Юпитер»¹⁵. А потом настал день, когда тридцать шесть лет удовольствий, страданий, голода, любви, мыслей, музыки вместе с бесчисленными неосуществлёнными возможностями мелодии и гармонии удобрили неведомый уголок венского кладбища, чтобы превратиться в траву и одуванчики, которые в свою очередь превратились в баранов, чьи задние ноги в свою очередь превратились в других музыкантов, чьи тела в свою очередь... Все это очень просто, но для лорда Эдварда это было откровением. Неожиданно, в первый раз в жизни он понял, что он составляет единое целое с миром. Эта идея потрясла его; он встал с кресла и принялся взволнованно ходить взад и вперёд по комнате. В сознании у него царил хаос, но мысли его были яркими и стремительными, а не тусклыми, туманными и ленивыми, как всегда.

«Может быть, когда я был в Вене в прошлом году, я поглотил часть субстанции Моцарта. Может быть, со шницелем по-венски, или с сосиской, или даже со стаканом пива. Приобщение, физическое приобщение. Или тогда, на замечательном исполнении „Волшебной флейты“, — тоже приобщение, другого рода, а может быть, на самом деле такое же. Пресуществление, каннибализм, химия. В конце концов все сводится к химии. Бараньи ноги и шпинат... все это химия. Водород, кислород... Ну а ещё что? Господи, как ужасно, как ужасно ничего не знать! Все те годы в Итоне¹⁶. Какой от них толк? Латинские стихи. Чего ради? En! distenta ferunt perpingues ubera vaccae¹⁷. Почему меня не учили чему-нибудь дельному? «...Голос в хоре всех вещей»... Все это точно музыка. Гармония, и контрапункт, и модуляция. Но нужно уметь слушать. Китайская музыка... мы ничего в ней не понимаем. Хор всех вещей; благодаря Итону он для меня китайская музыка. Гликогенная функция печени... для меня это все равно что на языке банту: так же непонятно. Как унижительно! Но я могу научиться, я *научусь*, научусь...»

Лорд Эдвард пришёл в необыкновенное возбуждение, никогда в жизни он не чувствовал себя таким счастливым.

Вечером он сказал отцу, что не намеревается выставлять свою кандидатуру в парламент. Старый джентльмен, ещё не оправившийся после утренних разоблачений относительно Парнелла, пришёл в бешенство. Лорд Эдвард оставался невозмутимым; он твёрдо решил. На следующий день он послал в газету объявление о том, что ищет учителя. Весной следующего года он работал в Берлине у Дюбуа-Реймона.

С тех пор прошло сорок лет. Исследования в области осмоса, косвенным образом доставившие ему жену, доставили ему также репутацию крупного учёного. Его работа об ассимиляции и росте считалась классической. Но большой теоретический трактат по физической биологии, создание которого он считал главной задачей своей жизни, был ещё не

¹⁵ «Юпитер» — название симфонии до мажор (1788) Моцарта

¹⁶ Одна из старейших английских привилегированных средних школ; основана в 1440 г. в г. Итоне.

¹⁷ «Станет обильный удой давать тучное вымя коровы» (лат.) — строка из Горация.

закончен. «Жизнь какого-нибудь животного есть лишь частица общей жизни вселенной». Слова Клода Бернара, некогда вдохновившие его, были основной темой всех его работ. Книга, над которой он трудился все эти годы, будет лишь статистической и математической иллюстрацией к этим словам.

Наверху, в лаборатории, рабочий день только начинался: лорд Эдвард предпочитал работать ночью. Днём слишком шумно. Позавтракав в половине второго, он прогуливался час-другой; вернувшись, он читал или писал до восьми часов. После ленча, с девяти или с половины десятого, он вместе со своим ассистентом проводил опыты, по окончании которых они усаживались за работу над книгой или обсуждали её основные положения. В час ночи лорд Эдвард ужинал, а между четырьмя и пятью ложился спать.

Обрывки b-moll'ной сюиты еле слышно доносились из зала. Двое мужчин, работавших в лаборатории, были слишком заняты, чтобы обращать внимание на музыку.

— Пинцет, — сказал лорд Эдвард своему ассистенту. У него был низкий голос, нечёткий и как бы лишённый определённых очертаний. «Меховой голос», — как говорила его дочь Люси, когда была маленькой.

Иллидж протянул ему тонкий блестящий инструмент. Лорд Эдвард издал низкий звук, означавший благодарность, и поднёс пинцет к анестезированному тритону, распластанному на миниатюрном операционном столе. Критический взгляд Иллиджа выразил одобрение. Старик работал изумительно чётко. Ловкость сэра Эдварда всегда поражала Иллиджа. Никто не поверил бы, что такое громоздкое и неуклюжее существо, как Старик, может быть таким аккуратным. Его большие руки умели проделывать тончайшие операции — приятно было смотреть на них.

— Готово! — сказал сэр Эдвард и выпрямился настолько, насколько позволяла ему согнутая ревматизмом спина. — Я думаю, так правильно. Как по-вашему?

Иллидж кивнул.

— Совершенно правильно, — сказал он. Иллидж говорил с ланкаширским акцентом, отнюдь не свойственным воспитанникам старинных аристократических школ. Он был рыжий человек, невысокого роста, с мальчишеским веснушчатым лицом.

Тритон начал пробуждаться. Иллидж перенёс его в банку. У животного не было хвоста: хвост был отрезан восемь дней тому назад, а сегодня вечером небольшой отросток регенерировавшей ткани, из которого нормально должен был развиваться хвост, был пересажен на место ампутированной правой передней лапы. Как будет вести себя отросток на новом месте? Превратится ли он в переднюю лапу или из него вырастет неуместный хвост? Первый опыт был поставлен с только что образовавшимся зачатком хвоста: из него выросла лапа. В следующий раз отросток пересадили лишь тогда, когда он достиг значительных размеров. Войдя слишком в роль хвоста, он не сумел примениться к новым условиям: в результате получилось чудовище с хвостом вместо ноги. Сегодня они экспериментировали с отростком промежуточного возраста.

Лорд Эдвард достал из кармана трубку и принялся набивать её, задумчиво поглядывая на тритона.

— Интересно, что получится на этот раз, — сказал он низким, неясным голосом. — Мне кажется, мы находимся на границе между... — Он не закончил фразу: он всегда с трудом находил слова для выражения своих мыслей. — Зачатку предстоит трудный выбор.

— Быть или не быть, — насмешливо сказал Иллидж и захохотал; но, заметив, что лорд Эдвард не проявляет никаких признаков весёлости, он перестал смеяться. Опять дал маху! Он рассердился на самого себя и совершенно непоследовательно — на Старика.

Лорд Эдвард набил трубку.

— Хвост становится ногой, — задумчиво сказал он. — В чем механизм этого явления? Химические особенности окружающих?.. Кровь здесь, очевидно, ни при чем. Или, по-вашему, это имеет какое-нибудь отношение к ионизации? Конечно, она различна в разных частях тела. Хотя почему мы все не разрастаемся, как раковые опухоли. Образование форм в процессе роста — очень странная вещь, когда об этом подумаешь. Очень таинственно и... —

Его слова перешли в низкое глухое бормотание.

Иллидж слушал неодобрительно. Когда Старик принимается рассуждать об основных вопросах биологии, никогда не знаешь, чем он кончит. С таким же успехом он мог бы говорить о Боге. От таких разговоров краснеешь. На этот раз он решил не допускать ничего подобного. Он начал самым бодрым, обыденным голосом:

— Теперь нам нужно заняться нервной системой и посмотреть, не влияет ли она на прививку. Предположите, например, что мы вырежем часть спинного хребта...

Но лорд Эдвард не слушал. Он вынул трубку изо рта, поднял голову и склонил её немного набок. Он хмурился, словно стараясь уловить и вспомнить что-то. Он поднял руку, жестом приказывая замолчать. Иллидж остановился на полуслове и тоже прислушался. Узор мелодии чуть заметно вырисовался на фоне тишины.

— Бах? — прошептал сэр Эдвард.

Понджилеони дул в флейту, безмянные скрипачи водили смычками, и от этого вибрировал воздух в большом зале, вибрировали стекла выходящих в него окон; передаваясь дальше, эти вибрации вызвали сотрясение воздуха в комнате сэра Эдварда, на другом конце дома. Сотрясаясь, воздух ударял о *membrana tympani*¹⁸ сэра Эдварда; взаимосвязанные *malleus*¹⁹, *incus*²⁰ и стремя пришли в движение и в свою очередь привели в движение перепонку овального отверстия и подняли микроскопическую бурю в жидкости лабиринта. Ворсинки, которыми оканчивается слуховой нерв, заколебались, как водоросли в бурном море; целый ряд непонятных чудес произошёл в мозгу, и лорд Эдвард восторженно прошептал: «Бах». Он блаженно улыбнулся, его глаза загорелись. Молодая девушка пела в одиночестве под плывущими облаками. А потом начал размышлять облачно-одиноким философом.

— Пойдём вниз, послушаем, — сказал лорд Эдвард. Он встал. — Идёмте, — сказал он. — Работа подождёт. Такие вещи слышишь не каждый день.

— А как насчёт костюма? — с сомнением сказал Иллидж. — Не могу же я сойти вниз в таком виде. — Он посмотрел на свой костюм.

Даже когда он был новым, это был дешёвый костюм. От возраста он не стал лучше.

— Ну, какие пустяки. — Собака, почуявшая дичь, вряд ли проявила бы больше рвения, чем лорд Эдвард при звуке флейты Понджилеони. Он взял своего ассистента под руку и потащил его из лаборатории. Потом по коридору и вниз по лестнице. — Это всего только маленький раут, — продолжал он. — Я, кажется, вспоминаю, что жена мне говорила... Совсем по-домашнему. И кроме того, — добавил он, придумывая новые оправдания для своей жадности к музыке, — мы можем проскользнуть незаметно... Никто не обратит внимания.

Иллидж все ещё колебался.

— Боюсь, что это не такой уж маленький раут, — начал он, вспомнив автомобили, подъезжающие к дому.

— Ничего, ничего, — прервал лорд Эдвард, неудержимо стремясь насладиться Бахом.

Иллидж покорился судьбе. Он подумал, как глупо он будет выглядеть в своём лоснящемся костюме из синей саржи. Впрочем, решил он потом, пожалуй, даже лучше появиться в синей сарже прямо из лаборатории, да ещё под покровительством хозяина дома (сам лорд Эдвард был в куртке из грубой шерсти); во время своих прежних экспедиций в блистательный мир леди Эдвард он обнаружил, что его старый смокинг плохо сшит и производит самое жалкое впечатление. Лучше быть совсем не похожим на богатую и

¹⁸ Барабанная перепонка (лат.).

¹⁹ Молоточек (лат.).

²⁰ Наковальня (лат.).

шикарную публику, казаться пришельцем с иной, интеллектуальной планеты, а не жалким третьеразрядным подражателем. На человека в синей рабочей одежде можно смотреть как на курьёз, тогда как человека в плохо сшитом вечернем костюме (как и лакея) будут игнорировать, презирать его за то, что он безуспешно пытается быть похожим на кого-то ещё, а не на самого себя.

Иллидж решил твёрдо, даже демонстративно, играть роль марсианина.

Их появление произвело ещё больший эффект, чем ожидал Иллидж. Две ветви парадной лестницы Тэнтемаунт-Хауса, слившись посередине, как две одинаково широкие реки, низвергаются водопадом веронского мрамора в зал. Лестница вливается в зал из-под арки, в центре одной из стен закрытого четырехугольника, против вестибюля и парадного входа. Входящий с улицы видит зал и в глубине его, за аркой в противоположной стене, — широкие ступени и блестящие перила, ведущие к площадке, где Венера работы Кановы, гордость коллекции третьего маркиза, стоит на возвышении в нише, прикрывая или, вернее, подчёркивая скромным и кокетливым жестом обеих рук свои мраморные прелести. У подножия этого триумфального мраморного спуска леди Эдвард поместила оркестр; гости сидели рядами лицом к лестнице. Когда Иллидж и лорд Эдвард вышли из-за угла перед Венерой Кановы ²¹, приближаясь к музыке и к толпе слушателей на цыпочках, как заговорщики, они оказались в центре внимания сотни пар глаз. Ропот любопытства пробежал по рядам. Этот крупный, сутулый человек в костюме из грубой шерсти и с трубкой в зубах, появившийся из какого-то чуждого мира, производил комическое и зловещее впечатление. Он был похож на одно из тех старинных привидений, какие посещают только дома самых лучших аристократических семейств. Ни зверь Гламиса, ни даже сам Минотавр ²² не возбудили бы такого любопытства, как лорд Эдвард. Гости подносили к глазам лорнеты, вытягивали шеи, чтобы рассмотреть его через головы сидевших впереди. Неожиданно почувствовав на себе столько пытливых взглядов, лорд Эдвард испугался. Ему стало неловко, словно он совершил в обществе какую-то грубую бестактность; он вынул трубку изо рта и, не потушив, сунул её в карман куртки. Он остановился в нерешительности: спасаться бегством или наступать? Он стоял, раскачиваясь всем своим неуклюжим туловищем взад и вперёд. Это было похоже на медленное и тяжеловесное покачивание верблюжьей шеи. Была минута, когда он решил отступить. Но любовь к Баху пересилила его страхи. Он был как медведь, которого запах мёда, несмотря на весь его страх, заманивает в лагерь охотника; как любовник, готовый встретить лицом к лицу вооружённого и оскорблённого супруга и бракоразводный процесс, лишь бы провести несколько минут в объятиях возлюбленной. Он пошёл вперёд на цыпочках, ещё более похожий на заговорщика, чем раньше; Гай Фокс, которого уже обнаружили, но который все же надеется, что ему удастся остаться незамеченным, если он будет действовать так, словно «Пороховой заговор» ²³ развёртывается по намеченному плану. Иллидж следовал за ним. От смущения он стал красным как рак; но, несмотря на смущение или, скорее, именно от смущения, он спускался следом за лордом Эдвардом развязной походкой, засунув руку в карман и улыбаясь во весь рот. Он равнодушно оглядывал толпу зрителей. Его лицо выражало презрительное любопытство. Слишком поглощённый своей ролью марсианина, чтобы смотреть себе под ноги, Иллидж вдруг оступился на этой царственной лестнице с непривычно широкими и отлогими ступенями. Его нога скользнула, он отчаянно замахал руками, стараясь сохранить

²¹ Какова, Антонио (1757-1822) — итальянский скульптор, представитель классицизма.

²² В греческой мифологии чудовище, человекобык, рождённый Пасифаей, женой царя Миноса, от быка.

²³ Был организован представителями крайней католической партии, восставшей против проводимой королём Яковом I и парламентом политики религиозной терпимости. Заговор был раскрыт в 1605 г.; его руководители, в том числе Гай Фокс (1570-1606), были казнены.

равновесие, и остановился двумя-тремя ступенями ниже, каким-то чудом удержавшись все-таки на ногах. Своё нисхождение он закончил со всем достоинством, на какое он был в эту минуту способен. Он был очень зол, он ненавидел всех гостей леди Эдвард, всех до одного.

IV

В финальной бадинри ²⁴ Понджилеони превзошёл самого себя. Евклидовские аксиомы праздновали кермессу вместе с формулами элементарной статики. Арифметика предавалась дикой сатурналии; алгебра выделяла прыжки. Концерт закончился оргией математического веселья. Раздались аплодисменты. Толли раскланивался со свойственной ему грацией; раскланивался Понджилеони, раскланивались даже безымянные скрипачи. Публика отставляла стулья и подымалась с мест. Сдерживаемая до сих пор болтовня хлынула бурным потоком.

— Какой чудной вид был у Старика, правда? — встретила подругу Полли Логан.

— А рыжий человечек с ним!

— Как Матт и Джеф ²⁵.

— Я думала, я умру со смеху, — сказала Нора.

— Он старый чародей! — Полли говорила взволнованным шёпотом, наклоняясь вперёд и широко раскрывая глаза, как будто желая не только словами, но и мимикой выразить таинственность старого чародея. — Колдун!

— Интересно, что он делает у себя наверху?

— Вскрывает жаб и саламандр и прочих гадов, — ответила Полли.

Палец жабий, панцирь рачий, ²⁶
Мех крылана, зуб собачий. —

Она декламировала со вкусом, опьянённая словами. — И он спаривает морских свинок со змеями. Вы только представьте себе помесь кобры и морской свинки!

— Ух! — вздрогнула подруга. — Но если он интересуется только такими вещами, зачем он на ней женился? Вот этого я никогда не могла понять.

— А зачем *она* вышла за него? — Голос Полли снова перешёл в сценический шёпот. Ей нравилось говорить обо всем, как о чем-то волнующем, потому что волнующим ей казалось все на свете: ей было всего двадцать лет. — Для этого у неё были очень веские причины.

— Надо полагать.

— К тому же она родом из Канады, что делало эти причины ещё более неотложными.

— Так вы думаете, что Люси...

— Ш-ш...

Подруга обернулась.

— Как восхитителен Понджилеони! — воскликнула она очень громко и с несколько чрезмерной находчивостью.

— Просто чудесен! — продекламировала в ответ Полли, словно с подмостков театра «Друри-Лейн».

— Ах, вот и леди Эдвард! — Обе подруги были страшно поражены и обрадованы. — А

²⁴ Бадинри (фр. «badinerie» — «шутка») — название быстрых частей в некоторых сюитах XVIII века.

²⁵ Матт и Джеф — неразлучные друзья, герои иллюстрированных юмористических рассказов, печатавшихся в газетах.

²⁶ У. Шекспир, «Макбет» (акт IV, сц. 1).

мы только что говорили, как замечательно играет Понджилеони.

— Ах, в самом деле? — сказала леди Эдвард, с улыбкой смотря то на одну, то на другую девушку. У неё был низкий, глубокий голос, и она говорила медленно, словно все слова, которые она произносила, были особенно значительными. — Как это мило с вашей стороны. — Она говорила с подчёркнуто колониальным акцентом. — К тому же он родом из Италии, — добавила она с невозмутимым и серьёзным лицом, — что делает его игру ещё более очаровательной. — И она прошла дальше, а девушки, краснея, растерянно устали друг на друга.

Леди Эдвард была миниатюрная женщина с тонкой, изящной фигурой; когда она надевала платье с низким вырезом, становилось заметным, что её худоба начинает переходить в костлявость. То же самое можно было сказать о её красивом тонком лице с орлиным носом. Своей матери-француженке, а в последние годы, вероятно, также искусству парикмахера она была обязана смоляной чернотой своих волос. Кожа у неё была молочно-белая. Глаза смотрели из-под чёрных изогнутых бровей тем смелым и пристальным взглядом, который присущ всем людям с очень тёмными глазами на бледном лице. К этой прирождённой смелости взгляда у леди Эдвард прибавилось свойственное ей одной выражение дерзкой прямооты и живой наивности. Это были глаза ребёнка, «*mais d'un enfant terrible*»²⁷, как предостерегающе заметил Джон Бидлэйк своему коллеге из Франции, которого он привёл познакомиться с ней. Коллега из Франции имел случай убедиться в этом на собственном опыте. За обедом его посадили рядом с критиком, который написал про его картины, что их автор либо дурак, либо издевается над публикой. Широко раскрыв глаза и самым невинным тоном леди Эдвард завела разговор об искусстве... Джон Бидлэйк рвал и метал. После обеда он отвёл её в сторону и дал волю своему гневу.

— Это черт знает что, — сказал он, — он мой друг. Я привёл его, чтоб познакомиться с вами. А вы что над ним проделываете? Это уж чересчур.

Яркие чёрные глаза леди Эдвард никогда не смотрели более наивно, её акцент никогда не был более обезоруживающе французско-канадским (надо сказать, что она умела изменять своё произношение по желанию, делая его более или менее колониальным, в зависимости от того, кем она хотела казаться — простодушной дочерью североамериканских степей или английской аристократкой).

— Что — чересчур? — спросила она. — Чем я провинилась на этот раз?

— Со мной эти штучки не пройдут, — сказал Бидлэйк.

— Какие штучки? Никак не пойму, чем вы недовольны. Никак не пойму.

Бидлэйк объяснил ей, в чем дело.

— Вы отлично это знали, — сказал он. — Теперь я припоминаю, что не дальше как на прошлой неделе мы с вами говорили о его статье.

Леди Эдвард нахмурила брови, точно пытаясь что-то вспомнить.

— А ведь в самом деле! — воскликнула она, посмотрев на него с комическим выражением ужаса и раскаяния. — Какой ужас! Но вы знаете, какая у меня скверная память.

— Ни у кого на свете нет такой хорошей памяти, как у вас, — сказал Бидлэйк.

— Но я вечно все забываю, — говорила она.

— Только то, что вам следовало бы помнить. С вами это случается каждый раз, это не может быть случайным. Вы всегда помните, что именно вы хотите забыть.

— Какая чепуха! — воскликнула леди Эдвард.

— Если бы у вас была плохая память, — не унимался Бидлэйк, — вы могли бы изредка забывать, что мужей нельзя приглашать в один День с официальными любовниками их жён; что анархисты не очень любят встречаться с авторами передовиц в «Морнинг пост» и что верующим католикам не доставляет никакого удовольствия выслушивать кощунственные речи закоренелых атеистов. Будь у вас плохая память, вы могли бы иной раз забыть об этом,

²⁷ Но ребёнка несносного (фр.).

но чтоб забывать каждый раз, для этого, знаете ли, нужна исключительная память. Исключительная память и исключительная любовь к стравливанню людей.

В продолжение всего разговора леди Эдвард сохраняла выражение наивной серьёзности. Но теперь она рассмеялась.

— Какие нелепости вы говорите, милый Джон!

Разговор снова привёл Бидлэйка в хорошее настроение. Он засмеялся в ответ.

— Поймите, — сказал он, — я не против того, чтобы вы шутили ваши шутки над другими. Это доставляет мне массу удовольствия. Но только, пожалуйста, не надо мной.

— В следующий раз постараюсь не забывать, — кротко ответила она и посмотрела на него с такой детской наивностью, что ему оставалось только рассмеяться.

С тех пор прошло много лет. Она сдержала своё слово и больше не выкидывала своих шуточек по отношению к нему. Но с другими людьми она вела себя по-прежнему забывчиво и невинно. Её подвиги вошли в поговорку. Над ними смеялись. Но слишком многие оказывались их жертвами; её боялись, её не любили. Но все стремились попасть на её вечера: у неё был первоклассный повар, первоклассные вина и первоклассные фрукты. Многое прощалось ей за богатство её супруга. Кроме того, общество в Тэнтемаунт-Хаусе всегда отличалось разнообразием и зачастую эксцентрической элегантностью. Люди принимали её приглашения, а в отместку злословили о ней за её спиной. Её называли, между прочим, снобом и охотницей за светскими львами. Но даже враги её должны были признать, что, будучи снобом, она высмеивала тот самый пышный церемониал, ради которого она жила, что она собирала львов только для того, чтобы стравливать их. Там, где буржуазная англичанка вела бы себя серьёзно и подобострастно, леди Эдвард была насмешлива и непочтительна. Она прибыла из Нового Света; традиционная иерархия была для неё игрой, но игрой живописной, ради которой стоило жить.

— Она могла бы быть героиней того анекдота, — как-то сказал о ней Бидлэйк, — знаете, об американце и двух английских пэрах. Помните? Он разговорился в вагоне с двумя англичанами, они ему очень понравились, и, чтобы иметь возможность впоследствии возобновить с ними знакомство, он попросил разрешения узнать, кто они такие. «Я, — сказал один из них, — герцог Гемпширский, а это мой друг, Владетель Баллантрэ²⁸». «Очень рад с вами познакомиться, — говорит американец. — Разрешите представить вам моего сына Иисуса Христа». Это — вылитая Хильда. И все-таки она всю жизнь занимается только тем, что приглашает и принимает приглашения людей, чьи титулы кажутся ей такими смешными. Странно. — Он покачал головой. — Очень странно.

Когда леди Эдвард удалялась от двух смущённых девушек, на неё налетел очень высокий плотный мужчина, с недозволенной скоростью продвигавшийся сквозь толпу гостей.

— Простите, — сказал он, не найдя нужным даже посмотреть, кого это он чуть не сбил с ног. Его взгляд следил за движениями кого-то, находившегося в другом конце зала; он понимал только, что перед ним какое-то маленькое препятствие, вероятно человек, так как вокруг было очень много людей. Он остановился на полном ходу и сделал шаг в сторону, намереваясь обойти препятствие. Но препятствие оказалось не из таких, которые дают себя легко обойти. Леди Эдвард поймала его за рукав:

— Уэбли!

Делая вид, что он не почувствовал, как его схватили за рукав, и не слышал, как его назвали по имени, Эверард Уэбли продолжал свой путь: у него не было ни времени, ни желания разговаривать с леди Эдвард. Но избавиться от леди Эдвард было не так-то просто: она дала протащить себя несколько шагов, все ещё цепляясь за него.

— Уэбли! — повторила она. — Стой! Тпру! — Она так громко и так искусно передразнила окрик деревенского ломовика, что Уэбли принуждён был остановиться из

²⁸ Владетель Баллантрэ — герой одноимённого романа (1889) Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894).

страха привлечь к себе насмешливое внимание остальных гостей. Он посмотрел на неё сверху вниз.

— Ах, это вы! — сердито сказал он. — Простите, я вас не заметил. — Раздражение, выражавшееся на его нахмуренном лице и в его невежливых словах, было наполовину искренним, наполовину напускным. Заметив, что многих пугает его гнев, он стал культивировать свою прирождённую свирепость. Это держало людей на расстоянии, а его избавляло от назойливости.

— Господи! — воскликнула леди Эдвард в явно карикатурном ужасе.

— Что вам от меня нужно? — спросил он таким тоном, словно обращался к надоедливому попрошайке на улице.

— Какой вы сердитый!

— Если это все, что вы хотели мне сказать...

Тем временем леди Эдвард критически рассматривала его своими наивно-дерзкими глазами.

— Знаете, — сказала она, прерывая его на половине фразы, словно ей необходимо было, не медля ни минуты, сообщить ему о своём великом и неожиданном открытии, — вам следовало бы играть роль капитана Хука в «Питере Пэне»²⁹. Ну да, конечно. У вас идеальная внешность для предводителя пиратов. Не правда ли, мистер Бэббедж? — Она остановила Иллиджа, который в безутешном одиночестве пробирался сквозь толпу незнакомых людей.

— Добрый вечер, — сказал он. Сердечная улыбка леди Эдвард не являлась достаточной компенсацией за то, что его имя было перевернуто.

— Уэбли, это мистер Бэббедж; он помогает моему мужу в его работе. — Кивком головы Уэбли признал существование Иллиджа. — Не правда ли, мистер Бэббедж, он очень похож на предводителя пиратов? — продолжала леди Эдвард. — Посмотрите-ка на него.

— Не могу сказать, чтобы мне приходилось видеть много предводителей пиратов, — смущённо усмехнулся Иллидж.

— Ну, конечно, — воскликнула леди Эдвард, — я совсем забыла! Он ведь *и есть* предводитель пиратов. В действительной жизни. Разве не так, Уэбли?

— О, разумеется, разумеется, — рассмеялся Эверард Уэбли.

— Видите ли, — конфиденциально сообщила леди Эдвард Иллиджу, — это мистер Эверард Уэбли. Вождь Свободных Британцев. Знаете, которые ходят в зелёных мундирах. Как хористы в оперетке.

Иллидж злорадно улыбнулся и кивнул. Так вот он каков, Эверард Уэбли, основатель и вождь Союза Свободных Британцев!

Враги называли эту организацию по начальным буквам С-ы С-ы Б-и. Как заметил однажды прекрасно осведомлённый корреспондент «Фигаро» в статье, посвящённой Свободным Британцам, «*les initials B. B. F. ont, pour le public anglais, une signification plutot pejorative*»³⁰. Уэбли не учёл этого, когда он придумывал имя для своей организации. Иллидж не без удовольствия подумал, что теперь ему часто придётся вспоминать об этом.

— Если вы кончили ваши шуточки, — сказал Эверард, — я попрошу у вас разрешения уйти.

«Игрушечный Муссолини, — думал Иллидж, — впрочем, подходит к своей роли. — Он испытывал личную ненависть ко всем высоким и красивым или вообще представительным людям. Сам он был небольшого роста и похож на очень смышлёного уличного мальчишку. — Большая дубина!»

²⁹ «Питер Пэн» (1904) — популярная книга для детей английского драматурга и романиста Джеймса Барри (1860-1937).

³⁰ Инициалы С. С. Б., с точки зрения английской публики, имеют, скорее, уничижительный смысл (фр.).

— Надеюсь, я не сказала вам ничего обидного? — спросила леди Эдвард, изображая на своём лице великое раскаяние.

Иллидж вспомнил карикатуру в «Дейли геральд». Уэбли имел наглость сказать, что «Миссия Свободных Британцев состоит в том, чтоб защитить культуру». Рисунок изображал Уэбли с полдюжиной одетых в мундиры бандитов, которые насмерть избивали рабочего. Капиталист в цилиндре одобрительно смотрел на это зрелище. На его чудовищных размеров животе красовалась надпись: *культура*.

— Я не обидела вас, Уэбли? — повторила леди Эдвард.

— Ничуть. Только я очень занят. Видите ли, — объяснил он своим самым медовым голосом, — у меня есть дела. Я работаю, если вы понимаете смысл этого слова.

Иллидж предпочёл бы, чтобы этот удар был нанесён кем-нибудь другим. Грязный негодяй! Сам-то он был коммунистом.

Уэбли покинул их. Леди Эдвард смотрела, как он пробивается сквозь толпу.

— Как паровоз, — сказала она. — Какая энергия и какая обидчивость! Политические деятели хуже актрис: они так тщеславны. А нашему дорогому Уэбли не хватает чувства юмора. Он хочет, чтобы с ним обращались как с его собственным памятником, воздвигнутым восторженной и благодарной нацией. Посмертно, понимаете? Как с великим историческим героем. А я, когда с ним встречаюсь, вечно забываю, что передо мной Александр Македонский. Мне все кажется, что это просто Уэбли.

Иллидж захохотал. Леди Эдвард положительно начинала ему нравиться: она так здраво смотрела на вещи.

— Нельзя отрицать, конечно, что его Братство — весьма неплохая вещь, — продолжала леди Эдвард. — Не правда ли, мистер Бэббедж?

Он сделал недовольную гримасу.

— Ну... — начал он.

— Кстати, — сказала леди Эдвард, обрывая в самом начале его изумительно остроумное замечание по адресу Свободных Британцев, — советую вам быть осторожней, когда вы спускаетесь по этой лестнице: она ужасно скользкая.

Иллидж покраснел.

— Ничуть, — пробормотал он и покраснел ещё больше. Он стал красным, как свёкла, до корней своих рыжих, как морковь, волос. Его симпатия к леди Эдвард таяла с каждой минутой.

— Нет, не говорите: она все-таки скользкая, — любезно настаивала леди Эдвард. — Кстати, над чем вы работали сегодня с Эдвардом? Меня это *так* интересует.

Иллидж улыбнулся.

— Что ж, если это действительно интересует вас, — сказал он, — мы работаем над регенерацией утраченных органов у тритонов. — Среди тритонов он чувствовал себя как дома; симпатия к леди Эдвард понемногу возвращалась.

— Тритоны? Это такие штучки, которые плавают? — (Иллидж кивнул.) — Но как же они теряют свои органы?

— Ну, в лаборатории, — объяснил он, — они теряют органы потому, что мы их вырезаем.

— И они снова вырастают?

— Они снова вырастают.

— Господи Боже мой! — сказала леди Эдвард. — Вот уж никогда не подумала бы! Как все это увлекательно! Расскажите мне ещё что-нибудь.

В конце концов, она не так уж плоха. Он начал объяснять. Он как раз дошёл до самого важного и существенного, до критического пункта их опытов — до превращения пересаженного хвостового отростка в ногу, когда леди Эдвард, взгляд которой блуждал по залу, положила ему руку на плечо.

— Идёмте, — сказала она, — я познакомлю вас с генералом Нойлем. Он очень забавный старичок — не всегда по своей воле, впрочем.

Объяснения застыли в горле Иллиджа. Он понял, что все, о чем он рассказывал леди Эдвард, нисколько её не интересовало и что она даже не потрудилась отнестись сколько-нибудь внимательно к его словам. Остро ненавидя её, он следовал за ней в злобном молчании.

Генерал Нойль разговаривал с каким-то джентльменом в мундире. Голос у него был воинственный и астматический. Приближаясь, они слышали, как он говорил:

— «Дорогой мой, — сказал я ему, — не вздумайте выпускать его теперь на ипподром: это будет преступление, — сказал я. — Это будет сплошное безумие. Снимите его, — сказал я, — снимите его со списка!» И он снял своего коня со списка.

Леди Эдвард дала знать о своём присутствии. Оба военных были подавляюще вежливы: они были в таком восторге от сегодняшнего вечера.

— Я выбрала Баха специально для вас, генерал Нойль, — сказала леди Эдвард с очаровательным смущением, словно юная девушка, открывающая свою сердечную тайну.

— Гм... да... это очень мило с вашей стороны. — Смущение генерала Нойля было неподдельным: он решительно не знал, что ему делать с её музыкальным подарком.

— Я колебалась, — продолжала леди Эдвард тем же многозначительно интимным тоном, — между генделевской «Музыкой на воде» и b-moll'ной с Понджилеони. Потом я вспомнила о вас и остановилась на Бахе. — Её взгляд отмечал признаки смущения на багровом лице генерала.

— Это очень мило с вашей стороны, — повторил генерал. — Не скажу, чтобы я был большим знатоком по части музыки, но я твёрд в своих вкусах. — Эти слова, казалось, придали ему уверенности. Он откашлялся и снова начал: — Я всегда говорю, что...

— А теперь, — торжествуя закончила леди Эдвард, — разрешите познакомить вас с мистером Бэббеджем, он помогает Эдварду в работе, и он прямо специалист по тритонам. Мистер Бэббедж — генерал Нойль — полковник Пилчард. — Улыбнувшись им на прощание, она удалилась.

— Черт меня побери совсем! — воскликнул генерал. — Полковник сказал, что она истинное божеское наказание.

— Без сомнения, — с чувством поддержал Иллидж.

Оба военных джентльмена взглянули на него и решили, что со стороны этого представителя низшего класса подобное замечание является дерзостью. Добрые католики могут сами слегка подшучивать над святыми и над нравами духовенства, но они возмущаются, слыша те же шутки из уст неверных. Генерал воздержался от словесных замечаний, а полковник удовлетворился тем, что взглядом выразил неодобрение. И они с таким нарочито пренебрежительным видом отвернулись от него, возобновив прерванный разговор о скаковых лошадях, что Иллиджу захотелось их поколотить.

— Люси, дитя моё!

— Дядя Джон!

Люси Тэнтамаунт с улыбкой обернулась к своему названому дяде. Она была среднего роста, тонкая, как её мать; её коротко подстриженные тёмные волосы, зачёсанные назад и покрытые бриолином, казались совершенно чёрными. От природы бледная, она не румянилась. Только её тонкие губы были покрашены, а вокруг глаз положены голубые тени. Чёрное платье подчёркивало белизну её рук и плеч. Со смерти её мужа (и троюродного брата) Генри Тэнтамаунта прошло больше двух лет. Но она все ещё носила траур, по крайней мере при искусственном освещении: чёрное было ей очень к лицу.

— Как поживаете? — добавила она, подумав про себя, что он сильно постарел.

— Умираю, — сказал Джон Бидлэйк. Он фамильярно взял её под руку своей большой рукой со вздувшимися венами. — Пойдёмте поужинаем вместе. Я голоден, как волк.

— Но я не голодна.

— Ничего не значит, — сказал Бидлэйк. — Моя нужда сильнее твоей, как справедливо заметил сэр Филип Сидни.

— Но я не хочу есть. — Она не любила подчиняться; она предпочитала вести других за

собой, а не следовать за ними. Но отделаться от дяди Джона было не так-то легко.

— Ничего, — объявил он, — я буду есть за двоих. — И с весёлым смехом он потащил её в столовую.

Люси перестала сопротивляться. Они пробирались сквозь толпу. Зеленовато-жёлтая крапчатая орхидея в бутоньерке Джона Бидлэйка напоминала голову змеи с раскрытой пастью. Монокль поблёскивал в его глазу.

— Кто этот старик с Люси? — осведомилась Полли Логан, когда они проходили.

— Старый Бидлэйк.

— Бидлэйк? Тот самый, который... который написал те картины? — Полли говорила неуверенно, тоном человека, сознающего, что в его образовании есть пробелы, и боящегося сделать грубую ошибку. — Вы хотите сказать, тот самый Бидлэйк? — Её подруга кивнула. Полли почувствовала огромное облегчение. — Вот уж никогда не подумала бы! — продолжала она, подымая брови и широко раскрывая глаза. — Я всегда считала, что Бидлэйк — один из Старых Мастеров. Но ведь ему, должно быть, по крайней мере сто лет!

— Да, что-нибудь в этом роде. — Норе ещё не исполнилось двадцати.

— Надо сказать, — любезно признала Полли, — что он прекрасно сохранился. Он ещё совсем красавчик, или щёголь, или денди, как это называлось во времена его молодости.

— У него было чуть что не пятнадцать жён, — сказала Нора.

В эту минуту Хьюго Брокл набрался храбрости и представился девушкам.

— Вы, наверно, меня не помните? Мы были знакомы, когда нас возили в детских колясочках. — Как глупо это звучало! Он густо покраснел.

Третья и лучшая картина из серии «Купальщицы» Джона Бидлэйка висела над камином в столовой Тэнтамаунт-Хауса. Это была весёлая и радостная картина, светлая по тонам, чистая и яркая по колориту. Восемь полных купальщиц с жемчужной кожей расположились в воде и на берегах речки, образуя телами нечто вроде гирлянды, замыкавшейся сверху листвой дерева. Внутри этого кольца перламутровой плоти (потому что их лица были только смеющейся плотью: никакой намёк на духовность не мешал созерцать гармонию красивых форм) виднелся бледно-яркий пейзаж — нежно-круглые холмы и облака.

Держа тарелку в руках и жуя сэндвичи с икрой, старик Бидлэйк рассматривал своё собственное произведение. Восхищение, смешанное с грустью, овладело им.

— Хорошо, — сказал он. — Удивительно хорошо. Обратите внимание на композицию. Полная гармония частей без всякого намёка на повторение или на искусственность сочетаний. — О других мыслях и чувствах, которые картина вызвала в его сознании, он промолчал: их было слишком много, и они были слишком путаны; трудно было выразить их словами. А самое главное — слишком печальны; ему не хотелось задерживаться на них. Он протянул руку и потрогал буфет: настоящее красное дерево. — Посмотрите на фигуру справа, с поднятыми руками. — Он нарочно говорил о технической стороне, чтобы подавить, отогнать нежеланные мысли. — Видите, как она уравнивает ту большую, нагнувшуюся фигуру слева. Как длинный рычаг, подымающий большую тяжесть.

Но фигура с поднятыми руками была Дженни Смит, красивейшая из всех его натурщиц. Воплощение красоты, воплощение глупости и вульгарности. Богиня — пока она была обнажена и молчала или когда её принуждали к молчанию поцелуями; но, Боже, когда она открывала рот, когда она надевала свои платья, свои ужасающие шляпы! Он вспомнил, как он взял её с собой в Париж. Через неделю её пришлось отослать назад. «Тебе следует ходить в наморднике, Дженни, — сказал он, и Дженни разревелась. — Тебе не следовало ехать в Париж, — продолжал он. — В Париже слишком много солнца, слишком много огней. В следующий раз мы отправимся на Шпицберген. Зимой. Ночь продолжается там шесть месяцев».

От этих слов она заревела ещё громче.

В этой девушке таились неисчерпаемые богатства красоты и чувственности. Потом она стала пить и совсем опустилась. Она попрошайничала и пропивала милостыню. В конце концов то, что осталось от неё, умерло. Но настоящая Дженни сохранилась здесь, на

полотне, — её поднятые руки, её ясно очерченные грудные мышцы, приподнимавшие её маленькие груди. То, что осталось от Джона Бидлэйка, от того Джона Бидлэйка, что жил двадцать пять лет назад, тоже было в картине. Другой Джон Бидлэйк, призрак прежнего, созерцал свою картину. Скоро и этот Бидлэйк перестанет существовать. Да и настоящий ли это Бидлэйк? Разве опухшая от пьянства женщина, которая умерла, была настоящей Дженни? Настоящая Дженни живёт среди жемчужных купальщиц. А настоящий Бидлэйк, их творец, продолжает жить в своих творениях.

— Хорошо, — повторил он с горечью, заканчивая разбор. И лицо его, смотревшее на картину, было грустным. — Но в конце концов, — добавил он после небольшого молчания, раздражаясь деланным смехом, — в конце концов все, что я пишу, хорошо, чертовски хорошо. — Он бросал вызов тупоумным критикам, усматривавшим в его последних вещах упадок творческих сил, он бросал вызов собственному прошлому, времени и старости, вызов настоящему Бидлэйку, который писал настоящую Дженни и поцелуями принуждал её к молчанию.

— Конечно, хорошо, — сказала Люси, а про себя подумала: почему последние вещи старика так плохи? Последняя выставка являла жалкое зрелище. Сам он выглядит сравнительно молодым. Хотя, конечно, решила она, посмотрев на него, он очень постарел за последние месяцы.

— Конечно, — повторил он. — Ничего иного не скажешь.

— Должна признаться, однако, — добавила Люси, чтобы переменить тему, — что мне ваша картина всегда казалась оскорбительной.

— Оскорбительной?

— Да, для женщин. Неужели мы, по-вашему, действительно такие безнадежные дуры, какими вы нас изображаете?

— Да, неужели мы, по-вашему, действительно такие? — вступил в разговор чей-то голос. Голос был громкий и выразительный, слова вылетали порывисто, резко, как будто выталкиваемые давлением эмоций сквозь узкое отверстие.

Люси и Джон Бидлэйк обернулись и увидели миссис Беттертон, массивную, в темно-сером платье; её руки, подумал Бидлэйк, похожи на ляжки, а завитые каштановые волосы в сочетании с мясистыми щеками и тройным подбородком казались до смешного короткими. Её вздёрнутый нос, бывший таким очаровательным в те дни, когда они вместе катались верхом — он на вороном коне, а она на гнедом, — теперь выглядел нелепо и до крайности неуместно на этом пожилом лице. Настоящий Бидлэйк ездил с ней верхом незадолго до того, как он написал купальщиц. Она говорила об искусстве с наивной серьёзностью школьницы; эта серьёзность казалась ему забавной к очаровательной. Он вспомнил, как излечил её от страсти к Берн-Джонсу³¹; к сожалению, излечить её от пагубной склонности к добродетели ему так и не удалось. Теперь она обращалась к нему с прежней серьёзностью, и тон её был сентиментально-многозначительным, как у того, кто вспоминает старое время и не прочь обменяться мыслями и воспоминаниями. Бидлэйку пришлось делать вид, что встреча с ней после стольких лет доставляет ему удовольствие. Удивительное дело, подумал он, пожимая ей руку, как это он ухитрился все эти годы не встречаться с ней: он говорил с ней не больше трех-четырёх раз за все эти четверть века, превратившие Мэри Беттертон в *memento mori*³².

— Дорогая миссис Беттертон! — воскликнул он. — Как я рад! — Но ему плохо удалось скрыть своё отвращение. А когда она назвала его по имени: «А теперь, Джон, отвечайте нам на вопрос» — и положила руку на плечо Люси, словно та тоже присоединилась к её просьбе, старый Бидлэйк просто возмутился. Фамильярность со стороны *memento mori* невыносима. Он её проучит. Тема прекрасно подходила для этого: она вызывала на нелюбезный ответ.

³¹ Берн-Джонс, Эдуард (1833-1898) — английский художник-прерафаэлит.

³² Помни о смерти (лат.).

Мэри Беттертон была особа с претензиями на интеллектуальность и постоянно твердила о душе. Вспомнив это, старик Бидлэйк объявил, что он никогда не встречал женщины, обладавшей чем-нибудь достойным внимания, если не считать ног и фигуры. «А некоторые женщины, — добавил он многозначительно, — не обладают даже этими необходимыми качествами». Конечно, у многих женщин интересные лица; но это ничего не значит. У ищеек, напомнил он, вид такой, точно они учёные юристы; быки, пережёвывающие жвачку, производят такое впечатление, точно они размышляют над философскими проблемами; богомол выглядит так, точно он молится. Но наружность во всех этих случаях обманчива. То же и с женщинами. Он решил написать купальщиц не только без одежд, но и без масок; наделить их лицами, являющимися продолжением их прекрасных тел, а не лживыми символами несуществующей духовности. Это казалось ему более реалистичным, более соответствующим истине. По мере того как он говорил, к нему возвращалось хорошее настроение; неприязнь к Мэри Беттертон проходила. Когда человек чувствует себя бодро, *memento mori* перестаёт напоминать ему о смерти.

— Вы неисправимы, Джон, — снисходительно сказала миссис Беттертон. Она с улыбкой обратилась к Люси: — Но он сам не верит ни одному своему слову.

— Я думаю, что он, наоборот, говорит вполне серьёзно, — возразила Люси. — Я заметила, что те мужчины, которые больше всего любят женщин, относятся к ним с наибольшим презрением.

Бидлэйк расхохотался.

— Потому что они знают женщин лучше, чем кто бы то ни было.

— А может быть, потому, что они больше, чем кто бы то ни было, чувствуют нашу силу.

— Уверяю вас, — настаивала миссис Беттертон, — он шутит. Я знала его раньше, чем вы родились, дорогая.

Весёлость исчезла с лица Джона. *Memento mori* снова оскалилось из-за расплывающегося лица Мэри Беттертон.

— Может быть, тогда он был другим, — сказала Люси. — Вероятно, он заразился цинизмом от молодого поколения. Наше общество опасно, дядя Джон. Будьте осторожны.

Это был один из любимых коньков миссис Беттертон. Та немедленно поскакала на нем во весь опор.

— Все дело в воспитании, — заявила она. — Детей воспитывают теперь ужасно нелепо. Ничего удивительного, что они вырастают циниками. — Она говорила красноречиво. — Детям слишком рано позволяют слишком многое. Они пресыщаются развлечениями, привыкают ко всем удовольствиям с пелёнок. Я до восемнадцати лет ни разу не была в театре, — гордо заявила она.

— Бедняжка!

— Я хожу в театр с шести лет, — сказала Люси.

— А танцы! — ораторствовала миссис Беттертон. — Бал в день открытия охоты — какое это было событие! Потому что он бывал только раз в год. — Она процитировала Шекспира:

Нам праздники, столь редкие в году³³,
Несут с собой тем большее веселье.
И редко расположены в ряду
Других камней алмазы ожерелья. —

А теперь они нанизаны, как жемчужины на нитке.

— К тому же поддельные, — сказала Люси.

³³ У. Шекспир, сонет LII (перевод С. Маршака).

Миссис Беттертон торжествовала:

— Вот видите! А для нас они были настоящими, потому что они были редки. Для нас не «притуплялось острие редких удовольствий», потому что они не были повседневными. Теперешняя молодёжь испытывает скуку и усталость от жизни, ещё не достигнув зрелости. Когда удовольствие повторяется слишком часто, перестаёшь его воспринимать как удовольствие.

— Какое же лекарство вы предлагаете? — осведомился Джон Бидлэйк. — Если мне как члену конгрегации разрешено будет задать вопрос, — иронически добавил он.

— Шалунишка! — воскликнула миссис Беттертон с устрашающей игривостью. Затем, переходя на серьёзный тон: — Лекарство одно: поменьше развлечений.

— Но я не хочу, чтобы их было меньше, — возразил Джон Бидлэйк.

— В таком случае, — сказала Люси, — они должны становиться все острее.

— Все острее? — повторила миссис Беттертон. — Но до чего мы тогда дойдём?

— До боя быков? — высказал предположение Джон Бидлэйк. — Или до сражений гладиаторов? Или, может быть, до публичных казней? Или до забав маркиза де Сада ³⁴? Кто знает?

Люси пожала плечами:

— Кто знает?

Хьюго Брокл и Полли уже ссорились.

— По-моему, это безобразие, — говорила Полли, и её лицо покраснело от гнева, — вести войну против бедных.

— Но Свободные Британцы не ведут войны против бедных.

— Нет, ведут.

— Нет, не ведут, — сказал Хьюго. — Почитайте речи Уэбли.

— Я читаю только о его действиях.

— Но они не расходятся с его словами.

— Расходятся.

— Нет, не расходятся. Он борется только против диктатуры одного класса.

— Класса бедных.

— Любого класса, — серьёзно настаивал Хьюго. — В этом — вся задача. Классы должны быть одинаково сильными. Сильный рабочий класс, требующий повышения заработной платы, побуждает буржуазию к активности.

— Как блохи собаку, — заметила Полли и засмеялась; к ней вернулось хорошее настроение. Когда ей приходило в голову что-нибудь очень смешное, она никак не могла удержаться и не высказать этого, даже когда она была настроена серьёзно или, как в данном случае, когда она злилась.

— Ей так или иначе придётся быть изобретательной и прогрессивной, — продолжал Хьюго, изо всех сил стараясь выразить свою мысль как можно ясней. — Иначе она не сумеет платить рабочим, сколько они требуют, и в то же время извлекать прибыль. А с другой стороны, сильная и разумная буржуазия только полезна для рабочих, потому что она обеспечивает правильное руководство и правильную организацию. В результате рабочие имеют более высокий заработок и живут в мире и довольстве.

— Аминь, — сказала Полли.

— Следовательно, диктатура одного класса — нелепость, — продолжал Хьюго. — Уэбли хочет не уничтожить классы, а укрепить их. Он хочет, чтобы они жили в состоянии постоянного напряжения: каждый тянет в свою сторону, и в государстве устанавливается равновесие. Учёные говорят, что так работают органы нашего тела. Они живут в состоянии, — он замялся, он покраснел, — враждебного сожительства.

³⁴ Сад, Донасьен Альфонс, маркиз де (1740-1814) — французский писатель, значительную часть жизни провёл в тюрьмах за совершённые им преступления на сексуальной почве. Автор многочисленных романов, в которых содержится описание различного рода извращений; отсюда — «садизм».

— Крепко сказано!
— Простите, — извинился Хьюго.
— Все равно, — сказала Полли, — он против стачек.
— Потому что стачки — это глупость.
— Он против демократии.
— Потому что при ней к власти приходят негодные элементы. Он хочет, чтобы правили лучшие.
— Он сам, например, — саркастически сказала Полли.
— Ну так что ж? Если бы вы только знали, какой он замечательный человек! — Хьюго становился восторженным: последние три месяца он был одним из адъютантов Уэбли. — Таких людей я ещё никогда не встречал.

Полли с улыбкой слушала его излияния. Она чувствовала себя гораздо более взрослой, чем он. В школе она так же относилась к преподавательнице домашнего хозяйства и говорила о ней в таком же тоне. И все-таки его преданность вождю нравилась ей.

V

Воображению Уолтера Бидлэйка званые вечера представлялись джунглями с бесчисленными деревьями и свисающими лианами. Джунглями звуков. Ему казалось, что он заблудился в джунглях, что он пробивает себе дорогу сквозь переплетающуюся растительность. Люди были корнями деревьев, их голоса — стеблями и качающимися ветками и фестонами лиан — да, а также попугаями и болтливыми мартышками.

Деревья достигали потолка и с потолка снова спускались к полу, подобно манглиям. Но в этом зале, подумал Уолтер, так странно сочетавшем в себе римский внутренний двор и тропическую оранжерею ботанического сада, ростки звуков, подымаясь без помех на высоту трех этажей, должны были бы стать настолько крепкими, что тонкая стеклянная крыша, отделявшая их от внешнего мира, разлетелась бы под их напором. Он представлял себе, как они все растут и растут, подобно волшебному бобовому стеблю Джека Победителя Великанов³⁵. Они подымаются все выше, обременённые орхидеями и разноцветными какаду, все выше сквозь вечный туман Лондона в прозрачно-лунный свет. Он видел, как последние воздушные побеги звуков развеваются в лунном свете. Например, эти взрывы хохота, этот громкий смех толстяка слева от него, подымаясь вверх и все утончаясь, там, под луной, он превратился в нежный звон. А все эти голоса (что они говорят?.. «замечательная речь...»; «...вы себе представить не можете, до чего удобны эти резиновые бандажи...»; «такая скучища...»; «сбежала с шофёром...»), все эти голоса — какими прелестными и тонкими станут они там, наверху! Но здесь, внизу, в джунглях... Какие они громкие, глупые, вульгарные, бессмысленные!

Взглянув поверх голов окружающих его гостей, он увидел Франка Иллиджа, стоявшего одиноко, прислонясь к колонне. Поза и улыбка у него были байронические, одновременно разочарованные и презрительные; он смотрел вокруг с ленивым любопытством, словно наблюдая проделки мартышек. К сожалению, подумал Уолтер, пробираясь к нему сквозь толпу, внешние данные бедного Иллиджа отнюдь не соответствуют его байронической позе. Презрительные романтики должны быть высокими, медлительными, изящными и красивыми. Иллидж был низенький и суетливый, движения у него были порывистые. А какое смешное лицо! Вздёрнутый нос, рот до ушей: лицо очень смышлёного и забавного уличного мальчишки, вовсе не подходящее для того, чтоб выражать томное презрение. Кроме того, к байроническому выражению совсем не идут веснушки, а лицо Иллиджа было усеяно ими. Песочно-карие глаза, песочно-рыжие ресницы и брови сливались благодаря своей окраске с кожей, как лев сливается с окружающей его пустыней. Даже на небольшом

³⁵ Герой популярной английской детской сказки «Джек и бобовый стебель».

расстоянии его лицо казалось лишённым черт и лишённым взгляда, как лицо статуи, высеченной из песчаника. Бедный Иллидж! В роли Байрона он был просто смешон!

— Хэлло, — сказал Уолтер, подойдя к нему. Они обменялись рукопожатием. — Как ваша наука? — «Какой нелепый вопрос!» — подумал Уолтер, произнося эти слова.

Иллидж пожал плечами.

— Судя по сегодняшнему вечеру, она менее в моде, чем искусство. — Он поглядел по сторонам. — Сегодня тут чуть что не половина писателей и художников из соответствующего раздела «Кто есть кто»³⁶. Тут просто смердит искусством.

— Тем лучше для науки, — сказал Уолтер. — Представители искусства вовсе не стремятся быть в моде.

— Ах, разве? Так зачем же вы здесь?

— В самом деле, зачем? — Уолтер ответил на вопрос смехом. Он оглянулся, ища взглядом Люси. Он ещё не видел её с тех пор, как кончился концерт.

— Вы приходите сюда, чтобы стоять на задних лапках и чтобы вас за это гладили по головке, — сказал Иллидж, пытаясь вернуть себе самоуверенность. Воспоминания о том, как он чуть не растянулся на ступеньках, как леди Эдвард проявила полнейшее равнодушие к тритонам, как оскорбительно обошёлся с ним генерал, все ещё саднили. — Только взгляните на девушку с тёмными кудряшками в серебристом платье, похожую на белокожую негрятяночку. Как вы её находите? Ну разве не приятно, чтобы такая погладила тебя по головке, а?

— Вы считаете?

Иллидж расхохотался.

— Право, вы сегодня уж слишком возвышенно и философски настроены. Но, дорогой мой, все это чушь. Сам этим увлекался, так что кому уж лучше знать... Сказать по правде, завидую я вам, торговцам искусством, и вашим успехам. Я прямо-таки бешусь, как увижу какого-нибудь безмозглого, полоумного писателишку...

— Меня, например.

— Нет, вы рангом чуть повыше, — снизошёл Иллидж, — но когда я вижу какого-нибудь жалкого писаку раз в десять глупее меня — как он гребёт денежки, а над ним кудахнут, в то время как на меня никто и не взглянет, — я просто лопаюсь от злости.

— Воспринимайте это как комплимент. Если б кудахтали над вами, это означало бы, что в какой-то мере понимают ваши стремления. Вас же не понимают, потому что вы на голову выше остальных. Пренебрежение общества — комплимент вашему уму.

— Может быть, может быть. Но это и пощёчина моему телу. — Иллидж болезненно переживал свою внешность. Он знал, что дурён собой и непрезентабелен. И ему нравилось растравлять свою рану, наподобие того как человек с большим зубом то и дело ощупывает источник боли, просто чтобы убедиться, что место болезненно. — Если бы я выглядел как эта дубина Уэбли, не стали бы они меня презирать, будь я даже умнее Ньютона. Дело в том, — на этот раз он решил по сильнее нажать на больной зуб, — что я похож на анархиста. Вам-то повезло, сами знаете. Вы вылитый джентльмен или, на худой конец, художник. Вы и представить себе не можете, как досадно быть похожим на интеллектуала из низов. — Зуб чутко реагировал на нажатие. Иллидж надавил ещё сильнее: — Женщины не обращают на тебя внимание — *такие* женщины, во всяком случае. Полицейские же проявляют к тебе повышенное внимание, ты почему-то вызываешь их любопытство. Можете себе представить, меня уже дважды арестовывали просто потому, что я похож на изготовителя адских машин!

— Неплохой сюжетец, — усмехнулся Уолтер.

— Нет, правда, клянусь вам. Однажды здесь, в Англии. Около Честерфилда. Там была стачка шахтёров. Случилось так, что я наблюдал за схваткой между бастующими и штрейкбрехерами. Полицейским не понравилось моё лицо, и меня сцапали. Только спустя

³⁶ Ежегодный биографический справочник, выпускающийся в Англии с 1849 г.

несколько часов удалось мне вырваться из их когтей. Другой раз — в Италии. Кажется, кто-то попытался подложить бомбу под Муссолини. Как бы там ни было, свора бандитов-чернорубашечников заставила меня сойти с поезда в Генуе и обыскала с ног до головы. А все потому, что лицо у меня как у ниспровергателя устоев.

— Что ж, оно соответствует вашим убеждениям.

— Верно. Но лицо не может быть свидетельством. Лицо само по себе не является преступлением. Хотя, впрочем, — добавил он как бы в скобках, — некоторые лица таки преступления. Вы знаете генерала Нойля? — (Уолтер кивнул.) — Так вот его лицо требует высшей меры наказания. Самое меньшее, что заслуживает такой человек, так это смерть через повешение. Господи, так и убил бы их всех! — Разве он не поскользнулся на ступенях, разве не получил щелчок от этого мясника? — Как я ненавижу богатых! Ненавижу! Как они ужасны, ведь правда же?

— Более ужасны, чем бедные? — Воспоминание о комнате, где лежал умирающий Уэзерингтон, заставило его тут же устыдиться этого вопроса.

— Несомненно. Есть в этих богачах что-то особенно низкое, недостойное, болезненное. Деньги, как гангрена, порождают своего рода бесчувственность. Неизбежно. Иисус понимал это. Утверждение про верблюда и игольное ушко ³⁷ — непреложная истина. А помните другое место — про соседа или ближнего своего ³⁸? Вы, пожалуй, вообразите, что я верующий, — вставил он как бы в скобках извиняющимся тоном. — Но будем объективны. Этот человек был умен и умел разбираться в людях. Добрососедство — вот краеугольный камень, и оно выдаёт богатых с головой. У богачей нет соседей.

— Что же они — отшельники, черт возьми?

— У них нет соседей в том смысле, в каком они есть у бедных. Когда моей матери нужно было выйти, миссис Крэдок из соседнего дома направо приглядывала за нами, детьми. А моя мать делала для неё то же самое, когда миссис Крэдок нужно было выйти. А если кто-нибудь ломал ногу или оставался без работы, люди помогали ему едой и деньгами. Я прекрасно помню, как мальчишкой бежал по деревне за повитухой, так как у молоденькой миссис Фостер, жившей слева от нас, начались преждевременные роды. Когда приходится жить меньше чем на четыре фунта в неделю, волей-неволей станешь хорошим христианином и будешь любить своего соседа! Во-первых, вы не можете от него избавиться: он практически у вас на заднем дворе. Никакое утончённое философическое игнорирование его существования не поможет. Вы должны либо любить, либо ненавидеть его; и в целом вы склоняетесь к любви, потому что вам может понадобиться в случае крайней необходимости его помощь, а ему — ваша, и зачастую такая срочная, что не может быть и речи о том, чтобы в ней отказать. А раз вы должны помогать, то, коль в вас есть человечность, вы и будете помогать, и тогда уж лучше заставить себя любить человека, которому все равно вы должны помогать.

— Безусловно, — кивнул Уолтер.

— Но если вы богаты, у вас и соседей-то настоящих нету, — продолжал его собеседник. — Вы сами не привыкли к добрососедским поступкам и не ожидаете их от соседей. Да такие поступки и не нужны. У вас достаточно денег, чтобы оплатить службу. Вы можете нанять лакея, который будет проявлять доброту за стол и три фунта в месяц. И миссис Крэдок из соседнего дома не нужно присматривать за вашими детьми, когда вы уходите из дому. У вас есть няньки и гувернантки, которые будут делать это за деньги. Да вы обычно даже и не подозреваете о существовании своих соседей. Вы живёте на расстоянии, каждый как бы незримо замкнут в своём доме. За дверьми могут происходить трагедии, но

³⁷ «Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие!» (Евангелие от Марка, 10:25).

³⁸ «Любите ближнего, как самого себя» (Евангелие от Марка, 12:33).

люди из соседнего дома даже и не подозревают об этом.

— И слава Богу! — вырвалось у Уолтера.

— Конечно, слава Богу! Независимая личная жизнь — это роскошь. Приятно, не спорю. Но за роскошь надо платить. Людей не трогают несчастья, о существовании которых они не подозревают. Незнание порождает блаженное бесчувствие. В бедном квартале несчастья не скроешь. Жизнь слишком у всех на виду. Люди все время упражняют свои добрососедские чувства. Но у богатых нет даже повода проявить добрососедство к людям своего круга. В лучшем случае они могут посюсюкать над страданиями бедняков, которых они никогда не смогут понять, да проявить благотворительность. Ужасно! И это в лучшем случае. А в худшем, — он указал рукой на толпу гостей, — они, как леди Эдвард, — низший круг ада! Они, как её дочь... — Он скривил губы и пожал плечами.

Уолтер слушал с болезненно-напряжённым вниманием.

— Развратная, разложившаяся, неисправимо испорченная, — возглашал Иллидж тоном обличителя. Он только раз случайно обменялся несколькими словами с Люси Тэнтемаунт. Она едва удостоила его заметить.

Да, это так, думал Уолтер. Она заслуживала все то, что с завистью или недоброжелательством говорилось о ней, и все же она — самое чудесное и обаятельное существо в мире. Он знал, что все, что о ней говорят, — правда, и мог без возмущения все это выслушивать. И чем ужасней было то, что о ней говорили, тем больше он любил её. *Credo quia absurdum. Amo qui turpe, quia indignum*³⁹.

— Какая гниль! — продолжал ораторствовать Иллидж. — Типичный продукт нашей восхитительной цивилизации — вот что она такое. Утончённая и надушённая имитация дикаря или животного. Вот к чему приводит изобилие денег и свободного времени.

Уолтер слушал, закрыв глаза, думая о Люси. «Надушённая имитация дикаря или животного». Да, это так, и тем больнее были для него эти слова; но за все это и за то, что он страдал от этого, он любил её ещё сильнее.

— Ну, — сказал Иллидж другим тоном, — мне пора идти: может быть, Старикку вздумается ещё поработать сегодня ночью.

Обычно мы кончаем не раньше половины второго или двух. Надо сказать, мне нравится жить так — шиворот-навыворот: спать до обеда, работать после чая. В самом деле нравится. — Он протянул руку: — Пока.

— Давайте пообедаем вместе как-нибудь вечером, — сказал Уолтер без особенной настойчивости.

Иллидж кивнул головой:

— Отлично. Сговоримся на один из ближайших дней, — сказал он и ушёл.

Уолтер стал пробираться сквозь толпу в поисках Люси.

Затащив лорда Эдварда в угол, Эверард Уэбли убеждал его оказать поддержку Свободным Британцам.

— Но я не интересуюсь политикой, — сипло протестовал Старик. — Я не интересуюсь политикой... — Он с упрямством мула повторял эти слова в ответ на все, что говорил ему Уэбли.

Уэбли был красноречив. Люди доброй воли, люди, имеющие вес в стране, должны сплочёнными рядами встать против сил разрушения. Под угрозой находится не только частная собственность, не только материальное благополучие класса, но и английские традиции, и личная инициатива, и культурность, и все, что отличает цвет нации от толпы. Свободные Британцы вооружённой рукой защищают человеческую личность от толпы, от черни; они борются за признание естественного превосходства во всех областях. Брагов много, и они не дремлют.

³⁹ Верю, потому что нелепо. Люблю то, что ненавижу, что презираю (лат.). Первое выражение является парафразом изречения Тертуллиана (ок. 160 — после 220) из сочинения «О теле Христовом».

Но тот, кто предвидит опасность, тот сумеет её отразить: когда вы видите, что на вас готовится напасть шайка бандитов, вы принимаете боевой порядок, вы обнажаете мечи. (Уэбли питал слабость к мечам: он носил меч на парадах Свободных Британцев, его речи пестрели упоминаниями о мечях, его дом был весь разукрашен оружием.) Необходимы организованность, дисциплина, сила. Конституционные методы отжили свой век. Парламентская борьба имеет смысл лишь тогда, когда противники согласны между собой в основных положениях и расходятся только в частностях. Но когда на карту поставлены основные положения, нельзя ограничиваться в политике парламентской игрой: необходимо прибегнуть к угрозе и к прямому действию.

— Пять лет я провёл в парламенте, — говорил Уэбли. — Достаточно для того, чтобы убедиться, что в наши дни парламентскими методами ничего не достигнешь. С таким же успехом можно пытаться болтовнёй потушить пожар. Только прямое действие может спасти Англию. Когда мы её спасём, тогда можно будет снова подумать о парламенте. Но он не будет похож на теперешнее смехотворное сборище выбранных чернью богачей. А пока мы должны готовиться к борьбе. Если мы будем готовы к борьбе, мы сумеем победить, не обнажая оружия. Это — единственный выход. Верьте мне, лорд Эдвард, это — единственный выход.

Свирепя, как затравленный собаками медведь, лорд Эдвард всем телом поворачивался то в одну сторону, то в другую.

— Но я не интересуюсь по... — Он был так взволнован, что не мог закончить слова.

— Даже если вы не интересуетесь политикой, — вкрадчиво продолжал Уэбли, — вы обязаны интересоваться вашим состоянием, вашим положением, будущим вашей семьи. Не забывайте, что при всеобщем разрушении все это погибнет.

— Да, но... нет... — Лорд Эдвард был в полном отчаянии. — Я... я... не интересуюсь деньгами.

Однажды, много лет тому назад, глава нотариальной конторы, которой он доверил все свои дела, невзирая на требование лорда Эдварда никогда не беспокоить его деловыми вопросами, явился, чтобы посоветоваться со своим клиентом относительно каких-то вложений. Речь шла о кругленькой сумме в восемьдесят тысяч фунтов. Лорда Эдварда оторвали от уравнений, лежащих в основе статики живого организма. Когда он узнал, по какому ничтожному поводу его побеспокоили, обычно мягкий Старик расвирепел до неузнаваемости. Мистер Фиггис, человек с громким голосом и самоуверенными манерами, привык, чтобы все делалось по его советам. Гнев лорда Эдварда изумил и напугал его. Казалось, под влиянием гнева в Старике атавистически заговорило его феодальное прошлое, и он вдруг вспомнил, что он — Тэнтамаунт, разговаривающий с наёмным слугой. Он отдал приказание, это приказание было нарушено: его побеспокоили вопреки его запрету. Он этого не потерпит. Если подобная вещь повторится, он передаст свои дела другому нотариусу. С этими словами он пожелал мистеру Фиггису всего наилучшего.

— Я не интересуюсь деньгами, — говорил он теперь. Иллидж, бродивший поблизости, дожидаясь случая заговорить со Стариком, услышал это замечание и внутренне расхохотался. «Ох, уж эти богачи! — подумал он. — Черт бы их всех побрал! Все они на один лад!»

— Если вас не интересует ваше собственное будущее, — настаивал Уэбли, переменяя фронт, — подумайте по крайней мере о будущем цивилизации, о прогрессе.

Эти слова задели лорда Эдварда за живое. Они надавили скрытую пружину, освободившую всю его энергию.

— Прогресс! — повторил он. От его смущения и его растерянности не осталось и следа, теперь он говорил уверенным и решительным тоном. — Прогресс! Вы, политики, только о нем и говорите. Словно он будет продолжаться вечно. Ещё больше автомобилей, ещё больше детей, ещё больше пищи, ещё больше рекламы, ещё больше денег, ещё больше всего, и так до бесконечности. Биологией вам надо заняться, вот что! Физической биологией. Прогресс, как же! А скажите, пожалуйста, что вы собираетесь делать с фосфором? — Вопрос

звучал как обвинение по адресу его собеседника.

— Но это вовсе не относится к делу, — нетерпеливо сказал Уэбли.

— Наоборот, — возразил лорд Эдвард, — это и есть настоящее дело. — Его голос стал громким и суровым. Он говорил гораздо более связно, чем обычно. Говоря о фосфоре, он стал другим человеком: он глубоко переживал проблему фосфора, он сильно чувствовал и поэтому сам стал сильным. Затравленный медведь перешёл в нападение. — При ваших интенсивных методах возделывания почвы, — продолжал он, — вы просто выкачиваете из неё фосфор. Более полупроцента в год начисто уходит из кругооборота. А фосфор в сточных водах! Выливаете миллион тонн пятиоксида фосфора в море. И это вы называете прогрессом! Посмотрите на нашу современную систему канализации. — Глубочайшее презрение слышалось в его голосе. — Вы обязаны возвращать фосфор в землю, из которой вы его взяли. — Лорд Эдвард погрозил ему пальцем и нахмурился. — В землю. Понятно?

— Но какое мне дело до всего этого? — возражал Уэбли.

— В этом-то все несчастье, — сурово ответил лорд Эдвард, — что вам, политиканам, нет ни до чего дела. Вы даже не думаете о таких важных вещах. Кричите о прогрессе, о голосовании, о большевизме, а тем временем каждый год целый миллион тонн пятиоксида фосфора уходит в море. Это идиотство, это преступление, это... это все равно что играть на лире, когда горит Рим. — Заметив, что Уэбли открывает рот, он поспешил заранее ответить на его предполагаемые возражения. — Конечно, — сказал он, — вы скажете, что у нас есть фосфориты. Ну хорошо. А когда их месторождения будут истощены? — Он ткнул пальцем в манишку Эверарда. — Что? Когда пройдёт каких-нибудь двести лет и они истощатся? Вам кажется, что мы прогрессируем, а на самом деле мы расточаем капитал. Хищническое использование фосфатов, угля, нефти, азота — вот ваша политика. А тем временем вы стараетесь запугать нас разговорами о революции.

— Черт возьми, — сказал Уэбли, наполовину сердясь, наполовину забавляясь, — ваш фосфор подождёт. Нам угрожает другая, более близкая опасность. Скажите: вы хотите, чтобы произошла политическая и социальная революция?

— Даст она нам сокращение населения и контроль над производством? — спросил лорд Эдвард.

— Разумеется.

— В таком случае — да, я хочу, чтобы произошла революция. — Старик мыслил как биолог и не боялся логических выводов. — Разумеется. — Иллидж едва удержался от смеха.

— Ну, если такова ваша точка зрения... — начал Уэбли, но лорд Эдвард прервал его.

— Единственным результатом вашего прогресса, — сказал он, — будет то, что через несколько поколений произойдёт настоящая революция — я хочу сказать, естественная, космическая революция. Вы нарушаете равновесие. И в конечном счёте природа восстановит его. Вам будет очень не по себе при этом. Ваше падение займёт ещё меньше времени, чем ваш подъем. Благодаря хищническому использованию капитала вы окажетесь банкротами. Чтобы реализовать свои ресурсы, самому богатому человеку нужно очень немного времени. Но когда они реализованы, на то, чтобы умереть голодной смертью, времени нужно ещё меньше.

Уэбли пожал плечами.

«Сумасшедший старый дурак!» — подумал он; вслух он сказал:

— Параллельные линии никогда не сходятся, лорд Эдвард. Поэтому разрешите откланяться. — Он пошёл прочь.

Через несколько мгновений Старик и его ассистент подымались по торжественной лестнице в свой собственный замкнутый мир.

— Какое счастье! — сказал лорд Эдвард, открывая дверь лаборатории. Он с наслаждением вдохнул лёгкий запах чистого спирта, в котором плавали анатомические препараты. — Эти званые вечера! Как приятно вернуться к науке. И все-таки музыка была в самом деле... — Его восхищение было нечленораздельным.

Иллидж пожал плечами.

— Званные вечера, музыка, наука — все это развлечения для обеспеченных. Платите денежки и выбирайте на свой вкус. Самое важное — это иметь деньги. — Он как-то неприятно рассмеялся.

Иллиджа возмущали добродетели богачей гораздо сильнее, чем их пороки. Чревоугодие, леность, распушенность, да и все другие менее пристойные производные праздности и независимого дохода ещё можно было простить именно вследствие того, что они были позорными. Но духовность, нестяжательство, порядочность, утончённость чувств и вкусов — всеми этими качествами полагалось восхищаться; и именно поэтому он особенно их ненавидел. Ведь, согласно Иллиджу, эти добродетели были таким же фатальным порождением богатства, как пьянство или завтрак не раньше одиннадцати.

Иллидж считал, что буржуа только и знают, что возносят друг другу хвалы за бескорыстие. То есть за то, что у них есть на что жить, и потому они могут не работать и не думать о деньгах. Вот и расхваливают себя за то, что они могут отказаться от платы. И ещё за то, что у них достаточно денег, чтобы создать себе утончённо-культурную обстановку. И ещё за то, что у них есть лишнее время и они могут тратить его на чтение книг, созерцание картин и на сложные, изощрённые формы любви. Почему они не могут сказать просто и прямо, что все их добродетели основаны на облигациях пятипроцентного государственного займа?

Слегка насмешливая нежность, с которой Иллидж относился к лорду Эдварду, умерялась досадой при мысли о том, что все интеллектуальные и нравственные качества Старика, все его милые чудачества возможны лишь благодаря возмутительно благополучному состоянию его текущего счета. И это подспудное неодобрение становилось отчётливым каждый раз, когда он слышал, как другие восхищаются лордом Эдвардом, одобряют его или даже посмеиваются над ним. Смех, одобрение и восхищение разрешались только ему самому, потому что он-то понимал и мог прощать. Другие же люди даже не догадывались, что здесь есть что прощать. Иллидж всегда торопился объяснить им это.

«Если бы предки Старика не были разбойниками и не грабили монастырей, — говорил он его поклонникам, — он бы давно попал в работный дом или в больницу для умалишённых».

И все же он искренно любил Старика, он искренно восторгался его способностями и его характером. Однако можно понять, что люди об этом не подозревали. «Несимпатичный» — таково было единодушное мнение об ассистенте лорда Эдварда.

Но если оставить в стороне неприязнь к богатым и неприязнь богатых, Иллидж считал и симпатию своей священной обязанностью. Он испытывал симпатию к своему классу, к обществу в целом, к будущему, к идее справедливости. Да и на Старика тоже оставалась малая толика. Но достаточно было ему хоть полсловечка сказать в защиту души (ведь лорд Эдвард питал, по выражению его ассистента, постыдную и противоестественную страсть к идеалистической метафизике), как Иллидж набрасывался на него с насмешками над философией капиталистов и религией буржуа. А стоило Старику неодобрительно отозваться о тупоголовых дельцах, проявить безразличие к денежным обстоятельствам или симпатию к беднякам, как Иллидж принимался делать более или менее прозрачные, но всегда саркастические намёки на миллионы Тэнтемаунтов.

Бывали дни (из-за щелчка от генерала, из-за того, что он чуть не растянулся на ступеньках, сегодня, похоже, был именно такой день), когда даже обращение к чистой науке вызывало у него иронические замечания. Иллидж был энтузиастическим приверженцем биологии; но как гражданин с определённым классовым сознанием он не мог не признать, что чистая наука (как хороший вкус, как скука, извращения и платоническая любовь) — порождение богатства и праздности. Он не боялся быть последовательным и насмехаться даже над собственным идолом.

— Иметь деньги, — говорил он, — это самое важное.

Старик виновато смотрел на своего ассистента. Он чувствовал себя неловко от этих скрытых упрёков. Он перевёл разговор на другую тему.

— А как поживают наши жабы, — спросил он, — наши асимметрические жабы? — Они вывели партию жаб из икринок, которые чрезмерно подогревались с одного бока и охлаждались с другого. Он направился к стеклянной банке с жабами. Иллидж шёл за ним.

— Асимметрические жабы! — повторил он. — Асимметрические жабы! Какая изощрённость! Все равно что играть Баха на флейте или смаковать дорогие вина. — Он подумал о своём брате Томе, у которого были слабые лёгкие и который работал фрезеровщиком на машиностроительном заводе в Манчестере. Он вспомнил дни стирки и розовую потрескавшуюся кожу на распухших от соды руках своей матери. — Асимметрические жабы! — повторил он ещё раз и рассмеялся.

— Не понимаю, — сказала миссис Беттертон, — как такой великий художник может быть таким циником. — В обществе Барлепа она предпочитала принимать слова Джона Бидлэйка всерьёз. На тему о цинизме Барлеп говорил всегда очень возвышенно, а миссис Беттертон нравилась возвышенность. Возвышенным он был и тогда, когда говорил о величии, а также об искусстве. — Вы ведь должны признать, — добавила она, — что он великий художник.

Барлеп медленно кивнул головой. Он не смотрел на миссис Беттертон: его взгляд был направлен в сторону и вниз, словно он обращался к какому-то маленькому существу, невидимому для всех, кроме него, которое стояло рядом с миссис Беттертон; может быть, это был его личный демон, эманация его собственного «я», маленький Doppelganger⁴⁰. Барлеп был человек среднего роста, немного сутулый и неуклюжий. У него были тёмные волосы, густые и курчавые, с естественной розовой тонзурой величиной в монету, серые, глубоко посаженные глаза, крупные, но красивые нос и подбородок и полный, довольно большой рот. Старый Бидлэйк, карикатурист не только на бумаге, но и на словах, говорил, что Барлеп — это помесь кинематографического злодея и святого Антония Падуанского в изображении какого-нибудь барочного художника или помесь шулера и святоши.

— Да, великий художник, — согласился он, — но не один из величайших. — Он говорил медленно, задумчиво, словно обращаясь к самому себе. Все его разговоры представляли собой диалоги с самим собой или с маленьким двойником, невидимо стоявшим рядом с теми людьми, к которым Барлеп обращался. По существу, Барлеп всегда разговаривал с самим собой. — Не один из величайших, — медленно повторил он. Как раз сегодня он закончил статью на тему об искусстве для очередного номера еженедельника «Литературный мир». — Именно по причине своего цинизма. — «Не знаю, — думал он, — удобно ли мне цитировать самого себя?»

— Как это верно! — Миссис Беттертон разразилась аплодисментами немножко преждевременно: она всегда готова была загореться энтузиазмом. Она сжала руки. — Как верно! — Она смотрела на лицо отвернувшегося Барлепа и находила его таким одухотворённым, таким по-своему красивым.

— Может ли циник быть великим художником? — продолжал Барлеп, решившись наконец выложить перед ней содержание своей статьи, с риском, что она узнает его слова, когда ближайший номер выйдет из печати. Но даже если она узнает, это не изгладит впечатления, которое произведут его слова сейчас. «А зачем тебе, собственно, производить впечатление? — вставил насмешливый чертёнок. — Потому, что она богата и может быть тебе полезна, так, что ли?» Но чертёнок был немедленно поставлен на своё место. «На тебе лежит огромная ответственность, — поспешно объяснил ангел. — Светильник не ставят под сосудом⁴¹. Он должен светить всем, и особенно людям доброй воли». Миссис Беттертон была, без сомнения, человеком доброй воли; её энтузиазм стоило подогреть. — Великий художник, — сказал он вслух, — это человек, синтезирующий весь наш жизненный опыт.

⁴⁰ Двойник (нем.).

⁴¹ Евангелие от Луки, 8:16.

Циник отрицает добрую половину этого опыта — душу, идеалы, Бога. Но ведь духовная жизнь для нас так же реальна и несомненна, как жизнь материальная.

— Конечно, конечно! — воскликнула миссис Беттертон.

— Бессмысленно отрицать как ту, так и другую. — «Бессмысленно отрицать меня», — сказал демон, просовывая голову в сознание Барлепа.

— Бессмысленно!

— Циник ограничивает свой жизненный опыт только одной половиной фактов, меньшей половиной, потому что факты духовной жизни более многочисленны, чем факты телесной жизни.

— Их бесконечно больше!

— В своей узкой области он может достигнуть большого мастерства. Возьмите, например, Бидлэйка. Он замечательный мастер. В своём творчестве он воплощает совершеннейшую технику современной живописи. Или по крайней мере воплощал.

— Да, воплощал, — вздохнула миссис Беттертон. — В первые годы нашего знакомства. — Она словно хотела сказать, что если он и писал когда-нибудь хорошо, то только под её влиянием.

— Но свой гений он растрчивает на мелочи. В своём творчестве он синтезирует ограниченное, относительно несущественное.

— Именно это я всегда ему говорила, — сказала миссис Беттертон, в новом и более лестном для своей репутации свете интерпретируя тогдашние свои споры с Бидлэйком о прерафаэлитях. — Возьмите, например, Берн-Джонса, говорила я ему. — В её ушах прозвучал оглушительный раблезианский хохот Джона Бидлэйка. — Я не говорю, конечно, что Берн-Джонс очень хороший художник, — поспешно добавила она. («Он пишет так, — говорил Джон Бидлэйк, глубоко шокируя и оскорбляя её этими словами, — словно он никогда в жизни не видел голого зада».) — Но его темы благородны. Если бы у вас, говорила я, были *его* идеалы, были *его* мечты, вы стали бы *действительно* великим художником.

Барлеп кивнул и одобрительно улыбнулся. «Да она на стороне ангелов, — думал он, — она нуждается в поощрении. На мне лежит огромная ответственность». Демон подмигнул.

«В его улыбке, — рассуждала про себя миссис Беттертон, — есть что-то от портретов Леонардо и Содомы⁴² — что-то таинственное, тонкое, скрытое».

— Хотя, конечно, — продолжал Барлеп, пережёвывая свою статью фразу за фразой, — в произведении искусства тема — это ещё далеко не все. Уитьер⁴³ и Лонгфелло были начинены высокими идеями. Но их стихи весьма посредственны.

— Как это верно!

— Единственное обобщение, на которое можно рискнуть, — это что величайшие произведения искусства были написаны на высокие темы и что произведение, тема которого незначительна, как бы совершенно оно ни было выполнено, никогда не достигает подлинной высоты совершенства.

— А вот и Уолтер, — прервала его миссис Беттертон. — Бродит, как нераскаянный дух. Уолтер!

Услышав, что его окликают, Уолтер обернулся. Боже милостивый — Беттертониха! И Барлеп! Он изобразил улыбку. Но миссис Беттертон и его коллега по «Литературному миру» меньше всего интересовали его в эту минуту.

— А мы как раз говорили о проблеме великого в искусстве, — объяснила миссис Беттертон. — Мистер Барлеп высказывал такие глубокие мысли! — И она принялась

⁴² Содома — прозвище Бацци, Джованни Антонио (1477-1549), итальянского художника, ученика Леонардо да Винчи.

⁴³ Уитьер, Джон Гринлиф (1807-1892) — американский поэт-квакер, воспевавший любовь к родине, религиозное чувство и т.д.

повторять Уолтеру все глубокие суждения Барлепа.

Уолтер пытался понять, почему Барлеп держал себя с ним так холодно, так замкнуто, почти враждебно. Иметь дело с Барлепом было нелегко. Никогда нельзя было понять, как он относится к вам. Он или любил, или ненавидел. Общение с ним было длинным рядом сцен: он вёл себя или очень враждебно, или, что, с точки зрения Уолтера, было ещё более утомительно, слишком нежно. Так или иначе, поток эмоций не переставал бурлить ни на минуту, не давая передохнуть в стоячей воде ровных отношений. Поток не стихал. Почему теперь он повернул в сторону враждебности?

Тем временем миссис Беттертон выкладывала глубокие суждения. Уолтер находил, что они очень похожи на некоторые абзацы из статьи Барлепа, которую он только сегодня корректировал перед отсылкой в типографию. Воссозданная в виде целой серии взрывов восторга на основании словесного воспроизведения самого Барлепа, статья звучала довольно глупо. Так вот оно что! Может быть, поэтому?.. Он взглянул на Барлепа. Лицо Барлепа окаменело.

— Пожалуй, мне пора идти, — резко сказал Барлеп, когда миссис Беттертон сделала паузу.

— Нет, что вы! — запротестовала она. — Почему?

Он сделал над собой усилие и улыбнулся своей улыбкой в стиле Содомы.

— Мирское слишком уж над нами тяготеет ⁴⁴, — произнёс он таинственно. Он любил произносить таинственные изречения, неожиданно вставляя их посреди разговора.

— Вот уж чего о вас никак не скажешь, — льстиво сказала миссис Беттертон.

— Все дело в толпе, — объяснил он. — Чуть-чуть побуду в толпе — и она начинает меня пугать. Я чувствую себя так, точно мою Душу задавили насмерть. Если бы я остался, я начал бы рыдать. — И он распрощался.

— Какой замечательный человек! — воскликнула миссис Беттертон, когда он ещё не успел отойти настолько, чтобы не услышать. — Какой вы счастливый, что работаете с ним!

— Он прекрасный редактор, — сказал Уолтер.

— Но я говорю о его *индивидуальности* — как бы это выразить? — о его духовном начале.

Уолтер кивнул головой и довольно неопределённо сказал «да»: он вовсе не склонён был приходить в восторг от духовного начала Барлепа.

— В наш век, — продолжала миссис Беттертон, — он настоящий оазис в пустыне легкомыслия и цинизма.

— У него бывают блестящие идеи, — осторожно согласился Уолтер.

Он думал о том, скоро ли ему удастся сбежать от неё.

— Вот Уолтер, — сказала леди Эдвард.

— Какой Уолтер? — спросил Бидлэйк. Подводные течения званого вечера снова свели их вместе.

— Ваш Уолтер.

— Ах, мой! — Хотя он не очень стремился увидеть своего сына, он посмотрел по направлению её взгляда. — Как он вытянулся! — сказал он. Ему не нравилось, что его дети росли: вырастая, они оттесняли его на задний план, год за годом оттесняли к забвению и смерти. Вот Уолтер. Он родился совсем недавно, а сейчас мальчишке уже, наверное, двадцать пять лет.

— Бедняга Уолтер! Вид у него не блестящий.

— Такой вид, словно у него глисты, — свирепо сказал Бидлэйк.

— А как эта его печальная история? — спросила она.

— Все так же, — пожал плечами Бидлэйк.

— Я никогда не видела эту женщину.

⁴⁴ Мирское слишком уж над нами тяготеет... — первая строка сонета Уильяма Вордсворта (1770-1850).

— Зато я видел. Она ужасна.

— Что? Вульгарна?

— Нет, нет! Хуже: она так утончённа, так невероятно утончённа! А как она говорит! —

Он заговорил, растягивая слова, тоненьким голоском, который должен был изображать голос Марджори: — Как маленькая невинная деточка. И она такая серьёзная, такая культурная. — Он засмеялся своим раскатистым смехом. — Знаете, что она мне как-то сказала? Надо вам заметить, со мной она всегда говорит об искусстве. Искусстве с большой буквы, конечно. Она сказала, — здесь его голос снова перешёл на младенческий фальцет: — «Мне кажется, можно любить одинаково Фра Анджелико ⁴⁵ и Рубенса». — Он снова разразился гомерическим смехом. — Какая дура! А нос у неё по крайней мере на три дюйма длинней, чем следует.

Марджори открыла шкатулку, в которой она хранила свои письма. Письма Уолтера. Она развязала ленточку и пересмотрела их все, одно за другим. «Дорогая миссис Карлинг, посылаю Вам томик писем Китса, о которых мы говорили сегодня. Прошу Вас, не трудитесь возвращать его мне: у меня есть другой экземпляр. И я перечту его, чтобы доставить себе удовольствие сопровождать Вас, хотя бы и на расстоянии, в Вашем духовном путешествии».

Это было его первое письмо. Она прочла его до конца, и в её памяти воскресла та радость, которую вызвали тогда в ней эти слова о духовном путешествии. В разговорах он всегда избегал затрагивать личные темы, он был болезненно застенчив. Она не ожидала, что он станет писать так. Позднее, когда их переписка стала регулярной, она привыкла к его странностям. Она убедилась, что с пером в руке он гораздо смелее, чем лицом к лицу. Всю свою любовь — по крайней мере когда она выражалась словами и когда в начале ухаживания он бывал сколько-нибудь пылок — он изливал в письмах. Это вполне удовлетворяло Марджори. Она готова была до бесконечности продолжать эту культурную и на словах пламенную любовь по почте. Ей нравилась самая идея любви, но любовники нравились ей только на расстоянии и в воображении. Заочный курс страсти казался ей идеальной формой отношений с мужчиной. Ещё больше нравились ей личные отношения с женщинами, потому что женщины, даже при личном общении с ними, сохраняют все положительные свойства мужчины на расстоянии. Можно сидеть с женщиной в одной комнате, и она будет требовать от вас не больше того, что требует мужчина, находящийся на другом конце системы почтовых отделений. Уолтер, застенчивый в разговоре и страстный и смелый в письмах, сочетал, с точки зрения Марджори, все достоинства обоих полов. И сверх того, он проявлял такой глубокий, такой лестный интерес ко всему, что она делала, чувствовала и думала. Бедняжка Марджори не была избалована вниманием.

«Сфинкс», — прочла она в третьем письме. (Он называл её так за её загадочное молчание. Карлинг по той же причине звал её Брюквой или Рыбой.) «Сфинкс, почему Вы прячетесь в скорлупу молчания? Можно подумать, что Вы стыдитесь своей доброты, нежности и чуткости. Но скрыть их Вам все равно не удаётся».

Слезы подступили к её глазам. Он так хорошо относился к ней, он был таким нежным и ласковым! А теперь...

«Любовь, — читала она сквозь слезы в следующем письме, — любовь превращает физическое желание в духовное: она обладает магическим свойством претворять тело в душу...»

Да, даже у него бывали *такие* желания. Даже у него. Вероятно, они бывают у всех мужчин. Как это отвратительно! Она вздрогнула, с ужасом вспоминая Карлинга, вспоминая даже Уолтера. Да, даже Уолтера, хотя он был таким милым и деликатным. Уолтер понимал её. Тем удивительнее его теперешнее поведение. Он точно стал другим человеком, вернее — диким животным, животнo-жестоким, животнo-похотливым.

⁴⁵ Прозвище итальянского художника, монаха-доминиканца Гвидо ди Пьетро (ок. 1387-1455); здесь «бестелесность» образов произведений раннего Возрождения противопоставлена грубой чувственности героинь Рубенса.

«Как он может быть таким жестоким? — спрашивала она себя. — Как он может быть намеренно жестоким, Уолтер?» Её Уолтер, настоящий Уолтер, был такой мягкий, чуткий и деликатный, такой необычайно заботливый и добрый. Она полюбила его за его доброту и нежность, несмотря на то что он был мужчина и у него бывали *такие* желания; вся её преданность была направлена на того нежного, заботливого, деликатного Уолтера, которого она узнала и оценила, когда они стали жить вместе. Она любила в нем даже слабости и недостатки, происходившие от деликатности; любила его даже за то, что он переплачивал шофёрам и носильщикам, за то, что он пригоршнями раздавал серебро бродягам, рассказывавшим явно лживые истории о работе, ожидающей их в другом конце Англии, и об отсутствии денег на дорогу. Он с чрезмерной готовностью становился на точки зрения других. В своём стремлении быть справедливым к другим он часто бывал несправедлив к самому себе. Он всегда предпочитал жертвовать своими правами, лишь бы не нарушать права других людей. Марджори понимала, что в таких случаях деликатность граничит со слабостью, становится пороком; к тому же эта деликатность происходила от робости, от того, что он был недотрогой и брезгливо уклонялся не только от всякого столкновения, но даже от всякого неприятного соприкосновения с людьми. И все-таки она любила его за это, любила даже тогда, когда от этого страдала она сама. Потому что, включив её в свой собственный мирок, который он противопоставлял всему остальному миру, он стал приносить в жертву своей преувеличенной деликатности не только свои, но и её интересы. Как часто говорила она ему, что его работа в «Литературном мире» оплачивается слишком низко! Она вспомнила их последний разговор на эту самую неприятную для него тему.

— Барлеп выжимает из тебя все соки, Уолтер, — сказала она.

— Журнал сейчас в очень затруднительном положении. — Он всегда находил, чем оправдать проступки других людей по отношению к себе.

— Но это ещё не причина, чтобы тебя эксплуатировали.

— Никто меня не эксплуатирует. — Он говорил раздражённым тоном человека, чувствующего свою неправоту. — А если даже и так, пусть лучше меня эксплуатируют, но торговаться из-за своего фунта мяса я не буду. В конце концов, это моё дело.

— И моё тоже! — Она протянула тетрадь, в которую она вписывала расходы, когда у них начался разговор. — Если бы ты знал, как подорожали овощи!

Он покраснел и, не отвечая ей, вышел из комнаты. Подобные разговоры бывали у них нередко. Недоброе отношение к ней никогда не было у Уолтера намеренным; он поступал так только из чрезмерной деликатности по отношению к другим, да и то лишь тогда, когда он и к себе самому был недобр. Она никогда не сердилась на его несправедливое отношение к ней: оно доказывало только, как тесно связал он себя с ней. Но теперь, теперь от той невольной недоброты не осталось и следа. Мягкий и деликатный Уолтер исчез; какой-то другой человек, безжалостный, полный ненависти, намеренно причинял ей страдания.

Леди Эдвард рассмеялась.

— Если она действительно так безнадежна, интересно, что же он в ней нашёл?

— А что мы вообще находим в тех, кого мы любим? — Голос Джона Бидлэйка был полон меланхолии. Он неожиданно почувствовал себя нехорошо — тяжесть в желудке, тошнота, икота. Последнее время это случалось нередко. И всегда после еды. Сода не помогала. — В этих случаях все мы одинаковые глупцы, — добавил он.

— Благодарю вас! — засмеялась леди Эдвард.

— О присутствующих не говорят, — пытаюсь быть галантным, сказал он с улыбкой и лёгким поклоном. Он снова подавил икоту. Как скверно он себя чувствует! — Вы не возражаете, если я сяду? — спросил он. — Все время на ногах... — И он тяжело опустился в кресло.

Леди Эдвард заботливо посмотрела на него, но ничего не сказала. Она знала, что он не выносит упоминаний о возрасте, болезни или физической слабости.

«Это, наверно, икра, — думал он. — Проклятая икра!» В эту минуту он остро ненавидел икру. Каждый осётр в Чёрном море был его личным врагом.

— Бедный Уолтер! — сказала леди Эдвард, возобновляя прерванный разговор. — А он такой талантливый.

Джон Бидлэйк презрительно фыркнул. Леди Эдвард поняла, что опять она сказала не то, что надо, на этот раз нечаянно, в самом деле нечаянно. Она переменяла тему.

— А Элино́р? — спросила она. — Когда возвращается Элино́р с Куорлзом?

— Завтра выезжают из Бомбея, — лаконически ответил Джон Бидлэйк. Он был слишком занят мыслями об икре и о своих желудочных ощущениях, чтобы отвечать более подробно.

VI

Индусы пили либерализм из ваших источников, — сказал мистер Сита Рам, цитируя одну из своих речей в законодательном собрании. И он показал пальцем на Филипа Куорлза, словно обвиняя его. Капли пота катились одна за другой по его коричневым, отвислым щекам; казалось, он оплакивает Матерь Индию. Одна капля, отливая в свете лампы всеми цветами радуги, как драгоценный камень, висела на кончике его носа. Когда он говорил, она сверкала и вздрагивала, словно разделяя его патриотические чувства. В момент особенно бурного взрыва чувств капля вздрогнула в последний раз и при слове «источников» упала на куски рыбы в тарелке мистера Ситы Рама.

— Бёрк⁴⁶ и Бэкон⁴⁷, — звучно возглашал мистер Сита Рам. — Мильтон⁴⁸ и Маколей⁴⁹...

— Ах, смотрите! — Голос Элино́р Куорлз был пронзительным от испуга. Она вскочила так порывисто, что опрокинула стул. Мистер Сита Рам повернулся к ней.

— В чем дело? — спросил он недовольным тоном: досадно, когда вас прерывают в середине периода.

Элино́р показала пальцем. Огромная серая жаба прыгала по веранде. В наступившем молчании был слышен каждый её прыжок; словно мокрая губка шлёпалась об пол.

— Жаба — животное безвредное, — сказал мистер Сита Рам, привыкший к тропической фауне.

Элино́р умоляюще посмотрела на мужа. Он ответил ей неодобрительным взглядом.

— Ну что ты, в самом деле? — сказал он. Сам он испытывал глубокое отвращение к подобным животным. Но он умел стоически подавлять своё отвращение. То же самое было и с пищей. В рыбе было — только теперь он нашёл подходящее сравнение — что-то жабье. И все-таки он ел её. Элино́р после первого глотка больше к ней не притронулась.

— Прогони её, ради Бога, — прошептала она. Её лицо выражало страдание. — Ты знаешь, как я их ненавижу.

⁴⁶ Бёрк, Эдмунд (1729-1797) — английский оратор, публицист и политический деятель.

⁴⁷ Бэкон, Фрэнсис (1561-1626) — английский философ.

⁴⁸ Мильтон, Джон (1608-1674) — английский поэт, публицист, политический деятель.

⁴⁹ Маколей, Томас (1800-1859) — английский историк и политический деятель либерального направления. И Бёрк, и Маколей принимали активное участие в политике Индии: Бёрк вёл кампанию за либерализм в отношении колоний, Маколей создал индийский уголовный кодекс.

Филип рассмеялся; извинившись перед мистером Ситой Рамом, он встал с места, очень высокий и тонкий, и заковылял по веранде. Носком своего неуклюжего ортопедического башмака он передвинул жабу к краю веранды. Она тяжело шлёпнулась в сад. Посмотрев через перила, он увидел море, сияющее вдали среди пальмовых стволов. Луна тоже взошла, и пучки листьев чётко вырисовывались на фоне неба. Ни один лист не шевелился. Было невероятно жарко, и казалось, что жара с наступлением ночи все усиливается. При солнце жара была не так ужасна: она была естественной. Но эта душливая тьма... Филип отёр лицо и вернулся к столу.

— Итак, вы говорили, мистер Сита Рам...

Но вдохновение оставило мистера Ситу Рама.

— Я сегодня перечитывал произведения Морли⁵⁰, — объявил он.

— Ух ты! — сказал Филип Куорлз, любивший при случае выразиться по-школьнически среди серьёзного разговора. Это обычно производило большое впечатление. Но мистер Сита Рам вряд ли мог оценить это «ух ты!» по достоинству.

— Какой мыслитель! — продолжал он. — Какой великий мыслитель! И какая чистота стиля!

— Да, пожалуй.

— У него попадаются замечательные выражения, — не унимался мистер Сита Рам. — Я выписал некоторые из них. — Он порылся в карманах, но не нашёл своей записной книжки. — Не важно, — сказал он. — Но некоторые выражения замечательны. Иногда прочтёшь целую книгу и не найдёшь в ней ни одного выражения, которое стоило бы запомнить или процитировать. Какой смысл в такой книге, спрашиваю я вас?

— В самом деле, какой?

Четверо или пятеро неопрятных слуг вышли из дому и переменили тарелки. Появилась груда мясных пирожков подозрительного вида. Элинон в отчаянии посмотрела на мужа, а потом стала уверять мистера Ситу Рама, что она никогда не ест мяса. Стоически поедая пирожки, Филип одобрил её благоразумие. Они пили сладкое шампанское, тёплое, как чай; за пирожками последовало сладкое — большие шары бледного цвета (чувствовалось, что их долго и любовно мяли в ладонях) из какого-то загадочного вещества, одновременно вязкого и хрустящего, сладкого и в то же время отдававшего бараньим салом.

Под влиянием шампанского вдохновение вернулось к мистеру Сите Раму. Теперь его последняя парламентская речь полилась сама собой.

— У вас один закон для англичан, — говорил он, — и другой — для индусов: один — для угнетателей и другой — для угнетаемых. Слово «справедливость» либо исчезло из вашего словаря, либо изменило своё значение.

— Я склонён думать, что изменилось его значение, — вставил Филип.

Мистер Сита Рам не обратил внимания на замечание Филипа. Он преисполнился священного негодования, тем более страстного, что оно было столь очевидно бессильным.

— Возьмите, например, случай, — продолжал он (и его голос дрожал помимо воли), — с несчастным начальником станции из Бхованипора.

Но Филип вовсе не собирался рассматривать этот случай. Он думал о том, как меняется значение слова «справедливость». До того как он побывал в этой стране, справедливостью для Индии казалось одно. Теперь, когда он собирался уехать отсюда, справедливостью казалось совсем другое.

У начальника станции из Бхованипора, как выяснилось, был незапятнанный послужной список и девять человек детей.

— Но почему вы не научите их предохранительным мерам, мистер Сита Рам? — спросила Элинон. Она всегда содрогалась, слыша об этих огромных семействах. Она

⁵⁰ Морли, Эдуард (1838-1923) — английский политический деятель и писатель, автор ряда монографий, в том числе об Э. Бёрке. С 1905 по 1910 г. был министром по делам Индии.

вспоминала, как она мучилась, когда рожала маленького Фила. А ведь к её услугам были хлороформ и две сиделки и сэр Клод Эглет. Тогда как у жены начальника станции из Бхованипора... ей приходилось слышать об индусских повитухах. — Разве это не единственный выход для Индии?

Мистер Сита Рам считал, однако, что единственным выходом является всеобщее избирательное право и самоуправление. Он вернулся к истории начальника станции. Он с честью сдал все испытания и получил самую блестящую оценку. И все-таки его по крайней мере четыре раза обходили повышением — четыре раза! — и каждый раз выдвигали вместо него какого-нибудь европейца или евразийца. Кровь мистера Ситы Рама кипела при мысли о пяти тысячелетиях индийской цивилизации, индийской духовной жизни, индийского морального превосходства, цинически попираемых в лице начальника станции из Бхованипора ногами англичан.

— И это справедливость, я спрашиваю? — Он стукнул кулаком по столу.

«Кто знает, — размышлял Филип. — Может быть, это и есть справедливость».

Элинор все ещё думала о девяти детях. Ей рассказывали, как повитухи, чтобы ускорить роды, становятся своим пациенткам на живот. А вместо спорыньи они пичкают их смесью коровьего навоза и толчёного стекла.

— И это вы называете справедливостью? — повторил мистер Сита Рам.

Поняв, что от него ожидают ответа, Филип покачал головой и сказал «нет».

— Вы должны написать об этом, — сказал мистер Сита Рам. — Вы должны вскрыть эти безобразия.

Филип выразил сожаление, что он всего только романист, а не публицист и не журналист.

— Вы знаете старого Даулата Синга, — добавил он с видимой непоследовательностью, — того, который живёт в Аджмире?

— Я встречался с ним, — сказал мистер Сита Рам тоном, из которого явствовало, что он не любит Даулата Синга или, может быть (что казалось Филипу более вероятным), что тот не любит или за что-то не одобряет мистера Ситу Рама.

— Мне он показался очень интересным человеком, — сказал Филип. Для людей, подобных Даулату Сингу, слово «справедливость» означало совсем не то, что для мистера Ситы Рама или для начальника станции из Бхованипора. Он вспомнил благородное лицо старика, блестящие глаза, сдержанную страстность его слов. Если бы только он не жевал бетель...

Наступило время уходить. Наконец-то! Они попрощались с преувеличенной сердечностью, сели в ожидавший их автомобиль и уехали. Земля между пальмами была будто усыпана серебряными монетами, забрызгана кляксами ртути. Машина катилась сквозь непрерывное мерцание света и тьмы — как в кинематографе двадцать лет тому назад; а когда машина вырвалась из-под пальм, их облило ярким светом огромной луны.

«Трехликая Геката ⁵¹, — думал Филип, шурясь на блестящий шар. — Ну а как же Сита Рам и Даулат Синг и начальник станции? А древняя, внушающая благоговейный ужас Индия? А справедливость и свобода? А прогресс и будущее? Вся беда в том, что мне до всего этого нет никакого дела. Ровно никакого. Это позор. Но мне нет дела. И ликов у Гекаты вовсе не три. Их тысячи, их миллионы. Приливы. Богиня озера Немо ⁵². Прямо пропорционально произведению масс и обратно пропорционально квадрату расстояний. Серебряная монета — рукой подать, а на самом деле величиной как вся Российская империя.

⁵¹ Геката — в греческой мифологии богиня ведовства и магии, а также Луны; отождествлялась с богиней Луны Дианой и богиней подземного царства Персефоной. Изображалась в виде трехликой женщины.

⁵² В древности на берегах этого озера, расположенного в Италии, недалеко от Рима, находился один из самых знаменитых храмов богини Луны Дианы; само озеро называлось Зеркалом Дианы.

Больше, чем Индия. Как хорошо будет вернуться в Европу! И подумать только, что было время, когда я читал книги о йогах и делал дыхательные упражнения и пытался убедить себя, что я не существую! Вот тоже дурак! А все от разговоров с этим идиотом Барлепом. К счастью, люди не оставляют на мне глубокого следа. Они скользят по мне, как пароход по морю. Но поверхность снова становится гладкой. Интересно, каков будет завтрашний пароход? Пароходы Ллойда Триестино считаются хорошими. Я сказал — к счастью, а может быть, на самом деле нужно стыдиться своего безразличия? Вспомни притчу о сеятеле. Зерно, упавшее на каменистую почву ⁵³. Но когда делаешь вид, что ты не то, что есть на самом деле, все равно никакого толку не получается. Взять, например, Барлепа. Вот тоже комедиант! А ведь многие ему верят. Включая его самого, вероятно. Очень возможно, что никто не лицемерит сознательно, кроме особых случаев. Невозможно все время носить маску. А все-таки хотелось бы узнать, как это можно так сильно верить во что-нибудь, чтобы ради этого убивать людей или самому пойти на смерть. Стоило бы испытать...»

Элинор тоже смотрела на яркий диск. Луна, полная луна... И вдруг Элинор переместилась в пространстве и времени. Она опустила глаза и повернулась к мужу; она взяла его за руку и нежно прильнула к нему.

— Помнишь те вечера? — спросила она. — В саду в Гаттендене. Помнишь, Фил?

Слова Элинор донеслись к нему издалека, из мира, который сейчас несколько не интересовал его. Он неохотно отозвался.

— Какие вечера? — спросил он голосом из другого мира, сухим и бесцветным голосом человека, отвечающего на назойливый телефонный звонок.

При звуке этого телефонного голоса Элинор быстро отодвинулась от Филипа. Прижиматься к человеку, который, как выясняется, на самом деле отсутствует, это не только досадно, это, кроме того, унижительно. А он ещё спрашивает, какие вечера! Действительно!

— Почему ты меня больше не любишь? — с отчаянием в голосе спросила она. О каких же других вечерах она могла говорить, как не о вечерах в то чудесное лето после их свадьбы, которое они провели в доме её матери. — Ты совершенно не обращаешь на меня внимания — меньше внимания, чем на мебель, гораздо меньше, чем на книгу.

— Но, Элинор, о чем ты? — Филип выразил своим голосом больше удивления, чем он на самом деле испытывал. После первого мгновения, когда он выбрался на поверхность из глубин своей задумчивости, он понял, что она хотела сказать, он связал сегодняшнюю индийскую луну с той лунной, которая восемь лет назад сияла над Харфордширским садом. Ему следовало бы сказать об этом. Все стало бы сразу проще. Но он сердился, когда его прерывали, он не любил выслушивать упрёки, и к тому же искушение доказать в споре свою правоту было слишком сильным. — Я задаю простой вопрос, — продолжал он, — просто хочу знать, о чем ты говоришь. А ты начинаешь жаловаться на то, что я больше не люблю тебя. Не вижу никакой логической связи.

— Но ты отлично знаешь, о чем я говорила, — сказала Элинор, — и потом это правда: ты больше не любишь меня.

— Любить-то я тебя люблю, — сказал Филип и, все ещё пытаясь оставаться на почве диалектики (хотя он знал, что это все равно бесполезно), продолжал подвергать Элинор сократическому допросу, — но вот что мне действительно хотелось бы уразуметь: каким образом возник этот разговор. Мы начали с вечеров, и вот...

Но логика интересовала его жену гораздо меньше, чем любовь.

— Ах, я отлично знаю, что ты никогда не скажешь, что не любишь меня! — прервала она. — Словами ты не скажешь. Ты не захочешь причинить мне боль. Но мне гораздо больней, когда ты не говоришь об этом прямо, когда ты обходишь это молчанием. Ведь своим молчанием ты тоже признаешь, что не любишь меня. Но от этого гораздо больней,

⁵³ «...Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плодов» (Евангелие от Иоанна, 12:24).

потому что боль длится дольше, потому что нет уверенности, потому что страдания все повторяются. Пока слово не сказано, всегда остаётся надежда: а может, оно и не подразумевалось. Даже если знаешь, что на самом деле оно наверняка подразумевалось. Всегда остаётся надежда. А где надежда, там и разочарование. То, что ты уклоняешься от ответа, Фил, — это не доброта, это жестокость.

— Я не уклоняюсь от ответа, — возразил он. — Но зачем мне говорить, что я тебя не люблю, если я тебя люблю?

— Да, но как? Как ты любишь? Не так, как ты любил раньше. Или, может быть, ты забыл? Ты даже не помнишь о том времени, когда мы только что поженились.

— Но, дорогое дитя, — возражал Филип, — будь точней. Ты сказала просто «эти вечера», а я должен был догадываться какие.

— Конечно, — сказала Элинор, — Ты бы догадался, если бы обращал на меня сколько-нибудь внимания. Об этом-то я и говорю. Ты так мало любишь меня теперь, что даже не помнишь о том времени, когда ты любил. Неужели, по-твоему, я могу забыть эти вечера?

Она вспомнила сад, невидимые в темноте душистые цветы, огромную чёрную веллингтонию на лужайке, восходящую луну и двух каменных грифонов по обеим сторонам низкой террасы, где они сидели вдвоём. Она вспомнила его слова и его поцелуи, прикосновения его рук. Она вспомнила все, вспомнила с мелочной точностью тех, кто любит погружаться в прошлое и восстанавливать его, кто неустанно перебирает каждую драгоценную подробность прежнего счастья, возрождённого воспоминанием.

— Это просто изгладилось из твоей памяти, — добавила она с печальным укором: для неё те вечера обладали большей реальностью, чем почти вся её жизнь теперь.

— Да нет же, я помню, — нетерпеливо сказал Филип, — только я не умею так сразу переключать своё сознание. Когда ты заговорила со мной, я думал о чем-то другом — только и всего.

— Хотела бы я, чтобы у меня тоже было о чем думать кроме этого, — вздохнула Элинор. — Вся беда в том, что мне не о чем больше думать. Зачем я так люблю тебя? Зачем? Это несправедливо. Ты защищён своим интеллектом и талантом. Ты можешь уйти в работу, в мир идей. Но у меня нет ничего; мне нечем защититься от моих переживаний; у меня нет ничего, кроме тебя. А ведь защита нужна именно мне. Потому что я люблю тебя. Тебе не от чего защищаться. Тебе все равно. Нет, это несправедливо, это несправедливо.

В конце концов, размышляла она, это и всегда было так. Он никогда не любил её по-настоящему, даже в самом начале. Он никогда не любил её глубоко, всем своим существом, до самозабвения. Потому что даже в самом начале их любви он уклонялся от слишком близкого соприкосновения, он не хотел отдать ей всего себя. А она отдавала ему все, решительно все. И он брал, ничего не давая взамен. Он никогда не отдавал ей свою душу, самую интимную часть своего «я». Всегда, даже в самом начале, даже когда он очень любил её. Она была счастлива тогда, но только потому, что она ещё не знала, что такое счастье, она ещё не понимала, что любовь может быть иной, более глубокой. Сейчас она испытывала извращённое наслаждение, унижая своё прежнее счастье, обесценивая свои воспоминания. Луна, тёмный душистый сад, огромное чёрное дерево, бархатная тень на лужайке... Она отрицала их, она отрекалась от счастья, символами которого они сохранились в её памяти.

Филип Куорлз молчал. Ему нечего было сказать. Он обнял её и привлёк к себе; он целовал её лоб, её дрожащие ресницы — они были влажными от слез.

Грязные предместья Бомбея проносились мимо. Фабрики и лачуги и огромные жилые дома, в лунном свете призрачные и белые, как скелеты. Коричневые тонконогие пешеходы возникали на мгновение в свете фар, точно истины, постигнутые интуитивно, мгновенно и с безусловной очевидностью, и сейчас же скрывались снова в пустоте кромешной тьмы. Здесь и там придорожные огни выхватывали из мрака тёмные тела и лица. Обитатели мира, внутренне такого же далёкого от них, как самая далёкая из звёзд, смотрели на них, когда автомобиль проносился мимо скрипучих телег, запряжённых буйволами.

— Дорогая, — повторял он. — Дорогая...

Элино́р позволила себя утешить.

— Ты любишь меня хоть немножко?

— Больше всех на свете.

Она даже засмеялась. Правда, в её смехе слышалось рыдание, но все-таки это был смех.

— Как ты стараешься быть нежным со мной! — А все-таки, думала она, те дни в Гаттендене были действительно блаженными. Они принадлежали ей, она пережила их; от них нельзя отречься. — Ты так стараешься. Это так мило с твоей стороны.

— Перестань говорить глупости, — сказал он. — Ты отлично знаешь, что я люблю тебя.

— Любишь? — Она улыбнулась и погладила его по щеке. — Да, когда у тебя есть время, да и то по беспроволочному телеграфу через Атлантический океан.

— Нет, это неправда. — Но в глубине души он знал, что это правда. Всю жизнь он шёл один, в пустоте своего собственного мира, куда он не допускал никого: ни свою мать, ни друзей, ни своих возлюбленных. Даже когда он держал её в объятиях, он общался с ней по беспроволочному телеграфу через Атлантический океан.

— Это неправда, — с нежной насмешкой повторила она. — Беденький Фил! Но ведь ты и ребёнка не сумеешь обмануть. Ты не умеешь лгать убедительно. Ты слишком честен. За это-то я и люблю тебя. Если бы ты знал, до чего ты прозрачен.

Филип молчал. От разговоров о личных отношениях ему всегда становилось неловко. Они угрожали нарушить его одиночество — то одиночество, которое одна часть его сознания осуждала (потому что он чувствовал себя отрезанным от многого, что он хотел бы испытать); и все-таки только в этом одиночестве мог жить его дух, только там он чувствовал себя свободно... Обычно он воспринимал это внутреннее одиночество как нечто само собой разумеющееся, такое же естественное, как воздух, которым мы дышим. Но когда оно было под угрозой, он болезненно ощущал, как оно ему необходимо; он боролся за него, как задыхающийся борется за глоток воздуха. Но это была пассивная борьба, сводившаяся к отступлению и обороне. Теперь он окопался в молчании, в том спокойном, уединённом, холодном молчании, которое Элино́р, он был уверен, не станет нарушать, зная всю безнадежность подобных попыток. Он оказался прав: Элино́р взглянула на него и, отвернувшись, принялась созерцать озарённый луной пейзаж. Их параллельные молчания текли во времени не встречаясь.

Они мчались сквозь индийскую тьму. В воздухе, казавшемся прохладным от быстрого движения, запах тропических цветов сменялся запахом сточных вод, пищи и горящего коровьего навоза.

— И все-таки, — вдруг сказала Элино́р, не в силах больше сдерживать своей обиды, — ты не можешь обойтись без меня. Что станет с тобой, если я уйду от тебя к человеку, который сумеет дать что-нибудь взамен того, что даю я? Что станет с тобой?

Вопрос канул в молчание. Филип не ответил. Но что действительно станет с ним? Он и сам не знал. В повседневной жизни он был чужеземцем, испытывающим неловкость от общения с подобными себе, не умеющим или неспособным общаться с теми, кто не говорит на родном ему интеллектуальном языке идей. Эмоционально он был чужеземцем. Элино́р служила ему переводчиком, драгоманом. Подобно своему отцу, Элино́р Бидлэйк родилась с даром интуитивно понимать людей и чувствовать себя с ними свободно: она быстро находила общий язык с любым человеком. Не хуже, чем её отец, она инстинктивно понимала, как нужно разговаривать с людьми всех категорий, кроме разве той, к какой принадлежал её муж. Трудно найти нужные слова, разговаривая с человеком, который сам ничего не говорит, который отвечает на личное безличным, на слова, полные чувства и предназначенные только для него, — интеллектуальными обобщениями. И все-таки, любя его, она не оставляла попыток войти с ним в более близкое соприкосновение; и, хотя здесь было от чего прийти в отчаяние — это было все равно что петь перед глухонемым или играть при пустом зрительном зале, — она упорно старалась передать ему свои интимные мысли и переживания. Бывали минуты, когда он, делая над собой огромное усилие, пытался ввести её

в свой внутренний мир. Может быть, привычка к скрытности лишила его способности выражать свои переживания или, может быть, самая способность переживать атрофировалась от постоянного молчания и подавления; как бы то ни было, эти редкие минуты близости доставляли Элинор только разочарование. Святая святых, куда он с таким трудом ввёл её, оказалась почти такой же голой и пустой, как та, которая представилась изумлённому взору римских солдат, осквернивших Иерусалимский храм.

И все-таки она была благодарна Филипу за его добрые намерения, за то, что он по крайней мере хотел посвятить её в свою эмоциональную жизнь, хотя эта эмоциональная жизнь сводилась к очень немногому. Своего рода пирроновское безразличие ко всему⁵⁴, свойственное Филипу от природы и усугублённое привычкой, умерялось прирождённой мягкостью и добротой и сменялось изредка неистовыми вспышками физической страсти. Разум Элинор говорил ей, что это так; но на практике её чувства восставали против того, с чем она была в теории согласна. Все, что было в ней живого, восприимчивого, иррационального, страдало от его безразличия, словно он был холоден только с ней одной. И тем не менее, вопреки всем своим чувствам, Элинор всегда знала, что его безразличие не относится лично к ней, что он таков же со всеми, что он любит её настолько, насколько он умеет любить, что его любовь к ней не уменьшается, потому что она никогда не была более сильной; раньше она была, пожалуй, более страстной, но даже тогда она не была более эмоциональной, более самозабвенной, чем теперь. Но все-таки её чувства не мирились с этим; он не должен быть таким! Не должен, да! Но таким он был. После взрыва возмущения Элинор смирялась и старалась любить его настолько разумно, насколько она могла, удовлетворяясь его нежностью, его страстью, существовавшей в нем как-то отдельно от него самого, его редкими попытками эмоционально сблизиться с ней и, наконец, его умом, умом, способным быстро и глубоко охватить все, даже те эмоции, которых он не мог испытывать, и те инстинкты, которым не хотел поддаваться.

Однажды, когда он рассказывал ей о книге Келлера про обезьян, она сказала:

— Знаешь, Фил, ты вроде обезьяны, только навыворот. Почти человек, как бедняжки шимпанзе. Вся разница в том, что они пытаются мыслить при помощи своих чувств и инстинктов, а ты пытаешься чувствовать при помощи своего интеллекта. Почти человек. На самой грани, бедный мой Фил!

Он так изумительно понимал все; поэтому было очень весело служить для него переводчиком и объяснять ему других людей. (Гораздо менее весело было объяснять себя.) Он схватывал все, что мог уловить разумом.

Она осведомляла его о своём общении с туземцами мира эмоций, и он сразу понимал все, он обобщал её опыт, он связывал его с опытом других людей, классифицировал, находил аналогии и параллели. Единичное и неповторимое становилось в его руках частью системы. Она с удивлением обнаруживала, что она сама и её друзья, помимо своей воли, подтверждали какую-нибудь теорию или служили примером при каком-нибудь интересном обобщении. Её функции драгомана не ограничивались разведкой и осведомлением. Зачастую ей приходилось служить посредником между Филипом и каким-нибудь третьим лицом, с которым он хотел войти в соприкосновение: она создавала атмосферу, без которой невозможно личное общение, не давала разговорам стать чрезмерно интеллектуальными и сухими. Предоставленный самому себе, Филип не был бы в состоянии установить или поддерживать личное общение. Но когда рядом с ним была Элинор, которая создавала и поддерживала это общение, он способен был понимать и сочувствовать разумом; Элинор уверяла его, что в этом понимании и сочувствии нет ничего человеческого. Переходя к абстракциям, он снова становился сверхчеловеком.

Да, служить драгоманом при таком исключительно сообразительном путешественнике по стране чувств было истинным развлечением. Но это было больше чем развлечение: в

⁵⁴ Пиррон (ок. 360-270 до н.э.) — греческий философ, основатель скептицизма.

глазах Элинора это было, кроме того, долгом. Нужно было думать о его работе.

— Ах, если б ты был немножко меньше сверхчеловеком, Фил, — говаривала она ему, — какие прекрасные романы ты писал бы!

И он соглашался с ней, немного огорчённый. Он был достаточно умен, чтобы понимать, чего ему недостаёт. Элинора старалась насколько могла возместить это; осведомляла его о нравах туземцев, служила посредником, когда он хотел войти с кем-нибудь из них в личное соприкосновение. Не только ради себя, но и ради него самого как писателя она хотела, чтобы он перестал быть таким безличным, чтобы он научился жить не только своим интеллектом, но и чувствами, инстинктами и интуицией. Она героически поощряла даже его пассивное влечение к другим женщинам: две-три любовные связи принесли бы ему пользу. Она так заботилась о том, чтобы принести ему пользу как писателю, что не раз, видя, как он восхищённо смотрит на какую-нибудь молодую женщину, она принималась устанавливать для него личное общение с ней, установить которое он сам не умел. Это было, конечно, рискованно: он мог полюбить по-настоящему; он мог забыть о своём интеллекте и стать другим человеком, и все это досталось бы какой-нибудь другой женщине. Элинора шла на риск отчасти потому, что она считала, что его творчество важнее, чем все остальное, важнее, чем даже её собственное счастье, отчасти же потому, что она втайне была уверена, что на самом деле никакого риска нет и что он никогда не потеряет голову и не уйдёт к другой женщине. Метод лечения при помощи любовных связей действовал бы медленно, если он вообще оказался бы действенным, и она верила, что, если он окажет действие, она сумеет использовать его в своих интересах. Однако пока что он не действовал. Филип изменял ей очень редко, и его измены не оказывали на него сколько-нибудь заметного влияния. Он оставался до ужаса, до безумия все тем же — сообразительным настолько, что казался почти человеком, холодно-добрым, разъединенно страстным и чувственным, безлично-нежным. Почему она до сих пор любит его? — спрашивала она себя. С таким же успехом можно любить книжный шкаф. Когда-нибудь она все-таки уйдёт от него. Нельзя быть такой альтруистичной и преданной. Надо подумать и о собственном счастье. Быть любимой, а не только любить; получать, а не только отдавать... Да, когда-нибудь она все-таки уйдёт от него. Нужно подумать и о самой себе. Кроме того, ему это послужит наказанием. Да, наказанием, потому что она была убеждена, что, если она уйдёт от него, он будет искренне несчастен, по-своему — насколько он вообще может быть несчастен. И, может быть, это страдание совершит то чудо, к которому она стремилась все эти годы; может быть, оно сделает его более восприимчивым, более человеческим. Может быть, оно сделает его настоящим писателем, может быть, это даже её долг — сделать его несчастным, самый священный её долг...

Собака, перебежавшая через дорогу впереди машины, вывела её из задумчивости. Как неожиданно ворвалась она в узкую вселенную автомобильных фар! Бегущая во весь опор, она существовала какую-то долю секунды и снова скрылась во тьме по другую сторону освещённого мира. Другая собака внезапно появилась на её месте, преследуя первую.

— О! — воскликнула Элинора. — Её... — Огни автомобиля метнулись в сторону и снова вперёд; машину мягко встряхнуло, словно одно из её колёс переехало камень, но камень взвизгнуло. — ...задавит, — закончила она.

— Её уже задавило.

Шофёр-индус обернулся, улыбаясь во весь рот. Видно было, как сверкнули его зубы.

— Собака! — сказал он. Он гордился своим умением говорить по-английски.

— Бедный пёс! — Элинора передёрнуло.

— Сам виноват, — сказал Филип, — зачем не смотрел. Вот чем кончается погоня за самкой!

Наступило молчание. Его прервал Филип.

— Нравственность приняла бы очень странные формы, — вслух размышлял он, — если бы мы любили в определённый сезон, а не круглый год. Понятие о нравственном и безнравственном менялось бы по месяцам. Первобытное общество гораздо более склонно к

сезонной любви, чем цивилизованное. Даже в Сицилии в январе рождается вдвое больше детей, чем в августе. Это лишний раз доказывает, что весной юноша... Но нигде это не бывает *только* весной. У людей не бывает ничего похожего на течку у сук или кобыл. Если не считать некоторых явлений в моральной сфере. Дурная репутация женщины привлекает мужчин. Дурная слава свидетельствует о доступности. В животном мире отсутствие течки соответствует тому, что в женщине мы называем целомудрием...

Элинора слушала с интересом и в то же время с некоторым ужасом. Достаточно было несчастному животному попасть под автомобиль, и вот уже заработал этот гибкий, неутомимый интеллект. Несчастный, изголодавшийся пёс-пария был раздавлен колёсами автомобиля. Это происшествие заставило Филипа привести статистические данные о рождаемости в Сицилии, высказать ряд мыслей об относительности морали, дать блестящее психологическое обобщение. Это было удивительно, это было неожиданно, это было увлекательно; но, Боже: она готова была разрыдаться.

VII

Отделавшись от миссис Беттертон и раскланявшись издали с отцом и леди Эдвард, Уолтер снова отправился на поиски. Наконец он нашёл то, что искал. Люси Тэнтмаунт только что вышла из столовой и стояла под аркой, нерешительно смотря по сторонам. Кожа её казалась особенно белой в траурном платье. Букетик гардений был приколот к корсажу. Она подняла руку и прикоснулась к гладким чёрным волосам; изумруд в её кольце подал Уолтеру зелёный сигнал с другого конца зала. Критически, с какой-то холодной интеллектуальной ненавистью Уолтер осмотрел её и спросил себя, за что, собственно, он её любит? За что? Не было ни объяснений, ни оправдания. Все говорило за то, что он не должен её любить.

Вдруг она двинулась, она вышла из поля его зрения. Уолтер пошёл вслед за ней. Проходя мимо двери в столовую, он заметил Барлепа, который оставил свою роль отшельника и пил шампанское, слушая графиню д'Экзержилло. «Ого-го! — подумал Уолтер, вспоминая свой собственный опыт с Молли д'Экзержилло. — Но Барлеп, вероятно, обожает её. Ему это как раз подходит... Он... Но вот и Люси; разговаривает — проклятие! — с генералом Нойлем». Уолтер остановился неподалёку, нетерпеливо дожидаясь возможности заговорить с ней.

— Наконец-то я вас поймал, — говорил генерал, поглаживая её руку. — Искал вас весь вечер.

Наполовину — сатир, наполовину — добрый дядюшка, он питал к Люси стариковскую слабость.

«Очаровательная малютка! — уверял он всех, кто соглашался его выслушивать. — Очаровательная фигурка! А какие глаза!» Он предпочитал молоденьких. «Что может быть лучше молодости!» — любил он говорить. Его долголетняя неприязнь к Америке и американцам превратилась в восторженное преклонение после того, как он в возрасте шестидесяти пяти лет посетил Калифорнию и насмотрелся на голливудских звёздочек и прекрасных купальщиц с берегов Тихого океана. Люси было почти тридцать, но генерал знал её давно; он продолжал относиться к ней, как к юной девушке своих первых воспоминаний. Ему она все ещё казалась семнадцатилетней. Он снова погладил её руку.

— Ну, теперь мы с вами поболтаем, — сказал он.

— Это будет очень весело, — сказала Люси с саркастической любезностью.

Уолтер смотрел на них со своего наблюдательного пункта. Генерал когда-то был красив. Его высокая фигура, затянутая в корсет, все ещё сохраняла военную выправку. Как истый гвардеец, он, улыбаясь, покручивал седой ус. Через минуту он опять был старым дядюшкой, настроенным игриво, покровительственно и доверчиво. Слегка улыбаясь, Люси с безжалостным и насмешливым любопытством рассматривала его своими светло-серыми глазами. Уолтер вглядывался в её лицо. Она даже не особенно красива. Так за что же? Он

искал причин, искал оправданий. За что? Он упорно задавал себе этот вопрос. Ответа не было. Просто он влюбился в неё — вот и все; как сумасшедший, с первого же взгляда.

Повернув голову, Люси заметила его. Она кивнула ему и подозвала к себе. Он сделал вид, что приятно удивлён.

— Надеюсь, вы не забыли нашего уговора, — сказал он.

— Разве я когда-нибудь забываю? Кроме тех случаев, когда я делаю это нарочно, — добавила она со смехом. Затем, обращаясь к генералу: — Мы с Уолтером увидим сегодня вашего пасынка, — объявила она таким тоном и с такой улыбкой, словно говорила о ком-то, кто был особенно дорог её собеседнику. Но она прекрасно знала, что между Спэндреллом и его отчимом смертельная вражда. Люси унаследовала от матери страсть к сознательным «промахам», которая у неё принимала оттенок научной любознательности, унаследованной от отца. Ей нравилось экспериментировать, но не на лягушках и морских свинках, а на человеческих существах. Сказать человеку что-нибудь неожиданное, поставить его в дурацкое положение и смотреть, что из этого получится. Это был метод Дарвина и Пастера.

В данном случае получилось то, что лицо генерала Нойля побагровело.

— Я давно не виделся с ним, — холодно сказал он. «Прекрасно, — сказала она себе, — он реагирует».

— Но он такой милый, — сказала она вслух.

Генерал покраснел ещё больше и нахмурился. Чего он только не делал для этого мальчишки! И какой неблагодарностью платил ему мальчишка, как безобразно он себя вёл! Его выгоняли со всех мест, на которые его устраивал генерал. Лодырь, шалопай, пьяница и развратник; причиняет своей матери страдания, сидит у неё на шее, позорит своё имя. А его наглость! Какие слова он посмел ему сказать, когда они виделись в последний раз и когда между ними, по обыкновению, произошла сцена! Генерал никогда не забудет, что его назвали «старым слюнявым импотентом».

— И он такой способный, — говорила Люси. С внутренней улыбкой она вспомнила резюме карьеры его отчима, составленное Спэндреллом. «Исключённый за неуспеваемость из Харроу ⁵⁵, — гласило оно, — окончивший Сандхерст последним по списку, он сделал блестящую карьеру в армии, достигнув во время войны высокого поста в контрразведке». Он изумительно читал некролог генерала. Прямо-таки слышались неподражаемые интонации «Тайме».

— Такой способный, — повторила Люси.

— Да, некоторые считают его способным, — очень холодно сказал генерал Нойль, — но лично я... — Он с силой прочистил горло. Это было *его* личное мнение.

Через минуту он откланялся, все так же сурово, все с тем же сердитым достоинством. Он чувствовал себя оскорблённым. Даже молодость Люси и её обнажённые плечи были недостаточной компенсацией за эти похвальные отзывы о Морисе Спэндрелле. Нахальный выродок! Его существование было для генерала бельмом в глазу; и он вымещал обиду на своей жене. Женщина не имеет права иметь подобного сына, никакого права! Бедной миссис Нойль нередко приходилось искупать перед вторым мужем оскорбления, нанесённые ему её сыном. Она была всегда под рукой, её можно было помучить, она была слишком слаба, чтобы сопротивляться. Выведенный из терпения генерал считал, что грехи сына должны пасть на голову его родительницы ⁵⁶.

Люси посмотрела вслед его удаляющейся фигуре и, обращаясь к Уолтеру, сказала:

— Что делать, чтобы не попадаться генералу? Такие разговоры и сами по себе

⁵⁵ В этом городе находится одно из самых привилегированных средних учебных заведений Англии; в Сандхерсте — королевское военное училище.

⁵⁶ Автор приводит парафраз библейского изречения: «Сын не несёт вины отца своего» (Книга пророка Иезекииля, 18:19).

достаточно ужасны, а от него ещё такой запах! Ну как, едем?

Уолтер только этого и дожидался.

— А как же ваша мать и гости? — спросил он. Она пожала плечами.

— Пускай мама сама возится со своим зверинцем.

— Да, это действительно зверинец, — сказал Уолтер, неожиданно преисполняясь надеждами. — Давайте ускользнём куданибудь в тихое местечко.

— Бедный Уолтер! — В её глазах была насмешка. — Никогда не встречала людей с такой страстью к тишине. Но я не хочу никаких тихих местечек.

Его надежды испарились, оставив лёгкую горечь и бессильное раздражение.

— Тогда почему бы нам не остаться здесь? — спросил он, пытаясь быть саркастическим. — Разве здесь недостаточно шумно?

— Да, но здесь не тот шум, который я люблю, — объяснила она. — Ненавижу шум, производимый культурными, почтёнными, уважаемыми людьми, вот как вся эта публика. — Она жестом указала на гостей. Её слова заставили Уолтера вспомнить отвратительные вечера, которые он проводил с Люси в компании людей некультурных и не заслуживающих уважения, да к тому же пьяных. Гости леди Эдвард были достаточно неприятны. Но те были, безусловно, ещё неприятней. Как она может их выносить?

Люси, казалось, угадала его мысли. Она с улыбкой положила ему руку на плечо.

— Не страдайте! — сказала она. — На этот раз я не поведу вас в дурную компанию. Будет Спэндрелл...

— Спэндрелл, — повторил он с гримасой.

— А если Спэндрелл для вас недостаточно шикарен, там, наверно, будет ещё Марк Рэмпион с женой, если только мы приедем не слишком поздно.

При имени художника и писателя Уолтер одобрительно кивнул.

— Да, я охотно послушаю шум, который производит Рэмпион. — Затем, делая усилие, чтобы преодолеть робость, которая всегда заставляла его молчать, когда наступал момент выразить свои чувства словами: — Но я предпочёл бы, — добавил он шутливым тоном, чтобы его слова звучали не так смело, — я предпочёл бы где-нибудь наедине послушать шум, который производите вы.

Люси улыбнулась, но ничего не ответила. Он с каким-то ужасом уклонился от её взгляда. Её глаза смотрели на него бесстрастно и холодно, точно они знали все заранее и не интересовались больше ничем, а только слегка забавлялись, очень слегка, очень равнодушно забавлялись.

— Ну что ж, — сказал он, — идёмте. — Тон у него был покорный и несчастный.

— Нам придётся улизнуть, — сказала она, — сбежать украдкой. А то нас поймают и заставят вернуться.

Но им не удалось скрыться незамеченными. Подходя к двери, они услышали позади себя шелест платья и звук поспешных шагов. Голос назвал Люси по имени. Они обернулись и увидели миссис Нойль, жену генерала. Она положила руку на плечо Люси.

— Мне только что сказали, что сегодня вечером вы увидите Мориса, — сказала она, не объясняя, что генерал сообщил ей об этом только для того, чтобы отвести душу и сказать что-нибудь неприятное человеку, который безропотно стерпит его грубость. — Передайте ему два слова от меня. Хорошо? — Она умоляюще наклонилась всем телом вперёд. — Вы это сделаете? — Было что-то трогательно-юное и беспомощное в её манере, что-то очень юное и нежное, несмотря на её пожилое лицо. К Люси, которая годилась ей в дочери, она обращалась как к кому-то старшему и более Сильному. — Пожалуйста!

— Ну конечно, — сказала Люси. Миссис Нойль благодарно улыбнулась.

— Скажите ему, — сказала она, — что я приду к нему завтра в конце дня.

— Завтра в конце дня.

— Между четырьмя и половиной пятого. И не говорите об этом никому больше, — добавила она после минутного колебания.

— Ну конечно, я никому не скажу.

— Я так благодарна вам, — сказала миссис Нойль и с неожиданным и робким порывом поцеловала Люси. — Спокойной ночи, Дорогая. — Она скрылась в толпе.

— Можно подумать, — сказала Люси, когда они проходили по вестибюлю, — что она назначала свидание любовнику, а не сыну.

Два швейцара, два услужливых автомата, распахнули перед ними дверь. Закрывая дверь, они многозначительно перемигнулись. На мгновение машины превратились в живых людей.

Уолтер дал шофёру такси адрес ресторана Сбизы и влез в замкнутую темноту автомобиля. Люси уже уселась в углу.

Тем временем в столовой Молли д'Экзержилло все ещё разговаривала. Она гордилась своим искусством вести разговор. Эта способность была у неё наследственной. Её мать была одной из знаменитых мисс Джогеган из Дублина. Её отец был тот самый господин судья Брабант, который славился своей застольной беседой и своими остроумиями в суде. Сверх того, замуж она вышла тоже за блестящего собеседника: д'Экзержилло был учеником Робера де Монтескью, и Марсель Пруст почтил его упоминанием в «Содоме и Гоморре». Если бы Молли и не владела искусством разговора от рождения, она усвоила бы его от мужа. Природа и среда объединёнными усилиями сделали из неё профессионала-атлета красноречия. Подобно всем добросовестным профессионалам, она не полагалась только на свои таланты. Она была трудолюбива, она упорно работала над развитием своих природных данных. Злоязычные друзья утверждали, что она зубрит свои парадоксы по утрам, лёжа в постели. Она и сама не скрывала, что ведёт дневник, в который, наряду со сложной историей своих переживаний и ощущений, она заносит каждый понравившийся ей анекдот, каламбур и образный оборот. Может быть, она освежала их в памяти, заглядывая в эту летопись каждый раз, когда одевалась, чтобы ехать в гости? Те же самые друзья, которые слышали, как она практикуется по утрам, видели её трудолюбиво заучивающей, подобно ученику накануне экзамена, эпиграммы Жана Кокто об искусстве, послеобеденные рассказы м-ра Биррелла ⁵⁷, анекдоты У. Б. Йейтса о Джордже Муре ⁵⁸ и слова, сказанные ей Чарли Чаплином во время её последней поездки в Голливуд. Как все специалисты-говоруны, Молли весьма экономно расходовала свою мудрость и остроумие: количество *bon mots* ⁵⁹ не настолько велико, чтобы постоянно практикующий мастер разговора мог при каждом публичном выступлении пользоваться запасом свежих острот. Как у всех знаменитых говорунов, репертуар Молли при всем его разнообразии не был неограниченным. Как хорошая хозяйка, она умела состряпать из остатков вчерашнего обеда рагу для сегодняшнего завтрака. Кушанья, приготовленные для поминок, использовались на другой день для свадебного обеда.

Денису Барлепу она сервировала разговор, который пользовался огромным успехом на званом завтраке у леди Бенджер, а также среди гостей, приехавших на уик-энд к Гобли, у Томми Фиттона, одного из её молодых людей, и у Владимира Павлова — другого молодого человека, у американского посла и у барона Бенито Когена. Разговор вращался вокруг любимой темы Молли.

— Знаете, что сказал про меня Жан? — говорила она (Жан — это был её муж). — Знаете? — настойчиво повторяла она, по своей странной привычке требуя ответа на чисто риторический вопрос. Она нагнулась к Барлепу, демонстрируя ему тёмные глаза, зубы и декольте...

Барлеп покорно ответил, что он этого не знает.

⁵⁷ Биррелл, Огастин (1850-1933) — английский политический деятель и литературный критик.

⁵⁸ Мур, Джордж (1852-1933) — ирландский писатель-натуралист.

⁵⁹ Острот (фр.).

— Он сказал, что я не совсем человек. Что я — стихийный дух, а не женщина. Нечто вроде эльфа. Как по-вашему, это комплимент или оскорбление?

— Как на чей вкус, — сказал Барлеп, придавая своему лицу тонкое и лукавое выражение, словно он хотел сказать что-то смелое, остроумное и в то же время глубокое.

— Но я не согласна с ним, — продолжала Молли. — Я вовсе не похожа на стихийного духа или на эльфа. По-моему, я простое, безыскусственное дитя природы. Своего рода крестьянка. — На этом месте все слушатели Молли обычно разражались смехом и протестами. Барон Бенито Коген энергично заявил, что она «одна из римских императриц природы».

Барлеп неожиданно отнёсся к её словам совершенно иначе. Он замотал головой, он улыбнулся мечтательной и странной улыбкой.

— Да, — сказал он, — по-моему, вы правы. Дитя природы *malgre tout* ⁶⁰. Вы носите маску, но за ней легко увидеть простое, непосредственное существо.

Молли была в восторге; она чувствовала, что со стороны Барлепа это высшая похвала. В таком же восторге она была тогда, когда другие не признавали её крестьянкой. С их стороны высшей похвалой было именно это отрицание. Значение имела самая похвала, интерес к её личности. Само по себе мнение её поклонников интересовало её очень мало.

Тем временем Барлеп принялся развивать выдвинутую Руссо антитезу Человека и Гражданина. Она прервала его и вернула разговор к исходной теме.

— Человеческие существа и эльфы — прекрасная классификация, не правда ли? — Она нагнулась, приближая к нему лицо и грудь. — Не правда ли? — повторила она риторический вопрос.

— Пожалуй. — Барлеп не любил, когда его прерывали.

— Обычные люди — да; пусть будет так — все слишком человеческие существа с одной стороны. И стихийные духи — с другой. Одни — способные привязываться к людям и переживать и быть сентиментальными. Должна сказать, я ужасно сентиментальна. — («Вы почти так же сентиментальны, как сирены в „Одиссее“», — последовал заимствованный из классической древности комментарий барона Бенито.) — Другие, стихийные духи — свободные, стоящие в стороне от всего; они приходят и уходят — уходят с таким же лёгким сердцем, как приходят; пленительные, но никогда не пленяемые; доставляющие другим людям переживания, но сами ничего не переживающие. Как я завидую их воздушной лёгкости!

— С таким же успехом вы можете завидовать воздушному шару, — серьёзно сказал Барлеп. Он всегда стоял за сердце.

— Но им так весело!

— Я бы сказал, что они не способны чувствовать себя весело: для этого нужно уметь чувствовать, а они не умеют.

— Они умеют чувствовать ровно настолько, чтобы им было весело, — возразила она, — но, пожалуй, не настолько, чтобы быть счастливыми. И во всяком случае, не настолько, чтобы быть несчастными. Вот в этом им можно позавидовать. Особенно если они умны. Возьмите, например, Филипа Куорлза. Вот кто действительно эльф. — Она повторила своё обычное описание Филипа. В числе его эпитетов были «зоолог-романист», «начитанный эльф», «учёный Пэк» ⁶¹. Но самые удачные выскользнули из её памяти. В отчаянии она пыталась их поймать, но они не давались в руки. На этот раз мир увидит её теофрастовский портрет ⁶² лишённым самой блестящей чёрточки и в целом немного скомканным из-за того,

⁶⁰ Несмотря ни на что (фр.).

⁶¹ В английском фольклоре имя зловредного духа, домового, готового на всякого рода проделки.

⁶² Теофраст (372-287 до н.э.) — греческий философ, ученик Аристотеля; известен главным образом своими меткими характеристиками.

что Молли сознавала пробел и это мешало ей придать портрету законченность. — Тогда как его жена, — заключила она, болезненно сознавая, что Барлеп улыбается менее часто, чем следовало бы, — ничуть не похожа на эльфа. Она не эльф, она не начитанна и не особенно умна. — Молли снисходительно улыбнулась. — Такой человек, как Филип, должен понимать, что она ему, мягко выражаясь, не пара. — Улыбка не сходила с её губ, выражая на этот раз самодовольство. Филип до сих пор питал к Молли слабость. Он писал ей такие забавные письма, почти такие же забавные, как её собственные. (Молли любила цитировать фразу своего мужа: «*Quand je veux briller dans le monde*, — сказал он, — *je cite des phrases de tes lettres*»⁶³.) — Бедняжка Элино́р! Она скучновата, — продолжала Молли, — что не мешает ей быть премилой женщиной. Мы с ней были знакомы ещё девчонками. Очень мила, но далеко не Гипатия⁶⁴.

Элино́р просто дурочка, раз она не понимает, что Филипа неизбежно должна привлекать женщина, равная ему по уму, женщина, с которой можно говорить как с равной. Просто дурочка, раз она не заметила волнения Филипа в тот вечер, когда Элино́р познакомилась с Молли. Просто дурочка, раз она не ревновала. Молли воспринимала отсутствие ревности как личное оскорбление. Правда, она не давала никаких реальных поводов к ревности. Она не спала с чужими мужьями; она только разговаривала с ними. Не подлежало сомнению, однако, что она часто разговаривала с Филипом. А жены обязаны ревновать. Наивная доверчивость Элино́р подзадорила Молли, заставила её быть более благосклонной к Филипу, чем обычно. Но он отправился бродить по свету раньше, чем между ними произошло что-нибудь серьёзное по части разговоров. Она предвкушала возобновление разговоров после его приезда. «Бедняжка Элино́р!» — сострадательно подумала она. Её чувства были бы, вероятно, менее христианскими, если бы она знала, что «бедняжка» Элино́р заметила восторженные взгляды Филипа раньше, чем заметила их сама Молли, и что, заметив их, она добросовестно принялась за свою роль драгомана и посредника. Правда, она не слишком надеялась и не слишком боялась, что Молли совершит чудо превращения: громкоговоритель, будь он даже очень хорошеньким, очень пухленьким (вкусы Филипа были несколько старомодны) и очень соблазнительным, не способен вызвать к себе безумную любовь. Единственной её надеждой было, что страсть, вызванная прелестями Молли, не найдёт полного удовлетворения в разговорах (а по слухам, разговоры были единственным, чем Молли дарила своих поклонников) и Филип придёт в то состояние бешенства и отчаяния, которое способствует писанию хороших романов.

— ...Разумеется, — продолжала Молли, — умному мужчине не следует жениться на умной женщине. Поэтому Жан всегда грозит мне разводом. Он говорит, что я слишком возбуждаю его. «*Tu ne m'ennuies pas assez*»⁶⁵, — говорит он; а ему необходима *une femme sedative*⁶⁶. Пожалуй, он прав: Филип Куорлз поступил разумно. Представьте себе умного эльфа, вроде Филипа, женатого на такой же умной женщине из породы эльфов, например на Люси Тэнтемаунт. Это было бы сущее несчастье, не правда ли?

— Пожалуй, Люси была бы сущим несчастьем для всякого мужчины — эльфа, не эльфа, все едино.

— Нет, надо признаться, что Люси нравится мне. — Молли порылась в своём запасе

⁶³ Когда я хочу блистать в свете, я цитирую фразы из твоих писем (фр.).

⁶⁴ Гипатия (370-415) — женщина-учёный, математик, астроном; преподавала философию в Александрийской академии.

⁶⁵ Ты недостаточно наводишь на меня скуку (фр.).

⁶⁶ Успокаивающая жена (фр.).

теофрастовских эпитетов. — Мне нравится, как она скользит сквозь жизнь, вместо того чтобы тащиться по ней. Мне нравится, как она порхает с цветка на цветок, хотя, пожалуй, эта метафора слишком поэтична в приложении к Бентли, и Джиму Конклину, и бедному Рэджи Тэнтемаунту, и Морису Спэндреллу, и Тому Тривету, и Понятовскому, и тому молодому французу, который пишет пьесы, — как его фамилия? — и ко всем тем, кого мы забыли или о ком не знаем. — Барлеп улыбнулся: на этом месте все улыбались. — Как бы то ни было, она порхает. Надо сказать: нанося цветам немалый урон. — Барлеп снова улыбнулся. — Но ей от всего этого только весело. Должна признаться, что я ей завидую. Я хотела бы быть эльфом и порхать.

— У неё гораздо больше оснований завидовать вам, — сказал Барлеп, мотая головой с прежним глубокомысленным, тонким и христианским выражением лица.

— Завидовать мне в том, что я несчастна?

— Кто несчастен? — заговорила в эту минуту леди Эдвард. — Добрый вечер, мистер Барлеп, — сказала она, не дожидаясь ответа.

Барлеп принялся уверять её, что ему очень понравилась музыка.

— А мы только что говорили о Люси, — прервала его Молли д'Экзержилло. — Мы согласились на том, что она похожа на эльфа: такая лёгкая и всему чуждая.

— На эльфа? — переспросила леди Эдвард. — Что вы! Она скорее домовой. Вы представить себе не можете, мистер Барлеп, как трудно воспитывать домового. — Леди Эдвард покачала головой. — Иногда она просто пугала меня.

— Неужели? — сказала Молли. — Но вы и сами, пожалуй, немножко эльф, леди Эдвард.

— Немножко, — согласилась леди Эдвард. — Но я все-таки не домовой.

— Ну? — сказала Люси, когда Уолтер уселся рядом с ней в такси. Она точно бросала ему вызов. — Ну?

Машина тронулась. Он схватил её руку и поднёс к губам. Это был ответ на её вызов.

— Я люблю вас. Вот и все.

— Любите, Уолтер? — Она повернулась к нему и, взяв его обеими руками за голову, внимательно рассматривала в полутьме его лицо. — Любите? — повторила она и с этими словами медленно покачала головой и улыбнулась. Потом, подавшись вперёд, она поцеловала его в губы. Уолтер обнял её; но она высвободилась из его объятий. — Нет, нет, — запротестовала она и отстранилась от него. — Нет.

Повинуясь ей, он отодвинулся тоже. Наступило молчание. От неё пахло гардениями. Сладкий тропический запах, душистый символ её существа, окутал его. «Надо было быть настойчивым, — думал он, — грубым. Целовать её. Заставить её силой. Почему я не сделал этого? Почему?» Он не знал. А почему она поцеловала его? Просто для того, чтобы заставить его ещё больше желать её, чтобы ещё больше поработить его. А почему он, зная это, все-таки любит её? Почему, почему? — повторял он.

Словно в ответ на его мысли её голос произнёс:

— Почему вы любите меня?

Он открыл глаза. Они проезжали мимо уличного фонаря. Свет упал на её лицо. Оно на мгновение выступило из темноты и снова стало невидимым — бледная маска, которая знает все заранее и относится ко всему с жестоким, бесстрастным, слегка утомлённым любопытством.

— Я только что задавал себе этот вопрос, — ответил Уолтер. — Я хотел бы не любить вас.

— Знаете, я могла бы сказать то же самое. С вами сегодня не слишком-то весело.

«Как утомительны все те мужчины, — размышляла она, — которые воображают, будто никто никогда не любил до них!» И все-таки он ей нравился. Он очень привлекателен. Нет, «привлекателен» — не то слово. Как раз привлекательным-то он и не был. Скорее — «трогательный». Трогательный любовник? Это не в её стиле. Но он нравился ей. В нем есть что-то милое. Кроме того, он остроумен, с ним приятно проводить время. Его безумная

любовь, правда, утомительна, но зато он такой преданный. А это для Люси было очень важным: она боялась одиночества и требовала, чтобы её поклонники находились все время при ней. Уолтер ходил за ней, как верный пёс. Но почему он иногда походил на побитого пса? Жалкий пёс! Какой дурак! Она вдруг рассердилась на него за то, что он такой жалкий.

— Что ж, Уолтер, — насмешливо сказала она, прикасаясь рукой к его руке, — почему вы не занимаете меня разговором?

Он не отвечал.

— Или вам угодно молчать? — Её пальцы обжигаяще скользнули по его ладони и обхватили запястье. — Где у вас пульс? — спросила она. — Я не чувствую его. — Она ощупывала мягкую кожу в поисках бьющейся артерии. Он ощущал лёгкое, волнуемое, холодноватое прикосновение кончиков её пальцев. — Да у вас его и нет, — сказала она. — У вас застой крови. — В её голосе звучало презрение. «Какой дурак!» — думала она. — Застой крови, — повторила она и вдруг с внезапной злобой вонзила острые, отточенные ногти в его руку. Уолтер вскрикнул от неожиданной боли. — Так вам и надо, — засмеялась она ему в лицо.

Он схватил её за плечи и принялся яростно целовать. Гнев пробудил в нем желание; поцелуями он мстил ей. Люси закрыла глаза, безвольно и мягко покоряясь ему. Предвестники наслаждения, как трепещущие крылышки бабочек, пробегали по её коже. И внезапно искусные пальцы провели, как по струнам скрипки, по её нервам. Уолтер почувствовал, как все её тело невольно вздрогнуло в его объятиях, вздрогнуло словно от внезапной боли. Целуя её, он спрашивал себя, ожидала ли она такого ответа на свой вызов, хотела ли она именно этого? Он обеими руками схватил её тонкую шею. Большие пальцы легли на её гортань. Он слегка надавил.

— Когда-нибудь, — сказал он сквозь зубы, — я задушу вас.

Люси ответила смехом. Он нагнулся и поцеловал её смеющийся рот. Когда его губы прикоснулись к её губам, она почувствовала, как тонкая острая боль пронзила все её тело. Она не ожидала от Уолтера такой неистовой и дикой страсти. Она была приятно поражена.

Машина свернула на Сохо-сквер, замедлила ход, остановилась. Они приехали. Уолтер выпустил её из объятий и отодвинулся. Она открыла глаза и посмотрела на него.

— Ну? — вызывающе спросила она его во второй раз за этот вечер. Несколько мгновений оба молчали.

— Люси, — сказал он, — поедem куда-нибудь в другое место. Не сюда, не в этот притон. Куда-нибудь, где мы будем одни. — Его голос дрожал, его глаза умоляли. Весь его пыл прошёл; он снова стал жалким, похожим на собаку. — Скажем шофёру ехать дальше, — просил он.

Она улыбнулась и покачала головой. Зачем он умоляет? Зачем он такой жалкий? Глупец, побитая собака!

— Прошу тебя, прошу тебя! — молил он. Но ему следовало приказать. Сказать шофёру везти их дальше, а самому снова обнять её.

— Нельзя, — сказала Люси и вышла из автомобиля. Раз он ведёт себя как побитая собака, значит, с ним так и нужно обращаться.

Уолтер последовал за ней, жалкий и несчастный.

Сам Сбиза встретил их на пороге. Он кланялся, разводя белыми жирными руками, и от его широкой улыбки кожа расходилась складками на его огромных щеках. Когда приезжала Люси, потребление шампанского возрастало. Поэтому она была почётной гостьей.

— Здесь мистер Спэндрелл? — спросила она. — И мистер и миссис Рэмпион?

— О да, о да, — повторял старик Сбиза с неаполитанским, почти восточным пафосом. Он как будто давал понять, что они не только тут, но что ради неё он готов был доставить каждого из них в двух экземплярах. — Как вы поживаете? Очень хорошо, очень хорошо? У нас сегодня такие омары, такие омары!.. — И он повёл их в ресторан.

Меня возмущает больше всего то, — сказал Марк Рэмпион, — что все мы стали ужасно, противоестественно ручными. Мэри Рэмпион добродушно расхохоталась. Всякому, кто слышал её смех, хотелось смеяться самому.

— Ты бы так не говорил, — сказала она, — будь ты на моем месте. Тебя-то уж никак нельзя назвать ручным!

И действительно, вид у Марка Рэмпиона был далеко не «ручной». Профиль — резкий: орлиный нос, похожий на режущий инструмент, острый подбородок. Глаза голубые и пронизательные, волосы очень тонкие, золотистые, с рыжим оттенком, и развевающиеся при каждом движении, при каждом порыве ветра, как языки пламени.

— Да и ты тоже не очень похожа на овечку, — сказал Рэмпион. — Но два человека — это ещё не весь мир. Я говорил о всех вообще, а не о нас с тобой. Мир стал ручным. Вроде огромного кастрированного кота.

— А во время войны он тоже казался вам ручным? — спросил Спэйдрелл. Он говорил из полутьмы, окружавшей маленький мир, освещённый лампой под розовым абажуром; центром этого мира был их столик. Спэндрелл сидел, раскачиваясь на стуле, прислонившись затылком к стене.

— Даже тогда, — сказал Рэмпион. — Война была бойней, где убивали домашних животных. Люди шли и дрались не потому, что у них кипела кровь. Они шли потому, что им приказывали идти, потому, что они были добрыми гражданами. «Человек — хищное животное», — любил говорить в своих речах ваш отчим. Но меня возмущает как раз то, что человек — домашнее животное.

— И с каждым днём становится все более домашним, — сказала Мэри Рэмпион, разделявшая взгляды своего мужа или, вернее сказать, разделявшая его чувства и сознательно или бессознательно пользовавшаяся для их выражения его словами. — В этом виноваты фабрики, христианство, наука, приличия, наше воспитание, — пояснила она, — они придавливают душу современного человека. Они выпивают из неё жизнь. Они...

— Ах, заткнись, Бога ради! — сказал Рэмпион.

— Но ведь ты сам так говорил!

— Так то я. Когда *ты* говоришь, оно звучит совсем иначе.

Лицо Мэри приняло было сердитое выражение, но сейчас же прояснилось. Она рассмеялась.

— Ну конечно, — добродушно сказала она, — я не очень сильна по части рассуждений. Но ты мог бы быть повежливей со мной на людях.

— Не выношу дураков.

— Берегись, а то тебе и не такое придётся вынести, — со смехом погрозила Мэри.

— Если вам угодно швырнуть в него тарелкой, — сказал Спэндрелл, подвигая ей свою, — пусть моё присутствие вас не смущает.

Мэри поблагодарила.

— Это было бы ему полезно, — сказала она. — Он что-то очень зазнается.

— А тебе было бы не вредно, — отпарировал Рэмпион, — если бы я подставил тебе фонарь под глазом.

— Попробуй только! Я уложу тебя одной рукой, даже если другая будет привязана за спину.

Все трое разразились смехом.

— Ставлю на Мэри, — сказал Спэндрелл, раскачиваясь на стуле. Улыбаясь с непонятным для него самого чувством удовольствия, он переводил взгляд с одного из супругов на другого — с худощавого, неистового, неукротимого человечка на крупную золотоволосую женщину. Каждый из них был хорош по-своему; но вдвоём они были ещё лучше. Сам не зная почему, он вдруг почувствовал себя счастливым.

— Мы ещё сразимся как-нибудь на днях, — сказал Рэмпион и на мгновение положил свою руку на руку Мэри. У него была тонкая, нервная, выразительная рука. «Рука

настоящего аристократа», — подумал Спэндрелл. А её рука была короткая, крепкая, честная — рука крестьянки. А между тем по рождению как раз Рэмпион был крестьянином, а она — аристократкой. Вот и верьте после этого генеалогам! — Десять раундов, — продолжал Рэмпион. — Без перчатки. — Затем, обращаясь к Спэндреллу: — Знаете, вам следовало бы жениться, — сказал он.

Ощущение счастья мгновенно покинуло Спэндрелла. Он словно резким толчком вернулся к действительности. Он почти сердился на себя. Чего ради *он-то* расчувствовался, глядя на эту счастливую пару?

— Я не учился боксу, — пошутил он; сквозь шутливость Рэмпион почувствовал в его тоне горечь, скрытое ожесточение.

— Нет, в самом деле! — сказал он, пытаясь понять выражение лица Спэндрелла. Но голова последнего была в тени, и свет стоящей между ними лампы слепил Рэмпиона.

— Да, в самом деле, — поддержала Мэри. — Конечно, вам следует жениться: вы станете другим человеком.

Спэндрелл засмеялся коротким фыркающим смехом и, дав своему стулу опуститься на все четыре ножки, наклонился к столу. Отодвинув чашку кофе и недопитую рюмку ликёра, он положил локти на стол и опёрся подбородком на руки. Его лицо озарилось розовым светом лампы. «Как химера, — подумала Мэри, — химера в розовом будуаре». В точно такой же позе она видела химеру на крыше Нотр-Дам; она сидела скрючившись и положив свою демоническую голову на когтистые лапы. Только химера была комическим дьяволом, таким неправдоподобным, что его нельзя было принимать всерьёз. Спэндрелл был живой человек, а не карикатура; поэтому его лицо казалось гораздо более мрачным и трагическим. У него было худое лицо. Скулы и челюсти резко выступали под натянувшейся кожей. Серые глаза были посажены глубоко. Мясистые губы резко выделялись на его похолодевшем на череп лице — толстые губы, напоминавшие рубцы. «Когда он улыбается, — однажды сказала про него Люси Тэнтамаунт, — это похоже на разрез при операции аппендицита — разрез с иронически приподнятыми уголками». Красный шрам имел чувственное, но в то же время решительное выражение, так же как и круглый подбородок. Резкие линии окружали глаза и уголки губ. Густые тёмные волосы начинали редеть на висках.

«На вид ему лет пятьдесят, — размышляла Мэри Рэмпион. — А сколько ему на самом деле?» Подсчитав, она решила, что ему не больше тридцати двух или тридцати трех лет — как раз время остепениться.

— Другим человеком, — повторила она вслух.

— Но я вовсе не хочу становиться другим. Марк Рэмпион кивнул.

— Да, и в этом вся ваша беда, Спэндрелл. Вам нравится вариться в собственном отвратительном и загнившем соку. Вы не стремитесь к оздоровлению. Вы наслаждаетесь собственной болезнью. Вы даже гордитесь ею.

— Брак излечит вас, — настаивала Мэри, ярая сторонница этого таинства, которому она обязана была счастьем всей жизни.

— Конечно, если только брак не погубит его жену, — сказал Рэмпион, — он может заразить её своей гангреной.

Спэндрелл откинул голову и захохотал, но, как всегда, почти беззвучно; это был немой взрыв.

— Замечательно! — сказал он. — Замечательно! Это первый веский довод в пользу брака, какой мне довелось слышать. Ты почти убедил меня, Рэмпион. Я никогда не доводил этого до брака.

— Чего «этого»? — спросил Рэмпион, слегка нахмурившись. Ему не нравилась преувеличенно циничская манера Спэндрелла. Вот тоже: радуется тому, что он такой гадкий! Безмозглый мальчишка — только и всего.

— Процесса заражения. До сих пор я ни разу не переступал порога конторы по регистрации браков. Но в следующий раз я его переступлю. — Он глотнул бренди. — Я как Сократ, — продолжал он. — Моё божественное призвание — развращать молодёжь, в

частности, молодёжь женского пола. Моя миссия — направлять их на запретные пути. — Он снова откинул голову и разразился беззвучным смехом. Рэмпион с отвращением поглядел на него. «Как он ломается! Он явно переигрывает, словно старается убедить самого себя, что он действительно существует».

— Если бы вы только знали, как много может дать брак! — серьёзно вставила Мэри. — Если бы вы знали...

— Но, дорогая моя, он отлично знает, — нетерпеливо прервал Рэмпион.

— Пятнадцать лет мы женаты, — не унималась Мэри, преисполненная миссионерского рвения, — и смею вас уверить...

— На твоём месте я не стал бы попусту тратить время.

Мэри вопросительно посмотрела на мужа. Когда дело касалось отношений с людьми, она абсолютно доверяла суждению Рэмпиона. Сквозь эти лабиринты он пробирался с безошибочным чутьём; она могла только завидовать ему, но не подражать. «У него какой-то нюх на человеческие души», — говорила она о нем. Её чутьё на души было развито слабо. Поэтому она благоразумно позволяла ему руководить собой. Она взглянула на него. Рэмпион уставился на чашку кофе. Его лоб покрылся морщинами; по-видимому, он говорил серьёзно.

— Ну что ж! — сказала она и закурила сигарету.

Спэндрелл посмотрел на них торжествующим взглядом.

— У меня свой собственный метод обращения с юными особами, — продолжал он все тем же преувеличенно циничным тоном.

Закрыв глаза, Мэри вспоминала о том времени, когда они с Рэмпионом были юны.

IX

Какое грязное пятно! — воскликнула юная Мэри, когда они достигли вершины холма и увидели расстилающуюся внизу долину. Стэнтон-на-Тизе лежал у их ног — чёрные черепичные крыши, закопчённые трубы, дым. За городом подымались холмы, голые и пустынные, тянувшиеся до самого горизонта. Солнце сияло, облака отбрасывали огромные тени. — Как они смеют так портить наш чудесный вид! Как они смеют!

— В природе все прекрасно, лишь человек дурён ⁶⁷, — процитировал её брат Джордж.

Другой юноша был настроен более практически.

— Если бы здесь поставить батарею, — предложил он, — и выпустить сотню-другую очередей...

— Вот это было бы дело, — с восторгом согласилась Мэри. Её одобрение наполнило блаженством воинственного молодого человека: он был отчаянно влюблён в неё.

— Тяжёлые гаубицы... — начал было он, развивая свою мысль. Но его прервал Джордж:

— Черт, это ещё что такое?

Все посмотрели, куда он показывал. Какой-то человек подымался по склону холма, направляясь к ним.

— Понятия не имею, — сказала Мэри, глядя на него.

Человек приблизился. Это был юноша лет двадцати, с орлиным носом, голубыми глазами и светлыми шелковистыми волосами, развевавшимися по ветру: он шёл с непокрытой головой. На нем была плохо сшитая куртка из дешёвой ткани и серые фланелевые брюки с пузырями на коленях. Красный галстук и отсутствие тросточки довершали его туалет.

— Он, кажется, хочет заговорить с нами, — сказал Джордж.

Действительно, юноша направлялся прямо к ним. Он шёл быстро и решительно, точно

⁶⁷ Строка из стихотворения «Со снежных гор Гренландии» английского поэта и священника Реджиналда Хиберы (1783-1826).

спешил по важному делу.

«Какое необыкновенное лицо! — подумала Мэри, когда он подошёл к ним. — Но какой у него нездоровый вид! Худой, бледный!» Но глаза незнакомца запрещали ей жалеть его. В их блеске угадывалась сила.

Он подошёл и остановился перед ними, выпрямившись, точно на параде. В его позе был вызов, и вызов был в выражении его лица. Он пристально смотрел на них блестящими глазами, переводя взгляд с одного на другого.

— Добрый день, — сказал он. Заговорить стоило ему огромного УСИЛИЯ. Но он должен был заговорить, именно потому, что пустые лица этих богачей выражали полное пренебрежение.

— Добрый день, — ответила за всех Мэри.

— Я вторгся в ваши владения, — сказал незнакомец. — Вы не возражаете? — Его тон стал ещё более вызывающим. Он мрачно посмотрел на них. Юноши разглядывали его словно издалека, из-за барьера, с выгодной позиции привилегированного класса. Они обратили внимание на то, как он одет. В их взгляде были презрение и враждебность. Был почему-то и страх. — Я вторгся в ваши владения, — повторил он. Его голос был резким, но музыкальным. Он говорил с местным акцентом.

«Один из местных мужланов», — подумал Джордж.

«Вторгся в чужие владения». Гораздо проще, гораздо приятнее было бы ускользнуть незамеченным. Именно поэтому он заставил себя встретиться с ними лицом к лицу.

Наступило молчание. Воинственный юноша отвернулся. Он отстранился от всей этой неприятной истории. В конце концов, ему нет никакого дела. Парк принадлежит отцу Мэри. Сам он — всего только гость. Напевая «Мой девиз — всегда весёлым быть», он смотрел на чёрный город в долине.

Молчание нарушил Джордж.

— Возражаем ли мы? — повторил он слова незнакомца. Его лицо побагровело.

«Какой идиотский у него вид! — подумала Мэри, взглянув на брата. — Точно телок. Покрасневший от злости телок».

— Возражаем ли мы? — Что за наглая скотина! Джордж старался взвинтить своё праведное негодование. — Да, мы возражаем. И я просил бы вас...

Мэри разразилась хохотом.

— Мы вовсе не возражаем, — сказала она. — Ни капельки. Лицо её брата стало ещё красней.

— Что ты хочешь этим сказать, Мэри? — разъярённо спросил он. («Всегда весёлым быть...») — напевал воинственный юноша, уносясь все дальше и дальше от них.) — Здесь частное владение.

— Но мы нисколько не возражаем, — повторила она, глядя не на брата, а на незнакомца. — Нисколько, когда люди говорят об этом так прямо и честно, как вы. — Она улыбнулась ему; но лицо юноши оставалось по-прежнему гордым и строгим. Посмотрев в его серьёзные блестящие глаза, она тоже стала серьёзной. Она сразу поняла, что дело здесь не шуточное. Оно будет иметь важные последствия, значительные последствия. Почему важные и в каком смысле значительные, она не знала. Она только смутно ощущала всем своим существом, что здесь — дело не шуточное.

— До свидания, — сказала она изменившимся голосом и протянула руку.

Незнакомец на секунду заколебался, потом взял руку.

— До свидания, — сказал он. — Я выберусь из парка как можно скорей. — И он быстро зашагал прочь.

— Что за чертовщина! — сердито набросился на сестру Джордж.

— Придержи язык! — раздражённо ответила она.

— Да ещё подавать ему руку! — не успокаивался он.

— Чистокровный плебей, не правда ли? — вставил воинственный юноша.

Она молча посмотрела на одного, потом на другого и пошла вперёд. Боже, до чего они

неотёсанные! Юноши шагали следом за ней.

— Когда же наконец Мэри научится вести себя прилично! — возмущался Джордж.

Воинственный юноша издал какое-то осуждающее мычание. Он любил Мэри; но и он должен был признать, что иногда она вела себя до крайности эксцентрично. Это был её единственный недостаток.

— Подавать руку этому нахалу, — продолжал ворчать Джордж.

Так они встретились в первый раз. Мэри было в то время двадцать два года, Марку Рэмпиону — на год меньше. Он окончил второй курс Шеффилдского университета и приехал на летние каникулы в Стэнтон. Его мать жила в станционном посёлке. Она получала небольшую пенсию — её покойный муж был почтальоном — и подрабатывала шитьём. Марк получал стипендию. Его младшие и менее способные братья уже работали.

— Весьма замечательный молодой человек, — повторял ректор, когда он несколькими днями позже вкратце излагал биографию Марка Рэмпиона.

В доме ректора был устроен благотворительный базар и вечер. Ученики воскресной школы поставили на открытом воздухе маленькую пьесу. Автором был Марк Рэмпион.

— Он написал её совершенно самостоятельно, — уверял ректор собравшееся общество. — И к тому же мальчик недурно рисует. Его картины, пожалуй, немного эксцентричны, немного... гм... — Он запнулся.

— Непонятны, — пришла ему на помощь дочь, с улыбкой представительницы буржуазии, гордящейся своей непонятливостью.

— ...но очень талантливый, — продолжал ректор. — Мальчик — настоящий лебедёнок Тиза ⁶⁸, — добавил он с застенчивым, слегка виноватым смешком: он питал пристрастие к литературным намёкам. Собравшиеся представители высшего общества снисходительно улынулись.

Вундеркинд был представлен обществу. Мэри узнала незнакомца, вторгшегося в их владения.

— Мы уже встречались с вами, — сказала она.

— Когда я занимался эстетическим браконьерством в вашем имении.

— Можете это повторить, когда вам вздумается.

При этих словах он улыбнулся, немного иронически, как показалось ей. Она покраснела, испугавшись, что её слова звучали покровительственно.

— Думаю, впрочем, что вы продолжали бы браконьерствовать и без приглашений, — добавила она с нервным смешком.

Он ничего не ответил, но кивнул головой, все ещё улыбаясь.

Подошёл отец Мэри. Он рассыпался в похвалах, которые, как стадо слонов, растоптали маленькую изящную пьесу Рэмпиона. Мэри стало больно. Все это не то, совершенно не то! Она это чувствовала. Но все несчастье в том, поняла она, что сама она тоже не сумела бы придумать ничего лучшего.

Ироническая улыбка не сходила с уст Рэмпиона. «Какими дураками он всех нас считает», — говорила она себе. Потом подошла её мать. На смену «чертовски здорово!» пришло «как прелестно». Это было так же скверно, так же безнадежно некстати.

Когда миссис Фелпхэм пригласила его к чаю, Рэмпион сначала хотел отказаться, но так, чтобы его отказ не показался грубым или оскорбительным. По существу, ведь эта дама была полна добрых намерений. Только выглядело это довольно нелепо. Деревенский меценат в юбке, все меценатство которого ограничивалось двумя чашками чая и ломтиком сливового пирога. Её роль была комическая. Пока он колебался, к приглашению матери присоединилась Мэри.

— Приходите, — настойчиво сказала она. Выражение её глаз и улыбка были таковы, словно она забавлялась этой идиотской ситуацией и в то же время просила у него прощения.

⁶⁸ Проводится аналогия с «лебедем Эйвона», то есть Шекспиром. Тиз — река в северной Англии.

«Но что я могу сделать? — казалось, говорила она. — Только просить прощения».

— Я с удовольствием приду, — сказал он, обращаясь к миссис Фелпхэм.

Назначенный день настал. Рэмпион явился, все в том же красном галстуке. Мужчины были на рыбной ловле; его приняли Мэри и её мать. Миссис Фелпхэм старалась быть на высоте положения. Местный Шекспир безусловно должен интересоваться драматургией.

— Как вам нравятся пьесы Барри? — спросила она. — Я от них в восторге. — Она разговаривала; Рэмпион отмалчивался. Он открыл рот только тогда, когда миссис Фелпхэм, потеряв надежду услышать от него хоть слово, поручила Мэри показать ему сад.

— Боюсь, что ваша мать сочла меня очень нелюбезным, — сказал он, когда они шли по гладкой, вымощенной плитами дорожке среди розовых кустов.

— Ну что вы! — с чрезмерной сердечностью возразила Мэри. Рэмпион рассмеялся.

— Благодарю вас, — сказал он. — Но все-таки она сочла меня нелюбезным. Потому что я и в самом деле был нелюбезен. Я был нелюбезен, чтобы не показаться ещё более нелюбезным. Лучше молчать, чем высказывать вслух то, что я думаю о Барри.

— Вам не нравятся его пьесы?

— Пьесы Барри? Мне? — Он остановился и посмотрел на неё. Кровь прилила к её щекам: что она сказала? — Такие вопросы можно задавать *здесь*. — Жестом он показал на цветы, на маленький пруд с фонтаном, на высокую террасу с пробивающимися между камней заячьей капустой и обретиями и на серый строгий Дом в георгианском стиле. — А вы попробуйте спуститься в Стэнтон и задайте этот вопрос *там*. Мы там живём в мире фактов, а не отгораживаемся от реальности каменной стеной. Барри может нравиться только тем, у кого есть по меньшей мере пять фунтов в неделю дохода. Для тех, кто живёт в мире фактов, творчество Барри — оскорбление.

Наступило молчание. Они ходили взад и вперёд между роз, тех роз, за которые, чувствовала Мэри, она должна просить прощения. Но этим она только оскорбила бы его. Огромный породистый щенок бежал им навстречу, неуклюже подпрыгивая от радости. Она окликнула его, встав на задние ноги, щенок облапил её.

— Пожалуй, я люблю животных больше, чем людей, — сказала она, защищаясь от его слишком бурных ласк.

— Что ж, они по крайней мере непосредственны, они не отгораживаются от мира стеной, как люди вашего круга, — сказал Рэмпион, раскрывая скрытую связь между её словами и предшествовавшим разговором.

Мэри была приятно поражена тем, что он так хорошо понял её.

— Мне хотелось бы знать больше людей вашего круга, — сказала она, — настоящих людей, которые живут не за стеной.

— Не извольте воображать, что я буду служить вам гидом из агентства Кука, — иронически ответил он. — Мы, видите ли, не дикие звери и не туземцы в странных костюмах или что-нибудь ещё в этом духе. Если вам угодно совершить благотворительное турне по трущобам, обращайтесь к ректору.

Она густо покраснела.

— Вы отлично знаете, что я говорю не об этом, — возразила она.

— Вы в этом уверены? — спросил он. — Когда человек богат, ему трудно рассуждать иначе. Ведь вы просто не представляете себе, что значит не быть богатым. Как рыба. Может ли рыба представить себе, какова жизнь на суше?

— Но, может быть, это можно узнать, если очень постараться?

— Пропасть слишком велика, — ответил он.

— Её можно перешагнуть.

— Да, пожалуй, её можно перешагнуть. — В его тоне слышалось сомнение.

Ещё несколько минут они разговаривали, прогуливаясь среди роз; потом Рэмпион посмотрел на часы и сказал, что ему пора уходить.

— Но вы придёте ещё раз?

— А какой в этом смысл? — спросил он. — Это слишком похоже на визиты обитателя

другой планеты.

— Не думаю, — ответила она и после небольшой паузы добавила: — Вероятно, вы считаете всех нас очень глупыми, не так ли? — Она посмотрела на него. Он поднял брови, он собирался возражать. Но она не позволила ему отделаться одной вежливостью. — Потому, что мы действительно глупы. Невероятно глупы. — Она засмеялась довольно уныло. В её кругу глупость считалась скорее добродетелью, чем недостатком. Чрезмерно умный человек рисковал уклониться от идеала джентльмена. Быть умным рискованно. Рэмпион заставил её задуматься над тем, действительно ли на свете ничего нет лучше джентльменского идеала. В его присутствии глупость не казалась ей чем-то завидным.

Рэмпион улыбнулся ей. Ему нравилась её откровенность. В ней была непосредственность. Её ещё не успели испортить.

— Вы провоцируете меня, — пошутил он, — вызываете меня на непочтительность и грубость по отношению к тем, кто стоит выше меня. На самом деле я совсем не так непочтителен. Люди вашего круга ничуть не глупей всех остальных. По крайней мере от природы они не глупей. Вы — жертвы вашего образа жизни. Вы живёте, запрятавшись в свою скорлупу, с шорами на глазах. От природы черепаха, может быть, не глупее птицы, но вы должны признать, что её образ жизни не содействует развитию умственных способностей.

В то лето они встречались много раз. Чаще всего они гуляли по вересковым пустошам. «Она похожа на силу природы, — думал он, наблюдая, как она, нагнув голову, шагает навстречу влажному ветру. — Такая энергия, сила, здоровье! Она великолепна». Сам Рэмпион с детства был хрупким и болезненным. Он восторгался природными данными, которыми сам не обладал. Мэри казалась ему норманнской Дианой вересковых пустошей. Он как-то сказал ей это. Compliment пришёлся ей по вкусу.

— «Was für ein Atavismus!»⁶⁹ Так говорила обо мне моя гувернантка, старая немка. Пожалуй, она была права: я действительно немножко «атавизмус».

Рэмпион расхохотался.

— По-немецки это получается очень смешно. Но по существу в этом нет ничего глупого. «Атавизмус» — вот чем должны быть мы все. «Атавизмусами» по отношению к условностям современной жизни. Разумными дикарями. Зверями, обладающими душой.

Лето было дождливое и холодное. Однажды, утром того дня, когда они сговорились встретиться, Мэри получила от него письмо. «Дорогая мисс Фелпхэм, — прочла она (она испытала странное удовольствие, увидев в первый раз его почерк), — я, как идиот, схватил сильную простуду. Может быть, Вы будете более снисходительны, чем я — потому что я невероятно зол на себя, — и простите меня, если я не явлюсь до будущей недели?»

Когда она в следующий раз увидела его, он показался ей похудевшим и бледным и его все ещё мучил кашель. Когда она осведомилась о его здоровье, он почти сердито оборвал её.

— Я совершенно здоров, — резко ответил он и заговорил на другую тему. — Я перечитывал Блейка⁷⁰, — сказал он. И он начал говорить о «Бракосочетании Рая и Ада». — Блейк был истинно цивилизованным человеком, — утверждал Рэмпион. — Цивилизация — это гармония и полнота. У Блейка есть все: разум, чувство, инстинкт, плоть, — и все это развито гармонично. Варварство — это однобокость. Можно быть варваром интеллектуально и телесно. Варваром в отношении чувств или в отношении инстинкта. Христианство сделало варварской нашу душу, а теперь наука делает варварским наш интеллект. Блейк был последний цивилизованный человек.

⁶⁹ Что за атавизм! (нем.).

⁷⁰ Блейк, Уильям (1757-1827) — английский поэт и художник. Поэма «Бракосочетание Рая и Ада» (1793) содержит открытую полемику со шведским теологом Сведенборгом и критику современных Блейку социальных и религиозных институтов.

Он говорил о греках и о нагих загорелых этрусках на стенной росписи гробниц.

— Вы видели их в подлиннике? — сказал он. — Завидую вам. Мэри стало ужасно стыдно. Она видела расписанные гробницы в Тарквинии; но как мало она запомнила! Они были для неё такими же курьёзами, как все те бесчисленные древности, которые она покорно осматривала, когда они с матерью путешествовали в прошлом году по Италии. Она не способна была их оценить. Тогда как если бы он имел возможность съездить в Италию...

— Те люди были цивилизованными, — утверждал он, — они умели жить гармонично и полно, всем своим существом. — Он говорил с какой-то страстью, словно он сердился на мир, может быть — на самого себя. — Мы все варвары, — начал он, но приступ кашля прервал его речь.

Мэри ждала, когда припадок кончится. Она чувствовала тревогу и в то же время стеснение и стыд, как бывает, когда застаёшь человека врасплох в минуту слабости, которую он обычно старательно скрывает. Она не знала, как ей следует поступить — проявить сочувствие или сделать вид, что она ничего не заметила. Он разрешил её сомнения тем, что сам заговорил о своём кашле.

— Вот мы с вами говорим о варварстве, — сказал он с жалкой и гневной улыбкой, когда приступ кончился. В его голосе слышалось отвращение. — Что может быть более варварским, чем этот кашель? В цивилизованном обществе такой кашель был бы недопустим.

Мэри заботливо посоветовала ему какое-то средство. Он недовольно усмехнулся.

— Вот так всегда говорит моя мать, — сказал он. — В точности. Все женщины одинаковы. Клохчут, как куры над цыплятами.

— Воображаю, что бы с вами случилось, если бы мы не клохтали!

Через несколько дней — с некоторыми опасениями — он повёл её к своей матери. Опасения оказались напрасными: Мэри и миссис Рэмпион понравились друг другу. Миссис Рэмпион была женщина лет пятидесяти, ещё красивая; лицо её выражало спокойное достоинство и покорность судьбе. Она говорила медленно и тихо. Только раз её манера говорить стала иной: Марк вышел из комнаты приготовить чай, и она заговорила о своём сыне.

— Что вы думаете о нём? — спросила она, наклоняясь к своей гостье; её глаза неожиданно заблестели.

— Что я думаю о нём? — засмеялась Мэри. — Я не настолько самонадеянна, чтобы судить тех, кто выше меня. Но он, безусловно, незаурядный человек.

Миссис Рэмпион кивнула с довольной улыбкой.

— Да, он незаурядный человек, — повторила она. — Я всегда это говорила. — Её лицо стало серьёзным. — Если бы только он был покрепче! Если б я могла дать ему лучшее воспитание! Он всегда был таким хрупким. Ему нужно было больше заботы; нет, не в этом дело. Я заботилась о нём сколько могла. Ему необходимо было больше комфорта, более здоровый образ жизни. А этого я не могла ему дать. — Она покачала головой. — Вы сами понимаете. — Она с лёгким вздохом откинулась на спинку стула и, молча сложив руки, опустила глаза.

Мэри ничего не ответила; она не знала, что сказать. Ей снова стало стыдно, тяжело и стыдно.

— Что вы думаете о моей матери? — спросил Рэмпион, провожая её домой.

— Мне она понравилась, — ответила Мэри. — Очень. Хотя перед ней я чувствовала себя такой маленькой, ничтожной и скверной. Иными словами, она показалась мне замечательной женщиной, и за это я полюбила её.

Рэмпион кивнул.

— Она действительно замечательная женщина, — сказал он. — Мужественная, сильная, выносливая. Но слишком покорная.

— А мне как раз это в ней и понравилось.

— Она не смеет быть покорной, — нахмурившись, ответил он. — Не смеет. Человек,

проживший такую жизнь, как она, не смеет быть покорным. Он обязан бунтовать. Все эта проклятая религия. Я не говорил вам, что она религиозна?

— Нет, но я сразу догадалась, когда увидела её, — ответила Мэри.

— Это варварство души. Душа и будущее — больше ничего. Ни настоящего, ни прошлого, ни тела, ни интеллекта. Только душа и будущее, а пока что — покорность судьбе. Можно ли представить себе большее варварство? Она обязана была взбунтоваться.

— Предоставьте ей думать по-своему, — сказала Мэри, — так она счастливей. В вас бунтарства хватит на двоих.

Рэмпион рассмеялся.

— Во мне его хватит на миллионы, — сказал он.

В конце лета Рэмпион вернулся в Шеффилд, а вскоре после этого Фелпхэмы переехали в свой лондонский дом. Первое письмо написала Мэри. Она ждала от него вестей, но он не писал. Конечно, у него не было никаких оснований писать. Но она почему-то рассчитывала, что он напишет, и была огорчена, что письма нет. Неделя проходила за неделей. В конце концов она написала ему сама, спрашивая о названии книги, о которой он как-то раз говорил. Рэмпион ответил; она написала опять, чтобы поблагодарить его, так завязалась переписка.

На Рождество Рэмпион приехал в Лондон. Некоторые из его вещей были напечатаны в газетах, и он вдруг оказался небывало богатым: целых десять фунтов, с которыми он мог делать все, что угодно. К Мэри он пошёл только накануне отъезда.

— Почему же вы не дали мне знать раньше? — упрекнула она его, узнав, что он уже несколько дней в Лондоне.

— Мне не хотелось вам навязываться, — ответил он.

— Но вы сами знаете, что я была бы в восторге.

— У вас есть ваши друзья. — «*Богатые* друзья», — говорила его ироническая улыбка.

— А разве вы не мой друг? — спросила она, не обращая внимания на эту улыбку.

— Благодарю вас за любезность.

— Благодарю вас за то, что вы соглашаетесь быть моим другом, — ответила она без всякой аффектации и кокетства.

Он был тронут искренностью её признания, простотой и естественностью её чувства. Он, конечно, знал, что нравится ей и вызывает в ней восхищение; но одно дело, когда знаешь, и совсем другое дело, когда тебе об этом говорят.

— В таком случае я жалею, что не написал вам раньше, — сказал он и сейчас же раскаялся в своих словах, потому что они были неискренни. На самом деле он держался вдали от неё вовсе не из страха быть плохо принятым, а из гордости. Он не имел возможности пригласить её куда-нибудь; он не хотел быть ей обязанным в чем бы то ни было.

Они провели этот день вдвоём и были безрассудно, несоразмерно счастливы.

— Зачем вы не сказали мне раньше? — повторяла она, когда ей настало время уходить. — Я могла бы предупредить, что не поеду на этот скучный вечер.

— Вы получите массу удовольствия, — убеждал он её: к нему вернулся тот иронический тон, которым он говорил о ней как о представительнице обеспеченного класса. Счастливое выражение сошло с его лица. Он точно рассердился на себя за то, что чувствовал себя таким счастливым в её обществе. Это было бессмысленно. Какой толк чувствовать себя счастливым, когда стоишь по ту сторону пропасти? — Массу удовольствия, — повторил он с ещё большей горечью. — Вкусные кушанья и вина, элегантные люди, остроумная болтовня, а потом театр. Разве это не идеальное времяпрепровождение? — В его тоне слышалось беспощадное презрение.

Она посмотрела на него грустными глазами; ей стало больно оттого, что он вдруг так ополчился на проведённый ими вместе день.

— Не понимаю, зачем вы это говорите? — сказала она. — А сами вы понимаете?

После того как они расстались, этот вопрос долго звучал в его сознании: «А сами вы понимаете?» Разумеется, он понимал. Но он понимал также, что между ними — пропасть.

На Пасху они снова встретились в Стэнтоне. За это время они обменялись множеством писем, и тот самый молодой офицер, который собирался разгромить Стэнтон при помощи гаубиц, сделал Мэри предложение. Все её родственники были озадачены и несколько огорчены, когда она ему отказала.

— Он такой милый мальчик, — убеждала её мать.

— Знаю. Но разве к нему можно относиться серьёзно?..

— А почему нельзя?

— К тому же, — продолжала Мэри, — он не существует на самом деле. Он не живой человек: кусок мяса — больше ничего. Нельзя выйти замуж за кусок мяса! — Она вспомнила слишком живое лицо Рэмпиона; оно обжигало, оно было острым и сверкающим. — Нельзя выйти замуж за призрак, даже если у него есть кости и мясо. Особенно если на нем так много мяса. — Она разразилась хохотом.

— Не понимаю, о чем ты говоришь, — с достоинством сказала миссис Фелпхэм.

— Зато я понимаю, — ответила Мэри. — Я понимаю. А в данном случае только это и важно.

Гуляя с Рэмпионом по вересковым пустошам, она рассказала ему, как она расправилась с этим слишком материальным привидением военного образца. Он молча выслушал её. Мэри была разочарована, и в то же время ей стало стыдно своего разочарования. «Боже мой, — сказала она себе, — я, кажется, старалась вызвать его на то, чтобы он сделал мне предложение!»

Дни проходили; Рэмпион был молчалив и мрачен. Когда она спросила его о причине, он стал говорить о своих безрадостных видах на будущее. К осени он окончит университет; придётся искать заработок. Чтобы получить заработок немедленно — а ждать он не имеет возможности, — ему остаётся одно: сделаться учителем.

— Учителем, — повторил он с выражением ужаса, — учителем! И после этого вы удивляетесь, что у меня подавленное настроение? — Но у него были и другие причины чувствовать себя несчастным. «Будет она смеяться надо мной, если я сделаю ей предложение?» — думал он. Ему казалось, что нет. Но имеет ли он право предлагать, зная, что она не откажет? Имеет ли он право обречь её на ту жизнь, какую ей придётся вести с ним? Может быть, впрочем, у неё есть собственные деньги; но в таком случае пострадает его честь. — Вы представляете меня в роли учителя? — сказал он вслух. Учительство было для него козлом отпущения.

— А к чему вам быть учителем, раз вы можете стать писателем и художником? Вы сможете заработать себе этим на жизнь.

— Смогу ли? Учительство — это по крайней мере верный заработок.

— А для чего вам нужен верный заработок? — спросила она с оттенком презрения.

Рэмпион рассмеялся:

— Вы не стали бы задавать подобных вопросов, если бы вам пришлось жить на жалованье и знать, что вас могут уволить в недельный срок. Имея деньги, легко быть мужественным и уверенным в себе.

— Что ж, в этом смысле деньги — неплохая штука. Мужество и уверенность в себе — все-таки добродетели.

Долгое время они шли молча.

— Ладно, — сказал наконец Рэмпион, взглянув на неё, — вы сами вызвали меня на это. — Он попытался рассмеяться. — Так вы говорите, мужество и уверенность в себе — это добродетели? Что ж, пусть будет по-вашему. Мужество и уверенность в себе! Скажем так: я люблю вас.

Снова наступило долгое молчание. Он ждал, его сердце билось учащённо, словно от страха.

— Ну? — наконец спросил он.

Мэри повернулась к нему и, взяв его руку, поднесла её к губам.

И до и после женитьбы у Рэмпиона было много случаев восхищаться этими

возращёнными богатством добродетелями. Именно Мэри заставила его отказаться от всякой мысли о преподавании и довериться исключительно своим талантам. Уверенности у неё хватало на двоих.

— Чтобы я вышла замуж за школьного учителя! — возмущалась она. И она настояла на своём: она вышла замуж за драматурга, который не поставил ни одной своей пьесы, если не считать благотворительного базара в Стэнтоне-на-Тизе, за художника, который не продал ни одной своей картины.

— Мы будем голодать, — предсказывал он. Призрак голода преследовал его: ему слишком часто приходилось видеть голод лицом к лицу.

— Чепуха! — отвечала Мэри, непоколебимо уверенная в том, что люди не умирают голодной смертью. Никто из её знакомых никогда не голодал. — Чепуха! — И в конце концов она поставила на своём.

Главным препятствием, из-за которого Рэмпион так неохотно соглашался вступить на этот неверный путь, являлось то, что это можно было сделать только на деньги Мэри.

— Я не могу жить на твой счёт, — сказал он. — Я не могу брать у тебя деньги.

— Ты и не берёшь у меня деньги, — возражала она. — Просто я вкладываю в тебя капитал в надежде получить хорошие проценты. Год или два ты будешь жить на мой счёт, а зато до конца жизни я смогу жить на твой счёт. С моей стороны это просто выгодная сделка.

Ему оставалось только рассмеяться.

— К тому же, — продолжала она, — тебе придётся жить на мой счёт очень недолго. Восемьсот фунтов — не бог весть какие деньги.

В конце концов он согласился взять у неё восемьсот фунтов займа под проценты. Он сделал это неохотно, чувствуя, что этим он как бы изменяет своему классу. Начинать жизнь с восьмьюстами фунтами в кармане — это было слишком легко, это значило уклоняться от трудностей, пользоваться незаслуженным преимуществом. Если бы не ответственность, которую он чувствовал перед своим талантом, он отказался бы от денег и либо рискнул бы предаться литературе без гроша в кармане, либо пошёл бы по проторённой дорожке педагогической деятельности. Согласившись наконец взять деньги, он поставил условие, чтобы Мэри никогда не прибегала к помощи своих родных. Мэри согласилась.

— Не думаю, впрочем, что они очень стремились прийти мне на помощь, — добавила она со смехом.

Мэри была права. Как она и ожидала, её отец пришёл в ужас от этого мезальянса. Поскольку дело касалось отца, Мэри отнюдь не угрожала опасность разбогатеть.

Они поженились в августе и немедленно уехали за границу. До Дижона они доехали по железной дороге, а оттуда пошли пешком на юго-восток, к Италии. До тех пор Рэмпион никогда не выезжал из Англии. Чужая страна была для него символом новой жизни, новой свободы. И сама Мэри была для него столь же символически необычайна, как Франция, по которой они путешествовали. Кроме уверенности в себе, в ней было удивительное, непонятное ему безрассудство. Маленькие происшествия производили на него глубокое впечатление. Взять, например, тот случай, когда она забыла свои запасные башмаки на ферме, где они провели ночь. Она обнаружила пропажу только в конце следующего дня. Рэмпион предложил вернуться за башмаками. Она и слышать не хотела об этом.

— Пропали — и Бог с ними, — сказала она, — и нечего об этом беспокоиться. Предоставь башмакам погребать своих башмаков⁷¹.

Он страшно рассердился на неё.

— Помни, что теперь ты уже не богачка, — настаивал он. — Ты не можешь позволить себе такую роскошь — выбрасывать хорошие башмаки. Новую пару ты сможешь купить не раньше, чем мы вернёмся в Англию. — Они взяли с собой небольшую сумму денег на

⁷¹ Автор перефразирует евангельское изречение: «Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов» (Евангелие от Матфея, 8:22).

поездку и дали себе слово ни в коем случае не тратить больше. — Не раньше, чем мы вернёмся, — повторил он.

— Знаю, знаю, — нетерпеливо ответила она. — Ну что ж, научусь ходить босиком.

И она научилась.

— Я прирождённый бродяга, — объявила она однажды вечером, когда они лежали где-то на сеновале. — Ты себе представить не можешь, до чего мне приятно не быть респектабельной. Это во мне говорит «атавизмус». Ты слишком обо всем беспокоишься, Марк. «Воззрите на лилии полевые»⁷².

— А ведь Иисус, — рассуждал Рэмпион, — был настоящий бедняк. В его семье только и думали о завтрашнем дне, о хлебе и башмаках для детей. Почему же тогда он говорил о будущем как миллионер?

— Потому, что он был прирождённым князем, — ответила она. — Он родился с титулом; у него было божественное право, как у короля. Миллионеры, которые сами составили себе состояние, только и думают что о деньгах; они ужасно заботятся о завтрашнем дне. У Иисуса было истинно княжеское чувство, что ничто не может его унижить. Не то что наши титулованные финансисты и мыловары. Он был подлинный аристократ. И, кроме того, он был художник. У него было о чем подумать, о вещах более важных, чем хлеб и сапоги и завтрашний день. — Немного помолчав, она прибавила: — И, что самое важное, он не был респектабельным. Он не считался с приличиями. Те, кто заботится о приличиях, получают свою награду в этом мире. А мне вот в высшей степени наплевать, если мы похожи на огородных пугал.

— Ого, как ты сама себя расхваливаешь! — сказал Рэмпион. Но после этого он долго думал о её словах и о её непосредственной, естественной, безмятежной манере жить. Он завидовал её «атавизмусу».

Мэри нравилось не только бродяжничество: удовольствие доставляла ей та прозаическая семейная жизнь, которую они стали вести по возвращении в Англию. Увидев впервые, как она готовит обед, Рэмпион назвал её «Марией-Антуанеттой в Трианоне»: с таким детским энтузиазмом предавалась она этому занятию.

— Подумай хорошенько, — предупреждал он её до женитьбы. — Тебе придётся жить бедно. По-настоящему бедно, а не на тысячу фунтов в год, как твои «безденежные» знакомые. Прислуги не будет. Тебе придётся самой стряпать, штопать чулки и убирать комнату. Тебе это покажется вовсе не таким уж приятным.

Мэри только смеялась.

— Это тебе такая жизнь покажется неприятной, — ответила она. — По крайней мере до тех пор, пока я не научусь готовить.

До замужества ей ни разу не приходилось хотя бы сварить яйцо.

Как это ни странно, её детское увлечение хозяйством — стряпнёй на настоящей плите, подметанием комнат настоящей щёткой, шитьём на настоящей швейной машине — не прошло после первых месяцев, когда все казалось интересным и новым. Хозяйство по-прежнему приводило её в восторг.

— Я никогда не сумею снова превратиться в настоящую леди, — говорила она, — я бы умерла со скуки. Конечно, хозяйство и возня с детьми могут наскучить и вывести человека из терпения. Но куда хуже не соприкоснуться с обыденной жизнью, существовать на другой планете, вдали от мира повседневной, физической реальности.

Рэмпион рассуждал так же. Он не соглашался жить среди абстракций под предлогом занятия искусством и размышлениями. В свободное от писания пером и кистью время он помогал Мэри по хозяйству.

— Попробуй-ка выращивать цветы в милом чистеньком вакууме, — доказывал он ей. — Из этого ничего не получится. Цветам нужны перегной, и глина, и навоз. Искусству —

⁷² Евангелие от Матфея, 6:28.

тоже.

Для Рэмпиона жить жизнью бедняка было своего рода моральной потребностью. Даже когда он стал зарабатывать довольно много, они не держали больше одной прислуги и по-прежнему сами делали большую часть работы по хозяйству. У него это был принцип — своего рода *noblesse oblige* или, вернее, *roture oblige*⁷³. Жизнь богача, в приятном отдалении от материальных забот, была бы, с его точки зрения, своего рода изменой его классу, его близким. Если бы он сидел сложа руки и платил прислуге, чтобы она работала за него, он тем самым оскорблял бы память своей матери, он словно говорил бы ей, что он слишком хорош для той жизни, какую вела она.

Бывали случаи, когда он ненавидел эту моральную потребность, потому что она заставляла его поступать глупо и смешно; и, ненавидя, он пытался бунтовать. Взять, например, его бессмысленное возмущение по поводу привычки Мэри лежать по утрам в постели. Когда ей было лень, она не вставала — только и всего. Когда это случилось в первый раз, Рэмпион серьёзно огорчился.

— Но ведь нельзя же валяться в постели все утро, — возмущался он.

— Почему?

— Как почему? Да потому что нельзя.

— Нет, можно, — спокойно сказала Мэри. — И я это делаю.

Это возмутило его. Проанализировав своё возмущение, он убедился, что оно неразумно. Но он все-таки возмущался. Он возмущался потому, что сам он всегда вставал рано, потому, что всем его близким приходилось вставать рано. Он отказывался понять, как это можно лежать в постели, когда другие на ногах и работают. Позднее вставание каким-то образом усугубляло несправедливость, прибавляя к ней оскорбление. А между тем его раннее вставание совершенно явно не приносило никакой пользы тем людям, которые были вынуждены вставать рано. Раннее вставание без всякой на то необходимости было словно данью уважения, как обнажение головы в церкви. И в то же время оно было милостивительной жертвой, приносимой для очищения совести.

«Совершенно незачем относиться к этому так, — убеждал он себя. — Попробуй представить себе эллина, рассуждающего подобным образом!»

Представить себе это было невозможно. Но факт оставался фактом: как ни осуждал он своё отношение, менять его он не умел.

«Мэри рассуждает более здраво», — подумал он, вспоминая слова Уолта Уитмена о животных: «Они не скорбят, не жалуются на свой злополучный удел⁷⁴. Они не плачут бессонными ночами о своих грехах». Мэри именно такая, и это хорошо. Быть совершённым животным и в то же время совершённым человеком — таков был его идеал. И все-таки он возмущался, когда она нежилась в постели по утрам. Он старался не возмущаться, но у него ничего не выходило. Его бунт выражался в том, что иногда он из принципа оставался в постели до полудня. Он чувствовал, что его долг — не быть варваром совести. Но прошло много времени, пока он научился наслаждаться ленью.

Страсть валяться в постели не была единственной огорчавшей его привычкой Мэри. В эти первые месяцы их совместной жизни он нередко, втайне и вопреки своим принципам, возмущался её поведением. Мэри скоро научилась распознавать признаки его скрытого неодобрения и всякий раз, когда видела, что он возмущён, нарочно старалась возмутить его ещё больше; она считала, что ему это только полезно.

— Ты нелепый старый пуританин, — говорила она ему.

Её насмешки сердили его, так как он знал, что Мэри права. Отчасти он действительно был пуританином. Отец умер, когда он был совсем ребёнком, и его воспитала

⁷³ Благородство обязывает... плебейство обязывает (фр.).

⁷⁴ Цитируются строки из стихотворения Уолта Уитмена (1819-1892) «Песня о себе» (перевод К. Чуковского).

добродетельная и религиозная мать, приложившая все усилия к тому, чтобы приучить его отрицать самое существование всех инстинктов и плотских порывов. Когда он вырос, он взбунтовался против этого воспитания — но только в теории. Он восставал против той концепции жизни, которая вошла ему в плоть и кровь; он воевал с самим собой. Сознанием он одобрял непринуждённую терпимость, с какой Мэри относилась к поведению, являвшемуся, с точки зрения его матери, ужасным и греховным; он восхищался тем, как она непритворно наслаждается едой, вином и поцелуями, пением и танцами, гуляниями и театрами и всякого рода увеселениями. И все-таки, когда она в те дни заговаривала самым спокойным и деловитым тоном о том, на что его приучили смотреть как на прелюбодеяние и блуд, что-то в нем возмущалось — не разум (потому что разум после минутного размышления одобрял Мэри), а какие-то более глубокие слои его существа. И та же самая часть его втайне страдала от её сильной и простодушно проявлявшейся склонности к удовольствиям и развлечениям, от её непринуждённого смеха, её великолепного аппетита, её откровенной чувственности. Ему пришлось долго отучаться от привитого воспитанием пуританизма. Бывали минуты, когда его любовь к матери превращалась почти в ненависть.

— Она не имела права воспитывать меня так, — говорил он. — Она поступала, как японский садовник, уродующий дерево. Никакого права!

И все-таки он радовался тому, что не родился благородным дикарём, подобно Мэри. Он радовался, что ему пришлось трудолюбиво воспитывать в себе это благородное дикарство. Позже, после нескольких лет совместной жизни, когда между ними создалась близость, казавшаяся немыслимой в те первые месяцы открытий, ударов и неожиданностей, он научился говорить с ней на эту тему.

— Жизнь даётся тебе слишком легко, — объяснял он, — ты живёшь инстинктом. Ты от природы знаешь, как тебе поступать, — вроде насекомого, когда оно выходит из куколки. Это слишком просто, слишком легко. — Он покачал головой. — Ты не заработала своей мудрости; ты даже не понимаешь, что можно жить иначе.

— Иными словами, — сказала Мэри, — я дура.

— Нет, ты — женщина.

— Ну да, то же самое, только в вежливой форме. Хотела бы я знать, — с кажущейся непоследовательностью продолжала она, — что стало бы с тобой без меня. Хотела бы я знать, что стал бы ты делать, если бы не встретил меня. — Она пункт за пунктом излагала своё обвинение, внешне бессвязное, но эмоционально последовательное.

— Со мной стало бы то, что стало, и я делал бы то самое, что делаю сейчас. — Разумеется, он этого не думал: он отлично знал, чем обязан ей, чему он научился от неё и через неё. Но ему нравилось дразнить её.

— Ты сам знаешь, что это — неправда, — возмутилась Мэри.

— Это правда.

— Это ложь. А чтобы доказать тебе это, — добавила она, — я вот заберу детей и уйду от тебя на несколько месяцев. Поживи-ка один, поварись в собственном соку! Посмотрю-ка я, как ты без меня обойдёшься!

— Не беспокойся: отлично обойдусь, — заявил он раздражающе спокойным тоном.

Мэри вспыхнула: она начинала сердиться по-настоящему.

— Что ж, прекрасно, — ответила она. — В таком случае я и в самом деле уйду. Вот увидишь. — Она не раз угрожала ему этим; они часто ссорились, потому что оба были вспыльчивы.

— Уходи, — сказал Рэмпион. — Помни только, что за мной дело тоже не станет. Как только ты уйдёшь от меня, я уйду от тебя.

— Посмотрим, как ты проживёшь без меня, — грозила она.

— А ты? — спросил он. — Что я?

— Ты, может быть, воображаешь, что тебе без меня будет легче, чем мне без тебя?

Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, а потом одновременно разразились смехом.

Х

Да, собственный метод, — повторил Спэндрелл. — Берут молодую девушку, несчастную или неудовлетворённую, или мечтающую поступить на сцену, или посылающую свои произведения в журналы, которые их отвергают, и считающую себя на этом основании «*ame incomprise*»⁷⁵. — Он хвастливо обобщал случай с бедняжкой Хэрриет Уоткинс. Если бы он просто описал свой роман с Хэрриет, это не произвело бы впечатления такого необыкновенного подвига. Хэрриет была трогательно-беспомощное создание; любой мужчина сумел бы её обмануть. Но, обобщённая подобным образом, словно случай с Хэрриет был лишь одним из тысячи, и изложенная языком поваренной книги («Берут то-то и то-то» — точь-в-точь кулинарный рецепт миссис Биток⁷⁶), вся эта история звучала, по его мнению, весьма цинично и внушительно. — И относятся к ней очень нежно и очень добродетельно и вполне невинно — одним словом, как старший брат. И она считает вас таким чудесным, потому что, разумеется, до сих пор она не встречала других мужчин, кроме конторщиков из Сити, никогда не встречала людей с такими мыслями и такими стремлениями, как у вас. Она считает вас чудесным, потому что вы знаете все об искусстве, и встречались со всеми знаменитостями, и думаете не только о деньгах, и не говорите фразами из утренней газеты. И к тому же она немножко трепещет перед вами, — добавил он, вспомнив выражение испуганного обожания на лице малютки Хэрриет. — Вы такой нереспектабельный и в то же время вы явно принадлежите к высшему классу, вы чувствуете себя как дома среди великих творений и великих людей, вы такой порочный и в то же время такой необыкновенно добрый, такой начитанный, вы так много путешествовали, вы такой блестящий космополит и аристократ (слыхали когда-нибудь, как обитатели предместий говорят об аристократах?), как джентльмен с орденом Золотого Руна на рекламах сигарет «Де Решке». Да, перед вами трепещут; но в то же время вас обожают. Вы так прекрасно все понимаете, вы так много знаете о жизни вообще и об её собственной душе в частности, и вы не пристаёте к ней, не ведёте себя нахально, как другие мужчины. Она чувствует, что может вполне довериться вам; и в первые недели она действительно может довериться. Её приучают к ловушке; она становится совсем ручной и доверчивой, её дрессируют так, что она перестаёт стесняться братского поглаживания по спине или целомудренного дядюшкиного поцелуя в лоб. А тем временем вы втираетесь к ней в доверие, заставляете её говорить о любви, сами говорите с ней о любви, как с женщиной одного с вами возраста, таким же грустно-разочарованным и горько знающим, как вы сами, что ужасно шокирует её (хотя, конечно, она в этом не признается), но в то же время глубоко волнует и необычайно льстит ей. За это одно она готова влюбиться в вас. Ну а когда наконец наступает благоприятный момент, когда она приручена и больше не боится, вы подводите дело к развязке. Вы приглашаете её к себе на чашку чая — она уже приручена к тому, чтобы безбоязненно приходила к вам на квартиру. Спешить некуда, потому что потом вы вместе поедете ужинать. Сумерки сгущаются, вы разочарованно, но с чувством говорите о тайнах любви, вы смешиваете коктейли — очень крепкие — и продолжаете разговаривать, а она тем временем рассеянно выпивает одну рюмку за другой. Усевшись на полу, у её ног, вы очень нежно и вполне платонически поглаживаете ей ножки и продолжаете рассуждать о философии любви, точно вы и не сознаёте, что делают ваши руки. Если это не встретило возражений — а коктейли сделали своё дело, — остальное не представит никаких трудностей. Так по крайней мере бывало у меня. — Спэндрелл налил себе ещё бренди и выпил. — Но самое весёлое начинается тогда, когда она уже стала вашей возлюбленной.

⁷⁵ Непонятой душой (фр.).

⁷⁶ Биток, Изабелла Мэри (1836-1865) — автор знаменитой в Англии поваренной книги (1861).

Тогда вы начинаете проявлять все ваши сократические таланты. Вы развиваете её темпераментишко, вы приучаете её — потихоньку, нежно и терпеливо — к самым грубым проявлениям чувственности. А сделать это вовсе не трудно: чем она невинней, тем это легче. Девушки такого сорта с наивной непосредственностью доходят до самого грязного разврата.

— Не сомневаюсь, — возмущённо сказала Мэри. — Но чего ради вы это делаете?

— Ради развлечения, — с театральным цинизмом сказал Спэндрелл. — Чтобы убить время и разогнать скуку.

— А главным образом, — закончил Марк Рэмпион, не поднимая глаз от чашки кофе, — ради мести. Этим вы мстите женщинам, вы наказываете их за то, что они — женщины и привлекательны, вы даёте выход своей ненависти к ним и к тому, что они олицетворяют, вы даёте выход своей ненависти к самому себе. Вся ваша беда, Спэндрелл, — продолжал он, неожиданно с укором посмотрев блестящими светлыми глазами на Спэндрелла, — в том, что вы ненавидите самого себя. Вы ненавидите самый источник своей жизни, её основу — ведь не станете же вы отрицать, что в основе жизни лежит взаимоотношение полов. А вы ненавидите женщин, *ненавидите*.

— Ненавижу? — Это было неожиданное обвинение. Спэндрелл привык, что его ругают за чрезмерную любовь к женщинам и к чувственным наслаждениям.

— И не только вы. Вся эта публика. — Движением головы Рэмпион указал на остальных обедающих. — А также все уважаемые люди. Все страдают этим. Это болезнь современного человека; я зову её Иисусовой болезнью, по аналогии с брайтовой болезнью⁷⁷. Вернее — Иисусовой и ньютоновой болезнью, потому что учёные повинны в ней не меньше христиан. И крупные дельцы тоже, если на то пошло. Это Иисусова, ньютонова и фордова болезнь. Эта троица убивает человечество, высасывает из нас жизнь и начиняет нас ненавистью.

Эта тема очень занимала Рэмпиона. Весь день он трудился над рисунком, символически выразившим его мысли. Рисунок изображал Иисуса с повязкой на бёдрах, как в день казни, и хирурга в халате со скальпелем в руке; они стояли по бокам операционного стола, на котором ногами к зрителю был распят вскрытый мужчина. Из отвратительной раны в его животе свисал клубок внутренностей, которые, падая на землю, переплетались с внутренностями лежавшей на переднем плане женщины и аллегорически превращались в целый выводок змей. На заднем плане тянулись горы холмов, покрытых чёрным пунктиром угольных шахт и фабричных труб. В одном углу рисунка, позади фигуры Иисуса, два ангела — духовный продукт стараний вивисекторов — пытались подняться на распростёртых крыльях. Тщетно: их ноги запутались в клубке змей. Несмотря на все свои усилия, они не могли оторваться от земли.

— Иисус и учёные подвергают нас вивисекции, — продолжал он, думая о своём рисунке, — рассекают наши тела на куски.

— Что же в этом плохого? — возразил Спэндрелл. — Вероятно, тела для этого и созданы. Недаром существует стыд. Стыд своего тела и его функций возникает у нас самопроизвольно. Он свидетельствует о том, что наше тело есть нечто абсолютно и естественно низшее.

— Абсолютная и естественная чушь! — возмутился Рэмпион. — Начать с того, что стыд возникает вовсе не самопроизвольно. Нам его прививают. Можно заставить людей стыдиться чего угодно. Стыдиться жёлтых ботинок при чёрном сюртуке, неподобающего акцента, капли, висящей на носу. Решительно всего, и в том числе тела и его функций. Но этот вид стыда ничуть не менее искусствен, чем все остальные. Его выдумали христиане, подобно тому как портные с Сэвил-роуд выдумали, что стыдно носить жёлтые ботинки при чёрном сюртуке. В дохристианские времена этого стыда не существовало. Возьмите греков,

⁷⁷ Имеется в виду хронический нефрит, или «болезнь Брайта», названная так по имени английского медика Ричарда Брайта (1789-1858).

этрусков...

Последние слова Рэмпиона перенесли Мэри на вересковые пустоши около Стэнтонна. Он все такой же. Он стал только немножко сильнее. Какой больной вид был у него в тот день. Ей было стыдно своего здоровья и богатства. Любила ли она его тогда так же сильно, как любит теперь?

Спэндрелл поднял длинную, костлявую руку.

— Знаю, знаю... Благородные, обнажённые, античные. Боюсь только, что эти физкультурные язычники — современная выдумка. Мы выпускаем их на арену каждый раз, когда нам хочется подразнить христиан. Но существовали ли они на самом деле? Сомневаюсь.

— Но посмотрите на их искусство, — вставила Мэри, вспоминая фрески в Тарквинии. Она увидела их ещё раз вместе с Марком, и на этот раз она их по-настоящему видела.

— Да, а посмотрите-ка на наше, — отпарировал Спэндрелл. — Когда археологи через три тысячи лет отроют скульптурный зал Королевской академии, они будут утверждать, что лондонцы двадцатого столетия носили фиговые листки, публично кормили грудью детей и обнимались в парках совершенно голые.

— Жаль, что они этого не делают, — сказал Рэмпион.

— Да, но все-таки они этого не делают. Но оставим пока вопрос о стыде; что вы скажете об аскетизме как необходимом условии мистического опыта?

Рэмпион молитвенно сложил руки и, откинувшись в кресле, возвёл очи горе.

— Господи, спаси и помилуй! — сказал он. — Вот уже до чего дошло? Мистический опыт и аскетизм! Ненависть блудодея к жизни принимает новую форму.

— Но серьёзно... — начал Спэндрелл.

— Нет, серьёзно, читали вы «Таис» Анатоля Франса?

Спэндрелл отрицательно покачал головой.

— Прочитайте, — сказал Рэмпион. — Обязательно прочитайте. Конечно, «Таис» элементарна. Детская книга. Но не годится становиться взрослым, не прочитав всех детских книг. Прочтите её, а тогда мы с вами поговорим об аскетизме и мистическом опыте.

— Что ж, прочитаю, — сказал Спэндрелл. — Я ведь хотел только сказать, что аскетам известны некоторые состояния духа, неизвестные всем остальным людям.

— Не сомневаюсь. А если вы будете обращаться с вашим телом так, как велит природа, вы испытаете такие состояния, которые и не снились занимающимся вивисекцией аскетам.

— Но состояния, доступные вивисекторам, лучше, чем состояния тех, кто потворствует своим страстям.

— Иными словами, сумасшедшие лучше, чем нормальные люди? С этим я никогда не соглашусь. Здоровому, гармоническому человеку доступны и те состояния, и другие. Он не такой дурак, чтобы убивать часть самого себя. Он умеет сохранять равновесие. Конечно, это не легко; больше того, это дьявольски трудно. Нужно примирить от природы враждебные силы. Сознание стремится подавить работу бессознательной, физической, инстинктивной части человеческого существа. Жизнь для одного означает смерть для другого, и наоборот. Но нормальный человек по крайней мере пытается сохранить равновесие. А христиане, люди ненормальные, уговаривают человека выбросить половину самого себя в мусорный ящик. А потом приходят учёные и дельцы и говорят нам, что мы должны выбросить ещё половину из того, что оставили христиане. Но я не хочу быть на три четверти мёртвым: я предпочитаю быть живым, целиком живым. Пора восстать на защиту жизни и цельности.

— Но если стать на вашу точку зрения, — сказал Спэндрелл, — то наша эпоха в реформах не нуждается. Это — золотой век гуманности, спорта и беспорядочных половых сношений.

— Если бы вы только знали, какой Марк, в сущности, пуританин, — засмеялась Мэри Рэмпион, — какой он безнадежно старый пуританин!

— Все не пуританин, — сказал её муж, — просто нормальный человек. А вы не лучше остальных, — снова обратился он к Спэндреллу. — Вы все воображаете, будто нет

никакой разницы между современной, холодной цивилизованной похотливостью и здоровым, скажем, фаллизмом (такую форму принимало в те времена религиозное чувство; читали «Ахарнян»⁷⁸), одним словом, фаллизмом древних.

Спэндрелл застонал и покачал головой:

— Избави нас Боже от этих гимнастов!

— А между тем разница здесь большая, — продолжал Рэмпион. — Современная похотливость — просто христианство наизусть. Аскетическое презрение к телу, выраженное другим способом. Презрение и ненависть. Об этом-то я вам и говорю. Вы ненавидите самого себя, вы ненавидите жизнь. У вас только такая альтернатива: либо свальный грех, либо аскетизм. Две формы смерти. Знаете, христиане и то гораздо лучше понимали фаллизм, чем наше безбожное поколение. Как это там говорится в свадебном обряде? «Телом моим служу тебе». Служение телом — это ведь подлинный фаллизм. А если вы думаете, что это хоть сколько-нибудь похоже на бесстрастный цивилизованный свальный грех наших передовых молодых людей, вы жестоко ошибаетесь.

— Что вы, я охотно соглашаюсь, что наши цивилизованные развлечения смертоносны, — ответил Спэндрелл. — Есть, знаете, такой запах... — он говорил отрывисто, в промежутках между словами старательно раскуривая наполовину потухшую сигару, — дешёвых духов... давно не мытого тела... иногда я думаю... что такой запах... должен быть в аду. — Он отбросил спичку. — Но есть ещё одна возможность, и в ней нет ничего смертоносного. Возьмите, например, Иисуса или святого Франциска — разве они трупы?

— Не без того, — сказал Рэмпион. — Они не совсем трупы, а так, кусочками. Я готов согласиться, что иные кусочки в них были очень даже живые. Но оба они попросту не считались с целой половиной человеческого общества. Нет, нет, это не то! Пора перестать говорить о них. Мне надоели Иисус и Франциск, смертельно надоели.

— Что ж, возьмём поэтов, — сказал Спэндрелл. — Вы ведь не скажете, что Шелли — труп.

— Шелли? — воскликнул Рэмпион. — Не говорите мне о Шелли. — Он выразительно покачал головой. — Нет, нет! В Шелли есть что-то ужасно гнусное. Он не человек, не мужчина. Помесь эльфа и слизняка.

— Полегче, полегче, — запротестовал Спэндрелл.

— Ах да, утончённый и так далее! А внутри такая, знаете ли, бескровная слякоть. Ни крови, ни костей, ни кишок. Слизь и белый сок — и больше ничего. И с какой гнусной ложью в душе! Как он всегда убеждал себя и других, что земля — это вовсе не земля, а либо небо, либо ад. А когда он спал с женщинами, так вы не подумайте, пожалуйста, что он спал с ними — как можно! Просто двое ангелов брались за ручки. Фу! Вспомните, как он обращался с женщинами. Возмутительно, просто возмутительно! Конечно, женщинам это нравилось — на первых порах. Они чувствовали себя такими духовными — по крайней мере до тех пор, пока у них не появлялось желание покончить с собой⁷⁹. Ужасно духовными! А на самом деле он был всегда только школьник: мальчику не терпится, вот он и уверяет сам себя и всех других, что он — это Данте и Беатриче в одном лице. Какая гнусность! Единственное оправдание — что это была не его вина. Он родился не мужчиной: он был эльфом из породы слизняков и с половыми потребностями школьника. А потом вспомните его полную неспособность назвать лопату лопатой. Ему непременно нужно было делать вид, что это ангельская арфа либо платоновская идея. Помните оду «К жаворонку»? «Здравствуй, лёгкое творенье! Ты не птица, светлый дух!» — Рэмпион декламировал с преувеличенным «выражением», пародируя профессионального чтеца. — Он, как всегда, делает вид, как всегда лжёт. Разве можно допустить, что жаворонок — это только птица, с кровью, перьями,

⁷⁸ Комедия Аристофана (ок. 445 — ок. 385 до н.э.).

⁷⁹ Первая жена Шелли покончила жизнь самоубийством.

которая вьёт себе гнездо и кушает гусениц? Ах, что вы! Это недостаточно поэтично, это слишком грубо. Нужно, чтобы жаворонок стал бесплотным духом. Без крови, без костей. Так, какой-то эфирный, летучий слизняк. Как и следовало ожидать, Шелли сам был своего рода летучим слизняком; а в конце концов писать можно только о самом себе. Если человек слизняк, он будет писать о слизняках, даже тогда, когда он воображает, будто пишет о жаворонках. Надеюсь только, — добавил Рэмпион со взрывом комически преувеличенного бешенства, — надеюсь, что у этой птицы хватило ума, как у воробьёв в книге Товита, наложить ему как следует в глаза ⁸⁰. Это проучило бы его за то, что он говорил, будто жаворонок — не птица. Светлый дух, действительно! Светлый дух!

XI

Вокруг Люси всегда становилось особенно шумно. Чем больше народу, тем больше веселья — таков был её принцип; а если не веселья, то по крайней мере шума, суетни, возможности рассеяться. Через пять минут после её приезда в уголок, где Спэндрелл и Рэмпионы просидели весь вечер за уединённой и спокойной беседой, хлынула шумная и пьяная компания из внутреннего зала. Самым громогласным и самым нетрезвым из всех был Касберт Аркрайт. Он шумел и пил из принципа и из любви к искусству, а также к спиртному. Он считал, что криком и агрессивным поведением он защищает искусство от филистеров. Нализавшись, он чувствовал себя воином, выступающим на стороне восставших ангелов, Бодлера, Эдгара Аллана По и де Куинси ⁸¹ против тупой, бессмысленной толпы. А когда он хвастался своими прелюбодеяниями, он делал это потому, что уважаемые люди считали Блейка безумцем, что Бaudлер ⁸² редактировал Шекспира, что автор «Мадам Бовари» подвергался судебным преследованиям и что служащие Бодлианской библиотеки ⁸³ выдавали «Содом» графа Рочестера ⁸⁴ только по предъявлении документа, удостоверяющего, что данный читатель занимается исследовательской работой. Он зарабатывал себе на жизнь и считал, что «служит искусству», выпуская ограниченным тиражом и в роскошных изданиях наиболее скабрёзные образчики отечественной и иностранной литературы. Белокурый, с красным, как сырое мясо, широким лоснящимся лицом и зелёными рачьими глазами, он приблизился, изрыгая приветствия. За ним жеманно следовал Вилли Уивер, вечно улыбающийся человек с очками на длинном носу, искрящийся хорошим настроением и болтающий без умолку. За ним шёл Питер Слайп, его близнец по росту, тоже в очках, но серый, тусклый, сутулый и молчаливый.

— Они похожи на рекламу патентованного лекарства, — сказал, увидев их, Спэндрелл. — Слайп — пациент «до». Уивер — тот же пациент после первой бутылки, а Касберт Аркрайт иллюстрирует ужасающие результаты полного курса лечения.

Люси все ещё смеялась этой шутке, когда Касберт схватил её за руку.

— Люси! — закричал он. — Ангел мой! Скажите мне, ради Создателя, зачем вы всегда

⁸⁰ Автор приводит библейскую цитату (Книга Товита, 2:9-10).

⁸¹ Куинси, Томас де (1785-1859) — английский писатель, описавший свои ощущения от наркотического опьянения в книге «Исповедь англичанина, курильщика опиума» (1822).

⁸² Бaudлер, Томас (1754-1825) — шотландский врач; выпустил 10-томное «семейное издание» Шекспира, предварительно очистив текст от всего, что ему показалось непристойным.

⁸³ Имеется в виду библиотека Оксфордского университета, одна из лучших в Англии, основана в 1602 г.

⁸⁴ Уилмот, Джон, граф Рочестер (1648-1680) — английский поэт, автор сатирических и фривольных поэм и стихов, в том числе поэмы «Содом».

пишете карандашом? Я никогда не могу разобрать, что вы написали. Чистая случайность, что я сегодня здесь.

«Ах, так она назначила ему здесь свидание, — подумал Уолтер. — Этому грубому, неотёсанному балбесу!»

Вилли Уивер обменялся рукопожатием с Мэри Рэмпион и Марком.

— Мог ли я ожидать, что встречу здесь великих, — сказал он. — Равно как и прекрасных. — Он поклонился в сторону Мэри, которая разразилась громким мужским смехом. Вилли Уивер был скорее польщён, нежели оскорблён. — Ну прямо «Таверна Русалки»⁸⁵, — не унимался он.

— Все ещё возитесь со своими безделушками? — спросил Спэндрелл, обращаясь через стол к усевшемуся возле Уолтера Питеру Слайпу. Питер работал в отделе ассириологии Британского музея.

— Но зачем карандашом, зачем карандашом? — ревел Касберт.

— Когда я пишу чернилами, я всегда пачкаю пальцы.

— Я поцелуюми стёр бы с них чернила, — заявил Касберт и, нагнувшись над её рукой, принялся целовать её тонкие пальцы.

— В таком случае я куплю стилограф! — рассмеялась Люси. Уолтер смотрел в полной растерянности. Как! Неужели этот шут гороховый?..

— Неблагодарная! — сказал Касберт. — Но мне ещё нужно поговорить с Рэмпионом.

И, отвернувшись, он ударил Рэмпиона по плечу и одновременно помахал Мэри рукой.

— Какая вечеря! — точно чайник на огне, кипел Вилли Уивер. Теперь он повернулся носиком к Люси. — Какое пиршество! Какой... — он на мгновение запнулся, подыскивая полноценное, выразительное слово, — какой афинский размах! Какая более чем платоновская оргия!

— А что такое афинский размах? — спросила Люси. Вилли сел и принялся объяснять:

— Видите ли, я хотел противопоставить афинский размах нашей буржуазной и пексифовской узости⁸⁶...

— Почему вы не позволяете мне напечатать что-нибудь из ваших вещей? — вкрадчиво осведомился Касберт.

Рэмпион неприязненно оглядел его.

— Вы думаете, я добиваюсь чести, чтобы мои книги продавались на развале?

— Они будут в хорошей компании, — сказал Спэндрелл. — Творения Аристотеля...

Касберт громогласно запротестовал.

— Сравните выдающегося англичанина эпохи Виктории с выдающимся греком эпохи Перикла, — сказал Вилли Уивер. Он улыбался, он был доволен собой и растекался в красноречии.

На Питера Слайпа бургундское оказывало угнетающее, а не возбуждающее действие. Вино только усиливало свойственную ему тусклую меланхолию.

— А как Беатриса? — спросил он Уолтера. — Беатриса Гилрэй? — Он икнул и сделал вид, что это кашель. — Вы, наверно, часто видите с ней теперь, когда она работает в «Литературном мире»?

Уолтер виделся с ней три раза в неделю и всегда находил её в добром здравии.

— Когда увидите, передайте ей от меня привет, — сказал Слайп.

— Громогласные борборигмы⁸⁷ неудобоваримого Карлейля⁸⁸! — продекламировал

⁸⁵ Знаменитая таверна в Лондоне XVI в., местопребывание Литературного клуба, членами которого были Шекспир, Бен Джонсон, Флетчер и др.

⁸⁶ Пексиф — герой романа «Мартин Чезлвит» Ч. Диккенса; елейный лицемер; его имя стало в Англии нарицательным.

⁸⁷ Шумы, производимые газами в желудке.

Вилли Уивер и сияющим взглядом посмотрел сквозь очки. «Трудно было бы найти *mot* более восхитительно *juste*» ⁸⁹, — подумал он с удовлетворением. Он слегка кашлянул, как он делал всегда после своих наиболее удачных изречений. В переводе на обычный язык это покашливание означало: «Я должен был бы смеяться, я должен был бы аплодировать, но мне не позволяет скромность».

— Громогласные — что? — спросила Люси. — Не забывайте, что я очень необразованна.

— О, простодушный щебет лиры ⁹⁰! — сказал Вилли. — Разрешите налить себе ещё этого благородного напитка. «Румяная Иппокрена» ⁹¹.

— Она обошлась со мной ужасно, совершенно ужасно, — жаловался Питер Слайп. — Но пусть она не думает, что я на неё в обиде.

Вилли Уивер причмокнул над стаканом бренди.

— «Лишь сыны Сиона знают твердь блаженства, влагу счастья», — переврал он цитату и снова самодовольно кашлянул.

— Все несчастья Касберта, — говорил Спэндрелл, — в том, что он никак не может уловить разницу между искусством и порнографией.

— Конечно, — продолжал Питер Слайп, — она имеет полное право делать все, что угодно, в собственном доме. Но выгонять меня без всякого предупреждения!..

В другое время Уолтер с наслаждением выслушал бы слайповскую версию этой занятой истории. Но сейчас он не мог отнестись к ней с должным вниманием, потому что рядом сидела Люси.

— Иногда мне кажется, что в викторианскую эпоху жить было гораздо интересней, чем теперь, — говорила она. — Чем больше запретов, тем интересней жить. Если вы хотите посмотреть на людей, которые испытывают истинное наслаждение от пьянства, поезжайте в Америку. В викторианской Англии во всех областях царил «сухой закон». Например, девятнадцатый параграф о любви. Они нарушали его с таким же энтузиазмом, с каким американцы напиваются. Боюсь, что я не очень верю в «афинский размах» — во всяком случае, если вы его видите здесь.

— Вы предпочитаете Пекснифа Алкивиаду ⁹², — заключил Вилли Уивер. Люси пожала плечами.

— Мне никогда не приходилось иметь дело с Пекснифом.

— Скажите, — говорил Питер Слайп, — вас когда-нибудь щипала гусыня?

— Меня — что? — Уолтер вновь переключил внимание на Слайпа.

— Щипала гусыня?

— Насколько я помню, никогда.

— Это очень неприятное ощущение. — Слайп потыкал в воздух указательным пальцем,

⁸⁸ Карлейль, Томас (1795-1881) — английский писатель и историк, писавший возвышенным и тяжеловесным языком.

⁸⁹ Словечко... точное (фр.).

⁹⁰ Цитата из стихотворения Джона Мильтона «L'Allegro» (1632).

⁹¹ Источник на горе Геликон в Древней Греции, посвящённый музам. Греки считали, что всякий, отведавший воды из этого ключа, приобретает поэтический дар. «Румяная Иппокрена» — цитата из «Оды соловью» английского поэта-романтика Джона Китса (1795-1821), где эта метафора применена к вину (перевод Г. Кружкова).

⁹² Алкивиад (ок. 450-404 до н.э.) — афинский политический деятель и полководец, славившийся своим беспутным поведением.

потемневшим от табака. — Беатриса именно такая. Она щиплет; она любит щипаться. В то же время она очень добра. Но она желает быть доброй обязательно по-своему, а если вам не нравится, она вас щиплет. Она и щиплет-то из добрых чувств — так по крайней мере всегда казалось мне. Я не возражал. Но почему она вышвырнула меня из дому, словно я какой-нибудь преступник? А сейчас так трудно найти квартиру! Мне пришлось три недели жить в пансионе. Как там кормили!.. — Он весь передёрнулся.

Уолтер не мог удержаться от улыбки.

— Она, вероятно, спешила водворить на ваше место Барлепа.

— Но к чему такая спешка?

— Когда на смену старой любви приходит новая...

— Но какое отношение имеет к Беатрисе любовь? — спросил Слайп.

— Огромное, — вмешался Вилли Уивер. — Колоссальное! Перезрелые девы всегда самые страстные.

— Но у неё за всю жизнь не было ни одной любовной связи.

— Поэтому-то она такая неистовая, — торжествующе заключил Вилли. — Предохранительный клапан закрыт слишком плотно. Жена уверяет, что бельё она носит такое, что хоть самой Фрине⁹³ впору. Это угрожающий симптом.

— Может быть, она просто любит хорошо одеваться? — предположила Люси.

Вилли Уивер покачал головой. Это предположение казалось ему слишком простым.

— Подсознание этой женщины подобно чёрной пропасти. — На мгновение Вилли замолчал. — На дне которой копошатся жабы, — заключил он и скромно кашлянул, поздравляя себя с очередным достижением.

Беатриса Гилрэй чинила розовую шёлковую кофточку. Ей было тридцать пять лет, но она казалась моложе; вернее сказать, она казалась женщиной без возраста. Кожа у неё была чистая и свежая. Блестящие глаза смотрели из неглубоких, без единой морщинки орбит. Её лицо нельзя было назвать некрасивым, но было что-то комическое в форме её вздёрнутого носика, что-то немножко нелепое в её глазах, похожих на яркие бусинки, в её пухлых губах и круглом, вызывающем подбородке. Но смеяться с ней было так же легко, как над ней: рот у неё был весёлый, а выражение круглых удивлённых глаз было насмешливым и лукаво-любопытным. Она делала стежок за стежком. Часы тикали. Движущееся мгновение, которое, согласно сэру Исааку Ньютону, отделяет бесконечное прошлое от бесконечного будущего, неумолимо продвигалось вперёд сквозь измерение времени. Или, если прав Аристотель, какая-то частица возможного ежесекундно становилась действительностью; настоящее стояло неподвижно и втягивало в себя будущее, точно человек, втягивающий в себя бесконечную макаронину. Время от времени Беатриса реализовывала потенциальный зевок. В корзине у камина лежала чёрная кошка; она мурлыкала, её сосали четверо слепых пегих котят. Стены комнаты были жёлтые, как первоцвет. На верхней полке книжного шкафа пыль скапливалась на книгах по ассириологии, приобретённых тогда, когда верхний этаж снимал Питер Слайп. На столе лежал раскрытый томик «Мыслей» Паскаля с карандашными пометками Барлепа. Часы продолжали тикать.

Хлопнула входная дверь. Беатриса положила розовую шёлковую кофточку и вскочила.

— Не забудьте выпить молоко, Денис, — сказала она, выглядывая в холл. Голос у неё был звонкий, резкий и повелительный.

Барлеп повесил пальто и подошёл к двери.

— Зачем вы меня дожидались? — сказал он с нежным упрёком, даря ей одну из своих строгих и тонких улыбок в стиле Содомы.

— У меня была работа, которую мне хотелось кончить, — солгала Беатриса.

— Это страх как мило с вашей стороны. — Разговорные выражения, которыми Барлеп любил уснащать свою речь, звучали в его устах довольно чудно. «Он употребляет

⁹³ Фрина — древнегреческая куртизанка.

простонародные выражения, — сказал однажды Марк Рэмпион, — как иностранец, прекрасно владеющий английским языком, но все-таки иностранец. Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь слышать, как индус называет кого-нибудь „дельным парнем“? Простонародный язык Барлепа напоминает мне именно это».

Для Беатрисы, однако, это «страх как мило» прозвучало как нечто вполне естественное и отнюдь не иностранное. Она покраснела радостно и застенчиво, как молодая девушка. Но вслух она повелительно протрещала:

— Входите и закрывайте дверь.

Мягкая девическая робость скрывалась под жёсткой оболочкой; внешняя часть её «я» щипалась и была деловита.

— Садитесь здесь, — приказала она; и, проворно орудуя кувшином молока и кастрюлей у газовой плиты, спросила, понравился ли ему вечер.

Барлеп покачал головой.

— *Fascinatio nugacitatis*⁹⁴, — сказал он. — *Fascinatio nugacitatis*. — Всю дорогу от Пиккадилли-серкус он пережёвывал тему об очаровании болтовни.

Беатриса не знала латыни, но по лицу Барлепа она поняла, что эти слова выражают неодобрение.

— Эти вечера — пустая трата времени, не правда ли? — сказала она.

Барлеп кивнул головой.

— Пустая трата времени, — отозвался он своим тягучим голосом жвачного животного, пристально глядя пустым, озабоченным взором на незримого демоненка, стоявшего слева от Беатрисы. — Человеку сорок лет, человек прожил больше половины жизни, мир полон чудес и тайн. А человек проводит четыре часа, болтая ни о чем в Тэнтемаунт-Хаусе. Почему пошлость так чарует нас? Или человека привлекает туда не пошлость, а нечто иное? Может быть, смутная фантастическая надежда, что там встретишь мессию, которого искал всю жизнь, или услышишь слова откровения? — Барлеп мотал головой в такт словам, словно мускулы его шеи вдруг ослабели.

Беатриса настолько привыкла к этому мотанию, что не находила в нем ничего странного. Ожидая, пока вскипит молоко, она восторженно слушала, она смотрела на него, и у неё было такое лицо, точно она сидит в церкви. На человека, чьи путешествия в салоны богачей были лишь этапами неустанного духовного паломничества, по справедливости можно смотреть как на эквивалент воскресной церковной службы.

— Тем не менее, — добавил Барлеп, взглядывая на неё с неожиданной лукавой усмешкой уличного мальчишки, которая была совершенно не похожа на его недавнюю улыбку в стиле Содомы, — икра и шампанское были просто замечательные. — Демоненок нарушил философическую жвачку ангела. Барлеп позволил ему подать голос. Почему бы и нет? Он любил сбивать собеседников с толку. Он посмотрел на Беатрису, Беатриса, как и следовало ожидать, была сбита с толку.

— Ещё бы, — сказала она, меняя благолепное выражение лица в соответствии с усмешкой Барлепа. Она отрывисто засмеялась и отвернулась, чтобы налить молоко в чашку. — Вот вам молоко, — протрещала она, маскируя смущение повелительным тоном. — Извольте пить, пока оно горячее.

Наступило долгое молчание. Барлеп медленно потягивал горячее молоко, а Беатриса, сидя на пуфе перед холодным камином, ждала, затаив дыхание, сама не зная чего.

— Вы похожи на крошку мисс Муффе, которая сидела на пуфе, — сказал наконец Барлеп.

— К счастью, здесь нет большого паука, — улыбнулась Беатриса.

— Благодарю вас, если это комплимент.

— Да, это комплимент, — сказала Беатриса. «Самое замечательное в Денисе то, —

⁹⁴ Очарование болтовни (лат.).

подумала она, — что с ним чувствуешь себя так спокойно. Другие мужчины вечно набрасываются, стараются облапоть и поцеловать. Это ужасно, совершенно ужасно!» Беатриса до сих пор не оправилась от потрясения, пережитого ею, когда она была молодой девушкой. Однажды деверь её тётки Мэгги, к которому она привыкла относиться как к дяде, принялся обнимать её, когда они ехали вместе в закрытом экипаже. Она испытала такой страх и такое отвращение, что, когда Том Филд, который ей очень нравился, сделал ей предложение, она отказала — просто потому, что он был мужчиной, как ужасный дядя Бен, и потому, что она боялась проявлений любви и приходила в панику всякий раз, когда к ней прикасались. Теперь ей было за тридцать, но она ни разу не позволила никому прикоснуться к себе. Нежная и трепетная девочка, скрывавшаяся под скорлупой деловитости, не раз влюблялась. Но страх перед объятиями, перед прикосновениями всегда одерживал верх над любовью. При первых признаках опасности она отчаянно щипалась, она пряталась в свою жёсткую скорлупу, она спасалась бегством. Когда опасность проходила, испуганная девчонка глубоко вздыхала: благодаренье небесам! Но в большом вздохе облегчения всегда заключался маленький вздох разочарования. Ей хотелось, чтобы страха не было; ей хотелось, чтобы блаженная близость, существовавшая до объятий, продолжалась вечно. Иногда она сердилась на себя, но чаще она думала, что в любви есть что-то нехорошее, что в мужчинах есть что-то гнусное. Денис Барлеп был необыкновенный человек, он безусловно не был ни нахалом, ни приставалой. Беатриса могла обожать его без всяких опасений.

— Сьюзен любила сидеть на пуфе, как крошка мисс Муффе ⁹⁵, — проговорил Барлеп после долгой паузы. В его голосе звучала грусть. Последние несколько минут он пережёвывал своё горе о покойной жене. Прошло почти два года с тех пор, как эпидемия гриппа унесла Сьюзен, — почти два года, но боль, уверял он себя, не уменьшилась, чувство потери оставалось столь же острым. «Сьюзен, Сьюзен, Сьюзен!» — снова и снова повторял он про себя её имя. Он не увидит её больше, даже если проживёт миллион лет. Миллион лет, миллион лет! Пропasti разверзались вокруг слов. — Или на полу, — продолжал он, стараясь как можно живей воссоздать её образ. — Пожалуй, она больше любила сидеть на полу. Как дитя. — «Дитя, дитя, — повторял он про себя. — Такая юная!»

Беатриса молчала, глядя в пустой камин. Она чувствовала, что взглянуть теперь на Барлепа было бы нескромно, почти неприлично. Бедный! Когда она наконец посмотрела на него, она увидела, что по его щекам текут слезы. Их вид наполнил её страстной материнской жалостью. «Как дитя», — сказал он. Но он сам как дитя. Как бедное обиженное дитя. Нагнувшись, она ласково провела пальцами по его бессильно повисшей руке.

— Копоятся жабы! — со смехом повторила Люси. — Это прямо-таки гениально, Вилли.

— Все мои изречения гениальны, — скромно сказал Вилли. Он играл самого себя; он был Вилли Уивером в его коронной роли Вилли Уивера. Он артистически пользовался своей любовью к красноречию, страстью к закруглённой и звучной фразе. Ему следовало бы родиться по крайней мере тремя столетиями раньше. В дни юности Шекспира он стал бы знаменитым литератором. В наше время его эвфуизмы вызывали только смех. Но он наслаждался аплодисментами даже тогда, когда они были издевательскими. К тому же смех никогда не был злобным: все любили Вилли Уивера за его добродушие и услужливость. Он играл свою роль перед насмешливо одобряющими зрителями; и, чувствуя одобрение сквозь насмешку, он играл, не щадя сил. «Все мои изречения гениальны». Реплика явно из его роли. А может быть, это правда? Вилли паясничал, но в глубине души он был серьёзен. — И помяните мои слова, — добавил он, — в один прекрасный день жабы вырвутся на поверхность.

— Но почему жабы? — спросил Слайп. — По-моему, Беатриса меньше всего похожа на

⁹⁵ Крошка мисс Муффе — персонаж английского детского стишка про девочку, которая убежала, испугавшись паука.

жабу.

— А почему они должны вырваться на поверхность? — вставил Спэндрелл.

— Жабы не щиплются.

Но тонкий голос Слайпа был заглушён голосом Мэри Рэмпион.

— Потому, что рано или поздно все всплывает на поверхность! — воскликнула она. — Всплывает, и все тут.

— Отсюда — мораль, — заключил Касберт. — Не прячьте ничего в себе. Я никогда этого не делаю.

— Но, может быть, всего веселей тогда, когда это вырывается на поверхность, — сказала Люси.

— Извращённый и парадоксальный поборник запретов!

— Конечно, — говорил Рэмпион, — в человеке происходят такие же революции, как в обществе. Там бедные восстают против богатых; здесь — угнетаемое тело и инстинкты — против интеллекта. Мы возвели интеллект в ранг высшего класса; низший класс восстаёт.

— Слушайте, слушайте! — воскликнул Касберт и стукнул кулаком по столу.

Рэмпион нахмурился. Одобрение Касберта он воспринимал как личное оскорбление.

— Я контрреволюционер, — сказал Спэндрелл. — Свой низший класс надо держать в узде.

— Если речь не идёт о вас самих, — сказал ухмыляясь Касберт.

— Неужели мне нельзя немного потеоретизировать?

— Люди угнетали своё тело в течение многих столетий, — сказал Рэмпион, — а каковы результаты? Возьмите хоть его. — Он посмотрел на Спэндрелла; последний беззвучно рассмеялся, откинув голову. — А каковы результаты? — повторил он. — Революции внутри человека и как следствие — социальные революции в обществе.

— Ну, ну! — сказал Вилли Уивер. — Вы говорите так, словно уже слышится грохот термидорианских повозок. Англия все такая же, как была.

— А что вы знаете об Англии и англичанах? — возразил Рэмпион. — Вы никогда не бывали вне Лондона и вне вашего круга. Поезжайте на север.

— Боже меня избави! — благочестиво воскликнул Вилли.

— Поезжайте в страну угля и железа. Поговорите со сталеварами. Там это не будет революция ради какой-нибудь определённой цели. Это будет революция как самоцель. Разгром ради разгрома.

— Звучит приятно, — сказала Люси.

— Это чудовищно. Это просто бесчеловечно. Все человеческое выжато из них цивилизацией, выжато тяжестью угля и железа. Это будет революция стихийных духов, чудовищ, первобытных чудовищ. А вы закрываете глаза и делаете вид, будто все в порядке.

— Подумайте, какая диспропорция, — говорил лорд Эдвард, покуривая трубку. — Это положительно... — Ему не хватало слов. — Возьмите, например, уголь. Сейчас человечество потребляет угля в сто десять раз больше, чем в тысяча восьмисотом году. Но народонаселение увеличилось за это время всего в два с половиной раза. У остальных животных... совсем иначе: потребление пропорционально количеству.

— Но, — возразил Иллидж, — когда животные могут получить больше, чем им требуется для поддержания жизни, они это берут, не правда ли? После битвы или чумы гиены и коршуны пользуются случаем и объедаются. Не так ли поступаем и мы? Несколько миллионов лет тому назад погибло большое количество лесов. Человек выкапывает из земли их трупы, использует их и позволяет себе роскошь обжираться, пока не истощатся запасы падали. Когда запасы истощатся, он перейдёт на голодный паёк, как гиены в перерывах между войнами и эпидемиями. — Иллидж говорил со смехом. Он испытывал какое-то особое удовлетворение, говоря о человеческих существах так, словно они ничем не отличаются от червей. — Вот открыто месторождение угля, забил нефтяной фонтан. Возникают города, строятся железные дороги, взад и вперёд плывут корабли. Если бы с луны нас могло наблюдать какое-нибудь очень долговечное существо, это кишение и ползание,

вероятно, показалось бы ему похожим на суету муравьёв и мух вокруг дохлой собаки. Чилийская селитра, мексиканская нефть, тунисские фосфориты — при каждом новом открытии новое скопление насекомых. Можно представить себе комментарий лунных астрономов: «У этих существ наблюдается удивительный и, вероятно, единственный в своём роде тропизм к окаменевшей падали».

— Как страусы, — сказала Мэри Рэмпион. — Вы ведёте себя как страусы.

— И не только тогда, когда дело идёт о революции, — сказал Спэндрелл, а Вилли Уивер вставил что-то насчёт «строфокамилловского мировоззрения». — Нет, вы прячете голову под крыло всякий раз, как затрагивается что-нибудь существенное, но неприятное. А ведь было время, когда люди не старались делать вид, будто смерть и порок не существуют. «Au detour d'un sentier une charogne infame»⁹⁶, — процитировал он. — Бодлер был последний поэт средневековья и первый поэт современности. «Et pourtant...» — продолжал он, с улыбкой глядя на Люси и поднимая свой бокал:

Et pourtant vous serez semblable a cette ordure,
A cette horrible infection,
Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion!..
Alors, o ma beaute, dites a la vermine,
Qui vous mangera de baisers...⁹⁷

— Дорогой мой Спэндрелл! — Люси в знак протеста подняла руку.

— Ваша некрофилия переходит границы! — сказал Вилли Уивер.

«Все та же ненависть к жизни, — думал Рэмпион, — выбор только в том, какой смертью умереть». Он внимательно посмотрел Спэндреллу в лицо.

— А как подумаешь, — говорил Иллидж, — так окажется, что частное от деления времени, необходимого для образования угля, на продолжительность человеческой жизни немногим больше частного, которое мы получим, если разделим продолжительность жизни секвойи на продолжительность жизни одного поколения бацилл.

Касберт посмотрел на часы.

— Боже милосердный! — воскликнул он. — Двадцать пять минут первого! — Он вскочил. — А я обещал, что мы ещё заглянем на вечер к Виддикумам. Питер! Вилли! Марш скорей!

— Не уходите, — взмолилась Люси. — Кто же уходит так рано?

— Совесть нас призывает, — объяснил Вилли Уивер. — «Гласа Божья суровая дщерь». — Он издал своё лёгкое одобрительное покашливание.

— Но это смешно, это немыслимо! — Она переводила взгляд с одного лица на другое в какой-то тревоге. Она панически боялась одиночества. Ей всегда казалось, что, если люди останутся ещё на пять минут, тут-то наконец и произойдёт что-нибудь забавное. К тому же невыносимо, когда люди поступают не так, как хочется ей.

— Боюсь, и нам пора, — сказала Мэри Рэмпион, вставая. «Наконец-то!» — подумал

⁹⁶ «У тропки гнусную разваленную падаль» (фр.) — стихотворение Шарля Бодлера «Падаль» (перевод С. Петрова).

97

Нет, все-таки и вам не избежать распада,
Заразы, гноя и гнилья,
Звезда моих очей, души моей лампада,
Вам, ангел мой и страсть моя!..
Но сонмищу червей прожорливых шепнёте,
Целующих, как буравы... (фр.)

Уолтер. Он надеялся, что и Спэндрелл последует общему примеру.

— Но это невозможно! — кричала Люси. — Рэмпион, я не могу этого допустить!

Марк Рэмпион только засмеялся. «Ох, уж эти профессиональные сирены!» — подумал он. Она оставляла его совершенно холодным, она внушала ему отвращение. В отчаянии Люси взмолилась, обратившись даже к присутствовавшей здесь женщине.

— Миссис Рэмпион, вы должны остаться. Ещё на пять минут! Всего на пять минут, — упрашивала она.

Напрасно. Официант открыл боковую дверь. Они поспешно выскользнули в темноту.

— Почему им так хочется уйти? — жалобно спросила Люси.

— А почему нам так хочется остаться? — отозвался Спэндрелл. Сердце Уолтера упало: значит, он остаётся. — Это гораздо менее понятно.

Совсем непонятно! Духота и алкоголь начинали оказывать на Уолтера своё обычное действие. Он чувствовал себя больным и несчастным. Какой смысл безнадежно сидеть здесь, в этом отравленном воздухе? Почему не уехать сразу домой? Как обрадуется Марджори!

— Вы один верны мне, Уолтер. — Люси улыбнулась ему. Он решил пока не уезжать. Наступило молчание.

Касберт и его спутники взяли такси. Отклонив все приглашения, Рэмпионы пошли пешком.

— Наконец-то! — сказала Мэри, когда машина уехала. — Ненавижу этого Аркрайта!

— Но эта женщина ещё хуже, — сказал Рэмпион. — Меня мороз по коже подирает, когда я на неё смотрю. Бедный, глупый мальчик этот Бидлэйк! Точно кролик перед хорьком.

— Мужская солидарность. А мне так даже нравится, как она издевается над вами, мужчинами. Так вам и надо.

— Тебе, может, и кобры нравятся? — Зоология Рэмпиона была всегда глубоко символична.

— Ну, если уж на то пошло, то что ты скажешь о Спэндрелле? Он похож на химеру, на беса.

— Просто глупый школьник, — резко сказал Рэмпион. — Он до сих пор не вырос. Неужели ты не понимаешь? Он вечный подросток. Ломает себе голову над теми вопросами, которые занимают подростков. Он не способен жить, потому что он слишком занят мыслями о смерти, о Боге, об истине, о мистицизме и так далее, слишком занят мыслями о грехе и старается грешить — и огорчается тому, что у него ничего не выходит. Жалкое зрелище. Он нечто вроде Питера Пэна, пожалуй, он даже отвратительней жалкого выкидыша, воспетого Барри, потому что он перестал расти в ещё более глупом возрасте. Он Питер Пэн а la Достоевский, плюс Мюссе, плюс модерн, плюс Беньян⁹⁸, плюс Байрон и маркиз де Сад. Невыносимо жалкое зрелище! Тем более что у него все задатки вполне порядочного человека.

Мэри расхохоталась:

— Тут уж приходится верить тебе на слово.

— Кстати, — сказала Люси, обращаясь к Спэндреллу. — Ваша мать поручила мне... — И она передала Спэндреллу просьбу его матери. Спэндрелл кивнул головой и ничего не ответил.

— А генерал? — осведомился он, когда Люси кончила. Он не хотел, чтобы говорили о его матери.

⁹⁸ Беньян, Джон (1628-1688) — английский писатель, автор аллегорического романа «Путь паломника» (в русском переводе — «Путешествие пилигрима», 1878), в котором описываются испытания чистой души верующего среди мирских соблазнов.

— Ах, генерал! — Люси скорчила гримасу. — Сегодня вечером я получила солидную дозу контрразведки. Положительно, его следовало бы запретить. Не учредить ли нам Общество борьбы с генералами?

— Можете меня первого записать действительным и почётным членом.

— Или, может быть, Общество борьбы со стариками? — продолжала Люси. — Старики решительно невыносимы. За исключением вашего отца, Уолтер. Он — совершенство. Просто совершенство. Единственный приемлемый старик.

— Если бы вы ближе его знали, вы бы сказали, что он самый неприемлемый из всех. — Среди Бидлэйков того поколения, к которому принадлежал Уолтер, невыносимость старого Джона стала почти аксиомой. — Вы не считали бы его таким совершенством, будь вы его женой или дочерью. — Произнося эти слова, Уолтер вдруг вспомнил о Марджори. Кровь прилила к его щекам.

— Конечно, если вы выберете его себе в мужа или в отца, — сказала Люси, — чего же ещё можно ожидать! Он — приемлемый старик именно потому, что он такой неприемлемый супруг и отец. Большинство стариков совершенно задавлено чувством ответственности. Ваш отец никогда не позволял ответственности задавить его. У него были жены и дети и тому подобное. Но он всегда жил, словно мальчик на каникулах. Допускаю, что для жён и детей это не очень приятно. Зато как приятно для всех остальных!

— Возможно, — сказал Уолтер. Он всегда считал себя совсем не похожим на отца. А теперь он ведёт себя совершенно так же, как отец.

— Судите о нем не с точки зрения сына.

— Попробую. — А с какой точки зрения он, Уолтер, должен судить себя самого?

— Попробуйте — и увидите, что я права. Один из немногих приемлемых стариков. Сравните его с другими. — Она покачала головой. — Старики ужасны; ни с кем из них нельзя иметь дела.

Спэндрелл засмеялся:

— Вы говорите о стариках так, словно они кафры или эскимосы.

— А как же ещё о них говорить? Конечно, у них золотые сердца и все такое. И они удивительно разумны — по-своему, конечно, и принимая во внимание, и так далее. Но они не принадлежат к нашей цивилизации. Они — чужие. Никогда не забуду, как однажды несколько арабских дам пригласили меня к себе на чай в Тунисе. Они были так милы, так гостеприимны... Но они угощали меня такими несъедобными пирожными, и они говорили на таком ужасном французском языке, и с ними совершенно не о чем было разговаривать, и они приходили в такой ужас от моей короткой юбки и от того, что у меня нет детей. Старики всегда напоминают мне этих арабских дам. Неужели в старости мы станем такими же арабскими дамами?

— Да, и, пожалуй, ещё хуже, — сказал Спэндрелл. — Все дело в утолщении кровеносных сосудов.

— Но если старики превращаются в арабских дам, то ведь виной этому их взгляды. Никогда не поверю, что утолщение сосудов заставит меня верить в Бога, в нравственность и во все остальное. Я вышла из куколки во время войны, когда со всего были сорваны покровы. Не думаю, чтобы наши внуки смогли сорвать ещё какие-нибудь покровы. Тогда откуда же возьмётся взаимное непонимание?

— Может быть, они снова набросят на все покровы, — предположил Спэндрелл.

Несколько мгновений Люси молчала.

— Об этом я никогда не думала.

— А может быть, вы сами их набросите. Набрасывать на все покровы — одно из излюбленных занятий людей старшего поколения.

Пробило час, и, точно кукушка, выскакивающая из часов, в кабинете появился Симмонс с подносом в руках. Симмонс был пожилой человек, исполненный того важного достоинства, которое свойственно всем, кому приходится постоянно держать язык за зубами и скрывать своё настроение, никогда не высказывать свои мысли и соблюдать этикет, то есть

дипломатам, коронованным особам, государственным деятелям и лакеям. Он бесшумно накрыл стол на два прибора, объявил, что ужин его светлости подан, и удалился. Была среда, и, когда лорд Эдвард поднял серебряную крышку, под ней обнаружили две бараньи котлеты. По понедельникам, средам и пятницам подавались котлеты. По вторникам и четвергам — бифштекс с жареной картошкой. По субботам в качестве лакомства Симмонс готовил рагу. По воскресеньям он бывал свободен, и лорду Эдварду приходилось довольствоваться холодной ветчиной или копчёным языком и салатом.

— Странно, — сказал лорд Эдвард, передавая Иллиджу котлету. — Странно, что число баранов не увеличивается. Во всяком случае, не настолько быстро, как число людей. Можно было бы ожидать... принимая во внимание тесный симбиоз... — Он продолжал молча жевать.

— Очевидно, баранина вышла из моды, — сказал Иллидж, — совершенно так же, как Бог, — добавил он вызывающе, — и бессмертная душа. — Но лорд Эдвард не шёл на приманку. — Не говоря уже о викторианских романистах, — не унимался Иллидж. Он помнил, как он поскользнулся на лестнице. А Диккенс и Теккерей были единственные писатели, которых читал лорд Эдвард. Но старик спокойно пережёвывал пищу. — И невинных девушках. — Лорд Эдвард как учёный интересовался сексуальными функциями аксолотлей и кур, морских свинок и лягушек; но всякое упоминание о тех же функциях у людей повергало его в смущение. — И целомудрии, — продолжал Иллидж, пронзительно смотря в лицо Старика, — и девственности, и... — Телефонный звонок прервал его и спас лорда Эдварда от дальнейших измышлений.

— Я подойду, — сказал Иллидж, вскакивая с места. Он приложил трубку к уху: — Алло!

— Это ты, Эдвард? — сказал низкий голос, очень похожий на голос самого лорда Эдварда. — Это я. Эдвард, я только что открыл замечательное математическое доказательство существования Бога или, вернее...

— Но это не лорд Эдвард, — кричал Иллидж. — Подождите. Я сейчас его позову. — Он обернулся к Старика. — Говорит лорд Гаттенден, — сказал он. — Он только что открыл новое доказательство существования Бога. — Он не улыбнулся; тон его был серьёзен. В данном случае наихудшим издевательством была именно серьёзность. Утверждение лорда Гаттендена само по себе было слишком забавным. Смех не усилил бы, а только ослабил комическое впечатление. Потрясающий старый болван! Иллидж почувствовал себя отомщённым за все унижения сегодняшнего вечера. — Математическое доказательство, — добавил он ещё более серьёзно.

— Господи! — воскликнул лорд Эдвард, точно произошло какое-нибудь несчастье. Телефонные звонки всегда выводили его из равновесия. Он бросился к аппарату. — Чарлз, это ты?..

— Ах, Эдвард, — кричал бестелесный голос главы семьи за сорок миль отсюда, в Гаттендене, — какое замечательное открытие! Я жажду услышать твоё мнение. Относительно Бога. Ты знаешь формулу: m , делённое на нуль, равно бесконечности, если m — любая положительная величина? Так вот, почему бы не привести это равенство к более простому виду, умножив обе его части на нуль? Тогда мы получим: m равно нулю, умноженному на бесконечность. Следовательно, любая положительная величина есть произведение нуля и бесконечности. Разве это не доказывает, что вселенная была создана бесконечной силой из ничего? Разве не так? — Мембрана телефонного аппарата, казалось, разделяла волнение находившегося за сорок миль лорда Гаттендена. Она выбрасывала слова взволнованно и торопливо; она вопрошала строго и настойчиво. — Разве не так, Эдвард? — Всю жизнь пятый маркиз провёл в погоне за Абсолютом. Это был единственный доступный калеке вид спорта. В течение пятидесяти лет катился он в своём подвижном кресле по следам неуловимой дичи. Неужели теперь он наконец изловил её, так легко и в таком неподходящем месте, как элементарный учебник теории пределов. Было от чего прийти в волнение. — Как, по-твоему, Эдвард?

— Ну... — начал лорд Эдвард. И на другом конце провода, за сорок миль отсюда, его брат понял по тону, каким было произнесено это единственное слово, что дело не выгорело. Ему так и не удалось насыпать соли на хвост Абсолюту.

— Кстати, о стариках, — сказала Люси. — Рассказывала я вам когда-нибудь совершенно замечательную историю про моего отца?

— Какую историю?

— Насчёт оранжерей. — Люси улыбнулась при одном воспоминании.

— Нет, насчёт оранжерей я, кажется, не слышал, — сказал Спэндрелл; Уолтер тоже покачал головой.

— Дело было во время войны, — начала Люси. — Мне, кажется, исполнилось восемнадцать. Меня только что стали вывозить в свет. На одном ужине кто-то запустил в меня бутылкой шампанского — в буквальном смысле запустил. Если вы помните, веселье в те дни было довольно-таки бурным.

Спэндрелл кивнул, Уолтер — тоже, хотя, разумеется, во время войны он ещё учился в школе.

— В один прекрасный день, — продолжала Люси, — мне передали, что его светлость просит меня прийти к нему в кабинет. Этого раньше никогда не бывало. Я даже встревожилась. Вы знаете, какие у стариков странные представления о нашей жизни и как они расстраиваются, узнав, что все совсем не так, как они думали. Одним словом, арабские дамы. — Она рассмеялась, и для Уолтера её смех срывал покровы иллюзии с её жизни в те годы, когда он её не знал. Представлять себе их отношения в виде юной невинной любви было для него утешением. Теперь её смех лишал его возможности утешаться подобными фантастическими измышлениями.

Спэндрелл кивнул.

— И вы пошли наверх, чувствуя себя так, словно поднимаетесь на эшафот...

— И нашла отца в кабинете. Он делал вид, что читает. Мой приход привёл его в замешательство. Бедняжка! Никогда не видела такой невероятной растерянности и смущения. Можете себе представить, насколько его вид усилил мой страх. Чем могли быть вызваны такие переживания? Что бы это могло быть? Он ужасно мучился. Если бы не чувство долга, он, вероятно, сразу же отослал бы меня обратно. Вы бы видели его лицо! — Комические воспоминания снова нахлынули на Люси. Она не могла больше сдерживать смех.

Облокотившись на стол и подперев голову рукой, Уолтер смотрел в свой бокал. Блестящие пузырьки один за другим стремились вверх, словно изо всех сил стараясь освободиться и стать счастливыми. Он не смел поднять глаза. Он боялся, что при виде искажённого смехом лица Люси он сделает какую-нибудь глупость — закричит или разразится слезами.

— Бедняжка! — повторила Люси. Слова вырывались вместе со взрывами весёлого смеха. — От ужаса он едва мог говорить.

Она перестала смеяться и, передразнивая низкий, приглушённый голос лорда Эдварда, изобразила, как он предложил ей сесть и сказал (запинаясь от великого смущения), что ему нужно кое о чем поговорить с ней. Она передразнивала изумительно. Сконфуженный призрак лорда Эдварда сидел рядом с ними за столом.

— Замечательно! — восторгался Спэндрелл. Даже Уолтер рассмеялся, хотя продолжал чувствовать себя глубоко несчастным.

— Добрых пять минут, — рассказывала Люси, — он ходил вокруг да около и никак не мог перейти к главному пункту. Можете себе представить, что я переживала! Но угадajte, что он хотел мне сказать!

— Что?

— Угадajte! — Вдруг Люси снова захохотала. Она закрыла лицо руками, все её тело сотрясало, точно от рыданий. — Это слишком хорошо! — простонала она, роняя руки и откидываясь на спинку стула. Она все ещё не могла справиться со смехом; по её щекам

катились слезы. — Слишком хорошо!

Она открыла расшитую бисером сумочку, лежавшую перед ней на столе, и, вынув платок, принялась вытирать глаза. Волна аромата пронеслась над столиком, усиливая то смутное воспоминание о гардениях, которое окружало её, которое всюду следовало за ней, как её призрачный двойник. Уолтер поднял глаза; сильный запах гардений коснулся его ноздрей; он вдыхал то, что казалось ему самой сущностью её «я», символом её власти и его собственных неистовых желаний. Он смотрел на неё с каким-то ужасом.

— Он сказал мне, — снова заговорила Люси, все ещё судорожно смеясь и вытирая глаза, — что он слышал, будто я иногда целуюсь с молодыми людьми и позволяю целовать себя после танцев в оранжереях. В оранжереях! — повторила она. — Изумительно, не правда ли? До такой степени в стиле эпохи. Восьмидесятые годы. Старый принц Уэльский. Романы Золя. Оранжереи! Бедный милый папа! Он сказал, что он надеется, что это больше не повторится. Моя мать была бы так огорчена, если бы она узнала. Вы только подумайте! — Она глубоко вздохнула. Смех наконец прекратился.

Уолтер смотрел на неё и вдыхал её запах, вдыхал свои желания и её страшную власть над ним. Ему казалось, что он видит её в первый раз. Да, в первый раз, и перед ней недопитый стакан, бутылка, пепельница с окурками; в первый раз видит её, откинувшуюся на спинку стула, обессиленную от смеха, вытирающую слезы на глазах.

— Оранжереи, — повторял Спэндрелл. — Оранжереи. Да, это очень хорошо. Просто замечательно.

— Чудесно, — сказала Люси. — Старики просто-таки чудесны. К сожалению, они редко бывают выносимы. За исключением, конечно, отца Уолтера.

Джон Бидлэйк медленно взбирался по лестнице. Он очень устал. «До чего утомительны эти званые вечера», — думал он. Он зажжёт свет в спальне. Над камином одна из реалистически безобразных женщин Дега сидела в круглом металлическом тазу, стараясь отмыть себе спину. На противоположной стене ренуаровская девочка играла на рояле между видом Дьеппа работы Уолтера Сиккерта⁹⁹ и пейзажем работы самого Джона. Над кроватью висели две карикатуры, изображавшие его самого; автором одной был Макс Бирбом¹⁰⁰, другой — Рувейр. На столе стояли бутылка бренди, сифон содовой и стакан. Под край подноса были подсунуты два конверта. Он вскрыл их. В первом были газетные вырезки: отзывы о его последней выставке. «Дейли мейл» называла его «ветераном британского искусства» и уверяла читателей, что «его рука не утратила прежнего мастерства». Он смял вырезку и сердито швырнул её в камин.

Следующая рецензия была вырезана из одного из передовых еженедельников. Тон её был почти пренебрежительным. Его судили на основании его же более ранних вещей, и приговор был уничтожающий. «Трудно поверить, что произведения, построенные на таких дешёвых и не достигающих цели эффектах, которые мы видим на этой выставке, принадлежат кисти художника, создавшего „Косцов“ из Галереи Тейт и ещё более замечательных „Купальщиц“, находящихся теперь в Тэнтмаунт-Хаусе: напрасно стали бы мы искать в его последних бессодержательных и тривиальных вещах ту гармоническую композицию, ту ритмическую чёткость, ту трехмерную пластичность, которые...» Какая пустая болтовня! Какая чушь! Он швырнул в камин всю пачку вырезок. Но презрение к рецензентам не могло полностью нейтрализовать неприятное впечатление, оставшееся от чтения этих рецензий. «Ветеран британского искусства» — это не лучше, чем «бедный старый Бидлэйк». А когда его поздравляли с тем, что его рука не потеряла прежнего мастерства, его тем самым снисходительно уверяли, что для старого слюнтяя, впавшего в

⁹⁹ Сиккерт, Уолтер (1860-1942) — английский художник, ученик Джеймса Уистлера, с 1900 по 1905 г. работал в Дьеппе.

¹⁰⁰ Бирбом, Макс (1872-1956) — английский пародист, критик и карикатурист.

детство, он пишет не так уж плохо. Единственная разница между ругавшим и хвалившим его рецензентами заключалась в том, что первый напрямик говорил то, что другой снисходительно маскировал похвалами. Он готов был пожалеть, что когда-то написал своих купальщиц.

Он вскрыл второй конверт. В нем было письмо от его дочери Элинор. Оно было помечено Лагором.

Базары неподдельно восточны; они червивые. Они так кишат и так воняют, что кажется, будто пробираешься сквозь головку сыра. С точки зрения художника, самое грустное то, что все здесь как две капли воды похоже на восточные сцены на картинах французов середины прошлого столетия. Знаешь — гладкие и блестящие, как картинки на коробках с чаем. Когда попадаешь сюда, становится ясно, что Восток нельзя писать иначе. От того, что кожа смуглая, все лица кажутся одинаковыми, а пот придаёт коже блеск. На холсте они должны получаться такими же зализанными, как у Энгра.

Он читал с удовольствием. Девчонка всегда умеет сказать в письмах что-нибудь забавное. У неё острый глаз. Вдруг он нахмурился.

Как ты думаешь, кто посетил нас вчера? Джон Бидлэйк-младший. Мы думали, он в Вазиристане, но оказалось, что он приехал сюда в отпуск. Я не видела его с детства. Представь себе моё удивление, когда в комнату торжественно вошёл высоченный седоусый джентльмен в мундире и назвал меня по имени. Фила он, конечно, никогда не встречал. В честь этого блудного брата мы заклали самых упитанных тельцов, каких только можно было найти в гостинице.

Джон Бидлэйк откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Высоченный седоусый джентльмен в мундире был его сыном. Младшему Джону было пятьдесят лет. Когда-то пятьдесят лет казались ему возрастом Мафусаила. «Если бы Мане не умер так рано...» Он вспомнил слова своего старого учителя в парижском художественном училище. «Разве Мане умер молодым?» Старик покачал головой. («Старик ли? — подумал Джон Бидлэйк. — Тогда он казался очень старым. Но вряд ли ему было больше шестидесяти.») «Мане был всего пятьдесят один год», — ответил учитель. Он с трудом удержался от смеха. А теперь его собственный сын достиг того возраста, в котором умер Мане. «Высоченный седоусый джентльмен в мундире». А его брат умер и погребён на другом конце света, в Калифорнии. Рак кишечника. Элинор встретила его сына в Санта-Барбаре: молодой человек, женатый на молодой богачке, он нарушал «сухой закон» под звон бутылок джина на расстоянии полуоборота земли от них.

Джон Бидлэйк подумал о своей первой жене, матери джентльмена в мундире и калифорнийца, умершего от рака кишечника. В первый раз он женился двадцати двух лет. Розе ещё не исполнилось двадцати. Они любили друг друга до самозабвения, с тигриной страстью. Они ссорились — да, и ссорились вначале довольно благополучно: ссоры кончались взрывами чувственности, столь же неистовой, как и ссора. Но очарование начало проходить, когда появились дети — двое детей в течение двадцати пяти месяцев. Они были недостаточно богаты и не имели возможности держать детей подальше от себя или нанимать для утомительной и грязной работы прислугу. Отцовство не было для Джона Бидлэйка синекурой. Его мастерская превратилась в детскую. Очень скоро последствия страсти — плач младенцев, мокрые пелёнки, запахи — внушили ему отвращение к страсти. К тому же и объект страсти не был уже таким, как раньше. После рождения детей Роза начала толстеть. Её лицо располнело, тело расплылось и обвисло. Теперь трудней стало мириться после ссор, которые к тому же участились: отцовство действовало Джону Бидлэйку на нервы. Работа послужила ему предлогом для поездки в Париж. Он отправился на две недели и провёл там четыре месяца. После возвращения ссоры возобновились. Теперь Роза внушала только отвращение. Он утешался с натурщицами; у него была серьёзная связь с одной замужней женщиной, заказавшей ему свой портрет. Домашняя жизнь была полна скуки, её разнообразили только сцены. После одной особенно бурной сцены Роза упаковала вещи и переехала к родителям. Она взяла с собой детей; Джон Бидлэйк был только рад избавиться

от них. А теперь старший из этих некогда оравших и пачкавших пелёнки младенцев превратился в высоченного седоусого джентльмена в мундире. А другой умер от рака кишечника. Он не видел ни одного из них с тех пор, как они были младенцами — один пяти месяцев, другой двадцати. Сыновья жили с матерью. Она тоже умерла; вот уж пятнадцать лет, как она лежит в могиле.

Пуганая ворона куста боится. После развода Джон Бидлэйк поклялся больше не жениться. Но что может сделать человек, если он по уши влюбился в добродетельную молодую женщину из хорошей семьи? Бидлэйк снова женился, и два коротких года с Изабель были самым необыкновенным, самым прекрасным, самым счастливым временем его жизни. А потом она бессмысленно погибла от родов. Он старался не вспоминать о ней: это было слишком болезненно. Пропасть между настоящей минутой и теми счастливыми днями, какими они сохранились в воспоминании, была глубже и шире, чем всякая другая пропасть между прошлым и настоящим. При сравнении с тем прошлым, которое он делил с Изабель, всякое настоящее тускло; её смерть была ужасным напоминанием о том будущем, которое ожидало его самого. Он никогда не говорил о ней, он уничтожил или продал все, что могло бы напомнить ему о ней, — её письма, её книги, обстановку её комнаты. Он хотел бы не знать ничего, кроме «здесь» и «сейчас», чувствовать себя только что пришедшим в мир и долженствующим жить вечно. Но воспоминание не умирало, хотя он сознательно заглушал его и хотя вещи, принадлежавшие Изабель, были уничтожены; отгородиться от случайных напоминаний он не мог. Сегодня вечером случай нашёл много брешей в стенах его крепости. Самую широкую брешь пробило письмо Элинора. Погрузившись в кресло, Джон Бидлэйк долго сидел не двигаясь.

Полли Логан сидела перед зеркалом. Проводя гребнем по волосам, она слышала тонкий лёгкий треск электрических искр.

— Маленькие искры, словно крошечная битва, крошечные призраки битвы и стрельбы.

Полли произносила слова звучно и монотонно, точно она декламировала перед зрителями. Она любовно задерживалась на них, с рокотом произнося «р», со свистом «с», с мычанием «м», растягивая гласные, делая их круглыми и чистыми.

— Призраки стреляют, призрачные ружья, маленькая-маленькая призрачная канонада.

Милые слова! Ей доставляло особенное удовольствие перекачивать их, как камешки, слушать ухом знатока или даже гурмана рокот слогов, тонувших в молчании. Полли всегда любила разговаривать сама с собой. Она не могла отделаться от этой детской привычки. «Но раз это меня забавляет, — протестовала она, когда над ней смеялись, — кому от этого плохо?»

Несмотря на все насмешки, она не сдавалась.

— Электрические, электрические, — продолжала она, понижая голос до сценического шёпота. — Электрические мушкеты, метрические боскеты. Ох! — Гребень запутался в волосах. Она подалась вперёд, чтобы получше рассмотреть себя в зеркале. Её отражение приблизилось. — *Ma chere*, — воскликнула Полли на другом языке, — *tu as l'air fatigued, tu es vieille!* ¹⁰¹ Стыдись! В твоём возрасте! Тц, тц! — Она неодобрительно прищёлкнула языком и покачала головой. — Это не годится, никуда не годится. Впрочем, на вечере ты выглядела недурно. «Дорогая, как вы милы в белом платье!» — Она передразнила выразительный голос миссис Беттертон. — Чего и вам желаю. Как ты думаешь, буду я в шестьдесят лет похожа на слона? Впрочем, тебе, пожалуй, следовало бы быть благодарной даже за слоновьи комплименты. «Сосчитай все то, чем мир тебя дарил, — тихонько произнесла она нараспев, — и Создателя за все благодари». Ай, ай, какой ужас! — Она положила гребень, она вздрогнула и закрыла лицо руками. — Какой ужас! — Она почувствовала, как запылали её щеки. — Это *gaffe* ¹⁰². Дикая, невысказанная бестактность! — Она вдруг подумала о леди

¹⁰¹ Моя дорогая... у тебя усталый вид. Ты стара! (фр.).

¹⁰² Бестактность (фр.).

Эдвард. — Конечно, она слышала. И нужно мне было говорить, что она из Канады! — Полли застонала, охваченная поздним раскаянием и смущением. — Вот что выходит, когда во что бы то ни стало стараешься быть остроумной. А перед кем ты расточала своё остроумие? Перед Норой! Норой! Боже мой, Боже мой! — Она вскочила и, подбирая полы халатика, побежала по коридору к комнате матери. Миссис Логан уже легла в постель и потушила свет. Полли открыла дверь и вошла в темноту.

— Мама, — позвала она, — мама! — Тон её был настойчивым и тревожным.

— Что такое? — испуганно спросила из темноты миссис Логан. Она села и пошарила по стене в поисках выключателя. — Что такое? — Выключатель щёлкнул, и загорелся свет. — Что такое, детка?

Полли бросилась на кровать и спрятала лицо в коленях матери.

— Мама, если бы ты знала, что я ляпнула при леди Эдвард! Если б ты знала! Я забыла тебе рассказать.

Миссис Логан готова была рассердиться из-за того, что её тревога оказалась напрасной. Когда напрягаешь все силы, чтобы поднять предмет, казавшийся очень тяжёлым, и вдруг обнаруживаешь, что гиря-то картонная и её можно поднять двумя пальцами, это всегда раздражает.

— Неужели было так необходимо приходиться и будить меня из-за этого? — недовольным тоном спросила она.

Полли посмотрела снизу вверх на лицо матери.

— Прости, мама, — сказала она с раскаянием в голосе. — Но если б ты знала, что я сегодня ляпнула!

Миссис Логан не могла удержаться от смеха.

— Я не могла лечь, пока тебе не рассказала, — оправдывалась Полли.

— А я не должна спать, пока ты не расскажешь, да? — Миссис Логан старалась придать своему голосу строгое и саркастическое выражение. Но её глаза, её улыбка выдавали её.

Полли взяла руку матери и поднесла её к губам.

— Я знала, что ты не рассердишься, — сказала она.

— Но я сержусь. И очень.

— Так я и поверила! — сказала Полли. — А теперь я должна тебе рассказать.

Миссис Логан вздохнула, стараясь изобразить покорность судьбе, и, делая вид, что её одолевает сон, закрыла глаза. Полли говорила. Она вернулась к себе в спальню в третьем часу ночи. Они обсудили не только «ляпсус» Полли, но и леди Эдвард, и её вечер, и всех гостей. Вернее сказать, обсуждала Полли, а миссис Логан слушала, смеялась и со смехом протестовала, когда комментарии её дочери становились чересчур смелыми.

— Но, Полли, Полли, — сказала она, — нехорошо говорить о человеке, что он похож на слона.

— Что я могу сделать, если миссис Беттертон в самом деле похожа на слона? — ответила Полли. — Это сущая правда. — И она добавила своим сценическим шёпотом, переходя к ещё более фантастическому гротеску: — У неё даже нос похож на хобот.

— Но у неё короткий носик.

Шёпот Полли стал ещё более мелодраматичным:

— Ампутированный хобот. Ей обрубили его, когда она была слонёнком. Как щенятам — хвосты.

XII

Для ценных клиентов ресторан Сбизы был открыт всегда. Они могли сидеть, не считаясь с законом, и поглощать опьяняющие яды до такого позднего часа, до какого им

хотелось. Для обслуживания клиентов, желавших нарушать закон, после полуночи приходил особый официант. Зато и цены были соответствующие. Спиртные напитки стоили у Сбизы ещё дороже, чем в «Ритце».

Было около половины второго, «всего половина второго», как выразилась Люси, когда она с Уолтером и Спэндреллом вышла из ресторана.

— Она ещё молода, — так выразился о ночи Спэндрелл. — Молода и довольно пресна. Ночи как человеческие существа: они становятся интересными только с наступлением зрелости. Половая зрелость наступает у них около полуночи. Вскоре после часу они становятся совершеннолетними. От двух до половины третьего они во цвете лет. Через час они начинают бесноваться, как пожирательницы мужчин и мышинные жеребчики, которые стараются прыгнуть выше головы, чтобы убедить себя, что они ещё не стары. После четырех начинается разложение. Их смерть ужасна. Особенно ужасен рассвет, когда бутылки пусты, а люди похожи на трупы, а исчерпавшее себя желание сменяется отвращением. Должен признаться, я питаю некоторую слабость к сценам у смертного одра, — добавил Спэндрелл.

— Не сомневаюсь, — сказала Люси.

— Но помните, что о начале и середине можно судить лишь к концу. Ночь только что достигла совершеннолетия. Остаётся посмотреть, как она умрёт. До тех пор мы не можем судить о ней.

Уолтер знал, как умрёт для него ночь — среди слез Марджори и взрыва ненависти к себе и к женщине, к которой он был жесток, ненависти, смешанной с жалостью к себе и раздражением. Он знал, но не хотел признаться самому себе, что знает это, и что сейчас уже половина второго, и что Марджори не спит и беспокойно спрашивает себя, почему он не возвращается.

Без пяти час Уолтер посмотрел на часы и объявил, что ему пора идти. Какой смысл оставаться? Спэндрелл не уходил. Не было никакой надежды, что ему удастся хоть на минуту остаться наедине с Люси. Он заставлял Марджори страдать, и у него отсутствовало даже это единственное оправдание. Он истязал её не ради того, чтобы почувствовать себя счастливым, а ради того, чтобы почувствовать себя утомлённым, больным, скучающим, безнадежно несчастным.

— В самом деле, мне пора идти, — сказал он, вставая.

Но Люси протестовала, упрашивала, приказывала. В конце концов он остался. С тех пор прошло более получаса; теперь они вышли на Сохо-сквер, и вечер, по мнению Люси и Спэндрелла, только что начался.

— По-моему, вам пора полюбоваться на революционеров-коммунистов.

Люси хотелось этого больше всего на свете.

— Есть нечто вроде клуба. Я тоже вхожу в него, — объяснил Спэндрелл. Он предложил им отправиться туда вместе с ним.

— Думаю, даже сейчас мы застанем там нескольких врагов общества, — продолжал он, когда они окунулись в освежающую темноту. — В общем, славные ребята. Но до ужаса инфантильны. Некоторые искренне верят, что революция сделает людей счастливее. Это очаровательно, это прямо-таки умирительно. — Он беззвучно рассмеялся. — Но я эстет в такого рода делах. Динамит ради динамита.

— Но какой смысл в динамите, если вы не верите в идеальное общество? — спросила Люси.

— Какой смысл? Да оглянитесь вокруг! Люси осмотрелась.

— Не вижу ничего особенно ужасного.

— «Имеющие глаза да увидят» ¹⁰³. — Спэндрелл остановился, взял её за руку, а другой указал на здания, окружавшие площадь. — Бывший консервный завод, превращённый в дансинг; родильный дом; ресторан Сбизы; редакция ежегодника «Кто есть

¹⁰³ Ср. «имеющий ухо да услышит» (Откровение Иоанна Богослова, 2:7).

кто». Раньше здесь был дворец герцога Монмута ¹⁰⁴. Представляете, какие привидения посещают эти места. Знаете портрет, где он изображён после казни, лежащий в постели и закрытый простыней до самого подбородка, чтобы не было видно перерезанной шеи? Работа, кажется, Неллера. А может быть, Лили ¹⁰⁵, Монмут и консервы, родильный дом, и «Кто есть кто», и дансинг, и шампанское Сбизы — подумайте-ка над этим, подумайте-ка.

— Я думаю над этим, — сказала Люси, — думаю изо всех сил.

— И вы все ещё спрашиваете, какой смысл в динамите?

Они подошли к двери маленького домика на Сент-Джайлс-стрит.

Спэндрелл остановился.

— Подождите минутку, — сказал он, отводя своих спутников в тень.

Он позвонил. Дверь сейчас же открылась. Поговорив с открывшим ему человеком, Спэндрелл обернулся и подозвал своих спутников. Они последовали за ним через тёмный холл, вверх по лестнице и вошли в ярко освещённую комнату на втором этаже. Двое мужчин стояли у камина: индус в тюрбане и маленький рыжеволосый человечек. Услышав шаги, они обернулись. Рыжеволосый человечек был Иллидж.

— Спэндрелл? Бидлэйк? — Он удивлённо поднял свои почти невидимые брови песочного цвета. «А что нужно здесь этой женщине?» — изумился он про себя.

Люси подошла к нему с протянутой рукой.

— Мы с вами старые знакомые, — сказала она с дружеской улыбкой.

Иллидж, собиравшийся придать своему лицу холодное и враждебное выражение, неожиданно для самого себя улыбнулся ей в ответ.

Автомобиль въехал на улицу, внезапно и грубо нарушив тишину. Марджори села на постели и прислушалась. Гудение мотора становилось все громче и громче. Это такси Уолтера: на этот раз она уверена, она знает. Машина подъезжала все ближе и ближе. У основания холма, справа от дома, шофёр изменил скорость. Мотор загудел пронзительно, как рассерженная оса. Ближе и ближе. Вся её душа, все её тело были охвачены беспокойством. Она едва дышала, и сердце её стучало сильно и неравномерно — стук, стук, стук, а потом точно останавливалось; она не чувствовала следующего удара — словно люк открывался под ней в пустоту; она ощущала ужас пустоты, она падала, падала — и следующий задержавшийся удар был ударом её тела о твёрдую землю. Ближе, ближе. Она почти боялась его возвращения, по которому так томилась. Она боялась чувств, которые вспыхнут в ней при его появлении, слез, которые она прольёт, упрёков, которыми она разразится против своей воли. А что он скажет и сделает? Каковы будут его мысли? Она боялась об этом подумать. Ближе, звук мотора слышался уже под самыми окнами; он удалялся, он затихал. А она была так уверена, что это такси Уолтера.

Она легла опять. Если бы она могла заснуть! Но её встревоженное тело не засыпало. Кровь стучала в ушах. Кожа была горячая и сухая. Глаза болели. Она лежала на спине не двигаясь, скрестив руки на груди, как покойница, собранная для похорон. «Спи, спи», — шептала она себе. Она старалась увидеть себя успокоенной, умиротворённой, уснувшей. И вдруг словно чья-то злобная рука провела по её натянутым нервам. Судорога свела её тело; она вздрогнула, как вздрагивают от страха. Физическая реакция страха пробудила это чувство и в её сознании; а это чувство в свою очередь усилило и обострило тревогу и боль, которые, несмотря на все её усилия, не давали ей успокоиться. «Спи, спи, успокойся». Бесполезно пытаться успокоить себя, забыть, уснуть. Её охватила жалость к самой себе. «Для чего он делает мне больно?» Она повернула голову. Светящиеся стрелки часов на

¹⁰⁴ Герцог Монмут (1649-1685) — выдавал себя за незаконного сына короля Англии Карла II Стюарта; когда после смерти Карла II на престол вступил его брат Яков II, Монмут поднял восстание и был казнён.

¹⁰⁵ Неллер, Годфри (1646-1723) и Лели (Лили), Питер (1618-1680) — английские портретисты, придворные художники во времена Стюартов.

столике у её кровати показывали без четверти три. Без четверти три — а ведь он знает, что до его прихода она все равно не заснёт. «Он знает, что я плохо себя чувствую, — сказала она вслух, — или ему все равно?»

Внезапно новая мысль осенила её. «Может быть, он хочет, чтобы я умерла?» Умереть, не быть, не видеть больше его лица, оставить его с этой женщиной... Слезы подступили к её глазам. Может быть, он сознательно добивается её смерти. Он обращается с ней жестоко, несмотря на то что она больна; больше того: именно потому, что она так страдает, именно потому, что она больна. Его жестокость не бесцельна. Он надеется, он хочет, чтобы она умерла; умерла и оставила его с той, другой женщиной. Она прижалась лицом к подушке и зарыдала. Никогда не видеть его больше, никогда больше! Мрак, одиночество, смерть — навсегда. Навсегда. И самое худшее, что это так несправедливо. Разве её вина, что у неё нет денег на туалеты?

«Если бы я могла позволить себе купить такие платья, какие покупает она». Шанель, Ланвэн — страницы «Бог»¹⁰⁶ вспыхивали перед её глазами, — Молине, Гру... В одном из этих вульгарных магазинчиков около Шэфтсбери-авеню, где покупают себе платья кокетки, она видела модель за шестнадцать гиней. «Он любит её, потому что она привлекательна. Если бы у меня были деньги...» Это несправедливо. Он заставляет её расплачиваться за то, что она не может хорошо одеваться. Ей приходится страдать, потому что он зарабатывает слишком мало и не может купить ей хорошие платья.

А потом ребёнок. Он заставляет её расплачиваться и за это. Его дитя. Она наскучила ему, он разлюбил её, потому что она вечно больная и утомлённая. Это самая большая несправедливость из всех.

Клетка размножилась и стала червём, червь стал рыбой, рыба постепенно превращалась в зародыш млекопитающего. Марджори чувствовала тошноту и усталость. Через пятнадцать лет мальчик пойдёт на конфирмацию. Огромный в своём облачении, как судно в полной оснастке, епископ скажет: «Повторяешь ли ты здесь, в присутствии Бога и собравшихся людей, торжественное обещание, данное от твоего имени при твоём крещении?» И бывшая рыба ответит со страстным убеждением: «Да».

В тысячный раз ей захотелось не быть беременной. Уолтеру, может быть, не удастся убить её. Но умереть можно при родах. Доктор сказал, что ей будет трудно рожать: у неё узкий таз. Смерть снова возникла перед ней; тёмная пропасть снова разверзлась у её ног.

Послышался звук, заставивший её вздрогнуть. Кто-то поспешно открыл дверь дома. Скрипнули петли. Послышались заглушённые шаги. Снова скрип, еле уловимое щёлканье пружинного замка, осторожно отпускаемого, и снова шаги. Снова щёлканье, и под дверью, разделявшей их комнаты, показалась жёлтая полоса света. Неужели он ляжет спать, не пожелав ей спокойной ночи? Она лежала неподвижно, широко открыв глаза, напряжённо прислушиваясь к звукам, доносившимся из другой комнаты, и к частому, испуганному биению своего сердца.

Уолтер сидел на постели, расшнуровывая ботинки. Он спрашивал себя, зачем он не вернулся домой тремя часами раньше, зачем он вообще поехал. Он ненавидел толпу, от алкоголя ему делалось плохо, спёртый воздух, чад и табачный дым в ресторане действовали на него как яд. Он страдал бесцельно; если не считать тех болезненно раздражающих мгновений в такси, за весь вечер он ни разу не оставался наедине с Люси. Часы, проведённые с ней, были часами скуки и нетерпения — бесконечно долгой, медленной пыткой. Пытка желанием и ревностью была тем более жестокой, что к ней прибавлялось сознание собственной виновности. Каждая минута, проведённая у Сбизы, каждая минута среди революционеров оттягивала исполнение его желаний и обостряла чувство стыда, потому что она обостряла страдания Марджори. Было больше трех часов, когда они наконец вышли из клуба. Может быть, она отошлёт Спэндрелла и позволит Уолтеру проводить её домой? Он

¹⁰⁶ Французский журнал мод.

посмотрел на неё красноречивым взглядом. Он желал. Он требовал.

— У меня дома есть сэндвичи и вино, — сказала Люси, когда они вышли на улицу.

— Приятно слышать, — сказал Спэндрелл.

— Едемте с нами, Уолтер, милый. — Она взяла его руку, она нежно пожала её.

Уолтер покачал головой.

— Мне пора домой.

Если бы страдание могло убивать, он свалился бы мёртвый тут же, на улице.

— Но вы не имеете права покидать нас теперь, — протестовала она, — теперь, когда вы зашли так далеко, вы должны быть с нами до конца. Едемте. — Она потянула его за руку.

— Нет, нет. — Но она сказала правду. Теперь все равно: более несчастной Марджори не станет. «Если бы её не было, — подумал он, — если бы она умерла — преждевременные роды, заражение крови...»

Спэндрелл посмотрел на часы.

— Половина четвёртого. Сейчас начнётся агония. — Уолтер с ужасом слушал: что, этот человек читает его мысли? — *Munie des comforts de notre sainte religion* ¹⁰⁷. Ваше место у смертного одра, Уолтер. Не оставляйте ночь умирать в одиночестве, как собаку в канаве.

«Как собаку в канаве». Эти ужасные слова звучали для него приговором.

— Я должен идти.

Теперь, с опозданием на три часа, он был твёрд. Он ушёл. На Оксфорд-стрит он взял такси. Надеясь (напрасно — он это знал), что ему удастся незаметно проникнуть в дом, он расплатился с шофёром у станции Чок-Фарм и прошёл пешком последние двести шагов до двери дома, в котором они с Марджори занимали два верхних этажа. Он на цыпочках поднялся по лестнице, он открыл дверь с предосторожностями, словно убийца. Из комнаты Марджори — ни звука. Он раздевался, он умывался так, точно эти действия были опасны для жизни. Он потушил свет и лёг в постель. Полная темнота и полное молчание. Он в безопасности.

— Уолтер!

С чувством осуждённого, которого тюремщик будит утром в день казни, он ответил, стараясь придать своему голосу удивлённое выражение:

— Ты не спишь, Марджори?

Он поднялся с постели и пошёл, точно из камеры на эшафот, в её комнату.

— Ты хочешь, чтобы я умерла, Уолтер?

Как собака в канаве, одна. Он сделал движение, словно желая обнять её. Марджори оттолкнула его. Страдание мгновенно превратилось в гнев, любовь — в ненависть и обиду.

— Не лицемерь, — сказала она. — Почему ты не скажешь мне откровенно, что ты ненавидишь меня, что ты хочешь от меня избавиться, что ты будешь рад, если я умру? Почему ты не можешь быть честным и не скажешь мне?

— Зачем я буду говорить тебе то, чего нет на самом деле? — оправдывался он.

— Ты ещё, пожалуй, скажешь, что ты любишь меня? — саркастически спросила она.

Он почти верил в свои слова; к тому же оно и на самом деле было так — в известном смысле.

— Да, я люблю тебя. То, другое, — это какое-то безумие. Я этого не хочу. Но я ничего не могу поделать. Если бы ты знала, каким презренным я себе кажусь, каким гнусным животным! — При этих словах все, что он выстрадал от подавленных желаний, от угрызений совести, стыда и ненависти к самому себе, как бы слилось в одну острую боль. Он страдал и жалел самого себя. — Если бы ты знала, Марджори! — И внезапно что-то как бы оборвалось в нем. Невидимая рука сжала его горло, слезы ослепили его, и какая-то сила, бывшая в нем, но не бывшая им, сотрясла все его тело и выдавила из него, помимо его воли, заглушённый нечеловеческий крик.

¹⁰⁷ Напугуемая утешениями святой церкви (фр.).

Когда Марджори услышала в темноте, возле себя, этот рыдающий звук, гнев её сразу погас. Она знала только одно: он несчастен, а она любит его. Ей даже стало стыдно своего гнева и тех горьких слов, которые она произнесла.

— Уолтер! Милый! — Она протянула руки, она привлекла его к себе. Он лежал, как дитя, в её утешающих объятиях.

— Вам доставляет удовольствие мучить его? — осведомился Спэндрелл, когда они шли по направлению к Чаринг-Кросс-роуд.

— Мучить кого? — спросила Люси. — Уолтера? Я не мучаю его.

— Но вы ведь не позволяете ему спать с вами? — спросил Спэндрелл. Люси покачала головой. — И после этого вы говорите, что не мучаете его! Бедный мальчик!

— Но с какой стати мне это делать, раз мне не хочется?

— Действительно, с какой стати? Неужели вы не понимаете, Люси, что, позволяя ему бегать за вами, вы тем самым мучаете его.

— Мне он нравится, — сказала Люси. — С ним интересно. Конечно, он слишком молод; но все-таки он очень приятный. К тому же я вовсе не мучаю его. Он сам себя мучает.

Спэндрелл на минуту перестал смеяться и свистом подозвал машину, которую он увидел в конце улицы. Машина подъехала и остановилась перед ними. Он все ещё смеялся своим беззвучным смехом, когда они садились в такси.

— Конечно, он получает должное, — произнёс Спэндрелл из своего тёмного угла. — Он типичная жертва.

— Жертва?

— Для убийства нужны двое. Существуют прирождённые жертвы; они рождаются специально для того, чтобы им перерезали горло, так же как те, которые режут им горло, рождаются для того, чтобы быть повешенными. Это написано у них на лицах. Существуют типичные преступники и типичные жертвы. Уолтер принадлежит к последнему типу: он прямо напрашивается на Дурное обращение.

— Бедный Уолтер!

— И долг каждого, — продолжал Спэндрелл, — доставлять ему это.

— А почему не избавить его от мучений? Бедный ягнёночек!

Олдос Хаксли

— Следует помогать судьбе. Уолтер рождён для того, чтобы с ним плохо обращались. Наш долг — подать руку помощи его судьбе. Я с удовлетворением вижу, что вы так и поступаете.

— Какой вздор! Спички есть?

Спэндрелл зажжёт спичку. Держа папиросу в тонких губах, Люси наклонилась вперёд, чтобы выпить пламя. Наклоняясь, она сделала то же быстрое, грациозное и хищное движение, каким она когда-то наклонялась к нему, чтобы пить его поцелуи. И лицо, приблизившееся к нему, было таким же напряжённым и устремлённым к пламени, каким он его видел, когда оно напряжённо устремлялось к внутреннему пламени близящегося наслаждения. Мысли и переживания разнообразны, но жестов очень немного, а для того чтобы передать тысячи различных оттенков, у человеческого лица есть всего лишь десять-пятнадцать выражений. Она откинулась на сиденье; Спэндрелл выбросил спичку в окно. Красный кончик папиросы то разгорался, то затухал во тьме.

— Помните то забавное время, когда мы были в Париже? — спросил он, все ещё думая о её напряжённом и жадном лице. Когда-то, года три назад, он в течение месяца был её любовником. Люси кивнула.

— Помню. Недурное было время. Но вы оказались ужасно ветреным.

— Иными словами, я отнёсся чересчур спокойно к вашему роману с Томом Триветом.

— Ничего подобного! — возмутилась Люси. — Вы ушли от меня, когда Том мне ещё и не снился.

— Что ж, пусть будет по-вашему. По правде сказать, на мой вкус, вы недостаточно жертва. — Люси меньше всего была похожа на жертву; он часто думал, что и на

обыкновенную женщину она мало похожа. Она искала наслаждения, как ищет его мужчина, не испытывая угрызений совести, неуклонно стремясь к своей цели, не позволяя своим мыслям и чувствам служить препятствием. Спэндрелл не любил, чтобы кто-нибудь пользовался им для собственного развлечения; он хотел пользоваться сам. Но с Люси это было невозможно. — Я похож на вас, — добавил он. — Мне нужны жертвы.

— Следовательно, подразумевается, что я — преступник?

— Насколько мне помнится, вы и сами давным-давно согласились с этим, дорогая Люси.

— Никогда в жизни я ни с чем не соглашалась, — запротестовала она, — и никогда не буду соглашаться. По крайней мере не больше, чем на полчаса каждый раз.

— Это было в Париже, помните? В ресторане «Шомьер». За соседним столиком какой-то юноша красил губы.

— У него был платиновый браслет с бриллиантами. — Она с улыбкой кивнула. — И вы назвали меня ангелом или ещё чем-то.

— Падшим ангелом, — уточнил он. — От рождения падшим ангелом.

— Странно, Морис, человек вы умный, а несёте такую чепуху. Неужели вы действительно верите, что есть вещи хорошие и дурные?

Спэндрелл взял её руку и поднёс к губам.

— Дорогая Люси, — сказал он, — вы великолепны. И вы не должны зарывать свои таланты. Хвалю тебя, суккуб ¹⁰⁸ мой верный. — Он снова поцеловал её руку. — Так продолжай же выполнять свой долг и дальше. Вот все, чего желает небо от тебя.

— Я просто пытаюсь развлекаться. — Машина подъехала к её дому на Брютон-стрит. — И видит Бог, — добавила она, выходя из такси, — без особого успеха. Не надо, у меня есть деньги. — Она протянула шофёру десятишиллинговую бумажку. Бывая с мужчинами, Люси старалась по возможности платить за себя сама. Платя, она чувствовала себя независимой, она могла сама задавать тон. — И от вас ото всех я не много вижу помощи, — продолжала она, возясь с ключом. — Вы все невероятно скучны.

В столовой их ожидал красочный натюрморт из бутылок, фруктов и сэндвичей. Их отражения фантастически бродили по неевклидовой вселенной блестящего вакуум-аппарата. Профессор Дьюар открыл способ приготовления жидкого водорода для того, чтобы суп Люси не остывал до самого рассвета. Над сервантом висела картина Джона Бидлэйка, изображавшая театр. Изгиб галереи, гроздь лиц, кусочек ярко освещённой авансцены.

— Как хорошо! — сказал Спэндрелл, прикладывая руку ко лбу, чтобы лучше видеть.

Люси не ответила. Она рассматривала себя в старинном тусклом зеркале.

— Что я буду делать, когда состарюсь? — вдруг спросила она.

— Почему бы не умереть? — предложил Спэндрелл, набив рот хлебом и страсбургским паштетом.

— Вероятно, я займусь наукой, как Старик. Интересно, есть такая наука — человеческая зоология? Лягушки мне быстро надоели бы. Кстати, о лягушках, — добавила она. — Мне понравился этот рыжий человечек — как его там? — да, Иллидж. Как он ненавидит нас за то, что мы богаты!

— Не зачисляйте меня в одну компанию с богатыми. Если бы вы знали... — Спэндрелл покачал головой. «Будем надеяться, что она принесёт мне завтра денег». Он вспомнил слова матери, которые передала ему Люси. Перед этим он написал ей, что положение у него отчаянное.

— Мне нравятся люди, умеющие ненавидеть, — продолжала Люси.

— Да, Иллидж умеет. Он начинён теориями, жёлчью и завистью. Он жаждет взорвать нас всех на воздух.

— Тогда почему он этого не делает? Почему не делаете этого вы? А для чего же тогда

¹⁰⁸ Дьявол в образе женщины.

существует ваш клуб?

Спэндрелл пожал плечами.

— Видите ли, между теорией и практикой есть некоторая разница. А если ты убеждённый коммунист, или учёный-материалист, или поклонник русской революции, то теории у тебя весьма и весьма странные. Послушали бы вы, как наш юный друг рассуждает об убийстве! Конечно, особенно интересует его политическое убийство; но он не видит большой разницы между различными отраслями этого ремесла. С его точки зрения, один вид убийства столь же безвреден и морально безразличен, как другой. Наше тщеславие заставляет нас преувеличивать значительность человеческой жизни; индивид есть ничто; природа заботится только о виде — и так далее, и тому подобное. Странно, — добавил Спэндрелл в скобках, — до чего старомодны и даже примитивны новейшие течения в искусстве и политике! Юный Иллидж рассуждает как смесь лорда Теннисона в «In Memoriam»¹⁰⁹, мексиканского индейца или малайца, взвинчивающего себя перед тем, как впасть в амок. Он обосновывает самое примитивное, дикое, животное безразличие к жизни и человеческой личности устарелыми научными аргументами. Очень, очень странно.

— Но почему научные аргументы устарелые? — спросила Люси. — Ведь он и сам учёный...

— Но кроме того, он коммунист. А это означает, что он погряз в материализме девятнадцатого столетия. Не может быть коммуниста без механистического взгляда на мир. Ты должен верить, что единственная реальность — это пространство, время и масса, а все остальное — чепуха, одна лишь иллюзия, причём иллюзия буржуазная. Бедняга Иллидж! Его так тревожат Эйнштейн и Эддингтон¹¹⁰. А как он ненавидит Анри Пуанкаре¹¹¹! Как яростно сражается со стариком Махом¹¹². Они подрывают его незамысловатую веру. Они утверждают, что законы природы — лишь удобные условности, созданные самим человеком, и что пространство, время и масса как таковые, да и вся вселенная Ньютона и его последователей — всего лишь наше собственное изобретение. Эта мысль так же возмущает и огорчает его, как мысль о небытии Божиим возмущала бы христианина. Действительно, он учёный, но его убеждения заставляют его восставать против любой научной теории менее чем полувековой давности. Забавно, не правда ли?

— Не сомневаюсь, — сказала Люси, зевая. — Конечно, если вас интересуют теории; меня лично они не интересуют.

— А меня интересуют, — отпарировал Спэндрелл, — поэтому я не прошу у вас прощения. Впрочем, если вам угодно, я могу примером пояснить его непоследовательность на практике. Недавно я совершенно случайно обнаружил, что Иллидж очень трогательно заботится о своей семье. Он содержит свою мать, он платит за учение своего младшего брата, он дал своей сестре пятьдесят фунтов, когда она выходила замуж.

— Что же в этом плохого?

— Плохого? Но это так буржуазно! Теоретически он не должен делать различие между собственной матерью и любой другой пожилой женщиной. Он знает, что в правильно организованном обществе её с её артритом нужно поместить в камеру для усыпления

¹⁰⁹ Поэма английского поэта Альфреда Теннисона (1809-1892), посвящённая памяти его рано умершего друга Артура Генри Хэлэма.

¹¹⁰ Эддингтон, Артур Стенли (1882-1944) — английский астроном, автор трудов по теории относительности и релятивистской космогонии.

¹¹¹ Пуанкаре, Жюль Анри (1854-1912) — французский математик, физик и философ; независимо от Эйнштейна развил математические следствия «постулата относительности».

¹¹² Мах, Эрнст (1836-1916) — австрийский физик и философ; считал, что исходные понятия классической физики субъективны по своему происхождению.

животных. А вместо этого он посылает ей еженедельно не знаю сколько точно денег, чтобы она продолжала влачить своё бесполезное существование. Я как-то попрекнул его этим. Он покраснел и страшно смутился, точно его поймали на шулерстве. Чтобы восстановить свой престиж, он переменял тему и принялся рассуждать о политическом убийстве с изумительно спокойной, объективной, научной яростью. Я только засмеялся. «Как-нибудь на днях, — пригрозил я ему, — я поймаю вас на слове и приглашу на охоту за человеком». И, честное слово, я так и сделаю.

— Если только вы не ограничитесь болтовнёй, как все прочие.

— Если только, — согласился Спэндрелл, — я не ограничусь болтовнёй.

— Когда вам надоест болтать и вы надумаете что-нибудь сделать, сообщите мне. Я жажду настоящей жизни.

— В том, что сделаю я, скорее будет настоящая смерть.

— Жизнь становится настоящей жизнью именно тогда, когда она пахнет смертью. — Люси нахмурилась. — Мне до смерти надоело все то, что принято называть сильными ощущениями. Знаете: юность на борту и наслаждение у руля. Это глупо, это однообразно. В наши дни осталось так мало способов проявить энергию. Думаю, раньше это было иначе.

— Вы хотите сказать, что раньше была не только любовь, но и насилие?

— Вот именно. — Она кивнула. — Сильные ощущения были не только... не только фокстерьерскими, грубо говоря...

— Тогда нарушали и шестую заповедь. А теперь стало слишком много полисменов.

— Да, уж так много! Они не дают глазом моргнуть. А ведь человек должен испытать все.

— Но если нет ни добра, ни зла — а вы, кажется, стоите именно на этой точке зрения, — тогда какой в этом смысл?

— Какой смысл? Это забавно. Это увлекательно.

— Увлекательным бывает лишь то, что мы считаем злом. — Но время и привычка лишили привкуса греха почти все те поступки, которые он раньше считал «дурными». Он совершал их с таким же безразличием, с каким он мог бы спешить на утренний поезд в Лондон. — Некоторые люди, — продолжал он задумчиво, пытаясь найти формулировку для своих смутных и неясных ощущений, — некоторые люди осознают добро только тогда, когда они грешат против него. — Но когда грех перестаёт ощущаться как грех, тогда что? Он продолжал спорить сам с собой. Кажется, единственный выход — совершать новые и с каждым разом все более тяжкие грехи или, на жаргоне Люси, испытать все. — Отрицание Бога, — медленно закончил он, — есть один из путей к Богу.

— Морис, что с вами! — возмутилась Люси.

— Я больше не буду. — Он засмеялся. — Но в самом деле, если, по-вашему, это «Что с вами, Морис», — он передразнил её, — если для вас одинаково не существуют ни добро, ни грех против добра, какой смысл «испытывать все», в том числе и то, что преследуется по закону?

Люси пожала плечами.

— Любопытство. Мне скучно.

— Увы, нам скучно. — Он снова засмеялся. — И все-таки мы будем пить чашу до последней капли.

— А какая капля последняя?

Спэндрелл ухмыльнулся.

— Скромность, — начал он, — не позволяет мне...

XIII

Уолтер шагал по Флит-стрит, чувствуя себя не то чтобы счастливым, но по крайней мере спокойным. Спокойным от сознания, что теперь все устроилось. Да, все устроилось; все — потому что в эту полную бурных волнений ночь все поднялось на поверхность. Прежде

всего он больше не увидит Люси; это было решено окончательно и бесповоротно для его собственного блага и для блага Марджори. Далее, он будет проводить все вечера с Марджори. И наконец, он обратится к Барлепу с просьбой о прибавке. Все устроилось. Даже сама погода, казалось, знала об этом. Лондон был окутан белым плотным туманом, таким невозмутимо-спокойным, что городские шумы, казалось, тонули в нем. Грохот и суэта уличного движения как-то не нарушали глубокого покоя и молчания этого дня. Все устроилось; жизнь начиналась сызнова — может быть, не очень радостно и вовсе не блестяще, но покорно, с исполненным решимости спокойствием, которого ничто не могло поколебать.

Припоминая встречу с Барлепом на вчерашнем вечере, Уолтер ожидал в редакции холодного приёма. Однако Барлеп приветствовал его весьма радушно. Он тоже помнил вчерашний вечер и хотел, чтобы Уолтер о нем забыл. Он назвал Уолтера «дружище» и нежно пожал ему руку, глядя на него из своего кресла глазами, которые не выражали решительно ничего и казались лишь провалами в тьму, царившую в его черепе. Его губы улыбались чарующей и тонкой улыбкой. Уолтер тоже назвал его «дружище» и тоже улыбнулся, болезненно сознавая свою неискренность. Барлеп всегда так на него действовал: в его присутствии Уолтер никогда не чувствовал себя вполне честным и искренним. Это было очень неприятное чувство. Почему-то — он сам не знал почему — в присутствии Барлепа он всегда казался себе лжецом и комедиантом. И все, что он говорил, даже когда он высказывал свои глубочайшие убеждения, становилось ложью.

— Мне понравилась ваша статья о Рембо, — объявил Барлеп, не выпуская руки Уолтера и продолжая улыбаться ему из глубины своего вращающегося кресла.

— Очень рад, — сказал Уолтер, чувствуя себя неловко, потому что это замечание было обращено вовсе не к нему, а к какой-то части сознания самого Барлепа, которая шепнула: «Скажи ему что-нибудь приятное о его статье» — и требование которой было должным образом выполнено другой частью сознания Барлепа.

— Что за человек! — воскликнул Барлеп. — Вот кто действительно верил в жизнь!

С тех пор как Барлеп стал редактором «Литературного мира», передовицы журнала почти каждую неделю провозглашали необходимость верить в жизнь. Эта вера в жизнь, которую проповедовал Барлеп, всегда очень смущала Уолтера. Что значили эти слова? Даже теперь он не имел об этом ни малейшего представления: Барлеп никогда не объяснял. Нужно было понимать интуитивно; если вы не понимали, вас предавали вечному проклятию. Уолтер подозревал, что он тоже попал в разряд проклятых. Первый разговор с будущим шефом неизгладимо запечатлелся в его памяти. «Мне говорили, что вам нужен помощник редактора», — застенчиво начал он. Барлеп кивнул головой: «Да, нужен». И после бесконечного мучительного молчания он вдруг взглянул на него своими пустыми глазами и спросил: «Вы верите в жизнь?» Уолтер покраснел до корней волос и ответил: «Да». Это был единственный возможный ответ. Снова настало томительное молчание, и снова Барлеп взглянул на него. «Вы девственник?» — осведомился он. Уолтер покраснел ещё гуще, замялся и наконец отрицательно покачал головой. Впоследствии он понял, прочтя одну из статей Барлепа, что тот подражал в своём поведении Толстому и «шёл напрямик к великим, простым, незабываемым основам» — так Барлеп называл нахальное влезание этого старого генерала Армии спасения в чужую душу.

— Да, Рембо, конечно, верил в жизнь, — нетвёрдо согласился Уолтер с таким чувством, точно ему пришлось написать формальное соболезнующее письмо. Разговоры о вере в жизнь были так же тягостны, как соболезнования по поводу чьей-нибудь тяжёлой утраты.

— Он так глубоко верил в жизнь, — медленно продолжал Барлеп, опуская глаза (к великому облегчению Уолтера) и мотая головой в такт словам, — так глубоко, что он готов был пожертвовать ею. Я истолковываю его отказ от литературы как добровольную жертву. — («Как легко он бросается громкими словами!» — подумал Уолтер.) — Сберегший свою жизнь потеряет её. — («Ух ты!») — Быть величайшим поэтом своего поколения и, зная

это, отказаться от поэзии — это значит потерять жизнь, чтобы сберечь её. Это значит истинно верить в жизнь. Его вера была столь сильна, что он готов был потерять свою жизнь, ибо он верил, что обретёт новую, лучшую жизнь. — («Слишком легко он ими бросается!» Уолтер чувствовал себя страшно неловко.) — Жизнь, исполненную мистического созерцания и интуитивных озарений. Ах, если бы знать, что он делал, о чем думал в Африке! Если бы знать!

— Он доставлял контрабандой ружья для императора Менелика. — Уолтер нашёл в себе смелость ответить. — И, если судить по его письмам, он думал преимущественно о том, чтобы заработать денег и зажить обеспеченной жизнью. Он носил в поясе сорок тысяч франков. Двадцать один фунт золота носил он на себе. «Кстати, о золоте, — подумал он. — Вот сейчас бы и заговорить о прибавке».

Но упоминание о ружьях Менелика и о сорока тысячах франков вызвало на лице Барлепа улыбку христианского всепрощения.

— Неужели вы в самом деле думаете, — спросил он, — что, когда Рембо жил в пустыне, его мысли были заняты деньгами и перевозкой ружей? Его, автора «Озарений»?

Уолтер покраснел, точно в чем-то погрешил против хорошего тона.

— Это единственные известные нам факты, — сказал он извиняющимся тоном.

— Но есть внутренняя прозорливость, позволяющая проникнуть глубже под поверхность фактов. — «Внутренняя прозорливость» — так Барлеп любил называть своё собственное мнение. — Он осуществлял новую жизнь, он завоёвывал царствие небесное.

— Это только гипотеза, — сказал Уолтер, подумав: «Как хорошо было бы, если бы Барлеп никогда не читал Нового Завета!»

— Для меня, — ответил Барлеп, — это неопровержимая истина. — Он говорил с подчёркнутой выразительностью, он неистово мотал головой. — Безусловная и неопровержимая истина, — твердил он, многократным повторением фразы внушая себе мнимую убеждённость. — Безусловная и неопровержимая! — Он замолчал; но внутренне он продолжал подогревать своё мистическое исступление. Он думал о Рембо до тех пор, пока не почувствовал себя Рембо. И вдруг чёртик высунул свою ухмыляющуюся рожу и шепнул: «Двадцать один фунт золота в поясе». Барлеп изгнал беса, переменяя тему разговора. — Видели новые книги, присланные на отзыв? — сказал он, указывая на две кипы томов на углу стола. — Ещё сколько-то ярдов современной литературы. — Он пришёл в юмористическое отчаяние. — Почему авторы не прекратят этот чернильный поток? Это болезнь. Это кровотечение, вроде того, каким страдала эта несчастная евангельская леди¹¹³. Помните?

Уолтер помнил главным образом то, что эта острота принадлежала Филипу Куорлзу.

Барлеп встал и принялся просматривать книги.

— Бедные рецензенты! — сказал он со вздохом.

«Бедные рецензенты». Вот хороший предлог, чтобы произнести маленькую речь о прибавке! Уолтер взял себя в руки, собрал всю свою волю.

— Я как раз думал... — начал он.

Почти одновременно с ним заговорил и Барлеп.

— Я позову Беатрису, — сказал он и трижды надавил звонок. — Ах, простите. Вы что-то сказали?

— Нет, ничего.

Разговор придётся отложить. Немыслимо вести его при посторонних, особенно если этими «посторонними» была Беатриса. Черт бы её побрал! — мысленно выбрал он ни в чем не повинную Беатрису. С какой стати она безвозмездно выполняет редакционную работу и пишет короткие заметки? Только потому, что у неё есть личные средства и она обожает

¹¹³ Имеется в виду библейская притча о женщине, которая исцелилась от кровотечения, прикоснувшись к одежде Иисуса (Евангелие от Матфея, 9:20-22).

Барлепа.

Как-то раз Уолтер в шутку пожаловался ей на своё нищенское жалованье — шесть фунтов в неделю.

— Но «Мир» достоин того, чтобы ради него приносить жертвы, — протрещала она. — В конце концов, есть же у нас какие-то обязанности перед ближними. — «Христианские сентенции Барлепа, произносимые её звонким трескучим голосом, производят, — подумал Уолтер, — особенно дикое впечатление». — «Мир» кое-что даёт им; наш долг — поддержать его.

Ответ напрашивался сам собой: «Но мои личные средства слишком незначительны, и я не влюблён в Барлепа»; однако он не ответил ничего и позволил гусыне щипать себя. И все-таки черт бы её побрал!

Вошла Беатриса — аккуратненькая, полненькая, хорошо сложенная женщина; она держалась очень прямо и имела очень деловитый вид.

— Доброе утро, Уолтер, — сказала она; каждое слово её было как короткий резкий удар молоточком из слоновой кости по костяшкам пальцев. Она осмотрела его своими блестящими выпуклыми глазами. — У вас усталый вид, — продолжала она. — Потрёпанный. Словно вы всю ночь бегали по крышам. — Щипок за щипком. — Что, угадала?

— Я плохо спал, — промямлил Уолтер, краснея, и углубился в книгу.

Они разобрали присланные книги. Маленькая стопка для эксперта по научным вопросам, другая для присяжного философа, целая груда для специалиста по беллетристике. Большинство книг принадлежало к разряду, кратко обозначаемому «хлам». О хламе либо вовсе не давали отзывов, либо писали о нем в отделе «Коротких заметок».

— Вот для вас книга о Полинезии, Уолтер, — великодушно сказал Барлеп. — И новая антология французской поэзии. Или нет, постойте: антологию, пожалуй, возьму я. — Подумав, Барлеп обычно забирал самые интересные книги себе.

— «Жизнь святого Франциска, обработанная для детей Беллой Джукс». Теология или хлам? — спросила Беатриса.

— Хлам, — сказал Уолтер, заглядывая через её плечо.

— Я, пожалуй, воспользуюсь этим случаем, чтобы написать маленькую статейку о святом Франциске, — сказал Барлеп. В свободное от редактирования время он писал объёмистое сочинение об этом святом. Книга будет называться «Святой Франциск и душа современности». Он взял у Беатрисы маленькую книжку и бегло перелистал её. — Хламовато, — согласился он. — Но какой необыкновенный человек! Необыкновенный! — Он начал гипнотизировать себя, насильственно вгонять себя в францисканское настроение.

— Замечательный! — протрещала Беатриса, не сводя глаз с Барлепа.

Уолтер с любопытством посмотрел на неё. Её идеи и её манеры щиплющей гусыни принадлежали, казалось, двум различным людям, единственным связующим звеном между которыми был Барлеп. А была ли между ними внутренняя органическая связь?

— Какая потрясающая цельность! — Барлеп опьянялся своими словами. Он тряхнул головой и, вздохнув, отрезвил себя настолько, чтобы стать способным заниматься делами.

Когда Уолтеру представилась возможность заговорить (но с какой робостью, с какой деликатной сдержанностью!) о своём жалованье, Барлеп отнёсся к нему необыкновенно сочувственно.

— Знаю, дружище, — сказал он, кладя руку на плечо Уолтеру; последний при этом живо вспомнил, как в школе ему раз пришлось играть Антонио в «Венецианском купце» и его злейший недруг Портер-старший, выступавший в роли Бассанио, изъявлял ему свои дружеские чувства. — Мне тоже знакома нужда. — Он слегка засмеялся, словно давая понять, что он, как истый францисканец, прекрасно разбирается в бедности, но слишком скромн, чтобы выставлять это напоказ. — Знакома, дружище. — В эту минуту он сам готов был поверить, что он вовсе не совладелец «Мира» и не редактор на солидном жалованье, что у него нет ни пенни сбережений, что он уже много лет живёт на два фунта в неделю. — Я

очень хотел бы, чтобы у нас была возможность платить вам в три раза больше: вы этого заслуживаете, дружище. — Он слегка похлопал Уолтера по плечу.

Уолтер что-то промычал, защищаясь от похвал. Он подумал, что в ответ на это похлопывание по плечу ему следовало произнести:

Паршивая овца в чистейшем стаде ¹¹⁴,
Я только на убой идти достоин.

— Мне очень хотелось бы ради вас, — продолжал Барлеп, — да и ради себя тоже, — добавил он, и этими словами, сопровождаемыми горьким смешком, он ставил себя в финансовом отношении на одну доску с Уолтером, — чтобы наш журнал приносил больше прибыли. Это могло бы случиться, если бы вы писали не так хорошо. — Комплимент был крайне изящен. Барлеп подчеркнул его дружеским похлопыванием по плечу и улыбкой. Но его глаза не выражали ничего. Встретив на мгновение их взгляд, Уолтер подумал, что они вовсе не смотрят на него, что они вообще ни на что не смотрят. — Журнал слишком хорош. Это в значительной мере ваша вина. Нельзя служить Богу и Маммоне.

— Разумеется, — согласился Уолтер; но у него снова появилось ощущение, что Барлеп слишком легко произносит громкие слова.

— Я хотел бы, чтобы это можно было делать. — Барлеп говорил с игривостью святого Франциска, шутливо подсмеивающегося над собственными принципами.

Уолтер без особенной весёлости присоединился к его смеху. Он жалел, что вообще произнёс слово «жалованье».

— Я поговорю с мистером Чиверсом, — сказал Барлеп. Мистер Чиверс был главным администратором. Барлеп пользовался им, как римские государственные деятели пользовались оракулами и авгурами, чтобы проводить собственную политику. Все его неблагоприятные для служащих решения неизменно приписывались мистеру Чиверсу; а когда решение было благоприятным, Барлеп давал понять, что вырвал его силой у этого бездушного администратора. Мистер Чиверс был удобнейшей ширмой. — Я сегодня же с ним поговорю.

— Ради Бога, не беспокойтесь, — сказал Уолтер.

— Если будет хоть малейшая возможность выцарапать что-нибудь для вас...

— Не нужно. — Уолтер просто-таки умолял, чтобы ему не платили больше. — Я знаю, какие затруднения переживает журнал. Не подумайте, пожалуйста, что я...

— Но мы эксплуатируем вас, Уолтер, положительно эксплуатируем. — Чем больше протестовал Уолтер, тем великодушней становился Барлеп. — Не подумайте, что я этого не вижу. Это давно уже мучает меня. — Его великодушие было заразительно. Уолтер твёрдо решил не соглашаться на прибавку, хотя был уверен, что журнал это может выдержать.

— Серьёзно, Барлеп, — почти умолял он, — мне будет приятней, если все останется по-старому. — Но тут он вдруг подумал о Марджори. Как это нехорошо по отношению к ней! Он приносит в жертву её спокойствие своему. Из-за того, что он не любит торговаться, что он питает отвращение к борьбе и к выпрашиванию подачек, бедняжке Марджори придётся обходиться без новых платьев и без второй прислуги.

Но Барлеп отклонял все его протесты. Он во что бы то ни стало хотел проявить великодушие.

— Я сейчас же пойду и поговорю с Чиверсом. Надеюсь, мне удастся убедить его, чтобы вам прибавили двадцать пять фунтов в год.

Двадцать пять! Это значит десять шиллингов в неделю. Все равно что ничего. Марджори сказала, что он должен требовать по крайней мере ещё сто фунтов в год.

— Благодарю вас, — сказал он и почувствовал презрение к самому себе за эти слова.

¹¹⁴ У. Шекспир, «Венецианский купец» (акт IV, сц. 1).

— Боюсь, что это до смешного мало. До смешного мало. «Это следовало бы сказать мне», — подумал Уолтер.

— Даже стыдно предлагать так мало. Но что может сделать человек при таких обстоятельствах? — Разумеется, «человек» ничего не мог сделать, по той простой причине, что за этим «человек» не скрывалось никакой реальности.

Уолтер промямлил что-то насчёт своей благодарности. Он испытывал унижение и винил в этом Марджори.

Когда Уолтер работал в редакции — три раза в неделю, — он сидел с Беатрисой. Барлеп сидел один, в уединении редакторского кабинета. Сегодня был день коротких заметок. Между Уолтером и Беатрисой на столе громоздились груды хлама. Каждый выбирал себе книгу по вкусу. Это было литературное пиршество — пиршество из отбросов. Плохие романы и дрянные стихи, идиотические философские системы и плоское морализирование, унылые биографии и скучнейшие описания путешествий, религиозные сочинения столь тошнотворные и детские книги столь вздорные и глупые, что, читая их, испытываешь стыд за весь человеческий род, — груды были огромны и становились все огромней с каждой неделей. Ни муравьиное трудолюбие Беатрисы, ни быстрота и находчивость Уолтера не могли справиться с этим все поднимающимся приливом. Они накинулись на книги «как грифы на трупы в Башне Молчания»¹¹⁵, по выражению Уолтера. Сегодня его отзывы отличались особой язвительностью.

На бумаге Уолтер обладал всеми теми качествами, которых ему не хватало в жизни. Его рецензии были лаконичны и беспощадны. Злополучные старые девы, читая то, что он писал по поводу их прочувствованных поэм о Боге и страсти и красотах природы, бывали совершенно сражены его грубым презрением. Охотники за крупной дичью, получившие столько удовольствия от своих путешествий по Африке, не понимали, как это можно называть скучными описания увлекательных приключений. Юные романисты, сформировавшие свой стиль и свою композицию по лучшим образцам и смело обнажившие тайные глубины своей сексуальной жизни, страдали, изумлялись и приходили в негодование, узнавая, что у них напыщенный язык, неправдоподобные ситуации, нереальная психология, мелодраматические сюжеты. Плохую книгу написать так же трудно, как хорошую; её автор с такой же искренностью изливает в ней свою душу. Но так как у плохого автора душа, по крайней мере с эстетической точки зрения, низшего качества, его искренность если не всегда неинтересна сама по себе, то, во всяком случае, выражена так неинтересно, что все усилия, затраченные на её выражение, пропадают даром. Природа чудовищно несправедлива. Талант не заменишь ничем. Трудолюбие и все добродетели здесь бесполезны. Погрузившись в хлам, Уолтер злобно высмеивал отсутствие таланта. Создатели хлама, сознававшие своё трудолюбие, свою искренность и свои добрые намерения, чувствовали себя несправедливо и жестоко обиженными.

Метод критики Беатрисы был прост: она каждый раз пыталась представить себе, что сказал бы в этом случае Барлеп. На деле это сводилось к тому, что она хвалила все те книги, авторы которых, по её мнению, серьёзно относились к жизни и её проблемам, и ругала все те, в которых она не находила этого серьёзного отношения. «Фестуса»¹¹⁶ она поставила бы выше «Кандида» — разумеется, если бы Барлеп или какой-нибудь другой авторитет не предупредил бы её заранее, что её долг предпочесть «Кандида». Поскольку её допускали только к хламу, отсутствие у неё критического чутья особенного значения не имело.

Они поработали, они пошли позавтракать, они вернулись и снова принялись за работу. За это время прибыло одиннадцать новых книг.

¹¹⁵ Башня в Бомбее, святыня парсов — секты, в которой религией запрещено погребение; мертвецов привязывают к столбам башни и оставляют на съедение стервятникам.

¹¹⁶ Теологическая поэма английского поэта Филиппа Джеймса Бейли (1816-1902).

— Я чувствую себя, — сказал Уолтер, — словно бомбейский коршун после эпидемии среди парсов.

Бомбей и парсы напомнили ему о его сестре Элинор. Сегодня она с Филипом отплывает на родину. Он был доволен, что они возвращаются. Они были, пожалуй, единственными людьми, с которыми он мог говорить по душам о своих делах. Он сможет обсудить с ними стоявшие перед ним трудности. Это успокоит его, снимет с него часть ответственности. И вдруг он вспомнил, что все устроилось, что трудностей больше нет. Больше нет. В эту минуту раздался телефонный звонок. Уолтер снял трубку.

— Алло!

— Это вы, Уолтер? — Голос принадлежал Люси. Его сердце упало: он знал, что произойдёт сейчас.

— Я только что проснулась, — объяснила она. — Я совсем одна.

Она хотела, чтобы он пришёл к ней пить чай. Он отказался.

— Тогда после чая.

— Не могу, — упорствовал он.

— Глупости! Отлично можете.

— Невозможно.

— Почему?

— Работа.

— Но ведь вы работаете только до шести. Я настаиваю.

«В конце концов, — подумал он, — может быть, лучше повидаться с ней и сказать ей о своём решении?»

— Если вы не придёте, я никогда вам этого не прощу.

— Хорошо, — сказал он, — я постараюсь. Если это будет возможно, я приду.

— Какой вы ломака! — насмешливо сказала Беатриса, когда он повесил трубку. — Говорите «нет» только для того, чтобы вас упрашивали!

А когда в самом начале шестого он ушёл из редакции под тем предлогом, что ему нужно попасть до закрытия в Лондонскую библиотеку, она иронически пожелала ему удачи.

— *Вон amusement!* ¹¹⁷ — послала она ему вдогонку.

В редакторском кабинете Барлеп диктовал письмо своей секретарше.

— Ваш и так далее, — закончил он и взял следующую рукопись. — Дорогая мисс Сэвиль, — начал он, взглянув на рукопись. — Нет, — поправился он, — дорогая мисс Ромола Сэвиль. Благодарю вас за ваше письмо и за любезно присланные нам рукописи. — Он замолчал, откинулся на спинку кресла и на мгновение закрыл глаза, обдумывая. — Как правило, — снова начал он тихим и далёким голосом, — как правило, я не пишу личных писем незнакомым авторам. — Он открыл глаза и встретил тёмный, блестящий взгляд своей секретарши, сидевшей напротив него за столом. Глаза мисс Коббет выражали сарказм; лёгкая улыбка едва заметно кривила уголки её рта. Барлеп почувствовал раздражение; но он скрыл его и продолжал смотреть прямо перед собой, точно мисс Коббет там не было и он рассеянно рассматривал какой-то предмет обстановки. Мисс Коббет снова обратилась к своему блокноту.

«Какой он мерзкий, — сказала она себе, — какой неопишимо вульгарный!»

Мисс Коббет была черноволосая женщина небольшого роста, с тёмным пушком над верхней губой, с карими глазами, слишком большими для её худого, немного болезненного личика. Мрачные страстные глаза, почти всегда выражавшие упрёк, который, вспыхивая, мгновенно превращался в гнев или, как сейчас, в насмешку. Она имела право смотреть на мир с упрёком. Судьба обошлась с ней немилостиво, очень немилостиво. Этель родилась и росла в достатке, но после смерти отца осталась нищей. Гарри Маркхэм сделал ей предложение. Казалось, для неё началась новая жизнь. В это время была объявлена война.

¹¹⁷ Приятных развлечений! (фр.).

Гарри пошёл на фронт и был убит. Его смерть обрекла её на стенографию и машинопись до конца жизни. Гарри был единственный мужчина, полюбивший её, не побоявшийся полюбить её. Другие мужчины считали её слишком беспокойной, страстной и серьёзной. Она ко всему относилась слишком серьёзно. Молодые люди чувствовали себя в её присутствии неудобно и глупо. Они мстили ей тем, что смеялись над ней, обвиняли в отсутствии чувства юмора и в педантизме, а позднее стали называть старой девой, которая томится по мужчине. Они говорили, что она похожа на колдунью. Она часто влюблялась, страстно, с безнадёжной пылкостью. Мужчины или не замечали этого, или, заметив, немедленно спасались бегством, или высмеивали её, или, что было ещё хуже, относились к ней со снисходительной добротой, точно она была несчастным, сбитым с толку созданием, правда, несколько надоедливым, но, безусловно, достойным жалости. У Этель Коббет были все основания смотреть на мир с упрёком.

Она познакомилась с Барлепом благодаря тому, что в дни своего достатка она училась в одной школе с будущей женой Барлепа — Сьюзен Пэли. После смерти Сьюзен Барлеп только и говорил что о своём горе. Он использовал его в качестве материала для целого ряда статей, ещё более мучительно интимных, чем все его остальные писания (именно этому качеству он был обязан своим успехом: широкая публика с каннибальской жадностью поглощает интимные переживания). Этель написала ему соболезнующее письмо, присовокупив к нему длинное описание Сьюзен-девочки. Со следующей почтой пришёл трогательный ответ тронутого до глубины души Барлепа:

«Спасибо вам, спасибо вам за то, что вы поделились со мной вашими воспоминаниями о том, кого я всегда считал единственно *настоящей* Сьюзен, о маленькой девочке, которая до самой смерти жила, непорочная и прекрасная, в Сьюзен-женщине; о милом ребёнке, которым вопреки хронологии она всегда оставалась; о милом ребёнке, жившем под внешней оболочкой взрослой Сьюзен. Я убеждён, что в глубине души она никогда не верила в своё взрослое «я» и всю жизнь не могла отрешиться от мысли, что она всего лишь маленькая девочка, играющая во взрослую».

И так далее, и так далее — несколько страниц истерических излияний на тему о покойной девочке-жене. Значительную часть содержания этого письма он включил в свою очередную статью, озаглавленную «Таковых есть царствие небесное»¹¹⁸. Через день или два он отправился в Бирмингем, чтобы лично переговорить с женщиной, знавшей «единственную настоящую» Сьюзен, когда та была не только духовно, но и физически ребёнком. Оба произвели друг на друга благоприятное впечатление. Для Этель, чья жизнь, полная горечи и раздражения, протекала между её убогой квартиркой и ненавистной страховой конторой, прибытие сначала письма, а затем и самого Барлепа было великим и чудесным событием. Настоящий писатель, человек с душой и умом! Тогда как Барлеп дошёл себя до такого состояния, когда он готов был привязаться к любой женщине, способной говорить с ним о детстве Сьюзен и комфортабельно уложить его, как ребёнка, на мягкую перину тёплого материнского сострадания. Кроме того, достоинства Этель Коббет не исчерпывались тем, что она когда-то была подругой Сьюзен и сочувствовала ему в его горе; сверх того, она была не глупа, культурна и преклонялась перед ним. Первое впечатление было благоприятным.

Барлеп плакал и раскаивался. Он доводил себя до иступления мыслью, что никогда, никогда он не сможет попросить у Сьюзен прощения за все обиды, которые он ей причинил, за все жестокие слова, которые он ей сказал. В порыве самобичевания он даже признался, что однажды изменил ей. Он рассказал обо всех их ссорах. А теперь она умерла, и он никогда не сможет вымолить у неё прощения. Никогда, никогда! Этель была тронута. Она подумала, что, умри она, Этель, никто её не станет оплакивать. Но заботливое отношение

¹¹⁸ «...Пустите детей приходиться ко мне и не препятствуйте им; ибо таковых есть Царствие Божие» (Евангелие от Марка, 10:14).

при жизни гораздо нужнее человеку, чем слезы после его смерти. Исступление, до которого довёл себя Барлеп путём упорного сосредоточения на мысли о своей потере и о своём горе, никак не соответствовало его реальной привязанности к живой Сьюзен. Лойола¹¹⁹ предписывал каждому кандидату в иезуитский орден несколько времени предаваться в одиночестве размышлениям о страстях Господних; после нескольких дней подобных упражнений, сопровождаемых постом, в уме посвящаемого возникал живой мистический образ личности Спасителя и его страданий. Тем же методом пользовался и Барлеп; только думал он не об Иисусе и даже не о Сьюзен — он думал о себе, о своих страданиях, своём одиночестве, своих угрызениях совести. Через несколько дней непрерывного духовного онанизма он был должным образом вознаграждён: он проникся сознанием неповторимости и бездонности своих страданий. Он увидел самого себя в апокалипсическом видении как мужа скорби. (Евангельские выражения не сходили у Барлепа с языка и кончика его пера. «Каждому из нас, — писал он, — даётся Голгофа, соответствующая нашему долготерпению и способности к самосовершенствованию». Он с видом знатока говорил о Гефсиманских садах и чашах¹²⁰.)

Видение это разрывало его сердце; он преисполнился жалости к самому себе.

Но бедная Сьюзен имела весьма отдалённое отношение к горестям этого хриstopодобного Барлепа. Его любовь к живой Сьюзен была такой же надуманной и взвинченной, как его скорбь по поводу её смерти. Он любил не Сьюзен, но созданный им самим образ Сьюзен, который в результате упорного сосредоточения по методу иезуитов приобрёл галлюцинаторную реальность. Его пламенное отношение к этому фантому и любовь к любви, страсть к страсти, которую он выдавливал из глубин своего самосознания, покорили Сьюзен, вообразившую, будто все это имеет какое-то отношение к ней самой. Больше всего нравилось ей в его чувствах их совершенно не мужская «чистота». Его любовь походила на любовь ребёнка к своей матери (правда, ребёнка с наклонностями к кровосмешению; но какой это был тактичный и деликатный маленький Эдип!); его любовь была одновременно младенческой и материнской; его страсть была своего рода пассивным стремлением приютиться в женских объятиях. Слабая, хрупкая, с пониженной жизнеспособностью, а следовательно, не совсем взрослая, она обожала его — возвышенного и почти святого возлюбленного. Барлеп, в свою очередь, обожал свой фантом, обожал свою необыкновенно христианскую концепцию брака, обожал свой столь достойный обожания способ быть супругом. Его периодически появлявшиеся в печати статьи, восхвалявшие брак, были полны лиризма. Тем не менее он неоднократно изменял жене; но он ложился в постель с женщинами так невинно, так по-детски и так платонично, что ни женщины, ни даже он сам едва ли вообще замечали, что ложатся в постель. Его жизнь с Сьюзен была длинным рядом сцен всех эмоциональных оттенков. Он пережёвывал какую-нибудь обиду до тех пор, пока не отравлял себя ядом гнева и ревности. Или он углублялся мысленно в собственные недостатки и доводил себя до униженного раскаяния, или катался у её ног в экстазе кровосмесительного преклонения перед воображаемой матерью-ребёнком-женой, с которой ему заблагорассудилось отождествить Сьюзен. А иногда он приводил Сьюзен в полное недоумение, прерывая свои излияния циническим смешком и становясь на некоторое время кем-то совершенно другим, чем-то вроде Весёлого Мельника из песенки, заявлявшего: «Обо мне никто не плачет, я не плачу ни о ком!»¹²¹ Приведя себя снова в состояние эмоциональной духовности, он винил в этих настроениях «своего беса» и цитировал слова

¹¹⁹ Лойола, Игнатий (1492-1556) — основатель ордена иезуитов.

¹²⁰ Ср. Евангелие от Матфея, 26:39.

¹²¹ Строки из поэмы Роберта Бёрнса «У меня есть жена» (перевод О. Чюминой).

Старого Морехода ¹²²: «Иссохло сердце, как в степях сожжённый солнцем прах». «Мой бес» — а может быть, это выползал наружу подлинный Барлеп, которому надоело делать вид, что он кто-то другой, и возвращать в себе эмоции, которых он непосредственно не переживал?

Сьюзен умерла; но Барлеп мог бы с таким же успехом испытывать длительную и страстную скорбь по ней и при её жизни; для этого ему стоило только вообразить её умершей, а себя — безутешным и одиноким. Интенсивность его переживаний, или, вернее, громогласие и назойливость, с какой они выражались, произвела на Этель большое впечатление. Барлеп, казалось, был совершенно раздавлен своим горем физически и духовно. Её сердце обливалось кровью за него. Поощряемый её сочувствием, он устраивал настоящие оргии сердечного сокрушения, тем более остро, что оно было напрасным, раскаяния тем более мучительного, что оно было запоздалым, бесцельных исповедей и самобичеваний.

Но когда взвинчиваешь одно какое-нибудь чувство, это неизбежно отражается на всем сознании. Человек, эмоционально экзальтированный в одной области, легко становится эмоционально экзальтированным во всех остальных. Скорбь сделала Барлепа благородным и великодушным; жалость к самому себе пробудила христианское отношение к другим. «Вы тоже несчастны, — сказал он Этель, — я это вижу». Она не отрицала; она рассказала, как она ненавидит свою работу, ненавидит контору, ненавидит всех окружающих; рассказала ему всю свою неудачную жизнь. Барлеп довёл себя до нужного градуса сочувствия. «Но что значат мои маленькие горести по сравнению с вашими», — возражала она, вспоминая его бурные излияния. Барлеп говорил о тайном ордена страдающих и, ослеплённый видением собственного великодушия, предложил мисс Коббет место секретарши в редакции «Литературного мира». Хотя Лондон и «Литературный мир» казались бесконечно более заманчивыми, чем страховая контора и Бирмингем, Этель колебалась. Служба в конторе была скучна, но зато это было постоянное место, и за выслугу лет полагалась пенсия. В новом и ещё более бурном порыве великодушия Барлеп гарантировал ей, что место будет постоянное. Он распалился собственной добротой.

Мисс Коббет дала себя уговорить — она переехала. Но расчёты Барлепа на то, что ему удастся постепенно и незаметно пробраться к ней в постель, не оправдались. Этот ребёнок с разбитым сердцем, жаждавший утешения, не прочь был бы склонить свою утешительницу, все так же духовно и платонично, на нежный и сладостный блуд. Но даже мысль о таких отношениях не приходила в голову Этель Коббет. Она была женщиной с принципами, такой же страстной и пылкой в дружбе, как и в любви. Она приняла скорбь Барлепа за чистую монету. Когда они, обливаясь слезами, решили окружить бедную Сьюзен своего рода тайным культом, воздвигнуть в сердцах алтарь её памяти и украшать его цветами, Этель вообразила, что это так и будет. Она, во всяком случае, была искренна. Она никогда не подозревала Барлепа в неискренности. Его дальнейшее поведение изумило и огорчило её. Неужели это тот самый человек? — спрашивала она себя, наблюдая, как он потихоньку платонично и утончённо-духовно предаётся распутству. Неужели это тот человек, который поклялся вечно возжигать свечи перед алтарём бедной малютки Сьюзен? Она не скрывала своего неодобрения. Барлеп проклял свою глупость, заставившую его переманить её из страховой конторы, своё первосортное идиотство, побудившее его пообещать ей постоянное место. Неужели она не догадается уйти сама! Он старался выжить её, обращаясь с ней свысока, холодно и безлично, как с машиной для писания писем и перепечатки статей. Но Этель Коббет мрачно цеплялась за службу, цеплялась за неё вот уже полтора года и не выражала никакого желания уходить.

Это становилось невыносимо; продолжаться дальше это не могло. Но как положить этому конец? Конечно, по закону он вовсе не обязан держать её вечно. Он не давал никаких

¹²² Речь идёт о герое поэмы «Сказание о Старом Мореходе» (1798) (перевод В. Левика,) Сэмюэла Колриджа (1772-1834).

письменных обязательств. На худой конец...

С каменным лицом, игнорируя выражение глаз и еле заметную ироническую усмешку Этель Коббет, Барлеп продолжал диктовать. На машины не обращают внимания: ими пользуются. И все-таки такое положение не могло продолжаться.

— Как правило, я не пишу личных писем незнакомым авторам, — повторил он твёрдым, решительным тоном. — Но я не могу отказать себе в удовольствии сказать вам... нет, не так: поблагодарить вас за то огромное наслаждение, которое доставили мне ваши стихи. Свежий лиризм вашего творчества, его страстная искренность, его почти первобытная непосредственность и блеск Удивили и обрадовали меня. Редактору приходится перечитывать такое количество дурной литературы, что он испытывает почти неизъяснимую благодарность к тем, кто... нет, пишите: к редким и бесценным душам, которые дарят его настоящим золотом, а не обычной подделкой. Спасибо вам за ваш дар, за... — он снова посмотрел на рукопись, — за «Любовь среди лесов» и «Цветы страсти». Спасибо вам за мятежный блеск их словесного выражения. Спасибо вам также за чувствительность — нет, за трепетное чувство, — за пережитые страдания, за пламенную духовность; внутренняя прозорливость улавливает их под поверхностью ваших стихов. Я немедленно сдам в набор оба стихотворения и надеюсь напечатать их в начале будущего месяца. А пока что, если вам случится проходить по Флит-стрит, вы окажете мне большую честь, придя лично поделиться со мной вашими поэтическими планами. Начинаящий писатель, даже талантливый, нередко сталкивается с материальными затруднениями, которые профессиональный литератор умеет обходить. Я всегда считал одним из своих величайших преимуществ и своим долгом критика и редактора помогать талантливым авторам на их пути к известности. Это послужит мне извинением за моё, быть может, слишком длинное письмо. Остаюсь искренне преданный вам.

Он снова взглянул на перепечатанные на машинке стихотворения и прочёл несколько строчек. «Подлинный талант, — несколько раз повторил он себе, — подлинный талант!» Но его «бес» шептал ему, что эта девица на редкость откровенна и, вероятно, обладает недюжинным темпераментом и немалым опытом. Он отложил рукописи в корзину, стоящую справа от него, и взял письмо из корзины, стоявшей слева.

— Его преподобию Джеймсу Хичкоку, — продиктовал он, — викарию в Татльфорде, Уилтшир. Милостивый государь! К моему величайшему сожалению, я не могу использовать вашу обширную и очень интересную статью о связи между агглютинирующими языками и агглютинативными химерическими формами в символическом искусстве. Недостаток места...

Розовая в своём халатике, как розовые тюльпаны в вазе, Люси лежала, опираясь на локоть, и читала. Кушетка была серая, стены были затянуты серым шёлком, ковёр был розовый. Даже попугай, сидевший в золочёной клетке, был розовый с серым. Дверь открылась.

— Уолтер, дорогой! Наконец-то! — Она отбросила книгу.

— Еле удалось вырваться. Если бы вы знали, какую массу вещей мне нужно было сделать, вместо того чтобы идти к вам. («Ты обещаешь?» — спросила Марджори. И он ответил: «Обещаю». Но этот последний визит, это последнее объяснение с Люси в счёт не идёт.)

Диван был широк. Люси отодвинулась к стене, освобождая место Уолтеру. Красная турецкая туфелька соскочила с её ноги.

— Идиотская у меня педикюрша, — сказала она, приподымая обнажённую ногу, чтобы рассмотреть её, — вечно покрывает мне ногти этим ужасным красным лаком. Похоже на раны!

Уолтер не ответил. Его сердце бешено колотилось. Аромат гардений, словно теплота её тела, превращённая в запах, окутал его. Есть духи горячие и холодные, душные и свежие. Гардении Люси наполняли его горло и лёгкие сладким тропическим зноем. На сером шёлке дивана её нога была похожа на бледный цветок, на бледный мясистый бутон лотоса. Ноги

индусских богинь, ступающих по лотосам, сами кажутся цветами. Время текло в молчании. Но оно не уходило в пустоту. Казалось, взволнованное биение сердца Уолтера накачивало его, удар за ударом, в какой-то замкнутый резервуар, где его поток будет все подыматься и подыматься за плотиной, пока наконец...

Внезапно Уолтер протянул руку и сжал голую ногу Люси. Под давлением этих молча накапливавшихся секунд плотина прорвалась. Нога была длинная и узкая. Его пальцы сомкнулись вокруг неё. Он наклонился и поцеловал ступню.

— Дорогой мой Уолтер! — Она рассмеялась. — Вы ведёте себя слишком по-восточному.

Уолтер ничего не ответил. Он встал на колени перед диваном и наклонился над ней. На его лице, тянувшемся к её поцелуям, было написано отчаяние и безумие. Руки, прикасавшиеся к ней, дрожали. Она покачала головой и закрыла лицо руками.

— Нет, нет.

— Почему?

— Не надо, — сказала она.

— Почему?

— Начать с того, что это слишком осложнит вам жизнь.

— Ничуть не осложнит, — сказал Уолтер. Всякая сложность исчезла. Марджори перестала существовать.

— К тому же, — продолжала Люси, — вы, кажется, вовсе не считаетесь со мной: я не хочу.

Но его губы были нежными, его прикосновения были лёгкими. Предвестники наслаждения, крылья бабочек снова затрепетали под его поцелуями и ласками. Она закрыла глаза. Его ласки были как наркоз, одновременно опьяняющий и успокаивающий. Нужно только ослабить волю, и наркоз овладеет ею всецело. Она перестанет быть собой. От неё останется только оболочка, трепещущая от наслаждения, а под ней — пустота, тёплая бездонная тьма.

— Люси! — Её ресницы вздрагивали и трепетали под его губами. Его рука коснулась её груди. — Моя любимая! — Она лежала неподвижно, не открывая глаз.

Внезапный пронзительный вопль вернул их обоих в мир времени. Точно за несколько шагов от них совершилось убийство, причём жертва воспринимала это как весёлую, хотя и болезненную, шутку.

Люси разразилась смехом:

— Это Полли.

Оба повернулись к клетке. Склонив голову набок, птица рассматривала их своим чёрным и круглым глазом. Пока они смотрели, пергаментное веко закрыло на мгновение, как временная катаракта, блестящий и невыразительный взгляд. Снова повторился предсмертный вопль весёлого мученика.

— Вам придётся накрыть клетку, — сказала Люси.

Уолтер снова повернулся к ней и злобно принялся целовать её. Попугай завопил снова. Люси захохотала ещё громче.

— Ничего не выйдет, — произнесла она, задыхаясь. — Он не перестанет, пока вы не накроете клетку.

Птица подтвердила её слова новым воплем весёлой агонии. Уолтер, разъярённый, оскорблённый, чувствуя себя идиотом, встал с колен и подошёл к клетке. При его приближении птица возбуждённо заплясала по жёрдочке; её гребень встал, перья на голове и шее встопорчились, как чешуйки созревшей еловой шишки. «С добрым утром, — сказала она гортанным голосом чревовещателя, — с добрым утром, тётушка, с добрым утром, тётушка, с добрым утром, тётушка...» Уолтер развернул кусок розовой парчи, лежавшей на стуле рядом с клеткой, и потушил птицу. «С добрым утром, тётушка», — в последний раз донеслось из-под парчи. Потом наступило молчание.

— Он — шутник, — сказала Люси, когда попугай исчез. Она закурила папиросу.

Уолтер подошёл к дивану и, не говоря ни слова, взял у неё из рук папиросу и швырнул её в камин. Люси подняла брови, но он не дал ей заговорить. Снова опустившись на колени, он принялся с озлоблением целовать её.

— Уолтер, — протестовала она, — не смейте! Что с вами? — Она пыталась высвободиться, но он оказался неожиданно сильным. — Вы как дикий зверь. — Его желание было немым и первобытным. — Уолтер! Перестаньте сейчас же. — Вдруг её осенила нелепая мысль, и она расхохоталась. — У вас сейчас лицо словно из кинофильма! Огромный, оскаленный «крупный план».

Однако насмешка, как и протест, не оказала никакого действия. А может быть, Люси и не хотела, чтобы насмешка оказала действие? Почему бы ей не отдаться? Правда, плыть по течению, подчиняться, а не диктовать свою волю — это унижительно. Её гордость, её воля сопротивлялись Уолтеру, сопротивлялись её собственным желаниям. Но в конце концов, почему бы нет? Наркоз был сильным и упоительным. Почему бы нет? Она закрыла глаза. Но пока она колебалась, обстоятельства решили за неё. В дверь постучали. Люси открыла глаза.

— Я скажу «войдите», — прошептала она. Он вскочил на ноги; стук повторился.

— Войдите! Дверь открылась.

— Мистер Иллидж, мадам, — сказала горничная. Уолтер стоял у окна, делая вид, что он глубоко заинтересован грузовиком, остановившимся у дома на противоположной стороне улицы.

— Попросите его сюда, — сказала Люси.

Когда дверь закрылась за горничной, Уолтер повернулся к Люси. Лицо его было бледно, губы дрожали.

— Я совсем забыла, — объяснила она. — Вчера вечером или, вернее, сегодня утром я пригласила его к себе.

Он отвернулся и, не говоря ни слова, подошёл к двери, открыл её и вышел.

— Уолтер! — крикнула она ему вдогонку. — Уолтер! — Но он не вернулся.

На лестнице он встретил Иллиджа, подымавшегося вслед за горничной.

Уолтер рассеянно поклонился в ответ на его приветствие и быстро прошёл мимо. Он боялся, что, заговорив, он выдаст своё волнение.

— Наш друг Бидлэйк, видимо, очень торопился, — сказал Иллидж, поздоровавшись с Люси. Он преисполнился ликующей уверенности, что именно он выжил Уолтера.

Она заметила торжество на его лице. «Как прятничный петушок», — подумала она.

— Он что-то потерял, — туманно объяснила она.

— Надеюсь, не свою голову? — ирииво осведомился он. А когда она засмеялась, не столько над его шуткой, сколько над его лицом, преисполненным мужского тщеславия, он внутренне раздулся от самоуверенности и самодовольства. Вращаться в лучшем обществе было, оказывается, так же легко, как играть в кегли. Чувствуя себя вполне непринуждённо, он вытянул ноги, он оглядел комнату. Её богатая и в то же время сдержанная элегантность произвела на него самое благоприятное впечатление. Он одобрительно втянул ноздри надущённый воздух.

— А что скрыто там, под таинственной красной материей? — спросил он, показывая пальцем на занавешенную клетку.

— Это — какаду, — ответила Люси. — Кукарекаду, — поправила она, внезапно раздражаясь беспокоящим и необъяснимым смехом.

Есть страдания, в которых можно признаться, которыми можно даже гордиться. Поэты не раз воспевали тяжёлую утрату, разлуку, сознание греха и страх смерти. Эти переживания вызывают сочувствие. Но есть и позорные терзания; они не менее мучительны, но о них мы не смеем, не можем говорить. Например, муки неудовлетворённого желания. С этим чувством в сердце Уолтер вышел на улицу. Боль, гнев, досада, стыд, несчастье — все было тут. У него было такое чувство, точно его душа умирает под пыткой. А между тем причина была такова, что в ней нельзя сознаться: она изменна, даже смешна. Предположим, он встретится с каким-нибудь приятелем, и тот спросит, отчего у него такой несчастный вид.

— Я пытался овладеть женщиной — и мне помешали, сначала крики какаду, а потом приход гостя.

Ответом был бы оглушительный издевательский хохот. Его признание прозвучало бы как скабрёзный анекдот. А между тем даже смерть матери не причинила бы ему больше страданий.

Целый час бродил он по улицам и по Риджент-Парку. Белый туманный день постепенно переходил в вечер.

Уолтер успокоился. Это урок, думал он, это наказание: он обещал и не исполнил. Для его собственного блага и для блага Марджори — больше никогда. Он посмотрел на часы и, увидев, что уже восьмой час, направился домой. Он пришёл туда усталый и в покаянном настроении. Марджори шила; лампа ярко освещала её худое, измученное лицо. На ней тоже был халатик, бледно-лиловый и безобразный: Уолтер всегда находил, что вкус у неё неважный. В квартире пахло стряпнёй. Он ненавидел кухонные запахи, но это ещё не причина, чтобы изменять Марджори; наоборот: честь и долг заставляют его именно поэтому оставаться верным. То, что гардении он предпочитает капусте, ещё не даёт ему права причинять Марджори боль.

— Как ты поздно, — сказала она.

— У меня была масса дел, — объяснил Уолтер, — а потом я пошёл пешком. — Это по крайней мере правда. — Как ты себя чувствуешь? — Он положил руку ей на плечо и нагнулся. Марджори выпустила шитьё из рук и обняла его. «Какое счастье, — думала она, — он снова со мной!» Он снова принадлежит ей. Какое блаженство! Но, прижавшись к его груди, она поняла, что она снова обманута. Она отшатнулась от него.

— Уолтер, как ты мог?

Кровь прилила к его лицу; но он попытался сделать вид, что ничего не понимает.

— Что мог? — спросил он.

— Ты опять был у этой женщины?

— О чем ты говоришь? — Он продолжал притворяться, хотя и знал, что теперь это бесполезно.

— Не лги. — Она встала так порывисто, что её рабочая корзинка перевернулась и её содержимое рассыпалось по полу. Не обращая на это внимания, она направилась в другой конец комнаты. — Уйди! — воскликнула она, когда он пошёл за ней. Уолтер пожал плечами и повинился. — Как ты мог? — повторила она. — Приходишь домой, а от тебя несёт её духами. — (Ах, вот оно что: гардении. Какой он дурак! Нужно было подумать об этом...) — После всего, что ты сказал вчера ночью... Как ты мог?!

— Ты не даёшь мне объяснить, — оправдывался он тоном жертвы, раздражённой жертвы.

— Объяснить, почему ты лгал, — сказала она с горечью, — объяснить, почему ты нарушил обещание?

Её презрение и гнев пробудили в Уолтере ответный гнев.

— Дай мне объяснить, — сказал он с жёсткой и угрожающей вежливостью. Как она скучна со своими сценами ревности! Как нестерпимо скучна!

— Что ж, продолжай лгать, — насмешливо сказала она. Он снова пожал плечами.

— Если вам угодно понимать это так, — вежливо сказал он.

— Презренный лжец — вот кто ты такой! — И, отвернувшись от него, она закрыла лицо руками и зарыдала.

Уолтер не смягчился. Вид её вздрагивающих плеч только раздражал его и нагонял на него скуку. Он смотрел на неё с холодным и усталым раздражением.

— Уходи, — воскликнула она сквозь слезы, — уходи! — Она не хотела, чтобы он оставался и торжествовал, видя её слезы. — Уходи!

— Вы в самом деле хотите, чтобы я ушёл? — спросил он с той же холодной, уничтожающей вежливостью.

— Да, уходи, уходи.

— Очень хорошо. — Он открыл дверь и вышел.

В Кэмден-Таун он взял такси и подъехал к дому на Брютонстрит как раз в ту минуту, когда Люси собиралась ехать куда-то на обед.

— Вы едете со мной, — заявил он очень спокойно.

— Увы!

— Да, со мной.

Она посмотрела на него с любопытством. Он, улыбаясь, посмотрел ей прямо в глаза. Лицо у него было странное: оно выражало одновременно любопытство и упрямое безжалостное сознание своей силы. Раньше она никогда не видела его таким.

— Идёт, — сказала она наконец и позвонила горничной. — Позвоните леди Старлет, — распорядилась она, — передайте ей, что я прошу меня извинить, но у меня разболелась голова, и я не смогу приехать. — Горничная вышла. — Ну как, вы довольны?

— Начинаю быть довольным, — ответил он.

— Только начинаете? — Она изобразила негодование. — Мне нравится ваше чертовское нахальство.

— Я знаю, что вам это нравится, — со смехом сказал Уолтер. Ей действительно оно нравилось.

В эту ночь Люси стала его любовницей.

Был четвёртый час дня. Спэндрелл только что встал с постели; он ещё не побрился. Поверх пижамы он надел халат из грубой тёмной ткани, похожий на монашескую рясу. (Этот монастырский штрих не был случайным: он любил напоминать себе об аскетах; он несколько по-ребячески разыгрывал роль отшельника-сатаниста.)

Он налил в котелок воды и поставил его на газовую плиту. Вода не вскипала беззастенчиво долго. Во рту у него пересохло, и его преследовал вкус нагретой меди. Бренди оказывало своё обычное действие.

— «Как лань желает к потокам воды ¹²³, — сказал он себе, — так желает душа моя...» опохмелиться. Жаль, что благодать не продаётся в бутылках, как минеральная вода.

Он подошёл к окну. За пределами ближайших пятидесяти шагов вселенная тонула в белом тумане. Но как упорно, как многозначительно торчал этот фонарный столб перед соседним домом справа! Весь мир был разрушен, и только фонарный столб, как Ной после потопа, уцелел в этом мировом катаклизме. Раньше Спэндрелл не замечал этого фонарного столба; он просто не существовал до этого момента. А теперь только он один и существовал. Спэндрелл смотрел на него с напряжённым интересом, затаив дыхание. Этот фонарный столб, одинокий в тумане, — или он когда-то уже видел что-то похожее на это? Ему было знакомо это странное ощущение, когда видишь перед собой единственного, кто пережил всемирный потоп. Пристально глядя на фонарный столб, он старался припомнить, или, вернее, он затаил дыхание и не старался: он сдерживал свою волю и своё сознание, как полисмен сдерживает толпу вокруг женщины, упавшей без чувств на улице; он сдерживал свои мысли, чтобы вокруг его воспоминания образовалось свободное пространство, где оно могло бы, очнувшись, вытянуться во весь рост, вздохнуть, вернуться к жизни. Глядя на фонарный столб, Спэндрелл ждал напряжённо и терпеливо, как человек, готовый чихнуть, взволнованно ожидает предвкушаемого события, — ждал, чтобы воскресло давно умершее воспоминание. И вдруг оно вскочило на ноги, пробуждённое от своей летаргии, и Спэндрелл с чувством огромного облегчения увидел себя взбирающимся по утопанному снегу крутой дороги, ведущей от Кортины к перевалу Фальцарево. Холодное белое облако закрыло долину. Гор больше не было. Фантастические коралловые башни Доломитов исчезли. Больше не было высот и глубин. Весь мир ограничивался пространством в пятьдесят шагов — белый снег под ногами, белый туман вокруг и над головой. Время от времени среди этой белизны возникала какая-нибудь тёмная форма — ком или телеграфный столб, дерево, или

¹²³ Цитата из Псалтиря, 41:2.

человек, или сани, — зловещая в своей уединённой неповторимости, единственная пережившая всеобщую катастрофу. Это было жутко, но в то же время увлекательно — ново и странно прекрасно. Прогулка казалась путешествием по неизведанному миру. Спэндрелл был взволнован, и какая-то тревога усиливала ощущение блаженства, становившееся почти невыносимым.

— Посмотри на этот домишко слева, — крикнул он матери. — В прошлый раз его здесь не было. Честное слово, не было. — Он отлично знал дорогу; десятки раз он подымался и спускался по ней и ни разу не видел его. А теперь домишко пугающе нависал над ними — единственный тёмный и определённый предмет среди белизны этого смутного мира.

— Да, я тоже не замечала его раньше, — сказала мать, — что лишний раз доказывает, — добавила она с той интонацией нежности, которая всегда появлялась в её голосе, когда она говорила о своём покойном муже, — как прав был твой отец. Не верьте показаниям очевидцев, говаривал он, даже своим собственным.

Он взял её за руку, и они молча пошли рядом, таща за собой санки.

Спэндрелл отвернулся от окна. Котелок кипел. Он наполнил чайник, налил себе чашку чая и выпил. Его жажда — почти символически — осталась неутолённой. Он задумчиво пил чай, вспоминая своё блаженное детство, которое теперь казалось совершенно неправдоподобным: зима в Доломитах, весна в Тоскане, Провансе или Баварии, лето у Средиземного моря или в Савоие. После смерти отца и до поступления в школу они с матерью почти все время жили за границей: это было дешевле. А после он почти всегда проводил каникулы вне Англии. С семи до пятнадцати лет он ездил по всем самым живописным местам Европы, наслаждаясь их красотой, — маленький мальчик в роли Чайльда Гарольда. После этого Англия казалась слишком обыденной. Он вспомнил другой зимний день. На этот раз нетуманный, но ясный — горячее солнце в безоблачном небе, коралловые вершины Доломитов, переливающиеся розовым, оранжевым и белым над лесами и снежными косогорами. Они шли на лыжах по обнажённым лиственничным лесам. Снег, исполосованный тенями деревьев, расстилался у них под ногами, как огромная белая с синим тигровая шкура. Солнечный свет был оранжевым среди безлиственных ветвей, сине-зелёным в свешивавшихся с деревьев бородах мха. Порошистый снег шипел под лыжами, воздух был одновременно тёплым и щиплющим. А когда он вышел из леса, он увидел перед собой огромные круглые склоны, похожие на контуры чудесного тела, и девственный снег был как гладкая кожа, тонкозернистая в низких лучах вечернего солнца, мерцающая алмазными блёстками. Он ушёл вперёд. На опушке он остановился, ожидая мать. Обернувшись, он увидел, как она пробирается между деревьями. Крепкая, высокая фигура, все ещё молодая и подвижная; улыбка морщила её молодое лицо. Она подошла к нему, и она была самым прекрасным и в то же время самым близким, знакомым и родным из всех существ.

— Ну! — сказала она со смехом, подъехав к нему.

— Ну! — Он посмотрел на неё, потом на снег, и на тени деревьев, и на большие голые скалы, и на синее небо, а потом опять на неё. И вдруг острое ощущение необъяснимого счастья овладело им.

«Я никогда больше не буду так счастлив, — сказал он себе, когда она поехала дальше, — никогда больше, хотя бы я прожил до ста лет». Тогда ему было всего пятнадцать лет, но в то время он думал и чувствовал именно так.

Его слова оказались пророческими. Это были последние дни его счастья. А после... Нет, нет! Лучше не думать о том, что было после. По крайней мере не сейчас. Он налил себе ещё чаю.

Пронзительно задребезжал звонок. Он подошёл к двери и открыл. Это была его мать.

— Вы? — Потом он вдруг вспомнил, что Люси что-то говорила ему.

— Тебе не передали, что я приду? — с тревогой спросила миссис Нойль.

— Да, но я совсем забыл.

— А я думала, тебе нужны... — начала она. Она испугалась, что пришла к нему не вовремя: у него было такое неприветливое лицо.

Уголки его рта иронически задёрнулись.

— Да, мне они очень нужны, — сказал он. Он вечно сидел без денег.

Они прошли в другую комнату. Миссис Нойль сразу заметила, что окна посерели от грязи. На книжной полке и на камине густым слоем лежала пыль. Закопчённая паутина свисала с потолка. Когда-то она просила Мориса, чтобы он разрешил ей два или три раза в неделю присылать женщину для уборки. Но он ответил: «Пожалуйста, без благотворительности. Я предпочитаю валяться в грязи: грязь — моя стихия. К тому же я не занимаю видного положения в военном мире, и мне незачем поддерживать декорум». Он беззвучно рассмеялся, обнажая большие, крепкие зубы. Это было сказано специально для неё. Больше она не решалась повторять своего предложения. Но комната в самом деле нуждалась в уборке.

— Хотите выпить чаю? — спросил он. — Я как раз завтракаю, — добавил он, нарочно обращая её внимание на свой беспорядочный образ жизни.

Она отказалась, воздержавшись от замечаний по поводу такого необычно позднего завтрака. Спэндрелл был слегка разочарован, что ему не удалось вызвать её на упрёки. Наступило долгое молчание.

Изредка миссис Нойль украдкой взглядывала на своего сына. Он пристально смотрел в пустой камин. «Он выглядит старше своих лет, — подумала она, — и вид у него больной и запущенный». Она старалась узнать в нем ребёнка, долговязого школьника, каким он был в то далёкое время, когда они были счастливы вдвоём, вместе. Она вспоминала, как он огорчался, когда она была недостаточно элегантна или выглядела не очень хорошо. Они оба относились друг к другу с ревнивой гордостью. Но ответственность за его воспитание казалась ей очень тяжёлой. Будущее всегда пугало её, она не умела принимать решения; она не верила в свои силы. К тому же после смерти её мужа у них осталось не очень много денег; и она не любила и не умела вести денежные дела. Хватит ли у неё средств, чтобы послать его в университет, чтобы ему было с чем начинать жизнь? Вопросы мучили её. Она проводила бессонные ночи, раздумывая, что же ей делать. Жизнь пугала её. Она обладала детской способностью быть счастливой, но ей были свойственны также детские страхи, детская беспомощность. Когда жизнь состояла из одних праздников, она как никто умела быть беззаветно счастливой, но, когда приходилось заниматься делами, строить планы, принимать решения, она терялась и впадала в уныние. И что ещё хуже, когда Морис поступил в школу, ей стало очень одиноко. Они бывали вместе только во время каникул. Девять месяцев из двенадцати она жила одна, и ей было некого любить, кроме её старой таксы. Потом даже такса её покинула — бедный пёс заболел, и его пришлось усыпить. Именно тогда, вскоре после смерти бедного старого Фрица, она познакомилась с майором Нойлем (в то время он был ещё в чине майора).

— Вы, кажется, сказали, что принесли деньги? — спросил Спэндрелл, прерывая долгое молчание.

— Да, вот они. — Миссис Нойль покраснела и открыла сумочку.

Наступил благоприятный момент для разговора. Её долгом было увещевать его, и пачка кредиток давала ей право на это и власть. Но этот долг был ненавистен ей, и она не хотела пользоваться своей властью. Она подняла глаза и умоляюще посмотрела на него.

— Морис, — сказала она, — неужели ты не можешь вести себя разумней? Это такое безумие, такая нелепость!

Спэндрелл поднял брови.

— Что именно? — спросил он, притворяясь, будто не понимает. Придя в замешательство от этого требования уточнить свои туманные упрёки, миссис Нойль покраснела.

— Ты знаешь, что я хочу сказать, — ответила она. — Твой образ жизни. Это дурно и глупо. И это такая пустота, такое самоубийство. К тому же ты несчастлив. Я это вижу.

— А может быть, я хочу быть несчастным? — иронически спросил он.

— Но разве ты хочешь, чтобы я тоже была несчастной? — спросила она. — Если так,

то знай, Морис, что тебе это удалось. Ты причиняешь мне много горя. — Слезы выступили у неё на глазах. Она достала из сумочки платок.

Спэндрелл встал со стула и принялся шагать по комнате.

— Когда-то вы не слишком заботились о моем счастье, — сказал он.

Мать ничего не ответила и продолжала беззвучно плакать.

— Когда вы выходили замуж за этого человека, — продолжал он, — вы думали о моем счастье?

— Я думала, что так будет лучше, и ты это отлично знаешь, — ответила она разбитым голосом. Она уже столько раз объясняла ему это; не было сил начинать все сначала. — Ты отлично знаешь, — повторила она.

— Я знаю только то, что я чувствовал и говорил в то время, — ответил он. — Вы не послушались меня, а теперь говорите, что заботились о моем счастье.

— Но ты был так безрассуден, — возражала она. — Если бы ты привёл какие-нибудь доводы...

— Доводы, — медленно повторил он. — И вы в самом деле ожидали, что пятнадцатилетний мальчик приведёт доводы, почему он не хочет, чтобы его мать спала с чужим мужчиной.

Он думал о той книге, которая ходила по рукам среди мальчиков в его школе. С отвращением и стыдом, но не в силах оторваться, он читал её по ночам, накрывшись с головой одеялом, при свете карманного фонарика. Она носила невинное заглавие: «Парижский пансион для девиц», но это была чистейшая порнография. В нем стилем героической поэмы описывались сексуальные подвиги военных. Вскоре после этого мать написала ему, что выходит замуж за майора Нойля.

— Зачем вспоминать, мама, — сказал он вслух. — Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

Миссис Нойль порывисто вздохнула, в последний раз вытерла глаза и спрятала платок в сумочку.

— Прости меня, — сказала она, — это вышло очень глупо. Пожалуй, я пойду.

Втайне она надеялась, что он станет удерживать её, попросит её остаться. Но он молчал.

— Вот деньги, — добавила она.

Он взял свёрнутые кредитки и засунул их в карман халата.

— Простите, что я обратился к вам за деньгами, — сказал он. — Но я сел на мель. Постараюсь больше не делать этого.

Несколько мгновений он, улыбаясь, смотрел на неё, и вдруг сквозь потрёпанную маску она увидела его таким, каким он был в отрочестве. Нежность, как мягкое тепло, разлилась в ней, мягко, но непреодолимо. Её нельзя было сдерживать. Она положила руки ему на плечи.

— Прощай, сынишка, — сказала она, и Спэндрелл уловил в её голосе ту интонацию, с какой она говорила о его покойном отце. Она подалась вперёд, чтобы поцеловать его. Отвернувшись, он подставил ей щеку.

XIV

Мисс Фулкс поворачивала глобус до тех пор, пока перед их глазами не остановился малиновый треугольник Индии.

— Вот Бомбей, — сказала она, показывая карандашом. — Здееь папочка и мамочка сели на пароход. Бомбей — большой город в Индии, — поучительно добавила она. — Все это — Индия.

— А почему Индия красная? — спросил маленький Фил.

— Я уже говорила тебе. Постарайся вспомнить.

— Потому что она принадлежит Англии? — Фил, конечно, помнил, но это объяснение его не удовлетворяло. Он надеялся получить на этот раз другое, получше.

— Вот видишь, ты отлично можешь вспомнить, когда постарайся, — сказала мисс Фулкс, заноса себе в счёт маленький триумф.

— А почему все, что английское, то красное?

— Потому что красное — это цвет Англии. Посмотри-ка: вот маленькая Англия. — Она повернула глобус. — Видишь — тоже красная.

— Мы ведь живём в Англии, да? — Фил посмотрел в окно. На него посмотрела лужайка с веллингтонией и подстриженными вязами.

— Да, мы живём вот здесь. — И мисс Фулкс ткнула красный остров в животик.

— Но где мы живём — все зеленое, — сказал Фил, — а вовсе не красное.

Мисс Фулкс начала объяснять ему — в который раз, — что такое карта.

В саду миссис Бидлэйк прогуливалась среди цветов, выпалывая сорные травы и размышляя. Её палка оканчивалась маленькой зубчатой цапкой; можно было полоть не нагибаясь. Сорняки на клумбах были молодые и хрупкие; они без борьбы поддавались цапке. Более опасными врагами были одуванчики и подорожники на лужайке. Корни одуванчиков походили на длинных, белых, сужавшихся к хвосту змей. Подорожники же отчаянно цеплялись за землю, когда она пыталась вырвать их.

Цвели тюльпаны. «Дюк фан-Толь» и «Кейзерс Кроон», «Прозерпина» и «Томас Мур» стояли навтыжку на клумбах, лоснясь от света. Атомы солнца вибрировали, и их колебания наполняли пространство. Глаза воспринимали эти колебания, как свет; атомы тюльпанов поглощали или отражали те или иные колебания, создавая оттенки, ради которых гарлемские бургеры семнадцатого столетия охотно расставались с накопленными гульденами. Красные тюльпаны и жёлтые, белые и пёстрые, гладкие и махровые — миссис Бидлэйк блаженно разглядывала их. Они напоминают, подумала она, весёлых и нарядных юношей на фресках Пинтуриккьо¹²⁴ в Сиене. Она остановилась и закрыла глаза, чтобы подумать как следует о Пинтуриккьо: миссис Бидлэйк умела думать по-настоящему только с закрытыми глазами. Приподняв лицо к небу, опустив тяжёлые веки цвета белого воска, она стояла, погруженная в воспоминания и неясные мысли. Пинтуриккьо, Сиена, огромный торжественный собор. Тосканское средневековье проходило перед ней пышной и неясной процессией. Она была воспитана на Рескине¹²⁵. Уотс¹²⁶ написал её портрет, когда она была девочкой. Позже, взбунтовавшись против прерафаэлитов, она стала восторгаться полотнами импрессионистов. Её восторг перед ними в первое время обострялся сознанием его кощунственности.

Она вышла за Джона Бидлэйка именно потому, что она любила искусство. Когда художник, написавший «Косцов», начал ухаживать за ней, она вообразила, будто обожает его, тогда как на самом деле она обожала его картины. Он был на двадцать лет старше её; как супруг он пользовался дурной славой; её семья энергично протестовала против этого брака. Она не посчиталась ни с чем. Джон Бидлэйк олицетворял для неё Искусство. Он выполнял священное назначение. Именно это произвело неотразимое впечатление на её туманный, но пламенный идеализм.

Джон Бидлэйк решил жениться ещё раз отнюдь не из романтических соображений. Путешествуя по Провансу, он схватил тиф. («Вот что получается, когда пьёшь воду, — говорил он впоследствии. — Если бы я держался все время бургундского и коньяка!») Пролежав месяц в авиньонском госпитале, он вернулся в Англию исхудалый и еле держась на ногах. Через три недели грипп, осложнившийся воспалением лёгких, снова привёл его к порогу смерти. Он выздоравливал медленно. Доктор поздравлял его с тем, что он вообще

¹²⁴ Пинтуриккьо (настоящее имя — Бернардино ди Бетто ди Бьяджо) (ок. 1454-1513) — итальянский живописец эпохи Возрождения, ученик Перуджино и современник Рафаэля.

¹²⁵ Рескин, Джон (1819-1900) — английский писатель и критик, теоретик искусства.

¹²⁶ Уотс, Джордж (1817-1904) — английский художник-прерафаэлит.

выздоровел. «Вы это называете выздоровлением? — ворчал Джон Бидлэйк. — У меня такое чувство, словно три четверти меня лежат в могиле!» Привыкнув быть всегда здоровым, он панически боялся болезни. Он видел перед собой жалкую, одинокую жизнь инвалида. Брак облегчит его печальную участь. Он решил жениться. Само собой разумеется, девушка должна быть красива. Но, кроме того, она должна быть серьёзной, не ветреной, преданной и к тому же домоседкой. В Джэнет Пестон он нашёл все эти качества. У неё было лицо святой; она была серьёзна, даже излишне серьёзна; её преклонение перед ним льстило ему.

Они поженились, и, если бы Джон Бидлэйк действительно стал инвалидом, каким он себя видел в будущем, брак мог бы оказаться удачным. Правда, она не умела ухаживать за больными, но этот недостаток она возместила бы своей преданностью; с другой стороны, его беспомощность сделала бы её необходимой для его счастья. Но здоровье вернулось к нему. Через полгода после женитьбы Джон Бидлэйк снова обрёл своё прежнее «я». Прежнее «я» принялось вести себя на прежний лад.

Миссис Бидлэйк утешалась по-своему, погружаясь в бесконечные фантастические размышления, которых не могло прервать даже рождение, а потом воспитание двоих детей.

Так продолжалось уже четверть века: высокая, величественная пятидесятилетняя дама, вся в белом, с белой вуалью, свисавшей со шляпы, она стояла среди тюльпанов, закрыв глаза, думая о Пинтуриккьо и средних веках, а время текло и текло, и Бог сидел неподвижно на своей вечной скамье.

Пронзительный лай заставил её покинуть высшие сферы. Она неохотно открыла глаза и оглянулась. Крошечная шелковистая пародия на дальневосточное чудовище, её маленький китайский мопс лаял на кота. Он с истерическим тьяканьем носился взад и вперёд по окружности, радиус которой был пропорционален его ужасу перед фыркающим и выгибающим спину котом. Его хвост развевался по ветру, как перо, его глаза готовы были выскочить из чёрной головки.

— Т'анг! — позвала миссис Бидлэйк. — Т'анг! — Все её китайские мопсы за последние тридцать лет носили имена династий. Т'анг I царствовал до рождения её детей. Т'анг II сопровождал её, когда она вместе с Уолтером навещала больного Уэзерингтона. Теперь кухонный кот фыркал на Т'анга III. В промежутках маленькие Минги и Сунги жили, дряхлели и в смертной камере подвергались обычной участи всех наших любимых зверьков. — Т'анг, сюда! — Даже в этот критический момент миссис Бидлэйк не забывала об апострофе. Не то чтобы она специально об этом помнила: она произносила его инстинктивно — природа и воспитание сделали её такой, что она не умела произнести это слово без апострофа даже тогда, когда с её любимца вот-вот готова была полететь шерсть.

Наконец пёсик послушался. Кот перестал фыркать, его шерсть пришла в нормальное состояние, и он величественно отошёл прочь. Миссис Бидлэйк вернулась к выпалыванию сорных трав и к своим бесконечным туманным размышлениям. Бог, Пинтуриккьо, одуванчики, вечность, небо, облака, ранние венецианцы, одуванчики...

Наверху, в классной комнате, окончились уроки. По крайней мере так считал маленький Фил, потому что теперь он занимался своим самым любимым делом — рисованием. Правда, мисс Фулкс называла это «искусством» и «развитием фантазии»; она отпускала на это занятие по полчаса ежедневно — с двенадцати до половины первого. Но для маленького Фили это было просто развлечением. Он сидел, склонившись над листом бумаги, высунув кончик языка, с напряжённым, серьёзным лицом, и рисовал, рисовал в каком-то вдохновенном исступлении. Его маленькая смуглая рука, сжимавшая непропорционально большой карандаш, работала без устали. Твёрдые и в то же время неровные линии ребячьего рисунка ложились на бумагу.

Мисс Фулкс сидела у окна, глядя на залитый солнцем сад и не видя его. Она видела нечто совсем иное. Она видела себя в том прелестном платье от Ланвэна, которое было изображено в последнем номере «Вог», с жемчугами на шее; она танцевала в дансинге Сиро, который был странным образом похож (она ведь никогда не была в дансинге Сиро) на хаммерсмитский «Палэ де данс», где она бывала. «Как она прелестна!» — говорили все. Она

шла покачиваясь, как та актриса из лондонского «Павильона» — как её звали? Она протягивала свою белую руку, и руку у неё целовал юный лорд Уонерш; тот самый лорд Уонерш, который похож на Шелли, а живёт как Байрон, и ему принадлежит половина домов на Оксфорд-стрит, и он приезжал сюда в феврале прошлого года со старым мистером Бидлэйком и раз или два заговаривал с ней. А потом она вдруг увидела себя едущей верхом по парку. А ещё через секунду она ехала на яхте по Средиземному морю. А потом в автомобиле. Лорд Уонерш только что уселся рядом с ней, когда пронзительный лай Т'анга вернул её к лужайке, ярким тюльпанам, веллингтонии и, с другой стороны, к классной комнате. Мисс Фулкс почувствовала себя виноватой: она пренебрегла своими обязанностями.

— Ну как, Фил? — спросила она, быстро поворачиваясь к своему воспитаннику. — Что ты рисуешь?

— Как мистер Стокс и Альберт тащат косотравилку, — ответил Фил, не отрываясь от рисунка.

— Травокосилку, — поправила мисс Фулкс.

— Травокосилку, — послушно повторил Фил.

— Ты всегда путаешь составные слова, — продолжала мисс Фулкс. — Косотравилка, горокос, ходолед — вероятно, это у тебя какой-то дефект, вроде зеркального письма. — Мисс Фулкс прослушала в своё время курс психологии воспитания. — Постарайся избавиться от него, Фил, — строго добавила она. После такого длительного и скандального пренебрежения долгом (у Сиро, верхом на лошади, в лимузине с лордом Уонершем) мисс Фулкс испытывала потребность быть особенно заботливой и педагогичной: она была очень добросовестная молодая женщина. — Постараешься? — настаивала она.

— Да, мисс Фулкс, — ответил мальчик. Он не имел никакого представления о том, чего, собственно, от него добиваются. Но она отстанет, если он скажет «да». Он был занят особенно трудной частью своего рисунка.

Мисс Фулкс вздохнула и снова принялась смотреть в окно. На этот раз она старалась воспринимать то, что видели её глаза. Миссис Бидлэйк расхаживала среди тюльпанов, одетая во все белое, с белой вуалью на шляпе, похожая на прерафаэлитский призрак. То и дело она останавливалась и смотрела на небо. Старый мистер Стоке, садовник, прошёл с граблями в руке; кончик его белой бороды шевелился на ветру. Часы в деревне пробили половину первого. Сад, деревья, поля, далёкие лесистые холмы — все было такое же, как всегда. Такая безнадежная грусть охватила мисс Фулкс, что она готова была разрыдаться.

— А есть у косотравилок, то есть у травокосилок, колёса? — спросил маленький Фил, недоумевающе морща лоб. — Я забыл...

— Да. Или постой... — Мисс Фулкс тоже наморщила лоб. — Нет. У них валики.

— Валики! — воскликнул Фил. — Вот-вот! — И он снова с ожесточением принялся рисовать.

Все одно и то же. Ни выхода, ни надежды на освобождение. «Если бы у меня была тысяча фунтов, — думала мисс Фулкс, — тысяча фунтов! Тысяча фунтов!» Магические слова — «тысяча фунтов».

— Готово! — воскликнул Фил. — Посмотрите-ка! — Он протянул ей лист. Мисс Фулкс встала и подошла к столу.

— Какой прелестный рисунок! — сказала она.

— А это разлетаются маленькие травинки, — сказал Фил, показывая на тучу чёрточек и точек в середине рисунка. Он особенно гордился травой.

— Понимаю, — сказала мисс Фулкс.

— А посмотрите, как сильно тянет Альберт. — Альберт и в самом деле тянул как сумасшедший. А у другого конца машины так же энергично толкал старый мистер Стокс: его можно было узнать по четырём параллельным линиям, выходявшим из его подбородка.

Для мальчика его возраста Фил отличался редкой наблюдательностью и удивительной способностью воспроизводить на бумаге то, что он видел, — конечно, не реалистически, а

при помощи выразительных символов. Несмотря на детскую нетвёрдость рисунка, Альберт и мистер Стоке казались живыми.

— Левая нога у Альберта какая-то странная, правда? — сказала мисс Фулкс. — Слишком длинная и тонкая и... — Она остановила себя, вспомнив, что говорил старый Бадлэйк: «Ни в коем случае нельзя учить мальчика рисовать; во всяком случае, так „учить“, как это делают в художественных училищах. Ни в коем случае. Я не хочу, чтобы его изуродовали».

Фил выхватил у неё рисунок.

— Неправда, — сердито сказал он. Его гордость была уязвлена. Он не выносил критики и упорно отказывался признать свою неправоту.

— Может быть, и нет. — Мисс Фулкс спешила загладить свою вину. — Может быть, я ошиблась. — Фил снова улыбнулся. «Хотя почему, — думала мисс Фулкс, — ребёнку нельзя сказать, что он нарисовал невозможно длинную, тонкую и вообще нелепую ногу, я решительно не понимаю». Но, конечно, старому мистеру Бидлэйку лучше знать. Человек с его положением, с его репутацией, великий художник — она часто слышала, как его называют великим художником, читала это в газетных статьях, даже в книгах. Мисс Фулкс питала глубокое уважение к Великим. Шекспир, Мильтон, Микеланджело... Да, мистеру Бидлэйку, Великому Джону Бидлэйку лучше знать. Ей не следовало заговаривать об этой левой ноге.

— Уже половина первого, — сказала она бодрым, деловитым тоном. — Тебе пора ложиться. — Маленького Фила укладывали в постель на полчаса перед ленчем.

— Нет! — Фил вскинул головой, свирепо нахмурился и неистово замахал кулаками.

— Да, — спокойно сказала мисс Фулкс. — И пожалуйста, без этих гримас. — Она по опыту знала, что на самом деле мальчик вовсе не сердится: он просто устраивает демонстрацию, отстаивая свои права, и, может быть, смутно надеется, что ему удастся запугать её — так китайские солдаты, приближаясь к врагу, надевают страшные маски и издают дикие вопли в надежде внушить ему ужас.

— Почему я должен ложиться? — Теперь Фил уже почти успокоился.

— Потому что так надо.

Мальчик послушно встал из-за стола. Когда маска и вопли не производят должного действия, китайский солдат, будучи человеком здравомыслящим и вовсе не стремясь к тому, чтобы его больно поколотили, сдаётся.

— Я пойду и задёрну у тебя занавески, — сказала мисс Фулкс.

Они вместе прошли по коридору в спальню Фила. Мальчик снял башмаки и улёгся. Мисс Фулкс задёрнула складки кретоновых занавесок.

— Не надо, чтобы было совсем темно, — сказал Фил, следя за её движениями в густом оранжевом полумраке.

— Ты лучше отдыхаешь, когда темно.

— Но я боюсь, — протестовал Фил.

— Ничего ты не боишься. К тому же здесь вовсе не темно. — Мисс Фулкс направилась к двери.

— Мисс Фулкс! — Она не обращала внимания. — Мисс Фулкс! На пороге мисс Фулкс обернулась.

— Если ты будешь кричать, — строго сказала она, — я очень рассержусь на тебя. Понимаешь? — Она вышла и закрыла за собой дверь.

— Мисс Фулкс! — продолжал он звать, но уже шёпотом. — Мисс Фулкс! Мисс Фулкс! — Конечно, нельзя, чтобы она слышала, а то она в самом деле рассердится. В то же время он не хотел подчиняться ей беспрекословно. Шепча её имя, он протестовал, он отстаивал свои права, ничем при этом не рискуя.

Сидя у себя в комнате, мисс Фулкс читала; она развивала свой интеллект. Она читала

«Богатство народов»¹²⁷. Она знала, что Адам Смит — один из Великих. Его книга принадлежала к тем, которые необходимо прочесть. Лучшее, что когда-либо было сказано или написано. Мисс Фулкс происходила из бедной, но культурной семьи. «Мы должны любить все самое возвышенное». Но очень трудно любить «самое возвышенное» с должной степенью горячности, когда оно принимает форму главы, начинающейся словами: «Поскольку разделение труда возникает из меновых отношений, или, иными словами, зависит от размеров рынка». Мисс Фулкс читала дальше: «Малые размеры рынка не поощряют никого заниматься каким-нибудь одним ремеслом, ибо у ремесленника отсутствует возможность обменять весь тот избыток произведений своего труда, каковой остаётся после удовлетворения его собственных потребностей, на соответствующий избыток произведений труда других людей».

Мисс Фулкс перечла эту фразу; но, когда она дошла до конца, она уже забыла, о чем говорилось в начале. Она начала снова: «...отсутствует возможность обменять весь тот избыток...» («Можно будет обрезать рукава у коричневого платья, — думала она, — потому что оно протёрлось только под мышками, и носить его как юбку, а сверху надевать джемпер») «...после удовлетворения его собственных потребностей, на соответствующий...» («Например, оранжевый джемпер») Она попробовала в третий раз, перечитывая слова вслух. «Малые размеры рынка...» Перед её внутренним взором возникло видение оксфордского скотного рынка, это был довольно большой рынок. «Не поощряет никого заниматься...» Да о чем тут речь? Мисс Фулкс вдруг взбунтовалась против собственной добросовестности. Она почувствовала ненависть ко всему самому возвышенному. Поднявшись с места, она поставила «Богатство народов» обратно на полку. Там стоял ряд очень возвышенных книг — «мои сокровища», как она их называла. Вордсворт, Лонгфелло и Теннисон в мягких кожаных переплётках с округлёнными уголками и готическими заглавиями, похожие на целую серию библий, «Сартор Резартус» Карлейля и «Опыты» Эмерсона. Марк Аврелий в мягком кожаном переплётке — одно из тех художественных изданий, которые мы в полном отчаянии дарим на Рождество тем, кому не знаем, что подарить. «История» Маколея, Фома Кемпийский, миссис Браунинг¹²⁸.

Мисс Фулкс не взяла ни одной из этих книг. Она засунула руку за творения великих умов и вытащила спрятанный там экземпляр «Тайны каслмейнских изумрудов». Место, до которого она дочитала, было отмечено закладкой. Она открыла книгу и погрузилась в чтение:

Леди Китти зажгла свет и вошла в комнату. Крик ужаса сорвался с её губ, внезапная слабость охватила её. Посреди комнаты лежало тело мужчины в безупречном смокинге. Лицо было искажено до неузнаваемости; красное пятно виднелось на белой манишке. Роскошный турецкий ковёр был залит кровью...

Мисс Фулкс жадно читала страницу за страницей. Удар гонга вывел её из мира изумрудов и убийств. Она вздрогнула и вскочила с места. «Надо было смотреть на часы, — думала она, чувствуя себя виноватой. — Мы опоздаем». Засунув «Тайну каслмейнских изумрудов» обратно за творения великих умов, она побежала в детскую: маленького Фила ещё нужно умыть и причесать.

Ветра не было, только движение рассекаемого пароходом воздуха, такого жаркого, словно он вырывался из машинного отделения. Растянувшись на шезлонгах, Филип и Элинор наблюдали, как постепенно сливается с небом зубчатый островок, весь из красного

¹²⁷ Основной труд экономиста и философа Адама Смита (1723-1790) «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776).

¹²⁸ Браунинг, Элизабет Барретт (1806-1861) — английская поэтесса, жена поэта и драматурга Роберта Браунинга (1812-1889).

камня. С верхней палубы доносился шум: там играли в шафлборд ¹²⁹. Их товарищи по путешествию, прогуливавшиеся из принципа или для моциона, проходили снова и снова с постоянством периодических комет.

— Как они могут ходить и заниматься спортом, — сказала Элинор обиженным тоном: от одного их вида ей становилось жарко, — даже в Красном море?

— Это объясняет возникновение Британской империи, — сказал Филип.

Наступило молчание. Прошла девушка в сопровождении четырех смеющихся юношей, ехавших в отпуск, красных и коричневых от загара. Высушенные солнцем и начинённые пряностями, ветераны Востока ковыляли мимо, произнося едкие речи о реформах и о дороговизне жизни в Индии. Две миссионерки прошествовали в молчании, изредка прерывая его словами. Французы-глобтроттеры реагировали на угнетающе имперскую атмосферу тем, что говорили очень громко. Студенты-индусы хлопали друг друга по спине, как театральные субалтерн-офицеры эпохи «Тётки Чар лея»; их жаргон показался бы старомодным даже в начальной школе.

Время шло. Остров исчез; воздух стал как будто даже ещё жарче.

— Меня беспокоит Уолтер, — сказала Элинор: она думала о содержании последних писем, полученных перед самым отъездом из Бомбея.

— Он дурак, — ответил Филип. — Одну глупость он уже сделал с этой Карлинг; мог бы проявить достаточно здравого смысла, чтобы хоть не спутываться с Люси.

— Безусловно, — раздражённо сказала Элинор. — Но он его не проявил. Теперь речь идёт о том, как ему помочь.

— Чем мы можем помочь, находясь от него за пять тысяч миль?

— Боюсь, что он сбежит и бросит несчастную Марджори. Это в её-то положении, когда она ожидает ребёнка! Конечно, она жуткая женщина. Но нельзя все-таки так с ней поступать.

— Конечно, — согласился Филип. Оба замолчали. Любители моциона продолжали своё шествие. — Мне сейчас пришло в голову, — задумчиво сказал он, — что это прекрасный сюжет для романа.

— Что «это»?

— Эта история с Уолтером.

— Неужели ты хочешь использовать Уолтера как персонаж для романа? — возмутилась Элинор. — Нет, знаешь, этого я не потерплю. Ботанизировать на его могиле или по крайней мере в его сердце...

— Да нет, что ты! — оправдывался Фил.

— *Mais je vous assure*, — прокричала одна из француженок так громко, что ему пришлось оставить всякие попытки продолжать, — *aux galeries La Fayette les camisoles en flanelle pour enfant ne coutent que* ¹³⁰...

— *Camisoles en flanelle*, — повторил Филип. — Фью!

— Серьёзно, Фил...

— Но, дорогая, ведь я собираюсь использовать только ситуацию. Молодой человек строит свою жизнь по образцу идеалистических книг и воображает, будто у него великая духовная любовь; а потом обнаруживает, что сошёлся со скучной женщиной, которая вовсе ему не нравится.

— Бедняжка Марджори! Хоть бы она научилась пудриться как следует! А художественные бусы и серьги, которые она вечно нацепляет!..

— После чего, — продолжал Филип, — он с первого взгляда падает к ногам сирены. Меня привлекает ситуация, а вовсе не действующие лица. В конце концов, таких юношей, как Уолтер, сколько угодно. И Марджори — не единственная скучная женщина на свете, а

¹²⁹ Корабельная игра: по намеченным на палубе квадратам передвигают деревянные диски.

¹³⁰ Но уверяю вас... в галерее Лафайет детские фланелевые рубашечки стоят всего... (фр.).

Люси — не единственная «роковая женщина».

— Ну, если только ситуация, — неохотно согласилась Элинор.

— К тому же, — продолжал он, — это ещё не написано и вряд ли когда-нибудь будет написано. Поэтому тебе совершенно незачем расстраиваться.

— Очень хорошо. Я больше ничего не скажу, пока не увижу книгу.

Они снова замолчали.

— ...так интересно провела время в Гульмерге прошлым летом, — говорила юная леди своим четырём поклонникам. — Мы играли в гольф и танцевали каждый вечер, и...

— Во всяком случае, — задумчиво начал Филип, — ситуация будет только своего рода...

— Mais je lui ai dit: les hommes sont comme ça. Une jeune fille bien elevee doit ¹³¹...

— ...своего рода предлогом, — прокричал Филип. — Такое впечатление, точно говоришь в домике для попугаев в зоологическом саду, — раздражённо добавил он как бы в скобках. — Я хотел сказать, своего рода предлогом, чтобы попробовать по-новому взглянуть на вещи.

— Ты бы сначала взглянул по-новому на меня, — с лёгким смешком сказала Элинор. — Более по-человечески.

— Серьёзно, Элинор...

— Серьёзно, — передразнила она, — относиться к людям по-человечески — это для тебя не серьёзно. Серьёзно — только умствовать.

— Ах, так! — пожал он плечами. — Если ты не хочешь слушать, я замолчу.

— Нет, нет, Фил, говори! — Она взяла его за руку. — Говори.

— Я не хочу тебе надоедать. — Его тон был обиженный и полный достоинства.

— Прости, Фил. Но у тебя такой комичный вид, когда ты не столько сердишься, сколько скорбишь по поводу моего поведения. Помнишь верблюдов в Биканире? Какой у них был надменный вид! Но продолжай же!

— В этом году, — рассказывала одна миссионерша другой, — епископ Куала-Лумпурский посвятил в сан дьякона шестерых китайцев и двух малайцев. А епископ Британского Северного Борнео... — Тихие голоса потерялись в отдалении. Филип забыл своё достоинство и расхохотался.

— Может быть, он посвятил нескольких орангутангов?

— А помнишь жену епископа Четверговых Островов? — спросила Элинор. — Мы ещё встретились с ней на том кошмарном австралийском пароходе, который — помнишь? — весь кишел тараканами.

— Та, что всегда ела маринад за завтраком?

— Да, и к тому же — маринованный лук! — Элинор вздрогнула от отвращения. — Да, а что ты говорил о новом способе смотреть на вещи? Мы, кажется, отвлеклись от темы.

— Нет, по существу говоря, — сказал Филип, — мы не отвлекались. Все эти *camisoles en flanelle*, маринованные луковицы и епископы людоедских островов — все это как раз то самое и есть. Весь смысл нового способа смотреть на вещи в их многообразии. Многообразие взглядов и многогранность вещей. Истолковывая одно и то же событие, один человек рассуждает о нем с точки зрения епископов, другой — с точки зрения цен на фланелевые рубашечки, третий, например эта юная леди из Гульмерга, — он кивнул вслед удаляющейся компании, — с точки зрения увеселений. А кроме того, есть ещё биологи, химики, историки. Каждый из них, в соответствии со своей профессией, рассматривает события по-иному, воспринимает другой срез действительности. Я хотел бы взглянуть на мир всеми этими глазами сразу — глазами верующего, глазами учёного, глазами экономиста, глазами обывателя...

— И глазами любящего?

¹³¹ Но я ей сказала, что все мужчины таковы. Воспитанная молодая девушка должна... (фр.).

Он улыбнулся и погладил её руку.

— А результат... — Он замялся.

— Да, каков будет результат? — спросила она.

— Очень странный, — ответил он. — Получается удивительно странная картина.

— Не получилась бы она слишком странной.

— Слишком странной она никогда не будет, — сказал Филип. — Какой бы странной она ни была, реальная жизнь всегда будет ещё более сложной и ещё более странной. Мы смотрим на жизнь, и нам кажется, что все в ней именно так, как должно быть; а стоит подумать, и все покажется чрезвычайно странным. И чем больше о ней думаешь, тем более странной становится жизнь. Как раз об этом я хотел бы написать в своей книге — о том, как удивительны самые обыкновенные вещи. Для этого годится любой сюжет, любая ситуация, потому что в каждой вещи можно найти решительно все. Можно написать целую книгу о том, как человек прошёл от Пиккадилли-серкус до Черинг-Кросс. Или о том, как мы с тобой сидим здесь, на огромном пароходе, плывущем по Красному морю. И это будет очень сложно и очень странно. Когда начинаешь размышлять об эволюции, о человеческом трудолюбии и способностях, о социальном строе, то есть обо всем том, что дало нам возможность сидеть здесь, в то время как кочегары ради нашего удовольствия мучаются в нечеловеческой жаре, а паровые турбины делают пять тысяч оборотов в минуту, а небо синее, а свет не обтекает вокруг препятствий, благодаря чему образуется тень, а солнце все время наполняет нас энергией, чтобы мы могли жить и думать, — так вот, когда подумаешь обо всем этом и о миллионе других вещей, тогда видишь, что создать что-нибудь более сложное и странное, чем этот мир, все равно невозможно. И никакая картина не может вместить всю действительность.

— А все-таки, — сказала Элинор после долгого молчания, — мне хотелось бы, чтобы ты когда-нибудь написал простую и правдивую книгу о том, как молодой человек и молодая женщина полюбили друг друга, а потом поженились и как им было трудно, но они преодолели все препятствия и все кончилось очень хорошо.

— А может быть, детективный роман? — Он рассмеялся. Но, подумал он, может быть, он не пишет таких книг просто потому, что не умеет? Простота в искусстве даётся трудней, чем самая запутанная сложность. Со сложностями он прекрасно справляется. Но когда дело доходит до простоты, у него не хватает таланта, того таланта, который идёт от сердца, а не только от головы, от ощущения, от интуиции, от сочувствия к человеку, а не только от способности к анализу. Сердце, сердце, говорил он себе. «Ещё ли не разумеете, ещё ли не понимаете? или сердца ваши ожесточились?» Сердца нет — значит, нет понимания.

— ...ужасная кокетка! — воскликнул один из четырех поклонников, когда компания вышла из-за угла.

— Неправда! — негодуя ответила юная леди.

— Правда! Правда! — закричали они хором. Их ухаживание заключалось в том, что они дразнили её.

— Ничего подобного! — Но было ясно, что это обвинение на самом деле очень понравилось ей.

Как собаки, подумал он. Но сердце, сердце... Сердце — это специальность Барлепа. «Вам никогда не написать хорошей книги, — сказал он тоном оракула, — пока вы не научитесь писать от сердца». Это правда; Филип знал это. Но не Барлепу было это говорить. Барлеп писал до того прочувствованные книги, что казалось, они были им извергнуты после приёма рвотного. Если бы Филип стал писать о великих и простых вещах, результаты получились бы не менее отталкивающие. Лучше пить из своего стакана, как бы он ни был мал. Лучше строго и честно оставаться самим собой. Самим собой? Но вопрос о самом себе всегда был для Филипа одним из наиболее трудно разрешимых вопросов. При помощи интеллекта и в теории он умел становиться кем угодно. Способность уподобляться другим была развита в нем так сильно, что часто он не мог отличить, где кончается он сам и где начинается тот, кому он уподобил себя; среди множества ролей он переставал различать

актёра. Амёба, когда она находит добычу, обтекает её со всех сторон, вбирает её в себя, а затем течёт дальше. Внутренне Филип Куорлз чем-то походил на амёбу. Он был как бы океаном духовной протоплазмы, способным растекаться по всем направлениям, поглощать любой предмет, встреченный на пути, вливаться в любую трещину, наполнять любую форму и, поглотив или наполнив, течь дальше, к новым препятствиям, к новым вместилищам, оставляя прежние опустошёнными и сухими. В разные периоды своей жизни или даже в один и тот же период он наполнял собой самые различные формы. Он был циником и мистиком, гуманистом и презрительным мизантропом; он пробовал жить жизнью рассудочного и равнодушного стойка, а в другой период он стремился к бессознательной, естественной первобытности. Выбор формы зависел от тех книг, какие он читал, от тех людей, с какими он встречался. Барлеп, например, снова направил течение его мысли в русло мистики, давно уже покинутое им; только однажды он заглянул в него, ещё в студенческие годы, когда он на некоторое время подпал под влияние Беме¹³². Потом он раскусил Барлепа и опять покинул его русло, готовый, впрочем, в любую минуту снова влиться в него, если этого потребуют обстоятельства. Теперь его сознание вливалось в форму, имевшую очертания сердца. А где же тогда его истинное «я», которому он должен быть верен?

Миссионерки молча прошли мимо них. Заглянув через плечо Элинора, он увидел, что она читает «Тысячу и одну ночь» в переводе Мардраса. У него на коленях лежали «Метафизические основы современной науки» Берта¹³³; он взял книгу и стал искать страницу, на которой остановился. А может быть, этого истинного «я» вовсе и нет? — спрашивал он себя. Нет, нет, это немислимо; это противоречит непосредственному опыту. Он взглянул поверх книги на беспредельный синий блеск моря. Сущность его «я» заключалась именно в этой его жидкой и бесформенной вездесущности; в способности принимать любые очертания и в то же время не застывать ни в какой определённой форме, получать впечатления и с такой же лёгкостью освобождаться от них. Он не обязан быть верным тем формам, в которые в разное время вливалось его сознание, тем твёрдым или жгучим препятствиям, которые оно обтекало, затопляло и в пылающую сердцевину которых оно проникало, само оставаясь холодным; формы пустели так же легко, как наполнялись, препятствия оставались позади. Но холодный, безразличный поток интеллектуального любопытства, который мог устремиться куда угодно, — это и было то неизменное, чему он должен быть верен. Единственным мирозерцанием, на котором он мог остановиться надолго, была смесь пирронизма и стоицизма, поразившая его ещё в те годы, когда любознательным школьником он блуждал среди философских систем, и воспринятая им как высшее достижение человеческой мудрости; именно в эту форму скептического безразличия влилась его бесстрастная юность. Он часто бунтовал против пирроновского отказа от суждений и против стоической невозмутимости. Но был ли когда-нибудь серьёзен его бунт? Паскаль сделал его католиком — но только на то время, пока перед ним лежал раскрытый томик «Мыслей». Были минуты, когда в обществе Карлейля, или Уитмена, или громогласного Браунинга он начинал верить в действие ради действия. А потом появился Марк Рэмпион. Проведя несколько часов в обществе Марка Рэмпиона, он искренне поверил в благородное дикарство, он проникся убеждением, что гордый интеллект должен смириться и признать требования сердца — и желудка, и чресел, и костей, и кожи, и мускулов — на равную долю в жизни. Опять сердце! Барлеп прав, хотя он и шарлатан, своего рода шулер эмоций. Сердце! Но, что бы он ни делал, он всегда сознавал, что, по существу, он не был ни католиком, ни человеком действия, ни мистиком, ни благородным дикарём. И хотя порой он томился желанием стать кем-нибудь из них или всеми сразу, втайне он радовался, что не стал никем из них, что он свободен, даже если эта свобода иногда становилась для его духа

¹³² Беме, Якоб (1575-1624) — немецкий теософ и мистик.

¹³³ Берт, Сирил (1883-1971) — английский психолог.

преградой и тюрьмой.

— Из этой простой книги, — сказал он вслух, — ничего не выйдет.

Элинор подняла глаза от «Тысячи и одной ночи».

— Из какой простой книги?

— Из той, которую ты хотела, чтобы я написал.

— А, это! — Она рассмеялась. — Долго ж ты над этим думал!

— Она не даст мне никаких возможностей, — объяснил он. — Она должна быть твёрдая и глубокая. А я — широкий и жидкий. Простые книги — это не по моей части.

— Я это знала с первого же дня, как мы с тобой встретились, — сказала Элинор и вернулась к Шехерезаде.

«И все-таки, — думал Филип, — Марк Рэмпион прав. И самое замечательное то, что он проводит свою теорию на практике — в искусстве и в жизни. Не то что Барлеп». Он с отвращением подумал о рвотных передовицах Барлепа в «Литературном мире». Своего рода духовная блевотина. А какую слякотную жизнь он ведёт! Но Рэмпион был живым подтверждением своих теорий. «Если б я мог овладеть его секретом! — про себя вздохнул Филип. — Я повидаюсь с ним, как только мы вернёмся в Англию».

XV

После их окончательного объяснения между Уолтером и Марджори установились странные и неприятно лживые отношения. Они были очень внимательны друг к другу, очень любезны, оставаясь вдвоём, вели длинные вежливые разговоры на безразличные темы. Имя Люси Тэнтамаунт никогда не упоминалось в их доме, никогда не говорилось также о почти еженощных отсутствиях Уолтера. По какому-то молчаливому соглашению оба притворялись, что ничего не произошло и что все к лучшему в этом лучшем из миров.

В первом порыве гнева Марджори принялась было укладывать свои вещи. Она уйдёт от него сейчас же, сегодня же, пока он ещё не вернулся. Она покажет ему, что есть предел её терпению, что она не в силах выносить больше обиды и оскорбления. Возвращается домой, а от него несёт духами этой женщины! Какая мерзость! Он воображает, что она так по-собачьи предана ему и так зависит от него материально, что он может оскорблять её, сколько ему вздумается, не боясь с её стороны открытого возмущения. Она сама виновата, что терпела так долго. Она не должна была жалеть его тогда ночью. Но лучше поздно, чем никогда. На этот раз все кончено. Должна же она хоть сколько-нибудь уважать себя! Она вытащила чемоданы из кладовой и принялась укладываться.

А куда она пойдёт? Что она станет делать? Чем она будет жить? Эти вопросы вставали с каждой минутой все более и более настойчиво. У Марджори была единственная родственница — замужняя сестра, но она была бедна, а её муж не одобрял поведения Марджори. С миссис Коль она поссорилась. У неё нет больше друзей, которые смогут или станут её поддерживать. У неё нет ни профессии, ни таланта, к тому же она ожидает ребёнка, и её никуда не возьмут на службу. И, наконец, несмотря ни на что, она слишком привязана к Уолтеру, она любит его, она не сможет жить без него. И он тоже любит её, все ещё немножко любит — она в этом уверена. И может быть, его безумие пройдёт само собой; или, может быть, со временем она сумеет опять его завоевать. Как бы там ни было, действовать слишком поспешно не следует. И она в конце концов распаковала вещи и оттащила чемоданы обратно в кладовую. С завтрашнего дня она начнёт разыгрывать комедию притворства и деланного неведения.

Со своей стороны Уолтер был очень доволен той ролью, которая ему досталась в этой комедии. Молчать, делать вид, словно ничего не случилось, — это подходило ему как нельзя лучше. Когда его гнев испарился, а желания были удовлетворены, вспышка безжалостной силы прошла и им снова овладела привычная для него деликатная и совестливая робость. Телесная усталость оказала на его душу размягчающее действие. Возвращаясь от Люси, он чувствовал себя виноватым перед Марджори и с ужасом ожидал сцен ревности. Но она

спала, и он тихонько проскользнул в свою комнату. Во всяком случае, она притворилась спящей и не окликнула его. А на следующее утро только холодным приветствием и преувеличенной любезностью она дала ему почувствовать, что не все благополучно. С огромным облегчением Уолтер стал отвечать молчанием на её многозначительное молчание, а на её тривиальную вежливость — вежливостью, которая была не только формальной, но шла прямо от сердца, вежливостью, которая происходила от искреннего стремления (так мучила его совесть) быть услужливым, искупить заботой и нежностью свои прошлые грехи и авансом заслужить прощение за те грехи, какие он намеревался совершить в будущем.

Отсутствие сцен и упрёков было большим облегчением для Уолтера. Но по мере того как день проходил за днём, лживость их отношений все больше и больше тяготила его. Необходимость все время играть роль действовала ему на нервы: в молчании Марджори было что-то обвиняющее. Он становился все любезней, заботливей, нежней. Но хотя он в самом деле относился к ней прекрасно, хотя он искренно желал дать ей счастье, его ночные визиты к Люси делали лживой его привязанность к Марджори, а его заботливость казалась ему самому лицемерной, потому что, несмотря на все своё хорошее отношение к ней, он продолжал делать именно то, от чего страдала Марджори.

«Если бы только, — говорил он себе в бессильном раздражении, — если бы только она удовлетворилась тем, что я ей даю, и перестала тосковать о том, что я не могу ей дать!» (Ему было ясно, несмотря на всю её вежливость и все её молчание, что она страдает. Её исхудалое, измученное лицо лучше всяких слов свидетельствовало о том, что её безразличие было напускным.) «Я ведь даю ей так много. То, чего я не могу ей дать, так несущественно. Во всяком случае, для неё», — добавлял он, потому что он вовсе не собирался откладывать назначенную на сегодняшний вечер «несущественную» встречу с Люси.

Едва изжито — будит отвращенье...
Сверх помыслов желанно, чуть прошло, —
Сверх помыслов гнетёт... 134

Обладание и наслаждение заставляли его ещё больше стремиться к обладанию и наслаждению, а вовсе не презирать и ненавидеть. Правда, он до сих пор слегка стыдился своего томления. Ему было необходимо оправдать его чем-то более высоким — скажем, любовью. («В конце концов, — убеждал он себя, — можно любить двух женщин сразу — в этом нет ничего невозможного или неестественного. По-настоящему любить обеих».) Порывы страсти сопровождались у него проявлениями нежности, свойственной его слабой, юношеской натуре. Он относился к Люси не как к жестокой, безжалостной охотнице за развлечениями, какой он считал её, когда ещё не был её любовником, а как к идеально мягкому и чуткому существу, достойному обожания, к своего рода ребёнку, матери и любовнице в одном лице: она нуждалась в материнской заботе и сама была способна дать её, и в то же время он мог любить её как мужчину, как фавн.

Чувственность и чувство, желание и нежность бывают так же часто друзьями, как и врагами. Некоторые люди умеют наслаждаться лишь тогда, когда они презирают объект наслаждения. Но у других наслаждение сочетается с теплотой и сердечностью. Стремление Уолтера оправдать любовью свою страсть к Люси было в конечном счёте лишь моральным выражением его потребности связывать сексуальное наслаждение с чувством нежности, одновременно рыцарским и по-детски самоуниженным. Чувственность породила в нем нежность; там, где не было чувственности, не могла проявиться и нежность. Его отношения с Марджори были слишком бесполовыми и платоническими, чтобы стать нежными. Нежность может существовать лишь в атмосфере нежности. Уолтер покорила Люси в припадке жестокой, циничной чувственности. Но, претворившись в действие, чувственность сделала

134 У. Шекспир, сонет СХХІХ (перевод М. Чайковского).

его чувствительным. Тот Уолтер, который сжимал в объятиях обнажённую Люси, был уже не тем Уолтером, который её добивался, и этому новому Уолтеру необходимо было, в интересах самосохранения, верить, что под влиянием его ласк Люси становится такой же нежной, как он сам. Если бы он продолжал верить, как верил прежний Уолтер, что она жестока, эгоистична, не способна на тёплое чувство, это убило бы в новом Уолтере его мягкую нежность. Он испытывал потребность считать её нежной. Он изо всех сил старался уверить себя в этом. Каждое проявление слабости или усталости он расценивал как проявление внутренней мягкости, доверчивости и покорности. Каждое ласковое слово — а Люси была крайне щедра на такие обращения, как «милый», «ангел» и «любимый», — он считал драгоценностью, вышедшей непосредственно из глубин её сердца. В ответ на эти проявления воображаемого мягкосердечия и теплоты он удваивал собственную нежность; и эта удвоенная нежность с удвоенным жаром стремилась найти в Люси ответ. Любовь вызывала желание быть любимым. Желание быть любимым, в свою очередь, порождало несколько преждевременную уверенность в том, что он действительно любим. Эта уверенность усиливала его любовь. Это был какой-то заколдованный круг.

Нежное обожание Уолтера трогало и удивляло Люси. Она отдалась ему потому, что ей было скучно, потому, что его губы были нежные, а руки умели ласкать, и потому, что в последнюю минуту её позабавил и привёл в восторг его внезапный переход от унижения к победоносной дерзости. Какой это был странный вечер! Уолтер сидел против неё за обеденным столом, и лицо у него было такое, точно он ужасно зол и готов заскрежетать зубами; но в то же время он был очень забавен, зло издевался над всеми их знакомыми, рассказывал самые фантастические и причудливые исторические анекдоты, сыпал невероятными цитатами из старинных книг.

— Сейчас мы поедem к вам, — заявил он после обеда.

Но Люси хотела заехать в Виктория-Пэлас ¹³⁵ посмотреть на Нелли Уоллес, а потом — в Эмбесси поужинать и потанцевать, а потом, потом, пожалуй, к Касберту Аркрайту на тот случай, если у него... Не то чтобы ей в самом деле так уж хотелось идти в Мюзик-холл, танцевать, болтать с Касбертом. Она просто желала поступать по своей воле, а не по воле Уолтера. Она хотела господствовать, хотела заставить его делать то, чего хочется ей, а не то, чего хочется ему. Но Уолтер был непоколебим. Он ничего не говорил, только улыбался. И когда к двери ресторана подъехала машина, он дал шофёру адрес Брютон-стрит.

— Но это насилие, — возмутилась она.

— Пока ещё нет, — рассмеялся Уолтер. — Но скоро будет.

И то, что произошло в серой с розовым гостиной, было похоже на насилие. Люси вызывала его на самые неистовые проявления чувственности и покорялась им. Но она вовсе не старалась вызвать в нем то нежное и страстное обожание, которым сменились первые порывы чувственности. Жестокое, гневное выражение покинуло его лицо, и, казалось, он сразу сделался беззащитным; трепетное обожание, которое он теперь испытывал, словно обнажило его душу. Своими ласками он как бы старался прогнать боль и ужас и умиротворить гнев. Его слова были похожи то на молитву, то на слова утешения, которые шепчут больному ребёнку. Его нежность удивила и растрогала Люси и заставила её почти стыдиться самой себя.

— Нет, я не такая, я не такая, — говорила она в ответ на его полный обожания шёпот. Она не хотела, чтобы её любили такой, какой она не была на самом деле. Но его мягкие губы, касавшиеся её кожи, его лёгкие пальцы своими ласками магически превращали её в то нежное, любящее существо, каким он её видел и обожал, как бы заряжали её всеми теми качествами, которые его шёпот приписывал ей и которые она отрицала в себе.

Она положила его голову к себе на грудь и провела пальцами по его волосам.

— Милый Уолтер! — прошептала она. — Милый Уолтер!

¹³⁵ Лондонский эстрадный театр.

Наступило долгое молчание. Ощущение тёплого и тихого блаженства наполнило их обоих. И тогда — именно потому, что это молчаливое ощущение было глубоким и совершённым, а следовательно, с её точки зрения, нелепым и даже несколько угрожающим в своей безличности и опасным для её сознательной воли, — она вдруг спросила:

— Ты что, заснул, Уолтер? — и ущипнула его за ухо.

В последовавшие за этим дни Уолтер отчаянно, изо всех сил старался уверить себя, что Люси переживает то же, что и он. Но с Люси это было нелегко. Она вовсе не старалась почувствовать ту глубокую нежность, которая означает отказ от собственной воли и даже личности. Она хотела оставаться собой, Люси Тэнтамаунт, полностью владеть положением, сознательно наслаждаться, безжалостно развлекаться; она хотела быть свободной не только материально и перед лицом закона, но и эмоционально. Она хотела быть свободной, чтобы в любой момент, когда ей этого захочется, бросить его так же, как она взяла его. Подчиняться она не хотела. К тому же его нежность — да, конечно, она была очень трогательна — и льстила ей, и была вообще очень приятна; но в то же время она была немножко нелепа и довольно-таки утомительна, потому что требовала от неё того же. Она на мгновение уступала ему и позволяла ему своими ласками пробудить в ней ответную нежность только затем, чтобы после этого неожиданно вернуться к своему обычному вызывающему равнодушию. И Уолтер пробуждался от своей мечты, возвращаясь в мир того, что Люси называла «развлечением», в холодный дневной свет вполне сознательной, хохочущей чувственности. А в этом мире его страсть не имела оправданий, его вина не заслуживала снисхождения.

— Ты меня любишь? — спросил он её в одну из ночей. Он знал, что она не любит. Но у него было какое-то извращённое желание услышать это от самой Люси.

— Ты очень милый, — сказала Люси.

Она улыбнулась. Но глаза Уолтера оставались безнадежно-мрачными.

— Но любишь ли ты меня? — настойчиво повторил он. Подперев голову рукой, он смотрел на неё сверху вниз почти угрожающим взглядом.

Люси лежала на спине, заложив руки за голову; её маленькие груди поднялись от напрягшихся мускулов. Он смотрел на неё; его пальцы прикасались к её тёплому, эластичному телу, которым он только что полностью и безраздельно обладал. Но та, чьей собственностью было это тело, улыбалась ему, полузакрыв глаза, далёкая и недостижимая.

— Ты любишь меня?

— Ты очарователен. — Что-то похожее на насмешку блеснуло под её тёмными ресницами.

— Это не ответ. Ты любишь меня?

Люси пожала плечами и скорчила гримасу.

— «Любишь», — повторила она. — Что за страсть к громким словам! — Высвободив одну руку, она подняла её и дёрнула прядь каштановых волос, упавшую на лоб Уолтера. — Тебе пора постричься, — сказала она.

— Зачем же ты тогда со мной? — настаивал Уолтер.

— Если б ты знал, какой у тебя нелепый вид: лицо торжественное, а волосы лезут в глаза. — Она расхохоталась. — Точно овчарка, у которой болит живот.

Уолтер откинул свисавшую прядь.

— Я требую ответа, — упорствовал он. — Почему ты отдалась мне?

— Почему? Потому что это было интересно. Потому что мне этого хотелось.

— Без любви?

— А при чем тут любовь? — нетерпеливо спросила она.

— Как при чем? — повторил он. — Как же можно без любви?

— Зачем мне любовь, если я могу получить все, что мне нужно, и без любви? К тому же любовь по заказу не приходит. Иногда её испытываешь. Но очень редко. Или, может быть, никогда — не знаю. А что же делать в промежутках? — Она снова схватила прядь и притянула к себе его лицо. — В промежутках, милый Уолтер, у меня есть ты.

Его губы почти касались её губ. Он сделал усилие и не дал ей притянуть себя ближе.

— Не говоря уже обо всех остальных, — сказал он.

Люси с силой дёрнула его за волосы.

— Дурак! — сказала она, хмурясь. — Ты должен быть благодарен за то, что получил.

— А что я получил? — Её тело, тёплое и шелковистое, изогнулось в его руках; но он смотрел в её насмешливые глаза. — Что я получил?

Люси все ещё хмурилась.

— Почему ты не целуешь меня? — спросила она, словно ставя ему ультиматум. Уолтер не ответил, он даже не шевельнулся. — Ах, так! — Она оттолкнула его. — В эту игру могут играть и двое.

И тотчас же Уолтер нагнулся, чтобы поцеловать её. Он испугался угрозы, прозвучавшей в её голосе, он боялся потерять её.

— Я — идиот, — сказал он.

— Безусловно. — Люси отвернулась.

— Прости меня.

Но она не хотела мириться.

— Нет, нет, — сказала она, а когда он, положив ей под щеку ладонь, стал повёртывать её лицо к себе, к своим поцелуям, она быстрым порывистым движением укусила его большой палец. Полный ненависти и желаний, он взял её силой.

— Ну как, тебе все ещё нужна любовь? — спросила она наконец, прерывая томное молчание.

Неохотно, почти с болью, Уолтер заставил себя ответить. В этом глубоком молчании её вопрос был как спичка, вспыхнувшая в ночной темноте. Ночь беспредельна, огромна, усыпана звёздами. Загорается спичка — и все звезды мгновенно исчезают; больше нет ни дали, ни глубины. От вселенной остаётся маленькая светящаяся пещера, вырытая в чёрной глыбе, наполненная ярко освещёнными лицами, руками, телами и всем тем, что мы встречаем в обыденной жизни. Уолтер чувствовал себя счастливым в глубокой ночи молчания. Выздоровливая после горячки, он обнимал Люси без ненависти, испытывая только сонную нежность. Его дух точно плавал в тёплой безмятежности, где-то между бытием и небытием. Она зашевелилась в его объятиях, она заговорила, и эта чудесная неземная безмятежность была разбита, как гладкая водная поверхность неожиданно брошенным камнем.

— Ничего мне больше не нужно. — Он открыл глаза и увидел, что она смотрит на него любопытным взглядом.

Уолтер нахмурился.

— Зачем ты смотришь на меня?

— А разве это запрещено?

— Ты давно смотришь на меня так? — От этой мысли ему стало почему-то очень неприятно.

— Целые часы, — ответила Люси. — Я любовалась тобой. Ты просто очарователен. Совсем спящая красавица. — Она улыбалась насмешливо, но она говорила правду. Эстетически, как знаток, она действительно восхищалась им, когда он лежал рядом с ней, бледный, закрыв глаза и словно мёртвый.

Но лесть не смягчила Уолтера.

— Я не люблю, когда ты торжествуешь надо мной, — сказал он, все ещё хмурясь.

— Торжествую?

— Да, точно ты убила меня.

— Неисправимый романтик! — Она рассмеялась. И все-таки в этом была правда. Он действительно был похож на мёртвого; а в смерти, при этих обстоятельствах, есть что-то смешное и унижительное. Чувствуя себя живой, совершенно живой и бодрствующей, она изучала его мёртвую красоту. Восхищённо, но безучастно, как бы забавляясь, она смотрела на это чудесное бледное существо, которое она использовала, чтобы насладиться, и которое

теперь было мертво. «Какой глупец! — подумала она. — Почему люди делают себя такими несчастными, вместо того чтобы пользоваться всем, что встречается им в жизни?» Она выразила свои мысли в насмешливом вопросе, который вызвал Уолтера из вечности. Ему нужна любовь — какой глупец!

— И все-таки, — не унимался Уолтер, — ты торжествовала.

— Романтика, романтика! — издевалась она. — У тебя на все такие нелепые, несовременные взгляды. Убивать, торжествовать над трупом врага и любить — и так далее. Глупо! Знаешь, тебе очень пошёл бы фрак и галстук шалью. Попробуй быть чуточку более современным.

— Я предпочитаю быть человеческим.

— Жить современно — значит жить быстро, — продолжала она. — В наши дни нельзя таскать за собой полную телегу идеалов и романтизма. Когда человек путешествует на аэроплане, он оставляет тяжёлый багаж позади. Хорошая старомодная душа годилась в те дни, когда люди жили медленно. Для нас она слишком громоздка. Ей нет места на аэроплане.

— А для сердца тоже нет места? — спросил Уолтер. — О душе я не очень забочусь. — Когда-то он очень заботился о душе, но теперь, когда жизнь состояла не только из чтения философов, душа интересовала его гораздо меньше. — Но сердце, — добавил он, — сердце...

— К сожалению, — покачала головой Люси, — даром ничего не даётся. Хочешь двигаться с большой скоростью — оставляй на земле багаж. Все дело в том, чтобы знать, чего хочешь, и всегда быть готовым заплатить за это. Я знаю, чего я хочу; и я жертвую багажом. Если тебе больше нравится путешествовать в мебельном фургоне — пожалуйста. Только не рассчитывай, милый мальчик, что я поеду с тобой. И не рассчитывай, что я возьму твой концертный рояль в мой двухместный моноплан.

Наступило долгое молчание. Уолтер закрыл глаза. Ему хотелось умереть. Он вздрогнул: рука Люси прикоснулась к его лицу. Она взяла его нижнюю губу большим пальцем и указательным и слегка ущипнула её.

— У тебя чудесный рот, — сказала она.

XVI

Рэмпионы жили в Челси. Их дом состоял из большой мастерской, к которой были пристроены три или четыре маленькие комнатки. «Очень милый домик, хотя и довольно ветхий», — размышлял Барлеп, дёргая ручку звонка в этот субботний вечер. Ведь Рэмпион приобрёл его почти что даром, буквально даром, перед самой войной. Ему не приходится страдать от послевоенных цен на квартиры. Экономит в год добрых полтора ста фунтов. «И везёт же ему!» — подумал Барлеп, забывая на минуту, что сам он ничего не платит Беатрисе за комнату, и помня только, что он сегодня заплатил двадцать четыре шиллинга и девять пенсов за ленч с Молли д'Экзержилло. Дверь открыла Мэри Рэмпион.

— Марк ждёт вас в мастерской, — сказала она, обменявшись приветствиями... «Не понимаю, с какой стати, — удивлялась она про себя, — с какой стати обращается он так любезно с этой тварью». Она остро ненавидела Барлепа.

— Это настоящий коршун, — сказала она мужу после предыдущего визита этого журналиста. — Или нет — не коршун: коршуны едят только падаль. Он паразит: питается за счёт живых людей, причём выбирает всегда самых лучших. На этот счёт у него какой-то нюх, ничего не скажешь. Духовная пиявка — вот кто он такой. Почему ты позволяешь ему сосать твою кровь?

— Пускай себе сосёт, мне-то что, — ответил Марк. — Мне от этого вреда нет, и к тому же он забавляет меня.

— Вероятно, это льстит твоему тщеславию, — сказала Мэри. — Всякому лестно иметь паразитов. Это доказывает, что у тебя кровь высокого качества.

— К тому же, — продолжал Рэмпион, — в нем что-то есть.

— Конечно, есть, — согласилась Мэри. — В нем есть, между прочим, твоя кровь и кровь всех тех, на ком он паразитирует.

— Ну, не преувеличивай, не будь романтична. — Рэмпион считал, что преувеличивать имеет право только он один.

— Ну, ты как хочешь, а я паразитов не люблю. — Мэри говорила тоном, не допускающим возражений. — И в следующий раз, когда он придёт к нам, я попробую посыпать его персидским порошком: посмотрим, что из этого получится. Так и знай.

Однако вот он пришёл в следующий раз, а она открывает ему дверь и предлагает ему пройти в мастерскую, точно он желанный гость. Даже в атаквистической Мэри привычка быть вежливой пересилила желание посыпать персидским порошком.

Пока Барлеп шёл в мастерскую, он был весь поглощён финансовыми соображениями. Стоимость сегодняшнего ленча не давала ему покоя.

«Мало того, что Рэмпион не платит за квартиру, — размышлял он, — ему и вообще не на что деньги тратить: прислуга у них одна, по хозяйству они делают все сами, автомобиля они не держат — какие же тут могут быть расходы? Правда, у них двое детей». Но при помощи одного из тех внутренних магических фокусов, на которые он был большой мастер, Барлеп заставил обоих детей исчезнуть из поля своего сознания. «А между тем Рэмпион зарабатывает уйму денег. Его рисунки и картины ценятся довольно высоко. Его книги тоже расходятся весьма неплохо. Что он делает с деньгами? — недовольно размышлял Барлеп, стучась в дверь мастерской. — Копит их, что ли?»

— Войдите, — раздался голос Рэмпиона. Барлеп изобразил на своём лице улыбку и вошёл.

— Ах, это вы, — сказал Рэмпион. — Простите, не могу подать руку. — Он мыл кисти. — Как дела?

Барлеп покачал головой и сказал, что он нуждается в отдыхе, но не может себе этого позволить. Он обошёл мастерскую, почтительно рассматривая картины. Святой Франциск вряд ли одобрил бы большинство из них. Но сколько жизни, какая энергия, какая сила воображения! А ведь жизнь — это самое важное. «Я верю в жизнь» — это была его первая заповедь.

— Как это называется? — спросил он, остановившись перед полотном на мольберте.

Вытирая руки, Рэмпион подошёл к нему и тоже остановился.

— Это? — сказал он. — Вероятно, вы назвали бы это «Любовь». — Он рассмеялся; сегодня он хорошо работал и был в замечательном настроении. — Но люди с менее тонкой и чуткой душой предпочли бы что-нибудь более непечатное. — Ухмыляясь, он предложил несколько непечатных названий. Барлеп неловко улыбнулся. — Может быть, вы ещё какое-нибудь вспомните, — коварно закончил Рэмпион. Ему нравилось шокировать Барлепа — вернее сказать, он считал это своим святым долгом.

Это была небольшая картина, написанная маслом. В левом нижнем углу полотна, в небольшой ложбине, окружённой спереди тёмными камнями и стволами деревьев, сзади — обрывистыми утёсами, а сверху — густой нависшей листвой, лежали, обнявшись, две фигуры. Два обнажённых тела: женское — белое, мужское — бронзово-красное. Эти два тела были источником света всей картины. Камни и стволы переднего плана чётко вырисовывались на фоне сияния, исходившего от тел. Пропасть позади них была золотой от этого же света. Он озарял нижнюю сторону свисавших листьев, отбрасывавших тень вверх, в густеющую тьму зелени. Свет вырывался из углубления, где лежали тела, перерезая всю картину, озаряя и словно создавая из своих лучей гигантские розы, циннии и тюльпаны, среди которых двигались кони, леопарды и маленькие антилопы; а на заднем плане зелёный пейзаж, отступая все дальше и дальше, становился все более и более синим, и среди холмов виднелось море, а над ним в синем небе громоздились огромные героические тучи.

— Хорошо, — медленно сказал Барлеп, мотая головой.

— Но я чувствую, что она вам противна. — Марк Рэмпион торжествующе ухмыльнулся.

— Почему вы так думаете? — оправдывался Барлеп с кротким выражением мученика.

— Потому что так оно и есть. Эта вещь недостаточно «христосиковая» для вас. Любовь, физическая любовь как источник света, жизни и красоты — ах, что вы, как можно! Это слишком грубо и телесно, это возмутительно откровенно.

— Неужели вы принимаете меня за миссис Гранди?

— Нет, почему же обязательно за миссис Гранди? — Рэмпион упивался собственным издевательством. — Скажем, за святого Франциска. Кстати, как у вас подвигается его жизнеописание? Надеюсь, вы достаточно красочно изобразили, как он лизал прокажённых. — Барлеп сделал жест, как бы защищаясь от нападков. Рэмпион ухмыльнулся. — Собственно говоря, даже святой Франциск для вас слишком взрослый. Дети не лизут прокажённых. Это делают только сексуально извращённые подростки. Святой Гуго Линкольнский — вот кто вы такой, Барлеп. Он был ребёнок, знаете, такой чистый, нежный ребёночек. Такой славный, ласковый маленький мальчуган. Он смотрел на женщин почтительно, широко раскрыв глаза, словно все они — мадонны. Приходил к ним, чтобы его погладили по головке, поцеловали в утешение и поговорили с ним о бедном Иисусике. Он даже не прочь был пососать молочка, если таковое оказывалось в наличии.

— Действительно! — запротестовал Барлеп.

— Да, действительно, — передразнил его Рэмпион. Он любил дразнить этого субъекта, ему нравилось, когда у того делался вид всепрощающего христианского мученика. Так ему и надо, думал Рэмпион, за то, что он приходит сюда с миной любимого ученика и ведёт себя до отвращения почтительно и восторженно.

— Маленький святой Гуго, еле переступающий ножонками и глядящий широко открытыми глазами. Идёт к женщинам, переступая ножонками, так почтительно, словно они все — мадонны; а между прочим, засовывает свою славную ручонку всем им под юбки. Приходит, чтобы помолиться, и остаётся разделить с мадонночкой постель. — Рэмпион кое-что знал о любовных делишках Барлепа и ещё больше угадывал. — Славный маленький святой Гуго! Как мило он переступает ножками, направляясь к спальне, и с каким младенческим видом забирается под простыню! А эта картина, конечно же, слишком груба и недуховна для нашего маленького Гуго! — Он откинул голову и расхохотался.

— Продолжайте, продолжайте, — сказал Барлеп. — Не обращайтесь на меня внимания. — И при виде его мученической одухотворённой улыбки Рэмпион расхохотался ещё громче.

— Ох, не могу, ох, не могу! — говорил он сквозь смех. — Когда вы придёте ко мне в следующий раз, я специально для вас повешу у себя копию со «Святой Моники и святого Августина» Ари Шеффера¹³⁶. Это вот вам понравится. А теперь не желаете ли взглянуть на мои рисунки? — спросил он. Барлеп кивнул. — По большей части — гротески. Карикатуры. Предупреждаю вас: они довольно непристойны. Впрочем, приходя ко мне, вы должны быть готовы ко всему.

Он открыл папку, лежавшую на столе.

— Почему вы думаете, что мне не нравятся ваши работы? — спросил Барлеп. — В конце концов, мы с вами оба верим в жизнь. Кое в чем мы не сходимся, но в большинстве случаев у нас одинаковые точки зрения.

Рэмпион взглянул на него.

— О да, конечно! Ещё бы, — сказал он и ухмыльнулся.

— А в таком случае, — сказал Барлеп, смотревший в сторону и поэтому не заметивший усмешки на лице Рэмпиона, — почему же вы думаете, что я не одобряю ваши рисунки?

— В самом деле, почему? — передразнил тот.

— Но раз точки зрения одинаковы...

— Следовательно, люди, смотрящие на что-нибудь с одной и той же точки зрения, тоже

¹³⁶ Шеффер, Ари (1795-1858) — французский художник, писавший преимущественно на религиозные темы.

одинаковы. — Рэмпион снова ухмыльнулся. — Что и требовалось доказать. — Он вынул один из рисунков. — Это я называю «Ископаемые прошлого и ископаемые будущего». — Он протянул Барлепу рисунок, исполненный тушью и акварелью, исключительно острый и живой. Сверху вниз по диагонали двигалась в виде буквы S причудливая процессия чудовищ. Динозавры, птеродактили, титанотерии, диплодоки, ихтиозавры шли, плыли, летели в арьергарде процессии; авангард состоял из человекообразных чудовищ, большеголовых тварей без туловищ, которые ползли, как слизняки, на бесформенных расплывчатых отростках, выходящих из подбородка и шеи. У них были лица знаменитых современников. Среди толпы Барлеп узнал Томпсона ¹³⁷ и лорда Эдварда Тэнтемаунта; Бернарда Шоу со свитой евнухов и старых дев и сэра Оливера Лоджа ¹³⁸ в сопровождении катодной трубки на двух ногах и призрака с репой вместо головы, закутанного в простыню; сэра Альфреда Монда и голову Джона Рокфеллера, которую нёс на блюде баптистский священник; доктора Фрэнка Крейна и миссис Эдди ¹³⁹, окружённых нимбами, и многих других.

— Ящеры погибли оттого, что у них были слишком большие тела и слишком маленькие головы, — пояснил Рэмпион. — Так по крайней мере утверждают учёные. Чрезмерный рост тела мешает правильному развитию. Ну а чрезмерный рост интеллекта? Эти дураки, видимо, забывают, что они так же непропорциональны, неуклюжи и уродливы, как любой диплодок. Они жертвуют физической и эмоциональной жизнью ради умственной. Интересно, к чему это, по их мнению, приведёт?

Барлеп кивнул в знак согласия:

— Этот вопрос я тоже всегда задаю. Человек не может жить без сердца.

— Равно как и без внутренностей, кожи, костей и мяса, — сказал Рэмпион. — Они все шагают к вымиранию. И очень хорошо делают. Только, к сожалению, эти мерзавцы тянут за собой весь человеческий род. Надо сказать, мне вовсе не нравится быть осуждённым на вымирание из-за этих болванов учёных, моралистов, спиритуалистов, инженеров, возвышенных политиканов, литераторов и всех прочих, у кого не хватает ума понять, что человек должен жить как человек, а не как чудовище, состоящее из мозгов и души. Брр! С каким наслаждением я истребил бы их всех! — Он положил рисунок обратно в папку и вынул другой. — А вот здесь два варианта «Всемирной истории»: слева — по Герберту Уэллсу, справа — по Марку Рэмпиону.

Барлеп посмотрел, улыбнулся и расхохотался.

— Великолепно! — сказал он.

Рисунок слева изображал восходящую кривую. За очень маленькой обезьяной следовал чуточку более крупный питекантроп, за которым, в свою очередь, следовал немного более крупный неандерталец. Палеолитический человек, неолитический человек, египтянин и вавилонянин бронзового века, эллин и римлянин железного века — фигуры становились постепенно все более рослыми. Ко времени появления Галилея и Ньютона представители человеческой расы достигли вполне приличных размеров. Уатт и Стефенсон, Фарадей и Дарвин, Бессемер и Эдисон, Рокфеллер и Уонамейкер — все выше и выше делались люди, пока не достигали роста современного человека в лице самого мистера Герберта Уэллса и сэра Альфреда Монда. Не было позабыто и будущее. В сияющем пророческом тумане фигуры Уэллса и Монда, все вырастая при каждом повторении, взвивались триумфальной

¹³⁷ Томпсон, Джозеф (1856-1940) — известный английский физик; во время Первой мировой войны добровольно пошёл работать в Военное министерство.

¹³⁸ Лодж, Оливер (1852-1940) — английский физик, в старости — ярый сторонник спиритизма.

¹³⁹ Эдди, Мэри (1821-1910) — основательница так называемой «христианской науки» — религиозного учения, особенно распространённого в Америке; одним из сподвижников М. Эдди был доктор Фрэнк Крейн.

спиралью за пределы листа в утопическую бесконечность. Рисунок справа представлял менее оптимистическую кривую, состоящую из вершин и падений. Маленькая обезьяна очень быстро превращалась в цветущего высокого представителя бронзового века, который уступал место очень крупному эллину и немногим меньшему этруску. Римляне снова становились мельче. Монахов Фиваиды ¹⁴⁰ трудно было отличить от первобытных маленьких обезьян. Далее следовало несколько рослых флорентинцев, англичан и французов. Их сменяли отвратительные чудовища, снабжённые этикетками «Кальвин» ¹⁴¹, «Нокс», «Бакстер» и «Уэсли». Рост представителей человеческой расы все уменьшался. Викторианцы были изображены карликами и уродами, люди Двадцатого столетия — недоносками. В тумане будущего виднелись все мельчавшие уродцы и зародыши с головами, слишком крупными для их расслабленных тел, с обезьяньими хвостами и с лицами наших наиболее уважаемых современников; и все они кусались и царапались и грызли друг друга с той методической энергией, которая свойственна только высокоцивилизованным существам.

— Я хотел бы поместить один или два из этих рисунков в «Литературном мире», — сказал Барлеп, когда они просмотрели все содержимое папки. — Обычно мы не помещаем рисунков: мы — миссионеры, искусство для искусства — не наш девиз. Но эти ваши вещи — не только рисунки, а и притчи. Должен признаться, — добавил он, — я завидую вашей способности выражать свои мысли так ярко и сжато. Мне пришлось бы затратить сотни и тысячи слов, чтобы сказать то же самое и с меньшей живостью в своей статье.

— Именно поэтому, — кивнул Рэмпион, — я теперь почти отказался от литературы. Она не годится для выражения тех мыслей, которые я теперь хочу высказать. А какое счастье избавиться от слов! Слова, слова, слова ¹⁴². Они отгораживают нас от мира. Почти все время мы соприкасаемся не с вещами, а с заменяющими их словами. И часто это даже не слова, а мерзкая метафорическая болтовня какого-нибудь поэтишки. Например: «Но среди волн душистой темноты угадываю каждый аромат...» ¹⁴³ Или: «При каждом падении смягчалось вороньё крыло темноты, и оно улыбалось». Или вот: «Тогда коснусь я лёгким поцелуем долины лилий и блаженства лона». — Он с усмешкой посмотрел на Барлепа. — Даже лона блаженства они превращают в метафорическую абстракцию. Долина лилий! Действительно! Ох, уж эти мне слова! С какой радостью я распростился с ними! Я словно вырвался из тюрьмы — конечно, очень изящной, фантастической тюрьмы, в которой есть фрески и гобелены и чего-чего только нет. Но всетаки внешний мир лучше. Живопись позволяет мне соприкоснуться с ним. Я могу сказать то, что хочу.

— Что ж, — сказал Барлеп, — все, что я могу сделать, — это доставить вам аудиторию, которая станет вас слушать.

— Не завидую им! — засмеялся Рэмпион.

— А по-моему, они должны это выслушать. На каждом из нас лежит ответственность. Именно поэтому я хотел бы поместить некоторые из ваших рисунков в нашем журнале. Я считаю это своим святым долгом.

— Ну, если для вас это вопрос категорического императива, — снова засмеялся Рэмпион, — тогда что ж: публикуйте. Берите любые. Конечно, мне было бы особенно приятно, если бы вы отобрали самые сногшибательные.

Барлеп покачал головой.

¹⁴⁰ Верхняя часть долины Нила, с III в. — колыбель христианского монашества.

¹⁴¹ Кальвин, Жан (1509-1564), Нокс, Джон (1505 или ок. 1514-1572), Бакстер, Ричард (1615-1692), Уэсли, Джон (1703-1791) — религиозные деятели Реформации.

¹⁴² Автор приводит цитату из трагедии У. Шекспира «Гамлет» (акт II, сц. 2) (перевод М. Лозинского).

¹⁴³ Строки из «Оды соловью» Джона Китса (перевод Г. Кружкова).

— Начинать нужно потихоньку, — сказал он. Он не настолько верил в жизнь, чтобы рисковать тиражом журнала.

— Потихоньку, потихоньку, — передразнил Рэмпион. — Все вы, газетчики, одинаковы. Никаких потрясений. Безопасность — прежде всего. Тихая, спокойненькая литература. Безболезненное удаление предрассудков. Новые идеи вставляются только под наркозом. Читателей держат все время в состоянии лёгкой дремоты. Безнадёжная вы, в общем, публика!

— Безнадёжная, — повторил Барлеп тоном раскаивающегося грешника. — Я знаю это. Но, увы, нам приходится идти на компромисс с миром, с плотью и дьяволом.

— Против этого я как раз не возражаю, — ответил Рэмпион. — Гораздо более отвратительными мне кажутся ваши компромиссы с небом, порядочностью и Господом Богом. Впрочем, при данных обстоятельствах вы, пожалуй, и не можете иначе. Берите, что вам больше по душе.

Барлеп стал выбирать.

— Я возьму вот эти, — сказал он наконец, показывая Рэмпиону три наименее острых и полемических рисунка. — Вы не возражаете?

— Если бы вы подождали ещё недельку, — пробурчал Рэмпион, взглянув на рисунки, — я приготовил бы вам копию Ари Шеффера.

— Боюсь только, — сказал Барлеп с одухотворённым выражением, появившимся на его лице всякий раз, когда он заговаривал о деньгах, — боюсь, что я не смогу много заплатить за них.

— Что ж, мне это не впервой. — Рэмпион пожал плечами. Барлеп был очень доволен, что дело приняло такой оборот.

«В конце концов, — подумал он, — это правда. Рэмпион не привык, чтобы ему много платили. Да при его образе жизни ему много и не нужно. Ни автомобиля, ни прислуги...»

— Хотелось бы заплатить вам больше, — сказал он вслух, переходя на безличную форму. — Но журнал... — Он покачал головой. — Мы пытаемся научить людей любить все самое возвышенное, даже если оно не приносит им прибыли. Пожалуй, мы могли бы дать вам по четыре гинеи за рисунок.

— Не очень по-королевски, — рассмеялся Рэмпион. — Впрочем, берите. Если вам угодно, берите их хоть задаром.

— Что вы, что вы! — защищался Барлеп. — Этого я не сделаю. «Мир» не живёт благотворительностью. Он платит за все — к сожалению, немного, но все-таки платит. Я считаю это вопросом чести, — продолжал он, мотая головой, — хотя бы мне пришлось платить из собственного кармана. В этом отношении я принципиален, строго принципиален, — настаивал он, с трепетом законного удовлетворения созерцая внутренним оком некоего честнейшего и готового пожертвовать собой Дениса Барлепа, платящего сотрудникам из собственного кармана, в чьё существование он сам начинал почти искренне верить. Он говорил, и с каждым словом очертания этого возвышенно-бедного, но честного Барлепа все ясней вырисовывались перед его внутренним взором; и в то же время «Мир» все больше и больше приближался к несостоятельности, а счёт за ленч все вырастал и вырастал, а доходы Барлепа соответственно уменьшались.

Рэмпион с любопытством смотрел на него. «Чего ради он взвинчивает себя?» — удивлялся он. Вдруг его осенило. Когда Барлеп остановился, чтобы перевести дух, он сочувственно покачал головой.

— Я знаю, что вам нужно, — сказал он. — Вам нужен капиталист. Если бы у меня было несколько тысяч свободных денег, я вложил бы их в «Мир». Но, увы, у меня их нет. Ни шиллинга, — заключил он почти с торжеством, и сочувственное выражение вдруг сменилось злорадной усмешкой.

В этот вечер Барлеп занялся вопросом о францисканской нищете. «Босая, среди холмов умбрийских, она проходит, Дама Нищета». Так начал он главу. В минуты вдохновения его проза переходила в белые стихи. «Стопами попирая белую пыль дорог, что лентой стелются

среди равнин».

Далее следовали упоминания о суковатых оливах, о виноградниках, о спускающихся уступами полях, об «огромных белых волах с их изогнутыми рогами», о маленьких осликах, терпеливо взбирающихся со своей ношей по каменистым тропинкам, о голубых горах, о маленьких городах на вершинах холмов — городах, похожих на Новый Иерусалим из детской книги, о классических водах Клитумнии и о ещё более классических водах Тразименского озера. «В этой стране и в это время, — продолжал Барлеп, — нищета была практически достижимым идеалом. Земля удовлетворяла все потребности тех, кто жил на ней; специализации почти не было; каждый крестьянин был сам для себя ткачом, мясником, пекарем, зеленщиком, виноделом. В этом обществе деньги почти не имели значения. Люди обменивали продукты собственного производства — домашнюю утварь, приготовленную их руками, и плоды земные, — и поэтому им не нужны были драгоценные металлы, чтобы покупать на них вещи. В те дни нищенский идеал св. Франциска был достижим, ибо он немногим отличался от образа жизни тогдашних бедняков. Св. Франциск предлагал обеспеченным и специализировавшимся на определённом ремесле членам общества — тем, кто пользовался деньгами, — жить так, как жили их более скромные соотечественники, то есть пользоваться обменом. Как не похожи эти времена на те, в какие мы живём теперь!» Барлеп снова перешёл на белые стихи, на этот раз под влиянием не лирической нежности, а возмущения. «Мы все специалисты, мы думаем лишь о деньгах, а не о реальных предметах! Живём в мире пустых абстракций, а не в реальном мире, где все растёт и создаётся. Некоторое время он пережёвывал тему огромных машин, «которые были рабами человека, а теперь стали его господами», тему стандартизации, торговли и промышленности, их тлетворного влияния на человеческую душу (для этой последней темы он воспользовался некоторыми из любимых изречений Рэмпиона).

В заключительной части главы он приходил к выводу, что корень зла — это деньги, вернее — та роковая неизбежность, которая заставляет человека работать и жить ради денег, а не ради реальных вещей. «Современному человеку идеал св. Франциска представляется фантастическим, совершенно безумным. Современные условия низвели Даму Нищету до уровня подёнщицы в холщовом переднике и рваных башмаках... Ни один разумный человек не подумает следовать за ней. Идеализировать столь отталкивающую Дульсинею значило бы быть ещё безумней, чем сам Дон Кихот. В современном обществе францисканский идеал недостижим. Мы сделали нищету ненавистной. Но это не значит, что мы должны презирать св. Франциска как безумного сновидца. Нет, не он безумен, а мы. Он как врач в сумасшедшем доме, которого больные считают единственным сумасшедшим в своей среде. Когда рассудок вернётся к нам, мы поймём, что доктор был все время единственным здоровым человеком. При настоящем положении вещей францисканский идеал невыносим. Отсюда вывод: мы должны коренным образом изменить положение вещей. Наша цель — создать новое общество, в котором Дама Нищета из грязной подёнщицы превратится в прекрасную женщину, всю сотканную из света и красоты. О Нищета, Нищета, Прекрасная Дама Нищета!..»

Вошла Беатриса и сообщила, что ужин готов.

— Два яйца, — приказала она, шумно выражая свою заботливость. — Два, я настаиваю: они сварены специально для вас.

— Вы обращаетесь со мной как с блудным сыном, — сказал Барлеп. — Или как с упитанным тельцом во время его упитывания. — Он замотал головой, он изобразил улыбку в стиле Содомы и принялся за второе яйцо.

— Я хотела попросить у вас совета по поводу моих граммофонных акций, — сказала Беатриса. — Они все время поднимаются.

— Граммофонные, — сказал Барлеп. — Ага... — Он дал нужный совет.

XVII

Целыми днями не переставая лил дождь. Спэндреллу казалось, что сама его душа покрылась плесенью. Целыми днями он лежал в постели, или сидел в своей мрачной комнате, или стоял у стойки в пивной, ощущая, как растёт в нем плесень, и созерцал её своим внутренним взором.

— Почему ты не займёшься чем-нибудь? — не раз умоляла его мать. — Все равно — чем.

То же говорили все его друзья, твердили это уже много лет. Но он упорно не хотел ничего делать. Труд, евангелие труда, святость труда, *laborare est orare*¹⁴⁴ — все это чепуха и вздор.

— Работа! — презрительно отозвался он однажды на разумные доводы Филипа Куорлза. — Работа ничуть не почтенней, чем пьянство, и преследует она совершенно ту же цель: она отвлекает человека, заставляет его забыть о самом себе. Работа — это наркотик, и больше ничего. Унизительно, что люди не способны жить трезво, без наркотиков; унизительно, что у них не хватает мужества видеть мир и самих себя такими, каковы они есть. Им приходится опьянять себя работой. Это глупо. Евангелие работы — это евангелие глупости и трусости. Возможно, что работа — это молитва, но это также страусиное прятание головы в песок, это способ поднять вокруг себя такой шум и такую пыль, что человек перестаёт слышать самого себя и видеть собственную руку перед глазами. Он прячется от самого себя. Неудивительно, что Сэмюэлы Смайлы¹⁴⁵ и крупные дельцы с энтузиазмом относятся к работе. Она даёт им утешительную иллюзию, будто они существуют реально и даже преисполнены значительности. А если бы они перестали работать, они поняли бы, что они, попросту говоря, не существуют. Дырки в воздухе — и больше ничего. И к тому же довольно вонючие дырки. Надо сказать, что смайлсовские души издают по большей части пренеприятный запах. Неудивительно, что они не смеют перестать работать. Они боятся увидеть, что они такое. Это слишком рискованно, и у них не хватает мужества.

— А вам ваше мужество дало возможность понять, что вы такое? — спросил Филип Куорлз.

Спэндрелл мелодраматически ухмыльнулся.

— Да, потребовалось немало мужества, — сказал он, — чтобы, поняв, продолжать жить трезво. Будь я менее смелым, я давно пристрастился бы к работе или к морфию.

Спэндрелл старался представить своё поведение более логически обоснованным и романтичным, чем оно было на самом деле. В действительности если он ничего не делал, то не столько в силу своих извращённых моральных принципов, сколько по природной лени. Принципы появились позднее: их родила лень. Спэндрелл никогда не открыл бы, что труд — это опиум, если бы не эта непобедимая лень, нуждавшаяся в оправдании. Но в одном он был прав: ему действительно нужно было мужество, чтобы ничего не делать, потому что он оставался праздным, и даже несмотря на преследовавшую его хроническую скуку, достигавшую иногда, например в данную минуту, невыносимой остроты. Но привычка к праздности укоренилась столь глубоко, что избавиться от неё потребовало бы ещё большего мужества. Прирождённая лень усугублялась гордостью — гордостью человека очень способного, но не настолько, чтобы создать что-нибудь оригинальное, человека, восторгающегося великими достижениями, но знающего, что для него они недоступны, и не желающего ни обнаружить своё творческое бесплодие, ни снизить до занятий, хотя бы и очень успешных, каким-нибудь более лёгким делом.

— Все, что вы говорите о работе, все это очень хорошо, — сказал он Филипу. — Но вы

¹⁴⁴ Работать — это значит молиться (лат.).

¹⁴⁵ Смайлс, Сэмюэл (1812-1904) — автор ряда книг по практической этике («Самопомощь» и др.), превозносящих экономию, предприимчивость и прочие добродетели.

можете что-то делать, а я не могу. Что прикажете мне делать? Поступить бухгалтером в банк? Стать коммивояжёром?

— Есть и другие профессии, — сказал Филип. — А так как у вас есть деньги, вы можете заняться наукой, например биологией...

— Ах, так вам угодно, чтобы я принялся собирать бабочек? Или писать диссертации на тему о потреблении мыла у обитателей Анжу? Чтобы я стал милым дядей Тоби, катающимся на своём деревянном коньке? ¹⁴⁶ Но вся беда в том, что роль дяди Тоби меня отнюдь не соблазняет. Если я человек никчёмный, я предпочитаю оставаться откровенно никчёмным. Я не хочу маскироваться под учёного. Я не хочу кататься на деревянном коньке. Я хочу быть таким, каким сделала меня природа, то есть никчёмным.

Со времени второго замужества своей матери Спэндрелл из какого-то извращённого принципа выбирал всегда худшую дорогу, сознательно давал волю своим самым дурным инстинктам. Свой бесконечный досуг он скрашивал развратом. Этим он мстил матери, а также самому себе за прежнее глупое счастье. Он делал это назло ей, назло самому себе, назло Богу. Он намеревался попасть в ад и печалился о том, что не способен поверить в его существование. Как бы там ни было, есть ад или нет, его удовлетворяло, вначале даже приятно волновало сознание, что он делает что-то дурное и грешное. Но разврат так скучен, так абсолютно и безнадежно уныл, что только исключительные люди, наделённые недоразвитым интеллектом и гипертрофированным аппетитом, способны активно наслаждаться им или активно верить в его греховность. В большинстве своём развратники развратничают не потому, что им это доставляет удовольствие, а потому, что им уже трудно без этого обойтись. Привычка превращает наслаждение в скучную повседневную потребность. Человеку, привыкшему к женщинам или водке, к курению или самобичеванию, так же трудно отказаться от своих пороков, как жить без хлеба и воды, даже если совершить грех доставляет ему не больше удовольствия, чем съесть корку хлеба или напиться воды из кухонного крана. Привычка одинаково убивает как чувство греха, так и наслаждение им. Поступки, казавшиеся вначале увлекательными, потому что они порочны, после некоторого количества повторений становятся морально безразличными. Они даже внушают некоторое отвращение, потому что большинство «порочных» поступков приводит к состоянию физиологической депрессии; но чувство греховности стирается, потому что эти поступки делаются слишком обыденными.

Привычка постепенно убила в Спэндрелле и наслаждение грехом, и чувство греховности, которое всегда было для него составной частью наслаждения; тогда он с каким-то неистовством предался утончённым порокам. Но утончённость порока не вызывает соответствующего утончения чувства. На деле получается как раз наоборот: чем более утончён, своеобразен и противоестествен грех, тем более он скучен и безнадежно неэмоционален. Воображение может создавать самые невероятные вариации на тему сексуальной любви; но эмоциональный продукт всех видов блуда всегда один и тот же — тупое чувство унижения. Правда, многие люди (обычно из числа наиболее цивилизованных, интеллектуальных и утончённых) испытывают какое-то влечение к низменным удовольствиям; в погоне за ними они предаются кутежам, добровольной мазохистской проституции, случайным и почти животным совокуплениям с совершенно незнакомыми людьми, вступают в сексуальные отношения с грубыми и необразованными представителями низших классов. Избыточная интеллектуальная и эстетическая утончённость покупается не дёшево — за счёт своего рода эмоционального вырождения. И вполне цивилизованный китаец со своей тягой к искусству и тягой к жестокости страдает другой разновидностью той же болезни, которая порождает в цивилизованном современном эстете склонность к караульным и бандитам в стремлении унижить собственную

¹⁴⁶ Речь идёт о персонаже романа Лоренса Стерна (1713-1768) «Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентльмена» (1767), у которого был свой «конёк»: он занимался устройством игрушечных укреплений и играл в войну.

неразборчивость и жестокость.

«Чем выше лоб, тем низменнее чресла», — как сказал однажды Рэмпион в присутствии Спэндрелла. Но Спэндреллу унижение не доставляло никакого удовольствия. Переживания, доставляемые утончённым пороком, казались ему скучными и однообразными. Физическое наслаждение, никак не окрашенное эмоционально — все равно, одобрением или раскаянием, — стало пресным. Единственным видом разврата, дававшим ему сколько-нибудь острые переживания, было теперь развращение юных девушек. Вдохновляемый, как правильно определил Рэмпион, своеобразной мстительной ненавистью к женщинам, возникшей из потрясения, пережитого им в критический момент отрочества при вторичном замужестве матери, он получал своеобразное удовлетворение, унижая чувственной страстью невинных сестёр тех слишком любимых и, следовательно, ненавидимых женщин, которые олицетворяли для него ненавистный инстинкт. Средневековая ненависть к женщинам побуждала его не бичевать ненавистную женскую плоть, как делали аскеты и пуритане, а незаметно приучать её к тому, что он сам считал злом; ласками и соблазном подталкивать её к все более решительному и победоносному бунту против сознания и духа. Последняя фаза мести состояла в том, что он постепенно убеждал свою жертву в греховности и низменности тех наслаждений, к каким он её сам приучил.

Малютка Хэрриет была до сих пор единственной невинной девушкой, в отношении которой он целиком выполнил свой план. С её предшественницами он никогда не заходил так далеко, а наследниц у неё не было. Соблазнённая по способу, который Спэндрелл описал в беседе с Рэмпионами, Хэрриет обожала его и думала, что он платит ей тем же. Она была почти права: Спэндрелл действительно привязался к ней, хотя он сознательно делал её своей жертвой. Насилие над собственным чувством придавало всей этой истории особенную остроту. Терпеливо, с чуткостью, тактом и деликатностью самого нежного, самого преданного любовника он успокоил её девические страхи, постепенно растопил её холодность, сломал преграды, поставленные её воспитанием, только для того, чтобы заставить её со всей непосредственностью воспринимать как должное самые фантастические проявления похотливости. Видя, как она принимает их за обычные проявления любви, сидевший в Спэндрелле извращённый аскет чувствовал, что он мстит ей за то, что она женщина.

Но этого было недостаточно. Он начал симулировать угрызения совести, испуганно отстраняться от её страстных ласк или, принимая их, подчиняться им пассивно, делая вид, будто они оскверняют и возмущают его. Это встревожило и огорчило Хэрриет; ей стало стыдно, как всегда бывает с восприимчивыми людьми, когда их страсть не встречает ответа; и в то же время она испытывала ощущение какой-то ходульности своего поведения: такое испытывает актёр, исполнявший пьесу со всей труппой, когда он вдруг обнаруживает, что все ушли и он один остался на сцене, — ощущение странное и довольно-таки омерзительное. Может быть, он разлюбил её? Нет, отвечал он, он любит её по-прежнему. Так в чем же дело? Именно в том, объяснил он ей, что он глубоко любит её; и он принялся говорить о душе. Тело — это дикий зверь, пожирающий душу, губящий сознание, уничтожающий реальных тебя и меня. И точно случайно кто-то прислал ему в тот самый вечер таинственный свёрток. Когда его вскрыли, там обнаружилась папка с французскими порнографическими гравюрами; на них бедняжка Хэрриет со все усиливающимся чувством ужаса и отвращения увидела все те действия, которые она так невинно и чистосердечно принимала за любовь; здесь они были изображены так чётко и ясно и казались такими отвратительными, гнусными и беспредельно грубыми, что один взгляд на них внушал отвращение ко всему роду человеческому.

В течение ближайших дней Спэндрелл искусно подогревал ужас Хэрриет; а потом, когда чувство вины и отвращения к самой себе овладело ею целиком, он с удвоенным жаром и цинизмом вернулся к физической любви, которая теперь воспринималась как нечто бесстыдное. В конце концов Хэрриет ушла от него, ненавидя его, ненавидя себя. С тех пор прошло три месяца. Спэндрелл не делал никаких попыток вернуть Хэрриет или повторить

эксперимент на новой жертве. Игра не стоила свеч. Он удовлетворялся разговорами о своих сатанических наслаждениях, хотя на самом деле он апатично вернулся к унылой рутине выпивки и продажной любви. Разговоры на некоторое время оживляли его; но, кончив говорить, он снова ещё глубже погружался в скуку и уныние. Бывали дни, когда ему казалось, что он парализован изнутри и что его душа перестаёт что-либо воспринимать. Излечиться от этого паралича было в его власти: стоило только сделать волевое усилие. Но сделать его он не мог, вернее — не хотел.

— Но раз вам наскучила жизнь, раз вы ненавидите её, — спрашивал Филип Куорлз, устремляя на Спэндрелла свой живой любопытный взгляд, — какого черта вы не покончите с ней? — С тех пор прошёл почти год; в то время паралич ещё не проник так глубоко в душу Спэндрелла. Но даже тогда его болезнь казалась Филипу весьма загадочной. И, поскольку Спэндрелл без всякого стеснения говорил о себе, не требуя взамен никаких откровенностей, поскольку он с готовностью соглашался на роль объекта научного изучения и ничуть не скрывал свою слабость, а даже хвастался ею, Филип воспользовался случаем и подверг его допросу. — Я не понимаю одного: почему вы живёте? — настаивал он.

— Потому, что я обречён на это, — пожал плечами Спэндрелл. — Потому, что такова моя судьба. Потому, что жизнь действительно такова — скучна и отвратительна, и таковы же все люди, когда они предоставлены самим себе. Потому, что, если уж на человеке лежит проклятие, он должен сам его удвоить. Потому, что... да, потому, что мне в самом деле нравится ненавидеть и скучать.

Ему это нравилось. Дождь шёл не переставая; плесень проникала в самую его душу; он сознательно возвращал её. Он мог бы пойти к кому-нибудь из друзей; но он предпочитал оставаться в одиночестве и скучать. Сезон был в полном разгаре, в «Ковент-Гарден» играла оперная труппа, все театры были открыты; но Спэндрелл только читал объявления: «Героическая симфония» в «Квинс-Холле», Шнабель исполняет опус 106 в «Альгамбре», «Отелло» в театре «Олд-Вик», Чарли Чаплин в «Марбл-Арч»; читал их очень внимательно и оставался дома. На рояле лежала пачка нот, полки уставлены были книгами, вся Лондонская библиотека была к его услугам; но Спэндрелл читал только иллюстрированные журналы да утренние и вечерние газеты. Струйки дождя стекали по грязному оконному стеклу; Спэндрелл переворачивал огромные шелестящие страницы «Тайме». «Герцог Йоркский, — читал он, трудолюбиво пробираясь, как навозный жук, сквозь столбцы рождений, смертей и болезней, сквозь объявления о продаже недвижимости и найме прислуги, сквозь судебные отчёты, сквозь последние известия, сквозь парламентские прения, сквозь происшествия, сквозь пять передовиц, сквозь письма в редакцию, сквозь придворные новости и небольшую статью о пользе Библии в плохую погоду, — герцог Йоркский в будущий понедельник получит от цеха крутильщиков золота и серебра звание почётного подмастерья. Его королевское высочество отобедает с верховным мастером и старшими мастерами цеха». На полке, рукой подать, стояли Паскаль и Блейк. Но «Леди Августа Криппен отбыла из Англии на „Беренгарии“». Она совершит путешествие по Америке, после чего посетит своих зятя и сестру, генерал-губернатора Южной Меланезии и леди Этельберту Тодхантер». Спэндрелл рассмеялся, и этот смех точно освободил его и придал ему энергию. Он встал, надел макинтош и вышел на улицу. «Генерал-губернатор Южной Меланезии и леди Этельберта Тодхантер». Все ещё улыбаясь, он вошёл в пивную за углом. Было рано; у стойки стоял единственный посетитель.

— Чего ради двум людям жить вместе, раз они от этого несчастны? — говорила официантка. — Чего ради? Взяли бы да развелись.

— Потому что брак — это таинство, — ответил посетитель.

— Сами вы таинство! — презрительно отозвалась официантка. Заметив Спэндрелла, она кивнула и улыбнулась: он был завсегдаем.

— Бренди, — заказал он и, опершись на стойку, принялся разглядывать незнакомца. У него было лицо мальчика-певчего, преждевременно состарившегося: кругленькое, кукольное, но потрёпанное. Рот был непомерно мал — крошечная щель в розовом бутоне.

Херувимские щеки ввалились и обросли щетиной.

— Потому что, — говорил незнакомец, и Спэндрелл заметил, что он все время дёргается, улыбается, хмурится, подымает брови, наклоняет голову то на одну сторону, то на другую, извивается всем телом в непрерывном экстазе самолюбования, — потому что муж да прилепится к жене своей и будут два единой плотью. Единой плотью, — повторил он и при этих словах задёргался ещё сильнее и захихикал. Заметив пристальный взгляд Спэндрелла, он покраснел и, чтобы вернуть себе самообладание, поспешно осушил свой стакан.

— А вы что скажете, мистер Спэндрелл? — спросила официантка, доставая с полки бутылку бренди.

— О чем? О единой плоти? — (Официантка кивнула.) — Гм... А я только что завидовал генерал-губернатору Южной Меланезии и леди Этельберте Тодхантер за то, что они так безусловно и очевидно не единая плоть. Как вы думаете, — обратился он к потрёпанному херувиму, — если бы вы были генерал-губернатором Южной Меланезии, а вашу жену звали леди Этельбертой Тодхантер, были бы вы единой плотью? — Незнакомец принялся извиваться, как червяк на крючке. — Конечно, нет. Это было бы просто неприлично.

Незнакомец заказал ещё порцию виски.

— Нет, шутки в сторону, — сказал он. — Таинство брака...

— Но чего ради двум людям мучиться, — не унималась официантка, — когда можно без этого?

— А почему бы им не помучиться? — спросил Спэндрелл. — Может быть, они для этого и живут на свете. Откуда вы знаете, что земля не служит адом для какой-нибудь другой планеты?

— Какая чушь! — рассмеялась официантка, явно стоявшая на точке зрения позитивизма.

— Но ведь англиканская церковь не считает брак таинством, — продолжал Спэндрелл.

Херувим возмущённо передёрнулся.

— А вы что же, меня за англиканца принимаете?

Рабочий день кончился; бар начал наполняться мужчинами, жаждавшими духовного облегчения. Пиво текло рекой, крепкие напитки тщательно отмеривались в маленькие стаканчики. Портер, стаут ¹⁴⁷, виски были для этих людей эквивалентом путешествия за границу и мистического экстаза, поэзии и воскресного дня в обществе Клеопатры, охоты на крупную дичь и музыки. Херувим заказал ещё порцию.

— В какой век мы живём! — сказал он, качая головой. — Варварский век! Люди пребывают во мраке неведения относительно основных предписаний религии.

— Не говоря уже о предписаниях гигиены, — сказал Спэндрелл. — Какая вонь от сырой одежды, и все окна закрыты!

Он вынул носовой платок и приложил его к ноздрям. Херувим содрогнулся и воздел руки.

— Боже мой, что за платок! — воскликнул он. — Какой ужас!

Спэндрелл внимательно посмотрел на платок.

— А по-моему, он очень неплох, — сказал он. Это был большой шёлковый платок, красный, с чёрным и розовым узором. — И к тому же отнюдь не дешёвый.

— Но цвет, милостивый государь! Цвет!

— А мне нравится его цвет.

— Но не в это время года, между Пасхой и Троицыным днём. Немыслимо! Литургический цвет теперь белый. — Он вытащил свой белый как снег носовой платок. — А посмотрите на носки. — Он поднял ногу.

¹⁴⁷ Тёмное пиво повышенной крепости.

— А я-то удивлялся, почему у вас такой вид, точно вы собираетесь играть в теннис.

— Все белое, — сказал херувим, — церковь предписывает, чтобы между Пасхой и Пятидесятницей облачения были белыми. Не говоря уже о том, что сегодня праздник святой Наталии-девственницы. А белый — это цвет всех девственниц, которые не были мученицами.

— А по-моему, все они были мученицами, — сказал Спэндрелл. — Конечно, если оставались девственницами достаточно долго.

Вращающаяся дверь открывалась и закрывалась, открывалась и закрывалась. Снаружи было одиночество и сырые сумерки, внутри — блаженство быть с людьми, соприкасаться, общаться. Херувим принялся говорить о маленьком святом Гуго из Линкольна и о святом Пиране из Перранзабуло, покровителе корнуэльских горняков. Он выпил ещё виски и признался Спэндреллу, что перелагает в стихи жития английских святых.

— В день дерби будет дождь, — предрекала компания пессимистов у стойки. Они были счастливы, потому что их было много, в желудках у них стояла хорошая погода, а в душе от пива сиял солнечный свет. От сырой одежды шёл удушливый запах; все оглушительно смеялись и разговаривали. Дыша в лицо Спэндреллу винным перегаром, потрепанный херувим декламировал:

Идёт по бурным по волнам,
Не спотыкаясь и не падая...

Четыре порции виски почти излечили его от подёргиваний и гримасничанья. Он перестал смотреть на себя со стороны. Та часть его «я», которая все время наблюдала его со стороны, заснула. Ещё несколько порций виски — и не останется и той, которую можно наблюдать.

К Касситеридским островам
Пиран из Перранзабуло...

— Это было главное чудо Пирана, — объяснил он, — он прошёл от «Конца Земли» 148 до Сциллийских островов 149.

— Надо полагать, это был мировой рекорд? — осведомился Спэндрелл.

Херувим отрицательно покачал головой.

— Был ещё один ирландский святой, так тот прошёл по воде до самого Уэльса. Не помню только, как его звали. Мисс! — позвал он. — Сюда! Ещё виски.

— Однако, — сказал Спэндрелл, — вы, как я вижу, не пренебрегаете и благами мира сего. Шесть порций виски...

— Всего только пять, — возразил херувим. — Это будет пятая.

— Ну что ж, пускай пять и — литургические цвета. Не говоря уже о святом Пиране из Перранзабуло. А вы действительно верите, что он дошёл до Сциллийских островов?

— Да, верю.

— Причащайтесь, таинство, — сказала официантка, пододвигая ему стакан.

Херувим расплатился и покачал головой.

— Всюду кощунство, — сказал он. — Каждое слово наносит рану святому сердцу Иисусову. — Он выпил. — Новую кровоточащую рану.

— Занятно вам жить на свете с этим вашим святым сердцем!

— Занятно? — возмущённо отозвался херувим.

— Ну конечно: все время переходить из бара в алтарь, из исповедальни — в публичный дом. Идеальная жизнь! От такой жизни не соскучишься. Завидую вам.

— Смейтесь, смейтесь! — Он говорил как мученик при последнем издыхании. — Если

148 Мыс Лендс-Энд на западной оконечности полуострова Корнуолл.

149 Сциллийские острова, в древности называвшиеся Касситеридами, находятся приблизительно в 50 км западнее «Конца Земли».

бы вы только знали, как трагична моя жизнь, вы не стали бы мне завидовать.

Вращающаяся дверь открывалась и закрывалась, открывалась и закрывалась. Люди, жаждавшие Бога после пребывания в духовных пустынях фабрик и контор, входили сюда, как во храм. Разлитое по бутылкам и бочонкам на берегах Клайда и Лиффи, Темзы, Дура и Трента, таинственное божество открывалось им здесь. Брамины, выжимавшие и пившие сок сомы, называли его Индрой; жующие коноплю йоги — Шивой. Мексиканские боги пребывали в пейотле. Персидские суфиты обретали Аллаха в ширазском вине, самоедские шаманы наедались мухоморов и исполнялись духом Нума.

— Ещё виски, мисс, — сказал херувим и, снова обращаясь к Спэндреллу, почти со слезами поведал ему о своих горестях. Он любил, он женился; они сочетались таинством брака — на это он особенно упирал. Он был счастлив. Они оба были счастливы.

Спэндрелл поднял брови.

— Ей нравился запах виски?

Его собеседник грустно покачал головой.

— У меня есть недостатки, — признался он. — Я был слаб. Проклятый напиток! Проклятый! — И, внезапно превратившись в фанатика трезвости, он вылил виски на пол. — Вот! — с торжеством сказал он.

— Благородный жест, — сказал Спэндрелл. Он подозвал официантку. — Ещё порцию виски этому джентльмену.

Херувим запротестовал, но без особой горячности. Он вздохнул.

— Я никогда не мог устоять против этого искушения, — сказал он. — Но я всегда жалел об этом после. Я искренне раскаивался.

— Не сомневаюсь. Одним словом, вам ни на минуту не становилось скучно.

— Если бы она поддержала меня, я бы излечился от этого порока.

— Ах, помощь чистой женщины? — сказал Спэндрелл.

— Вот именно, — кивнул херувим. — Именно в этом я нуждался. Но она покинула меня. Сбежала. Или, вернее, не сбежала. Её соблазнили. Сама она этого не сделала бы. Её соблазнила эта гнусная змея, этот... — Он добавил несколько эпитетов из несложного словаря унтер-офицера. — Попадись он мне только в руки, и я сверну ему шею, — продолжал херувим. С пятой порцией виски дух битв вселился в его кровь. — Грязная сволочь! — Он стукнул кулаком по стойке. — Знаете этого художника — его картины висят в Галерее Тейт — Бидлэйка? Так вот, это его сын. Уолтер Бидлэйк.

Спэндрелл поднял брови, но ничего не сказал. Херувим продолжал свои излияния.

В ресторане Сбизы Уолтер обедал с Люси Тэнтамаунт.

— Почему бы и вам не поехать в Париж? — говорила Люси. Уолтер покачал головой:

— Нужно работать.

— А я просто не могу дольше двух месяцев оставаться на одном месте. Делаешься такой затхлой и вялой. И потом, это невыносимо скучно. В ту минуту, когда я сажусь в аэроплан на Кройдонском аэродроме, я точно рождаюсь снова; совсем как в Армии спасения.

— А сколько времени продолжается новая жизнь? Люси пожала плечами:

— Столько же, сколько прежняя. К счастью, запас аэропланов практически неистощим. Я всецело за прогресс.

Вращающиеся двери храма неведомому Богу закрылись за ними. Спэндрелл и его спутник очутились в холодной дождливой темноте.

— Уф! — Херувим вздрогнул и поднял воротник непромокаемого плаща. — Словно прыгнул в бассейн для плавания.

— Или словно после Фенелона ¹⁵⁰ почитать Геккеля ¹⁵¹. Для вас, христиан, весь мир

¹⁵⁰ Фенелон, Франсуа (1651-1715) — французский писатель, автор философско-утопического романа «Приключения Телемака».

¹⁵¹ Геккель, Эрнст (1834-1919) — немецкий биолог-эволюционист, пропагандист дарвинизма.

— развесёлая пивнушка.

Они прошли несколько шагов по улице.

— Слушайте, — сказал Спэндрелл, — вы что, собираетесь идти домой пешком? Да ведь вы на ногах не держитесь.

Прислонившись к фонарному столбу, херувим покачал головой.

— Мы подождём такси.

Они ждали. Шёл дождь. Спэндрелл с холодной гадливостью рассматривал своего спутника. Пока они были в пивной, эта тварь забавляла его, служила ему развлечением. Теперь вдруг он почувствовал к ней отвращение.

— А вы не боитесь попасть в ад? — спросил он. — Там ведь вас будут поить кипящим виски. У вас в животе будет вечный рождественский пудинг. Вы бы посмотрели на себя сейчас! Мерзость какая-то...

Шестая порция виски привела херувима в покаянное настроение.

— Знаю, знаю, — простонал он. — Я отвратителен. Я достоин презрения. Но если бы вы знали, как я боролся и стремился и...

— Вот такси. — Спэндрелл подозвал машину.

— Как я молился, — продолжал херувим.

— Где вы живёте?

— Оссиан-Гарденс, номер сорок один. Я не сдавался... Машина подъехала. Спэндрелл открыл дверцу.

— Ну, полезайте, пьяная тряпка, — сказал он, вталкивая своего спутника внутрь. — Оссиан-Гарденс, номер сорок один, — сказал он шофёру. Тем временем херувим дополз до сиденья. Спэндрелл уселся рядом. — Гнусный слизняк!

— Говорите, говорите. Я заслужил это. Вы имеете полное право презирать меня.

— Знаю и без вас, — ответил Спэндрелл. — Только не воображайте, пожалуйста, что я ещё буду вас ругать для вашего удовольствия. Хватит. — Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Невероятная усталость и отвращение снова охватили его. «Господи, — сказал он про себя, — Господи, Господи, Господи!» И, словно насмешливое эхо, в ответ на его мысли раздалась молитва херувима. «Господи, помилуй меня, Господи!» — повторял плаксивый голос. Спэндрелл разразился смехом.

Оставив пьянчужку на пороге его дома, Спэндрелл вернулся в такси. Он вспомнил, что ещё не обедал.

— Ресторан Сбизы, — сказал он шофёру. «Господи, Господи!» — повторял он в темноте. Но ночь была пуста.

— А, вот и Спэндрелл! — воскликнула Люси, обрывая своего собеседника на полуслове. Она подняла руку и помахала ему.

— Люси! — Спэндрелл поднёс её руку к губам. Он сел за их столик. — А знаете, Уолтер, я только что разыгрывал роль доброго самаритянина по отношению к вашей жертве.

— Моей жертве?

— К тому бедняге, которому вы наставили рога. Карлинг — так, кажется, его зовут? — (Уолтер отчаянно покраснел.) — Он носит свои рога в точности так, как это принято делать. Вполне традиционно. — Он взглянул на Уолтера и с удовлетворением отметил признаки замешательства на его лице. — Когда я встретил его, — злорадно продолжал он, — он топил своё горе в виски. Великое романтическое средство. — Было облегчением выместить на ком-нибудь своё тяжёлое настроение.

XVIII

В Порт-Саиде они сошли на берег. Борт парохода железной стеной уходил в пропасть. Внизу на грязных, медлительно перекатывающихся волнах качался катер; провал между его

шкафутом и концом трапа то уменьшался, то увеличивался. Человеку со здоровыми ногами ничего не стоило прыгнуть в лодку. Но Филип колебался. Если прыгнуть искусственной ногой вперёд, можно упасть от толчка; а если искусственной ногой оттолкнуться от площадки трапа, пожалуй, не допрыгнешь до катера. Военный, прыгнувший раньше, вывел его из затруднения.

— Обопритесь на мою руку, — предложил он, заметив замешательство Филипа.

— Благодарю вас, — сказал Филип, перебравшись на катер.

— Неудобный способ, — сказал военный. — Особенно если у вас недостаёт ноги. Не так ли?

— Да, неудобный.

— Потеряли на войне? Филип покачал головой.

— Несчастный случай, когда я был мальчиком, — кратко объяснил он. Кровь прилила к его щекам. — А вот моя жена, — пробормотал он, обрадовавшись возможности прекратить разговор. Элинон прыгнула и опёрлась на его руку, чтобы восстановить равновесие, они прошли в другой конец катера и сели там.

— Почему ты не дал мне сойти первой и помочь тебе? — спросила она.

— Ничего, обошлось и так, — отрывисто ответил он тоном, не допускавшим дальнейших разговоров на эту тему. Она удивлённо спросила себя, в чем тут дело и почему он всегда стыдится своей хромоты?

Сам Филип вряд ли смог бы объяснить, почему его так расстроил вопрос военного. Ведь в том, что в детстве его переехало телегой, нет ничего предосудительного. А в том, что он непригоден к военной службе и потому не участвовал в войне, нет ничего непатриотического. И все-таки вопрос военного почему-то расстроил его, как расстраивали его все подобные вопросы и все слишком прямые упоминания о его хромоте, кроме тех случаев, когда он сам намеренно заговаривал об этом.

Мать Филипа, беседуя как-то с Элинон, сказала о нем:

— Какое несчастье, что именно с Филипом произошёл такой случай. Филип с самого рождения был каким-то далёким от всех. Он всегда слишком легко обходился без людей. Он слишком любил замыкаться в себе, в своём молчании. Не будь этого несчастья, он, может быть, научился бы выходить из своего внутреннего одиночества. Но этот случай создал искусственную преграду между ним и миром. Начать с того, что он не мог принимать участия в общих играх, а значит, меньше соприкасался с остальными мальчиками, чаще бывал один, читал книги. К тому же его нога (бедный Фил!) была лишним поводом для застенчивости. Чувство неполноценности. Дети бывают так безжалостны: в школе иногда смеялись над ним. А позже, когда он стал интересоваться девушками, как мне хотелось, чтобы он мог ходить на танцевальные вечера и на теннисные площадки! Но он не мог ни вальсировать, ни играть в теннис. А ходить просто для того, чтобы смотреть, ему, конечно, не хотелось. Из-за своей сломанной ноги он держался вдали от девушек одного с ним возраста. И не только физически — психологически тоже. Мне кажется, он всегда боялся (конечно, он в этом никому не признавался), что девушки тоже будут смеяться над ним, как ребята в школе, или предпочтут ему другого, не имеющего такого недостатка. Впрочем, — добавила миссис Куорлз, — нельзя сказать, чтобы он очень много внимания обращал на девушек.

— Да, конечно, — рассмеялась Элинон.

— Но у него не создалось бы привычки нарочно избегать их. Он не стал бы так упорно избегать всякого личного общения — и не только с девушками, с мужчинами тоже. Единственное, что он признает, — это интеллектуальное общение.

— словно он считает себя в безопасности только в мире идей, — сказала Элинон.

— Потому что только там он чувствует себя на высоте. Бояться и чувствовать себя неуверенно вне этого интеллектуального мира вошло у него в привычку. Это нехорошо. Я всегда старалась подбодрить его и заставить больше соприкасаться с миром; но он не поддаётся, он забивается в свою скорлупу. — Помолчав немного, она добавила: —

Единственно, что в этом есть хорошего — я хочу сказать: в его несчастье, — это то, что оно спасло его от войны, может быть, от смерти. Его брат был убит на войне.

Катер отплыл к берегу. Пароход, казавшийся раньше огромной, нависающей стеной из окрашенного в чёрный цвет железа, теперь, когда они отъехали от него, приобрёл очертания большого океанского пакетбота. Неподвижно застывший между морем и ослепительной синевой неба, он напоминал рекламу тропических рейсов в витрине пароходной конторы на Кокспер-стрит.

«С его стороны было нетактично задавать мне подобный вопрос, — думал Филип. — Какое ему дело, пострадал ли я на войне или где-нибудь ещё? Как эти кадровые армейцы носятся со своей войной! Что ж, будем благодарны судьбе, что она избавила меня от этой бойни. Бедный Джоффри!» И он стал вспоминать покойного брата.

— И все-таки, — продолжала миссис Куорлз после долгого молчания, — в известном смысле было бы даже лучше, если бы он пошёл на войну. Нет, не подумайте, что во мне говорит патриотизм. Но если бы знать наверняка, что его не убьют и не изувечат, война принесла бы ему пользу. Да, конечно, для него это было бы тяжело, болезненно, но все-таки полезно: война могла бы разбить его скорлупу, освободить его из добровольной тюрьмы. Освободить эмоционально; его интеллект и так достаточно свободен. Пожалуй, даже слишком свободен, на мой старомодный вкус. — И она грустно улыбнулась. — Ему не хватает другой свободы: он не умеет свободно двигаться в мире людей, не может избавиться от своего безразличия.

— Но ведь это безразличие у него в характере, — возразила Элинор.

— Отчасти. Но привычка усилила его. Если бы ему удалось избавиться от этой привычки, он стал бы много счастливей. Он это знает, но ничего не может с собой поделать. Если бы кто-нибудь ему помог... Но война — это была последняя возможность, и обстоятельства не дали воспользоваться ею.

— Слава Богу!

— Что ж, может быть, вы и правы.

Катер пристал. Они сошли на берег. Стояла ужасающая жара, мостовая была раскалена, воздух насыщен пылью. Скаля белые зубы, сверкая чёрными влажными глазами, жестикулируя, как танцовщик, какой-то оливковый джентльмен в феске уговаривал их купить ковры. Элинор предложила прогнать его. Но Филип сказал:

— Не стоит тратить сил. Слишком жарко. Пассивное сопротивление: сделаем вид, что мы не понимаем.

Они шли, как мученики по арене; и, как голодный лев, джентльмен в феске носился вокруг них. Если не ковры, тогда, может быть, искусственный жемчуг? Нет? Тогда настоящие гаванские сигары по полтора пенса за штуку? Или целлулоидный гребень? Или поддельный янтарь? Или почти настоящие золотые запястья? Филип продолжал отрицательно качать головой.

— Красивые кораллы. Красивые скарабеи, очень старинные. — Обольстительная улыбка стала похожей на звериный оскал.

Элинор заметила мануфактурный магазин, который она искала. Они пересекли улицу и вошли.

— Спасены! — сказала она. — Сюда он не посмеет войти. Мне даже жутко стало: а вдруг он начнёт кусаться. Бедняга! Надо будет что-нибудь у него купить. — И она обратилась к приказчику, стоявшему за прилавком.

— Пока ты покупаешь, — сказал Филип, предвидя, что Элинор будет выбирать бесконечно долго, — я схожу за папиросами.

Он вышел на раскалённую улицу. Человек в феске дожидался его. Он бросился к Филипу и схватил его за рукав. В отчаянии он решил пойти с последнего козыря.

— Красивые открытки, — конфиденциально шепнул он, вынимая из внутреннего кармана конверт. — Очень неприлично. Всего десять шиллингов.

Филип смотрел непонимающим взглядом.

— Не говорю по-английски, — сказал он и заковылял по улице. Человек в феске не отставал.

— *Tres curieuses*, — сказал он. — *Tres amusantes. Moeurs arabes. Pour passer le temps a bord. Soixante francs seulement* ¹⁵².

Но лицо Филипа оставалось все таким же непонимающим.

— *Molto artistica*. — Человек в феске решил перейти на итальянский. — *Proprio curiose. Cinquanta franchi* ¹⁵³. — Он посмотрел на безнадежно пустое лицо Филипа. — *Hubsch*, — не унимался он. — *Sehr geschlechtlich. Zehn Mark* ¹⁵⁴. — (Ни один мускул не дрогнул.) — *Muy hermosas, muy agraciadas, mucho indecorosas* ¹⁵⁵, — снова попробовал он. — *Skon bref kort. Liderlig fotografi'bild. Nakna jungfrun. Verkligsmutsig* ¹⁵⁶. — Филип — явно не скандинав. Может быть, славянин? — *Sprosnu obraz* ¹⁵⁷, — льстиво сказал человек в феске. Не подействовало. Может быть, португальский поможет? — *Photographia deshonesto* ¹⁵⁸, — начал он.

Филип расхохотался.

— Нате, — сказал он, протягивая ему полкроны. — Вы их заслужили.

— Ну как, нашёл папиросы? — спросила Элинора, когда он вернулся в магазин.

Филип кивнул.

— И кроме того, я нашёл единственный путь для реального объединения в «Лигу наций». Единственный общий для всех интерес. Наш зубастый друг предложил мне непристойные открытки на семнадцати языках. Он попросту губит свои таланты в Порт-Саиде. Его место в Женеве.

— К вам две дамы, сэр, — сказал курьер.

— Две? — Барлеп поднял тёмные брови. — Две? — Но курьер упорно настаивал на том, что их две. — Что ж, проводите их сюда. — Курьер ушёл. Барлеп почувствовал некоторое раздражение. Он ждал Ромолу Сэвиль, ту самую, которая написала:

С рожденья мира ласки я познала,
С бессмертными пила любви фиал,
В объятьях Леды лебедя сжимала,
Парис со мной в блаженстве утопал.

И вдруг она приходит с дуэней! Как не похоже на неё. Две дамы.

Обе двери в его святилище открылись одновременно. В одну дверь вошла Этель Коббет с пачкой гранок. В другую вошли две дамы. Остановившись на пороге, Этель принялась их разглядывать. Одна из дам была высока и необычайно худа. Другая, почти столь же высокая, была полней. Обе были далеко не молоды. Худая дама производила впечатление увядшей девы лет сорока трех — сорока четырех. Полная дама была, может быть, немного старше, но зато сохранила цветущую свежесть вдовушки. У худой дамы было жёлтое костлявое лицо,

¹⁵² Очень любопытно. Очень занятно. Арабские нравы. Чтобы развлекаться на пароходе. Всего 60 франков (фр.).

¹⁵³ Очень художественно. Весьма любопытно. 50 франков (ит.).

¹⁵⁴ Красиво. Очень сексуально. 10 марок (нем.).

¹⁵⁵ Очень красивые, очень живописные, очень непристойные (исп.).

¹⁵⁶ Красивые открытки. Очень натуральные фотографии. Голые девушки. Здорово похабно (швед.).

¹⁵⁷ Неприличные картинки (польск.).

¹⁵⁸ Непристойные фотографии (португ.).

волосы неопределённого Цвета и серые глаза; одета она была весьма шикарно, но не по парижской моде, а по более молодежавой и легкомысленной моде Голливуда — в светло-серое и розовое. Другая леди была блондинка с синими глазами и длинными серьгами и бусами из ляпис-лазури под цвет глаз. Одета более солидно и по-европейски, она была увешана не очень драгоценными украшениями, слегка позвякивавшими на ходу.

Обе леди вошли в комнату. Барлеп притворился настолько погруженным в работу, что он даже не слышал, как открылась дверь. Только тогда, когда дамы приблизились к столу, он поднял глаза от бумаги, на которой он что-то с ожесточением писал. И с каким изумлённым выражением он это сделал, с каким извиняющимся и смущённым видом! Он вскочил на ноги.

— Ах, простите. Простите ради Бога... Я не заметил. Я был так занят. — Он говорил в нос: у него был сильный насморк. — Так поглощён работой...

Он обошёл вокруг стола, улыбаясь своей самой тонкой и самой духовной улыбкой в стиле Содомы. Но про себя он восклицал: «Господи, Боже мой! Какие жуткие бабы!»

— А которая из вас, — спросил он, улыбаясь поочерёдно то одной, то другой, — разрешите узнать, которая из вас мисс Сэвиль?

— Ни одна, — сказала полная дама довольно низким голосом, но задорным тоном и с игривой улыбкой.

— Или обе, если вам угодно, — сказала другая. У неё был высокий металлический голос, она говорила резко и отрывисто, с какой-то головокружительной скоростью. — Обе, и ни одна.

И две дамы одновременно разразились хохотом. Барлеп смотрел и слушал, и сердце у него падало. В какую дикую историю он попал! Они ужасны. Он высморкался, он закашлялся. От их присутствия его простуда усилилась.

— Дело в том, — сказала полная дама, лукаво склоняя голову набок и слегка шепелявя, — дело в том...

Но её прервала тощая дама.

— Дело в том, — сказала она, выпаливая слова с такой быстротой, что можно было только удивляться, как она вообще успевает их выговаривать, — что мы образовали сотрудничество, комбинацию, почти заговор. — Она рассмеялась острым, пронзительным смешком.

— Да, жаговор, — сказала полная дама, игриво шепелявя.

— Мы две части двойственной личности Ромолы Сэвиль.

— Я играю роль доктора Джекиля, — вставила полная дама, и обе снова захохотали.

«Заговор, — подумал Барлеп со все возрастающим ужасом. — Уж именно что заговор!»

— Доктор Джекиль ¹⁵⁹, alias Рут Гоффер. Разрешите представить вам миссис Гоффер.

— Тогда как я представлю вас миштеру Хайду, alias мисс Хигнет.

— Тогда как обе вместе мы представимся вам как Ромола Сэвиль, о чьих скромных стихах вы отозвались так лестно.

Барлеп пожал руки обеим дамам и сказал что-то об удовольствии от встречи с авторами, чьим творчеством он так восхищается. «Как мне теперь от них отделаться? — спрашивал он себя. — Столько энергии, столько силы и воли! Нелёгкое это будет дело — избавиться от них». Он внутренне содрогнулся. «Они точно две паровые машины», — решил он. И они будут приставать к нему, чтобы он печатал их гнусные стишки; их непристойные стишки — потому что теперь, принимая во внимание возраст этих дам, их напористость и их внешность, стихи казались ему просто непристойными. «Суки!» — сказал он про себя, чувствуя к ним неприязнь, точно они обманом что-то у него выудили, воспользовались его

¹⁵⁹ Доктор Джекиль и мистер Хайд — персонажи одноимённой повести Роберта Льюиса Стивенсона, двойники, олицетворяющие светлую и чёрную стороны человеческой души.

наивностью и надули его. Как раз в это мгновение он заметил мисс Коббет. Она с вопросительным видом протягивала ему корректуру. Он покачал головой.

— После, — сказал он ей с достоинством. Мисс Коббет повернулась и вышла, но он успел заметить на её лице выражение насмешливого торжества. Черт бы её побрал! Это просто невыносимо.

— Нас так взволновало и восхитило ваше любезное письмо, — сказала полная дама.

Барлеп изобразил францисканскую улыбку.

— Так приятно, когда можешь сделать что-нибудь для литературы.

— Мы так редко находим отклик.

— Да, так редко, — отозвалась мисс Хигнет. И, выпаливая слова с быстротой человека, старающегося произнести «на дворе трава, на траве дрова» как можно быстрее и с минимальным количеством ошибок, она изложила историю их деятельности и огорчений. Выяснилось, что они живут вместе в Уимблдоне, что они уже более шести лет выступают под фирмой «Ромола Сэвиль» и что за это время их творения были напечатаны всего девять раз. Но они не теряют мужества: они знают, что их час ещё придёт. Они продолжают писать. Они написали очень много. Может быть, мистеру Барлепу будет интересно просмотреть написанные ими драмы? И мисс Хигнет открыла чемоданчик и выложила на стол четыре толстые, перепечатанные на машинке рукописи. То были исторические драмы, написанные белым стихом. Они носили следующие названия: «Фредегонда», «Герцог Нормандский», «Семирамида» и «Жиль де Рец».

Наконец они ушли, взяв с Барлепа обещание прочесть их драмы, напечатать цикл сонетов и как-нибудь побывать у них в Уимблдоне и пообедать с ними. Барлеп вздохнул и, придав своему лицу каменное выражение, вызвал мисс Коббет.

— Вы получили гранки? — спросил он точно откуда-то издали, не глядя на неё.

Она протянула ему гранки.

— Я позвонила им, чтобы они поторопились с остальными.

— Очень хорошо.

Наступило молчание. Его прервала мисс Коббет, и Барлеп, хотя он не глядел на неё, по её тону чувствовал, что она улыбается.

— Какой удар для вас эта ваша Ромола Сэвиль.

Верность памяти Сьюзен была у мисс Коббет результатом сознательных усилий, поэтому ничто не могло поколебать её. Она влюбилась в Барлепа, и верность памяти Сьюзен и той платонической духовности, которой Барлеп отличался в своих любовных делишках (вначале она верила, что все красивые слова, которые он постоянно твердил, были искренни), закалилась в постоянной борьбе против любви. Барлеп, человек в этих делах весьма опытный, увидев, как она относится к его первым платоническим авансам, сразу понял, что тут, говоря тем вульгарным языком, каким редко пользовался даже его дьявол, «нечем поживиться». Упорствуя, он только повредит своей возвышенно-духовной репутации. Он понял, что, несмотря на всю свою любовь, а может быть, именно благодаря ей (потому что, полюбив, она поняла, как легко было бы изменить памяти Сьюзен и чистой духовности, и, поняв опасность, всеми силами боролась с ней), Этель не позволит ему перейти, как бы постепенен ни был этот переход, от духовности к утончённой чувственности. А так как сам он вовсе не любил её, а испытывал к ней лишь то смутное мальчишеское желание, которое могла удовлетворить почти любая женщина, ему ничего не стоило проявить сдержанность и отступить. Он рассчитывал, что, отступив, он усилит её восхищение перед его духовностью, усилит её любовь. Барлеп давно убедился, что очень выгодно держать служащих, которые в него влюблены. Они работают гораздо больше и требуют гораздо меньше. Некоторое время все шло как по маслу. Мисс Коббет выполняла работу трех секретарей и курьера и к тому же преклонялась перед своим патроном. Но потом начались осложнения. Барлеп был чересчур внимателен к сотрудницам журнала. Одна из них, с которой он спал, решила сделать мисс Коббет своей поверенной. Вера мисс Коббет поколебалась. Она была возмущена изменой Барлепа памяти Сьюзен, его изменой своим

идеалам; она возмущалась его сознательным лицемерием; а её любовь к нему только подогревала возмущение. Ей он тоже изменил. Она была возмущена и обижена. Возмущение и обида сделали её идеальную верность особенно пламенной. Её ревность выразилась в ещё большей верности памяти Сьюзен и идеалу чистой духовности.

Беатриса Гилрэй была последней каплей. Чаша терпения мисс Коббет переполнилась, когда Беатриса водворилась в редакции, больше того: Беатриса стала сама писать для журнала. Мисс Коббет утешалась тем, что Беатриса писала только короткие заметки, которых все равно никто не читает. Но все-таки обида была горькая. Она, Этель, гораздо более культурна, чем эта дура Беатриса, и к тому же гораздо более умна. Беатрисе разрешали писать только потому, что у неё есть деньги. Она вложила в журнал тысячу фунтов. Она работала безвозмездно, и к тому же работала как лошадь, именно так, как работала вначале сама мисс Коббет. Теперь мисс Коббет старалась работать как можно меньше. Теперь она отстаивала свои права, никогда не приходила ни на минуту раньше, никогда не уходила ни на минуту позже установленного времени. Она делала ровно столько, сколько полагалось. Барлеп был раздражён, обижен, огорчён; ему придётся или больше работать самому, или нанять второго секретаря. Как раз в это время провидение послало Беатрису. Она взяла на себя всю техническую работу, на которую теперь у мисс Коббет не оставалось времени. Чтобы вознаградить её за техническую работу и за тысячу фунтов, Барлеп разрешил ей писать. Разумеется, она не умела писать, но это не важно: все равно коротких заметок никто не читает.

Когда Барлеп переселился в дом Беатрисы Гилрэй, чаша гнева мисс Коббет переполнилась. В первую минуту она вздумала было предостерегать Беатрису от её нового жильца. Но её бескорыстная забота о репутации и девственности Беатрисы была слишком явно, хотя и против её воли, окрашена личной неприязнью к Барлепу. Единственным результатом её вмешательства был резкий отпор со стороны раздражённой Беатрисы.

— Она просто нестерпима, — жаловалась Беатриса Барлепу, не входя, впрочем, в детальное обсуждение тех причин, которые заставили её считать мисс Коббет нестерпимой.

У Барлепа был вид милосердного Христа.

— Да, с ней трудно, — признал он, — но она достойна жалости: у неё была нелёгкая жизнь.

— Не понимаю, почему это может служить оправданием, — протрещала она.

— Нужно быть снисходительным, — сказал Барлеп, мотая головой.

— Будь я на вашем месте, — сказала Беатриса, — я не потерпела бы её здесь. Я бы выставила её.

— Нет, этого я не могу сделать, — ответил Барлеп, медленно пережёвывая слова, точно весь спор происходил внутри его самого. — По крайней мере при данных обстоятельствах. — Он улыбнулся улыбкой в стиле Содомы, тонкой, духовной и слащавой, и ещё раз мотнул своей темноволосой романтической головой. — Эти обстоятельства несколько своеобразны. — Он выразался весьма туманно, не объясняя, в чем именно заключались эти своеобразные обстоятельства, и с таким смущением, точно он стеснялся хвалить самого себя. Беатрисе предоставлялось догадываться, что он держит мисс Коббет из милости. Она преисполнилась восхищения и жалости — восхищения его добротой и жалости к нему, такому беспомощному в неблагоприятном мире.

— И все-таки, — сказала она, и вид у неё был воинственный, а слова её были как резкие удары молоточком, — я не понимаю, почему вы позволяете третировать себя. Я лично не потерпела бы подобного обращения.

С тех пор она пользовалась всяким случаем, чтобы придрататься к мисс Коббет и наругать ей. Мисс Коббет в ответ огрызалась и язвила. В редакции «Литературного мира» разгорелась война. А Барлеп парил где-то наверху, не принимал участия в битвах, но не совсем беспристрастный, подобно Богу, отдающему предпочтение добродетели, каковую в данном случае воплощала Беатриса.

Эпизод с Ромолой Сэвиль дал мисс Коббет случай позлорадствовать.

— Видели вы этих двух ужасающих поэтесс? — притворнодружелюбным тоном осведомилась она на следующее утро у Беатрисы.

Беатриса пронзительно посмотрела на неё. К чему это она клонит?

— Каких поэтесс? — подозрительно спросила она.

— Как же, тех двух пожилых дам устрашающей внешности, которых наш редактор пригласил к себе, вообразив, будто это одна и молодая. — Она рассмеялась. — Ромола Сэвиль. Так были подписаны стихи. Звучит романтично, не правда ли? Стихи тоже были весьма романтичны. Но авторши! Боже милосердный! Когда я увидела, что наш редактор попал им в лапы, мне его даже жалко стало. Но в конце концов он сам виноват. Писать незнакомым авторам...

В этот вечер Беатриса снова пожаловалась на мисс Коббет. Мало того, что эта женщина утомительна и нахальна — это можно было бы стерпеть, если бы она добросовестно относилась к работе, — но она к тому же ленива. Издавать журнал — такое же Дело, как всякое другое. Нельзя вести дело на основе благотворительности. Барлеп снова туманно и нерешительно заговорил о своеобразных обстоятельствах. Беатриса не сдавалась. Разгорелся спор.

— Иногда доброта бывает чрезмерной, — заявила наконец Беатриса.

— Разве? — спросил Барлеп; и его улыбка была такой францискански-прекрасной и вдумчивой, что Беатриса растаяла от нежности.

— Да, бывает, — протрещала она; чем более нежно и по-матерински заботливо относилась она к Барлепу, тем более жестоким и враждебным становилось её отношение к мисс Коббет. Негодование было, так сказать, подкладкой её нежности. Когда она не решалась выказывать нежность, она выворачивала свои чувства наизнанку и становилась злобной. Внешне она кипела негодованием, но про себя думала: «Бедный Денис! Ему необходимо, чтобы кто-нибудь о нем заботился. Он слишком добр». Она заговорила: — И у вас ужасный кашель, — сказала она с упрёком. Отсутствие связи между этой фразой и предыдущей было только кажущимся. Он слишком добр, о нем некому заботиться, у него кашель — все эти мысли были связаны логически. — Вам необходимо, — продолжала она все тем же резким, повелительным тоном, — растереться как следует камфарным маслом и положить компресс. — Она произнесла эти слова таким свирепым тоном, точно грозила выпороть его как следует и посадить на месяц на хлеб и воду. Так проявлялась её заботливость. Но какая трепетная нежность скрывалась под этой внешней жестокостью!

Барлеп с большой готовностью позволил ей осуществить свою ласковую угрозу. В половине одиннадцатого он лежал в постели с бутылкой горячей воды. Он выпил стакан горячего молока с мёдом, а теперь сосал леденец от кашля. Как жаль, думал он, что она не так уж молода. И все-таки для своего возраста она удивительно моложава. Судя по лицу и по фигуре, ей можно дать скорее двадцать пять, а не тридцать пять. Интересно, размышлял он, как она будет себя вести, когда он лаской преодолет её страх? Есть что-то непонятное в этих детских страхах взрослой женщины. Какая-то часть её перестала расти в том возрасте, когда дядя Бен пустился на свой преждевременный опыт. Дьявол Барлепа ухмыльнулся, вспоминая, как она рассказывала об этом происшествии.

Раздался стук в дверь, и вошла Беатриса с камфарным маслом и ватой для компресса.

— А, вот и палач, — со смехом сказал Барлеп. — Я хочу умереть как мужчина. — Он расстегнул пижаму. Грудь у него была белая и упитанная; ребра едва намечались под мускулами; между сосками протянулась полоса тёмных курчавых волос. — Будьте безжалостны, — пошутил он. — Я готов. — Его улыбка была игриво-нежной. Беатриса откупорила склянку и налила душистого масла на ладонь правой руки.

— Возьмите бутылку, — приказала она, — и поставьте на стол. Он исполнил.

— Ну, — сказала она, когда он снова лёг, и принялась растирать его.

Её рука скользила взад и вперёд по его груди, энергично, деловито. А когда правая рука устала, она принялась растирать его левой, — взад и вперёд, взад и вперёд.

— Вы как маленькая паровая машина, — сказал Барлеп, улыбаясь игриво и нежно.

— Я и чувствую себя машиной, — ответила она. Но это была неправда: она чувствовала себя чем угодно, только не машиной. Ей пришлось преодолеть какой-то страх, прежде чем она решилась дотронуться до его белой упитанной груди. Конечно, эта грудь не была безобразной или отталкивающей. Напротив, она была скорее красива своей гладкой белизной и мускулистой плотностью. Она была как торс статуи. Да, статуи. Только у этой статуи были тёмные вьющиеся волосы на груди и маленькая родинка, то поднимавшаяся, то опускавшаяся от биения сердца. Статуя жила; и в этом было что-то волнующее. Белая обнажённая грудь была прекрасна; но она была почти отталкивающе живой. Прикоснуться к ней... Она внутренне вздрогнула от страха и рассердилась на себя за свою глупость. Она проворно разогнула руку и принялась растирать. Её ладонь быстро скользила по смазанной маслом коже. Её рука ощущала теплоту его кожи. Сквозь кожу она чувствовала твёрдые кости. Жёсткие волосы щекотали её пальцы, а маленькие соски были твёрдые и упругие. Она снова вздрогнула, но было что-то приятное в чувстве страха и в преодолении его; было странное наслаждение в той тревоге и отвращении, которые разливались по её телу. Её движения были энергичны и равномерны, как работа паровой машины; но внутри она чувствовала себя такой трепетно и раздвоенно живой!

Барлеп лежал, закрыв глаза, слегка улыбаясь: было так приятно покориться, отдаться на милость победителя. Он наслаждался, чувствуя себя беспомощным ребёнком; он был в её руках, как ребёнок, собственность своей матери и её игрушка; он больше не принадлежал себе. Её холодные руки прикасались к его груди; его плоть была пассивной и безвольной, как глина, в её сильных, холодных руках.

— Устали? — спросил он, когда она остановилась в третий раз, чтобы переменить руку. Он открыл глаза и посмотрел на неё. Она покачала головой. — Со мной столько беспокойства, как с больным ребёнком.

— Глупости, никакого беспокойства.

Но Барлепу обязательно хотелось жалеть её и просить у неё прощения.

— Бедная Беатриса! — сказал он. — Как много вам приходится возиться со мной! Мне так стыдно.

Беатриса только улыбнулась. Она больше не содрогалась от беспричинного отвращения. Она чувствовала себя необыкновенно счастливой.

— Готово! — наконец сказала она. — А теперь — компресс. — Она открыла картонную коробку и развернула оранжевую вату. — Весь вопрос в том, как сделать, чтобы она держалась у вас на груди. Я думаю, её можно укрепить бинтом. Два или три оборота вокруг туловища. Как вы думаете?

— Я ничего не думаю, — сказал Барлеп, все ещё наслаждавшийся тем, что он — ребёнок, — я весь в ваших руках.

— В таком случае садитесь, — приказала она. Он сел. — Держите вату на груди, пока я буду обёртывать бинтом. — Чтобы сделать это, ей пришлось совсем приблизиться к нему, почти обнять его; её руки, когда она обёртывала бинт вокруг туловища, на секунду сомкнулись за его спиной. Барлеп опустил голову и прижался лбом к её груди. Лоб усталого ребёнка на мягкой материнской груди.

— Подержите минутку, пока я достану английскую булавку.

Барлеп поднял голову и откинулся на подушку. Краснея, но по-прежнему деловито и энергично, Беатриса снимала одну из булавок с маленькой картонной пластинки.

— Теперь настёт самый трудный момент, — со смехом сказала она. — Вы ничего не имеете против, если я воткну булавку вам в тело?

— Ничего, — сказал Барлеп, и это была правда: он ничего не имел бы против. Ему было бы даже приятно, если бы она сделала ему больно. Но она этого не сделала. Она с профессиональной ловкостью заколола бинт.

— Готово!

— А что прикажете делать теперь? — спросил Барлеп, жаждавший повиноваться.

— Ложитесь.

Он лёг. Она застегнула пуговицы его пижамы.

— А теперь извольте заснуть как можно скорей. — Она покрыла его до подбородка одеялом и рассмеялась. — Вы совсем как маленький мальчик.

— А вы поцелуете меня на прощание?

Щеки Беатрисы вспыхнули. Нагнувшись, она поцеловала его в лоб.

— Спокойной ночи, — сказала она.

И вдруг ей захотелось обнять его, прижать его голову к груди, погладить его по волосам. Но вместо этого она только приложила на мгновение руку к его щеке и выбежала из комнаты.

XIX

Маленький Фил лежал в постели. Комната была погружена в оранжевые сумерки. Тонкая игла солнечного света проникала сквозь задёрнутые занавески. Фил был сегодня более беспокоен, чем всегда.

— Который час? — крикнул он, хотя он уже спрашивал раньше и ему отвечали, что он должен лежать смирно.

— Час такой, что тебе ещё рано вставать, — ответила мисс Фулкс через коридор. Голос у неё был заглушённый, потому что она надевала своё голубое платье: её голова была в шёлковой темноте, а руки тщетно старались попасть в рукава. Сегодня должны были приехать родители Фила; их ожидали в Гаттендене к ленчу. Обстоятельства требовали, чтобы мисс Фулкс облачилась в своё лучшее голубое платье.

— А который час? — сердито прокричал мальчик. — Который час на ваших часах?

Голова мисс Фулкс вышла на свет.

— Без двадцати час, — отозвалась она. — Лежи смирно.

— А почему не час?

— Потому что не час. А теперь я больше с тобой не разговариваю. Если ты будешь кричать, я расскажу маме, какой ты гадкий.

— Сама ты гадкая! — отозвался Фил с плаксивой свирепостью, но так тихо, что мисс Фулкс почти не слышала его. — Ненавижу тебя! — Конечно, он вовсе не испытывал к ней ненависти. Но он выразил протест — честь была спасена.

Мисс Фулкс продолжала приводить себя в порядок. Она была взволнованна, испуганна, болезненно взвинчена. Что скажут они о Филе — о её Филе, о том Филе, каким она его сделала? «Надеюсь, он будет вести себя хорошо, — думала она, — надеюсь, он будет вести себя хорошо». Когда он хотел, он умел быть таким ангелом, таким милым. А если он не был ангелом, на это всегда имелась причина; но, чтобы увидеть эту причину, нужно было знать, нужно было понимать его. Вероятно, они не сумеют понять причину. Они отсутствовали слишком долго; они, должно быть, забыли, какой он. Да они и не могут знать, какой он теперь, каким он стал за последние месяцы. Этого Фила знает только она. А ведь настанет день, когда ей придётся расстаться с ним. Она не имеет на него права, она только любит его. Они могут отнять его у неё, когда им вздумается. Её отражение в зеркале заколебалось и пропало в тумане радужного цвета, и внезапно слезы потекли по её щекам.

Поезд пришёл минута в минуту; автомобиль ожидал их на станции. Филип и Элинор уселись в машину.

— Как чудесно, что мы снова здесь! — Элинор взяла мужа за руку. Её глаза сияли. — Но, Боже милосердный, — с ужасом добавила она, не дожидаясь его ответа, — они настроили там на холме уйму новых домов. Как они смеют?

— Да, что-то вроде города-сада, — сказал Филип. — Какая жалость, что англичане так любят природу! Они убивают её своей любовью.

— И все-таки здесь хорошо. Неужели ты можешь оставаться спокойным?

— Как тебе сказать, — осторожно начал он.

— Неужели ты не радуешься даже тому, что снова увидишь своего сына?

— Само собой, радуюсь.

— Само собой! — насмешливо повторила Элино́р. — И таким тоном! В таких вещах не может быть никакого «само собой». А я вот чувствую, что никогда в жизни так не волновалась.

Оба замолчали. Машина неслась по извилистой дороге среди холмов; дорога шла вверх. Они поднялись сквозь буковый лес на лесистое плато. В конце длинной зеленой аллеи высился, залитый солнцем, самый грандиозный памятник величия Тэ́нтемаунтов — дворец маркиза Гаттенденского. Флаг развевался по ветру; значит, его светлость у себя в резиденции.

— Надо будет навестить как-нибудь старого безумца, — сказал Филип.

Красновато-жёлтые олени щипали траву в парке.

— Зачем люди путешествуют? — спросила Элино́р, взглянув на оленей.

Мисс Фулкс и маленький Фил ждали на лестнице.

— Кажется, автомобиль, — сказала мисс Фулкс. Её одутловатое лицо побледнело; её сердце билось с удвоенной силой. — Нет, — добавила она, напряжённо прислушиваясь. Она слышала только тревожный стук своего сердца.

Маленький Фил беспокойно топтался на месте, испытывая только одно желание — пойти «в одно место». Он чувствовал себя так, точно у него в животе ворочается ёж.

— Неужели ты не рад? — спросила мисс Фулкс с деланным энтузиазмом, забывая о собственных неприятных предчувствиях и желая одного — чтобы ребёнок проявил дикую радость при виде родителей. — Неужели ты можешь оставаться спокойным? — Но ведь они могут отнять его у неё, если им вздумается, отнять его, и она никогда больше не увидит его.

— Да, — рассеянно ответил маленький Фил. Он был слишком поглощён тем, что происходило в его внутренностях.

Его спокойный тон огорчил мисс Фулкс. Она испытующе посмотрела на него.

— Фил? — Она наконец заметила его беспокойный чарльстон. Ребёнок кивнул. Она взяла его за руку и потащила в дом.

Минутой позже Филип и Элино́р подъехали к опустевшей лестнице. Элино́р была разочарована. Она так ясно слышала его крики. А теперь на ступеньках не было никого.

— Никто нас не встречает, — грустно сказала она.

— По-твоему, они должны были торчать тут все время и ждать нас? — отозвался Филип. Он ненавидел всякую суету. Ему было бы приятней всего вернуться домой в шапке-невидимке. То, что их никто не встречал, было тоже приятно.

Они вышли из автомобиля. Входная дверь была открыта. Они вошли. Три с половиной столетия дремали в молчаливом, пустом холле. Солнечный свет проникал сквозь сводчатые окна. Панели по стенам, выкрашенные ещё в восемнадцатом столетии, были бледно-зеленого цвета. Старинная дубовая лестница, вся залитая светом, вела в верхние этажи. В воздухе носился еле слышный аромат старого саше, словно многовековая тишина старого дома, претворённая в запах. Элино́р посмотрела вокруг себя, она глубоко вздохнула, она дотронулась кончиками пальцев до полированной поверхности стола орехового дерева, согнутым пальцем она постучала по стоявшей на столе круглой венецианской вазе; стеклянная нота нежно прозвенела в ароматной тишине.

— Как замок спящей красавицы, — сказала она. Но стоило ей произнести эти слова, как чары рассеялись. Неожиданно, точно пробуждённый к жизни звоном стекла, дом наполнился звуками и движением. Где-то наверху открылась дверь, и оттуда вместе с санитарным шумом спускаемой воды донёсся пронзительный голос Фила; маленькие ножки мягко затопали по ковру коридора, потом застучали, как копытца, по дубовым ступеням. В то же мгновение дверь быстро распахнулась, и в холле появилась колоссальная фигура старой горничной Добс.

— Как! Миссис Элино́р? А я и не слышала...

Маленький Фил выбежал на последний марш лестницы. При виде родителей он громко вскрикнул; он побежал ещё быстрее; он почти скользил со ступеньки на ступеньку.

— Тише, тише! — беспокойно закричала его мать и побежала к нему навстречу.

— Тише! — как эхо отозвалась мисс Фулкс, поспешно спускаясь с лестницы позади Фила. И неожиданно из гостиной, выходящей в сад, появилась миссис Бидлэйк — белая и молчаливая, с развевающейся вуалью, как величавый призрак. В маленькой корзиночке она несла букет только что срезанных тюльпанов; садовые ножницы болтались на жёлтой ленте. За ней с лаем следовал Т'анг III. Поднялся шум, потому что все говорили разом, обнимались и жали друг другу руки. В приветствиях миссис Бидлэйк была величественность ритуала, торжественная грация древнего священного танца. Мисс Фулкс извивалась от смущения и волнения, стояла то на одной ноге, то на другой, принимала позы модных картинок и манекенов и время от времени пронзительно смеялась. Здороваясь с Филипом, она извивалась так отчаянно, что едва не потеряла равновесия.

«Бедная девушка! — подумала Элинор в промежутке между вопросами и ответами. — Вот уж кому действительно необходимо замуж! Сейчас это ещё заметней, чем когда мы уезжали!»

— Но как он вырос! — сказала она вслух. — И как изменился! — Она отодвинула ребёнка на расстояние вытянутой руки жестом знатока, рассматривающего картину. — Раньше он был вылитый Фил. А теперь... — Она покачала головой. Теперь широкое лицо удлинилось, короткий прямой носик (смешная «пуговка» Филипа, над которой она всегда смеялась и которую так любила) стал тоньше, и на нем появилась маленькая горбинка, волосы потемнели. — Теперь он очень похож на Уолтера. Правда, мама? — Миссис Бидлэйк рассеянно кивнула, — А когда он смеётся, он по-прежнему очень похож на Фила.

— А что вы мне привезли? — спросил маленький Фил с беспокойством. Когда люди уезжали и потом возвращались, они всегда привозили ему что-нибудь. — Где мои подарки?

— Что за вопрос! — ужаснулась мисс Фулкс, краснея от стыда и извиваясь.

Но Элинор и Фил только рассмеялись.

— Когда он серьёзен, он совсем как Уолтер, — сказала Элинор.

— Или как ты. — Филип переводил взгляд с сына на жену.

— Не успели папа и мама приехать, а ты уже спрашиваешь о подарках! — упрекала мисс Фулкс.

— Гадкая! — ответил мальчик и откинул голову назад с сердитым и гордым выражением.

Элинор едва удержалась от смеха. Когда Фил вскинул подбородок, это движение было пародией на надменную манеру старого мистера Куорлза. На мгновение мальчик превратился в её свёкра, в крошечную карикатуру её нелепого и жалкого свёкра. Это было комично и вместе с тем все это было очень серьёзно. Ей хотелось рассмеяться, и в то же время она с угнетающей ясностью увидела перед собой тайну и сложность жизни, пугающую загадку будущего. Перед ней её ребёнок, но в то же время в нем Филип, в нем она сама, в нем Уолтер, её отец, её мать, а теперь, когда он поднял подбородок, в нем неожиданно проступил жалкий мистер Куорлз. И в нем могут быть сотни других людей. Могут быть? Они есть в нем. В нем тётки и двоюродные сестры, с которыми она почти никогда не виделась; деды и бабки, которых она знала в детстве, а теперь совершенно забыла; предки, умершие давным-давно, и так до начала времён. Целая толпа чужих людей населяла и формировала это маленькое тело, жила в этом мозгу и управляла его желаниями, диктовала ему мысли — и ещё будет диктовать и ещё будет управлять. Фил, маленький Фил — это имя было абстракцией, условным обозначением, вроде имени «Франция» или «Англия», именем целого коллектива, вечно меняющегося, состоящего из бесконечного количества людей, рождавшихся, живших и умиравших внутри его, как рождаются и умирают жители страны, составляющие одно целое — народ, к которому они принадлежат. Она посмотрела на ребёнка с каким-то ужасом. Какая огромная ответственность!

— Это корыстная любовь! — не унималась мисс Фулкс. — И ты не должен называть меня «гадкой».

Элинор тихонько вздохнула, усилием воли вывела себя из задумчивости и, взяв

мальчика на руки, прижала его к груди.

— Ничего, — сказала она, обращаясь наполовину к мисс Фулкс, наполовину к самой себе. — Ничего. — Она поцеловала сына.

Филип посмотрел на часы.

— Пожалуй, надо бы пойти и привести себя в порядок перед ленчем, — сказал он. Он был очень пунктуален.

— Но сначала, — сказала Элино́р, считавшая, что не человек для ленча, а ленч для человека ¹⁶⁰, — сначала мы просто-таки обязаны зайти на кухню и поздороваться с миссис Инмэн. Если мы не пойдём, она нам не простит такой обиды. Вперёд. — Все ещё держа на руках маленького Фила, она прошла через столовую. Чем дальше они шли, тем сильнее становился запах жареной утки.

Чувствуя себя неловко от сознания собственной непунктуальности и оттого, что ему придётся, хотя бы и при посредничестве Элино́р, разговаривать с туземцами кухни, Филип неохотно последовал за ней.

За ленчем маленький Фил отпраздновал приезд родителей невыносимым поведением.

— Он слишком разволновался, — повторяла бедная мисс Фулкс, стараясь оправдать ребёнка, а тем самым и себя. Она готова была заплакать. — Вы увидите, миссис Куорлз, какой он будет, когда привыкнет к вам, — говорила она, обращаясь к Элино́р. — Вы увидите: он бывает таким ангелом. Это от волнения.

Она так любила своего воспитанника, что его победы и поражения, его добродетели и пороки заставляли её торжествовать или сетовать, испытывать удовлетворение или стыд, точно это были её собственные победы и поражения, добродетели и пороки. Кроме того, здесь была затронута её профессиональная гордость. Все эти месяцы ответственность за него лежала на ней одной; она учила его, как нужно вести себя в обществе, и объясняла, почему треугольник Индии окрашен на карте в малиновый цвет; она сделала, сформировала его. И теперь, когда предмет её нежнейшей любви, продукт её опытности и терпения кричал за столом, выплёвывал непрожеванную пищу и разливал воду, мисс Фулкс не только краснела от стыда, точно это она сама кричала, плевалась и проливала воду, но испытывала то унижительное чувство, которое переживает фокусник, когда его тщательно подготовленный трюк не удаётся при публике, или изобретатель, когда его идеальная летательная машина решительно отказывается подняться с земли.

— Ничего, — утешала её Элино́р, — этого следовало ожидать. — Ей было искренне жаль бедную девушку. Она посмотрела на своего сына. Он кричит, а она думала, что к их приезду он станет совсем другим, совсем взрослым и разумным существом. Сердце у неё упало. Она любила его, но дети невыносимы, просто невыносимы. А он все ещё дитя. — Слушай, Фил, — строго сказала она, — перестань сейчас же. Ешь без разговоров.

Мальчик заорал ещё громче. Он очень хотел бы вести себя хорошо, но он не мог остановиться и перестать вести себя плохо. Он сам привёл себя в то состояние, когда человеку все становится противным и он против всего бунтует; а теперь это было сильнее его самого. Даже если бы он захотел, он не мог бы вернуться к прежнему настроению. К тому же он никогда не любил жареной утки; а теперь, после того как он добрых пять минут думал о жареной утке с отвращением и ужасом, он просто ненавидел её. Его действительно тошнило от её вида, запаха и вкуса.

Между тем миссис Бидлэйк пребывала в метафизическом спокойствии. Её душа неуклонно плыла, как большой корабль по волнующемуся морю или, вернее, как воздушный шар, парящий высоко над водами в спокойном и безветренном мире фантазии. Она говорила с Филипом о буддизме. (У миссис Бидлэйк было особое пристрастие к буддизму.) При первых воплях она даже не поинтересовалась узнать, в чем дело, и только возвысила голос,

¹⁶⁰ Автор перефразирует евангельское изречение: «Суббота для человека, а не человек для субботы» (Евангелие от Марка, 2:27).

чтобы его можно было расслышать среди этого шума. Но вопли не прекращались. Миссис Бидлэйк замолкла и закрыла глаза. В красноватой темноте, наполнявшей её закрытые глаза, скрестив ноги, сидел безмятежный и золотой Будда; его окружали жрецы в жёлтых мантиях, сидевшие в той же позе, что и он, погруженные в экстаз созерцания.

— Майя ¹⁶¹, — сказала она со вздохом, точно обращаясь к самой себе, — Майя — вечная иллюзия. — Она открыла глаза. — Утка, правда, жестковата, — обратилась она к Элинор и мисс Фулкс, которые безуспешно пытались уговорить ребёнка.

Маленький Фил жадно ухватился за этот предлог.

— Она жёсткая, — заревел он, отталкивая вилку, на которой мисс Фулкс, чьи руки дрожали от сильных переживаний, протягивала ему ломтик жареной утки и половину молодой картофелины.

Миссис Бидлэйк снова на миг закрыла глаза, потом повернулась к Филипу, продолжая обсуждать «Восемь путей к совершенству».

В этот вечер Филип сделал довольно большую запись в своём дневнике, куда он заносил без всякого порядка мысли и события, разговоры, виденное и слышанное за день. Страница была озаглавлена: «Кухня в старом доме».

Изобразить её довольно легко. Тюдоровские оконницы, отражающиеся в донышках развешанных на стенах медных кастрюль. Массивная чёрная плита, отделанная блестящей сталью, огонь, вырывающийся из-под полузакрытых конфорок. Ящики с резедой на окнах. Жирный кастрированный кот огненного цвета, дремлющий в корзине возле шкафа. Кухонный стол, такой истёртый временем и постоянным отскребыванием, что прожилки дерева выступают на нем, точно какой-то гравер изготовил клише отпечатка гигантского пальца. Балки низкого потолка. Тёмные буковые стулья. Тесто, раскатываемое на столе. Запах стирки. Наклонный столб солнечного света и толкущиеся в нем пылинки. И наконец, старая миссис Инмэн, кухарка: маленькая, хрупкая, неукротимая, творец стольких тысяч обедов! Отделать немножко — и картина готова. Но мне этого мало. Зарисовать кухню во времени, а не только в пространстве: намёком раскрыть её значение в космосе человека. Я нишу одну фразу: «Лето за летом, с тех времён, когда Шекспир был мальчишкой, и до сих пор, десять поколений кухарок пользовались инфракрасными лучами, чтобы разбить молекулы протеина в насаженных на вертел утках. („Мне — смерть, тебе — бессмертье суждено“ ¹⁶² и т. д.) Одна фраза — и вот уже я погружён в историю, искусство и все науки. Вся история вселенной заключена в любой её части. Внимательный глаз, заглядывая в любой предмет, видит сквозь него, как через окошко, весь космос. Запах утки, жарящейся на старой кухне; сделай его прозрачным — и ты увидишь все, от спиральных туманностей до музыки Моцарта и стигматов святого Франциска Ассизского.

Задача художника — в том, чтобы выбрать те точки, которые он хочет сделать прозрачными, выбрать их так, чтобы позади близких и знакомых нам предметов открылись только те перспективы, которые наиболее существенны для человека. Но во всех случаях предметы, видимые в конце перспективы, должны быть достаточно странными, чтобы обыденное казалось фантастическим и таинственным. Вопрос: можно ли достичь этого, не впадая в педантизм и не развёртывая вещь, которую пишешь, до бесконечности? Над этим нужно подумать как следует.

А пока что — как чудесна кухня! Как дружелюбны её обитатели! Миссис Инмэн служит здесь с рождения Элинор. Красивая, прекрасно сохранившаяся старуха. И какое спокойствие, какой аристократически-повелительный тон! Тот, кто был неограниченным владыкой над всем, за чем он присматривает, поневоле приобретает царственный вид, даже

¹⁶¹ Одно из ключевых понятий древнеиндийской модели мира; означает иллюзорность бытия, действительность, понимаемую как грёзу божества, и мир — как божественную игру.

¹⁶² Строка из «Оды соловью» Д. Китса (перевод Г. Кружкова).

если то, за чем он присматривает, всего лишь кухня. А кроме того, есть ещё Добс, горничная. Добс появилась в доме недавно — незадолго до войны. Персонаж из Рабле. Шести футов ростом и соответственной толщины. В этом огромном теле живёт дух Гаргантюа. Какой полнокровный юмор, какая жажда жизни, какие анекдоты, какой громогласный хохот! Хохот Добс внушает почти ужас. А когда мы зашли в кладовую, я заметил на полке шкафа зеленую склянку с пилюлями. Но какими пилюлями! Такими, какие дают лошадям, вводя их в горло с помощью резиновой кишки. Какое гомерическое несварение желудка должно быть у того, кто их принимает!

Кухня хороша; но и гостиная не хуже. Возвращаясь с прогулки, мы застали там викария с женой, которые за чашкой чая разговаривали об Искусстве. Да, об искусстве. Потому что это был их первый визит после посещения Академии ¹⁶³.

Это ежегодный обряд. Каждый год на следующий день после торжественного открытия они садятся в поезд восемь пятьдесят две и воздают искусству тот долг, который воздаёт ему даже религия. Официальная религия официальному искусству. Они обходят все уголки выставочного помещения, испещряя каталог замечаниями, юмористическими там, где допустим юмор: мистер Трюби (похожий на Ноя из игрушечного ковчега) принадлежит к тому разряду весёлых священнослужителей, которые при всяком удобном случае отпускают шутки, стараясь показать, что чёрное облачение и пасторский воротничок не мешают им быть «добрыми малыми», «славными парнями» и т. п.

Хорошенькая и пухленькая миссис Трюби менее громогласна, чем её супруг; она — как раз то, что состоятельные обыватели, читающие «Панч» ¹⁶⁴, называли бы «доброй и весёлой душой»: она способна невинно развлекаться и все время отпускает шутливые замечания. Я смотрел и слушал как зачарованный, пока Элинор заставляла их говорить о приходе и об Академии. У меня было такое чувство, точно я Фабр ¹⁶⁵, наблюдающий жизнь жесткокрылых. Изредка чья-нибудь реплика достигала противоположной стороны духовной пропасти, отделяющей мать Элинор от внешнего мира, выводила её из задумчивости и вызывала с её стороны какую-нибудь неожиданную реакцию. Невозмутимо, тоном оракула, с серьёзностью, которая казалась почти устрашающей рядом с шутливыми замечаниями четы Трюби, она подавала голос из другого мира. А за окнами — зелёный цветущий сад. У старого Стокса, садовника, длинная борода, и он похож на Старца Время. Бледно-голубое небо. Щебечут птицы. Как здесь хорошо! Нужно было объехать весь земной шар, чтобы понять, как здесь хорошо. Почему бы не остаться? Не пустить корни? Но корни — это цепи. Я боюсь потерять свободу. Быть свободным, не связанным ничем, никакой собственностью, делать, что хочешь, ехать, куда взбредёт на ум, — это хорошо. Но и здесь хорошо. Может быть, даже лучше! Чтобы получить свободу, приходится что-нибудь приносить в жертву: дом, миссис Инмэн, Добс, жизнерадостных Трюби из прихода, тюльпаны в саду и все то, что значат эти вещи и люди. Приносишь в жертву что-то ради того, чтобы получить нечто большее: знание, понимание, большую интенсивность жизни. Больше ли? Иногда я в этом сомневаюсь.

Лорд Эдвард и его брат совершали прогулку по Гаттенденскому парку. Лорд Эдвард шёл пешком, пятый маркиз ехал в колясочке для инвалидов, которую вёз большой серый осел. Маркиз был калекой. «Что, к счастью, не мешает движению мыслей», — любил он говорить. И мысль его двигалась всю его жизнь то туда, то сюда по самым запутанным дорожкам. Серый осел медленно брёл по парку. Впереди братьев и позади простиралась знаменитая гаттенденская аллея. Впереди, на расстоянии одной мили, стояла копия колонны

¹⁶³ Имеется в виду ежегодная выставка Королевской академии искусств.

¹⁶⁴ Юмористический еженедельник, издающийся в Лондоне с 1841 г.

¹⁶⁵ Фабр, Жан Анри (1823-1915) — французский энтомолог.

Траяна из портлендского камня ¹⁶⁶, увенчанная бронзовой статуей первого маркиза; на пьедестале была надпись крупными буквами, в которой перечислялись заслуги, дававшие ему право на неувыдаемую славу. Он был, кроме всего прочего, вице-королём Ирландии и отцом научного земледелия. В другом конце аллеи, тоже на расстоянии одной мили, возвышались фантастические башни и башенки Гаттенденского замка, построенного для второго маркиза Джеймсом Уайеттом ¹⁶⁷ в псевдоготическом стиле Строберри-Хилла и имевшего более средневековый вид, чем любая подлинная средневековая постройка. Маркиз жил в Гаттендене постоянно. Нельзя сказать, чтобы замок и окружающие ландшафты особенно нравились ему. Он едва замечал их. Когда он не читал, он думал о прочитанном: мир явлений, как он любил вслед за Платоном называть видимую и осязаемую реальность, не интересовал его. Этим своим безразличием к миру он как бы мстил ему за то, что сам он был калекой. Он жил в Гаттендене просто потому, что это было единственное место, где он мог безопасно передвигаться в своей коляске. Пэлл-Мэлл — не совсем подходящее место для серых осликов и разбитых параличом старых джентльменов, которые читают и размышляют во время прогулок. Он уступил Тэнтемаунт-Хаус своему брату, а сам продолжал совершать прогулки на ослике среди буков Гаттенденского парка.

Осел остановился, чтобы пощипать травы у дороги. Пятый маркиз спорил со своим братом о Боге. Время шло. Они все ещё говорили о Боге, когда полчаса спустя Филип и Элинор во время послеобеденной прогулки по парку вышли из буковой рощи и чуть не наткнулись на колясочку маркиза.

— Несчастные старики! — сказал Филип, когда они отошли подальше. — О чем им ещё говорить? Они слишком стары, чтобы говорить о любви, — слишком стары и слишком благонравны. Слишком богаты, чтобы говорить о деньгах. Слишком интеллектуальны, чтобы говорить о людях, и к тому же при их отшельническом образе жизни они встречают слишком мало людей — не о ком и говорить. Они слишком скромны, чтобы говорить о самих себе, слишком неопытны, чтобы говорить о жизни или даже о литературе. О чем же ещё говорить несчастным старикам? Больше не о чем как только о Боге.

— Имей в виду, что при теперешних темпах жизни, — сказала Элинор, — через десять лет ты станешь точно таким же, как они.

XX

Об отце Филипа Куорлза старик Бидлэйк говорил, что он напоминает итальянские церкви в стиле барокко с фальшивым фасадом. Высокий, внушительный, ощерившийся колоннами, фронтонами и статуями, фасад кажется принадлежащим величественному кафедральному собору. Но когда присмотришься ближе, обнаруживаешь, что это лишь декорация. Позади огромного изукрашенного фасада скрывается жалкий храмик из кирпича, щебня и осыпавшейся штукатурки. И, развивая сравнение дальше, Джон Бидлэйк описывал небритого священника, бормочущего обедню, сопливого служку в грязном стихаре, паству из зобастых крестьянок и их отпрысков, кретина, просящего милостыню на паперти, оловянные венцы на статуях святых, сор на полу, затхлый запах, оставленный многими поколениями верующих.

— Почему, — заканчивал он, забывая, что этими словами он в нелестном свете изображает собственные успехи, — почему женщины всегда воспаляются любовью ко всему самому низкому? Странно. Особенно в данном случае. У Рэчел Куорлз слишком много

¹⁶⁶ Оолитовый строительный камень, добываемый на острове Портленд.

¹⁶⁷ Уайетт, Джеймс (1747-1813) — английский архитектор, прославившийся постройками в псевдоготическом стиле; Строберри-Хилл — замок, построенный неподалёку от Лондона писателем и любителем старины Хорасом Уолполом (1717-1797); классический образец псевдоготики.

здорового смысла, чтобы её могло привлечь такое ничтожество.

Все так думали, все спрашивали, почему получилось именно так. Рэчел Куорлз явно стояла неизмеримо выше своего супруга. Но замуж выходят не за собрание добродетелей и талантов: замуж выходят за живого человека. В Сидни Куорлза, каким он был, когда делал предложение Рэчел, любая женщина могла бы влюбиться и даже верить в него; а Рэчел было всего восемнадцать лет, её жизненный опыт был весьма ограничен. Сидни был юн, а юность сама по себе уже добродетель. Юн и красив. Широкоплечий, высокий, пропорционально сложенный, Сидни Куорлз даже теперь, когда солидность начала переходить в полноту, все ещё производил внушительное впечатление. В двадцать три года его крупное тело было атлетическим, седеющие волосы, которые теперь окружали гладкую розовую тонзуру, тогда были золотисто-каштановыми и покрывали великолепными волнами весь его череп. Широкое румяное мясистое лицо было более свежим и твёрдым, менее лунообразным. Лоб — гладкий и высокий даже тогда, когда Сидни ещё не начал лысеть, — казался умным. Речь Сидни Куорлза не разрушала того впечатления, какое производила его наружность. Он говорил хорошо, хотя, с точки зрения некоторых, может быть, с чрезмерной заносчивостью и самодовольством. К тому же в те дни он пользовался блестящей репутацией: он только что окончил университет и был ещё окружён ореолом академической и дискуссионно-клубной славы. Оптимистически настроенные друзья рисовали его будущее в самых радужных красках. В то время когда Рэчел познакомилась с ним, подобные пророчества казались вполне обоснованными. Как бы там ни было, обоснованно или необоснованно, но она полюбила его. Они поженились, когда ей было всего девятнадцать лет.

Отец оставил Сидни кругленькое состояние. Дело (у мистера Куорлза-отца был сахарный завод) было, что называется, «на ходу». Имение в Эссексе приносило доход. Городской дом помещался на Портмен-сквер; загородный дом в Чэмфорде был просторный, построенный в георгианском стиле. Честолюбие толкало Сидни на путь политической деятельности. Поработав сперва в местном самоуправлении — это будут для него годы ученичества, — он затем пройдёт в парламент. Упорная работа и речи, одновременно блестящие и полные здравых мыслей, заставят обратить на него внимание как на восходящее светило. Ему предложат пост товарища министра, он быстро пойдёт в гору. Он может рассчитывать (так по крайней мере казалось тридцать пять лет назад) на осуществление своих самых честолюбивых помыслов.

Но Сидни, как говорил старый Бидлэйк, был лишь фасадом: внушительная наружность, звучный голос, поверхностный ум — и больше ничего. Позади красивого фасада скрывался подлинный Сидни, слабый, не обладающий упорством в серьёзных делах, хотя и упрямый тогда, когда дело касается пустяков, быстро воспламеняющийся, но ещё быстрее остывающий. Даже ум его оказался умом того сорта, который встречается у первых учеников, пишущих латинские стихи в духе Овидия или остроумные пародии на Геродота. Наделе его блестящие способности шестиклассника оказались одинаково бесплодными в сфере как чисто интеллектуальной, так и практической жизни. Когда Сидни своим неумением вести дела и лихорадочными спекуляциями довёл отцовское предприятие до почти полного банкротства (к счастью, Рэчел удалось уговорить его своевременно продать завод); когда его политическая карьера была загублена годами лени, сменявшейся приступами беспорядочной деятельности, — тогда он решил, что его призвание — быть публицистом. В первом порыве энтузиазма он даже ухитрился дописать до конца книгу о принципах государственности. Поверхностная и туманная, банальная по мыслям, что особенно бросалось в глаза благодаря претенциозно-цветистому языку, блиставшему острыми словечками, книга была встречена заслуженным пренебрежением, которое Сидни Куорлз приписал проискам своих политических противников. Он верил, что потомство воздаст ему должное.

Со времени опубликования первой книги мистер Куорлз писал, или считалось, что писал, другой, гораздо более обширный и значительный труд — о демократии. Размеры этого труда и его значительность служили оправданием тому, что его завершение все время

откладывалось. Он принялся за работу более семи лет назад, и до сих пор, говорил он всем, кто проявлял интерес к его книге (качая при этом головой с выражением человека, взявшегося за почти непосильный труд), и до сих пор ещё не покончил с собиранием материалов.

— Это геркулесов труд, — говорил он с видом одновременно мученическим и тщеславным. Разговаривая, он обычно подымал лицо и выбрасывал слова в воздух, точно гаубица, глядя на собеседника (если он вообще удостоивал его этой чести) из-под опущенных век. У него был звучный голос, и говорил он, растягивая гласные, с тем самым бляением, каким истые оксфордцы обогатили английский язык. Его речь напоминала бляение целого стада овец: — Геркулесов труд! — Слова сопровождались вздохом: — Просто ужасно.

Если вопрошающий возбуждал в нем доверие, он вёл его в кабинет и показывал ему (или предпочтительно ей) огромное количество картотек и регистраторов, которыми он окружил свой письменный стол. По мере того как время шло, а книга не подавала никаких признаков жизни, мистер Куорлз все умножал и умножал число этих внушительных предметов: они служили вещественными доказательствами его трудов, они символизировали немислимую трудность его задачи. Одних пишущих машинок у него было три. Портативная «Корона» сопровождала его повсюду, на тот случай, если вдохновение снизойдёт на него во время путешествия. Иногда, когда он чувствовал потребность произвести особенно солидное впечатление, он брал с собой «Гаммонд» — более крупную машинку, в которой буквы помещались не на отдельных рычажках, а на съёмном круге, прикреплённом к вращающемуся барабану, так что можно было сменять по желанию шрифт и писать по-гречески или по-арабски, русскими буквами или математическими символами, в зависимости от требования данной минуты: у мистера Куорлза была обширная коллекция различных шрифтов, которыми он, разумеется, никогда не пользовался, что не мешало ему так гордиться ими, точно каждый из них представлял собой какой-нибудь его талант или достижение. Наконец, была ещё третья, и последняя, машинка, очень большой и очень дорогой конторский аппарат, являвшийся одновременно и пишущей и счётной машиной. Она очень полезна, пояснял мистер Куорлз, при статистических подсчётах, необходимых для его труда и при проверке отчётов по имению. И он с особенной гордостью показывал на присоединённый к машинке небольшой электрический мотор: вы вставляете вилку в штепсель — и мотор делает за вас все, то есть все, кроме писания книги. Вам достаточно прикоснуться к клавишам. Вот так (и мистер Куорлз показывал, как это делается); электрическая энергия заставит букву войти в соприкосновение с бумагой. Никакой затраты мускульной энергии. Вы можете печатать восемнадцать часов без перерыва (этим мистер Куорлз давал понять, что он сам, подобно Бальзаку и сэру Исааку Ньютону, нередко просиживает за работой по восемнадцати часов в сутки), вернее сказать, можно печатать сколько угодно времени, не испытывая никакого утомления, по крайней мере что касается пальцев. Американское изобретение. Очень остроумно.

Мистер Куорлз купил свою пишущую и счётную машину как раз тогда, когда окончательно перестал принимать участие в управлении имением. Вначале Рэчел предоставила имение ему. Нельзя сказать, чтобы здесь он вёл дела лучше, чем на заводе, который она, как раз вовремя, уговорила его продать. Но здесь отсутствие прибыли не имело такого значения, а убытки, когда таковые имелись, были незначительны. Рэчел Куорлз надеялась, что возня с имением будет для её мужа здоровым развлечением. Ради этого стоило кое-чем пожертвовать. Но цена, которую пришлось за это платить в годы послевоенной депрессии, оказалась слишком высокой, а по мере того, как Сидни все меньше и меньше вникал в повседневные мелочи управления, цена угрожающе возрастала, тогда как цель, ради которой эту цену платили — здоровое занятие для Сидни, — не достигалась. Правда, время от времени в голову Сидни приходила какая-нибудь идея, и он внезапно с необычайным рвением погружался в то, что он называл «усовершенствованиями». Так, однажды, прочтя книгу об американских методах ведения хозяйства, он приобрёл целый

набор дорогих машин — только для того, чтобы убедиться, что размеры имения отнюдь не оправдывали издержек: для его машин не хватало работы. Позже он построил консервный завод, но завод не окупался. Так как его «усовершенствования» не имели успеха, он быстро терял к ним интерес. Упорной работой и неослабным вниманием, вероятно, можно было бы со временем добиться, чтобы они стали выгодными; пока же, из-за небрежного отношения к ним Сидни, они приводили к сплошным убыткам. Решительно, цена была слишком высока, и платить приходилось совершенно зря.

Миссис Куорлз решила, что пора изъять имение из ведения Сидни. Со свойственным ей тактом — за тридцать с лишним лет замужества она достаточно хорошо изучила своего супруга — она убедила его, что у него останется больше времени для его великого труда, если он предоставит управлять имением кому-нибудь другому. С этим утомительным делом отлично могут справиться она и управляющий. Не было никакого смысла расточать на подобную механическую работу таланты, которые можно было бы использовать гораздо целесообразней. Убедить Сидни было не так трудно. Имение наскучило ему; гордость его была уязвлена тем, что, невзирая на все его усовершенствования, имение упорно продолжало приносить убыток. В то же время он понимал, что, отказавшись от имения, он тем самым признает себя неудачником и лишней раз признает превосходство своей жены. Он согласился посвящать меньше времени мелочам, связанным с управлением, но пообещал, или, вернее, пригрозил, что будет по-прежнему не спускать с него глаз, будет, как божество, издали, но тем не менее весьма внимательно, присматривать за делами в свободные от литературных трудов минуты. Именно тогда, чтобы оправдать себя и придать себе больше значительности, он купил пишущую и счётную машину. Она символизировала невероятную сложность литературной работы, которой он теперь всецело отдался; и в то же время она служила доказательством, что он не совсем отказался и от практической жизни. Счётная машина нужна была ему не только для того, чтобы оперировать статистическими данными (мистер Куорлз был слишком благоразумен, чтобы объяснять, как именно он ими оперирует), но и для того, чтобы вести отчётность; подразумевалось, что бедняжка Рэчел и управляющий погибли бы без его просвещённого содействия.

Конечно, Сидни не соглашался открыто признать превосходство своей жены. Но все его поведение в жизни определялось тем, что, смутно чувствуя это превосходство и испытывая от этого обиду, он стремился доказать, что сам он, несмотря ни на что, ничуть не хуже её, а по существу даже лучше. Именно эта обида, это стремление доказать своё превосходство в собственном доме заставляли его с таким упорством цепляться за неудачную карьеру политического деятеля. Предоставленный самому себе, он, вероятно, отказался бы от политики сразу же, убедившись, что это дело нелёгкое и скучное: лень была развита в нем сильнее, нежели честолюбие. Но нежелание признать себя неудачником (а это признание неизбежно заставляло бы его признать и превосходство жены) не позволяло ему отказаться от места в парламенте. Разве мог он признать себя побеждённым, когда у него на глазах Рэчел продолжала оставаться все такой же спокойно-деловитой? Все, что делала Рэчел, удавалось ей; все любили её и восхищались ею. Именно для того, чтобы превзойти её в глазах света и своих собственных, он цеплялся за политику, он с головой погружался в нелепые затеи, которыми была отмечена его парламентская карьера. Считая ниже своего достоинства быть рабом своей партии и добиваясь славы, он с энтузиазмом принимал участие в любой политической кампании — только для того, чтобы очень скоро с отвращением от неё отказаться. Уничтожение смертной казни, борьба с вивисекцией, тюремная реформа, улучшение условий работы в Западной Африке — на все эти кампании он реагировал бурным красноречием и кратковременной вспышкой энергии. В воображении он видел себя победоносным реформатором, самое участие которого приносило успех затеянной кампании. Но стены Иерихона не падали при звуках его трубного гласа, а он был не таким человеком, чтобы предпринимать длительную осаду. Повешения, истязание собак и лягушек, судьба заключённых в одиночных камерах и угнетаемых негров — все это быстро теряло для него всякий интерес. А Рэчел оставалась все такой же деловитой, все такой же

любимой и ценимой всеми. Рэчел вдвойне способствовала тому, чтобы Сидни занимался политикой, невольно — тем, что она была собой, а он был её мужем, и намеренно — тем, что она поощряла его. Вначале она искренно верила в него: она ободряла своего героя. Но прошло очень немного лет, и вера в его конечный успех сменилась робкой надеждой. Когда пропала и надежда, она все-таки продолжала поощрять его из дипломатических соображений — потому что неудачи политические обходились не так дорого, как неудачи деловые. Когда Сидни занимался делами, это было очень разорительно. Она не решалась сказать ему об этом и не решалась посоветовать ему продать завод: этим она только заставила бы его ещё с большим упорством цепляться за дело. Подвергая сомнению его коммерческие способности, она тем самым толкнула бы его на новые и более рискованные спекуляции. На неодобрительные замечания Сидни реагировал неистовым и упрямым сопротивлением. Наученная горьким опытом, Рэчел Куорлз старалась отвлечь его от рискованных операций, поощряя его политическое честолюбие. Она сознательно преувеличивала значение его парламентской деятельности. Какую высокую, какую благородную миссию он выполняет! И какая жалость, что мелочные заботы отнимают у него так много времени и энергии! Сидни легко попался на эту удочку, невольно испытывая даже некоторую благодарность. Деловая рутина наскучила ему; неудачные спекуляции начинали тревожить его. Он ухватился за дипломатически предложенную женой возможность снять с себя ответственность. Он продал предприятие тогда, когда это ещё можно было сделать, и вложил деньги в ценности, приносящие доход без всякого участия с его стороны. Это уменьшило его доход примерно на одну треть; но зато доход был верный, а Рэчел только к этому и стремилась. Сидни многозначительно намекал на те огромные финансовые жертвы, на какие он пошёл ради того, чтобы иметь возможность все своё время посвящать несчастным заключённым. (Позже заключённых сменили несчастные негры; но разговоры о принесённых жертвах не прекращались.)

Когда наконец Сидни надоело быть политическим ничтожеством и выносить обиды со стороны лидеров своей партии и он вышел из парламента, миссис Куорлз не возражала. У них больше не было предприятия, которое её супруг мог бы разорить, а имение в те дни послевоенного подъёма приносило некоторый доход.

Сидни объяснил, что для практической политики он слишком хорош: политика унижает достойного человека, грязнит его. Он решил (потому что сознание превосходства Рэчел не давало ему покоя) посвятить себя чему-нибудь более важному, чем «жа-алкая» политика, чему-нибудь более достойному. Заниматься философией политики лучше, чем быть просто политиканом. Каким-то чудом Сидни удалось закончить и опубликовать свой первый вклад в политическую философию. Длительная работа, потребовавшаяся для написания этой книги, излечила его от писательского рвения; провал книги внушил ему окончательное отвращение к этому виду деятельности. А Рэчел оставалась все такой же деловитой и любимой всеми. В целях самозащиты он объявил о своём намерении дать миру самый обширный и самый полный труд по истории демократии. Конечно, Рэчел может быть очень деятельной в своих комитетах, делать добрые дела, пользоваться любовью соседей, иметь друзей и переписываться со многими людьми; но что значило все это по сравнению с писанием самого обширного труда о демократии? Все несчастье было в том, что книга никак не писалась. Когда Рэчел проявляла особенную деловитость, когда люди особенно любили её, мистер Куорлз заводил себе новую картотеку, или какой-нибудь усовершенствованный блокнот, или вечное перо с особенно большим резервуаром — такое вечное перо, объяснял он, которым можно написать шесть тысяч слов, не наполняя его снова чернилами. Конечно, его «достижения» трудно было сравнивать с достижениями Рэчел; но Сидни Куорлз считал их по меньшей мере равноценными.

Филип и Элинор провели несколько дней с миссис Бидлэйк в Гаттендене. Затем пришла очередь родителей Филипа. Молодые Куорлзы прибыли в Чэмфорд как раз тогда, когда Сидни только что купил диктофон. Сидни не мог позволить своему сыну долго оставаться в неведении относительно его последнего достижения: диктофон был самым

большим его триумфом со времён пишущей и счётной машин.

— Я то-олько что сделал одно приобретение, — сказал он своим сочным голосом, выстреливая слова в воздух, поверх головы Филипа. — Оно должно заинтересовать тебя как писателя. — Он повёл его в свой кабинет.

Филип следовал за ним. Он ожидал, что его засыплют вопросами о Востоке и о тропиках. Вместо этого отец небрежно осведомился о его путешествии и, раньше чем Филип успел ответить, принялся говорить о своих собственных делах. В первую минуту Филип был озадачен и даже слегка обижен. Но Луна, подумал он, кажется нам больше Сириуса, потому что она ближе. Путешествие, его путешествие, было для него Луной, а для его отца — самой крошечной из мелких звёзд.

— Вот, — сказал мистер Куорлз и снял крышку. Под ней обнаружился диктофон. — Замечательное изобретение. — Он говорил с глубоким самодовольством. Его собственная Луна восходила во всем своём великолепии. Он объяснил, как действует прибор. Потом, задрвав голову, он провозгласил: — Незаменимая вещь, когда в голову неожиданно приходит какая-нибудь мысль. Её сразу же облакаешь в слова. Говоришь сам с собой, а прибор запоминает. Я ставлю его каждый вечер в спальне. Когда лежишь в постели, в голову иной раз приходят изумительные мысли, не правда ли? Без диктофона они терялись бы безвозвратно.

— А что ты делаешь, когда кончается пластинка? — осведомился Филип.

— Посылаю своему секретарю для перепечатки. Филип поднял брови:

— Ах, у тебя теперь есть секретарь? Мистер Куорлз кивнул с важным видом.

— Да, на неполном рабочем дне пока что, — сказал он, обращаясь к карнизу противоположной стены. — Ты себе представить не мо-о-жешь, какая масса у меня работы. Одна книга чего стоит, а потом имение, и письма, и счета, и... и... все такое, — беспомощно закончил он. Он вздохнул, он мученически покачал головой. — Тебе гораздо легче, мой мальчик, — продолжал он. — Тебя ничто не отвлекает. Ты можешь отдавать творчеству все своё время. Как я завидую тебе! Но мне приходится заниматься имением и всем прочим. Это низменно, но приходится этим заниматься. — Он снова вздохнул. — Я завидую твоей свободе.

— Иногда я сам себе завидую, — рассмеялся Филип. — Но с диктофоном тебе будет гораздо легче.

— О, разумеется, — согласился мистер Куорлз.

— Как подвигается книга?

— Медленно, — ответил отец, — но верно. Я собрал уже почти все материалы.

— Что ж, это уже много.

— Вы, романисты, — покровительственно сказал мистер Куорлз, — счастливый народ. Сели за стол — и написали. Никакой предварительной работы. Ничего похожего на э-это. — Он показал рукой на свои регистраторы и картотеки. Они говорили о его превосходстве, а также о тех огромных трудностях, которые ему предстояло преодолеть. Конечно, книги Филипа имеют успех. Но что такое роман? Развлечение на час — не больше: прочесть и небрежно отшвырнуть в сторону. Тогда как самый обширный труд о демократии... Роман всякий может написать. Поживёт человек, а потом опишет, как он жил, — вот и все. А для того, чтобы создать самый обширный труд о демократии, необходимо делать заметки, собирать из бесчисленных источников материалы, покупать регистраторы и пишущие машинки — переносные, многоязычные, счётные; необходимы картотеки, и блокноты, и вечное перо, которым можно написать шесть тысяч слов, не наполняя его снова чернилами; необходимы диктофон и секретарь, которого вскоре придётся перевести на полный рабочий день. — Ничего похожего на это, — повторил он.

— Да, конечно, — сказал Филип, расхаживая по комнате и осматривая аппаратуру отца. — Ничего похожего на это. — Он вытащил из-под пресс-папье, лежавшего рядом с закрытой пишущей машинкой, несколько газетных вырезок. — Головоломки? — спросил он, рассматривая перечёркнутые по всем направлениям чертёжики. — Ты, оказывается, стал

любителем кроссвордов?

Мистер Куорлз отнял у сына вырезки и спрятал их в ящик. Как неприятно, что Филип их увидел! Весь эффект от диктофона пропал.

— Де-етские забавы, — сказал он с маленьким смешком. — Но это прекрасный отдых, когда устаёшь от умственной работы. Я иногда забавляюсь ими. — На самом деле мистер Куорлз проводил за кроссвордами почти все утро. Они как раз соответствовали его типу ума. Он был одним из самых опытных решателей кроссвордов своей эпохи.

Тем временем в гостиной миссис Куорлз разговаривала со своей невесткой. Миссис Куорлз была маленькая подвижная женщина с седеющими волосами, с чёткими чертами правильного и красивого лица. Её выразительные серо-голубые глаза, все время менявшие оттенок, светились жизнью и энергией. На губах, так же живо, как в её глазах, отражались все её мысли и чувства: её губы были то серьёзными, то строгими, то улыбались, то грустили — на них как бы разыгрывалась хроматическая гамма тончайших оттенков переживаний.

— А как малютка Фил? — осведомилась она о своём внуке.

— Великолепно.

— Милый малыш! — Теплота чувства миссис Куорлз отразилась в глубокой интонации её голоса, в свете глаз. — Представляю себе, какой несчастной вы себя чувствовали, покидая его на такой большой срок.

Элино́р едва заметно пожала плечами.

— Ну, я знала, что мисс Фулкс и мама гораздо лучше сумеют позаботиться о нем, чем я. — Она рассмеялась и покачала головой. — Боюсь, что природа не создала меня матерью. С детьми я или раздражаюсь, или их балую. Маленький Фил, конечно, прелесть, но, будь их у меня много, я, вероятно, просто сошла бы с ума.

Выражение лица миссис Куорлз изменилось.

— Но разве не чудесно было снова увидеться с ним после стольких месяцев? — Вопрос этот был задан почти тревожным тоном. Она надеялась, что Элино́р ответит на него с той горячностью, какую проявила бы при этих обстоятельствах она сама. Но в то же время она боялась, что эта странная молодая женщина ответит (с той откровенностью, которая была в ней так хороша, но которая в то же время внушала беспокойство, потому что она открывала незнакомые и непонятные для Рэчел состояния души), что свидание с ребёнком не доставило ей ни малейшего удовольствия. Первые слова Элино́р были для неё облегчением.

— Да, это было чудесно, — сказала она, но сразу же ослабила действие этих слов, добавив: — Я и сама не ожидала, что так обрадуюсь. Но я была страшно взволнована.

Наступило молчание. «Странное существо!» — подумала миссис Куорлз, и на её лице отразилось то изумление, которое она всегда испытывала в присутствии Элино́р. Она изо всех сил старалась полюбить свою невестку; и до известной степени ей это удалось. Элино́р обладала множеством прекрасных качеств. Но ей не хватало чего-то, без чего Рэчел Куорлз не могла относиться с полной симпатией ни к одному человеческому существу. Казалось, у неё от рождения отсутствуют некоторые нормальные инстинкты. Не ожидать, что почувствуешь себя счастливой, снова увидев своего ребёнка, — это уже само по себе достаточно странно. Но ещё более странным показался ей спокойный и небрежный тон, каким было сделано это признание. Сама она стыдилась бы сделать такое признание, даже если бы она действительно так чувствовала. Она сочла бы это своего рода кощунством, отрицанием святости. У Рэчел было прирождённое преклонение перед святынями. Отсутствие у Элино́р этого преклонения, её неспособность хотя бы понять святость некоторых вещей мешали миссис Куорлз полюбить свою невестку так, как ей этого хотелось.

Со своей стороны Элино́р ценила, уважала, искренне любила свою свекровь. Но ей было необычайно трудно общаться с человеком, чьи взгляды и побуждения представлялись ей непонятными и даже нелепыми. Миссис Куорлз была глубоко религиозна. Она никому не навязывала своей веры, но всеми силами старалась жить согласно своим убеждениям. Элино́р восхищалась ею, но находила все это немного смешным и ненужным. Её самое воспитывали в религиозном духе. Но она не помнила, чтобы когда-нибудь, даже в детстве,

она серьёзно верила в то, что ей говорили об ином мире и его обитателях. Иной мир внушал ей скуку; её интересовал только этот мир. Конфирмация взволновала её не больше, чем первое посещение театра, — вернее сказать, даже гораздо меньше. Её отрочество прошло без всяких следов религиозного кризиса.

«По-моему, все это такая чушь», — говорила она, когда при ней спорили на подобные темы. И в её словах не было ни аффектации, ни желания подразнить. Она просто упоминала о факте своей внутренней биографии. Религия, а вместе с ней и всякая трансцендентальная этика, всякая отвлечённая метафизика казалась ей чепухой, подобно тому как запах горгонцолы¹⁶⁸ казался ей отвратительным. Для неё за пределами непосредственного опыта не лежало ничего. Иногда, например в данном случае, ей хотелось думать иначе. Она с удовольствием перешагнула бы через пропасть, отделявшую её от миссис Куорлз. В присутствии свекрови она чувствовала себя слегка неловко; она стеснялась высказывать при ней свои мысли и чувства. Она знала, что, выражая с полной откровенностью чувства, казавшиеся ей совершенно естественными, и высказывая мнения, казавшиеся ей вполне разумными, она огорчала свою свекровь, точно в этих чувствах и мнениях было что-то неестественное и неприличное. По тому выражению, какое промелькнуло на подвижном лице миссис Куорлз, она поняла, что то же самое получилось и сейчас. А что она, собственно, сказала? Элинор вовсе не хотела обидеть свою свекровь; ей оставалось только недоумевать. Она решила, что в будущем она вообще станет воздерживаться от собственных суждений — она будет просто соглашаться со всем.

Однако следующая тема разговора интересовала Элинор настолько живо, что воздержаться от собственных суждений было немислимо. К тому же она по опыту знала, что, говоря на эту тему, она не подвергается опасности оскорбить, хотя бы неумышленно, свою собеседницу. Во всем, что касалось Филипа, миссис Куорлз вполне одобряла чувства и взгляды Элинор.

— А как большой Фил? — спросила она.

— Вы сами видите, как он поправился... — Элинор говорила о его здоровье, хотя она отлично знала, что вопрос относится не к его физическому состоянию. Она боялась разговора на эту тему, но в то же время была рада случаю побеседовать о том, что непрерывно занимало её мысли и огорчало её.

— Да, да, это я вижу, — сказала миссис Куорлз. — Я спрашивала не о том. Как он чувствует себя внутренне? Каков он с вами?

Наступило молчание. Элинор нахмурила брови и потупилась.

— Далёкий, — наконец сказала она.

— Он всегда был таким, — вздохнула миссис Куорлз. — Всегда далёким. — Она считала, что и ему тоже не хватает чего-то, не хватает желания и способности отдавать себя, идти навстречу людям, даже тем, кто любит его, даже тем, кого он сам любит. Джоффри был совсем другой. Мысль о покойном сыне наполнила миссис Куорлз острой болью. Если бы кто-нибудь сказал ей, что она любила его больше, чем Филипа, она возмутилась бы: она любила обоих одинаково, по крайней мере вначале. Но Джоффри позволял любить себя более полной, более нежной любовью. Если бы Филип позволил больше любить себя! Но между ним и ею всегда была преграда, воздвигнутая самим Филипом. Джоффри шёл ей навстречу, давая ей: он не только брал. Но Филип всегда был замкнутым и скупым на чувства. Он закрывал перед ней двери своего «я», точно боясь, что она проникнет в его тайны. Она никогда не знала его настоящих чувств и мыслей. — Даже когда он был совсем ребёнком, — проговорила она вслух.

— А теперь у него работа, — сказала Элинор после долгой паузы. — И с ним стало ещё трудней. Его работа — точно замок на вершине горы. Он запирается там, и он неприступен.

Миссис Куорлз печально улыбнулась. «Неприступен». Да, именно так. Даже ребёнком

¹⁶⁸ Сорт итальянского сыра.

он уже был неприступен.

— Может быть, он когда-нибудь сдастся сам?

— Мне? — сказала Элино́р. — Или кому-нибудь другому? В последнем случае мне от этого будет мало радости, не так ли? Хотя, когда я настроена альтруистично, — добавила она, — я готова желать, чтобы он сдался кому угодно, лишь бы ему от этого стало лучше.

Слова Элино́р вызвали в сознании миссис Куорлз мысль о её муже. Хотя он был не прав, хотя он делал ей больно, она думала о нем без возмущения, а со снисходительной жалостью. Ей всегда казалось, что он не виноват. Ему просто не повезло.

Элино́р вздохнула.

— Нет, я не надеюсь, что он сдастся мне, — сказала она. — Он слишком привык ко мне. Я никогда не смогу стать для него откровением.

Миссис Куорлз покачала головой. Откровения, которые доставлял ей за последние годы Сидни, были несколько неожиданного и унижительного свойства: маленькая судомойка, дочь лесника. Как он может? — спрашивала она себя в тысячный раз. Как может он? Непостижимо.

— Если бы, — почти шёпотом сказала она, — если бы вы могли положиться на Бога! — Бог всегда был её утешением, Бог и выполнение воли Божьей. Она не понимала, как можно жить без Бога. — Если бы вы могли обрести Бога!

Элино́р саркастически улыбнулась. Замечания подобного рода всегда раздражали её, казались ей такими бессмысленными и не относящимися к делу.

— Пожалуй, проще было бы... — начала она, но сразу же остановила себя. Она хотела сказать, что было бы, пожалуй, проще отыскать мужчину. Но, вспомнив своё решение, она умолкла.

— Что вы сказали? Элино́р покачала головой:

— Ничего.

К счастью для мистера Куорлза, у Британского музея нет отделения в Эссексе. Только в Лондоне он мог производить изыскания и собирать материалы для своей книги. Дом на Портменсквер пришлось сдать внаём (мистер Куорлз винил в этом подходящий налог, но в действительности ответственны за это были его собственные спекуляции); поэтому, когда научные занятия приводили его в город, ему приходилось останавливаться в скромной маленькой квартирке в Блумсбери («о-очень удобно, так близко к Музе-ею»).

За последние несколько недель необходимость в научных изысканиях стала особенно неотложной. Его поездки в Лондон сделались частыми и длительными. После второй из этих поездок миссис Куорлз с грустью подумала: неужели Сидни опять кого-нибудь себе завёл? А когда, вернувшись из третьей поездки и несколькими днями позже, накануне четвёртой, он принялся разглагольствовать о сложности демократических учреждений у древних индусов, Рэчел окончательно убедилась, что за всем этим скрыта женщина. Она хорошо знала Сидни. Если бы он действительно читал литературу о древних индусах, он не стал бы разглагольствовать о них за обеденным столом — или, во всяком случае, столь словообильно и назойливо. Сидни говорил по той же причине, по какой испуганная каракатица выпускает сепию: чтобы скрыть свои движения. За дымовой завесой древних индусов он надеялся незаметно ускользнуть в город. Бедный Сидни! Он считал себя таким дипломатом! Но дымовая завеса была прозрачной, его хитрость была детской.

— Почему ты не обратишься в лондонскую библиотеку, чтобы тебе присылали книги сюда? — многозначительно спросила миссис Куорлз.

Сидни покачал головой.

— Эти книги, — сказал он с важным видом, — есть только в Музее.

Рэчел вздохнула: лишь бы только эта женщина оказалась достаточно опытной — настолько, чтобы самой не попасть в беду, однако не настолько, чтобы наделать неприятностей мистеру Куорлзу.

— Пожалуй, завтра я поеду в город вместе с вами, — объявил он утром накануне дня отъезда Филипа и Элино́р.

— Опять? — спросила миссис Куорлз.

— Там есть один вопрос насчёт этих проклятых индусов, — объяснил он, — который мне просто необходимо выяснить. Я надеюсь найти то, что мне нужно, в книге Праматханатха Банерджи. Или, может быть, об этом говорится у Радакхумуда Мукерджи. — Он произносил их имена внушительным тоном специалиста. — Это относительно ме-естного самоуправления в эпоху Маурья ¹⁶⁹. Такой, знаете ли, демократизм, несмотря на деспотическую центральную власть. Например...

Сквозь дымовую завесу миссис Куорлз уловила очертания женской фигуры.

После завтрака Сидни удалился в свой кабинет и занялся утренним кроссвордом. Разновидность лука, шесть букв. Предвкушение завтрашнего дня не давало ему сосредоточиться. Её груди, думал он, её гладкая белая спина... Может быть, «порей»? Не годится: всего пять букв. Подойдя к книжному шкафу, он взял Библию; её тонкие страницы зашелестели в его руках: «Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твоё — ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои — как два козлёнка, двойни серны» ¹⁷⁰. Соломон говорил за него, и какими величавыми словами! «Округления бёдер твоих как ожерелье, дело рук искусного художника» ¹⁷¹. Он перечёл эти слова вслух. У Глэдис была прекрасная фигура. «Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино». Восточные люди знали, что такое страсть. Принимая похотливость за страсть, мистер Куорлз считал себя очень страстным человеком. «Чрево твоё — ворох пшеницы, обставленный лилиями». Страсть достойна уважения, в некоторых странах её даже уважает закон. Поэты считают её священной. Он целиком соглашался с поэтами. Но «как два козлёнка, двойни серны» — неподходящее сравнение: Глэдис была пухленькая, хотя и не жирная, тело у неё было упругое. Тогда как серны... Сидней считал себя человеком сильных страстей, положительно благородной и героической фигурой. «Запертый сад — сестра моя, невеста, заключённый колодезь, запечатанный источник: рассадники твои — сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами. Нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревьями, мирра...» Ну конечно же, это — чеснок! Шесть букв. Разновидность лука. «Мирра и алой со всякими лучшими ароматами» ¹⁷².

На следующее утро их поезд опоздал почти на двадцать минут.

— Возмути-ительно! — повторял мистер Куорлз, взглядывая на часы. — Невыносимо!

— Ты, как видно, очень торопишься к своим индусам, — улыбнулся из своего угла Филип.

Его отец нахмурился и перевёл разговор на другую тему. На Ливерпуль-стрит они разъехались в разные стороны: Сидней в одном такси, Филип и Элинора — в другом. Сидни приехал на свою квартиру как раз вовремя. Когда раздался звонок, он ещё смывал дорожную грязь со своих больших мясистых рук. Он поспешно ополоснул их и вытерся, затем, придав своему лицу должное выражение, вышел в переднюю и открыл дверь. Это была Глэдис. Он принял её с королевской снисходительностью, подняв подбородок, откинув плечи, выпятив грудь, но улыбаясь ей сверху вниз (Глэдис называла себя *petite* ¹⁷³) и милостиво подмигивая ей сквозь полуопущенные веки. Ему в ответ улыбнулось наглое, вульгарное курносое

¹⁶⁹ Династия царей в области Магадха в Индии в 4-2 вв. до н.э.

¹⁷⁰ Книга Песни Песней Соломона, 7:3-4.

¹⁷¹ Книга Песни Песней Соломона, 7:2.

¹⁷² Книга Песни Песней Соломона, 4:14.

¹⁷³ Малышка (фр.).

личико. Но не её лицо привело мистера Куорлза в Лондон, не индивидуальная Глэдис Хелмсли: его влекла в ней женщина как таковая, её «фигу'а», как иносказательно формулировал это Сидни.

— Вы о-очень пунктуальны, дорогая, — сказал он, протягивая ей руку.

Глэдис была несколько смущена холодностью его приветствия. После того что произошло в последний раз, она ожидала более нежного приёма.

— Разве? — сказала она, потому что ей больше нечего было сказать; и так как человеческие существа располагают для выражения своих многочисленных эмоций весьма ограниченным количеством звуков и гримас, она рассмеялась, точно её что-то позабавило, тогда как на самом деле она была удивлена и обескуражена. На языке у неё вертелся вопрос, почему он не поцеловал её, неужели она ему надоела — уже надоела. Но она решила подождать.

— Почти слишком пунктуальны, — продолжал Сидни. — Мой поезд возмутительно опоздал. Возмутительно! — Он излучал негодование.

— Вишь ты! — сказала Глэдис. Внешняя утончённость иногда вдруг спадала с её речи, которая становилась неприкрыто простонародной.

— Просто возмути-тельно! — сказал Сидни. — Поезда не должны опаздывать. Придётся написать начальнику станции на Ливерпуль-стрит. Не знаю, — добавил он с ещё более важным видом, — может быть, следовало бы написать и в «Таймс».

На Глэдис эти слова произвели впечатление. Мистер Куорлз на это и рассчитывал. Если оставить в стороне удовлетворение чувственных желаний, самым приятным в этих его сексуальных каникулах было то, что он проводил их с такими женщинами, на которых он «производил впечатление». Чувствовать себя безусловно высшим и искренне обожаемым было для Сиднея не меньшим удовольствием, чем самые объятия. Уезжая в город, он отдыхал не только от нравственного образа жизни, но и от того чувства приниженности, которое неуклонно преследовало его повсюду: дома, в парламенте, в конторе. Он хотел быть человеком не только «страстным», но и великим.

Громы, которые метал Сидни, производили на Глэдис нужное впечатление. Но вместе с тем они её забавляли. Для неё, принадлежавшей к миру бедных и терпеливых рабов заработной платы, которые мирятся с житейскими невзгодами как с явлениями природы, не зависящими ни от действий, ни от желаний людей, мистер Куорлз был олимпийцем. Он был одним из богатых; богатые не мирятся с невзгодами: они пишут письма в «Таймс», они нажимают пружины, используют своё влияние, подают формальные иски при содействии всегда дружелюбной и услужливой полиции. Глэдис это казалось удивительным, но в то же время очень комичным. В поведении Сидни было что-то чрезмерно шумное и бестолковое. Он слишком напоминал мюзик-холльную пародию на самого себя. Она восхищалась, она прекрасно понимала экономическую и социальную подоплёку поведения Сидни (именно это заставило её так легко стать любовницей). Но, кроме того, она смеялась. Ей недоставало почтительности.

Мистер Куорлз открыл дверь гостиной и пропустил Глэдис вперёд.

— Марш! — сказала Глэдис и вошла.

Он пошёл следом за ней. У неё на затылке тёмные вьющиеся волосы оканчивались стрелкой, обращённой вниз, к спинному хребту. На ней было тонкое зеленое платье. Сквозь полупрозрачную материю чуть ниже подмышек виднелась линия, где кончалось бельё и начиналось голое тело. Чёрный лакированный пояс косо спускался на бедра; при каждом шаге он с ритмической равномерностью подпрыгивал на её левом бедре. Чулки были цвета загара. Выросший в эпоху, когда женщины — насколько можно было судить по внешнему виду — передвигались на колёсах, мистер Куорлз был особенно восприимчив к икрам, считал современные моды замечательными и никак не мог отделаться от мысли, что молодые женщины, одевающиеся по моде, совершают это неприличие специально ради него, для того чтобы он стал их любовником. Его глаза следовали за изгибами блестящего коричневатого фильдеперса. Но больше всего привлекал его сегодня чёрный кожаный пояс,

подскакивавший на левом бедре с регулярностью механизма при каждом её шаге. Сидни воспринимал это подпрыгивание как призыв всего неиндивидуализированного вида, всей женской половины человеческого рода.

Глэдис остановилась и обернулась к нему с вызывающей и кокетливой улыбкой. Но мистер Куорлз не ответил ей тем жестом, какого она ожидала.

— Я привёз с собой «Корону», — сказал он. — Пожалуй, лучше начнём сейчас же.

Во второй раз Глэдис испытала удивление, хотела было выразить его вслух, но снова промолчала и села за машинку.

Мистер Куорлз надел пенсне в черепаховой оправе и открыл портфель. Он сделал её своей любовницей, но это не значило, что он должен терять машинистку, чьи услуги он в конце концов оплачивает.

— Пожалуй, — сказал он, глядя поверх пенсне, — мы начнём с писем к начальнику станции и в «Таймс». — Глэдис вставила бумагу и напечатала дату. Мистер Куорлз прочистил горло и начал диктовать. В письмах, думал он с удовлетворением, было несколько превосходных оборотов. «Непростительная расхлябанность, приводящая к потере времени, более дорогого, нежели время сонных железнодорожных бюрократов» — это просто великолепно. Или, например (специально для «Таймс»): «...наглые общественные паразиты находящейся под покровительством государства отрасли народного хозяйства».

— Это их проучит, — удовлетворённо заявил он, перечитав письма. — Посмотрим, как они теперь запляшут. — Он взглянул на Глэдис, ожидая оаций; но улыбка на её дерзком личике не вполне удовлетворила его. — Какая жалость, что умер старый лорд Хэгуорм! — добавил он, призывая на помощь могущественных союзников: — Я бы написал ему: он был директором железной дороги. — Но последний из Хэгуормов скончался в 1912 году. А Глэдис по-прежнему забавлялась больше, чем восхищалась.

Мистер Куорлз продиктовал ещё десяток писем, ответы на корреспонденцию, накопленную за несколько дней до приезда в Лондон, для того чтобы произвести более значительное впечатление, а также для того, чтобы полностью использовать оплачиваемое им рабочее время Глэдис.

— Слава Богу, — сказал он, дописав последнее письмо. — Вы не можете себе представить, — продолжал он (великий мыслитель пришёл на помощь помещику), — вы не можете себе представить, как раздражают эти житейские мелочи, когда у человека есть более серьёзные и значительные темы для размышлений.

— Ещё бы, я думаю, — отозвалась Глэдис, думая про себя: «Какой он чудной!»

— Запишите, — приказал мистер Куорлз, которого внезапно осенила мысль. Он откинулся на спинку кресла и, закрыв глаза, стал ловить ускользавшую от него фразу.

Глэдис ждала, положив пальцы на клавиатуру. Она взглянула на часы на браслете. Десять минут первого. Скоро ленч. Новые часы — это первое, что она заставит его подарить ей. У неё такие дешёвые, дрянные часы, и они так скверно идут.

— Для тома «Размышлений», — продиктовал мистер Куорлз, не открывая глаз. Клавиши застучали. «Башня из слоновой кости», — повторил он про себя. Эти слова громким эхом прокатились по коридорам его сознания. Фраза поймана. Он быстро выпрямился, открыл глаза — и его взгляд сейчас же упал на видневшийся гораздо выше колена фильдеперсовый чулок цвета загара.

— Всю свою жизнь, — диктовал он, не отрывая глаз от чулка, — я страдал от неуместного — нет: лучше назойливого — вторжения житейских мелочей. Точка. Некоторые мыслители — запятая — я знаю — запятая — способны не обращать внимания на эти мелочи — запятая — и — запятая — посвятив им столько внимания — запятая — сколько они заслуживают — запятая — с неомраченной душой возвращаются к более возвышенным предметам. Точка.

Наступило молчание. Над фильдеперсом, думал мистер Куорлз, начинается кожа — гладкая, плотно обтягивающая крепкую, с нежным изгибом плоть. Ласкать и, лаская, ощущать ласкающее прикосновение шелковистой кожи к кончикам пальцев; сжимать

пальцами упругую плоть. Даже укусить. Как круглая чаша, как ворох пшеницы.

Вдруг ощутив на себе его взгляд, Глэдис одёрнула юбку.

— На чем я остановился? — спросил мистер Куорлз.

— «Более возвышенным предметам», — прочла с листа Глэдис.

— Гм. — Он потёр нос. — Для меня — запятая — увы — запятая — это спокойствие всегда оставалось недостижимым — точка с запятой — слишком велика моя первая восприимчивость. Точка. Низвергнутый с башен слоновой кости — запятая — где обитает Мысль, — он произнёс эту фразу с упоением, смакуя каждое слово, — запятая — в прах обыденного существования — запятая — я прихожу в отчаяние — запятая — я теряю душевное равновесие и неспособен снова подняться на мою башню.

Он встал и беспокойно зашагал по комнате.

— В этом — моя беда, — сказал он. — Я слишком восприимчив. У глубокого мыслителя не должно быть ни темперамента, ни нервов. Он не имеет права быть страстным.

Кожа, думал он, упругая плоть. Он остановился позади её стула. Маленький треугольник вьющихся волос, обращённый остриём вниз, к спинному хребту. Он положил руки ей на плечи и склонился над ней.

Глэдис посмотрела на него снизу вверх так дерзко, торжествующе.

— Ну? — спросила она.

Мистер Куорлз нагнулся ниже и поцеловал её в шею. Она захихикала.

— Как вы щекочетесь!

Его руки ощупывали всю её, скользили вдоль её рук, сжимали её тело — тело всего вида, всего женского пола. Индивидуальная Глэдис продолжала хихикать.

— Бесстыдник, — сказала она, притворяясь, что отталкивает его руки. — Бесстыдник!

XXI

— Месяц назад, — сказала Элинор, когда их такси отъезжало от вокзала на Ливерпуль-стрит, — мы были в Удайпуре.

— Это кажется неправдоподобным, — согласился Филип.

— Десять месяцев путешествия прошли как один час в кино. Вот банк. Я начинаю сомневаться: а действительно ли я уезжала? — Она вздохнула. — Довольно неприятное чувство.

— Разве? — ответил Филип. — А я к нему привык. Мне всегда кажется, что до сегодняшнего утра ничего не было. — Он высунулся в окошко. — Не понимаю, для чего люди ездят смотреть Тадж-Махал, когда есть собор Святого Павла. Какое чудо!

— Да. Белый и чёрный камень — просто замечательно.

— Похоже на гравюру. Вдвойне произведение искусства. Одновременно архитектурный памятник и старинная гравюра. — Он откинулся на спинку сиденья. — Порой я сомневаюсь: было ли у меня когда-нибудь детство, — продолжал он, возвращаясь к предыдущему разговору.

— Это оттого, что ты никогда о нем не думаешь. А для меня многие воспоминания детства реальней, чем эта улица. Но это потому, что я постоянно думаю о нем.

— Пожалуй, — сказал Филип. — Я очень редко вспоминаю. Вернее, почти никогда. Всегда столько дела и столько мыслей о настоящем.

— У тебя отсутствует религиозное чувство, — сказала Элинор. — К сожалению.

Они проезжали по Стрэнду. Две маленькие церквушки тщетно старались защититься от подавляющего их Дома Австралии. Во дворе Королевского колледжа группа юношей и девушек сидела на солнышке, ожидая профессора теологии. У главного входа «Гейети» 174

уже стоял хвост; афиши анонсировали четырехсотое представление «Девушки из Биаррица». Рядом с «Савоем» попрежнему, как и перед отъездом Филипа, продавались со скидкой ботинки — 12 шиллингов 6 пенсов за пару. На Трафальгарсквер играли фонтаны, скалились львы сэра Эдвина Лэндсира, и любовник леди Гамильтон стоял вознесённый к облакам ¹⁷⁵, точно святой Симеон-столпник. А позади чёрной от копоти колоннады Национальной галереи все так же бились всадники Уччелло, Рубенс похищал своих сабинянок, Венера смотрелась в зеркало, и среди ликующего хора ангелов Пьеро в волшебном-прекрасном мире рождался Иисус ¹⁷⁶.

Машина повернула вниз по Уайтхоллу.

— Мне доставляет удовольствие думать о чиновниках.

— А мне нет, — сказала Элинора.

— Скребут по бумаге, — продолжал Филип, — с утра до вечера, чтобы дать нам возможность жить в мире и спокойствии. Скребут и скребут, и вот результат — Британская империя. Как удобно, — добавил он, — жить в мире, где можно поручить другим заниматься всеми скучными делами, начиная от управления страной и кончая приготовлением колбас.

У ворот конногвардейских казарм неподвижно, как статуи, стояли конные часовые. У Кенотафа ¹⁷⁷ пожилая леди стояла, закатив глаза и бормоча молитву над «кодаком», с помощью которого она собиралась сделать моментальный снимок с душ девятисот тысяч убитых. Чернобородый сикх в сиреновом тюрбане вышел от Гриндли. «Биг-Бен» показывал двадцать семь минут двенадцатого. Дремал ли в этот час какой-нибудь маркиз в библиотеке палаты лордов? Компания американцев выгрузилась из туристского автобуса у дверей Вестминстерского аббатства. Посмотрев назад сквозь окошечко в кожаном верхе машины, Филип и Элинора убедились, что госпиталь по-прежнему нуждается в пожертвованиях.

Дом Джона Бидлэйка находился на Гровенор-роуд, он выходил на Темзу.

— Пимлико ¹⁷⁸, — мечтательно сказал Филип, когда они подъехали. Он рассмеялся. — Помнишь ту глупую песенку, которую всегда распевал твой отец?

— «Мы в Пимлико с тобой пойдём», — продекламировала Элинора.

— «А дальше стих не напечатан» — не забывай. — Оба засмеялись, вспомнив комментарии Джона Бидлэйка: «А дальше стих не напечатан». — Он не напечатан во всех антологиях. Я так и не мог узнать, что же произошло, когда они попали в Пимлико. Это мучило меня несколько лет. Ничто так не воспламеняет воображение, как вычёркивание из книг неприличных мест.

— Пимлико, — повторил Филип. Старик Бидлэйк, думал он, превратил Пимлико в своего рода Олимп в духе Рабле. Эта фраза понравилась ему. Только придётся поставить вместо «Рабле» — «Гаргантюа». Для тех, кто никогда не читал Рабле, его имя ассоциируется только с похабщиной. Ну что ж, тогда Олимп в духе Гаргантюа. О Гаргантюа они хоть понаслышке знают, что он был очень большой.

Джон Бидлэйк, сидевший у камина в своей мастерской, меньше всего походил на олимпийца: он казался не выше своего роста, как обычно, а наоборот — ниже. Он подставил Элинора щеку для поцелуя и вяло пожал руку Филипу.

¹⁷⁵ Посреди Трафальгарской площади стоит колонна, окружённая львами (по эскизам английского художника Эдвина Лэндсира (1802-1873), — памятник адмиралу Нельсону.

¹⁷⁶ Имеются в виду картины: «Битва при Сан-Романо» Паоло ди Доно по прозвищу Уччелло (1397-1475), «Похищение сабинянок» Питера Пауля Рубенса (1577-1640), «Венера перед зеркалом» Диего Веласкеса (1599-1660) и «Рождество» Пьеро делла Франчески (1420-1492).

¹⁷⁷ Здесь: обелиск на улице Уайтхолл в Лондоне, воздвигнутый в 1920 г. в память погибших во время Первой мировой войны.

¹⁷⁸ Район в центре Лондона, когда-то славился своим увеселительным садом.

— Рад вас видеть, — сказал он. Его голос потерял звучность: в нем не слышалось больше громких раскатов весёлого хохота. Он говорил без всякого одушевления. Налитые кровью глаза были тусклы. Он похудел и постарел.

— Как ты себя чувствуешь, отец? — Элинор была удивлена и огорчена. Никогда ещё она не видела отца таким.

— Неважно, — ответил он, качая головой, — неважно. С внутренностями что-то не в порядке. — Старый лев неожиданно зарычал по-прежнему. — И для чего только нужна вся эта требуха внутри нас; Бог вздумал поиздеваться над людьми, когда создал их такими. — Рычание стало жалобным. — Не понимаю, что творится у меня во внутренностях. — Он уже не рычал, а скулил. — Что-то очень неприятное. Чувствую себя отвратительно. — И старик со всеми подробностями описал симптомы своей болезни.

— Ты был у доктора? — спросила Элинор, когда он кончил. Он покачал головой.

— Не верю я им. Все равно от них никакого толка. — На самом деле он испытывал перед докторами суеверный страх. Он боялся появления этих зловещих птиц у себя в доме.

— А следовало бы. — Она принялась уговаривать.

— Ладно, — ворчливо согласился он наконец. — Зови уж своих шарлатанов. — Но втайне он был даже доволен. Он давно уже хотел поговорить с доктором, но до сих пор суеверие оказывалось сильнее этого желания. Теперь зловещий врач придёт, но не по его приглашению — по приглашению Элинор. Он за это не отвечает, значит, судьба накажет не его. Верования старого Бидлэйка были крайне запутанными.

Разговор перешёл на другие темы. Теперь, когда выяснилось, что он, ничем не рискуя, может посоветоваться с доктором, Джон Бидлэйк сразу повеселел.

— Он меня беспокоит, — сказала Элинор, когда они ехали от него.

Филипп кивнул.

— Семьдесят три года — не шутка. И он теперь уже не кажется моложе своих лет.

«Какая красивая голова!» — думал он. Он жалел, что не умеет рисовать. Словами этого не передашь. Конечно, можно описать — до последней морщинки. А чего этим достигнешь? Описания медлительны. А лицо воспринимаешь сразу. Одно слово, одна фраза — вот что нужно. «Одрыхлевшая античная статуя». Да, это кое-что передаст. Но только это не годится. В цитатах есть что-то глупо-педантичное. Пожалуй, лучше «пергаментное изваяние». «У камина, сгорбившись, сидело пергаментное изваяние того, кто некогда был Ахиллом». Это уже ближе к цели. Без водянистых описаний. Всякий человек, хоть раз видевший Дискобола, державший в руках переплетённую в пергамент книгу, слышавший об Ахилле, увидит в этой фразе Джона Бидлэйка. А те, кто никогда не видел греческих статуй и не читал рассказа об Ахилле в книге, переплетённой в сморщенную от старости овечью кожу? Ну, до них ему нет никакого дела. «И все-таки, — подумал он, — это слишком литературно, слишком изысканно». Элинор прервала молчание.

— Интересно, как выглядит Эверард теперь, когда он стал великим человеком. — Мысленно она увидела энергичное лицо, огромную, но подвижную фигуру. Быстрота и натиск. Он в неё влюблён. А она? Нравится он ей или она ненавидит его?

— Интересно, начал он уже щипать людей за ухо, как Наполеон? — рассмеялся Филипп. — Впрочем, это только вопрос времени.

— И все-таки, — сказала Элинор, — он мне нравится. — Насмешка Филиппа ответила на тот вопрос, какой она себе задавала.

— Мне тоже. Но разве нельзя смеяться над тем, что любишь?

— Ты вечно смеёшься надо мной. Это оттого, что ты любишь меня?

Он поцеловал ей руку.

— Я обожаю тебя и никогда над тобой не смеюсь. Я отношусь к тебе вполне серьёзно.

Элинор посмотрела на него. Теперь она не улыбалась.

— Иногда ты доводишь меня до белого каления. Скажи, что стал бы ты делать, если бы я ушла к другому мужчине? Огорчился бы ты хоть капельку?

— Я был бы глубоко несчастен.

— В самом деле? — Она посмотрела на него. Филип улыбался; он был за тысячи миль от неё. — Знаешь, мне хотелось бы проделать этот опыт, — сказала она, нахмурившись. — Но будешь ли ты несчастен? Я хочу знать наверняка.

— А вместе с кем ты будешь его проделывать?

— В этом-то все несчастье. Почти все мужчины просто невыносимы.

— Какой комплимент для меня!

— Но ты тоже невыносим, Фил. Пожалуй, ты даже самый невыносимый из всех. А хуже всего то, что, несмотря на все это, я тебя люблю. И ты это знаешь. Да, знаешь и пользуешься этим. — Машина подъехала к тротуару. Элинор достала зонтик. — Но смотри, — сказала она, вставая, — меня нельзя без конца эксплуатировать. Мне надоело давать, ничего не получая взамен. На днях я начну подыскивать себе другого мужчину. — Она вышла из такси.

— Что ж, попробуй Эверарда, — фыркнул он, смотря на неё из окошка.

— Может быть, я так и сделаю, — ответила она. — Эверард только этого и дожидается. — Филип рассмеялся и послал ей воздушный поцелуй.

— Скажи шофёру, чтоб вёз меня в клуб, — попросил он.

Эверард заставил себя ждать минут десять. Попудрившись, Элинор принялась изучать комнату. Букет на столе был составлен ужасно. А витрина со старинными мечами, кинжалами и инкрустированными пистолетами была безобразна — она точно попала сюда из музея, — чудовищна и в то же время трогательно-нелепа. У Эверарда была школьническая страсть ездить верхом и рубить людям головы; витрина выдавала его с головой, так же как этот стол, покрытый большим стеклом, под которым лежала целая коллекция монет и медалей. С какой гордостью показывал он ей свои сокровища! Здесь была македонская тетрадрахма с головой Александра Великого, изображённого в виде Геркулеса; сестерция 44 года до нашей эры с внушительным профилем Цезаря; нобль Эдуарда III с изображением корабля, символизировавшего начало морского могущества Англии. А вот, на медали Пизанелло, голова Сигизмондо Малатеста, самого красивого из разбойников, а вот королева Елизавета в брыжжах, Наполеон в лавровом венке и герцог Веллингтон. Она приветливо улыбнулась монетам; они были старыми друзьями. Самое лучшее в Эверарде то, подумала она, что на его счёт обманываться невозможно. Он всегда был самим собой. Она открыла крышку рояля и взяла аккорд: как всегда расстроен.

На столике у камина лежал томик последних «Речей и воззваний» Эверарда. Она перелистала несколько страниц. «Политику Свободных Британцев, — прочитала она, — можно вкратце охарактеризовать как социализм без демократии, сочетающийся с национализмом без шовинизма». Звучит великолепно. Но если бы он написал «демократия без социализма, сочетающаяся с шовинизмом без национализма», она, вероятно, испытала бы столь же искреннее восхищение. Ох, уж эти абстракции! Она покачала головой и вздохнула. «Наверное, я просто дура», — подумала она. Но для неё это были слова, и больше ничего, пустые слова. Она перевернула страницу. «Система партий хороша только тогда, когда партии представляют собой лишь группировки соперничающих олигархов, принадлежащих к одному классу, одушевлённых, по существу, одинаковыми стремлениями и идеалами и борющихся друг с другом за власть. Но когда партии отождествляются с классами и разногласия между ними переходят на принципиальную почву, эта система становится безумием. Только из-за того, что я сижу в одном конце зала, а вы — в другом, я обязан верить в индивидуализм, отвергающий какое бы то ни было вмешательство государства, а вы обязаны верить во вмешательство государства, отвергающее какой бы то ни было индивидуализм; я обязан верить в национализм, даже в области экономики (где он бессмыслен), а вы обязаны верить в интернационализм, даже в области политики (где он не менее бессмыслен); я обязан верить в диктатуру богатых (вплоть до устранения интеллигенции), вы обязаны верить в диктатуру бедных (тоже вплоть до устранения интеллигенции). И все это по той простой и политически несущественной причине, что я сижу справа, а вы сидите слева. В наших парламентах топографический принцип имеет

большее значение, нежели здравый смысл. Таковы прелести современной системы партий. Задача Свободных Британцев — уничтожить эту систему, а вместе с ней и её логическое завершение — гнилой, бестолковый парламентаризм».

Все это прекрасно, но все-таки, спрашивала она себя, чего ради люди обращают столько внимания на подобные вещи? Вместо того чтобы просто жить. По-видимому, мужчинам скучно «просто жить». Она открыла книгу на другой странице. «Каждый раз, когда англичане отвоёвывали себе в какой-нибудь области свободу, они расплачивались за неё новым рабством. Гибель феодализма усилила королевскую власть. Во время реформации мы сбросили с себя ярмо догмата о непогрешимости папы, но зато приняли догмат божественного права короля. Кромвель уничтожил это божественное право, но навязал нам тиранию землевладельцев и буржуазии. Теперь тирания землевладельцев и буржуазии разрушается, но на смену ей идёт диктатура пролетариата. Снова провозглашена непогрешимость — на этот раз не папы, а большинства, — непогрешимость, верить в которую принуждает нас закон. Свободные Британцы стремятся к новой реформации, к новому политическому перевороту. Мы отвергаем диктатуру пролетариата, подобно тому как наши отцы отвергли божественное право короля. Мы отрицаем непогрешимость большинства, как они отрицали непогрешимость папы. Свободные Британцы борются за...» Элинор никак не удавалось перевернуть страницу. Борются за что? — думала она. За диктатуру Эверарда и непогрешимость Уэбли? Она подула; непокорные страницы разошлись.

«...за справедливость и свободу. Они стремятся к тому, чтобы правили лучшие, каково бы ни было их происхождение. Карьера должна быть открыта перед каждым, кто обладает способностями. Это и есть справедливость. Они требуют, чтобы каждый вопрос разрешался беспристрастно, разумно, независимо от партийных предрассудков или от мнения бессмысленного большинства. Это и есть свобода. Тот, кто воображает, будто свобода есть синоним всеобщего избирательного права...» Хлопнула входная дверь; в холле раздался громкий голос. На лестнице послышались громкие, поспешные шаги; весь дом дрожал от них. Дверь в кабинет распахнулась, точно позади неё взорвалась бомба. В комнату со взрывом громких извинений и приветствий вошёл Эверард Уэбли.

— Как мне заслужить ваше прощение? — воскликнул он, сжимая её руки. — Но если бы вы знали, в каком водовороте я живу! Какое счастье снова видеть вас! Вы ничуть не изменились. По-прежнему прекрасны. — Он пристально посмотрел на неё. — Все те же спокойные светлые глаза, все те же полные, грустные губы. И какой у вас чудесный вид.

Она улыбнулась ему в ответ. У него были очень тёмные глаза: издали казалось, что они состоят из одного зрачка. Красивые глаза, думала она, но слишком волнуют своим пристальным, блестящим взглядом. Несколько мгновений она смотрела ему прямо в глаза, потом отвернулась.

— Вы тоже, — сказала она, — вы все такой же. Но почему, собственно, мы должны меняться? — Она снова посмотрела ему в лицо и заметила, что он все ещё не спускает с неё пристального взгляда. — Десять месяцев и путешествие в тропики не делают человека другим.

— Слава Богу! — засмеялся Эверард. — Пойдёмте позавтракаем. — А Филип? — спросил он, когда им подали рыбу. — Он тоже все такой же?

— Ещё более такой же, если это возможно.

— Ещё более такой же. — Эверард кивнул. — Понятно. Этого следовало ожидать. Зрелище дикарей, разгуливающих в чем мать родила, должно было укрепить его скептическое отношение к вечным истинам.

Элинор улыбнулась, но в то же время его насмешка слегка обидела её.

— А какое действие оказало на вас зрелище многих англичан, разгуливающих в гороховых мундирах? — отпарировала она.

Эверард рассмеялся.

— Укрепило мою веру в вечные истины, разумеется.

— В вечные истины — в том числе и в самого себя? Он кивнул.

— В том числе, разумеется, и в самого себя.

Они, улыбаясь, глядели друг на друга. И снова Элинор первая опустила глаза.

— Спасибо, что вы мне это сказали: сама я, пожалуй, не догадалась бы, что вы тоже одна из вечных истин.

Наступило молчание.

— Не извольте воображать, — сказал он наконец тоном, ставшим из шутливого серьёзным, — что вам удастся вывести меня из себя, сказав, что у меня закружилась голова. — Он говорил мягко, но в нём чувствовалась огромная сила. — Другим людям это иногда удаётся. Но, знаете ли, низшим животным не очень-то позволяют быть надоедливыми. Их давят. И с людьми разговаривают разумно.

— Приятно слышать, что я хоть человек, — рассмеялась Элинор.

— Вы думаете, что успех вскружил мне голову? — продолжал он. — В известном смысле это, пожалуй, и верно. Но вся беда в том, что я считаю этот успех заслуженным. Скромность вредна, если она ложная. Мильтон сказал: «Ничто так не полезно человеку, как высокая самооценка, если она оправданна и справедлива». Я знаю, что моё высокое мнение о себе справедливо и заслуженно. Я знаю, я абсолютно убеждён, что я могу сделать все, что я хочу. Какой смысл отрицать то, что я знаю? Я буду господином, я буду диктовать свою волю. У меня есть решимость и мужество. Очень скоро у меня будет организованная сила. А тогда я захвачу власть. Я знаю это — зачем же мне притворяться, будто я не знаю? — Он откинулся на спинку стула. Воцарилось молчание.

«Как глупо, — думала Элинор, — как смешно рассуждать подобным образом». Её критически настроенный интеллект восставал против её чувств. Чувства её были возбуждены. Его слова, его голос — такой мягкий, но в то же время полный скрытой силы и страсти — волновали её. Когда он сказал: «Я буду господином», по всему её телу разлилась такая теплота, точно она выпила глинтвейна. «Как смешно», — повторила она про себя, пытаясь отомстить ему за его лёгкую победу, пытаясь наказать изменников внутри своей души, которые так легко сдались ему. Но сделанного не переделаешь. Может быть, эти слова действительно смешны, и все-таки, когда он произносил их, её охватила дрожь восхищения, она почувствовала себя взбудораженной, у неё возникло непонятное желание ликовать и громко смеяться.

Лакей переменил тарелки. Они говорили на всякие безразличные темы: о её путешествии, о том, что произошло в Лондоне в её отсутствие, об общих знакомых. Принесли кофе; они закурили сигареты и снова замолчали. «Чем нарушится это молчание?» — с некоторым страхом спрашивала себя Элинор. Но она сама знала, чем оно кончится, и именно это пророческое знание заставляло её бояться. Может быть, она сумеет опередить его и сама нарушит молчание. Может быть, если она будет продолжать болтать, ей удастся не выходить из круга незначительных тем до той минуты, когда пора будет прощаться. Но неожиданно оказалось, что говорить ей не о чем. Она почувствовала себя словно парализованной приближением неизбежного. Она могла только сидеть и ждать. И наконец неизбежное произошло.

— Вы помните, — медленно сказал он, не глядя на неё, — что я говорил вам перед вашим отъездом?

— Мне кажется, мы решили не возвращаться к этому.

Он откинул голову назад и тихонько рассмеялся.

— Напрасно вам так кажется. — Он посмотрел на неё и увидел в её глазах растерянность и тревогу, увидел в них мольбу о пощаде. Но Эверард не знал пощады. Он положил локти на стол и подался вперёд. Она опустила глаза. — Вы сказали, что внешне я не изменился, — сказал он своим мягким голосом, в котором чувствовалась скрытая страсть и сила. — Что ж, внутренне я тоже не изменился. Я все такой же, Элинор, я все такой же, как перед вашим отъездом. Я люблю вас по-прежнему, Элинор. Нет, я люблю вас ещё сильнее. — Её рука неподвижно лежала на столе. Он взял её в свою руку. — Элинор, —

прошептал он.

Она покачала головой, не подымая глаз. Но он все говорил, мягко и страстно.

— Вы не знаете, что такое любовь, — сказал он. — Вы не знаете, что я могу дать вам. Любовь, безудержную и безрассудную, как потерянная надежда. И в то же время нежную, как любовь матери к больному ребёнку. Любовь неистовую и тихую: неистовую, как преступление, и тихую, как сон.

«Слова, — думала Элинора, — глупые мелодраматические слова». Но они волновали её, так же как его хвастовство.

— Прошу вас, Эверард, — сказала она вслух, — не надо больше. — Она не хотела поддаваться своему волнению. Она посмотрела ему в лицо, в его блестящие пытливые глаза, и сделала над собой усилие, чтобы не отвести взгляда. Она заставила себя рассмеяться, она покачала головой. — Вы отлично знаете, что это невозможно.

— Единственное, что я знаю, — медленно сказал он, — это что вы боитесь. Боитесь вернуться к жизни. Потому что все эти годы вы были наполовину мертвы. У вас не было возможности жить полной жизнью. И вы знаете, что я могу дать вам эту возможность. И вы боитесь, вы боитесь!

— Какой вздор! — сказала она. — Все это декламация и мелодрама.

— И может быть, по-своему, вы правы, — продолжал он. — Жить по-настоящему, жить полной жизнью — не шуточное дело. Но, черт возьми, — добавил он, и голос его вдруг загремел — проявилась таившаяся в нем сила, — это увлекательно!

— Господи, до чего вы меня напугали! — сказала она. — Нельзя же так кричать! — Но она испытывала не только страх. Нервы и самая её плоть все ещё трепетали от непонятого, но бурного ликования, которое пробудил в ней его голос. «Но это же смешно», — убеждала она себя. И все-таки ей казалось, что она слышала его голос всем своим телом. Казалось, что от его отзвуков у неё трепетала диафрагма. «Смешно», — повторила она. И что это за любовь такая, о которой он говорит с таким волнением? Просто случайные вспышки страсти в промежутке между работой. Он презирал женщин, ненавидел их за то, что они отнимают у мужчин время и энергию. Он не раз говорил при ней, что у него нет времени для любви. Его ухаживание было почти оскорбительно, как приставание к уличной женщине. — Образумьтесь, Эверард, — сказала она.

Эверард опустил её руку и со смехом откинулся на спинку стула.

— Ладно, — ответил он. — Но только на сегодня.

— Навсегда. — Она почувствовала огромное облегчение. — К тому же, — с иронической улыбкой добавила она, повторяя сказанную им когда-то фразу, — вы не принадлежите к сословию бездельников и паразитов, у вас есть дела поважнее любви.

Некоторое время Эверард молча смотрел на неё, и его лицо было строгим и задумчивым. Дела? Поважнее? Да, конечно, это так. Он сердился на самого себя за то, что он так желал её. Сердился на Элинора за то, что она отказывалась удовлетворить его желание.

— Ну что ж, побеседуем о Шекспире? — саркастически спросил он. — Или о музыкальных стаканах ¹⁷⁹?

Счётчик показывал три шиллинга и шесть пенсов. Филип дал шофёру пять шиллингов и поднялся по ступеням портика своего клуба; вслед ему раздавались благодарственные восклицания шофёра. Давать на чай больше чем следует вошло у него в привычку. Он делал это не из показной щедрости и не потому, что он требовал или хотел потребовать особой услужливости. Наоборот, немногие люди предъявляли к слугам меньшие требования, чем Филип, относились так терпеливо к недостатку услужливости и с такой готовностью прощали нерадивость. Его кажущаяся щедрость была внешним выражением презрения к людям, но полного угрызений совести и раскаяния. Он словно говорил: «Бедняга! Прости меня за то, что я выше тебя». Возможно также, что излишними чаевыми он просил

¹⁷⁹ Музыкальный инструмент, состоящий из нескольких подобранных по тону стеклянных стаканов.

извинения именно за свою деликатность. Его малая требовательность происходила столько же от страха и нелюбви к ненужному общению с людьми, сколько от внимательности и доброты. От тех, кто оказывал ему услуги, Филип требовал немного по той простой причине, что он стремился соприкоснуться с ними как можно меньше. Их присутствие мешало ему. Он не любил, когда в его жизнь вторгались посторонние люди. Ему было неприятно оттого, что он принуждён был разговаривать с этими посторонними людьми, входить с ними в непосредственное соприкосновение на почве не интеллекта, а чувства, понимания, желаний. Он по возможности избегал всякого общения, а когда это ему не удавалось, старался устранить из него все личное и человеческое. Щедрость Филипа была возмещением за его бесчеловечную доброту к тем, на кого она была направлена. Он как бы откупался от собственной совести.

Дверь была открыта. Он вошёл. Вестибюль был просторный, полутёмный, прохладный, весь в колоннах. Аллегорическая мраморная группа работы сэра Фрэнсиса Чантри ¹⁸⁰ — «Наука и Добродетель, побеждающие Страсти», — изогнувшись в отменно классических позах, стояла в нише на лестнице. Он повесил шляпу и прошёл в курительную, чтобы просмотреть газеты в ожидании приглашённых. Первым явился Спэндрелл.

— Скажите, — сказал Филип, когда они обменялись приветствиями и заказали вермут, — скажите мне скорей, пока он не пришёл, что с моим нелепым шурином? Что у них там такое с Люси Тэнтемаунт?

Спэндрелл пожал плечами.

— Что обычно бывает в таких случаях? К тому же уместно ли здесь вдаваться в детали? — Кивком головы он показал на присутствующих: поблизости сидели министр, двое судей и епископ.

Филип рассмеялся.

— Но я хотел только узнать, насколько все это серьёзно и как долго это может продлиться...

— Со стороны Уолтера — очень серьёзно. Что же касается продолжительности — кто знает? Впрочем, Люси скоро уезжает за границу.

— И то слава Богу! Ах, вот и он. — Это был Уолтер. — А вот Иллидж. — Он помахал рукой. Уолтер с Иллиджем отказались от аперитива. — В таком случае идёмте в столовую.

Столовая в клубе Филипа была огромна. Два ряда алебастровых коринфских колонн поддерживали раззолоченный потолок. Со стен светло-шоколадного цвета взирали портреты знаменитых членов клуба, ныне покойных. По обеим сторонам каждого из шести окон висели винно-красные портьеры; пол был устлан мягкими винно-красными коврами; лакеи в винно-красных ливреях скользили почти невидимо, как жучки-листоеды в лесу.

— Мне всегда нравилась эта зала, — сказал Спэндрелл, входя. — Похоже на декорации к пиру Валтасара.

— Весьма англиканского Валтасара, — уточнил Уолтер.

— Ну и ну! — воскликнул Иллидж, рассматривая комнату. — В таком окружении я чувствую себя совсем плебеем.

Филип рассмеялся, чувствуя себя довольно неловко. Чтобы переменить тему разговора, он обратил внимание своих собеседников на защитную окраску ливрей лакеев. Они были живым подтверждением дарвиновской теории.

— Выживают наиболее приспособленные, — сказал он, когда они сели за оставленный для них столик. — Лакеи других цветов были, очевидно, истреблены разъярёнными членами клуба. — Принесли рыбу. Они принялись за еду.

— Как странно, — сказал Иллидж, развивая мысль, вызванную в нем первым впечатлением от зала, — как невероятно то, что я вообще попал сюда. Странно то, что я сижу здесь как гость. Конечно, не было бы ничего удивительного, если бы я очутился здесь в

¹⁸⁰ Чантри, Фрэнсис (1781-1841) — английский скульптор.

ливрее винно-красного цвета: это вполне соответствовало бы тому, что священники назвали бы моим «положением в жизни». — Он злобно рассмеялся. — Но сидеть здесь с вами — это просто-таки неправдоподобно. И все это потому, что у одного манчестерского лавочника был сын с предрасположением к золотухе. Если бы Реджи Райт был здоровым мальчиком, я, вероятно, чинил бы башмаки в Ланкашире. Но, к счастью, в лимфатическую систему Реджи попали туберкулёзные бактерии. Доктора предписали ему жизнь на свежем воздухе. Его отец снял в нашей деревне коттедж для жены и сына, и Реджи поступил в сельскую школу. Отцу хотелось, чтобы Реджи сделал блестящую карьеру. Кстати, омерзительный был мальчишка! — в скобках заметил Иллидж. — Он хотел, чтобы Реджи попал в Манчестерский университет, чтобы он получил стипендию, он платил нашему школьному учителю, чтобы тот специально занимался с ним. Я был способный мальчишка; учитель меня любил. Он решил, что заодно с Реджи он может учить и меня. К тому же даром. Не позволял моей матери платить ни единого пенни. Да вряд ли она и смогла бы, бедняжка. Когда пришло время экзаменов, стипендию получил я. Реджи провалился. — Иллидж захохотал. — Несчастный золотушный выродок! Но я по гроб жизни буду благодарен ему и бактериям, которые проникли в его железы. Вот от чего зависит вся жизнь человека — от какой-то глупой случайности, единственной на миллион. Какой-то совершенно случайный факт — и вся жизнь переменялась.

— Вовсе не случайный, — возразил Спэндрелл. — Вы получили стипендию как раз потому, что это вполне соответствовало вам. В противном случае вы не получили бы её и не сидели бы с нами здесь. Не знаю, бывает ли в жизни вообще что-нибудь случайное для человека. Все, что случается с человеком, неизбежно похоже на него самого.

— Сомнительно и немного туманно, — возразил Филип. — Воспринимая события, люди искажают их на свой лад, и поэтому то, что происходит, кажется им похожим на них самих.

Спэндрелл пожал плечами.

— Искажение, может быть, и есть. Но я верю, что с каждым из нас случается именно то, что ему соответствует.

— Какая ерунда! — с отвращением сказал Иллидж. Филип выразил своё неодобрение в более вежливой форме.

— Но ведь одно и то же событие может повлиять на разных людей совершенно различным способом.

— Согласен, — ответил Спэндрелл. — Я не знаю, как это происходит, но почему-то каждое событие становится другим, качественно другим, соответственно характеру каждого из затронутых им людей. Это — великая тайна, и это — парадокс.

— Не говоря уже о том, что это нелепо и невозможно, — вставил Иллидж.

— Что ж, пускай нелепо, пускай невозможно, — согласился Спэндрелл. — И все-таки я верю, что именно так оно и есть. Почему все должно быть логически обосновано?

— В самом деле, почему? — отозвался Уолтер.

— И все-таки, — сказал Филип, — ваше провидение, которое делает одно и то же событие качественно различным для различных людей, — не слишком ли это неправдоподобно?

— Не более неправдоподобно, чем то, что мы все четверо сидим здесь, не более неправдоподобно, чем все это. — Движением руки он показал на вальтасаровскую столовую, на обедающих, на лакеев цвета сливы и на постоянного секретаря Британской академии, который в эту минуту входил в зал вместе с профессором поэтики Кембриджского университета.

Но Филип не сдавался.

— Но ведь если предположить, как делают учёные, что наиболее приемлема простейшая гипотеза, — хотя я всю жизнь не мог понять, какие у них к тому основания, кроме, разумеется, человеческой неспособности охватить сложное...

— Слушайте, слушайте!

— Какие основания? — повторил Иллидж. — Единственное, на чем они основываются, — это наблюдение над фактами. Экспериментально доказано, что природа делает все простейшим способом.

— А может быть, — сказал Спэндрелл, — все дело в том, что люди способны понять только простейшие объяснения? В конце концов на практике это сводится к тому же,

— Но если какой-нибудь факт имеет простое и естественное объяснение, не может же он иметь одновременно другое объяснение, сложное и сверхъестественное.

— Почему нет? — спросил Спэндрелл. — Может быть, вы просто не в состоянии увидеть сверхъестественные силы, действующие позади естественных. Вопрос о разнице между естественным и сверхъестественным оставим пока в стороне. Но это ещё не значит, что сверхъестественного вообще нет: вы просто свою неспособность понять возводите до уровня всеобщего закона.

Филип воспользовался случаем, чтобы закончить своё возражение.

— Но если даже признать, — вмешался он раньше, чем успел заговорить Иллидж, — что простейшее объяснение является в то же время самым верным, ведь и тогда самым простым объяснением именно и будет утверждение, что каждый человек искажает события по образу своему и подобию — в зависимости от своего характера и прошлого. Мы видим отдельных людей, но мы не видим провидения; его существование приходится принимать на веру. Разве не удобней вообще обходиться без него, если оно совершенно излишне?

— Но излишне ли оно? — сказал Спэндрелл. — Можно ли объяснить все факты, не прибегая к нему? Сомневаюсь. А как быть с теми, кто легко поддается влиянию? (А ведь все мы в большей или в меньшей степени поддаёмся чужому влиянию. Все мы не только родились такими, но и сформировались под чьим-то воздействием.) А как же быть с теми, чей характер создан целым рядом неумолимо следующих одно за другим событий одного и того же типа? Когда человеку, как говорится, «всю жизнь везёт» или «всю жизнь не везёт»; когда все толкает его к чистоте или, наоборот, к грязи; когда ему из раза в раз представляется возможность быть героем или, наоборот, быть мерзавцем? После такой серии событий (просто невероятно, как долго она может продолжаться!) характер сформировался; а тогда, если вам угодно объяснять это именно так, вы можете говорить, что это сам человек искажает все случившееся с ним по своему образу и подобию. Но ведь тогда, когда у него ещё не было определённого характера, по образу которого он мог бы исказить события, — тогда что? Кто предрешил, что с ним должно случаться именно это, а не что-нибудь другое?

— Кто предрешает, какой стороной упадёт на землю монетка? — презрительно спросил Иллидж.

— Да при чем тут монетки? — ответил Спэндрелл. — При чем тут монетки, когда мы говорим о людях? Возьмите себя. Вы что, чувствуете себя монеткой, когда с вами что-нибудь случается?

— Не все ли равно, что я чувствую? Чувства не имеют ни малейшего отношения к объективным фактам.

— Зато ощущения имеют. Наука занимается осмысливанием наших чувственных восприятий. Почему мы должны признавать научную ценность за одним видом восприятий и отрицать её за всеми другими? Когда какое-нибудь событие мы непосредственно воспринимаем как акт провидения, это, может быть, не меньше содействует нашему познанию объективной действительности, чем непосредственное восприятие желтизны или твёрдости. А когда с человеком что-нибудь случается, он вовсе не чувствует себя монеткой. Он чувствует, что события имеют смысл, что они происходят в определённой последовательности. Особенно когда из раза в раз повторяются события одного типа. Скажем, решки сто раз подряд.

— Уж лучше орлы, — со смехом заметил Филип, — мы ведь как-никак интеллигенция.

Спэндрелл нахмурился. Он говорил вполне серьёзно, и это шутивное замечание обидело его.

— Когда я думаю о себе, — сказал он, — я уверен, что все, что произошло со мной,

было подстроено кем-то заранее. В детстве у меня было предчувствие того, чем я мог бы стать, если бы не обстоятельства. Ничего общего с моим теперешним «я».

— Что, ангелочком? — сказал Иллидж. Спэндрелл не обратил на его слова ни малейшего внимания. — Но с тех пор, как мне минуло пятнадцать лет, со мной начали случаться события, необычайно похожие на меня — на того меня, каким я стал теперь. — Он замолчал.

— И поэтому вместо нимба и крылышек у вас выросли копыта и хвост. Грустная история! Кстати, — обратился Иллидж к Уолтеру, — вы вот специалист по искусству или по крайней мере считаете себя таковым; так вот, обращали вы когда-нибудь внимание на то, что изображения ангелов абсолютно неправдоподобны и антинаучны? — Уолтер покачал головой. — Если бы у мужчины весом в семьдесят килограммов появились крылья, ему, чтобы приводить их в движение, понадобилась бы колоссальная мускулатура. А для этого, в свою очередь, нужна была бы соответственно большая грудная клетка, как у птиц. Ангел весом в сто сорок фунтов, чтобы летать так же хорошо, как, скажем, утка, должен был бы обладать грудной клеткой, выступающей вперёд по меньшей мере на четыре или пять футов. Скажите это вашему отцу на тот случай, если он задумает написать Благовещение. Все существующие Гавриилы до неприличия неправдоподобны.

Тем временем Спэндрелл думал о своём отрочестве: о блаженстве среди гор, об утончённых переживаниях, угрызениях совести, о приступах раскаяния и о том, как все это — раскаяние по поводу дурного поступка в не меньшей степени, чем острое наслаждение при виде цветка или пейзажа, — как все это было связано с его чувством к матери, выросло из него и переплеталось с ним. Он вспоминал «Парижский пансион для девиц», который он читал, накрывшись с головой одеялом, при свете карманного фонарика. Книга была написана в ту эпоху, когда верхом порнографии считались длинные чёрные чулки и длинные чёрные перчатки, когда считалось, что «целовать мужчину без усов — это все равно что есть яйцо без соли». У приапического майора, соблазнителя молодых девушек, были длинные, выющиеся, нафабранные усы. Как ему было стыдно и как он терзался! Как он боролся и как горячо молился, чтобы Бог дал ему силу! И Бог, которому он молился, был похож на его мать. Чтобы быть достойным её, он должен был не поддаваться искушению. Уступая соблазну, он изменял ей, он отвергал Бога. И он уже начал побеждать. И вдруг, как гром из безоблачного неба, пришло известие, что она выходит замуж за майора Нойля.

У майора Нойля тоже были выющиеся усы.

— Блаженный Августин и кальвинисты были правы, — сказал он вслух, прерывая спор о грудной клетке серафимов.

— Все ещё не успокоились? — сказал Иллидж.

— Бог спасает одних людей и осуждает других.

— Вернее сказать, он сделал бы это, если бы: а) он существовал, б) существовало бы спасение и в)...

— Когда я думаю о войне, — прервал его Спэндрелл, — о том, чем она могла бы быть для меня и чем она стала на самом деле. — Он пожал плечами. — Да, Августин был прав.

— Я со своей стороны, — сказал Филип, — могу быть только благодарен Августину, или кому там ещё, за мою искусственную ногу. Она помешала мне стать героем, но зато не дала мне стать трупом.

Спэндрелл взглянул на него; уголки его большого рта иронически вздрогнули.

— Ваше несчастье обеспечило вам спокойную, обособленную жизнь. Иными словами, событие было таким, как вы сами. Для меня же война была именно такой, каким был я. В год объявления войны я был в Оксфорде.

— А, добрый старый колледж! — сказал Иллидж; он не мог равнодушно, без язвительных замечаний слышать названия старинных и аристократических учебных заведений.

— Три чудесных семестра и дважды ещё более чудесные каникулы. Тогда я впервые вкусил от алкоголя и покера и познал разницу между живыми женщинами и женщинами в

отроческом воображении. Какое откровение — первая настоящая женщина! И в то же время — какое тошнотворное разочарование! После лихорадочных грёз и порнографических книг это казалось таким плоским.

— Это комплимент по адресу искусства, — сказал Филип. — Я уже не раз об этом говорил. — Он улыбнулся Уолтеру, тот покраснел, вспоминая слова Филипа о том, как опасно в любви подражать высоким поэтическим образцам. — Нас воспитывают шиворот-навыворот, — продолжал Филип. — Сначала искусство, потом жизнь, сперва «Ромео и Джульетта» и похабные романы, а потом женитьба или её эквивалент. Отсюда — разочарованность современной литературы. Это неизбежно. В доброе старое время поэты начинали с того, что теряли невинность, а потом, зная, как все это делается и что именно в этом непоэтичного, они принимались сознательно идеализировать и украшать это. Мы начинаем с поэтического и переходим к непоэтическому. Если бы юноши и девушки теряли невинность в том же возрасте, как во времена Шекспира, мы были бы свидетелями возрождения любовной лирики елизаветинцев.

— Может быть, вы и правы, — сказал Спэндрелл. — Я могу сказать одно: что, когда я узнал реальность, она разочаровала меня и в то же время показалась очень привлекательной. Может быть, она привлекала меня именно тем, что разочаровывала. Сердце — вроде компостной кучи: навоз стремится к навозу и самое великое очарование греха в его грязи и бессмысленности. Он привлекателен именно потому, что он отталкивающ. Но отталкивающим он остаётся всегда. И я помню, что, когда началась война, я просто ликовал: ведь мне представился случай выбраться из навозной кучи и заняться для разнообразия чем-то более пристойным.

— За короля и отечество! — насмешливо сказал Иллидж.

— Бедный Руперт Брук ¹⁸¹! Теперь его слова о том, что честь снова вернулась в мир, вызывают только улыбку. После того, что произошло, они кажутся немного комичными.

— Они были скверной шуткой даже в то время, — сказал Иллидж.

— Нет, нет. В то время я сам так чувствовал.

— Ещё бы! Потому что вы были тем же, чем был Брук, — избалованный и пресыщенный представитель обеспеченного класса. Вы искали сильных ощущений — только и всего. Война и эта ваша пресловутая «честь» доставила вам их.

Спэндрелл пожал плечами.

— Объясните как хотите. Но в августе тысяча девятьсот четырнадцатого года я жаждал совершить что-нибудь благородное. Я готов был идти на верную смерть.

— «Смерть желанней, чем бесчестье»? Да?

— Да, буквально так, — сказал Спэндрелл. — Уверяю вас, все мелодрамы глубоко реалистичны. При некоторых обстоятельствах люди говорят именно так. Единственный недостаток мелодрамы — что она внушает нам, будто люди говорят таким образом решительно всегда. К сожалению, это не так. Но «смерть желанней, чем бесчестье» — это как раз то, что я думал в августе тысяча девятьсот четырнадцатого года. Если бы мне пришлось выбирать между смертью и той бессмысленной жизнью, какую я вёл, я выбрал бы смерть.

— Опять в вас говорит джентльмен из обеспеченного класса, — сказал Иллидж.

— И вот, только потому, что я много лет жил за границей и знал три иностранных языка, потому, что у меня была слишком любящая мать, а отчим пользовался влиянием в военных кругах, меня против моей воли перевели в контрразведку. Господь Бог решительно вознамерился проклясть меня.

— Наоборот, он очень заботливо старался сохранить вашу жизнь, — сказал Филип.

— Но я вовсе не хотел этого. Жизнь имела смысл лишь в том случае, если бы я мог

¹⁸¹ Брук, Руперт (1887-1915) — английский поэт, прославившийся циклом посвящённых войне патриотических стихов; погиб на войне от заражения крови. «Смерть желанней, чем бесчестье» — слова из стихотворения Руперта Брука.

сделать что-нибудь достойное, предпочтительно героическое, в крайнем случае трудное и рискованное. Вместо этого меня посадили на связь, а потом на выслеживание шпионов. Из всех подлых и низких занятий...

— Ну, в окопах было тоже далеко не так-то романтично.

— Да, но там было опасно. Пребывание в окопах требовало мужества и выносливости. Охотник за шпионами находился в полной безопасности и не имел случая проявлять благородство или доблесть, тогда как случаев предаваться пороку... Эти тыловые города, и Париж, и порты — там только и было что спирт да шлюхи.

— Но ведь этих зол можно было избежать, — сказал Филип. От природы холодный, он без всякого труда проявлял воздержанность.

— Но я не мог, — ответил Спэндрелл. — Особенно при тех обстоятельствах. Я хотел совершить что-нибудь достойное, а мне помешали. Поэтому делать совершенно обратное тому, что я хотел делать, стало для меня вопросом чести. Вопросом чести — вы это понимаете?

— Для меня это слишком тонко, — покачал головой Филип.

— Попробуйте представить себя в присутствии человека, которого вы уважаете и любите больше всех на свете, перед которым вы преклоняетесь.

Филип кивнул. Но по существу, подумал он, он никогда ни перед кем не испытывал глубокого и безраздельного преклонения. Теоретически — да, но на практике — никогда, во всяком случае, никогда настолько, чтобы стать чьим-нибудь учеником или последователем. Он усваивал взгляды других людей, даже их манеру жить, но в нем всегда жило убеждение, что эти взгляды и манеры были на самом деле не его, что он с такой же лёгкостью откажется от них, с какой он их перенял. И во всех тех случаях, когда была хоть малейшая опасность увлечься всерьёз, он упорно сопротивлялся — сражался за свою свободу или бежал.

— Ваше чувство к нему переполняет вас, — продолжал Спэндрелл, — и вы направляетесь к нему с распростёртыми объятиями, предлагая вашу дружбу и преданность. А он вместо всякого ответа засовывает руки в карманы и поворачивается к вам спиной. Что вы станете делать?

Филип рассмеялся.

— Это нужно посмотреть в «Книге хорошего тона».

— Вы сшибёте его с ног. По крайней мере так поступил бы я. Это было бы для меня вопросом чести. И чем больше вы восторгались бы им, тем сильнее вы бы ударили и с тем большим азартом плясали бы после этого над его трупом. Поэтому-то шлюхи и спирт были неизбежны для меня. Наоборот, вопросом чести стало для меня никогда не избегать их. Жизнь во Франции была похожа на жизнь, которую я вёл до войны, только она была ещё гнусней и бессмысленней и в ней даже намёка не было на какое-нибудь «искупление». И через год я уже отчаянно цеплялся за свой позор и старался избежать смерти. Говорю вам, Блаженный Августин был прав: мы спасены или прокляты заранее. Во всем, что происходит, я вижу руку провидения.

— Вздор это ваше провидение! — сказал Иллидж; но в наступившем молчании он снова подумал: как странно, как бесконечно невероятно, что он сидит здесь, распивая кларет, а за два столика от него — постоянный секретарь Британской академии, а позади него — старейший судья из Верховного суда. Двадцать лет тому назад его шансы на то, чтобы сидеть под этим раззолоченным потолком, равнялись одному против нескольких сот или даже тысяч миллионов. И все-таки он сидит здесь. Он выпил ещё глоток вина.

А тем временем Филип вспоминал огромную вороную лошадь: она мчалась, брыкаясь, оскалив зубы, прижав уши к голове; и вдруг она понесла, таща за собой экипаж; и грохот колёс, и его дикие вопли, и он прижимается к крутому откосу, карабкается, скользит и падает; и шум, и грохот, и что-то огромное между ним и солнцем, и тяжёлые копыта, и внезапная, все уничтожающая боль.

А Уолтер среди того же молчания думал о том вечере, когда он впервые вошёл в гостиную Люси Тэнтемаунт. «Все, что случается с человеком, неизбежно похоже на него

самого».

— Но в чем её тайна? — спросила Марджори. — Почему он сходит по ней с ума? А ведь он сходит с ума. Буквально.

— Никакой тут нет тайны, — сказала Элино́р. Ей казалось странным вовсе не то, что Уолтер обезумел от любви к Люси, а то, что ему когда-то нравилась бедная Марджори. — В конце концов, — продолжала она, — Люси человек живой и интересный. К тому же, — добавила она, вспоминая комментарии Филипа по поводу собаки, которую они задавили в Бомбее, — у неё дурная репутация.

— Разве дурная репутация так привлекательна? — спросила Марджори, держа чайник над чашкой.

— Конечно. Раз у женщины дурная репутация, значит, она доступна. Благодарю, мне без сахара.

— Не может быть, чтобы мужчине нравилось быть не единственным любовником, а одним из многих, — сказала Марджори, передавая ей чашку.

— Возможно. Но когда мужчина знает, что у женщины были любовники, он сам начинает надеяться. «Другим удалось, значит, и мне удастся». Так рассуждает мужчина. К тому же дурная репутация заставляет сразу думать о женщине в определённом аспекте. Это возбуждает воображение. Когда встречаешь Лолу Монтес¹⁸², немедленно представляешь себе постель. О постелях не думаешь, когда встречаешь Флоренс Найтингейл. Разве только о постели больного.

Наступило молчание. Элино́р думала, что с её стороны очень нехорошо относиться к Марджори с таким безразличием. Но ничего не поделаешь. Она заставляла себя вспоминать, как ужасна была жизнь этой несчастной женщины, сначала с мужем, теперь с Уолтером. Просто ужасна! Но эти немислимые позвякивающие серьги из поддельного нефрита! А её голос, а её манеры...

— Неужели мужчины так легко идут на приманку? И на такую дешёвую? Такие мужчины, как Уолтер? Как Уолтер? — повторила она. — Как могут мужчины быть такими... такими...

— Свињьями? — докончила Элино́р. — Как видите, могут. Хотя это довольно странно. — «А может быть, — подумала она, — было бы лучше, если бы Филип больше походил на свињью и меньше на рака-отшельника? Свињьи ближе к человеку — какими бы свињьями они ни были, они все-таки ближе к человеку. Тогда как раки-отшельники изо всех сил стараются быть моллюсками».

Марджори покачала головой и вздохнула.

— Непонятно, — сказала она с убеждением, показавшимся Элино́р довольно смешным. «Интересно, какого мнения эта женщина о самой себе?» — подумала Элино́р. Но Марджори была высокого мнения не о себе, а о добродетели. Воспитание приучило её считать уродливыми порок и животную природу человека, прекрасными — добродетель и духовное начало. Холодная по натуре, она не понимала чувственности. То, что Уолтер неожиданно превратился из того Уолтера, каким она его знала, в «свињью», по выражению Элино́р, казалось ей непонятным вовсе не потому, что она была высокого мнения о собственной привлекательности.

— К тому же не забывайте, — сказала Элино́р, — что, с точки зрения мужчин, подобных Уолтеру, Люси имеет ещё одно преимущество: она женщина с темпераментом мужчины. Мужчины умеют получать удовольствие от случайных встреч. Женщины в большинстве своём этого не умеют: им нужно любить. Им необходимо что-то переживать. Без этого они не могут. Но есть другие женщины — их немного, и Люси — одна из них. Она по-мужски безразлична. У неё чувственность существует независимо от души.

¹⁸² Танцовщица и куртизанка середины XIX века; Найтингейл, Флоренс (1820-1910) — первая сестра милосердия.

— Какой кошмар!

Элино́р заметила, как вздрогнула Марджори, и у неё немедленно появилась потребность противоречить ей.

— Вы думаете? А по-моему, этой способности можно позавидовать. — Она рассмеялась. Её цинизм глубоко шокировал Марджори. — Для такого робкого и застенчивого мальчика, как Уолтер, в этой беззастенчивости должно быть что-то волнующее. По темпераменту она полная противоположность ему. Люси беспечна, неразборчива в средствах, своевольна, бесстыдна. Я прекрасно понимаю, что она могла вскружить ему голову. — Она подумала об Эверарде Уэбли. — Сила всегда привлекательна. Особенно если сам человек слаб, а Уолтер именно таков. Люси — это, безусловно, сила. Вам лично этот род силы может не нравиться. — Ей самой не очень нравилось энергичное честолюбие Уэбли. — Но нельзя не восхищаться силой как таковой. Это как Ниагара. Она прекрасна, хотя вы, пожалуй, не хотели бы оказаться на её пути. Разрешите мне взять ещё хлеба с маслом. — Она намазала себе ломтик. Марджори из вежливости тоже взяла кусочек. — Замечательный чёрный хлеб, — заметила Элино́р. Про себя она удивлялась, как мог Уолтер жить с женщиной, которая оттопыривает мизинец, держа чашку, откусывает такие крошечные кусочки от ломтя хлеба и жуёт одними передними зубами, точно морская свинка, как будто процесс еды был сам по себе чем-то неизящным и унижительным.

— А что же, по-вашему, следует делать мне? — наконец заставила себя спросить Марджори.

— Что вы можете сделать? — пожала плечами Элино́р. — Ждите и надейтесь, что он вернётся, когда получит своё и пресытится.

Это было очевидно; но Марджори считала, что со стороны Элино́р жестоко, бестактно и нечутко говорить подобные вещи.

В Лондоне Куорлзы временно поселились в одной из бывших конюшен в районе Бельгравии. У входа в тупик была арка. За аркой начинался тупик: слева высокая оштукатуренная стена сливочного цвета — глухая, потому что обитатели Бельгравии не желали ничего знать о жалкой домашней жизни своих слуг. Справа — длинный ряд низких конюшен с одноэтажной жилой надстройкой; теперь эти помещения были населены огромными «даймлерами» и семьями их водителей. Тупик упирался в стену, позади которой виднелись развесистые платаны аристократических садов. Парадное Куорлзов находилось в тени этой стены. Расположенный между садами и редко населёнными конюшнями, домик был очень тихим. Только въезжавшие и выезжавшие лимузины и детский плач изредка нарушали тишину.

«К счастью, — заметил как-то Филип, — богатые могут позволить себе роскошь приобретать бесшумные машины. А в двигателях внутреннего сгорания есть что-то способствующее уменьшению рождаемости. Вы слышали когда-нибудь, чтоб у шофёра было восемь человек детей?»

Помещения для конюхов и стойла были превращены при перестройке в одну просторную комнату. Две ширмы разделяли её на три части. За ширмой справа от входа было нечто вроде гостиной — кресла и диван вокруг камина. За ширмой слева стоял обеденный стол; там же была дверь в маленькую кухню. Узкая лестница в противоположном от входа конце комнаты вела в спальню. Жёлтые кретоновые занавески имитировали свет солнца, никогда не заглядывавшего в выходившее на север окно. Повсюду были книги. Над камином висел портрет Элино́р-девушки, написанный стариком Бидлэйком.

Филип лежал на диване с книгой в руке. Он читал:

Большой интерес представляют наблюдения м-ра Тейта Регана над карликовыми паразитическими самцами трех видов рыб из семейства *Ceratitidae*. У полярного вида *Ceratias holböllii* самка длиной около восьми дюймов носит на брюшной поверхности двух самцов длиной около двух с половиной дюймов. Ротовое отверстие карликового самца постоянно прикреплено к соску на коже самки: кровеносные сосуды самца и самки сообщаются. У самца отсутствуют зубы; рот ему не нужен; пищеварительный канал

дегенерирует. У *Photocarynus spiniceps* самка длиной около двух с половиной дюймов носит самца, размер которого не превышает полудюйма, на верхней части головы перед правым глазом. У *Edriolychnus schmidti* размеры примерно такие же, как у только что описанного вида; самка носит карликового самца в перевернутом положении на внутренней стороне жаберных крышек.

Филип отложил книгу и достал из внутреннего кармана записную книжку и вечное перо. Он написал:

Самки рыб из семейства *Ceratividae* носят карликовых паразитических самцов прикреплёнными к своим телам. Сравнение напрашивается само собой, когда мой Уолтер устремляется к своей Люси. Не описать ли сцену в аквариуме? Они приходят со знакомым натуралистом, который показывает им самок *Ceratividae* и их супругов. Полумрак: рыбы, прекрасный фон.

Он собирался отложить дневник, когда в голову ему пришла новая мысль. Он снова открыл дневник.

Пусть это будет аквариум в Монако. Описать Монте-Карло и всю Ривьеру как океан с глубоководными чудовищами.

Он закурил сигарету и снова погрузился в чтение. В дверь постучали. Он встал и открыл: это была Элинор.

— Ну и денёк! — Она бросилась в кресло.

— А что нового у Марджори? — спросил он.

— Нового? — вздохнула она, снимая шляпу. — Ничего. Несчастливая женщина! Она все такая же жуткая. Но мне искренне жаль её.

— А что ты ей посоветовала?

— Ничего. Что она может сделать? А как Уолтер? — спросила она в свою очередь. — Удалось тебе его пробрать с перцем?

— Боюсь, что с перцем у меня слабовато. Но мне удалось убедить его переехать с Марджори в Чэмфорд.

— Ах, удалось? Это уже много.

— Не так много, как ты думаешь. Никто не стоял мне поперёк дороги. В субботу Люси уезжает в Париж.

— Будем надеяться, что она пробудет там долго. Бедный Уолтер!

— Да, бедный Уолтер! Но я должен рассказать тебе о рыбах. — Он рассказал. — Когда-нибудь, — закончил он, — я напишу современный «Бестиарий»¹⁸³. Как это поучительно! Но ты мне ничего не сказала об Эверарде. Я совсем забыл, что ты с ним виделась.

— Я так и знала, что ты забудешь, — с горечью ответила она.

— Ты знала? Не понимаю почему.

— Я так и знала, что ты не поймёшь.

— Сдаюсь, — сказал Филип с насмешливым смирением.

Наступило молчание.

— Эверард в меня влюблён, — сказала наконец Элинор самым невыразительным и обыденным тоном, не глядя на мужа.

— Разве это новость? — спросил Филип. — Он, кажется, твой давнишний поклонник.

— Но это серьёзно, — продолжала Элинор. — Вполне серьёзно. — Она жадно ждала его ответа. Ответ последовал после небольшой паузы:

— Это уже менее забавно.

«Менее забавно». Неужели он не понимает? Ведь он же не дурак! Или, может быть, он понимает и только притворяется, что не понимает; может быть, он втайне даже рад этой истории с Эверардом? Или безразличие делает его слепым? Чего человек сам не чувствует, того он никогда не поймёт. Филип не понимал её, потому что он не чувствовал так, как

¹⁸³ Средневековый сборник аллегорических описаний зверей и их нравов и обычаев.

чувствовала она. Он был непоколебимо уверен, что все люди такие же тепловатые, как он сам.

— Но он нравится мне, — сказала она вслух, делая последнюю отчаянную попытку вызвать в нем хотя бы подобие живого интереса к ней. Если бы он начал ревновать, или грустить, или возмущаться, как счастлива была бы она, как благодарна ему! — Очень нравится, — продолжала она. — В нем есть что-то необыкновенно привлекательное. То, что он такой страстный, такой необузданный...

Филип рассмеялся.

— О да, неотразимый пещерный человек!

Элинор с лёгким вздохом встала, взяла шляпу и сумочку и, перегнувшись через спинку кресла, поцеловала своего мужа в лоб, точно прощаясь с ним; потом отвернулась и, не говоря ни слова, пошла наверх в спальню.

Филип снова принялся за книгу:

Bonellia viridis — зелёный червь, встречающийся в средиземноморском ареале. Тело самки — со сливу; оно имеет похожий на струну, раздвоенный на конце, очень чувствительный к прикосновению хоботок длиной до двух футов. Самец же — микроскопический; он живёт в том, что можно назвать влагалищем (видоизменённый нефридий) самки. У него нет рта; он живёт паразитически, поглощая питательные вещества покрытой ворсинками поверхностью своего тела.

Филип спрашивал себя, не следует ли ему пойти наверх и сказать что-нибудь Элинор. Он был уверен, что на самом деле она не любит Эверарда. Но, может быть, ему не следует относиться к этому так спокойно? Она казалась несколько расстроенной. Может быть, она ожидала, что он скажет ей, как он её любит, каким несчастным он был бы, если бы она разлюбила его? Но как раз это-то было почти невозможно сказать. В конце концов он решил не идти наверх. Он подождёт, он отложит это до следующего раза. И он снова стал читать о *Bonellia viridis*.

XXII

Из записной книжки Филипа Куорлза

Сегодня у Люси Тэнтемаунт мною овладела очень странная ассоциация идей. Люси, по обыкновению, была как французский флаг: синева под глазами, ярко-красный рот, а все остальное — мертвенно-бледное на фоне блестящих, как металл, чёрных волос. Я сказал что-то смешное. Она захохотала, открывая рот, и её язык и десны были настолько бледней её накрашенных губ, что они казались (и у меня от ужаса и удивления пробежали по коже мурашки) по контрасту совершенно бескровными и белыми. И вдруг, без всякого перехода, я оказался перед священными крокодилами в дворцовых садах Джайпура, и проводникиндус бросал им куски мяса, и пасть животных была изнутри почти белая, точно обитая лакированной козлиной кожей кремового цвета. Вот так работает наше сознание! А мы ещё хвастаемся своим интеллектом. М-да! Но какая это находка для моего романа! С этого я и начну книгу. Мой уолтероподобный герой говорит своей люсиподобной сирене что-нибудь смешное и немедленно, к своему ужасу (что не мешает ему по-прежнему, а может быть, даже ещё больше, желать её, только в желании его появляется оттенок извращённости), видит тех отталкивающих крокодилов, которых он рассматривал в Индии месяц тому назад. Таким образом, я убиваю сразу двух зайцев: тут и гротеск и фантастика, ^оскребите налёт обыденности, который накладывает наша привычка, — и все покажется неправдоподобным. Каждый предмет и каждое событие содержит в себе бесконечные глубины. Любая вещь есть не то, чем она кажется, или, вернее, она похожа одновременно на миллион других вещей. Вся Индия, как кинофильм, проносится в его мозгу, пока она хохочет и показывает — она, любимая, желанная, прекрасная, — свои жутко бескровные крокодилы десны и небо.

Литература должна быть как музыка. Не так, как у символистов, подчинявших звуку смысл. (*Pleuvent les bleus baisers des astres taciturnes* ¹⁸⁴. Бессмысленный набор слов.) Но в большем масштабе, в композиции. Продумать Бетховена. Перемены настроений, резкие переходы (например, чередование величественности и шутки в первой части *b-dur'*ного квартета. Комическое, неожиданно проскальзывающее среди потрясающей трагической торжественности в *c'moll'*ного квартета). Ещё интересней модуляции, переходы не из одной тональности в другую, а из одного настроения в другое. Тему формулируют, затем развивают, изменяют её форму, незаметно искажают, и в конце концов она становится совсем другой, хотя все же в ней можно узнать прежнюю тему. Ещё дальше заходит это в вариациях. Взять, например, эти невероятные вариации Диабелли ¹⁸⁵. Целая гамма мыслей и чувств, но все они органически связаны с глупым мотивчиком вальса. Дать это в романе. Как? Резкие переходы сделать нетрудно. Нужно только достаточно много действующих лиц и контрапункт параллельных сюжетов. Пока Джонс убивает жену, Смит катает ребёнка в колясочке по саду. Только чередовать темы. Романист создаёт модуляции, дублируя ситуации или действующих лиц. Он показывает нескольких человек, полюбивших, или умирающих, или молящихся — каждый по-своему: не похожие друг на друга люди, разрешающие одну и ту же проблему. Или наоборот: одинаковые люди за разрешением различных проблем. Таким способом можно промодулировать тему во всех её аспектах, можно написать вариации в самых разнообразных ключах. Другой путь — романист может присвоить себе божественную привилегию Творца и созерцать события романа в их различных аспектах: эмоциональном, научном, экономическом, религиозном, философском и т. п. Он может переходить от одного к другому — например, от эстетического аспекта вещи к физико-химическому, от религиозного — к физиологическому или финансовому. Но, может быть, это будет слишком деспотическим навязыванием воли автора? Так по крайней мере покажется некоторым. Но должен ли автор всегда ступёвываться? Боюсь, что мы теперь чересчур деликатничаем, стараясь, чтобы личность автора как можно меньше проглядывала в романе.

Ввести в роман романиста. Его присутствие оправдывает эстетические обобщения, которые могут быть интересны — по крайней мере для меня. Оправдывает также опыты. Отрывки из его романа будут показывать, как можно о том же событии рассказывать другими возможными или невозможными способами. А если он будет рассказывать отдельные эпизоды того же сюжета, который рассказываю я, — это и будут вариации на тему. Но зачем ограничиваться одним романистом внутри моего романа? Почему не ввести второго — внутри его романа? И третьего — внутри романа второго? И так до бесконечности, как на рекламах Овсянки Квакера, где изображён квакер с коробкой овсянки, на которой изображён другой квакер с другой коробкой овсянки, на которой и т. д. и т. д. В (скажем) десятом отражении может появиться романист, излагающий мой сюжет в алгебраических уравнениях или в терминах изменения пульса, давления крови, секреции желез и быстроты реакции.

Роман идей. Характер каждого персонажа должен выясняться, насколько это возможно, из высказываемых им идей. В той мере, в какой теории являются разумным обоснованием чувств, инстинктов и настроений человека, это достижимо. Главный недостаток идейного романа: в нем приходится писать о людях с идеями, то есть об одной сотой процента всего человечества. Поэтому настоящие, прирождённые романисты таких книг не пишут. Но ведь я никогда не считал себя прирождённым романистом.

Большой недостаток романа идей — в его искусственности. Это неизбежно: люди,

¹⁸⁴ Плачут голубые поцелуи молчаливых светил (фр.).

¹⁸⁵ Имеется в виду сочинение Бетховена «33 вариации на тему вальса Диабелли» (1823); Диабелли, Антон (1781-1858) — австрийский композитор и музыкальный издатель.

высказывающие точно сформулированные суждения, не совсем реальные, они слегка чудовищны. А долго жить с чудовищами утомительно.

Инстинкт приобретения знает, мне кажется, больше извращений, чем половой инстинкт. Во всяком случае, страсть к деньгам принимает у людей более причудливые формы, чем даже любовь. Постоянно встречаешь такую невероятную мелочность, особенно среди богатых. И такую фантастическую расточительность. Оба эти качества часто в одном человеке. А те, что хапают, те, что копят, — все те люди, которые целиком и почти непрерывно поглощены заботой о деньгах. Ни один человек не бывает непрерывно поглощён половой жизнью — очевидно, потому, что в половой жизни возможно физиологическое удовлетворение, а когда дело касается денег, оно невозможно. Когда тело насыщено, сознание перестаёт думать о еде или о женщинах. Но жажда денег — явление чисто психологическое. Здесь невозможно физическое удовлетворение. Это объясняет излишества и извращённость в вопросах приобретения. Наше тело буквально принуждает половой инстинкт проявляться нормально. Извращённость должна достигнуть очень сильной степени, прежде чем она сможет пересилить нормальные физиологические тенденции. Но когда дело касается приобретения, тогда нет регулирующего тела, нет плоти, настолько сильной, что её трудно выгнать из русла физиологической привычки. Самая лёгкая склонность к извращениям немедленно проявляется. Но, может быть, слово «извращение» в этом контексте бессмысленно. Говоря об извращении, мы подразумеваем некоторую норму, от которой оно является отклонением. А какова норма в вопросах приобретения? Чувствуется, что здесь должна быть золотая середина, но есть ли это истинная статистическая средняя? Я сам, вероятно, «ниже нормы», менее заинтересован в деньгах и собственности вообще, чем средний человек. Ни в одном из моих произведений не выступает человек, главным свойством которого была бы страсть к приобретению. Это недостаток: в реальной жизни таких людей сколько угодно. Но вряд ли мне удалось бы сделать такого человека интересным, раз страсть к приобретению меня лично не интересует. Бальзаку это удавалось: обстоятельства и наследственность взрастили в нем страстный интерес к деньгам. Но когда пишешь о том, что считаешь скучным, то и сам невольно делаешься скучным.

XXIII

Письменный стол стоял у окна. Тусклый от шеффилдского дымного воздуха, столб жёлтого, вязкого солнечного света падал на угол стола и на кусок красного узорного ковра. Эверард Уэбли писал письмо. Перо бегало по бумаге. Все, что он делал, он делал быстро и решительно. Он писал:

«Дорогая Элинор!

De profundis clamavi ¹⁸⁶: *из глубин отвратительного номера в гостинице и из ещё худших глубин политического турне по Северу взываю я к Вам. — (Вертикальные штрихи заглавных букв у него были прямыми и толстыми, как столбы, горизонтальные — твёрдыми и чёткими.) — Но вряд ли Вы услышите мои мольбы. Я всегда прекрасно понимал дикарей, которые лупят своих богов, когда те не исполняют их молитвы или не принимают их жертвы. Англия ждёт, что сегодня каждый бог исполнит свой долг. А если он не исполнит — что ж, тем*

¹⁸⁶ Из глубины взываю (лат.) — начало псалма СХХІХ.

хуже для него: придётся ему попробовать девятихвостки! Современное поклонение далёкому Неизречённому, чьи действия не подлежат критике, меня не устраивает. Какой смысл заключать договор с тем, кто может нарушить его произвольно и на кого нет управы? Женщины пошли по стопам богов. Они объявили себя непогрешимыми. Их нельзя заставить выполнять свой долг по отношению к тем, кто поклоняется им, или выполнять свои обязательства по естественному договору между полами. Я пишу, я умоляю. Но, подобно новоиспечённому Богу современных философов и терпимых богословов, Вы не внемлете. И я не имею права применить репрессии: теперь не принято лупить богов, когда они не выполняют своих обязанностей. Это дурной тон. Но все-таки предупреждаю Вас: в один прекрасный день я применю добрый старый способ — я устрою небольшое похищение сабинянок. Где будет тогда Ваше неизречённое, снисходительное превосходство? Как я ненавижу Вас за то, что Вы принуждаете меня так сильно любить Вас! Чертовски несправедливо получать от меня столько томления и страсти и ничего не давать взамен! И Вас здесь нет, чтобы понести заслуженное наказание. Мне приходится вымещать злобу на хулиганах, пытающихся сорвать мои выступления.

Вчера вечером тут разыгралась целая баталия. Протестующие выкрики, свист, организованное исполнение «Интернационала». Но я их всех утихомирил. Буквально. В один момент. Пришлось подставить одному из их вождей фонарь под глазом. Бедняга! Ему пришлось расплачиваться за Ваши грехи. Он оказался козлом отпущения вместо Вас. Не будь Вас, я был бы вдвое менее свирепым. Вероятно, я не победил бы. Так что моей победой я до некоторой степени обязан Вам. За что приношу свою благодарность. Но следующая схватка будет с моим настоящим врагом — с Вами. Будьте осмотрительны, дорогая! Я постараюсь не наставить Вам фонарей, но в пылу схватки разве можно все предвидеть? Но будем говорить серьёзно, Элинор. Зачем Вы такая холодная, далёкая, мёртвая? Зачем Вы прячетесь от меня? Я думаю о Вас непрерывно, упорно. Мысль о Вас не покидает меня! Она скрывается в самых неподходящих местах, готовая по команде какой-нибудь случайной ассоциации выскочить на меня из засады. Она преследует меня, как нечистая совесть. Если я...»

В дверь постучали. Вошёл Хьюго Брокл. Эверард взглянул на часы, потом на Хьюго. Выражение его лица стало угрожающим.

— Почему вы так поздно? — спросил он утрашающе спокойным голосом.

Хьюго покраснел:

— Я не заметил, что уже так поздно.

Это была правда. Он завтракал с Апвичами в их имении за двадцать миль от Шеффилда. Там гостила Полли Логан. После завтрака старик Апвич пошёл вместе с остальными гостями сыграть партию в гольф на собственной площадке в парке. По счастливой случайности оказалось, что Полли не играет в гольф. Они гуляли по лесу около реки. Как мог он не забыть о времени?

— Я очень виноват, — добавил он.

— Ещё бы, — сказал Эверард, и скрытая свирепость прорвалась из-под спокойствия. — Я приказал вам вернуться к пяти, а сейчас четверть седьмого. Когда вы исполняете задание Свободных Британцев, вы подчиняетесь военной дисциплине. Мои приказания должны выполняться. Понятно?

Хьюго смиренно кивнул:

— Да.

— А теперь идите и позаботьтесь о том, чтобы все было готово к сегодняшнему митингу. И знайте: чтобы это больше не повторялось. В следующий раз вы так легко не отделаетесь.

Хьюго вышел и закрыл дверь. Выражение гнева сразу же сошло с лица Эверарда. Он считал, что подчинённых необходимо время от времени запугивать. Гнев, как он убедился, — прекрасное оружие, пока не позволяешь ему овладеть собой. Он никогда не

позволял. Бедный Хьюго! Он улыбнулся сам себе и вернулся к письму. Через десять минут Хьюго вошёл и сообщил, что обед готов. Митинг был назначен на восемь: им нужно было пообедать пораньше.

— Все это так глупо, вся эта политическая грызня, — сказал Рэмпион резким от раздражения голосом, — так невероятно глупо! Большевики и фашисты, радикалы и консерваторы, коммунисты и Свободные Британцы — какого дьявола они воюют друг с другом? Я скажу вам, они воюют из-за того, отправить ли всех нас к чертям собачьим на коммунистическом экспрессе или на капиталистическом гоночном автомобиле, на частном автобусе или на общественном трамвае, бегущем по рельсам госконтроля. Место назначения во всех случаях одно и то же. Все они везут нас к чертям собачьим, все двигаются к тому же психологическому тупику и социальному крушению, которое является результатом крушения психологического. Единственная разница — в том, каким именно способом нас туда доставят. Здравому человеку просто невозможно интересоваться подобными спорами. Здравого человека интересует, куда он попадает, а вовсе не средства передвижения, с помощью которых туда можно попасть. Здравый человек спрашивает: хотим мы или не хотим идти к чертям собачьим? И он отвечает: нет, не хотим. А если он отвечает так, тогда ему наплевать на всех политиканов. Потому что все они стремятся спровадить нас именно туда. Все без исключения. Ленин и Муссолини, Макдональд и Болдуин. Все из всех сил стараются отправить нас к чертям собачьим и грызутся только из-за того, каким способом это осуществить.

— Может быть, одни это сделают не так быстро, как другие, — заметил Филип.

Рэмпион пожал плечами:

— Разница в скорости слишком незначительна. Все они верят в индустриализм в той или иной форме, все они верят в американизацию. Подумайте о большевистском идеале. А Америка ещё того чище. Америка с госдепартаментом вместо трестов и с государственными чиновниками вместо богачей. А что сказать про европейские идеалы? То же самое, только богачей сохранили. Машины и государственные чиновники. Машины и Альфред Монд или Генри Форд. Машины, чтобы отправить нас к чертям собачьим; в качестве машинистов — богатые или чиновники. Вы думаете, что одни будут везти более осторожно, чем другие? Может быть, БЫ и правы. Но я не знаю, можно ли кого-нибудь предпочесть: все они одинаково спешат. Во имя науки и прогресса и человеческого счастья. Аминь, и давай газ.

Филип кивнул.

— Да, и они дают газ, — сказал он. — Они очень спешат. Прогресс. Но, пожалуй, вы правы: они везут нас к бездонной пропасти.

— А единственное, о чем рассуждают реформаторы, — это форма и цвет автомобиля и техника управления машиной. Неужели эти болваны не видят, что самое важное — это направление, что мы двигаемся по ложному пути, что нам следует идти назад — предпочтительно пешком, без вонючей машины.

— Может быть, вы и правы, — сказал Филип. — Но все несчастье в том, что при существующем порядке вещей мы не можем идти назад, мы не можем отказаться от машины. Для этого пришлось бы истребить примерно половину всего человечества. Благодаря индустриализму население земного шара за сто лет удвоилось. Если вы хотите отделаться от индустриализма, вам нужно вернуться к исходному положению, иначе говоря — перебить половину существующего количества мужчин и женщин. *Sub specie aeternitatis* или хотя бы *historiae*¹⁸⁷ это было бы превосходно. Но вряд ли это достижимо на практике.

— Пока — да, — согласился Рэмпион. — Но ближайшая война и ближайшая революция сделают это слишком достижимым.

— Возможно. Но не следует возлагать надежду на войны и революции, потому что тогда они обязательно происходят.

¹⁸⁷ С точки зрения вечности... истории (лат.).

— Они все равно произойдут, — сказал Рэмпион, — будете вы на них возлагать надежды или нет. Индустриальный прогресс приводит к перепроизводству, к потребности в новых рынках, к международному соперничеству, а значит — к войне. А прогресс механизации приводит к максимальному разделению труда, к стандартизации процессов производства и развлечений, к уменьшению инициативы и творческой способности, к усилению интеллектуализма и постепенному отмиранию всего живого и существенного в человеческой природе, к усилению скуки и беспокойства и, наконец, к своего рода безумию, которое, в свою очередь, может привести только к социальной революции. Рассчитываете вы на них или нет, войны и революции неизбежны, по крайней мере если и дальше все будет идти, как идёт сейчас.

— Значит, вопрос разрешится сам собой, — сказал Филип.

— Да, он просто отпадёт. Ясное дело, когда человечество будет уничтожено, никаких вопросов больше не останется. Но это довольно грустная перспектива. Я надеюсь, что вопрос можно разрешить иначе, даже в рамках современной системы. Сначала разрешить его частично, а после этого приступить к перестройке системы, то есть к полному разрешению. Корень зла — в психологии отдельного человека, значит, с неё и нужно начинать. Прежде всего нужно приучить людей жить двойной жизнью, как бы в двух отделениях. В одном отделении они будут индустриальными рабочими, в другом — человеческими существами. Идиотами и машинами — восемь часов в сутки, настоящими человеческими существами — все остальное время.

— А разве не так живут они теперь?

— Конечно, нет. Они все время живут как идиоты и машины — и в часы работы, и в часы досуга. Как идиоты и машины, но воображают при этом, что они живут как цивилизованные люди, даже как боги. Прежде всего нужно убедить их, что в рабочие часы они — идиоты и машины. Или нужно сказать: «Поскольку наша цивилизация такова, какова она есть, тебе придётся восемь часов в сутки быть чем-то средним между кретином и швейной машиной. Без сомнения, это очень неприятно. Это унижительно и гнусно. Но ничего не поделаешь, тебе придётся жить так; иначе весь наш мир рассыплется на кусочки и все мы подохнем с голоду. Делай свою работу как идиот и машина, а в часы досуга будь настоящим цельным человеком — мужчиной или женщиной. Не смешивай эти две жизни, пусть кингстоны между ними будут всегда закрыты. Настоящая жизнь — это та, когда в часы досуга ты являешься подлинным живым человеком. Остальное — это грязная работа, которую так или иначе приходится выполнять. Но никогда не забывай, что это грязная работа и что она не имеет решительно никакого смысла, решительно никакого отношения к настоящей человеческой жизни: она нужна только для того, чтобы ты был сытым и общество не разрушалось. Не давай обманывать себя лицемерным мошенникам, твердящим о святости труда и о христианском долге, который дельцы выполняют по отношению к своим ближним: все это ложь. Твоя работа — грязное, гнусное дело, которое тебе приходится выполнять только потому, что твои предки были безумцами. Они нагромодили груды мусора, и тебе нужно сровнять её с землёй, чтобы не задохнуться в её зловонии; тебе нужно рыть и рыть, чтобы откопать драгоценную жизнь, проклиная память маньяков, оставивших тебе в наследство эту грязную работу. Но не старайся подбодрить себя, воображая, будто эта гнусная механическая работа благородна: она не благородна. А если ты будешь говорить и верить, что она благородна, ты унизишь своё человеческое достоинство до уровня этой грязной работы. Если ты поверишь в святость труда и в то, что дельцы выполняют свой долг, ты будешь механизированным идиотом все двадцать четыре часа в сутки. Признай, что работа грязна, зажми нос и выполняй её в течение восьми часов, а в часы досуга старайся быть настоящим человеком. Настоящим полноценным человеком. Не читателем газет, не поклонником джаза, не радиолюбителем. Капиталисты, доставляющие массам стандартные развлечения, изо всех сил стараются сделать так, чтобы ты и в часы досуга оставался тем же механизированным болваном, каким ты бываешь в часы труда. Не позволяй им это делать. Старайся быть человеком». Вот что вы должны сказать людям; вот чему вы должны учить

подрастающее поколение. Вы должны внушить всем и каждому, что вся наша великая индустриальная цивилизация — просто зловонная куча и что настоящей, значительной жизнью можно жить лишь вдали от неё. Пройдёт очень много времени, прежде чем удастся примирить пристойную жизнь с индустриальной вонью. Может быть, они даже непримиримы. Этого мы ещё не знаем. А пока что мы должны разгрести мусор, стоически перенося вонь, а в промежутки стараться жить подлинной человеческой жизнью.

— Недурная программа, — сказал Филип. — Боюсь, однако, что, если вы с ней выступите на ближайших выборах, много голосов вы не соберёте.

— Да, к сожалению. — Рэмпион нахмурился. — Против меня все бы восстали. Консерваторы, либералы, социалисты, большевики — все они сходятся в одном: все они верят, что индустриальное зловоние есть нечто в высшей степени замечательное и что необходимо путём стандартизации и специализации вытравить последние следы подлинной мужественности и женственности из всех представителей человеческого рода. И после этого от нас требуют, чтобы мы интересовались политикой! Ну-ну! — Он покачал головой. — Давайте поговорим о чем-нибудь более приятном. Мне хотелось бы показать вам одну картину. — Он пересёк мастерскую и вытащил одно из стоявших у стенки полотен. — Вот, — сказал он, водрузив картину на мольберт.

Сидя на гребне поросшего травой откоса, нагая женщина кормила грудью ребёнка. Она была вершиной пирамидальной композиции. Слева, внизу от неё, сидел на корточках мужчина, повернувшись к зрителям обнажённой спиной, а справа (симметрично мужчине) стоял маленький мальчик. Мужчина играл с двумя крошечными детёнышами леопарда, занимавшими центр картины; внизу, у ног сидящей матери, маленький мальчик смотрел на них. Позади женщины стояла корова, повернув голову в сторону, пережёвывая жвачку; она заполняла собой почти всю верхнюю часть картины. Голова и плечи женщины выделялись светлым пятном на фоне её темно-бурого бока.

— Я особенно люблю эту картину, — прервал молчание Рэмпион. — Хорошо написано тело. Не правда ли? В нём есть сочность, оно живое. Кстати, как замечательно писал ваш тесть обнажённое тело на открытом воздухе! Просто изумительно. Никто не может сравниться с ним в этом. Даже Ренуар. Эх, мне бы его талант! И все-таки, знаете ли, это тоже хорошо, — продолжал он, снова обращаясь к картине. — В самом деле, очень здорово. И вообще в этой картине есть достоинства. Я чувствую, что мне удалось хорошо расположить фигуры по отношению друг к другу и к окружающему миру. Показать между ними живую связь. Возьмите, например, корову. Она отвернулась, она не обращает внимания на то, что происходит среди людей. И все-таки чувствуется, что она блаженно соприкасается с людьми по-своему, по-коровьему. И люди соприкасаются с ней. А также с леопардами — но совсем по-другому — так, как соприкасаются с ними проворные детёныши леопарда. Решительно, она мне нравится!

— Мне тоже, — сказал Филип. — Это неплохая защита от индустриального зловония, — рассмеялся он. — Вам следует написать ещё картину в пару этой, изображающую жизнь в цивилизованном мире. Женщина в макинтоше, прислонившаяся к гигантской бутылки с мясным экстрактом и кормящая ребёнка искусственным молоком. Откос залит асфальтом. Мужчина в «элегантном» костюме за пятьдесят шиллингов сидит на карачках и развлекается с радиоприёмником. А на него с интересом смотрит прыщавый и рахитичный мальчишка.

— И написать всю эту вещь в манере кубистов, — сказал Рэмпион, — чтоб в ней наверняка не было никакой жизни. Ничто не может сравниться с современным искусством по части стерилизации вещей и вытравливания из них жизни. Карболка — ничто по сравнению с ним.

XXIV

Местное самоуправление у индусов в эпоху императоров из династии Маурья

продолжало требовать постоянных поездок мистера Куорлза в Британский музей, по крайней мере два раза в неделю, и каждый раз на целый день.

— Я понятия не имел, — объяснял он, — что мне удастся найти столько материалов.

Тем временем Глэдис сделала открытие, что она просчиталась. Она ждала, что под покровительством мистера Куорлза она будет очень весело проводить время, а на деле вышло, что с ним она проводила время ничуть не веселей, чем с теми «мальчиками», у которых денег было не больше, чем у неё самой; по-видимому, мистер Куорлз вовсе не собирался платить за роскошь чувствовать себя «аристократом». Он хотел быть великим человеком, но с минимальными затратами. Водя её по дешёвым ресторанам и покупая в театрах дешёвые места, он оправдывал это необходимостью соблюдать тайну. Нельзя, чтобы кто-либо из знакомых увидел его в обществе Глэдис; а так как знакомые его принадлежали к тому кругу, представители которого посещали рестораны Беркли и ложи в «Гейети», мистер Куорлз и Глэдис обедали в дешёвых закусочных и смотрели на спектакли с высоты галёрки. Таково было официальное объяснение того, что пиры, которые устраивал Сидни, были далеко не княжескими. Реальное же объяснение заключалось в том, что Сидни весьма неохотно расставался с наличными деньгами. Крупные суммы он расшвыривал с большой лёгкостью, но за мелкие цеплялся. Когда речь шла об «усовершенствованиях» для имения, он с лёгким сердцем подписывал чеки на сотни и даже тысячи фунтов. Но когда нужно было истратить две-три полукроны для того, чтобы повести свою любовницу на хорошие места в театр, угостить её вкусным обедом или подарить ей букет цветов или коробку конфет, он сразу становился чрезвычайно экономным. Его скупость порождала тот странный пуританизм, которым отличались его взгляды на все удовольствия и развлечения, за исключением сексуальных в узком смысле этого слова. Обедая с какой-нибудь белошвейкой в дешёвой и скромной закусочной в Сохо, он (со всей страстностью Мильтона, избличающего сынов Сатаны, со всей строгостью Вордсворта, проповедующего мудрую бедность) громил прожигателей жизни и кутил, которые где-нибудь в «Карлтоне» или в «Ритце», посреди нищеты, царящей в Лондоне, беспечно проедают месячный заработок батрака за обедом на две персоны. Таким образом, предпочтение, которое мистер Куорлз оказывал дешёвым ресторанам и дешёвым местам в театре, приобретало не только дипломатический, но и высоконравственный оттенок. Соблазнённые стареющим развратником любовницы мистера Куорлза с удивлением обнаруживали, что они обедают в обществе иудейского пророка и развлекаются с последователем Катона или Кальвина.

— Послушать вас, так можно подумать, что вы святой проповедник, — саркастически заметила Глэдис, когда он остановился, чтобы перевести дух, посреди одной из своих избличительных тирад по адресу расточителей и обжор, тирад, которыми он обычно раздражался в закусочных. — Это вы-то! — В её смехе звучала нескрываема издёвка.

Мистер Куорлз пришёл в замешательство. Он привык, чтобы его выслушивали почтительно, как олимпийца. Тон Глэдис был бунтарским и наглым; это ему не понравилось; это даже встревожило его. Он с достоинством вскинул подбородок и выстрелил поверх её головы укоризненную тираду:

— Вопрос тут не в отде-ельных личностях, — изрёк он. — Вопрос — в общих принципах.

— Не вижу никакой разницы, — отпарировала Глэдис, одним ударом разрушая все торжественные построения всех философов и моралистов, всех религиозных лидеров, реформаторов и утопистов от начала времён и до наших дней.

Больше всего раздражало Глэдис то, что даже в мире ресторанчиков «Лайонз»¹⁸⁸ и дешёвых мест в театре мистера Куорлза не покидали его олимпийское величие и олимпийские манеры. Когда однажды вечером на лестнице, ведущей на галёрку, скопилась толпа, он преисполнился праведного и громогласного негодования.

¹⁸⁸ Название сети недорогих ресторанов, кафе и кондитерских одноимённой компании.

— Какое безобра-азие! — возмущался он.

— Можно подумать, что у вас билеты в королевскую ложу, — саркастически сказала Глэдис.

А когда в кафе он пожаловался, что у лососины по шиллингу и четыре пенса за порцию такой вкус, точно её везли в Лондон не из Шотландии, а по крайней мере из Британской Колумбии через весь Атлантический океан, она посоветовала ему написать об этом в «Таймс». Эта идея понравилась ей; и с тех пор она по каждому поводу иронически предлагала ему написать в «Таймс». Когда он, возвышенный и разочарованный философ, жаловался на легкомыслие политических деятелей и на презренную банальность политики, Глэдис рекомендовала ему написать в «Таймс». Он распространялся об отвратительной миссис Гранди¹⁸⁹ и об английском лицемерии — «Напишите в „Таймс“». «Это безобра-азие, что ни сэр Эдвард Грэй, ни Ллойд Джордж не умеют говорить по-французски» — опять «напишите в „Таймс“». Мистер Куорлз был обижен и возмущён. До сих пор с ним никогда такого не случалось. Обычно в обществе своих любовниц он наслаждался сознанием своего превосходства. Они преклонялись и обожали его; он чувствовал себя богом. Глэдис тоже в первые дни относилась к нему так. Но, начав с молитв, она кончила насмешками. Его духовное счастье было разрушено. Если бы не телесные утешения, которые она доставляла ему как представительница своего пола, мистер Куорлз быстро исчерпал бы тему о местном самоуправлении при династии Маурья и обосновался бы у себя дома. Но Глэдис была на редкость чистым образцом самки как таковой. Это было сильней мистера Куорлза. Как индивид она огорчала его и отталкивала своими насмешками; но привлекательность её как представительницы пола, как самки пересиливала это отвращение. Несмотря на издевательства, мистер Куорлз снова и снова возвращался к ней. Вопрос об индусском самоуправлении требовал все большего внимания.

Поняв свою силу, Глэдис начала отказывать ему в том, чего он желал: может быть, при помощи шантажа удастся вызвать его на щедрость, не очень свойственную ему от природы? Возвращаясь в такси после скромного обеда в «Лайонзе» и сеанса в дешёвом кино, она оттолкнула его, когда он попытался искать у неё обычных утешений.

— Оставьте меня в покое! — огрызнулась она и через секунду добавила: — Скажите шофёру, чтобы он сначала ехал ко мне: я сойду там.

— Но, дорогое дитя!.. — запротестовал мистер Куорлз: разве она не обещала поехать к нему?

— Я передумала. Скажите шофёру.

Мысль о том, что после трех дней лихорадочных предвкушений ему придётся провести вечер в одиночестве, была мучительна.

— Но Глэдис, милая...

— Скажите шофёру!

— Но это сли-ишком жестоко! Почему вы такая недобрая?

— А вы бы написали об этом в «Таймс», — был её ответ. — Я скажу шофёру сама.

После мучительной бессонной ночи мистер Куорлз вышел, как только открылись магазины, и за четырнадцать гиней купил часы с браслетом.

Реклама зубной пасты гласила: «Дентол». Но на картинке были изображены фокстротирующие юноша и девушка, показывающие друг другу зубы в жемчужной влюблённой улыбке, а слово начиналось с буквы «Д», поэтому маленький Фил без запинки

¹⁸⁹ Персонаж, упоминаемый в пьесе английского драматурга Томаса Мортон (1764-1838), олицетворение узости, ограниченности и страха перед общественным мнением.

прочёл:

— Дансинг!

Его отец рассмеялся.

— Ах ты, плутишка! — сказал он. — Ты ведь, кажется, сказал, что умеешь читать.

— Но они действительно танцуют, — возразил мальчик.

— Да, но слово все-таки не то. Попробуй-ка ещё раз.

Маленький Фил снова взглянул на удивительное слово и долго рассматривал картинку. Но фокстротирующая парочка не помогла ему.

— Динамо, — сказал он наконец в отчаянии. Это было единственное слово, начинающееся на «Д», которое пришло ему в голову.

— А почему не динозавр, если уж на то пошло, — насмешливо сказал отец, — или долихоцефал, или дигиталис?

Маленький Фил был глубоко оскорблён: он не выносил, когда над ним смеялись.

— Попробуй ещё раз. Не гадай, а попробуй на самом деле прочесть.

Маленький Фил отвернулся.

— Мне надоело, — сказал он.

Он не любил делать то, что ему плохо удавалось, — это уязвляло его гордость. Мисс Фулкс, которая верила в обучение посредством разумных убеждений и при разумном согласии обучаемого (она была ещё очень молода), читала ему лекции о его собственной психологии в надежде на то, что, поняв свои недостатки, он избавится от них. «У тебя ложная гордость, — говорила она ему. — Ты не стыдишься быть тупицей и невеждой. Но ты стыдишься делать ошибки. Если тебе что-нибудь не удаётся, ты предпочитаешь совсем этого не делать, чем делать плохо. Это неправильно». Маленький Фил кивал головой и говорил: «Да, мисс Фулкс» — очень разумно и таким тоном, точно он действительно понимал, что от него требуется. Но он все-таки продолжал не делать того, что сделать было трудно или что плохо удавалось ему.

— Мне надоело, — повторил он. — Хочешь, я нарисую тебе что-нибудь? — предложил он, снова повернувшись к отцу и пленительно улыбаясь. Рисовать он был всегда готов. Он рисовал хорошо.

— Нет, спасибо. Лучше почитай мне, — сказал Филип.

— Но мне надоело.

— А ты постарайся.

— А я не хочу стараться.

— А я хочу. Читай.

Маленький Фил разразился слезами. Он знал, что слезы — непобедимое оружие. И на этот раз слезы, как всегда, подействовали. Элинор, сидевшая на другом конце комнаты, подняла глаза от книги.

— Зачем ты доводишь его до слез, — сказала она. — Ему это вредно.

Филип пожал плечами.

— Если ты думаешь, что это правильный метод воспитания... — сказал он с горечью, не оправдываемой обстоятельствами, с горечью, накопившейся за несколько недель молчания и сдержанной враждебности, вопросов и упреков, обращённых к самому себе. Теперь эта горечь вырвалась наружу по первому и ничтожному поводу.

— Я ничего не думаю, — сказала Элинор холодным, жёстким голосом, — я просто не хочу, чтобы он плакал. — Маленький Фил зарыдал с удвоенным рвением. Она позвала его и посадила к себе на колени.

— Поскольку он имеет несчастье быть единственным ребёнком, следовало бы постараться не баловать его.

Элинор прижалась щекой к волосам мальчика.

— Поскольку он единственный ребёнок, — сказала она, — почему бы с ним и не обращаться как с единственным?

— Ты безнадежна, — сказал Филип. — Пора нам уже осесть на месте, чтобы ребёнок

мог наконец получить разумное воспитание.

— А кто займётся разумным воспитанием? — спросила Элино́р. — Ты? — Она саркастически рассмеялась. — Через неделю тебе это так надоест, что ты либо покончишь с собой, либо удерёшь с первым аэропланом в Париж и вернёшься только через полгода.

— Гадкий папа! — вставил мальчик.

Филип был оскорблён, особенно потому, что втайне понимал, как глубоко права Элино́р. Идеал деревенской семейной жизни, наполненной мелочными обязанностями и случайными соприкосновениями с людьми, казался ему чем-то граничащим с нелепостью. И хотя теоретически ему было бы интересно наблюдать за воспитанием маленького Фила, он знал, что на практике это будет невыносимо. Он вспомнил редкие педагогические порывы своего отца. Таким же был бы и он. Но именно поэтому-то Элино́р не должна была говорить так.

— Я вовсе не так по-детски легкомыслен, как ты воображаешь, — сказал он с достоинством и скрытым гневом.

— Наоборот, — ответила она, — ты слишком по-взрослому серьёзен. Ты не умеешь обращаться с детьми именно потому, что сам ты недостаточно дитя. Ты вроде тех ужасающе взрослых созданий в «Мафусаиле» Бернарда Шоу.

— Гадкий папа! — с раздражающей настойчивостью, как попугай, умеющий говорить только одну фразу, повторил маленький Фил.

Первым побуждением Филипа было выхватить мальчика из объятий матери, отшлёпать его за дерзость, выгнать из комнаты, а потом накинуться на Элино́р и бурно объяснить с ней. Но привычка к джентльменской сдержанности и страх перед сценами заставили его смирить свой гнев. Вместо того чтобы дать нормальный выход раздражению, он усилием воли ещё больше замкнулся в себе. Сохраняя достоинство и пряча в себе невысказанную обиду, он встал и через стеклянную дверь вышел в сад. Элино́р следила за его движениями. Первым её побуждением было побежать за ним, взять его за руку и помириться. Но она тоже сдержала себя. Филип, ковыляя, скрылся из виду. Мальчик продолжал хныкать. Элино́р слегка встряхнула его.

— Перестань, Фил, — сказала она почти сердито. — Довольно! Перестань сейчас же!

Двое докторов рассматривали то, что глазу непосвящённого могло показаться снимком тайфуна в Сиамском заливе, клубами чёрного дыма среди облаков или просто чернильной кляксой.

— Исключительно ясный снимок, — сказал юный рентгенолог. — Посмотрите. — Он показал на клуб дыма. — Здесь, у пилоруса, совершенно ясное новообразование. — Он вопросительно и с почтением посмотрел на своего знаменитого коллегу.

Сэр Герберт кивнул.

— Совершенно ясное, — повторил он. Он изрекал, как оракул, и всякому было понятно, что каждое его слово — неоспоримая истина. — Оно не может быть большим. По крайней мере при отмеченных до сих пор симптомах. Рвоты пока ещё не было.

— Рвоты не было? — воскликнул рентгенолог с преувеличенным интересом и удивлением. — Это объясняется, конечно, незначительными размерами опухоли.

— Да, пока она почти не мешает прохождению пищи.

— Стоило бы вскрыть брюшную полость, чтобы исследовать подробнее.

Сэр Герберт слегка выпятил губы и с сомнением покачал головой.

— Не забывайте о возрасте пациента.

— Да, разумеется, — поспешно согласился рентгенолог.

— Он старше, чем кажется.

— Да, да. Он очень молоджав.

— Мне, пожалуй, пора, — сказал сэр Герберт.

Молодой рентгенолог подскочил к двери, подал ему шляпу и перчатки, самолично проводил его к стоявшему у подъезда «даймлеру». Вернувшись к столу, он снова взглянул на облачно-серый снимок с чёрным пятном.

— Удивительно удачно, — с удовлетворением сказал он себе и, перевернув карточку, надписал карандашом на обороте: «Дж. Бидлэйк, эсквайр. Желудок после приёма бария. Новообразование у пилоруса, небольшое, но очень ясное. Снимок сделан...» Он взглянул на календарь, поставил дату и вложил снимок в картотеку.

Старый слуга доложил о приходе гостя и удалился, закрывая за собой дверь мастерской.

— Как поживаете, Джон? — сказала леди Эдвард, направляясь к нему. — Говорят, вы совсем раскисли. Надеюсь, ничего серьёзного?

Джон Бидлэйк даже не встал ей навстречу. Он протянул ей руку из глубины кресла, в котором он провёл весь день, с ужасом размышляя о болезни и смерти.

— Да что с вами, Джон! — воскликнула леди Эдвард, усаживаясь возле него. — У вас совсем больной вид. В чем дело?

Джон Бидлэйк покачал головой.

— Бог его знает, — сказал он. Разумеется, из туманных объяснений сэра Герберта о «небольшом новообразовании в области пилоруса» он понял все. Разве его сын Морис не умер от этого пять лет тому назад в Калифорнии? Он понял; но говорить об этом он не будет. Если это высказать словами, это станет ещё более ужасным, ещё более непоправимым. К тому же никогда не следует выражать в словах своё знание о надвигающейся напасти, а не то у судьбы будет, так сказать, модель, по которой она сможет сформировать грядущее событие. Всегда остаётся какая-то смутная надежда, что, если не назвать по имени надвигающееся несчастье, это несчастье, может быть, не произойдёт. Тайны личной религии Джона Бидлэйка были не менее темны и парадоксальны, чем в любой из высмеиваемых им ортодоксальных религий, предусматривающих поклонение персонифицированному Богу.

— Но у вас был доктор или нет? — В тоне леди Эдвард слышалось порицание: она знала странное нерасположение, которое её друг питал к докторам.

— Конечно, был, — раздражённо ответил он, зная, что она знает о его отношении к докторам. — Или, по-вашему, я круглый дурак? Но все они шарлатаны. Я пригласил к себе доктора с титулом «сэр». Вы, может быть, думаете, что он понял больше, чем все остальные? Он просто сказал мне на своём лекарском жаргоне то, что я ещё раньше сказал ему своими словами: что у меня что-то неладно в серёдке. Старый мошенник! — Ненависть к сэру Герберту и ко всем докторам на мгновение оживила его.

— Но все-таки он что-нибудь сказал вам? — настаивала леди Эдвард.

Эти слова снова вызвали в его памяти мысль о «небольшом новообразовании в области пилоруса», о болезни и физическом страдании и медленно подползающей смерти. Ужас и отчаяние снова овладели им.

— Ничего особенного, — пробурчал он, отворачивая лицо.

— Так, может быть, на самом деле ничего серьёзного, — попыталась успокоить его леди Эдвард.

— Нет, нет! — Старик воспринял её легкомысленную надежду на лучшее как личную обиду. Он не хотел отдаваться во власть судьбы, сказав страшную правду. И в то же время он хотел, чтобы к нему относились так, словно правда была уже высказана, чтобы к нему относились с должным состраданием. — Дело плохо. Дело очень плохо, — повторил он.

Он думал о смерти — о смерти, которая в образе новой жизни растёт и растёт у него в животе, как зародыш в матке. Единственным, что было молодо и активно в его дряхлом теле, единственным, что буйно росло и жило в нем, была смерть.

Кругом по стенам мастерской висели отрывочные воспоминания о жизни Джона Бидлэйка. Два маленьких пейзажа, написанные в садах Пинчио в те дни, когда Рим только что перестал быть владением папы, — вид на колокольни и купола сквозь просвет среди падубов, две статуи, чётко вырисовывающиеся на фоне неба. Рядом с ним лицо сатира, курносое и бородатое, — портрет Верлена. Лондонская уличная сцена — кебы, цилиндры, приподнятые юбки. Три этюда пухленькой румяной Мэри Беттертон, какой она была тридцать лет тому назад. И Дженни, красивейшая из всех натурщиц. Она лежит обнажённая

в шезлонге, и позади неё, на подоконнике, — букет роз, а дальше — небо и белые облака, а на белом животе Дженни — огромный голубой персидский кот дремлет в позе геральдического льва, положив лапы между её круглых маленьких грудей.

Леди Эдвард решила перевести разговор на другую тему.

— А Люси только что вылетела в Париж, — начала она.

XXV

Набережная Вольтера

Ветер был резкий, я забыла наушники и два с половиной часа сидела в адском шуме. Очень устала и чувствую себя, нежный Уолтер, немного сентиментально и sola sola ¹⁹⁰. *Почему ты не здесь, чтобы разогнать нестерпимую грусть этого чудесного вечера? За окнами Лувр, река, зеленое стеклянное небо, солнце и бархатные тени. От всего этого плакать хочется. И не только от декорации. Мои руки в рукавах халата, мой почерк, даже мои голые ноги — туфли я сбросила — все это ужасно, ужасно! А моё лицо в зеркале, а мои плечи, а оранжевые розы и китайские золотые рыбки под цвет роз, а портьеры по рисункам Дюфи и все остальное, да, все, потому что здесь все одинаково прекрасно и необыкновенно, даже скучные и безобразные вещи, — все это просто невыносимо. Невыносимо! Я больше не могу терпеть — и не стану! Пятиминутный перерыв. Вот почему я позвонила Ренэ Талесиану, чтобы он приехал и выпил со мной коктейль и повёз меня куда-нибудь развлекаться, *malgre* ¹⁹¹ головную боль. Я не дам вселенной запугать меня. Ты знаешь Ренэ? Божественный человек. И все-таки я жалею, что это не ты. Пора одеваться.*

A toi ¹⁹²

Люси.

Набережная Вольтера

*Твоё письмо утомительно. Такое нытьё. И вовсе не лестно, когда человека называют ядом в крови. Это все равно что назвать человека расстройством желудка. Если не можешь писать более разумно, не пиши вовсе. *Quanta moi, je t'amuse. Pas follement* ¹⁹³, но по мере сил, по мере сил. Театры довольно плохие, но мне нравятся: я ещё не потеряла детской способности увлекаться глупой интригой. А покупать платья — такое наслаждение! Я просто любовалась собой в зеркалах у Ланвэна. Наоборот, любоваться картинами — довольно скучное занятие. Танцевать гораздо интереснее. Жизнь имела бы смысл, если бы она всегда была похожа на фокстрот с профессиональными танцорами. Но она не похожа. А если бы она была похожа, мы, вероятно, стремились бы просто ходить. По вечерам таскаюсь по монпарнасским кабакам, где своры американцев, поляков, эстонцев, румын, лапландцев, латышей, финнов, вендов и т. д., и все они (помоги нам, Господь) — художники. Не пора ли нам основать лигу по борьбе с искусством? Когда живёшь в Париже, это кажется весьма актуальным. И ещё мне хотелось бы встречать немного больше людей с нормальными половыми наклонностями — для разнообразия. Я не очень люблю *ni les tapettes, ni les gousses**

¹⁹⁰ Одиноко-одиноко (ит.).

¹⁹¹ Несмотря на (фр.).

¹⁹² Твоя (фр.).

¹⁹³ Что же касается меня, я развлекаюсь. Не безумно (фр.).

194. *А с тех пор как Пруст и Жид ввели их в моду, в этом утомительном городе только их и встречаешь. Вся моя английская респектабельность бурно протестует!*

Твоя Л.

Набережная Вольтера

Твоё письмо на этот раз больше порадовало мой глаз. (Единственный стих, который я написала за всю жизнь, и к тому же экспромтом. А ведь правда неплохо?) Если бы все поняли, что счастливая или несчастная любовь — главным образом вопрос моды! Поэтическая несчастная любовь старомодна, да к тому же английские рифмы не оправдывают её. Cuore — dolore — amore¹⁹⁵: по-итальянски без этого не обойдёшься. По-немецки тоже: Herz должно чувствовать Schmerz, а Liebe неизбежно полна Triebe¹⁹⁶. По-английски не так. Страдания не ассоциируются с английской любовью: loves рифмуется только с gloves и turtle-doves¹⁹⁷. И единственные, что, по законам английской поэзии, непосредственно взывают у англичан к их hearts, так это tarts и amorous arts¹⁹⁸. И уверяю тебя, что размышлять на эту тему — занятие, гораздо более достойное мужчины, чем твердить без конца о том, какой он несчастный, как он ревнует, как жестоко его обидели и так далее, все в том же духе. Как жаль, что этот дурак Ренэ не способен этого понять. Но, к сожалению, соеир рифмуется с douleur¹⁹⁹, а он — француз. Он становится почти таким же скучным, как ты, мой бедный Уолтер. Надеюсь, теперь ты исправился? Ты — милый.

Л.

Набережная Вольтера

Страдаю от холодной и невыносимой скуки, которую только на минуту разогнало твоё письмо. Париж нестерпимо мрачен. Я твёрдо решила улететь куда-нибудь ещё, только не знаю куда. Сегодня у меня была Эйлин. Она хочет уйти от Тима, потому что он заставляет её лежать голой в постели, а сам в это время жжёт над ней газеты, и на неё падает горячий пепел. Бедный Тим! Нехорошо лишать его этих маленьких радостей. Но Эйлин страшно боится быть изжаренной. Она расสวิрепела, когда я стала смеяться и не проявила должного сочувствия. Я отнеслась ко всему этому как к шутке. Да это и есть шутка. И к тому же не слишком остроумная. Потому что нас, как королеву, это не забавляет. Как я ненавижу тебя за то, что ты не здесь и не развлекаешь меня! Можно простить человеку все, кроме отсутствия. Прощай же, непростительный отсутствующий Уолтер. Сегодня я хочу тебя, твоих рук и твоих губ. А ты? Помнишь?

Л.

194 Ни педерастов, ни лесбиянок (фр.).

195 Сердце — страдание — любовь (ит.).

196 Сердце — грусть; любовь — томление (нем.).

197 Любовь — перчатки — горлицы (англ.).

198 Сердца — шлюхи — любовные игры (англ.).

199 Сердце — страдание (фр.).

Набережная Вольтера

*Так, значит, Филип Куорлз поселяется в имени и хочет сделаться чем-то средним между миссис Гаскелл и Кнудом Гамсуном ²⁰⁰. Ну и дела!.. Впрочем, хорошо, что для него-то ещё остались иллюзии. Во всяком случае, в деревне он будет скучать не больше, чем я скучаю здесь. И никаких перспектив. Вчера вечером я отправилась с Тимом и Эйлин — она, по-видимому, примирилась с фейерверками — в одно из тех злчных мест, где за сто франков можно созерцать оргии (в масках — единственная забавная деталь), а если угодно — принимать в них участие. Полутьма — как в храме, маленькие отделенщица с диванами и масса того, что французы называют *атюир*. Странно и дико, но главным образом тоскливо и невероятно по-медицински. Среднее между очень глупой клоунадой и анатомическим театром. Тим и Эйлин хотели, чтобы я осталась. Я сказала им, что предпочитаю пойти в морг, и покинула их. Надеюсь, они развлекались. Но какая скучища, какая безнадежная и абсолютная скучища! Я всегда думала, что Гелиогабал ²⁰¹ был крайне испорченным юношей. Но теперь, посмотрев на то, что забавляло его, я понимаю, до чего он был инфантилен. К несчастью, в некоторых отношениях я слишком взрослая. Собираюсь на будущей неделе в Мадрид. Разумеется, там будет невероятно жарко. Но я люблю жару. Я расцветаю в печках. (Может быть, это многозначительный намёк на то, что ожидает меня в загробной жизни?) Почему бы тебе не поехать со мной? Серьёзно. Ты, конечно же, можешь уехать. Убей Барлепа, приезжай и стань бродягой *a la Морис Баррес: Du sang, de la volupte et de la mort* ²⁰². Настроение у меня довольно кровожадное. Испания как раз подойдёт мне. Пока что разужнаю о сезоне боя быков. Арена тошнотворна; даже моя кровожадность не выдерживает вида извозчичьих кляч с распоротыми животами. Но зрители восхитительны. Двадцать тысяч одновременных садистических *frissons* ²⁰³. Это потрясающе. Приезжай обязательно, мой нежный Уолтер. Скажи «да». Я требую.*

Люси.

Набережная Вольтера

*С твоей стороны было страшно мило, дорогой Уолтер, что ты сделал невозможное и решил приехать в Испанию. Но не следовало так всерьёз принимать моё минутное *envie* ²⁰⁴. Мадрид отпадает — по крайней мере на сегодня. Если поеду, сейчас же извещу тебя. А пока что — Париж.*

Спешу.

Л.

²⁰⁰ Имеется в виду идиллическая жизнь провинциального городка, изображённая Элизабет Гаскелл (1810-1865) в романе «Кренфорд» (1853), и отшельническая жизнь главного героя романа Кнута Гамсуна (1859-1952) «Пан» (1894).

²⁰¹ Гелиогабал (Элагабал) (204-222) — римский император с 218 г., прославившийся расточительностью и распутством.

²⁰² О крови, сладострастии и смерти (фр.). — заглавие книги французского писателя Мориса Барреса (1862-1923), посвящённой Испании.

²⁰³ Содроганий (фр.).

²⁰⁴ Желание (фр.).

Из записной книжки Филипа Куорлза

Видел Рэмпиона. Он мрачен и раздражён, не знаю из-за чего, а потому пессимистичен — лирически и неистово пессимистичен. «Царящая у нас теперь безответственность может продолжаться ещё лет десять, — сказал он, перечислив ужасы современного положения вещей. — После этого — самая жестокая и кровавая катастрофа, какая когда-нибудь была». И он предрёк классовую борьбу, войну между континентами, окончательную гибель нашего уже теперь совершенно неустойчивого общества. «Не очень приятная перспектива для наших детей, — сказал я. — Мы по крайней мере хоть тридцать лет пользовались жизнью. А они вырастут только для того, чтобы присутствовать при Страшном суде». «Мы не должны были производить их на свет», — ответил он. Я упомянул о меланезийцах, о которых писал Риверс: они просто отказались рожать, когда белые отняли у них религию и цивилизацию. «То же самое происходит и на Западе, — сказал я, — но только процесс совершается медленней: не мгновенное самоубийство расы, а постепенное понижение рождаемости. Постепенное, потому что яд современной цивилизации проникал в нас медленней. Процесс начался уже давно; но мы только теперь начинаем понимать, что мы отравлены. Поэтому-то мы только теперь перестаём рожать детей. У меланезийцев души были убиты сразу; они сразу же поняли, что с ними сделано. Поэтому-то они решили, почти в тот же день, воздержаться от продолжения рода». «Яд перестал быть медленным. Он действует все быстрее и быстрее». «Как мышьяк — кумулятивное действие. С какого-то определённого момента человек начинает буквально мчаться к смерти». «Рождаемость падала бы гораздо быстрее, если бы люди поняли. Что ж, посмотрим, как будут вести себя наши отпрыски». «А пока что, — сказал я, — мы ведём себя так, словно современный порядок вещей будет продолжаться вечно: обучаем их хорошим манерам, латинскому языку и так далее. А как поступаете с детьми вы?» «Будь моя воля, я не стал бы их учить ничему. Отправил бы их в деревню, посадил бы на ферме и предоставил бы им развлекаться, как они хотят. А если они не сумеют развлекаться, я отравил бы их крысиным ядом». «Довольно утопическая программа воспитания, не правда ли?» «Знаю. Паршивые мальчишки — волей-неволей приходится делать из них образованных людей и джентльменов! Двадцать лет назад я этого бы не допустил. Я воспитал бы их как крестьян. Но в наши дни трудящиеся ничуть не лучше всех остальных. Скверная имитация буржуазии в некоторых отношениях даже хуже оригинала. Поэтому моих мальчишек воспитывают джентльменами. И образованными людьми. Какое идиотство!» Он пожаловался мне, что у его детей страсть к машинам — автомобилям, поездам, аэропланам и радио. «Это заразительно: вроде оспы. Бациллы смерти носятся в воздухе. Они их вдыхают и заражаются. Я стараюсь внушить им любовь к чему-нибудь другому, но на них это не действует. Они слышать не хотят ни о чем, кроме машин. Они заражены бациллами смерти. Молодёжь решила во что бы то ни стало довести мир до гибели — механизировать его так, чтобы люди окончательно обезумели, а потом принялись истреблять друг друга. Ну и пускай делают, что хотят, маленькие кретины. Но как унижительно, что человеческие существа делают из всего такую дьявольскую мерзопакость! А ведь стоит только постараться — и жизнь станет прекрасной. И она была прекрасной когда-то. Современная жизнь — это безумие. Гальванизированный труп, дёргающийся и производящий адский шум, стараюсь убедить себя, будто он вовсе не труп, а полный сил живой человек. Посмотрите на Нью-Йорк, посмотрите на Берлин! Господи! Что ж, если им этого так хочется, пускай себе идут ко всем чертям. Мне наплевать!» Но вся беда в том, что ему вовсе не наплевать.

После чтения Альвердеса и Уилера я окончательно решил, что мой романист будет зоологом-любителем. Или лучше зоологом-профессионалом, который в свободное время

пишет роман. Он подходит ко всему строго биологически. Он постоянно переходит от муравейника к гостинице и фабрике и обратно. Для иллюстрации человеческих пороков он находит аналогии у муравьёв, которые забрасывают своих детёнышей ради того, чтобы опьяняться выделениями тлей, забирающихся в муравейник. Его герой и героиня проводят медовый месяц у озера, где утки и гагары иллюстрируют все фазы ухода и брачной жизни. Наблюдая за привычным и почти священным «порядком клевания», установившимся на птичнике, — курица «А» клюёт курицу «В», но не позволяет ей клевать себя; курица «В» клюёт курицу «С» и так далее, — политический деятель размышляет о католической иерархии и фашизме. Клубок совокупающихся змей напомнит развратнику об его оргиях. (Можно сделать очень неплохой эпизод: один из героев, нечто вроде Спэндрелла, поучает морали невинную, идеалистически настроенную молодую женщину, наблюдая с ней вместе сцену змеино-го флирта.) Иллюстрацией национализма и священной любви буржуа к собственности будет самец-шегол, свирепо отстаивающий занятую им территорию. И так далее. Из этого можно сделать весьма забавный гротеск.

Мы часто забываем, что достоинства человека в одной области далеко не всегда свидетельствуют о его достоинствах в других областях. Ньютон был великий математик, но это ещё не доказывает, что его богословские теории чего-нибудь стоят. Фарадей был прав в отношении электричества, но не прав в отношении сандеманизма²⁰⁵. Платон писал удивительно хорошо, и поэтому люди до сих пор продолжают верить в его зловредную философию. Толстой был превосходный романист, но, несмотря на это, его рассуждения о нравственности просто омерзительны, а его эстетика, социология и религия достойны только презрения. Эта несостоятельность во всем том, что не является прямой специальностью человека, у философов и учёных вполне естественна. Она почти неизбежна.

Безусловно, чрезмерное развитие интеллекта ведёт к атрофии всего остального. Отсюда — общеизвестная инфантильность профессоров и смехотворная наивность тех ответов, которые они дают на важнейшие жизненные вопросы. То же самое можно сказать и о специалистах в области религии. Непроходимая глупость святых, их детскость. Но художнику чужда такая ограниченность. Его развитие не так односторонне; поэтому художник должен быть более нормальным и здоровым, чем односторонний человек науки; он не должен страдать частичной слепотой или быть таким чудачком, как философы или святые. Поэтому так возмущают люди, подобные Толстому. Инстинктивно ему веришь больше, чем специалисту в области интеллекта или религии. А он ни с того ни с сего вдруг начинает извращать свои глубочайшие инстинкты и превращается в такого же злокачественного идиота, каким был святой Франциск Ассизский, или Кант-моралист (о, эти категорические императивы, а ведь этот милый старичок относился с полным равнодушием ко всему, кроме глазированных фруктов), или Ньютон-богослов. Неудивительно, что после этого относишься настороженно даже к тем, кто, по-твоему, прав. Например, к Рэмпиону. Замечательный художник. Но правильны ли его взгляды на мир? Увы, это вовсе не следует из того, что он прекрасный художник и писатель. Но есть два обстоятельства, заставляющие меня доверять его суждениям о жизни. Во-первых, то, что сам он живёт более приемлемо, чем кто бы то ни было. Его образ жизни более приемлем, потому что он более реалистичен, чем образ жизни большинства из нас. Мне кажется, Рэмпион учитывает все факты (тогда как другие люди прячутся от них или делают вид, будто неприятные для них факты вообще не существуют) и строит свою жизнь в соответствии с ними, а не пытается подогнать факты под предвзятую

²⁰⁵ Учение, созданное религиозной сектой, основанной в XVIII в. в Шотландии Джоном Гласом и Робертом Сандеманом.

теорию правильного образа жизни, как эти безмозглые христиане, моралисты, интеллектуалы и преуспевающие дельцы. Другое обстоятельство, заставляющее меня доверять его суждениям, — это то, что в большинстве случаев они совпадают с моими; а это, даже если оставить в стороне тщеславие, является само по себе хорошим признаком, потому что наши отправные пункты совершенно различны; можно сказать, что мы приходим к одному и тому же, двигаясь с противоположных полюсов. Если двое противников (а это самое важное, и с этого нужно начать: мы противники) приходят к одному выводу, этот вывод почти наверное правилен. Основная разница между нами в том, что он живёт согласно своим убеждениям, а я (увы!) нет. Подобно ему, я не доверяю интеллектуализму, но только интеллектуально, я не верю ни в одну научную или философскую теорию, ни в одну абстрактную систему морали, но основываюсь при этом на той же науке, философии и абстрактной морали. Моя задача — построить свою жизнь в гармоническом соответствии с моим равнодушным интеллектуальным скептицизмом. Путь всякого интеллектуала, если он следует по этому пути достаточно долго и неуклонно, приводит его к той самой очевидности, от которой человек неинтеллектуальный никуда и не уходил. Эту мысль развил в одной из своих слякотно-рвотных статей Барлеп. Тем не менее в этой мысли есть большая доля правды. (И вот мы снова возвращаемся к людям. Абсолютно презренный человек может высказывать ценные мысли, совершенно так же как у человека, в каком-нибудь отношении замечательного, могут быть совершенно ошибочные мысли. Кстати сказать, я, вероятно, принадлежу к первой категории — хотя и не в такой мере, как Барлеп, и в другом смысле.) Разумеется, многие интеллектуалы не так далеко уходят по избранному пути, чтобы вновь вернуться к очевидности. Они не могут отделаться от наивной веры в рассудок, в абсолютное превосходство духовных ценностей и в совершенно сознательную волю. Чтобы снова обрести ту очевидность, которую люди неинтеллектуальные никогда не покидали, нужно зайти гораздо дальше, чем, например, мыслители девятнадцатого столетия, а по крайней мере так далеко, как это удавалось Протагору или Пиррону. Спешу оговориться, что эти «неинтеллектуальные люди» не имеют ничего общего с той современной чернью, которая читает иллюстрированные журналы, слушает радио и джазы и озабочена исключительно тем, чтобы добывать деньги и весело проводить время. Нет, нет! Я вовсе не собираюсь превозносить тупоголовых дельцов или недоучек. Несмотря на всю их глупость, отсутствие вкуса, вульгарность и инфантильность (а может быть, именно вследствие этих недостатков), это вовсе не те неинтеллектуальные люди, о которых говорю я. Они принимают на веру основную аксиому интеллектуализма о превосходстве разума, сознания и воли над физической жизнью, над интуицией, инстинктом и чувством. Вся современная цивилизация построена на том положении, будто специализированные функции, определяющие место человека в обществе, более существенны, чем сам человек, или, вернее, что эти-то функции и есть сам человек, а все прочие не существенны или даже (поскольку физическая инстинктивная, интуитивная и эмоциональная части человеческого «я» не принимают заметного участия в «добывании денег» и продвижении вверх по общественной лестнице) вредны и отвратительны. Недоучки нашего современного индустриализованного общества обладают всеми недостатками людей интеллекта и ни одним из их достоинств. Те неинтеллектуальные люди, которых подразумеваю я, нисколько на них не похожи. Небольшое количество их, наверное, ещё можно найти в Италии (хотя фашизм, должно быть, уже превратил их в дурные копии с американцев и пруссаков), в Испании, в Греции, в Провансе. И больше, пожалуй, нигде в современной Европе. Три тысячи лет назад их, вероятно, было сколько угодно. Но соединённые усилия Платона и Аристотеля, Иисуса, Ньютона и капитализма превратили их потомков в современную буржуазию или в современный пролетариат. Та очевидность, к которой в конце концов возвращается интеллектуал, если он готов идти за ней достаточно далеко, конечно, отнюдь не совпадает с очевидностью людей неинтеллектуальных. Их очевидность есть сама жизнь, а его очевидность — только идея такой жизни. Немногим удаётся облечь идею в плоть и кровь и претворить её в реальность. А ещё меньше таких людей интеллекта, которым, как Рэмпиону,

даже и не приходится возвращаться к очевидности, потому что они всегда в неё верили и ею жили.

Общение с Рэмпионом несколько угнетает меня, потому что он показывает мне, какая пропасть отделяет познание очевидности от реальной жизни в ней. И до чего же трудно перебраться через эту пропасть! Теперь я понимаю, что интеллектуальная жизнь — жизнь, посвящённая эрудиции, научной работе, философии, эстетике, критике, — пленяет нас своей лёгкостью. Сложность реальной действительности мы подменяем простой интеллектуальной схемой, бурное движение жизни — застывшими формами смерти. Несравненно легче знать очень много по истории искусства и высказывать глубокие мысли в области метафизики и социологии, чем знать (интуитивно и по личному опыту) очень много о своих ближних и поддерживать удовлетворительные отношения с друзьями и возлюбленными, с женой и детьми. Жизнь — штука гораздо более трудная, чем санскрит, или химия, или экономика. Интеллектуальная жизнь — это детская игра; вот почему люди интеллекта так легко становятся детьми, а потом идиотами, а в конце концов, как ясно показывает политическая и экономическая история последних столетий, — сумасшедшими, человекоубийцами и дикими зверями. Подавляемые склонности не умирают: они вырождаются, они гноятся, они возвращаются к первобытности. Но пока что быть интеллектуальным младенцем, или сумасшедшим, или зверем гораздо легче, чем гармоничным взрослым человеком. Вот почему (оставляя в стороне другие причины) так велик спрос на высшее образование. Бегство в книги и университеты похоже на бегство в кабаки. Люди хотят забыть о том, как трудно жить по-человечески в уродливом современном мире, они хотят забыть о том, какие они бездарные творцы жизни. Одни топят свою боль в алкоголе, другие (и их гораздо больше) — в книгах и художественном дилетантизме; одни ищут забвения в блуде, танцах, кино, радио, другие — в докладах и в занятиях наукой ради науки. Книги и доклады имеют то преимущество перед пьянством и блудом, что после них не испытываешь ни головной боли, ни того неприятного *post coitum triste* ²⁰⁶, которым сопровождается разврат. Должен признаться, до самого последнего времени я тоже относился вполне серьёзно к образованию, философии и науке — ко всем тем видам деятельности, которые мы снабжаем возвышенным ярлыком «Поисков Истины». Я считал Поиски Истины высочайшей задачей человека, а искателей — благороднейшими людьми. Но за последний год я начал понимать, что эти пресловутые Поиски Истины — такое же развлечение, как все остальное, что это сложный и утончённый суррогат подлинной жизни и что искатели Истины становятся в своём роде такими же глупыми, инфантильными и испорченными, как и пьяницы, чистые эстеты, дельцы и охотники за наслаждениями. Я понял также, что погоня за Истиной просто вежливое наименование любимого времяпрепровождения людей интеллекта, заключающегося в подмене живой сложности реальной жизни упрощёнными, а следовательно, лживыми абстракциями. Но искать Истину гораздо легче, чем изучать искусство цельной жизни, в которой, разумеется, Поиски Истины займут надлежащее место среди прочих развлечений, как то: игра в кегли и альпинизм. Сказанное объясняет (хотя и не оправдывает) моё все продолжающееся потворство таким порокам, как чтение научной литературы и отвлечённое мышление. Хватит ли у меня когда-нибудь силы освободиться от ленивых привычек интеллектуализма и посвятить всю энергию более серьёзной и трудной задаче — жить полной жизнью? А если даже я попробую избавиться от этих привычек, не обнаружится ли, что эти привычки у меня — наследственные и что я от рождения не способен жить цельной и гармоничной жизнью?

XXVII

Джон Бидлэйк никогда не расходился официально и окончательно со своей третьей

²⁰⁶ Печального послесоития (лат.).

женой. Они просто редко виделись. Такое положение вещей как нельзя лучше устраивало Джона. Он ненавидел резкие разрывы и в то же время был врагом всяких определённых и нерушимых соглашений. Он не терпел таких положений, которые связывали его, налагали на него ответственность, заставляли все время помнить о долге.

— Один Бог знает, — любил он говорить, — что произошло бы со мной, если бы мне приходилось ходить каждый день в контору или выполнять работу к определённому сроку. Я, вероятно, взбесился бы через какие-нибудь два-три месяца.

К браку он всегда относился отрицательно. К несчастью, однако, он не мог иметь всех тех женщин, которые ему нравились, не вступая с ними в брак. Ему пришлось трижды заключать то, что он на языке Цицерона называл «неуместными и непристойными соглашениями». Мысль о разводе или формальном разрыве была ему не менее противна, чем мысль о браке: развод тоже был чем-то определённым, это тоже вас к чему-то обязывает. Отчего не предоставить событиям следовать их естественному ходу, зачем стараться придать им произвольную форму? Идеальной он считал такую жизнь — изо дня в день без плана, без заведённого порядка, в приятном обществе спутников, выбранных сегодня, самим человеком, а не другими людьми, или одним из его прежних, уже отмерших «я». «Спишь где попало» — в таких выражениях описывала одна юная американка любовную сторону идеальной жизни в Голливуде. Другие стороны этой жизни можно было бы охарактеризовать термином «бодрствуешь где попало». Неидеальная жизнь, которую Джон Бидлэйк упорно отказывался вести, состояла в том, чтобы спать и бодрствовать не «где попало», а в каком-то определённом месте, здесь или там, день за днём, согласно твёрдому распорядку, нарушить который может только смерть или по меньшей мере вмешательство Бога или врагов его величества короля.

Отношения между Джоном Бидлэйком и его третьей женой отличались вполне удовлетворявшей его неопределённостью. Вместе они не жили, но и не расходились. Виделись они редко, но зато никогда не ссорились. Добрых двадцать лет Джон спал и бодрствовал «где попало», и все-таки, встречаясь, они встречались как друзья; а когда ему хотелось освежить в памяти ландшафт северного Чилтерна, его приезд в Гаттенден принимался как нечто вполне естественное. Такое положение вещей вполне удовлетворяло Джона Бидлэйка, и надо отдать ему справедливость, он был благодарен своей жене за то, что она соглашалась на такую жизнь. Впрочем, свою благодарность он никогда не высказывал, боясь этим придать оттенок нежелательной определённости отношениям, хрупкая прелесть которых заключалась именно в их незапятнанной и девственной неясности. Далеко не всякая женщина, с благодарностью признавал её супруг, сумела бы так тщательно охранять неясность создавшегося положения, как это делала Джэнет Бидлэйк. Другая жена потребовала бы объяснений, захотела бы знать, кем же её, наконец, считают, предложила бы отчётливую альтернативу мира или войны, совместной жизни или развода. Но миссис Бидлэйк позволила своему мужу незаметно покинуть семейный очаг, не ссорясь с ним, не говоря ему ни слова. И так же молча принимала она его внезапные и кратковременные возвраты к ней. Она с детства больше жила в выдуманном ею мире, чем в мире реальном. Когда она была маленькой девочкой, у неё была воображаемая сестра, жившая в железнодорожной будке у шлагбаума. В возрасте от десяти до тринадцати лет её неспособность различать между свидетельствами её чувств и вымыслами её фантазий нередко приводила к тому, что её наказывали за ложь. Картины и книги ввели её фантазию в новое русло: её вымыслы потеряли свой прежний глубоко личный характер и развёртывались теперь в сфере искусства, литературы и философской мысли. Начиная с шестнадцати лет она жила в мире искусства и литературы, а в реальной Англии чувствовала себя совершенно чужой. Она влюбилась в Джона Бидлэйка и согласилась стать его женой именно потому, что она сочла его своим духовным соотечественником. Для её родителей он был таким же подданным королевы Виктории, как они сами; он гораздо больше интересовал их как её будущий муж, чем как художник; поэтому они сделали все возможное, чтобы отговорить её от этого брака. Но Джэнет была совершеннолетней и отличалась упорством

тех людей, которые умеют внутренне устранившись от спора, просто перенестись в другой план, предоставляя противнику продолжать спор с их опустевшей оболочкой.

Кончилось тем, что она настояла на своём. Когда Джэнет Бидлэйк обнаружила — а это случилось очень, очень скоро, — что между замечательным художником, которого она полюбила, и человеком, за которого она вышла замуж, нет ничего общего, гордость помешала ей жаловаться. Она не хотела давать своим родственникам права сказать ей: «Мы же тебе говорили». Джон спал и бодрствовал «где попало» и все больше и больше отходил от совместной жизни. Она не ссорилась с ним и искала утешения в мире привычных ей художественных и литературных вымыслов. Её личные средства и суммы, нерегулярно присылаемые Джоном Бидлэйком в те минуты, когда он вдруг вспоминал, что ему нужно содержать жену и детей, позволяли ей предаваться сколько угодно этим путешествиям по воображаемому миру. Элинор родилась через год после их брака. Спустя четыре года язва желудка привела временно исправившегося Джона Бидлэйка домой. Плодом его выздоровления в спокойной домашней обстановке был Уолтер. Язва зажила, и Джон Бидлэйк снова исчез. Детей воспитывали няньки и гувернантки. Миссис Бидлэйк как бы издали следила за их воспитанием. Изредка она переступала границу, отделявшую её мир от мира реальной действительности; и её вмешательства в повседневный порядок всегда носили характер вмешательства свыше. Когда она, существо иного плана, подходившее ко всему не с теми мерками, с какими подходят обитатели реального мира, достаивала вникнуть на миг в ход воспитания своих детей, это приводило к самым неожиданным последствиям. Так, однажды она отказала от места гувернантке, услышав, как та играла на пианино в классной комнате песенку Дана Лено ²⁰⁷ об осе и крутом яйце. Гувернантка была добрая девушка, умела обращаться с детьми и содержала разбитого параличом отца. Но на карту были поставлены великие художественные принципы. Мисс Демпстер могла непоправимо испортить музыкальный вкус Элинор (кстати сказать, Элинор унаследовала от отца отвращение к музыке); а то, что Элинор была очень привязана к гувернантке, делало эту опасность ещё более реальной. Миссис Бидлэйк проявила большую твёрдость. Она не потерпит у себя в доме «осу и крутое яйцо». Мисс Демпстер было отказано от места. Когда её старый отец узнал об этом, с ним произошёл второй удар, после чего он ослеп на один глаз и лишился дара речи. Обычно, однако, возвращения миссис Бидлэйк из воображаемых путешествий не имели таких роковых последствий. Её вмешательство в дело воспитания детей ограничивалось обычно требованием читать классиков, которых считают непонятными; или неподходящими для детей младшего возраста. По её теории, детей с самых ранних лет нужно воспитывать на лучших творениях искусства и философии.

Когда Элинор было три года, ей читали вслух «Гамлета», а вместо книжек с картинками дарили альбомы снимков с картин Джотто и Рубенса. Семи лет она училась французскому языку по «Кандиду», читала «Тристрама Шенди» и «Теорию зрения» епископа Беркли ²⁰⁸, девяти лет читала «Этику» Спинозы, училась немецкому языку по «Also sprach Zarathustra» ²⁰⁹ и рассматривала офорты Гойи. В результате такого преждевременного знакомства с философией у Элинор развилось слегка насмешливое и пренебрежительное отношение к отвлечённым построениям и к высокопарному идеализму. Воспитанная на полных изданиях классиков (без всяких цензурных сокращений), она с

²⁰⁷ Сценический псевдоним Джорджа Голвина (1860-1904), известного английского актёра, выступавшего главным образом в мюзик-холлах и варьете.

²⁰⁸ Имеется в виду философское сочинение о субъективности человеческих представлений о материи и пространстве английского философа Джорджа Беркли (1685-1753).

²⁰⁹ «Так говорил Заратустра» (нем.) (1883-1884) — сочинение немецкого философа Фридриха Ницше (1844-1900).

детства приобрела глубокие теоретические познания о тех предметах, о которых дети, по общепринятому мнению, вообще ничего не должны знать. Это только усилило её прирождённую холодность и отсутствие любопытства ко всему, что касалось любви; молодой девушкой она напоминала тех шекспировских героинь, которые говорят обо всем откровенно и внешне цинично, но поступают крайне добродетельно. Непочтительное отношение Элинор к тому, что сама она нежно любила, несколько огорчало миссис Бидлэйк; но она весьма разумно воздерживалась от замечаний и не пыталась исправить этот недостаток, а просто игнорировала и удалялась, как игнорировала она недостатки своего мужа и удалялась от столкновения с ним в эмпирии искусства и фантазии. Сделанного не переделаешь; но, когда о каком-нибудь событии умалчиваешь, на практике это даёт такой же эффект, как если бы вообще ничего не произошло.

Когда Джон Бидлэйк приехал в Гаттенден, угнетённый болезнью, а ещё больше отчаянием, страхом и всепоглощающей жалостью к самому себе, миссис Бидлэйк обошла молчанием то обстоятельство, по поводу которого она могла бы сказать очень много, а именно: что он приходил к ней лишь тогда, когда ему нужна была сиделка. Ему приготовили комнату, и он стал жить в ней.

Все выглядело так, точно он никогда и не уезжал. На кухне горничные ворчали по поводу того, что им прибавилось работы, миссис Инмэн вздыхала, а Добс тяжеломерно и по-англикански возмущался поведением старого мистера Бидлэйка по отношению к собственной жене. Но все это не мешало им с каким-то сладострастием жалеть старика. О его болезни и её симптомах говорили, благоговейно понизив голос. Вслух прислуга ворчала и возмущалась. Но втайне все были довольны. Приезд Джона Бидлэйка нарушил их монотонную повседневную жизнь, а то, что он умирал, придавало им всем какую-то особенную значительность. Его приближающаяся смерть была как бы солнцем, вокруг которого многозначительно и беззвучно обращались души обитателей Гаттендена. Слуги могли ворчать и возмущаться, но относились они к нему крайне заботливо. Они испытывали к нему неясную благодарность. Своей смертью он оживлял их жизнь.

XXVIII

Молли д'Экзержилло требовала, чтобы все было высказано, произнесено, чётко сформулировано. Жизненный опыт был для неё лишь сырьём, которое активный ум перерабатывает в слова. Для чего магнитный железняк человеку, не умеющему выплавлять руду и ковать из металла плуги и мечи? Сами по себе события реальной жизни, ощущения, переживания, мысли и воспоминания интересовали Молли не больше, чем куски руды. Они приобретали ценность лишь тогда, когда искусство и разработанная техника разговора превращали их в остроумные словечки и красиво построенные фразы. Закат нравился ей потому, что она могла сказать о нем: «Это похоже на сочетание бенгальских огней, Мендельсона, сажи и клубники со сливками», или весенние цветы: «Когда смотришь на них, чувствуешь себя так, точно выздоравливаешь от гриппа. Не правда ли?» И, доверчиво склоняясь к собеседнику, она повторяла свой риторический вопрос: «Не правда ли?» Вид на далёкие горы во время грозы нравился ей тем, что он напоминал толедские пейзажи Эль Греко. Что же касается любви — да, конечно, главным её достоинством было в глазах Молли то, что о ней можно разговаривать без конца.

Она как раз говорила о ней с Филипом Куорлзом — говорила о ней в продолжение целого часа, анализируя себя, излагая свои переживания, расспрашивая Филипа о его прошлом и его чувствах. Он отвечал ей неохотно и с трудом: он терпеть не мог говорить о себе и это удавалось ему очень плохо.

— Не правда ли, — говорила она, — самое увлекательное в любви то, что открываешь в себе много такого, о чем и не подозревал раньше?

Филип покорно согласился.

— Я и понятия не имела, что могу испытывать к кому-нибудь материнские чувства,

пока не вышла за Жана. Я так волнуясь, когда он промочит ноги.

— Я тоже очень беспокоился бы, если бы вы промочили ноги, — сказал Филип, стараясь быть галантным. «Как глупо!» — подумал он. Он не был силен по части галантности. Ему хотелось, чтобы цветущая сливочная красота Молли меньше привлекала его. Будь она уродом, он не сидел бы здесь как дурак.

— Как это мило с вашей стороны, — сказала Молли. — Скажите мне, — продолжала она, склоняясь к нему и выставляя напоказ лицо и грудь, — почему я вам нравлюсь?

— Разве это не ясно без слов? — ответил он. Молли улыбнулась.

— А вы знаете, почему Жан считает меня единственной женщиной, которую он мог полюбить?

— Нет, — сказал Филип и подумал, что она необыкновенно хороша — величественная, как Юнона.

— Потому что, по его словам, я единственная женщина, не подходящая под определение Бодлера — *le contraire du dandy*²¹⁰. Помните это место в «*Mon Coeur Mis a Nu*»?²¹¹ *La femme a faim et elle veut manger; soif, et elle veut boire. La femme est naturelle, c'est-a-dire abominable. Aussi est-elle...*²¹²

Филип прервал её.

— Вы пропустили одну фразу, — сказал он со смехом. — *Soif — et elle veut boire*. А дальше: *Elle est en rut, et elle veut etre...* В издании Крепе это слово выпущено, но, если вам угодно, я могу его повторить²¹³.

— Нет, благодарю вас, — сказала Молли, чувствуя себя выбитой из колеи. Её прервали; испытанный разговорный гамбит был испорчен. Она не привыкла к людям, так хорошо знакомым с французской литературой. — Это несущественно.

— Разве? — Филип поднял брови. — Сомневаюсь.

— *Aussi est-elle toujours vulgaire*, — поспешно вернулась она к тому месту, на котором её прервали, — *c'est-a-dire le contraire du dandy*²¹⁴. Жан говорит, что я единственная женщина-денди. А как по-вашему?

— Боюсь, что он прав.

— Почему «боюсь»?

— Пожалуй, мне не слишком нравятся денди. Особенно женского пола. — «Женщина, использующая красоту своей груди, чтобы заставить вас восторгаться её умом, — недурной тип для романа, — подумал он, — но в частной жизни такие женщины утомительны, очень утомительны». — В женщинах я предпочитаю естественность, — добавил он.

— Какой смысл быть естественной, если не обладаешь достаточным искусством, чтобы делать это в совершенстве, и достаточным даром самонаблюдения, чтобы оценить, насколько это тебе удаётся? — Молли была довольна этой фразой: немножко отделать её, и получится идеальное *bon mot*. — Любить кого-нибудь имеет смысл только тогда, когда знаешь точно, что именно чувствуешь, и умеешь это выразить.

²¹⁰ Противоположность денди (фр.).

²¹¹ «Моё обнажённое сердце» (фр.) — под таким названием был опубликован в 1911 г. прозаический дневник Ш. Бодлера, позднее переизданный Ж. Крепе под названием «Интимный дневник».

²¹² Женщина голодна, и она хочет есть; она жаждет, и она хочет пить. Женщина естественна, то есть отвратительна. Поэтому она... (фр.).

²¹³ Выпущенное слово было «*foutue*», и фраза в слегка смягчённом переводе звучит: «У неё течка, и она хочет, чтобы её удовлетворили» (фр.).

²¹⁴ Поэтому она всегда вульгарна... то есть представляет собой противоположность денди (фр.).

— Не вижу в этом большого смысла, — сказал Филип. — Чтобы наслаждаться цветами, не нужно быть ботаником или художником. И точно так же, дорогая Молли, не нужно быть Зигмундом Фрейдом или Шекспиром, чтобы наслаждаться вами. — И, быстро подвинувшись к ней, он обнял её и поцеловал.

— Что вы вообразили? — воскликнула она в полном смятении, отталкивая его.

— Ничего не воображал, — сердито ответил он с противоположного конца дивана. — Я ничего не воображаю: я просто хочу вас. — Он чувствовал себя в унижительном, нелепом положении. — Но я совсем забыл, что вы монахиня.

— Вовсе я не монахиня, — запротестовала она. — Я просто цивилизованная женщина. Что у вас за дикарские манеры — набрасываться на женщину и тискать её! — Она поправила растрепавшийся локон и начала развивать тему о платонической любви и о том, как она способствует духовному росту. Чем более платоничны отношения между влюблёнными мужчиной и женщиной, тем интенсивней живёт их сознание. — Что проигрывает тело, то выигрывает душа. Кажется, это Поль Бурже сказал в своей «Psychologie contemporaine»? ²¹⁵ Конечно, романист он плохой, — добавила она, извиняясь за то, что цитирует такого старомодного и дискредитированного автора, — но как эссеист он хорош. Как по-вашему? Это сказал Поль Бурже? — повторила она.

— Вероятно, Бурже, — устало ответил Филип.

— Энергия, стремившаяся выжаться в физической страсти, отвлекается в другое русло и вертит жернова души. — «"Вертит жернова души" звучит, пожалуй, чересчур романтично, по-викториански, в духе Мередита», — подумала она. — Мы заставляем презренное тело, — поправила она, — приводить в движение духовные турбины. Подавляемое подсознание находит выход, стимулируя сознание.

— А стоит ли стимулировать сознание? — спросил Филип, с недовольным видом разглядывая пышную фигуру на противоположном конце дивана. — По правде говоря, мне порядком надоело сознание. — Он восхищался её телом, но она позволяла ему соприкоснуться только с её гораздо менее интересным и прекрасным умом. Он хотел поцелуев, а получал анализ переживаний и философские афоризмы. — Нестерпимо надоело, — повторил он. И немудрёно, что надоело.

Молли только рассмеялась.

— Не стройте, пожалуйста, из себя доисторического пещерного человека, — сказала она. — Это вовсе не идёт вам. Чтобы я поверила, что вам надоело сознание! Это вам-то! Да если вам надоело сознание, значит, вы сами себе надоели.

— Вот именно, — сказал Филип. — Вы заставили меня почувствовать, что я сам себе надоел. До последней степени. — Он встал, чтобы попрощаться с ней.

— Что это, оскорбление? — спросила она, пристально смотря на него. — Почему я заставила вас почувствовать это?

Филип покачал головой.

— Не могу объяснить. Да и незачем. — Он протянул ей руку. Молли взяла её, с любопытством глядя ему прямо в лицо. — Если бы вы не были весталкой цивилизации, — продолжал он, — вы поняли бы меня без всяких объяснений. Или, вернее, тогда нечего было бы объяснять. Потому что с вами я не устал бы от самого себя. И разрешите мне сказать вам на прощание, Молли, что, будь вы действительно во всех смыслах цивилизованной женщиной, вы постарались бы сделать себя менее привлекательной. Быть привлекательной — это варварство. Такое же, как набрасываться на женщину и тискать её. Вам следует иметь внешность как у Джордж Элиот ²¹⁶. Прощайте. — И, в последний раз тряхнув её руку, он,

²¹⁵ «Очерки по современной психологии» (фр.) (1883-1885) — сочинение французского писателя Поля Бурже (1852-1935).

²¹⁶ Литературный псевдоним английской писательницы Мэри Энн Эванс (1819-1880).

прихрамывая, вышел из комнаты.

На улице он постепенно успокоился. Он даже начал улыбаться про себя. Все это было скорей смешно. Когда укусят кусаку, это всегда смешно, даже если в роли укушенного кусаки оказался ты сам. Он, существо сознательное и цивилизованное, потерпел поражение от существа ещё более цивилизованного. Высшая справедливость. Но какое предостережение! Пародии и карикатуры — самая меткая критика. В Молли он увидел карикатуру на самого себя. Зрелище довольно грустное. Улыбка сошла с его лица, и он задумался.

«Должно быть, я просто урод», — подумал он.

Сидя в парке, он разбирал свои недостатки. Он нередко занимался этим и раньше. Но исправить их он не пытался никогда. Он знал заранее, что и на этот раз он их не исправит. Бедная Элино! Болтовня Молли о платонической любви и Поле Бурже показала ему, каково приходится Элино с ним самим. Он решил рассказать ей о своём приключении с Молли — рассказать в комических тонах, потому что так легче рассказывать, а потом перейти к разговору о них самих. Да, так он и сделает. Ему следовало заговорить об этом раньше. Последнее время Элино была так неестественно молчалива, так далека от него. Это беспокоило его, он хотел говорить, он чувствовал, что должен говорить. Но о чем? Смехотворный эпизод с Молли давал ему материал для начального гамбита.

— А я сегодня был у Молли д'Экзержилло, — начал он, встретившись с Элино. Но она таким холодным и равнодушным тоном сказала «в самом деле?», что он не смог продолжать. Оба замолчали. Элино продолжала читать. Он незаметно поверх книги взглянул на неё. На её бледном лице было написано выражение спокойной отчуждённости. Им снова овладело то чувство неловкости и беспокойства, которое он часто испытывал за последние недели.

— Почему мы теперь никогда не разговариваем? — набрался он храбрости спросить её вечером после обеда.

Элино подняла глаза от книги.

— Разве я никогда не разговариваю? — сказала она с иронической улыбкой. — Вероятно, просто нет ничего особенно интересного, о чем стоило бы говорить.

Филип узнал те слова, которыми он часто отвечал на её упрёки, и пристыженно замолчал. И все-таки с её стороны нехорошо было пользоваться против него его же оружием. Когда он говорил это, в этом была правда: ему в самом деле не о чем было говорить. Привычкой всегда скрывать свои личные переживания он почти умертвил их. Мало что происходило вне интеллектуальной части его сознания — а то небольшое, что происходило, было слишком обыкновенным или даже постыдным. Тогда как у Элино всегда находились темы для разговора. Ей не нужно искать их: они приходят к ней сами. Филип с удовольствием объяснил бы ей это; но почему-то это было трудно, он не мог этого сделать.

— И все-таки, — наконец сказал он после долгого молчания, — раньше ты говорила гораздо больше. Только в последние дни...

— Просто мне надоело говорить — вот и все.

— А почему тебе это надоело?

— Разве мне не может надоеть? — Она обиженно рассмеялась. — У тебя, например, всегда такой вид, точно тебе все надоело.

Филип посмотрел на неё с некоторым беспокойством. Его глаза умоляли. Но она не позволила себе пожалеть его. Она и так делала это слишком часто. Он эксплуатировал её любовь, систематически недоплачивал ей, а когда она угрожала бунтом, он вдруг становился трогательным и беспомощным, он взывал к её лучшим чувствам. На этот раз она будет жестока. Пусть себе умоляет и тревожится сколько угодно, она не станет обращать внимания. Поделом ему. И все-таки она чувствовала себя виноватой. Но ведь виноват был он сам. Почему он не любит её активно, просто и прямо, почему он не высказывает свою любовь. В её любви он всегда уверен, принимает её пассивно, как нечто принадлежащее ему по праву. А теперь, когда она перестала давать ему свою любовь, он смотрит на неё умоляюще, с немой тревогой. Но сказать что-нибудь, сделать что-нибудь...

Минуты шли. Элино́р ждала, делая вид, что читает. Если бы он только заговорил или хоть шевельнулся! Она так хотела снова любить его, она ждала только предложения. Что же до Эверарда — ну, Эверард не в счёт. В тех глубинах её «я», где вступал в свои права инстинкт, Эверард действительно не занимал никакого места. Если бы Филип постарался хоть немножко полюбить её, Эверард перестал бы занимать место даже в её сознательном «я», которое пыталось полюбить его — полюбить, так сказать, из принципа, полюбить его нарочно, с заранее обдуманном намерением. Но минуты проходили в молчании. И в конце концов, вздохнув (он тоже хотел сказать что-нибудь, сделать что-нибудь, но это было невозможно, потому что сказанное или сделанное носило бы слишком интимный характер), Филип взял книгу и в интересах романиста-зоолога из своего романа принялся читать о собственническом инстинкте у птиц. Снова читать. Он так ничего и не сказал. Ах, так! Если он хочет, чтобы она стала возлюбленной Эверарда, пускай пеняет на себя! Она попыталась пожать плечами и прийти в воинственное настроение. Но внутренне она чувствовала, что её угроза относилась к ней самой, а не к Филипу. Она была обречена, а не он. Обречена стать любовницей Эверарда.

Завести себе любовника казалось Элино́р в теории делом вовсе не трудным. Она не видела в этом ничего безнравственного. А какой шум поднимают из-за этого христиане и героини романов! Непонятно. «Если людям хочется спать вместе, — обычно говорила она, — почему не сделать этого просто и прямо, не мучая ни себя, ни всех окружающих». Общественного мнения она тоже не боялась. Если она заведёт себе любовника, возражать против этого будут именно те люди, против которых она сама всегда возражала. Порвав знакомство с ней, они только доставят ей удовольствие. Что же касается Фила, то он этого заслужил. В его власти было предотвратить это. Почему он не подошёл к ней ближе, почему он не отдавал ей немножко больше самого себя? Она просила у него любви, а получала отчуждение и безлично хорошее отношение. Ей нужно было очень немного — только теплоты, только человечности. И она не раз предупреждала его, что произойдёт, если он не даст ей этого.

Что он, не понимает, что ли? Или ему просто все равно? Может быть, ему даже не будет больно; наказание не будет наказанием? Это было бы унижительно. Но в конце концов, напоминала она себе каждый раз, доходя до этого пункта в споре с собой, в конце концов, она собирается завести любовника не только для того, чтобы наказать Филипа; её главная цель не в том, чтобы научить его человечности, заставить его страдать и ревновать; она делает это ради собственного счастья. (Она старалась забыть, какой несчастной делала её эта погоня за счастьем.) Ради своего собственного счастья. Она привыкла во всех помыслах и поступках считаться исключительно с Филипом. Даже завести любовника она решила ради Филипа. А это было совсем уж глупо.

Но ей приходилось постоянно напоминать себе о своём праве, о своём намерении быть счастливой независимо от него. Для неё было слишком естественно и привычно думать обо всем, даже о возможном любовнике, с точки зрения интересов Филипа — его обращения на путь истины или его наказания. Чтобы помнить, что нужно забыть о Филипе, приходилось делать над собой сознательное усилие.

Как бы там ни было, из каких бы соображений она к этому ни стремилась, завести любовника казалось ей психологически делом вовсе не трудным. Особенно если этим любовником будет Эверард Уэбли. Он очень нравился ей; она восторгалась им; сила, излучаемая им, странно волновала и потрясала её. Но какие необыкновенные трудности вставали перед ней, когда дело доходило до физического сближения! Ей нравится бывать с ним, ей нравятся его письма, она может вообразить, когда он не прикасается к ней, что она влюблена в него. Но когда, во время их второй встречи после её приезда, Эверард обнял её и начал целовать, её охватил какой-то ужас, она стала холодной и каменной в его объятиях. Это был тот же ужас, та же холодность, какие она почувствовала, когда он, год тому назад, в первый раз попытался поцеловать её. Она испытывала теперь то же самое, хотя за этот год она приучала себя чувствовать иначе, готовила своё сознание к мысли сделать его своим

любовником. Этот ужас, эта холодность была реакцией её инстинктивного «я». Только её сознание согласилось; её чувство, её тело, все её инстинкты восставали. Её окаменевшее и отшатнувшееся от него тело страстно возмущалось против того, что её интеллект считал вполне безобидным. Дух был развратником, но плоть оставалась целомудренной.

— Не надо, Эверард, — говорила она. — Не надо.

Он отпустил её.

— Почему вы ненавидите меня?

— Это не так, Эверард.

— Вы содрогаетесь от моих объятий! — сказал он с горькой насмешкой. Ему было больно, и растревлять эту рану доставляло ему удовольствие. — Я внушаю вам отвращение.

— Зачем вы это говорите? — Ей было стыдно, что она отшатнулась от него; но все-таки он действительно внушал ей отвращение.

— Потому что это так.

— Нет, это не так.

При этих словах Эверард снова протянул к ней руки. Она покачала головой.

— Не трогайте меня, — умоляла она. — Не надо. Вы испортите все. Я не могу объяснить — почему, я не знаю — почему. Но теперь не надо. Пока не надо, — добавила она, словно обещая ему что-то в будущем, но теперь избегая его.

Это подобие обещания снова его воспламенило. Элинор наполовину жалела, что она произнесла эти слова, наполовину радовалась, что она приняла на себя какое-то обязательство. Она чувствовала облегчение, потому что ей удалось избежать немедленной угрозы физической близости с ним, и в то же время она сердилась на себя за то, что она отшатнулась от него, что она оттолкнула его. Её тело и её инстинкты восстали против её воли. Её обещание было мстью воли этим изменникам. Этим обещанием она как бы вознаградила Эверарда. «Пока не надо». Но когда же? Когда? Когда угодно, отвечала её воля, когда захочешь. Обещать было легко, но как трудно было выполнить! Элинор вздохнула. Если бы Филип позволил ей любить себя! Но он ничего не говорил, он ничего не делал, он продолжал читать. Своим молчанием он обрекал её на неверность.

XXIX

Место действия — Гайд-парк; время — июнь месяц, суббота. В зеленом мундире, с мечом, Эверард Уэбли держал речь перед тысячей Свободных Британцев, сидя на своём белом коне Буцефале. С военной чёткостью, которая сделала бы честь гвардии, Свободные Британцы построились в ряды на набережной у Блэкфрайерского моста, под музыку, с символическими знамёнами промаршировали до Черинг-Кросс, по Нортумберленд-авеню, через Трафальгар-сквер и Кембридж-серкус на Тоттенхэм-Корт-роуд, а оттуда — по Оксфорд-стрит к Мраморной Арке. У входа в парк они столкнулись с демонстрацией Общества противников вивисекции, и произошла некоторая заминка. Ряды смешались, мелодии слились — один оркестр играл марш Британских Гренадеров, а другой — «Я с верой смотрю на тебя, агнец, распятый за нас»; знамёна перепутались — «Защитим наших пёсиков» и «Никогда британцы не будут рабами», «Социализм — это тирания» и «Доктора или дьяволы?». Но благодаря изумительной дисциплине Свободных Британцев инцидент быстро был улажен, и после небольшой задержки тысяча вошла в парк, промаршировала вслед за своим вождем и выстроилась по трём сторонам квадратной поляны; четвёртую сторону заняли Эверард и его штаб. Прозвучали фанфары, и тысяча пропела четыре стиха из сочинённой Эверардом (в духе Киплинга) «Песни Свободных людей». Затем Эверард произнёс речь.

— Свободные Британцы, товарищи, — сказал он, и от звука этого сильного непринуждённого голоса наступила полная тишина даже среди уличных зевак, собравшихся понаблюдать за процедурой. Наделённые мощью, не исконной, а передавшейся им от оратора, принадлежащей его личности, а не смыслу сказанного, слова падали одно за другим,

волнующе чёткие, и погружались в рождённое ими внимательное молчание. Он начал с восхваления дисциплины Свободных Британцев. — Дисциплина, — сказал он, — добровольно взятая на себя дисциплина — первое условие свободы и первейшая добродетель Свободных Британцев. Свободные и дисциплинированные спартанцы задержали персидские орды у залива. Свободные и дисциплинированные македоняне захватили чуть не полмира. А наша задача — задача Свободных и дисциплинированных Британцев — освободить свою страну от рабов, которые поработили её. Три сотни воевали у Фермопил против десятков тысяч. У нас неравенство не столь безнадежно. Ваш батальон только один из шестидесяти, одна тысяча из шестидесяти тысяч Свободных Британцев. И наши ряды растут с каждым днём. Двадцать, пятьдесят, а то и сотня рекрутов присоединяется к нам ежедневно. Армия увеличивается, Зелёная армия Свободных Британцев.

Свободные Британцы — в зелёных мундирах. Они носят цвет Робин Гуда и Малютки Джона, цвет людей, стоящих вне закона. Потому что они и правда вне закона в этом тупом демократическом мире. Вне закона — и гордятся этим. Ведь закон демократического мира — закон количества. А мы, стоящие вне закона, верим в качество. Для демократических политиков голос большинства — это глас Божий; их закон — закон, устраивающий толпу. Мы же хотим вырваться за пределы этого закона толпы, чтобы нами управляли лучшие, а не самые многочисленные. Будучи значительно глупее, чем их либеральные деды, сегодняшние демократы хотели бы препятствовать личной инициативе и путём национализации промышленности и земли ввергнуть страну в такую тиранию, какой ещё свет не видывал со времён правления в Индии династии Моголов. Мы, стоящие вне закона, — свободные люди. Мы верим в ценность личной свободы. Мы хотим поддерживать личную инициативу, потому что считаем, что координированная и контролируемая в интересах общества личная инициатива приносит наилучшие экономические и нравственные; результаты. Закон демократического мира — это стандартизация людей, это сведение всех индивидуумов к самым низким общим меркам. Религия этого мира — обожествление среднего человека. Мы, стоящие вне закона, верим в разнообразие, в аристократию, в естественную иерархию. Мы уничтожим, какие только можно уничтожить, помехи и дадим каждому человеку шанс, чтобы лучшие могли занять то положение в обществе, какое предуготовила им Природа. Короче, мы верим в Справедливость. И мы преклоняемся не перед средним, а перед исключительным человеком. Я мог бы чуть не до бесконечности перечислять пункты, по которым мы, Свободные Британцы, радикально расходимся с демократическими правителями той страны, которая некогда была доброй старой свободной Англией. Но я сказал достаточно, чтобы стало ясно: мир между ними и нами невозможен. То, что они считают белым, в наших глазах — чёрное, их представления о политическом благе нам кажутся злом, их земной рай для нас ад. Добровольно поставив себя вне закона, мы отрекаемся от их жизненных норм, мы облачаемся в зелёные одежды леса. И мы будем ждать подходящего момента, да, подходящего момента. Потому что придёт и наше время, и мы вовсе не намерены вечно пребывать вне закона. Придёт время — и мы будем диктовать законы, а теперешним правителям придётся скрываться в лесах. Два года назад наша организация была незначительна. Теперь это целая армия. Армия оказавшихся вне закона. Ещё немного, друзья мои, и это будет армия тех, кто диктует законы, а не тех, кто их нарушает, да, кто их нарушает. Потому что прежде, чем создать хорошие законы, мы должны уничтожить дурные. И нужна смелость, чтобы противопоставить себя существующему закону. Свободные Британцы, друзья мои, поставившие, как и я, себя вне закона, когда придёт время, станет ли у вас на это смелости?

Из рядов зелёных мундиров послышались громкие выкрики.

— Когда я призову вас, пойдёте ли вы за мной?

— Пойдём, пойдём, — скандировала тысяча зелёных мундиров.

— Даже если нужно будет идти против закона?

Раздался новый взрыв утвердительных выкриков. Когда он стих и Эверард Уэбли

приоткрыл было рот, чтобы продолжить свою речь, чей-то голос прокричал:

— Долой Уэбли! Долой милицию богачей! Долой сукиных сы...!!

Но прежде чем голос успел произнести полностью ненавистную пародию на их имя, с полдюжины ближайших Свободных Британцев набросились на обладателя этого голоса.

Эверард Уэбли поднялся на стременах.

— Не выходить из рядов! — повелительно закричал он. — Как смее вы оставлять ряды?

К месту происшествия поспешили офицеры; сердитые голоса передавали приказ. Слишком усердные Британцы вернулись по местам. Их противник, прижимая к носу окровавленный платок, удалялся в сопровождении двух полисменов. Он потерял шляпу. Растрёпанные волосы пылали в солнечном свете. Это был Иллидж.

Эверард Уэбли обратился к офицеру, в подразделении которого люди вышли из рядов.

— Неподчинение приказу, — начал он, и его голос был холодным и жёстким, не громким, но угрожающе-значительным, — неподчинение приказу есть худшее...

Иллидж отнял платок от носа и закричал пронзительным фальцетом:

— Ах вы, гадкие мальчики!

В толпе послышался смех. Эверард никак не отреагировал на это вмешательство, прекратил упрёки и продолжил речь. Властно и одновременно убеждающе, страстно, но сдержанно вибрировал его музыкальный голос; и сразу же потревоженное молчание вновь воцарилось вокруг него, а отвлечённое было внимание снова сосредоточилось и сфокусировалось на нем одном. Был бунт — и он вновь одержал победу.

Спэндрелл ждал, не проявляя нетерпения. Опоздание Иллиджа давало ему возможность выпить лишних два-три коктейля. Он доканчивал третью рюмку и чувствовал себя гораздо лучше и бодрей, когда дверь ресторана распахнулась и торжественно вошёл Иллидж, гордо выставляя напоказ синяк под глазом.

— Буйство в пьяном виде? — спросил Спэндрелл, заметив синяк. — Или вас отделал какой-нибудь оскорблённый супруг? Или вы повздорили с вашей дамой?

Иллидж уселся и рассказал о своём приключении, хвастливо приукрашивая события. По его версии, он был не то Горацием, защищающим мост, не то святым Стефаном, стоящим под градом камней.

— Вот хулиганы! — сочувственно сказал Спэндрелл. Но его глаза злорадно смеялись: несчастья друзей служили для него неисчерпаемым источником развлечения, а в несчастье Иллиджа было что-то особенно забавное.

— Но зато я испортил весь эффект гнусного словоизвержения Уэбли, — все тем же самодовольным тоном продолжал Иллидж.

— Было бы лучше испортить ему физиономию. Насмешка Спэндрелла уколола Иллиджа.

— Мало испортить ему физиономию, — свирепо сказал он, нахмурившись. — Его вообще следовало бы уничтожить: он общественная опасность, он и вся его банда наёмных убийц... — Он добавил несколько непечатных выражений.

Спэндрелл только рассмеялся.

— Скулить всякий умеет. А вы бы попробовали для разнообразия что-нибудь сделать. Прямое действие в духе самого Уэбли.

Иллидж пожал плечами, как бы извиняясь.

— Нам не хватает организованности.

— Не думаю, что нужна какая-то особая организованность, чтобы огреть человека по башке. Нет-нет, все дело в том, что вам не хватает смелости.

Иллидж побагровел.

— Это ложь.

— «Не хватает организованности!» — презрительно продолжал Спэндрелл. — По крайней мере оправдание вполне в духе времени. Великий бог организации. Даже любовь и искусство будут скоро разучиваться по нотам, как все остальное. Почему вы пишете такие

плохие стихи? Потому что поэтическая индустрия ещё недостаточно хорошо организована. И любовник-импотент будет оправдывать себя тем же способом и уверять негодующую даму, что в следующий раз она найдёт его в полной боевой готовности. Нет-нет, дорогой мой Иллидж, так дело не пойдёт, сами понимаете, не пойдёт.

— Без сомнения, все это очень забавно, — Иллидж был все ещё красный от гнева, — но только вы говорите чушь. Нельзя сравнивать поэзию и политику. В политическую партию входит масса народа, они должны подчиняться дисциплине, чтобы держаться вместе. Поэт же сам по себе.

— Но и убийца сам по себе, не так ли? — Тон Спэндрелла и его улыбка были саркастическими. Иллидж почувствовал, как кровь прилила к его лицу, точно внутри его внезапно вспыхнул огонь. Он ненавидел Спэндрелла за то, что тот умел унижить его, умел заставить его устыдиться самого себя, почувствовать себя ничтожеством, дураком. А ведь он только что казался такой персоной, таким героем, был так доволен собой. А сейчас всего двумя-тремя насмешливыми словами Спэндрелл превратил все его самодовольство в чувство досады и стыда. Наступило молчание. Оба молча ели суп.

Покончив с едой, Спэндрелл откинулся на спинку стула и задумчиво сказал:

— Один человек и несёт всю ответственность одного человека. Тысяча человек не несут никакой ответственности. Вот почему организация и приносит такое облегчение. Член политической партии чувствует себя в такой же безопасности, как и член церкви Христовой. А партия может призвать к гражданской войне, к насилию, к резне; и человек радостно исполняет то, что ему приказывают, ведь ответственности он не несёт. Ответственность несёт лидер. А лидер — человек необыкновенный, вроде Уэбли. Человек, наделённый храбростью.

— Или трусостью, как в данном случае, — сказал Иллидж. — Уэбли — это буржуазный кролик, испуганный до такой степени, что впал в ярость.

— Разве? — Спэндрелл издевательски приподнял брови. — Что ж, может, вы и правы. Но все равно он сильно отличается от обычного кролика. Обычный кролик не приходит в ярость со страху. Он приходит со страху в состояние униженной пассивности или униженной готовности исполнять чужие приказы. Но никогда не к готовности действовать по своему усмотрению и нести за это ответственность. А если дело касается, к примеру, убийства, то едва ли вы найдёте обычных кроликов, готовых принять в нем участие, не так ли? Они скажут, что им не хватает организованности. Для одного — ответственность слишком велика. Ему страшно.

— Разумеется, никто не хочет быть повешенным.

— Ему страшно, даже если не стоит вопрос о виселице.

— Неужто вы снова хотите топтаться на вопросе категорического императива? — Теперь была очередь Иллиджа проявить сарказм.

— Вопрос выдвигается сам собой. Взять хотя бы вас. Когда дойдёт до дела, вы никогда не решитесь предпринять что-нибудь против Уэбли, если только вас не «организуют» и не освободят от ответственности. Вы просто не посмеете, — сказал Спэндрелл с насмешливым вызовом. Он пристально смотрел на Иллиджа из-под полуопущенных век, и, пока тот разводил риторические тирады об истреблении змей, охоте на тигров, об искусстве давить клопов, Спэндрелл изучал пылающее, сердитое лицо своей жертвы. Иллидж бушевал, чувствуя себя несколько неловко, потому что осознавал, что его слова слишком громки и пусты. Но пафос и ещё раз пафос казались единственным возможным ответом на сводящую с ума спокойную насмешку Спэндрелла, хотя риторика эта звучала все более фальшиво. Как человек, перестающий кричать из страха, что голос изменит ему, он вдруг замолчал. Спэндрелл медленно кивнул.

— Очень хорошо, — загадочно сказал он. — Прекрасно.

«Это нелепость, — уверяла себя Элинор. — Это ребячество. Да, ребячество и нелепость».

Ведь все это несущественно. Эверард был все тем же, хоть он и сидел на белом коне и

отдавал приказы, хоть его и приветствовала толпа восторженными криками. Разве он стал лучше оттого, что она увидела его во главе одного из его батальонов? Её волнение было нелепым, ребяческим. И все-таки она волновалась — это не подлежало сомнению. Как она взволновалась, когда он появился верхом во главе своего отряда! Сердце билось чаще и набухало в груди. А какими тревожными были секунды молчания, пока он не заговорил! Просто ужас! А вдруг он станет заикаться и мямлить; а вдруг он скажет какую-нибудь глупость или пошлость; а вдруг он покажется многословным и скучным; а вдруг он примется паясничать. А когда голос зазвучал, непринуждённый, но вибрирующий и пронизывающий, когда слышались слова страстные и тревожащие, но вовсе не ходульные, фразы яркие, но краткие и категоричные, — какое она почувствовала ликование, какую гордость! Но когда вдруг вмешался этот человек, она вновь почувствовала — вместе с пылом негодования против нарушителя порядка — волнение и ужас: а вдруг он дрогнет, будет публично унижен и посрамлён. Но он не дрогнул, со всей суровостью призвал он к порядку, восстановил мёртвую тишину и наконец продолжил свою речь, будто ничего не случилось. Тревога Элинор уступила место непомерному счастью. Речь закончилась, раздалась взрывы приветствий. Элинор была необычайно горда, возбуждена и в то же время слегка смущена, будто приветствия в какой-то мере относились и к ней самой; непонятно чему она громко расхохоталась, кровь прилила к её щекам, и она отвернулась в смутении, не смея взглянуть на него; а потом, без всякой причины, она вдруг расплакалась.

Нелепость и ребячество, уверяла она себя теперь. Но что делать: нелепое и ребяческое совершилось, и этого уже не отменишь.

Из записной книжки Филипа Куорлза

В воскресном иллюстрированном журнале моментальный снимок: Эверард Уэбли с открытым ртом — чёрная дыра посреди искажённого лица, — ораторствующий. «М-р Э. У., основатель и глава С. С. Б., произнёс в субботу речь перед батальоном Свободных Британцев в Гайд-парке». И это все, что осталось от события, — рот как водосточная труба — символ демагогии. Рот, извергающий ослиный рёв. Какой ужас!

А между прочим, самое «событие» было весьма внушительным, и то, что выкрикивал Э., казалось в то время очень содержательным. И он выглядел весьма монументально на своём белом коне. Вырвав одно из непрерывного ряда мгновений, фотоаппарат превратил его в воронье пугало. Это неправильно? Или, может быть, правильным было восприятие не моё, а фотоаппарата? Ведь величественная непрерывность и должна была состоять именно из таких непривлекательных мгновений, как их запечатлела камера. Может ли целое быть совершенно отличным от своих частей? В физическом мире — может. Тело и мозг коренным образом отличаются от составляющих их электронов. А в мире моральном как? Может ли из большого количества сомнительных ценностей создаться одна несомненная? Фотография Эверарда ставит серьёзную проблему. Миллионы чудовищных мгновений, а в итоге — великолепные полчаса.

Нельзя, правда, сказать, что я принял это великолепие безоговорочно. Э. говорил очень много о Фермопилах и о спартанцах. Но моё сопротивление было гораздо более героическим. У Леонида было триста воинов. Я защищал мои духовные Фермопилы один против Эверарда и его Британцев. Они произвели на меня впечатление, но я сопротивлялся. Начать с того, что вымуштрованы они прекрасно. Я смотрел как зачарованный. Как всегда. Чем объясняется сильное действие зрелища военных парадов? Не знаю. Пока я смотрел, я все время старался это понять.

Взвод — это всего человек десять и эмоционального действия не оказывает. Сердце начинает биться только при виде роты. Перестроения батальона опьяняют. А бригада — это уже целая армия со знамёнами, что, как мы знаем из Песни Песней, равноценно любви. Впечатление пропорционально числу. Человек достигает в высоту всего каких-нибудь двух

ярдов, в ширину — двух футов; поэтому собор производит на него большее впечатление, чем маленький коттедж, а растянувшаяся на целую милю процессия марширующих людей кажется ему более величественной, чем дюжина зевак на углу улицы. Но это ещё не все. Полк более внушительен, чем толпа. Армия со знамёнами равноценна любви только тогда, когда она хорошо вымуштрована. Камни в виде здания более красивы, чем камни в виде кучи. Дисциплина и мундиры придают толпе архитектурную стройность. Армия прекрасна. Но и это ещё не все: она взывает к инстинкту более низкому, чем эстетическое чувство. Зрелище человеческих существ, низведённых до уровня автоматов, утоляет жажду власти. Глядя на механизированных рабов, воображаешь себя господином. Так думал я, любуясь передвижениями Эверардовых Британцев. Разлагая своё чувство на отдельные элементы, я не позволял ему овладеть собой. Разделяй и властвуй. Так же поступил я и с музыкой, а потом — с речью Эверарда.

Какой замечательный режиссёр погиб в Эверарде! Трудно было придумать что-нибудь более внушительное, чем звуки фанфар, прервавшие нарочито долгую паузу, а потом тяжеловесная гармония тысячи голосов, поющих «Песню Свободных людей», фанфары были изумительны, как увертюра к Страшному суду (и почему только высокие частичные тоны так надрывают душу?), а когда закончилась фанфарная увертюра, тысяча голосов запела. Сам Рейнгард не мог бы сделать этого лучше. Я чувствовал себя так, точно вместо диафрагмы у меня пустое место; щекочущее беспокойное ощущение пробегало по коже; слезы готовы были подступить к глазам. Я снова последовал примеру Леонида и стал думать о том, как плоха музыка, как бессмысленны слова.

Трубный глас в день Страшного суда, глас Божий, — и вот наступил черёд Эверарда. И он не дал напряжению ослабнуть. Как прекрасно он говорил! Его голос проникал прямо в солнечное сплетение, подобно высоким частичным тонам труб. Это трогало и убеждало, даже если ты понимал, что сами слова туманны и довольно бессмысленны. Я проанализировал его приёмы. Они были те же, что обычно. Наиболее действенный из них — пользоваться волнующими словами, имеющими два и больше значения. Например «свобода». Это слово в девизе и программе Свободных Британцев означает свободу покупать, продавать и владеть собственностью при минимальном вмешательстве со стороны государства. (Кстати, «минимальное» следует понимать весьма условно; но не будем на этом останавливаться.) Эверард выкрикивает это слово своим проникающим в солнечное сплетение голосом: «Мы боремся за *Свободу*; мы *освободим* страну» — и так далее. Слушатель немедленно видит себя сидящим без пиджака, с бутылочкой и уступчивой девицей, причём нет ни законов, ни хороших манер, ни жены, ни полисмена, ни пастора — одним словом, ничего, что могло бы ему помешать. Свобода! Конечно, он загорается энтузиазмом. Только тогда, когда Свободные Британцы придут к власти, он поймёт, что на самом деле это слово было употреблено совсем в другом смысле. Разделяй и побеждай. Я победил.

Р. S. Вернее сказать, победила одна часть меня. Я привык отождествлять себя именно с этой частью и радоваться её торжеству. Но лучшая ли это часть? В данном случае, может быть, и так. Вероятно, лучше подвергать все беспристрастному анализу, чем под влиянием режиссёрского искусства и красноречия Эверарда превратиться в Свободного Британца. А в других случаях? Рэмпион, пожалуй, прав. Но когда человек привык разделять и побеждать во имя интеллекта, ему трудно поступать иначе. А может быть, здесь дело не только во второй натуре; может быть, здесь играет роль и первая натура? Поверить в необходимость изменить образ жизни вовсе не трудно. Но гораздо трудней действовать согласно этой вере. Например, эта идея обосноваться в деревне, быть добрым поселянином, отцом и соседом, жить растительной жизнью — осуществима ли она? Мне так кажется, но на самом деле?.. Между прочим, было бы интересно создать именно такой тип.

Человек, всегда поощрявший своё стремление к интеллектуальной жизни за счёт всех других стремлений, он, насколько возможно, избегает личных отношений, он наблюдает все со стороны, ни в чем не принимая участия, не любит выходить из своей скорлупы, он всегда

зритель, а не актёр. Кроме того, он старается выделять один какой-нибудь день, одно какое-нибудь место в противовес всем остальным; он не обзирает прошлое и не строит планов на будущее в день Нового года, не празднует Рождество или день рождения, не посещает те места, где протекало его детство, не совершает паломничеств туда, где родился какой-нибудь великий человек, или произошло сражение, или имеются развалины и т. п. Избавляясь от эмоциональных отношений и от естественного благоговения, он, как ему самому кажется, достигает свободы — свободы от сентиментальности, от иррационального, от страсти, от неразумных побуждений и переживаний. Но постепенно он убеждается, что на самом деле он только сузил и иссушил свою жизнь и, больше того, что этим он искалечил свой интеллект, вместо того чтобы освободить его. Его рассудок свободен, но поле его действия невероятно ограничено. Он понимает свои внутренние недостатки и в теории хочет переделать себя. Но трудно избавиться от долготлетних привычек; а может быть, эти привычки являются только проявлениями враждебного безразличия и холодности, преодолеть которые почти невозможно. Жить только интеллектуальной жизнью, по крайней мере для него, гораздо легче: это линия наименьшего сопротивления, потому что такая жизнь позволяет держаться вдали от людей. В том числе от своей собственной жены.

Потому что у него будет жена, и возникнет нечто драматичное в отношениях между женщиной, живущей главным образом чувствами и интуицией, и мужчиной, жизнь которого протекает главным образом в плане интеллектуальных абстракций. Он любит её по-своему, она любит его тоже по-своему. Это значит, что он удовлетворён, а она нет. Потому что его любовь обходится минимумом теплоты, доверчивости и человечности, которые для неё составляют самую сущность любви. Она страдает; он с удовольствием дал бы ей больше, но ему трудно переделать себя. Она даже грозит уйти от него к более человечному любовнику, но слишком любит его, чтобы осуществить эту угрозу.

В это воскресенье Элинор отправилась с Эверардом Уэбли за город.

— Сорок три мили за час и семь минут, — сказал Эверард, взглядывая на часы. — Неплохо, принимая во внимание, как долго мы выбирались из Лондона и как задержал нас тот паршивый шарaban в Гилдфорде. Очень неплохо.

— А самое главное, — сказала Элинор, — хорошо, что мы остались в живых. Если бы вы знали, сколько раз я закрывала глаза, не надеясь открыть их до Страшного суда!..

Он рассмеялся, довольный тем, что она была так испугана его неистовой ездой. Её страх давал ему почувствовать свою силу и превосходство, и это было приятно. Он покровительственно взял её под руку, и они пошли по зеленой тропинке в лес. Эверард глубоко вобрал воздух.

— Насколько это приятнее, чем произносить речи! — сказал он, сжимая её руку.

— И все-таки, — сказала Элинор, — как чудесно, должно быть, сидеть на коне и заставлять тысячу человек исполнять вашу волю!

— К сожалению, политическая деятельность состоит не только в этом, — засмеялся Эверард. Он искоса взглянул на неё. — А вам понравился митинг?

— Он взволновал меня. — Она снова увидела его на белом коне, услышала его сильный, вибрирующий голос, вспомнила своё волнение и неожиданные слезы. Великолепно, говорила она себе. Великолепно! Но ликование не возвращалось. Его рука лежала на её руке, его огромная фигура почти угрожающе склонялась к ней. «А вдруг он поцелует меня?» — беспокойно спрашивала она себя. Она попыталась отогнать вызванный этим вопросом страх и заполнить его место вчерашним ликованием. Великолепно! Но страх не хотел уходить. — Ваша речь была изумительна, — сказала она вслух, а про себя подумала: о чем, собственно; он говорил? Она помнила звук и тембр его голоса, но не значение слов. Безнадёжно! — Ах, какая жимолость!

Эверард вытянулся во весь свой огромный рост, достал ветку и сорвал несколько цветков. «Какая красота, какая прелесть!» Он процитировал Китса, пошарил в памяти, отыскивая строчку из «Сна в летнюю ночь». Он лирически удивился, зачем мы живём в городах, зачем мы убиваем время на погоню за деньгами и властью, когда вокруг столько

красоты, которая ждёт, чтобы её poznали и полюбили.

Элино́р слушала с чувством неловкости. Он как бы включил любовь к красоте, как включают электрический ток, — выключил любовь к власти, дела и политику и переключился на любовь к красоте. Ну что же? Разве нельзя любить красивое? Конечно, можно, но почему-то — она сама не знала почему — в любви Эверарда к красоте есть что-то не то. Может быть, она слишком нарочита? Слишком случайна? Слишком для праздников только? Слишком условна, слишком тяжеловесна, слишком напыщенно-серьёзна? Элино́р предпочитала, когда он говорил о любви к власти; любовь к власти была ему гораздо больше к лицу. Может быть, именно потому, что он слишком любил власть, ему не удавалось любить красоту. Закон компенсации. За все нужно платить.

Они пошли дальше. На поляне среди деревьев расцветали наперстянки.

— Как факелы, пылающие от самого основания, — поэтически выразился Эверард.

Элино́р остановилась перед высоким растением, чьи верхние цветы приходились на уровне её глаз. Красная плоть лепестков была холодная и упругая на ощупь. Она заглянула внутрь цветка.

— Воображаю, как неприятно, когда у тебя в горле веснушки, — сказала она. — Не говоря уже о жучках.

Они молча шли среди деревьев. Первый заговорил Эверард.

— Вы когда-нибудь полюбите меня? — отрывисто спросил он.

— Вы знаете, как хорошо я к вам отношусь. — Её сердце упало: вот оно, началось, сейчас он примется целовать её. Но он этого не сделал, а только рассмеялся.

— Хорошо относитесь, — повторил он. — Ах, если бы вы были чуточку менее разумной, чуточку более безрассудной. Если бы вы только знали, что значит любить!

— Разве так плохо, когда человек умеет быть разумным? — сказала Элино́р. — Я хочу сказать, разумным до. Потому что быть разумным после умеет всякий. Слишком разумным, когда первый порыв прошёл и любовники спрашивают себя, стоило ли ради этого забывать весь мир. Подумайте, Эверард, подумайте сначала. Действительно ли вы хотите потерять весь мир?

— Я его не потеряю, — ответил Эверард, и в его голосе была та волнующая дрожь, которую она, казалось, воспринимала всем своим телом, а не только ушами. — Его не посмеют отнять у меня. Много изменилось со времён Парнелла ²¹⁷. К тому же я не Парнелл. Пускай только попробуют отнять! — Он засмеялся. — Любовь и весь мир — у меня будет и то и другое, Элино́р. И то и другое. — Он улыбнулся ей сверху вниз — торжествующий любовник власти.

— Вы требуете слишком многого, — со смехом ответила она, — вы слишком жадный. — Ликование снова пробудилось в ней, она чувствовала себя так, точно у неё захватило дух от горячего вина.

Он нагнулся и поцеловал её. Элино́р не отстранилась.

Другая машина остановилась у дороги, другая пара углубилась по зеленой тропинке в лес. Даже сквозь белила и румяна было видно, что лицо женщины старо; обвисшая плоть утратила некогда изящные очертания.

— Ах, как прелестно! — восклицала она, с трудом передвигая своё тяжёлое тело, нетвёрдо ступая на очень высоких каблуках по неровной почве. — Как прелестно!

Спэндрелл — это был он — не отвечал.

— Нарвите мне жимолости! — попросила она.

Изогнутой ручкой палки он пригнул цветущую ветку. Сквозь затхлый запах дешёвых духов и не очень чистого белья его ноздрей коснулся прохладный и сладкий аромат цветов.

— Какой божественный аромат! — воскликнула она, с упоением нюхая цветы. —

²¹⁷ Имеется в виду сонет Китса «Тому, кто в городе был заточён...». Политическая карьера Парнелла была загублена нашумевшим бракоразводным процессом его возлюбленной Китти О'Ши

Прямо божественный!

Уголки рта Спэндрелла насмешливо дрогнули. Забавно было слышать вышедшие из моды великосветские выражения в устах этой стареющей проститутки. Он искоса взглянул на неё. Бедная Конни! Она была настоящим *memento mori* — изобилие дряблой, обрюзгшей плоти придавало ей ещё более жуткую мертвенность. Действительно жуткую: иного слова не подберёшь. Здесь, на солнце, она походила на театральную декорацию, когда её видишь при дневном свете и вблизи. Именно поэтому он не поскупился взять напрокат «даймлер» и вывезти её за город. Именно потому, что несчастная престарелая шлюха имела такой жуткий вид.

— Очень мило, — кивнул он. — Но я предпочитаю ваш аромат.

Они пошли дальше. Куковала кукушка, не вполне ясно представлявшая себе разницу между секундой и малой терцией. В косых просеках солнечного света, протянувшихся сквозь зелень и пурпур лесной тени, кружилась и плясала мошкара. Ветра не было, и густозеленые листья висели неподвижно. Деревья были точно переполнены соками и солнечным светом.

— Прелестно, прелестно, — повторяла Конни. Этот лес, этот день, по её словам, напоминали ей детские годы в деревне. Она вздохнула.

— И вы жалеете, что не остались честной девушкой? — саркастически сказал Спэндрелл. — «Чем больше роз расцветёт у дверей, тем сильнее любовь моя к маме моей». Знаем, знаем. — Он на мгновение замолчал. — Что я больше всего ненавижу в деревьях летом, — продолжал он, — это их скотское жирное самодовольство. Они пыжятся — вот что они делают, — как распухшие от прибылей дельцы. Пыжятся от наглости, от самовлюблённой наглости.

— Ах, наперстянки! — закричала Конни; она даже не слушала его. Она побежала к цветам, переваливаясь на высоких каблуках. Спэндрелл последовал за ней.

— Да, вид у них соблазнительно фаллический, — сказал он, дотрагиваясь до кончика нераскрывшегося бутона. И он начал пространно развивать эту мысль.

— Ах, перестаньте, перестаньте! — закричала Конни. — Как вы можете говорить такие вещи? — Она была возмущена и оскорблена. — Как можете вы — здесь?

— В Божьей стране, — усмехнулся он. — Как я могу? — И, подняв палку, он вдруг принялся размахивать ею направо и налево, со свистом рассекая воздух и каждым ударом сбивая один из высоких гордых стеблей. Умерщвлённые цветы усыпали траву.

— Перестаньте, перестаньте! — Она схватила его за руку. Беззвучно смеясь, Спэндрелл вырвался от неё и продолжал сбивать стебли. — Перестаньте! Ну не надо, не надо! — Она снова дёрнула его за руку. Все ещё смеясь, все ещё размахивая палкой, Спэндрелл опять вырвался от неё.

— Долой их, — кричал он, — долой! — Цветок за цветком падал под его ударами. — Вот! — сказал он наконец, задыхаясь от смеха, быстрого бега и напряжения. — Вот! — Конни залилась слезами.

— Как вы могли? — сказала она. — Как вам не стыдно? Он снова беззвучно засмеялся, закидывая голову.

— Так им и надо, — сказал он. — Вы что, думаете, я буду спокойно смотреть, как меня оскорбляют? Нахальные твари! Ага, вот ещё один! — Он направился к противоположной опушке, где последний высокий стебель наперстянки стоял, точно спрятавшись среди кустов орешника. Ещё один взмах. Сломанное растение упало почти беззвучно. — Нахальные твари! Так им и надо. Ну что ж, вернёмся к машине.

XXX

Рэчел Куорлз не одобряла тех сентиментальных филантропов, которые не видят разницы между добром и злом, между праведниками и грешниками. Она считала, что за преступления ответственны преступники, а не общество. Грехи совершают грешники, а

вовсе не окружающая их среда. Конечно, существуют извинения, оправдания, смягчающие обстоятельства, но добро есть всегда добро, зло — всегда зло. Бывают обстоятельства, когда остановить свой выбор на добре очень трудно, но все-таки выбирает сам человек и сам отвечает за свой выбор. Одним словом, миссис Куорлз была христианкой, а не гуманисткой. Как христианка, она считала, что Марджори поступила неправильно, уйдя от своего мужа — даже от такого мужа, как Карлинг, — к другому мужчине. Она не одобряла её поступок, но не позволяла себе осуждать Марджори, тем более что мысли и чувства последней, с христианской точки зрения миссис Куорлз, были, несмотря на её «грех», вполне правильными. Рэчел легче было любить человека, поступавшего неправильно, но мыслившего правильно, чем того, кто, как её невестка Элинора, сочетал неправильный образ мыслей с безупречным поведением. В некоторых случаях дурные помыслы казались ей едва ли не более предосудительными, чем дурные поступки. Конечно, лицемерие она тоже не одобряла. Она не терпела людей, которые мыслят и рассуждают хорошо, а поступают неизменно и намеренно дурно. Такие люди, однако, встречаются редко. Те, кто вопреки своим глубочайшим убеждениям поступает дурно, делают это в минуту слабости и потом раскаиваются в своих проступках. Но человек, мыслящий неправильно, не считает дурные поступки дурными. Он не видит причин к тому, чтобы не совершать их или, совершив, раскаиваться и исправляться. И если даже он ведёт себя добродетельно, он может своим неправильным образом мыслей ввести в искушение других.

«Замечательная женщина, — гласил приговор Джона Бидлэйка, — но слишком любит фиговые листки — особенно поверх рта».

На самом деле Рэчел Куорлз просто никогда не забывала, что она — христианка. Она удивлялась, как это люди могут обходиться без религии. Но, с грустью признавала она, многие без неё обходятся. Почти вся знакомая ей молодёжь. «Наши дети как будто говорят на другом языке», — пожаловалась она как-то одному из своих старых друзей.

В Марджори Карлинг она нашла человека, говорившего на одном с ней наречии.

— Боюсь, что она покажется вам немножко занудой, — предупредил её Филип, когда он объявил о своём намерении уступить свой флигель в Чэмфорде Уолтеру и Марджори. — Но вы все-таки будьте с ней помягче. Она этого заслуживает, бедняжка: ей пришлось далеко не сладко. — И он рассказал историю Марджори.

Выслушав, его мать вздохнула.

— Вот уж не ожидала, что Уолтер Бидлэйк окажется таким, — сказала она.

— Но в таких случаях никогда не знаешь, чего ожидать. Случается то, что случается. Люди тут ни при чем.

Миссис Куорлз ничего не ответила. Она думала о том времени, когда она впервые обнаружила, что Сидни изменяет ей. Изумление, боль, унижение...

— И все-таки, — сказала она вслух, — я бы никогда не подумала, что он сознательно сделает кого-нибудь несчастным.

— А кто подумал бы, что он сделает несчастным самого себя? Ведь, по существу говоря, он ничуть не счастливей Марджори. Может быть, в этом его главное оправдание.

— И кому все это нужно? — вздохнула его мать.

Миссис Куорлз посетила Марджори, как только та переехала.

— Навещайте меня почаще, — сказала она на прощание. — Вы мне нравитесь, — добавила она с неожиданной улыбкой, которая тронула бедную Марджори до глубины души: Марджори редко нравилась людям. Её горячая любовь к Уолтеру была вызвана прежде всего тем, что он один из немногих проявил к ней интерес. — Надеюсь, это взаимно, — закончила миссис Куорлз.

Марджори покраснела и пробормотала что-то невнятное. Она уже обожала миссис Куорлз.

Рэчел Куорлз говорила вполне искренне. Марджори нравилась ей: ей нравились даже те недостатки, из-за которых другие считали её такой занудой. Тупость Марджори она воспринимала как доброту и незлобивость, отсутствие у неё чувства юмора — как признак

серьёзности. Ей нравились даже интеллектуальные претензии Марджори, даже те глубокие или поучительные замечания, которыми та прерывала своё многозначительное молчание. Миссис Куорлз видела в них несколько смешные проявления подлинной любви к добру, истине и красоте, искреннего стремления к самосовершенствованию.

При их третьей встрече Марджори рассказала миссис Куорлз всю свою историю. Миссис Куорлз отнеслась ко всему рассудительно, по-христиански.

— В таких случаях на чудо нечего рассчитывать, — сказала она, — не существует патентованных средств от несчастья. Только старые скучные добродетели, терпение, смирение и все прочее, только старый источник утешения и силы — старый, но не скучный. Нет ничего менее скучного, чем религия. Но молодёжь обыкновенно не верит мне, когда я им это говорю, хотя им всем до смерти надоели джаз-банды и танцы.

Обожание, которое Марджори с первого же раза почувствовала к миссис Куорлз, усилилось ещё больше, — усилилось настолько, что миссис Куорлз стало даже стыдно, точно она обманом выудила что-то у Марджори, точно она играла какую-то лживую роль.

— Я получаю от вас столько помощи и утешений, — объявила Марджори.

— Вовсе нет, — с сердцем ответила та. — Просто вы были одинокой и несчастной, а я подвернулась в нужный момент.

Марджори возражала, но миссис Куорлз не позволила ни расхваливать, ни благодарить себя.

Они много беседовали о религии. Карлинг внушил Марджори отвращение ко всей живописной и обрядовой стороне христианства. Пиран из Перанзабуло, облачения, церемонии — все, хотя бы отдалённо связанное со святыми, ритуалами, традицией, отталкивало её. Но она сохранила смутные зачатки веры в то, что она считала основными принципами, у неё с детства осталась привычка мыслить и чувствовать по-христиански. Под влиянием Рэчел Куорлз вера укрепилась, потребность в религиозных переживаниях усилилась.

— Я стала неизмеримо счастливей с тех пор, как поселилась у вас, — объявила она через какую-нибудь неделю после приезда.

— Это оттого, что вы больше не стараетесь быть счастливой и не обижаетесь на то, что вы несчастны; оттого, что вы стали меньше думать о счастье и несчастье. Современная молодёжь рассуждает удивительно глупо: она расценивает жизнь исключительно с точки зрения счастья. Как бы мне повеселей провести время? — спрашивают они. Или жалуются: почему мне так невесело! Но в нашем мире никто не может жить все время весело — по крайней мере в том смысле, в каком это понимают они. А когда они получают то, чего добивались, они разочаровываются — потому что никакая реальность не может сравниться с воображением. А потом, очень скоро, веселье сменяется скукой. Все гонятся за счастьем, а в результате все несчастливы. А все потому, что идут по неверному пути. Вместо того чтобы спрашивать себя: как нам стать счастливыми и жить повеселей? — они должны были бы спрашивать: как сделать, чтобы Бог был доволен нами и чтобы мы сделали лучше? Если бы люди почаще задавали себе такие вопросы и отвечали на них не только словами, но и делами, они стали бы счастливыми, даже и не думая об этом. Счастье находят, не гоняясь за ним, а стремясь к спасению. Когда люди были мудрыми, а не только умными, как теперь, они оценивали все в жизни с точки зрения не веселья или скуки, а спасения или вечного проклятия. Вы, Марджори, почувствовали себя счастливой только оттого, что перестали желать себе счастья и начали стараться быть хорошей. Счастье — это как кокс: это побочный продукт, его получают, когда стараются сделать нечто совсем другое.

Тем временем в Гаттендене жизнь текла довольно уныло.

— Отчего бы тебе не поработать немножко? — спросила миссис Бидлэйк на следующее утро после возвращения мужа.

Старик покачал головой.

— Ты только начни — и увидишь, как это будет приятно, — убеждала его Элинора.

Но отец не поддавался уговорам. Он не хотел писать именно потому, что это доставило

бы ему удовольствие. Именно потому, что он так боялся физических страданий и смерти, он, в силу какой-то извращённости, не хотел ничем от них отвлекаться. Точно какая-то часть его самого смутно желала принять поражение и несчастье, стремилась выпить унижение до дна. Его мужество, его гаргантюанская сила, его жизнерадостная беспечность были плодами того, что он всю жизнь на многое закрывал глаза. Но теперь, когда закрывать глаза стало невозможно, когда враг обосновался в его жизненных центрах, мужество покинуло его. Он боялся и не мог скрыть свой страх. Он даже не хотел скрывать его. Он хотел быть жалким. И жалким он был. Миссис Бидлэйк и Элинор прилагали все старания, чтобы вывести его из мрачной апатии, в которой он пребывал большую часть дня. Но он оживлялся только затем, чтобы жаловаться, или ворчать, или изредка впадать в бешенство.

Какое жалкое зрелище (писал в своём дневнике Филип) представляет собой олимпиец, которого небольшая опухоль в желудке превращает в человекообразное. А может быть (приписал он через несколько дней), он всегда был только человекообразным, даже когда казался особенно олимпийцем; может быть, все олимпийцы на самом деле просто человекообразные?

Только с маленьким Филом Джон Бидлэйк порой выходил из своего подавленного состояния. Играя с мальчиком, он на некоторое время забывал о своих несчастьях.

— Нарисуй мне что-нибудь, — говорил он.

И маленький Фил, высунув кончик языка, рисовал поезд, или пароход, или дерущихся оленей в Гаттенденском парке, или старого маркиза в колясочке, запряжённой ослом.

— А теперь ты, дедушка, нарисуй мне что-нибудь, — говорил он, — устав рисовать.

Тогда старик брал карандаш и создавал несколько чудесных маленьких набросков с Т'анга, китайского мопсика, или с Томпи, кухонного кота. Или вдруг, придя в озорное настроение, он набрасывал карикатуру на извивающуюся мисс Фулкс. А иногда, забыв о внуке, он рисовал для собственного развлечения группу борющихся купальщиц, борющихся мужчин, танцовщицу.

— А почему они раздетые? — спрашивал мальчик.

— Потому что так они красивей.

— Ничего они не красивей. — И, теряя всякий интерес к рисунку, который ничего ему не говорил, он требовал карандаш обратно.

Но Джон Бидлэйк не всегда относился к своему внуку так благодушно. Иногда, когда он чувствовал себя особенно плохо, он воспринимал самое присутствие мальчика как личную обиду, как своего рода насмешку над собой. Он приходил в бешенство, он кричал на ребёнка за то, что тот шумит и беспокоит его.

— Неужели меня не могут оставить в покое? — кричал он и осыпал проклятиями всех и каждого. В доме полно женщин, и все они якобы присматривают за этим проклятым пострелёнком, а он вечно буйнит, подымает адский шум и вертится под ногами. Это невыносимо! Особенно когда человек болен. Совершенно невыносимо! Люди абсолютно не считаются с ним. Краснея и извиваясь, бедная мисс Фулкс уводила своего ревущего питомца в детскую.

Самые бурные сцены разыгрывались за обеденным столом. Именно за едой (которая теперь ограничивалась для него бульонами, молоком и бенгеровской кашей) Джон Бидлэйк с особенной остротой вспоминал о состоянии своего здоровья.

— Мерзкие помои! — брюзжал он. Но всякая попытка съесть что-нибудь твёрдое приводила к весьма печальным последствиям. Во время еды Джон больше всего бушевал и выходил из себя. Он срывал гнев на ребёнке. Маленький Фил, никогда не отличавшийся большим аппетитом, вскТэту весну и начало лета ел особенно плохо. Почти каждый раз за едой дело кончалось слезами.

— Это оттого, что он нездоров, — вступалась за него мисс Фулкс. И это была правда: мальчик пожелтел и осунулся, спал беспокойно, быстро утомлялся, страдал головными болями, перестал прибавлять в весе. Доктор Краузер прописал солод, рыбий жир и укрепляющие средства. — Он правда нездоров, — настаивала мисс Фулкс.

Но Джон Бидлэйк ничего не хотел слушать.

— Он просто-напросто капризничает. — И, обращаясь к ребёнку: — Глотай же, Фил, глотай! — кричал он. — Ты что, разучился глотать, что ли? — Его раздражал вид маленького Фила, без конца пережёвывавшего кусок чего-нибудь, что было ему не по вкусу. — Глотай, мальчишка! Да что ты жуёшь жвачку, точно корова. Глотай!

И маленький Фил, весь красный, делал над собой огромное усилие, стараясь проглотить отвратительный комок, который он пережёвывал уже добрых пять минут. Мускулы его горла напрягались и сжимались в судороге, его личико искажалось гримасой непреодолимого отвращения, раздавался зловещий звук отрыжки.

— Но это просто безобразие! — бушевал старик. — Глотай! — Его крик действовал безошибочно, вызывая у ребёнка рвоту.

Время свалилось с души, мрак сменился светом. Марджори приняла как откровение символику религиозных книг. Она ведь тоже погрязла в Трясине Отчаяния²¹⁸ и выбралась оттуда; она тоже карабкалась, с огромным трудом и без всякой надежды, и неожиданно её посетило видение Земли Обетованной.

— Все эти фразы казались мне такой условностью, таким пустым благочестием, — сказала она миссис Куорлз, — но теперь я вижу, что они просто описывают факты.

Миссис Куорлз кивнула:

— Разумеется, плохо описывают, потому что эти факты описать нельзя. Но если у вас есть личный опыт, вы поймёте, что скрывается за символами.

— А знаете, что подразумевается под Чёрной Страной? — спросила Марджори. — У меня самой сейчас такое чувство, точно я вышла из рудничного посёлка в поля. На широкий вольный простор, — добавила она своим очень серьёзным детским голосом, растягивая слова. «От этого её голоса, — невольно подумала миссис Куорлз и сейчас же раскаялась, потому что ведь бедная женщина не виновата, что у неё такой голос, — вольные широкие просторы начинают казаться какими-то душными». — И когда я смотрю назад, чёрный город кажется таким маленьким и ничтожным по сравнению с простором полей и огромным небом, точно смотришь на него в полевой бинокль не с той стороны.

Миссис Куорлз слегка нахмурилась.

— Его нельзя считать ничтожным, — сказала она, — ведь в этом городе, как бы чёрен он ни был, все-таки живут люди. И не та сторона полевого бинокля — это все же не та сторона. Нельзя смотреть на вещи так, чтобы они казались маленькими и ничтожными. Вот почему выходить на простор иногда опасно: человеку слишком свойственно смотреть на города и на их обитателей не с той стороны. Но так нельзя, Марджори. Долг счастливцев, вышедших на простор, — помочь оставшимся в городе сделать то же. — Она снова нахмурилась, недовольная на этот раз собой: она не терпела проповедей. Но Марджори не имеет права воображать себя выше всех поднявшейся над миром. — А как Уолтер? — спросила она, казалось бы, без всякой связи с предыдущим разговором. — Как вы с ним теперь ладите?

— Как всегда, — сказала Марджори. Несколько недель тому назад это признание заставило бы её почувствовать себя глубоко несчастной. Но теперь даже Уолтер казался маленьким и далёким. Конечно, она любила его по-прежнему, но видела его как бы не с той стороны полевого бинокля. Смотря с правильной стороны, она видела только Бога-Отца и Иисуса Христа, таким крупным планом, что они занимали все пространство.

Миссис Куорлз взглянула на неё, и выражение печали промелькнуло на её подвижном лице.

— Бедный Уолтер! — сказала она.

— Да, мне тоже очень жаль его, — сказала Марджори. Обе женщины замолчали.

²¹⁸ См. также ниже: Земля Обетованная и Чёрная Страна — места действия аллегорического романа о скитаниях души в поисках истины «Путь паломника» Джона Беньяна, о котором, не называя его прямо, и говорят Марджори и миссис Куорлз.

Старик Фишер просил изредка являться к нему и сообщать о ходе беременности. Марджори воспользовалась тем, что в эту среду выдавались дешёвые экскурсионные билеты, и отправилась в город сделать кое-какие покупки и рассказать доктору, как хорошо она себя чувствует.

— Выглядите вы тоже хорошо, — сказал доктор Фишер, взглядывая на неё сначала сквозь очки, а потом поверх них. — Гораздо лучше, чем в прошлый раз. Так часто бывает на четвёртом месяце, — объяснил он. Доктор Фишер любил, чтобы его пациентки проявляли разумный интерес к собственной физиологии. — Здоровье улучшается. Настроение тоже. Тело привыкает к новому положению вещей. Несомненно, тут сказывается влияние перемен в кровообращении. Примерно в это время начинает биться сердце плода. Мне приходилось встречать неврастеничек, которые старались иметь одного ребёнка за другим как можно скорей. Только беременность излечивала их от меланхолии и навязчивых идей. Как мало мы знаем о взаимоотношениях между телом и духом!

Марджори улыбнулась и ничего не сказала. Доктор Фишер, конечно, ангел, он добрейший человек в мире. Но что он знал, например, о Боге? Что он знал о душе и её мистическом общении с духовным началом? Бедный доктор Фишер! Он только и мог говорить что о четвёртом месяце беременности и о сердце плода. Внутренне она улыбнулась, испытывая что-то вроде жалости к старику.

Барлеп в это утро был особенно дружелюбен.

— Ну как, дружище, — сказал он, кладя руку на плечо Уолтера, — не пойти ли нам съесть вместе по котлетке? — Он погладил Уолтера по плечу и улыбнулся ему тонкой и загадочной улыбкой святого с картины Содомы.

— Увы, — сказал Уолтер, пытаясь изобразить ответное чувство, — я сговорился позавтракать с одним человеком в другом конце Лондона. — Это была ложь, но его страшила перспектива провести с Барлепом целый час в какой-нибудь закускойной на Флит-стрит. К тому же он хотел посмотреть, не ждёт ли его в клубе письмо от Люси. Он взглянул на часы. — Господи! — добавил он, стараясь поскорей избавиться от Барлепа. — Мне пора бежать.

Шёл дождь. Зонтики были как чёрные грибы, неожиданно выросшие из грязи. Как уныло! А в Мадриде палящее солнце. «Но я люблю жару, — сказала она. — Я расцветаю в печках». Он представил себе испанские ночи, тёмные и душные, и её тело, бледное при свете звёзд, — призрак, но такой осязаемый и тёплый, — любовь, терпеливую и безжалостную, как ненависть, и обладание, похожее на медленное убийство. Ради этого стоило лгать и унижаться. Совершенно не важно, что будет сделано, что недоделано, лишь бы осуществить его мечты. Он подготовил почву, он придумал одну серию лживых объяснений для Барлепа, другую — для Марджори; он справился о цене билетов, он устроил перевод в банке. И тогда пришло письмо от Люси: она передумала, она остаётся в Париже. Почему? Возможно, было только одно объяснение. Его ревность, его огорчение, его унижение вылились на шести страницах простых упрёков.

— Писем нет? — небрежно спросил он швейцара, входя в клуб. Своим тоном он точно хотел сказать, что он не ждёт ничего более интересного, чем проспект какого-нибудь издательства или филантропическое предложение дать займы без всякой гарантии пять тысяч фунтов. Швейцар протянул ему знакомый жёлтый конверт. Он развернул его и вынул три листка, исписанные карандашными каракулями. «Набережная Вольтера. Понедельник». Он принялся разбирать письмо. Читать его было так же трудно, как какую-нибудь древнюю рукопись. «Почему вы всегда пишете мне карандашом?» Он вспомнил вопрос Касберта Аркрайта и её ответ. «Я поцелуями сотру чернила с ваших пальчиков», — заявил тот. Скотина! Уолтер вошёл в столовую и заказал ленч. Во время еды он расшифровывал письмо Люси.

Набережная Вольтера

*Ваше письмо невыносимо. Раз навсегда перестаньте проклинать меня и
скулить: я не терплю жалоб и упрёков. Я делаю, что хочу, и никому не даю права*

требовать от меня отчёта. На прошлой неделе мне казалось, что было бы забавно съездить с вами в Мадрид, а теперь мне не кажется. Очень сожалею, что это нарушило ваши планы. Но я вовсе не собираюсь просить прощения за то, что я передумала. А если вы воображаете, что ваши ревность и стоны внушают мне жалость, вы глубоко заблуждаетесь. Ваше поведение невыносимо и непростительно. Вы в самом деле хотите знать, почему я остаюсь в Париже? Так знайте же. «Вы, наверно, нашли себе мужчину, который вам нравится больше, чем...» Да вы, милый, просто Шерлок Холмс! И угадайте, где я его нашла? На улице. Шатаюсь по бульвару Сен-Жермен, у книжных магазинов. Переходя от витрины к витрине, я заметила, что меня преследует какой-то юноша. Мне он понравился. Жгучий брюнет с оливковой кожей, похож на римлянина, ростом не выше меня. У четвёртой витрины он заговорил со мной на невероятном французском языке, произнося все немые «е». «Ma Dei e italiano!»²¹⁹ Я угадала. Буйный восторг. «Parla italiano?»²²⁰ И он принялся изливать свои чувства на изысканнейшем тосканском наречии.

Я взглянула на него. В конце концов, почему бы и нет? Человек, которого я никогда не видела и о котором ничего не знаю, — это должно быть увлекательно. Совершенно чужие, а через минуту такие близкие друг другу, какими только могут быть два человеческих существа. К тому же он был красив. «Vorrei e non vorrei»²²¹, — сказала я. Но он никогда не слышал Моцарта — только Пуччини, поэтому моё остроумие пропало даром. «Ладно». Мы подозвали такси и поехали в маленькую гостиницу около Jardin des Plantes²²². Номера на час и на сутки. Кровать, стул, гардероб, умывальни с оцинкованным тазом и кувшином, рогатка для полотенца, биде. Нищенская обстановка, но в этом тоже своя прелесть. «Dunque»²²³, — сказала я. В такси я не позволяла ему притронуться ко мне. Он набросился на меня, стиснув зубы, точно собираясь меня растерзать. Я закрыла глаза, как христианская мученица передо львом. Мученичество — вещь увлекательная. Тебе делают больно, унижают, тобой пользуются, как подстилкой для ног. Странно. Мне это нравится. К тому же подстилка пользуется тем, кто пользуется ею. Все это очень сложно. Он только что вернулся с моря: тело загорелое и отполированное солнцем. Он казался совсем дикарём, индейцем. И вёл себя он тоже как дикарь: следы его укусов до сих пор не зажили у меня на шее. Мне придётся несколько дней носить шарф. Где-то я видела статую Марсия, с которого сдирают кожу. Вот такое лицо было, у него. Я до крови вонзила ногти ему в плечо. После я спросила, как его зовут. Его имя Франческо Аллегри, он авиационный инженер и приехал из Сиены, где его отец — профессор медицинских наук в университете. Как странно, что бронзовый дикарь проектирует авиационные моторы и что у него отец профессор! Завтра я опять увижусь с ним. Теперь вы знаете, Уолтер, почему я раздумала ехать в Мадрид. Никогда не пишите мне таких писем, как ваше последнее.

Л.

Марджори вернулась в Чэмфорд с поездом в три двенадцать. Дождь перестал. Холмы на противоположной стороне долины, тронутые солнечным светом, казалось, излучали

219 Да вы итальянец! (ит.).

220 Вы говорите по-итальянски? (ит.).

221 Хочу и не хочу (ит.) — из оперы Моцарта «Дон Жуан».

222 Ботанический сад (фр.).

223 Итак (ит.).

сияние на фоне чёрных и темно-синих туч. Капли дождя повисли на ветках, и чашечка каждого цветка была полна влаги. От сырой земли исходил прохладный и сладкий аромат; пели птицы. Когда Марджори проходила под свисающими ветками огромного дуба на склоне холма, порыв ветра осыпал её лицо внезапным холодным дождём. Она от удовольствия засмеялась.

В коттедже никого не было. Служанка ушла и не вернётся до вечера. В молчании пустых комнат была какая-то алмазная, музыкальная прозрачность. Одиночество встретило её, как добрый друг. Она ходила по дому на цыпочках, словно боясь разбудить спящего ребёнка. Марджори налила себе чашку чая, выпила её маленькими глотками, съела сухарик, закурила сигарету. Вкус сухарика и чая, запах табачного дыма казались особенно приятными и какими-то новыми, точно она впервые ощущала их.

Она подвинула кресло к окну, села и принялась глядеть на долину и на яркие холмы на грозном фоне. Она вспомнила такой же день, когда они жили в беркширском коттедже. Солнечный свет, особенно яркий среди тьмы: сияющая преображённая земля. Она сидела вместе с Уолтером у открытого окна. Тогда он любил её. И все-таки теперь она счастливей, гораздо счастливей. Она ни о чем не жалеет. Страдание было необходимым. Оно было как туча, на фоне которой ещё ярче сияло её теперешнее блаженство. Тёмная туча, но уже такая далёкая, такая несущественная. И то, другое, яркое счастье, до появления тучи, — оно тоже было маленьким и далёким, как отражение в вогнутом зеркале. «Бедный Уолтер, — подумала она, и она пожалела его, но словно откуда-то издалека. — В погоне за счастьем он сделал себя несчастным. Миссис Куорлз говорит, что счастье — это побочный продукт. Она права». «Счастье». Марджори про себя повторяла это слово. На фоне чёрных облаков холмы сверкали, как изумруд и зеленое золото. Счастье и красота и добро. «Мир Божий, — прошептала она, — мир Божий, который превыше всякого ума»²²⁴. Мир, мир, мир...

Она точно растворялась в зеленом и золотом спокойствии, погружалась в него и тонула в нем, сливалась с ним в одно целое, покой вливался в покой, тишина окружающего мира становилась одно с тишиной внутри её. Взбаламученная и помутневшая влага жизни постепенно успокаивалась, и все, что мешало её прозрачности: мирской шум, и личные огорчения, и желания, и чувства, — оседало на дно, медленно падало, медленно и бесшумно, и скрывалось из виду. Мутная жидкость становилась все светлей и светлей, все прозрачней и прозрачней. Позади постепенно таявшего тумана была реальность, был Бог. Медленно, минута за минутой, нисходило откровение. «Мир, мир, — шептала она про себя, и последняя рябь исчезала с поверхности жизни, последняя муть повседневности оседала среди абсолютного покоя. — Мир, мир». У неё не было желаний, не было забот. Некогда мутная жидкость стала теперь совершенно прозрачной — прозрачней алмаза, прозрачней воздуха. Туман рассеялся, за ним открылась реальность. То была чудесная пустота, то было ничто. Ничто — единственное совершенство, единственный абсолют. Вечное и бесконечное ничто. Откровение наконец завершилось.

Щёлканье замка в парадной двери и звук шагов в коридоре вывели Марджори из оцепенения. Неохотно и с какой-то болью она поднялась из глубин пустоты, её душа снова всплыла на поверхность сознания. Солнечный свет на холмах стал гуще, тучи поднялись, и небо побледнело, зеленовато-голубое, как вода. Приближался вечер. Ноги у неё затекли: должно быть, она просидела так несколько часов.

— Уолтер? — откликнулась она на шум в коридоре.

Ей ответил безжизненный и тусклый голос. «Что с ним? Отчего он так несчастен?» — подумала она, но подумала точно откуда-то издалека, почти с неприязнью. Его присутствие, самое его существование тревожило её, нарушало её покой. Он вошёл в комнату. Лицо у него было бледное, под глазами — тёмные круги.

— Что случилось? — спросила она почти против воли. Чем ближе она подходила к

²²⁴ Послание к Филиппийцам святого Апостола Павла, 4:7.

Уолтеру, тем больше она удалялась от чудесного ничто, от Бога. — У тебя ужасный вид.

— Ничего не случилось, — ответил он. — Просто я очень устал. — По дороге в поезде он читал и перечитывал письмо Люси, пока не выучил его почти наизусть. Воображением он дополнял то, о чем не говорилось в письме. Он видел этот унылый номер в меблированных комнатах; он видел загорелое тело итальянца, и её белизну, и стиснутые зубы мужчины, и его лицо, как лицо подвергнутого пытке Марсия, и лицо Люси со знакомым ему выражением, строгим, напряжённым и страдающим, точно наслаждение было глубокой и труднодостижимой истиной, познать которую можно, только внимательно сосредоточившись...

«Ах, так, — думала Марджори, — он говорит, ничего не случилось. Что ж, тем лучше: значит, мне нечего беспокоиться».

— Бедный Уолтер! — сказала она вслух, улыбаясь ему с жалостливой нежностью. Он не требовал от неё внимания или сочувствия, она больше не испытывала к нему неприязни. — Бедный Уолтер!

Уолтер бросил на неё быстрый взгляд, потом отвернулся. Ему не нужна жалость. Во всяком случае, такая снисходительная ангельская жалость, да ещё от Марджори. Однажды он позволил ей пожалеть себя. Мурашки пробежали у него по телу, когда он вспомнил об этом. Больше никогда. Он ушёл к себе.

Марджори слышала, как он поднялся по лестнице и хлопнул дверью.

«А все-таки, — подумала она, невольно тревожась, — тут что-то не то, что-то причинило ему особенно сильное страдание. Может быть, пойти и посмотреть, что он делает?»

Но она не пошла. Она осталась сидеть, совершенно неподвижная, сознательно забывая о нем. Небольшой осадок, поднявшийся в ней от приезда Уолтера, быстро оседал на дно. Её дух снова погрузился в безжизненную пустоту, в Бога, в беспредельное изначальное ничто. Время шло; наступили летние сумерки; сумерки постепенно сменились темнотой.

В десять часов вернулась Дэзи, служанка.

— Сумерничаете, мэм? — спросила она, заглянув в комнату. Она повернула выключатель. Марджори вздрогнула. Свет вызвал перед её ослеплёнными глазами все материальные подробности окружающего мира. Бог исчез, как лопнувший мыльный пузырь. Дэзи заметила, что стол не накрыт. — Как! Вы не ужинали? — в ужасе воскликнула она.

— Да, верно, — сказала Марджори. — Я совсем забыла об ужине.

— А как же мистер Бидлэйк? — В тоне Дэзи послышался упрёк. — Ах, бедненький, он, наверное, совсем изголодался! — Она побежала на кухню, чтобы достать холодное мясо и пикули.

Наверху, в своей комнате, Уолтер лежал на постели, зарывшись головой в подушки.

XXXI

Вопрос из кроссворда заставил мистера Куорлза заглянуть в семнадцатый том Британской энциклопедии. Побуждаемый праздным любопытством, он перелистывал страницу за страницей. Он узнал, что лорд-камергер носит белый жезл и золотой или осыпанный драгоценностями ключ. Слово «лотерея» не имеет вполне определённого значения, но Нерон давал в качестве выигрыша дома и рабов, тогда как Гелиогабал придал лотереям оттенок нелепости — на один билет золотую вазу, на другой — полдюжины мух. Губернатором штата Луизиана был в 1873 году республиканец Пикни Б. С. Пинчбек. Чтобы чётко сформулировать, что такое «лира», надо сразу же отметить разницу между ней и близкими ей инструментами — арфой и гитарой. Различают белую и чёрную магию. А земной магнетизм имеет длинную историю. На северном побережье острова Мадейра можно увидеть обнажённые пласты крупнокристаллического эссексита. Он как раз начал читать о сэре Джоне Бланделе Мейпле, баронете (1845-1903), отец которого, Джон Мейпл (ум. 1900), имел небольшую мебельную лавку на Тоттенхэм-Корт-роуд, когда в дверях появилась

горничная, доложившая, что его желает видеть какая-то молодая леди.

— Молодая ле-еди? — с удивлением повторил он, снимая пенсне.

— Да, это я, — сказал знакомый голос, и в комнату, отстранив горничную, влетела Глэдис.

При виде её мистера Куорлза охватило тревожное предчувствие. Он встал.

— Можете идти, — с достоинством сказал он горничной. Та вышла. — Моё дорогое дитя! — Он взял Глэдис за руку. — Какой сюрприз!

Глэдис вырвала руку.

— Да уж точно приятный сюрприз! — саркастически ответила она. В минуты волнения она говорила ещё более неправильно, чем всегда. Она села или, вернее сказать, решительно водрузила себя в кресло. «Вот она я, — говорила вся её поза, — и отсюда я не уйду». Или, может быть, даже: «На-кась, выкуси».

— Конечно, приятный, — медоточиво говорил мистер Куорлз, чтобы что-нибудь сказать. «Какой ужас, — думал он. — Чего ей нужно? И как бы поскорей выставить её из дому?» В случае необходимости, впрочем, он скажет, что ему нужно было срочно перепечатать некоторые материалы и он вызвал её. — Но кто бы мог ожидать, — добавил он.

— Да уж верно, никто. — Она сжала губы и посмотрела на него — и выражение её глаз вовсе не понравилось мистеру Куорлзу, — словно ожидая чего-то. Чего?

— Разумеется, я очень рад видеть вас, — продолжал он.

— Ах, вы очень рады? — Она угрожающе засмеялась. Мистер Куорлз взглянул на неё и испугался. Он просто ненавидел эту девицу. Теперь он удивлялся: как это он мог желать её?

— Очень рад, — повторил он с ещё большим достоинством: самое главное — сохранять достоинство и превосходство. — Но...

— Но... — отозвалась она.

— Но, знаете, я считаю, что с вашей стороны было несколько опрометчиво приезжать сюда.

— Он, видите ли, считает, что это опрометчиво, — сказала Глэдис, точно обращаясь к незримому третьему лицу.

— Не говоря уже о том, что я не вижу в этом никакой необходимости.

— Ну насчёт необходимости это не вам судить.

— В конце концов, вы отлично знали, что, если бы вам захотелось увидеть меня, вам стоило только написать, и я приехал бы немедленно. Так зачем же приезжать сюда? — Он ждал ответа. Но Глэдис молчала и только смотрела на него, и в её зелёных глазах была жестокость, а улыбка сжатых губ скрывала одному Богу известно какие опасные мысли и чувства. — Я, серьёзно, недоволен вами. — Мистер Куорлз делал ей выговор тоном внушительным и полным достоинства, но добродушно — всегда добродушно. — Да, серьёзно, недоволен.

Глэдис закинула голову и издала короткий, пронзительный смех, похожий на смех гиены.

Мистер Куорлз растерялся. Но он не терял достоинства.

— Вы можете смеяться, — сказал он, — но я говорю вполне серьёзно. Вы не имели права приезжать. Вы отлично знаете, как важно, чтобы никто ничего не заподозрил. Особенно здесь — здесь, в моем собственном доме. Вы это знаете.

— Да, знаю, — повторила Глэдис, кивая головой. — Именно поэтому я приехала. — На секунду она замолчала. Но её бурные переживания не давали ей молчать. — Потому что я знала, что вы трусите, — продолжала она, — да, трусите: а вдруг люди поймут, какой вы есть на самом деле. Грязная старая свинья. — И вдруг, потеряв всякую власть над собой, она в бешенстве вскочила на ноги и с таким угрожающим видом двинулась на мистера Куорлза, что он отступил на шаг. Но её нападение ограничилось словами. — Напускаете на себя такую важность, будто вы принц Уэльский. А девушку водите обедать в закусочную. И всех ругаете, хуже, чем пастор; а сами-то хороши! Грязная старая свинья — вот кто вы такой! А туда же, говорит, что любит меня! Знаем мы эту любовь. Девушка с вами спокойно в такси

проехать не может. Паршивая скотина! А ещё...

— Что вы, что вы! — Мистер Куорлз настолько оправился от первого потрясения, что наконец обрёл дар речи. Это ужасно, это неслыханно! Он чувствовал себя уничтоженным, опозоренным, опустошённым.

— «Что вы, что вы», — передразнила она. — И в театре-то приличные места не можете взять. А когда дело доходит до того, чтобы амурничать, — Господи Боже мой! Паршивая жирная свинья! А послушать вас, так выходит, что от вас все женщины без ума, вроде как от Родольфо Валентино. Это от вас-то! Да вы посмотрите на себя в зеркало. Рожа как красное яйцо.

— Какие выражения!

— А ещё болтает о любви — это с такой-то рожей! — продолжала она все более пронзительным голосом. — Старая свинья! А девушке не нашёл что подарить, только паршивые старые часы да серьги, да и в тех камни фальшивые, мне ювелир сказал. А теперь, в довершение всего, у меня будет ребёнок.

— Ребе-енок! — недоверчиво повторил мистер Куорлз: сбывались его самые мрачные предчувствия. — Не может быть!

— Да, ребёнок! — заорала Глэдис и топнула ногой. — Вы что, оглохли, старый болван? Да, ребёнок. За этим я сюда и приехала. Я не уйду отсюда, пока...

В это самое мгновение из сада через стеклянную дверь вошла миссис Куорлз. Она только что была у Марджори и пришла сказать Сидни, что она пригласила молодую чету сегодня к обеду.

— Ах, простите, — сказала она, останавливаясь на пороге. Наступило минутное молчание. Потом, обращаясь на этот раз к миссис Куорлз, Глэдис снова дала волю своему бешенству. Через пять минут она ещё более несдержанно рыдала, а миссис Куорлз старалась её утешить. Сидни воспользовался случаем и выскользнул из комнаты. Когда гонг прозвонил к ленчу, он прислал сказать, что чувствует себя очень плохо и просит прислать ему в комнату два яйца всмятку, гренок с маслом и компота.

Тем временем в кабинете миссис Куорлз заботливо склонялась над Глэдис, рыдавшей в кресле.

— Успокойтесь, — повторяла она, поглаживая девушку по плечу. — Успокойтесь, не нужно плакать. — «Бедная девушка! — думала она. — А какие ужасные духи! Как мог Сидни... И все-таки бедная девушка, бедная девушка!» — Не надо плакать. Возьмите себя в руки. Все будет хорошо.

Рыдания Глэдис постепенно затихали. Спокойный голос миссис Куорлз продолжал говорить слова утешения. Девушка слушала. Вдруг она вскочила. Миссис Куорлз увидела издевательское выражение на её залитом слезами лице.

— Хватит, заткнитесь! — саркастически сказала она. — Заткнитесь! Вы что, меня за маленькую принимаете? Ишь, разговорилась! Зубы заговорить мне хотите, да? Чтобы я ничего не требовала? Деточка, будьте паинькой, так, что ли? Не на таковскую напали. Ничего у вас из этого не получится. И вы это очень скоро узнаете.

С этими словами она выскочила из комнаты в сад и скрылась.

XXXII

Элинор сидела одна в маленьком домике в конце тупика. Слабые отголоски уличного движения ласкали тёплую тишину. Старое саше её матери населяло атмосферу бесчисленными воспоминаниями детства. Она ставила букет роз в вазу; огромные белые розы с лепестками из мягкого фарфора, огненные розы, похожие на языки замороженного душистого пламени. Куранты на камине неожиданно отзвонили восемь раз; согласное дрожание грустно угасало, уходя в небытие, как музыка на отходящем корабле. Половина четвёртого. А к шести она ждала Эверарда. Ждала Эверарда, чтобы выпить с ним коктейль, объясняла она самой себе, а потом ехать с ним обедать и в театр. Вечер, обычный вечер,

такой же, как все другие вечера. Она повторяла себе это потому, что в глубине души она знала, она была пророчески уверена, что этот вечер ничем не будет похож на другие вечера, что он будет самым важным и решающим. Ей придётся решать, ей придётся выбирать. Но она не хотела выбирать; вот почему она старалась поверить, что это будет такой же вечер, как все другие, с такими же развлечениями, как всегда. Она точно осыпала труп цветами. Горы цветов. Но труп был тут, несмотря на скрывавшие его лилии. А выбирать придётся, несмотря на обед у Кетнера и на посещение театра.

Вздыхнув, она взяла тяжёлую вазу обеими руками и собиралась поставить её на камин, как вдруг раздался громкий стук в дверь. Элинор вздрогнула так сильно, что едва не уронила свою ношу. Страх не прошёл даже тогда, когда она оправилась от неожиданности. Стук в дверь, когда она оставалась одна в доме, всегда заставлял её сердце биться особенно сильно. Мысль, что там кто-то стоит, ожидая, прислушиваясь, незнакомец, быть может, враг (в воображении Элинор вставали жуткие волосатые лица, выглядывающие из-за угла, сжатые в кулак руки, ножи, дубинки и револьверы) или, может быть, сумасшедший, внимательно прислушивающийся, не донесётся ли из дома какой-нибудь живой звук, ждущий, как паук, чтобы она открыла, — это было для неё кошмаром. Стук повторился. Поставив вазу, она на цыпочках, с бесчисленными предосторожностями подошла к окну и выглянула из-за занавески. В те дни, когда у неё было особенно беспокойное настроение, она не решалась сделать даже это и сидела неподвижно, надеясь, что стук её сердца не будет слышен на улице, — сидела до тех пор, пока у стучавшего не истощалось терпение и он не уходил прочь. На следующий день посыльный от Сельфриджа приводил её в полное смущение, прося прощения за запоздалую доставку. «Я приходил вчера вечером, мадам, но никого не застал». И Элинор становилось стыдно. Но в следующий раз, когда она оставалась одна и у неё было такое же настроение, она поступала точно так же.

Сегодня она была настроена мужественно. Она отважилась рассмотреть врага — во всяком случае, настолько, насколько это можно было сделать, глядя искоса сквозь оконное стекло в направлении крыльца. Серые брюки и локоть — вот все, что попало в поле её зрения. Стук повторился. Потом нога сделала шаг назад, и Элинор увидела весь костюм, чёрную шляпу и, когда голова повернулась, лицо Спэндрелла. Она побежала к двери и открыла.

— Спэндрелл! — окликнула она. Он уже спускался с крыльца. Он вернулся и приподнял шляпу. Они пожали друг другу руки. — Простите, — объяснила она, — я сидела одна. Я думала, что это по крайней мере убийца. Потом я выглянула в окошко и увидела, что это вы.

Спэндрелл коротко и беззвучно засмеялся.

— А может быть, это все-таки убийца, хотя это и я. — И своей узловатой палкой он замахнулся на неё, в шутку, но это было так драматически похоже на её представления о подлинном убийстве, что Элинор стало жутко. Она засмеялась, чтобы скрыть свой страх, но решила не приглашать Спэндрелла в дом. Здесь, на пороге, она чувствовала себя в большей безопасности.

— И все-таки, — сказала она, — лучше быть убитой знакомым, чем совершенно чужим человеком.

— Разве? — Он посмотрел на неё; уголки его широкого, похожего на шрам рта дрогнули, изобразив странную улыбку. — Только женщина способна думать о таких тонкостях. Впрочем, если вам когда-нибудь будет угодно, чтобы вам самым дружественным образом перерезали горло...

— Что с вами, Спэндрелл! — возмутилась она и ещё раз порадовалась, что он стоит на пороге, а не внутри дома.

— ...то немедленно пошлите за мной. Где бы я ни был, — он приложил руку к сердцу, — я примчусь к вашим ногам. Или, вернее, к вашему горлу. — Он щёлкнул каблуками и поклонился. — Скажите мне, — продолжал он уже другим тоном, — где можно найти Филипа. Я хотел пригласить его пообедать. У Сбизы. Я пригласил бы и вас, но там

будут только мужчины.

Она поблагодарила.

— Я все равно не смогла бы прийти. А Филип уехал за город, к своей матери. Он вернётся только к концерту Толли в Квинсхолл. Он, впрочем, говорил, что после концерта зайдёт к Сбизе. Вы встретите его там. Но это будет поздно.

— Что ж, лучше поздно, чем никогда. Или по крайней мере, — он снова беззвучно засмеялся, — так принято говорить, когда дело касается наших друзей. Но, по правде говоря, эта пословица нуждается в переделке: лучше никогда, чем рано.

— Тогда зачем же приглашать людей обедать? Спэндрелл пожал плечами.

— Сила привычки, — сказал он. — К тому же, когда я их приглашаю, платить приходится им.

Оба засмеялись. Вдруг громкий звонок заставил их обернуться. Рассыльный на красном велосипеде мчался мимо конюшен по направлению к ним.

— Куорлз? — спросил он, соскакивая с велосипеда.

Элино́р взяла телеграмму и вскрыла. Улыбка сошла с её лица.

— Ответа не будет.

Рассыльный сел на велосипед и уехал. Элино́р уставилась на телеграмму, точно она была написана на незнакомом языке, который трудно было понять. Она взглянула на часы на руке, потом снова на смятую бумажку.

— Не окажете ли вы мне одну услугу? — наконец сказала она, повернувшись к Спэндреллу.

— С удовольствием.

— Мой ребёнок заболел, — объяснила она. — Меня вызывают. Если я потороплюсь, — она снова взглянула на часы, — я ещё успею на поезд в четыре семнадцать с Юстонского вокзала. Но у меня нет ни минуты времени. Может быть, вы позвоните Эверарду Уэбли и передадите ему, что я не смогу пообедать с ним сегодня вечером? — «Судьба предостерегает меня, — подумала она, — запрещает мне». — Не позже шести. К нему в комитет.

— Не позже шести, — медленно повторил он. — К нему в комитет. Есть.

— Ну, я бегу, — сказала она, протягивая ему руку.

— Если хотите, я найду вам такси, пока вы одеваетесь.

Она поблагодарила. Спэндрелл поспешно зашагал вдоль конюшен. «Судьба запрещает мне», — повторяла Элино́р, надевая шляпу перед венецианским зеркалом в гостиной. Выбор был сделан за неё. Она почувствовала одновременно и облегчение, и разочарование. «Сделан, — подумала она, — за счёт бедного малютки Фила. Что с ним?» — спрашивала она себя. Посланная матерью телеграмма — такая характерная для неё, что Элино́р не могла удержаться от улыбки, вспомнив её текст, — ничего не объясняла: «Филип нездоров хотя неопасно советую вернуться домой мать».

Она вспомнила, каким нервным и капризным был в последнее время мальчик, как быстро он утомлялся. Она упрекала себя, что вовремя не обратила внимания на его начинающуюся болезнь. Теперь он заболел. Вероятно, просто грипп. «Следовало обратить внимание раньше», — говорила она себе. Она нацарапала записку для мужа. «Приложенная телеграмма объяснит мой неожиданный отъезд. Приезжай в Гаттенден завтра утром». Где её оставить, чтобы Филип наверняка увидел её? Прислонить к часам на камине? А если он не посмотрит на часы? Или на столе? Нет, приколоть к ширме — вот это дело! Тогда он наверняка её заметит. Она побежала в спальню за булавкой. На ночном столике Филипа она увидела связку ключей. Она взяла их и нахмурилась. «Дурень, оставил ключ от дома. Как же он попадёт сюда вечером?» Шум подъехавшего такси навёл её на мысль. Она сбегала вниз, приколотла записку и телеграмму на видном месте к ширме между гостиной и дверью и вышла на крыльцо. Спэндрелл стоял у дверцы такси.

— Как это мило с вашей стороны, — сказала она. — Но я ещё не кончила эксплуатировать вас. — Она протянула ключи. — Когда вы увидите вечером Филипа, передайте ему ключи и мой привет и скажите ему от меня, что он все-таки дурень: он же не

смог бы войти в дом без них. — Спэндрелл молча взял ключи. — И передайте ему, почему я уехала и что я жду его завтра. — Она села в такси. — Только не забудьте позвонить Уэбли. До шести. Потому что в шесть он должен был приехать сюда.

— Сюда? — спросил он с неожиданным любопытством, которое показалось Элинор несколько оскорбительным и дерзким. Неужели он что-нибудь вообразил, осмелился предположить?..

— Да, сюда, — коротко подтвердила она.

— Я не забуду, — с ударением сказал он, и в выражении его лица было что-то, заставившее Элинор почувствовать, что в его словах скрывается тайный смысл.

— Благодарю вас, — сухо сказала Элинор. — А теперь — до свидания. — Она дала адрес шофёру. Машина проехала мимо конюшен, под аркой, завернула и скрылась.

Спэндрелл медленно зашагал по направлению к Гайд-парку. Из телефона общественного пользования на станции метро он позвонил Иллиджу.

Эверард Уэбли расхаживал взад и вперёд по комнате, диктуя. Он не умел работать сидя.

— Как могут люди писать, когда они день-деньской привязаны к стулу, и так — год за годом? — Он не понимал этого. — Когда я сижу на стуле или лежу в постели, я точно сам становлюсь мебелью, на которой сижу или лежу, деревом и обивкой — и больше ничего. Мой мозг работает только тогда, когда у меня работают мускулы.

В те дни, когда ему приходилось писать много писем, когда нужно было диктовать статьи или составлять речи, рабочий день Эверарда превращался в восьмичасовую прогулку. «Изображает льва» — так описывали секретари его метод диктовки. Сейчас он как раз изображал льва — беспокойного льва, незадолго до кормления, — расхаживающего от стены к стене по своему большому пустынному кабинету.

— Не забывайте, — говорил он, хмурясь при этих словах на серый ковёр, карандаш его секретаря покрывал страницу стенографическими значками, — не забывайте, что право решения принадлежит одному мне и что, пока я стою во главе С.С.Б., всякая попытка нарушить дисциплину будет безжалостно пресекаться. Ваш и т. д. — Он замолчал и, вернувшись к письменному столу с того места, где завершилось многодумное львиное шагание, порывлся в разбросанных бумагах. — Кажется, все, — сказал он и посмотрел на часы. Было без четверти шесть. — Эти последние письма приготовьте мне к завтрашнему утру. Я подпишу их завтра. — Он взял шляпу с вешалки. — До свидания. — Хлопнув дверью, он спустился по лестнице, шагая через две ступеньки. У подъезда его ждал автомобиль. Это была мощная машина (Эверард был поклонником быстрой езды) и открытая — так как он наслаждался борьбой со стихиями. Плотный натянутый непромокаемый чехол закрывал всю заднюю часть машины; сидеть можно было только на двух передних местах. — Вы не понадобитесь мне сегодня вечером, — сказал он шофёру, усаживаясь у руля. — Вы свободны до завтра.

Он привёл в действие стартер, пустил мотор, и машина стремительно сорвалась с места. Цилиндры его машины — объёмом в три литра — заключали в себе несколько дюжин лошадей; ему нравилось, когда они работали на полной нагрузке. Максимальная скорость, а потом, за один шаг от надвигающейся катастрофы, рвануть тормоза — таков был его метод. Езда по городу с Эверардом доставляла ощущения, пожалуй, даже чересчур сильные.

— Я совсем не боюсь смерти, — заявила ему Элинор, когда они в последний раз ездили за город; — но я вовсе не намерена провести остаток моей жизни на костылях и с перешибленным носом.

— Со мной вы в полной безопасности, — рассмеялся он, — у меня не бывает несчастных случаев.

— Вы что же, выше подобных вещей? — насмешливо сказала она.

— Что ж, если хотите...

При этих словах он с такой силой затормозил, что Элинор пришлось ухватиться за ручки сиденья, так как иначе её бросило бы на переднее стекло.

— Болван! — закричал он на растерянного старого джентльмена, чья куриная нерешительность едва не бросила его под шины автомобиля. — Если хотите, — и машина рванулась вперёд с такой силой, что Элино́р буквально расплющилась о спинку сиденья, — так оно и есть. У меня не бывает несчастных случаев. Я сам кузнец своего счастья.

Вспоминая эту поездку, Эверард улыбался про себя. Он ехал по Оксфорд-стрит. Товарный фургон преградил ему путь. Давно пора запретить ездить по улицам на лошадях. «Или вы будете моей, — скажет он ей, — а это значит, что в конце концов вам придётся предать это огласке, оставить Филипа и жить со мной (он намеревался быть вполне честным с ней: никакого обмана быть не должно), или это, или...» Наконец ему представилась возможность обогнать фургон; он нажал на газ, и машина рванулась вправо, потом, под самым носом старой клячи, терпелива бегущей рысцой, снова влево. «Или мы больше не увидимся». Это будет ультиматум. Грубый. Но Эверард не терпел неясности в отношениях. Знать наверняка, каким бы неприятным ни было это знание, он предпочитал самой блаженной и полной надежд неопределённости. А в данном случае неопределённость была отнюдь не блаженной. При въезде на Оксфорд-серкус полисмен поднял руку. Было без семи минут шесть. «Она относится слишком придирчиво, — подумал он, смотря по сторонам, — к этим новым зданиям». Эверард не находил ничего неприятного в массивном и пышном барокко современных деловых построек. Их стиль энергичен и выразителен; он величествен, роскошен, он символизирует прогресс.

— Но он невыразимо вульгарен! — возразила она.

— Живому человеку, — ответил он, — трудно не быть вульгарным. Вам не нравится, что эти люди делают дело. Согласен: делать дело всегда вульгарно.

У неё типично потребительская психология. Полисмен опустил руку. Сначала медленно, но со все возрастающей силой преграждённый был поток уличного движения устремился вперёд. Во всем она ищет не пользу, а красоту; её занимают ощущения и оттенки переживаний, причём занимают её сами по себе, а не потому, что острый глаз и пронизательность необходимы в борьбе за существование. Она вообще не знает, что такое борьба. Он должен был бы осуждать её, и он осудил бы, если б (и при этой мысли Эверард внутренне улыбнулся) он не любил её. Он должен был бы...

Хлоп! С империала проезжающего автобуса на капот мотора прямо перед ним упала похожая на замаранную морскую звезду кожура от банана. Сквозь рёв мотора он услышал взрыв хохота. Подняв глаза, он увидел двух девушек; они смотрели на него через перила, раскрыв рты, словно те фантастические головы, которыми кончаются водосточные трубы, но при этом хорошенькие. И хохотали так, точно до этого они никогда не выкидывали подобных штук. Эверард погрозил им кулаком и тоже расхохотался. Как понравилось бы это Элино́р! — подумал он. Она так любит улицу и уличные сцены. Какой у неё острый глаз на все странное, забавное, значительное! Там, где он видел сплошную массу человеческих существ, она различала отдельных людей. А её способность придумывать биографии на основании какой-нибудь случайно подмеченной странности была не менее замечательна, чем её острый глаз. Она знала бы об этих девушках решительно все: к какому классу они принадлежат, из каких семей происходят, где покупают платья и сколько платят за них, невинны ли они, какие книги они читают и кто их любимые киноактёры. Образовавшаяся пробка заставила его пропустить такси вперёд, причём за это время шофёр успел выразить сомнение в том, законнорождённый ли Эверард, нормальные ли у него половые наклонности и есть ли у него шансы на блаженство в загробной жизни. Эверард отругивался с таким же вкусом, но с неизмеримо большей изобретательностью. Он чувствовал, что его переполняет жизнь, он чувствовал себя необычайно крепким и сильным, необъяснимо и (если не считать того, что он увидит Элино́р не раньше чем через пять минут) совершенно счастливым.

Да, совершенно счастлив, потому что он знал (совершенно точно и твёрдо знал!), что она скажет «да», что она любит его. И его счастье становилось все более сильным, острым и в то же время все более успокоительным, пока он заворачивал мимо Мраморной Арки в парк. Его пророческая убеждённость разрасталась в какую-то уверенность уже

происшедшего и памятного, будто будущее стало историей. Солнце стояло низко, и, где бы его розовато-золотистые лучи ни коснулись земли, казалось, будто преждевременная многоцветная осень подожгла траву и листья. Целые снопы сияющего света с пылинками опускались с запада между деревьями, а в тени сумрак стелился сиреневатым и аквамаринным туманом и скрывал, план за планом, смутные лондонские дали. Парочки прогуливались по траве, а играющие дети то погружались во тьму, то преображались, выбегая из тени на солнце, и попеременно то блекли, то становились ослепительно чудесными. Словно какой-то шаловливый божок, то наскучив своими созданиями, то вновь очарованный ими, взирал на них испепеляющим оком, а в следующее мгновение любовно уделял им как бы частичку своей божественности. Дорога простиралась перед ним чистая и гладкая; но Эверард отнюдь не превышал скорость, несмотря на все своё нетерпение; и в каком-то смысле именно потому, что был так сильно влюблён. Все вокруг было столь красиво; а для Эверарда, по ему одному понятной логике и какой-то личной потребности, там, где была красота, была и Элино́р. Вот и сейчас она была рядом — ведь она бы так наслаждалась всей этой прелестью. И потому, что ей обязательно захотелось бы растянуть удовольствие, он и полз так медленно. Мотор делал полторы тысячи оборотов в минуту, генератор чуть не глох. Крошечный «остин» обогнал его, будто машина Эверарда стояла на месте. Пусть себе обгоняют! Эверард думал, какими словами он опишет ей это чудо. Сквозь ограду атели автобусы на Парк-лейн и поблёскивали, как триумфальные колесницы в карнавальном шествии. Слабо, пробиваясь сквозь шум городского транспорта, часы пробили шесть; и со звуком последнего удара вступил другой звон, мелодичный, сладостный, чуть грустный, — живое воплощение прелести вечера и охватившего его счастья.

И вот, несмотря на то что он тащился очень медленно, перед ним возникли мраморные ворота Гайд-парка. Бронзовый Ахиллес, чья плоть некогда была наполеоновскими пушками, Ахиллес, которого английские леди, несмотря на его наготу и более чем атлетическое развитие брюшного пресса, принесли в дар победителю при Ватерлоо, стоял, подняв щит, размахивая мечом, угрожая и защищаясь на фоне бледного и пустого неба. Эверард почти жалел, что уже выехал из парка, хотя он и жаждал скорей приехать. Снова башенноподобные автобусы рычали впереди и позади него. Пробираясь сквозь архипелаг машин, он поклялся, что завтра, если Элино́р скажет «да», он пожертвует пять фунтов госпиталю Святого Георга. Он знал, что она скажет «да». Деньги были все равно что уже отданы. Он выехал с Гросвенор-плейс; рёв стих. Бельгрейв-сквер был зелёным оазисом; воробьи чирикали в сельской тишине. Эверард повернул раз, два, ещё раз. Слева, между домами, возвышалась арка. Он проехал мимо неё, затормозил, сделал крутой поворот и задним ходом въехал в тупик.

Он остановил машину и вышел. Как прелестны эти жёлтые занавески! Его сердце учащённо билось. У него было такое же чувство, как во время его первой речи: он боялся и ликовал одновременно. Поднявшись на крыльцо, он постучал, потом подождал, пока сердце сделало двадцать ударов. Ответа не было. Он постучал снова и, вспомнив, что говорила ему Элино́р о своих страхах, засвистел и, точно отвечая на безмолвный вызов её испуга, закричал: «Свой!» Тогда он вдруг заметил, что дверь не заперта, а только прикрыта. Он толкнул — она распахнулась. Эверард переступил порог.

— Элино́р! — позвал он, думая, что она наверху. — Элино́р!

Ответа не было. Может быть, она решила подшутить над ним? Может быть, она внезапно выскочит из-за ширмы? При этой мысли он улыбнулся и зашагал вперёд, чтобы исследовать безмолвную комнату. В глаза ему бросился листок бумаги, приколотый на видном месте к ширме с правой стороны. Он приблизился и успел прочесть: «Приложенная телеграмма объяснит...», когда какой-то звук за спиной заставил его обернуться. За полтора шага от него стоял человек. Руки его были подняты; дубинка, которую они сжимали, двигалась вперёд и в сторону от правого плеча. Эверард взмахнул рукой, но слишком поздно. Удар пришёлся по левому виску. Точно внезапно выключили свет. Он даже не почувствовал, как упал.

Миссис Куорлз поцеловала сына.

— Дорогой Фил, — сказала она, — как мило с твоей стороны, что ты сейчас же приехал.

— Вы плохо выглядите, мама.

— Немного устала — только и всего. И беспокоюсь, — со вздохом добавила она после минутного молчания.

— Беспокойтесь?

— О твоём отце. Он плохо себя чувствует, — продолжала она медленно и как бы неохотно. — Он очень хотел повидать тебя. Поэтому-то я и дала тебе телеграмму.

— Что он, серьёзно болен?

— Физически нет, — ответила миссис Куорлз. — Но его нервы... у него что-то вроде припадка. Он очень возбуждён.

— А причина?

Миссис Куорлз ничего не ответила. Потом она заговорила с усилием, точно каждое слово должно было преодолевать какое-то внутреннее препятствие. Её выразительное лицо было застывшим и напряжённым.

— Произошёл случай, который его расстроил, — сказала она. — Это его очень потрясло. — И медленно, слово за словом, была рассказана вся история.

Филип слушал, облокотившись о колени, положив подбородок на руки. В самом начале рассказа он взглянул на мать, а потом уставился в пол. Он понял, что, если он посмотрит на неё, встретится с ней взглядом, он ещё усилит её смущение. То, что ей пришлось говорить, было само по себе жестоко и унижительно; так пускай она говорит, невидимая, точно никто не присутствует здесь, чтобы смотреть на её скорбь. Тем, что он не глядел на неё, он как бы охранял её духовную неприкосновенность. Слово за словом, бесцветным, мягким голосом говорила миссис Куорлз. Одно грязное происшествие следовало за другим. Когда она дошла до посещения Глэдис два дня тому назад, Филип почувствовал, что он не в состоянии слушать дальше. Это было слишком большим унижением для неё — он не мог позволить ей продолжать.

— Да, да, могу себе представить, — прервал он её. И, вскочив с кресла, он быстро и беспокойно заковылял к окну. — Не рассказывайте. — С минуту он стоял у окна, рассматривая лужайку, сплошную стену из тисовых деревьев и холмы цвета спелой пшеницы, окружавшие долину. Пейзаж был раздражающе безмятежен. Филип повернулся, проковылял через комнату, остановился на мгновение позади кресла матери и положил руку ей на плечо, потом снова отошёл прочь.

— Не думайте больше об этом, — сказал он. — Я сделаю все, что нужно. — Он с невероятным отвращением представил себе, как ему придётся выносить шумные и грубые сцены, спорить и недостойно торговаться. — Пожалуй, я схожу к отцу, — предложил он.

— Он очень хотел видеть тебя, — кивнула миссис Куорлз.

— Зачем?

— Не знаю. Но он очень просил, чтобы я вызвала тебя.

— А он говорит об этом... об этом деле?

— Нет. Ни слова. У меня такое впечатление, что он нарочно забывает о нем.

— Тогда я лучше тоже не буду говорить.

— Да, пока он не начнёт сам, — посоветовала миссис Куорлз. — Сейчас он почти все время говорит о самом себе. О прошлом, о своём здоровье — в мрачных тонах. Попробуй развеселить его. — Филип кивнул. — И поднять его настроение; не противоречь ему. Он легко раздражается, а ему вредно волноваться.

Филип слушал. О нем говорят как об опасном звере, думал он, или об озорном ребёнке.

Какая боль, какое страдание, какое унижение для матери!

— И не сиди у него слишком долго, — добавила она.

Филип пошёл. «Дурак! — говорил он про себя, проходя по холлу. — Проклятый дурак!» Нахлынувшее на него чувство гнева и презрения к отцу не умерялось никакими добрыми воспоминаниями. Правда, оно и не усиливалось ненавистью. Филип ни любил, ни не любил своего отца. Он терпел его существование с чуть насмешливой покорностью. Не было ничего в его детских воспоминаниях, что могло бы оправдать более положительное отношение. Роль отца мистер Куорлз выполнял так же неудачно и с таким же количеством ошибок, как роль политического деятеля и дельца. Краткие вспышки восторженного интереса к детям чередовались с долгими периодами, в продолжение которых он почти совершенно забывал об их существовании. Филип и его брат предпочитали эти периоды пренебрежения, потому что тогда отец был настроен более благодушно. Было гораздо хуже, когда он выказывал интерес к их благополучию. Он интересовался не столько детьми, сколько какой-нибудь воспитательной или гигиенической теорией. Встретив какого-нибудь знаменитого доктора или прочтя новейшую книгу о методах воспитания, мистер Куорлз решал, что необходимо принять решительные меры, иначе его сыновья вырастут идиотами, калеками или слабоумными, тела их будут отравлены дурной пищей и искалечены каким-нибудь вредным спортом. После этого мальчиков несколько недель пичкали сырой морковью или переваренной говядиной (в зависимости от того, с каким доктором встретился мистер Куорлз); заставляли делать гимнастику или обучали народным танцам и пластике; заставляли учить наизусть стихи (если в данный момент особое значение придавалось памяти) или (если придавалось значение способности к логическому мышлению) отправляться в сад, втыкать на площадках палочки и посредством измерения тени в разные часы дня самостоятельно открывать основные положения тригонометрии. Пока увлечение не проходило, жизнь обоих мальчиков была невыносимой. А если миссис Куорлз пыталась протестовать, Сидни приходил в бешенство и заявлял ей, что она эгоистичная и чересчур мягкосердечная мать, совершенно не считающаяся с благом своих детей. Миссис Куорлз не настаивала: она знала, что, если Сидни перечить, он станет ещё более упорным, а если ему потакать, его энтузиазм скоро пройдёт. И действительно, через две-три недели Сидни надоедали труды, не дававшие немедленного и очевидного результата. От его гигиены мальчики не стали заметно крупней или сильней; они не стали заметно способней от его педагогики. Все, что можно было о них сказать, — это что от них нет покою ни днём, ни ночью. «Более важные дела» все больше и больше поглощали его внимание, пока наконец, подобно Чеширскому коту ²²⁵, он не исчезал окончательно из мира классной комнаты и детской, переносясь в более возвышенные и спокойные сферы. И мальчики снова чувствовали себя спокойными и счастливыми.

Подойдя к двери, Филип услышал доносившиеся оттуда звуки и остановился, прислушиваясь. На его лице появилось выражение беспокойства, даже тревоги. Голос отца. А ему сказали, что отец один. Разговаривает сам с собой? Неужели он так плох? Филип собрался с духом, открыл дверь и немедленно успокоился: то, что он принял за помешательство, было всего лишь диктовкой для диктофона. Подложив под спину подушки, мистер Куорлз полусидел, полулежал на кровати. Его лицо и даже его лысина пылали и блестели, и его розовая шёлковая пижама казалась продолжением этого лихорадочного румянца. Диктофон стоял на столике у постели; мистер Куорлз говорил в микрофон, которым оканчивалась гибкая приёмная трубка.

— Истинное величие, — звучно говорил он, — обратно пропорционально немедленному успеху. Ах, вот и ты! — воскликнул он, оглядываясь на звук открывшейся двери. Он остановил механизм, повесил трубку и приветливо протянул руку. Самый

²²⁵ Персонаж из повестисказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», обладавший способностью постепенно растворяться в воздухе.

обыкновенный жест. Но во всех его движениях была, как показалось

Филипу, какая-то подчёркнутость, точно он находился на сцене. Его глаза лихорадочно блестели. — Как я рад, что ты приехал. Так рад, мой милый мальчик. — Он погладил руку Филипа; в его громком голосе послышалась дрожь.

Филип, не привыкший к такому бурному изъятию чувств, смутился.

— Ну, как твоё здоровье? — спросил он с деланной весёлостью. Мистер Куорлз покачал головой и молча сжал руку сына.

Филип смутился ещё больше, увидев, что на глазах у него выступили слезы. Как мог он ненавидеть его и сердиться на него!

— Ничего, это пройдёт, — сказал он, стараясь подбодрить старика. — Тебе просто нужно немного отдохнуть.

Мистер Куорлз сжал его руку ещё крепче.

— Не говори матери, — сказал он, — но я чувствую, что бли-изок конец.

— Какие глупости, папа. Ты не должен говорить так.

— Бли-изок, — повторил мистер Куорлз, упрямо качая головой, — очень близок. Поэтому я так рад твоему приезду. Я был бы так несчастен, если бы мне пришлось умирать, когда ты на другом конце света. Но когда ты здесь, я чувствую, что могу уйти, — его голос снова задрожал, — совсем спокойно. — Он снова сжал руку Филипа. В эту минуту он чувствовал себя преданным отцом, всегда жившим только для детей. Собственно говоря, таким он и бывал, время от времени. — Да, вполне спокойно. — Он вытащил платок, высморкал нос и в это время незаметно отёр глаза.

— Но зачем тебе умирать?

— Нет, нет, — упорствовал Куорлз. — Я чувствую, что я умру. — Он действительно чувствовал это; он верил, что он умирает, потому что по крайней мере одна часть его души желала умереть. Осложнения последних недель сломили его; а будущее не обещало ничего хорошего. Безболезненно исчезнуть — это было бы лучшим разрешением всех трудностей. Он хотел, он верил; и, веря в приближение смерти, жалел самого себя как жертву и в то же время восхищался тем благородным смирением, с каким он покоряется своей участи.

— Но ты не умрёшь, — повторил Филип, не зная, чем ещё утешить его. Он был лишён дара экспромтом разрешать трудные эмоциональные задачи, с какими встречаешься в обыденной жизни. — Ты ведь... — Он готов был сказать: «Ты ведь ничем не болен», но вовремя сдержался, подумав, что этими словами он может обидеть отца.

— Не будем больше говорить об этом. — Мистер Куорлз говорил резко, выражение лица у него было недовольное. Филип вспомнил, что мать просила не противоречить ему. Он промолчал. — Бессмысленно спорить с Судьбой, — продолжал мистер Куорлз другим тоном. — С Судьбой, — повторил он со вздохом. — Тебе повезло, мой мальчик, ты нашёл своё призвание с самого начала. Провидение было благосклонно к тебе.

Филип кивнул. Он и сам так думал, и это внушало ему некоторые опасения. Он смутно верил в карающую Немезиду.

— Тогда как я... — Мистер Куорлз не кончил фразы, но поднял руку и снова безнадежно уронил её на одеяло. — всю свою жизнь я шёл по неверному пути. Много лет прошло, пока я узнал своё истинное призвание. Занимаясь практическими делами, философ бесцельно расточает себя. Бесцельно и глупо. Как альбатрос у этого, как его там. Ты должен знать.

Филип пришёл в недоумение.

— Ты говоришь про альбатроса в «Старом Мореходе»?

— Не-ет, не-ет, — раздражённо сказал мистер Куорлз. — У этого француза.

— Ах да, конечно. — Филип наконец понял. — «Le poete est semblable au prince des nuees»²²⁶. Ты хочешь сказать — Бодлер.

²²⁶ Поэт, вот образ твой! Ты также без усилия / Летаешь в облаках (фр.).

— Да, конечно, Бодлер.

Exile sur le sol au milieu des huees

Ses ailes de geant l'empêchent de marcher 227, —

процитировал Филип, радуясь возможности на минуту перевести разговор с личных тем на литературу. Его отец пришёл в восторг.

— Вот и-именно! — торжественно воскликнул он. — Точно так же бывает и с философами. Их крылья мешают им ходить по земле. Тридцать лет пытался я ходить по земле, занимаясь политикой и делами. Я не понимал, что моё место — в небесах, а не здесь. В небесах! — повторил он, подымая руку. — У меня были крылья. — Его поднятая рука затрепетала. — Крылья, а я этого не знал. — Его голос стал громче, его глаза заблестели ещё больше, его лицо стало ещё более розовым и лоснящимся. Весь его облик выражал такое возбуждение, такое беспокойство и экзальтацию, что Филип серьёзно встревожился.

— Не лучше ли тебе немного отдохнуть? — обеспокоенно спросил он, но мистер Куорлз не обратил на его слова никакого внимания.

— Крылья, крылья! — вопил он. — У меня были крылья, и, если бы я понял это, когда был молод, каких высот я мог бы достичь! Но я пытался ходить. По грязи. Тридцать лет. Только через тридцать лет я открыл, что я был рождён летать. А теперь моё время прошло, хотя я едва начал жить. — Он вздохнул и, откинувшись на подушку, выбрасывал слова в воздух по направлению к потолку. — Мой труд не закончен. Мои грёзы не воплотились в действительность. Судьба жестоко обошлась со мной.

— Но ты ещё отлично успеешь закончить свой труд.

— Нет, нет, — упорствовал мистер Куорлз, качая головой. Он хотел быть жертвой рока, он хотел чувствовать себя вправе сказать про себя: если бы не превратности судьбы, этот человек мог бы быть вторым Аристотелем. Немилостью провидения оправдывалось все: его неудачи с сахарным заводом, с политикой, с сельским хозяйством, холодный приём, встретивший его первую книгу, бесконечные задержки с выходом в свет второй; ею оправдывалось, каким-то необъяснимым способом, даже то, что он наградил Глэдис ребёнком. Злой рок заставлял его соблазнять горничных, секретарш и крестьянок. А теперь, когда в довершение всего он умрёт (преждевременно, но стойчески, как благороднейший из римлян), какими мелкими, какими пошло-незначительными казались все эти истории с потерянной невинностью и ожиданием ребёнка! И как неприличен был весь этот мирской шум у смертного одра философа! Но он может не обращать внимания на все это лишь при том условии, что это в самом деле его смертный одр, и, если все согласятся, что судьба была к нему несправедлива, философ-мученик накануне смерти имеет право требовать, чтобы его избавили от забот о Глэдис и её ребёнке. Вот почему (хотя он не отдавал себе в этом отчёта) мистер Куорлз так решительно и даже раздражённо отвергал утешения сына, пророчившего ему долгую жизнь; вот почему он обвинял несправедливое провидение и с более чем обычной снисходительностью к себе восхвалял свои таланты, воспользоваться которыми не дало ему провидение.

— Нет, нет, милый мальчик, — твердил он. — Я никогда не кончу. И это — одна из причин, почему мне хотелось поговорить с тобой.

Филип посмотрел на него с неприятным предчувствием. «А дальше что?» — думал он. Некоторое время оба молчали.

— Кому хочется исчезнуть из мира совершенно незамеченным? — сказал мистер Куорлз голосом, который от вновь нахлынувшей на него жалости к самому себе стал хриплым. — Полное исчезновение — к этому трудно отнестись спокойно. — Перед его

227

Но исполинские тебе мешают крылья
Внизу ходить в толпе среди шиканья глупцов

(фр.; перевод П. Якубовича).

умственным взором разверзлась пустота, беспросветная и бездонная. Смерть. Она покончит со всеми заботами, но все-таки она внушает ужас. — Ты понимаешь это чувство? — спросил он.

— Вполне, — сказал Филип, — вполне. Но в твоём случае, отец...

Мистер Куорлз снова высморкался и поднял в знак протеста руку.

— Нет, нет. — Он твёрдо решил, что умрёт. Бессмысленно было убеждать его в противном. — Но ты понимаешь мои чувства, и это самое важное. Я смогу уйти спокойно, сознавая, что ты не дашь исчезнуть памяти обо мне. Милый мальчик, ты будешь моим литературным душеприказчиком. Есть некоторые отрывки, написанные мной...

— Книга о демократии? — спросил Филип, ожидая, что ему предложат закончить величайший труд на эту тему, который когда-либо был задуман. Ответ отца снял бремя с его души.

— Нет, не это, — поспешно ответил мистер Куорлз. — Пока существуют только материалы к книге. И значительная часть их даже не на бумаге. У меня в голове. Собственно говоря, я как раз собирался попросить тебя, чтобы все заметки к большой книге были уничтожены. Без всякого просмотра. Все это — беглые заметки, понятные только мне. — Мистер Куорлз вовсе не стремился к тому, чтобы пустота его регистраторов и обилие незаполненных карточек в его картотеке были обнаружены и навлекли на него посмертное осуждение. — Все это должно быть уничтожено, понимаешь?

Филип не возражал.

— Я хотел доверить тебе, милый мальчик, — продолжал мистер Куорлз, — собрание фрагментов более интимного характера. Размышления о жизни, воспоминания о пережитом. Знаешь, всякое такое...

Филип кивнул:

— Понимаю.

— Я начал заносить их на бумагу уже давно, — сказал мистер Куорлз. — «Воспоминания и размышления за пятьдесят лет» — так можно будет озаглавить книгу. В моих записных книжках — масса материала. А в последние дни я пользовался этим. — Он постучал по диктофону. — Знаешь, во время болезни много думаешь. — Он вздохнул. — И серьёзно думаешь.

— Разумеется, — согласился Филип.

— Если хочешь послушать... — И он показал на диктофон. Филип кивнул. Мистер Куорлз привёл аппарат в готовность.

— Это даст тебе представление о моих заметках. Мысли и воспоминания. Готово. — Он подвинул аппарат через стол; при этом клочок бумаги упал на пол. Он лежал на ковре, исчерченный по всем направлениям: головоломка. — А теперь — слушай.

Филип стал слушать. Раздался скребущий звук, а потом кукольная пародия на голос его отца произнесла:

— Ключ к проблеме пола: страсть священна, она есть проявление божества. — И, без паузы или перехода, только немного другим голосом: — Самое печальное явление в политике — это легкомыслие политических деятелей. Встретив Асквита ²²⁸ однажды за обедом, не помню где, я воспользовался случаем и стал убеждать его в необходимости отменить смертную казнь. Один из самых больных вопросов современности. А он в ответ предложил мне сыграть в бридж. Мера длины, шесть букв: вершок. Утончённые люди не живут в свинных хлевах и не могут долго заниматься политикой и делами. Есть прирождённые эллины и прирождённые миссис Гранди. Я никогда не разделял высокого мнения толпы о Ллойд Джордже. Каждый человек рождается с правом на счастье; но каким он подвергается преследованиям, когда пытается воспользоваться своим правом!

²²⁸ Генри, Герберт, первый граф Оксфорд и Асквит (1852-1928) — премьер-министр Великобритании в 1908-1916 гг.

Бразильский аист, шесть букв: жабиру. Истинное величие обратно пропорционально немедленному успеху. Ах, вот и ты!.. — снова раздался скребущий звук.

— Да, теперь я вижу, в каком все это духе, — сказал Филип, поднимая глаза. — А как остановить эту штуку? Ага, вижу. — Он остановил аппарат.

— Столько мыслей приходит мне в голову, когда я лежу здесь, — сказал мистер Куорлз, бросая слова вверх, точно обращаясь к парящему над ним самолёту. — Такое богатство! Я не мог бы запечатлеть их все, не будь этого аппарата. Замечательно! Просто замечательно!

XXXIII

Элино́р успела дать телеграмму с вокзала. Когда она приехала, на станции её ждала машина.

— Ну, как он? — спросила она шофёра.

Но Джекстон не мог сказать ничего определённого: он не знал, в глубине души он был уверен, что эти богачи опять подняли шум из-за пустяков, как они делают всегда, особенно когда дело касается их детей.

Они ехали к Гаттендену. Вид Чилтернских гор в спелом вечернем свете был так невозмутимо-прекрасен, что Элино́р почувствовала себя гораздо спокойней и даже пожалела, что не осталась до последнего поезда. Тогда она смогла бы встретиться с Уэбли. Но ведь она решила, что, по существу, она даже довольна, что не встретится с ним. Но можно одновременно и жалеть, и быть довольным. Проезжая мимо северных ворот парка, она сквозь решётку мельком увидела колясочку лорда Гаттендена, стоявшую почти у самых ворот. Осел остановился и щипал траву у дороги; вожжи свободно висели, а маркиз был настолько погружён в изучение толстого фолианта в красном сафьяновом переплёте, что даже забыл править. Машина промчалась мимо; но вид этого старика, сидящего с книгой в коляске, запряжённой серым осликом, в той же позе, в какой она видела его много раз, живущего размеренной, не знающей перемен жизнью, подействовал на неё так же успокоительно, как безмятежная прелесть буков и папоротников, золотисто-зеленого переднего плана и фиалковой дали.

И вот наконец усадьба! Старый дом, казалось, дремал в закатном свете, как греющееся на солнышке животное; казалось, слышно было его мурлыканье. Лужайка была похожа на дорогой зелёный бархат; и в безветренном воздухе огромная веллингтония была полна строгого достоинства, как старый джентльмен, присевший немного подумать после сытного обеда. Не может быть, чтобы здесь произошло какое-нибудь несчастье. Она выпрыгнула из машины и побежала прямо наверх в детскую. Фил лежал в постели неподвижно, закрыв глаза. Когда Элино́р вошла, мисс Фулкс, сидевшая возле него, повернулась, встала и пошла ей навстречу. Достаточно было взглянуть на её лицо, чтобы убедиться, что сине-золотое спокойствие пейзажа, дремлющий дом, маркиз и его ослик — что все они лгали, когда успокаивали её. «Все хорошо, — казалось, говорили они, — все идёт так же, как всегда». Но мисс Фулкс была бледна и взволнованна, точно ей явилось привидение.

— В чем дело? — прошептала Элино́р, к которой сразу вернулась вся её тревога. И раньше, чем мисс Фулкс успела ответить, она добавила: — Он спит? — «Если спит, — подумала она, — это хороший признак; вид у него такой, точно он заснул».

Но мисс Фулкс покачала головой. Это движение было излишним. Едва Элино́р успела задать вопрос, как мальчик вздрогнул всем телом под простыней. Его лицо исказилось от боли. Он тихо и Жалобно простонал.

— У него очень болит голова, — сказала мисс Фулкс. В её глазах застыло выражение ужаса и страдания.

— Подите отдохните, — сказала Элино́р. Мисс Фулкс нерешительно покачала головой.

— Я хотела бы быть полезной...

— Вы будете более полезной, когда отдохнёте, — настаивала Элино́р. Она увидела, что

губы мисс Фулкс дрожат, а на глазах заблестели слезы. — Идите, — сказала она и сочувственно пожала ей руку.

Мисс Фулкс повиновалась с неожиданной поспешностью. Она боялась расплакаться тут же, в комнате.

Элино́р села у постели. Она взяла маленькую ручку, лежавшую на отвёрнутой простыне, она ласково и нежно провела пальцами по светлым волосам мальчика.

— Спи, — шептала она, и её пальцы ласкали его, — спи, спи.

Но мальчик продолжал вздрагивать, и его лицо то и дело искажалось от внезапной боли; он мотал головой, точно пытаясь стряхнуть что-то, причинявшее ему боль; он тихонько и жалобно стонал. И, склонившись над ним, Элино́р почувствовала, как её сердце сжимается в груди, как рука хватает её за горло и душит.

— Мой малютка, — говорила она, точно умоляя его не страдать, — мой малютка.

И она ещё крепче сжимала маленькую ручку, она плотнее прижимала ладонь к его горячему лбу, словно стараясь утишить боль или по крайней мере придать вздрагивающему тельцу силы для борьбы с болью. Вся её воля приказывала болезни выйти из него — перейти из него через её пальцы в её собственное тело. Но он по-прежнему беспокойно ворочался на постели, поворачивая голову то на одну сторону, то на другую, то свёртываясь калачиком, то судорожно выпрямляясь под простыней. И по-прежнему возвращалась внезапная острая боль, и на лице изображалось страдание, а из раздвинутых губ снова и снова исходил тихий жалобный стон. Она поглаживала его лоб, она шептала нежные слова. И это было все, что она могла сделать. Сознание собственной беспомощности душило её. Незримые руки с ещё большей силой сжимали её горло и сердце.

— Как ты его нашла? — спросила миссис Бидлэйк, когда её дочь спустилась вниз.

Элино́р ничего не ответила и отвернулась. От этого вопроса слезы подступили к её глазам. Миссис Бидлэйк обняла её за талию и поцеловала. Элино́р спрятала лицо на плече матери. «Ты должна быть сильной, — повторяла она себе. — Ты не должна плакать, не должна поддаваться. Будь сильной, чтобы помочь ему». Её мать крепче сжала её. Её близость успокаивала Элино́р, давала ей желанную силу. Она собрала всю свою волю и, глубоко вобрав воздух, проглотила комок в горле. Она подняла глаза и благодарно улыбнулась матери. Её губы все ещё вздрагивали; но воля победила.

— Я глупая, — сказала она извиняющимся тоном. — Но я ничего не могла сделать. Так ужасно видеть, как он страдает. И не уметь помочь. Это ужасно. Даже когда знаешь, что в конце концов все обойдётся благополучно.

Миссис Бидлэйк вздохнула.

— Ужасно, — как эхо повторила она, — ужасно, — и закрыла глаза, обдумывая создавшееся затруднительное положение. Обе женщины молчали. — Кстати, — сказала она, снова открывая глаза, — тебе следует обратить внимание на мисс Фулкс. Я не вполне уверена, что она всегда оказывает на мальчика хорошее влияние.

— Влияние? Мисс Фулкс? — От удивления Элино́р широко раскрыла глаза. — Но она самая милая, самая добросовестная...

— Ах, нет, не то! — поспешно сказала миссис Бидлэйк. — Я имею в виду её влияние на его художественный вкус. Когда я пошла позавчера в детскую, я увидела, как она показывает Филу такие ужасно вульгарные картинки с изображением собаки.

— Бонзо? — спросила Элино́р.

— Да, Бонзо. — Она произнесла это имя с некоторым отвращением. — Если ему нужны картинки из жизни животных, так ведь есть чудесные репродукции персидских миниатюр из Британского музея. Так легко испортить вкус ребёнку... Элино́р! Что с тобой, дорогая!

Элино́р внезапно и неудержимо начала смеяться. Смеяться и плакать, неудержимо. С одним горем она способна справиться. Но горе в сочетании с Бонзо — это было невыносимо. Что-то оборвалось внутри её, и её рыдания смешались с неистовым, болезненным, истерическим смехом.

Миссис Бидлэйк беспомощно поглаживала её по плечу.

— Дорогая! — повторяла она. — Элиноор! Пробуждённый от беспокойной и полной кошмаров дремоты, Джон Бидлэйк свирепо закричал из библиотеки.

— Перестаньте кудахтать, — приказал сердито-жалобный голос, — ради Создателя! Но Элиноор не могла перестать.

— Гогочут, как гусыни, — ворчал про себя Джон Бидлэйк. — Над какой-нибудь идиотской шуткой. А тут человек болен...

— А теперь, ради Бога, — грубо сказал Спэндрелл, — возьмите себя в руки.

Иллидж прижал платок к губам: он боялся, что его стошнит.

— Пожалуй, я прилягу на минутку, — прошептал он. Когда он попробовал идти, он почувствовал, что ноги у него не движутся. Он тащился к дивану, как паралитик.

— Вам необходим глоток спиртного, — сказал Спэндрелл. Он подошёл к буфету. Там стояла бутылка бренди. Из кухни он принёс стаканы. Он налил с четверть стакана бренди. — Вот. Пейте. — Иллидж взял стакан и сделал глоток. — Можно подумать, что мы плывём через Ла-Манш, — с угрюмой усмешкой сказал Спэндрелл, наливая себе бренди. — «Этюд в зелёных и рыжих тонах» — так озаглавил бы Уистлер ваш портрет. Яблочко-зелёный. Мшисто-зелёный.

Иллидж посмотрел на него, но сейчас же отвернулся, не в силах выдержать жёсткий взгляд этих презрительных серых глаз. Никогда раньше не знал он такой ненависти, какую теперь испытывал к Спэндреллу.

— Не говоря уже о лягушачье-зеленом, тинисто-зеленом, мокротно-зеленом, — продолжал тот.

— Ах, заткнитесь! — воскликнул Иллидж голосом, в котором снова появилась звучность и который почти не дрожал. Насмешка Спэндрелла успокоила его нервы. Ненависть, подобно бренди, действует подбадривающе. Он ещё глотнул жгучей жидкости. Наступило молчание.

— Когда вы оправитесь, — сказал Спэндрелл, ставя на стол пустой стакан, — приходите мне помочь. — Он встал и удалился за перегородку.

Тело Эверарда Уэбли лежало на том же месте, где упало, на боку, с распростёртыми руками. Пропитанный хлороформом носовой платок покрывал лицо. Спэндрелл наклонился и сбросил платок. Тело лежало разбитым виском к полу; сверху раны не было видно.

Засунув руки в карманы, Спэндрелл стоял и смотрел на труп.

«Пять минут назад, — говорил он себе, облакая свои мысли в слова, чтобы с большей полнотой уяснить их значение, — пять минут назад он был живым, у него была душа. Живым, — повторил он, и, нетвёрдо балансируя на одной ноге, другой ногой он прикоснулся к мёртвой щеке, отогнул носком ухо и снова отпустил его. — Душа». И на одну секунду он перенёс центр своей тяжести на ногу, стоявшую на том, что некогда было лицом Эверарда Уэбли. Он снял ногу; отпечаток остался пыльно-серый на белой коже. «Попирать лицо мертвеца», — сказал он себе. Зачем он это сделал? «Попирать». Он снова поднял ногу и надавил каблуком на глазное яблоко, тихонько, осторожно, точно производя опыт поругания. «Как виноград, — подумал он. — Выдавить вино из виноградин». В его власти было раздавить этот глаз, превратить его в бесформенную мякоть. Но довольно. Говоря символически, он уже выжал весь ужас из своего убийства: он вытек изпод его попирающей ноги. Ужас? Но все это дело было не столько ужасным, сколько бессмысленным и отвратительным. Подсунув носок башмака под подбородок, он повернул голову; теперь лицо с полузакрытыми глазами и открытым ртом смотрело в потолок. Над левым глазом и сбоку от него был огромный красный кровоподтёк. На левой щеке виднелась струйка крови, уже высохшей, а на полу, там, где раньше был его лоб, — маленькая лужица, даже не лужица, просто пятно.

— Удивительно мало крови, — сказал Спэндрелл вслух.

При звуке его спокойного голоса Иллидж судорожно вздрогнул.

Спэндрелл вытащил свою ногу из-под подбородка трупа. Голова с лёгким стуком снова

перевернулась набок.

— Полное оправдание булавы епископа Одо, — бесстрастно продолжал он. То, что именно в эту минуту он вспомнил комическую позу этого добросовестного священнослужителя, изображённого на «гобелене Байе»²²⁹, тоже относилось к ужасу всего происшедшего. Легкомыслие человеческого ума! Способность перескакивать с одного на другое! Зло может быть не лишённым известного достоинства. Но бессмыслица...

Иллидж слышал, как он прошёл на кухню. Оттуда донёсся звук наливаемой воды, все более высокий по мере того, как наполнялось ведро. Кран завернули; послышались шаги; ведро было поставлено на пол с металлическим звоном.

— К счастью, — продолжал Спэндрелл, развивая своё последнее замечание. — Иначе не знаю, как бы мы со всем этим справились.

Иллидж с напряжённым вниманием прислушивался к звукам, доносившимся из-за перегородки. Вялый и мясистый стук: очевидно, подняли и уронили руку. Шуршание скользящего по полу мягкого и тяжёлого предмета. Потом плеск воды и такой домашний, скребущий звук: моют пол. И от этих звуков, несравненно более ужасных и многозначительных, чем все грубые и спокойно-циничные слова Спэндрелла, им с новой силой овладела та же дурнота и то же сердцебиение, которые он испытывал, когда мертвец лежал, вздрагивая, у его ног. Он вспоминал, он снова переживал мгновения напряжённого и болезненного ожидания, предшествовавшие страшному событию. Шум машины, въезжавшей задним ходом в тупик, шарканье шагов по ступенькам крыльца, потом стук в дверь, а потом долгая, долгая тишина, наполненная биением сердца и внутренней дрожью, и дурными предчувствиями, оправдательными доводами со ссылкой на революцию и светлое будущее, и праведной ненавистью к угнетению и гнусным богачам. И одновременно нелепые, бессвязные воспоминания об играх в прятки, когда в дни, свободные от занятий, школьники собирались на пустыре среди кустов терновника и можжевельника. «Раз, два, три...»; тот, кто водил, закрывал лицо и принимался считать вслух до двадцати пяти; остальные рассыпались в разные стороны. Ребята забирались в колючий кустарник, прятались в папоротнике. Потом раздавался крик: «Двадцать пять, я иду искать!» И тот, кто водил, отправлялся на поиски. И когда, бывало, сидишь на корточках, стараясь казаться как можно более незаметным, выглядывая и прислушиваясь в ожидании случая домчаться до того места, где был «дом», волнение было таким острым, что возникало непреодолимое желание «сходить кое-куда», хотя каких-нибудь пять минут тому назад все, что надо, было сделано за кустом можжевельника. Нелепые воспоминания! Именно поэтому страшные! В сотый раз он ощупал карман, чтобы убедиться, что склянка хлороформа все ещё там, надёжно закупоренная.

Стук повторился, настойчивый и пугающий, а вместе с ним свист и весёлый возглас (по голосу было слышно, что стучавший улыбается): «Свой!» Иллидж за перегородкой вздрогнул. «Свой!» И, вспоминая об этом, он снова вздрогнул ещё сильнее, ощутив весь стыд, весь ужас и все унижение, которые тогда он не успел почувствовать. Не успел: потому что раньше, чем его сознание сумело охватить все то, о чем говорил этот смеющийся возглас, дверь скрипнула на петлях, раздался стук шагов по половицам, и Уэбли громко произнёс имя Элино́р. (Иллидж вдруг подумал: что он, влюблён в неё, что ли?) «Элино́р!» Последовало молчание. Уэбли заметил записку. Иллидж слышал его дыхание за каких-нибудь два фута от себя, позади ширмы. Потом послышался шорох быстрого движения, оборванное на середине восклицание и внезапный сухой удар, похожий на звук пощёчины, только глуше, мертвенней и в то же время гораздо громче. На какую-то долю секунды наступила тишина, а потом шум падения — или, вернее, не шум, а целый ряд шумов, медленно сменявших один другой: сухой стук колен об пол, шарканье скользящих по гладкому полу

²²⁹ Речь идёт об одном из знаменитейших образцов английской вышивки (а не тканья), выполненном в 1066-1077 гг. для Одо, епископа Байе, единокровного брата Вильгельма Завоевателя. На гобелене изображены сцены из истории нормандского завоевания Британии.

подмётки, заглушённый стук падающего туловища и резкий, жёсткий треск головы о доски. «Живо!» — раздался голос Спэндрелла, и он выскочил из засады. «Хлороформ!» Послушно он намочил носовой платок, он бросил его на дёргающееся лицо. Он снова вздрогнул, он ещё раз глотнул бренди.

Скребущий звук сменился хлопанием мокрой тряпки.

— Готово, — сказал Спэндрелл, появляясь из-за ширмы. Он вытирал руки о пыльную тряпку. — А как наш больной? — добавил он, иронически улыбаясь, пародируя врача у постели пациента.

Иллидж отвернулся. В нем вспыхнула ненависть, вытеснившая на мгновение другие чувства.

— Все в порядке, — коротко сказал он.

— Прохлаждаетесь, пока я делаю грязную работу, — так, что ли? — Спэндрелл швырнул тряпку на стул и принялся спускать отвёрнутые рукава рубашки.

За два часа сердечная мышца сжимается и ослабевает, снова сжимается и ослабевает — всего каких-нибудь восемь тысяч раз. Земля проходит менее одной восьмой миллиона миль по своей орбите. Опунция успевает занять какую-нибудь сотню акров на территории Австралии. Два часа — это почти ничего. Время, достаточное, чтобы прослушать Девятую симфонию и два посмертных квартета, добраться на самолёте из Лондона в Париж, переправить завтрак из желудка в двенадцатиперстную кишку, прочесть «Макбета», умереть от укуса змеи или заработать шиллинг и восемь пенсов подённой работой. Но Иллиджу, который сидел в ожидании рядом с трупом, лежавшим за перегородкой, сидел в ожидании темноты, эти два часа показались вечностью.

— Да вы что, совсем одурели? — спросил Спэндрелл, когда Иллидж предложил уйти сейчас же и оставить ужасный предмет лежать там. — Или вам просто не терпится быть повешенным? — Холодная ироническая усмешка выводила Иллиджа из себя. — Его найдут сегодня же вечером, когда вернётся Филип.

— Но у Куорлза нет ключа, — сказал Иллидж.

— Значит, завтра, как только он отыщет слесаря. Тремя часами позже, когда Элинол объяснит, что она сделала с ключом, полиция постучит в мою дверь. И ручаюсь вам, что в вашу Дверь постучат очень скоро после этого. — Он улыбнулся Иллиджу, который отвёл глаза в сторону. — Нет, — продолжал Спэндрелл, — Уэбли нужно убрать отсюда. И сделать это будет проще простого — ведь его машина здесь; нужно только дождаться, пока стемнеет.

— Но ведь стемнеет только через два часа. — Иллидж говорил сердито и в то же время жалобно.

— Ну и что же?

— Да ведь... — начал Иллидж, но сейчас же сдержался: он понял, что, если ответит искренне, ему придётся сказать, что он попросту боится остаться здесь на два часа. — Ладно, — сказал он. — Останемся.

Спэндрелл взял серебряную шкатулку с сигаретами, открыл её и понюхал.

— Пахнет приятно, — сказал он. — Закуривайте. — Он пододвинул шкатулку к Иллиджу. — И здесь масса книг. И «Таймс», и «Нью стейтсмен», и даже последний номер «Вог». Прямо-таки приёмная зубного врача. И мы можем приготовить себе чаю.

Ожидание началось. Один удар сердца следовал за другим. За каждую секунду земля проходила двадцать миль своего пути, и опунция завоёвывала ещё полтораста квадратных ярдов австралийской территории. За перегородкой лежал труп.

Тысячи и тысячи миллионов микроскопических и разнородных особей собрались вместе, и произведением их взаимной зависимости, их взаимной вражды была человеческая жизнь. Их колонией, их живым ульем был человек. Улей умер. Но в ещё не развеявшейся теплоте многие из составлявших его особей продолжали жить; скоро и они погибнут. А тем временем невидимые армии сапрофитов уже начали своё вторжение, не задерживаемые ничем. Они будут жить среди отмерших клеток, будут расти и размножаться бешеным темпом, и от их роста и размножения разрушится вся химическая структура тела, распадутся

сложные соединения вещества; а когда они закончат свою работу, несколько фунтов угля, несколько кварт воды, немного извести, ещё меньше фосфора и серы, щепотка железа и кремния, пригоршня смешанных солей — это будет все, что останется от стремления Эверарда Уэбли к власти и его любви к Элинор, от его мыслей о политике и воспоминаний детства, от его умения фехтовать и ездить верхом, от мягкого, сильного голоса и неожиданно озаряющей лицо улыбки, от его восхищения Мантеней²³⁰, его неприязни к виски, его нарочитых, наводящих страх припадков бешенства, его привычки поглаживать подбородок, его веры в Бога, его неспособности правильно насвистывать мотив, его непоколебимых решений и его знания русского языка.

Иллидж переворачивал страницы объявлений в «Бог». Молодая дама в меховой шубке за двести гиней влезала в автомобиль; на противоположной странице другая молодая дама, весь туалет которой состоял из одного полотенца, вылезала из ванны с «солями от полноты» доктора Вербюргена. Далее следовал натюрморт из флаконов с духами «*Songe negre*» и «*Relent d'amour*»²³¹, последними новинками фирмы.

На следующих трех страницах красовались имена Уорта, Ланвэна и Пату. Потом шло изображение молодой дамы в резиновом бандаже, смотрящей на себя в зеркало. Несколько молодых дам любовались надетым на них нижним бельём из бельёвого отделения Крабба и Лашингтона. Против них другая молодая дама полулежала на кушетке в институте красоты мадам Адрена, а руки массажистки удаляли угрожавший красавице двойной подбородок. Далее следовал натюрморт из металлических пружин и резиновых валиков, предназначенных для борьбы с излишним жиром у молодых дам, и другой натюрморт из баночек и скляночек с притираниями для защиты их лиц от повреждений, наносимых временем и непогодой.

«Революция! — бормотал про себя Иллидж, листая страницы. — Преступно!» И он нагнетал в себе негодование, он прямо-таки лелеял его. Гнев был и способом отвлечься, и оправданием. Обрушивая негодование на бездушие и развращённость плутократии, он мог в какой-то мере забыться и в чем-то оправдать в собственных глазах то ужасное, что только что совершилось. Тело Уэбли лежало за ширмой. Но ведь есть женщины, которые платят по двести гиней за меховую шубку! Двести гиней! Его дядя Джозеф считал бы себя счастливым, если бы смог заработать, сапожничая, такую сумму за полтора года. А духи по 25 шиллингов за малюсенький флакончик, которые они покупают! Он вспомнил, как его братишка Том заболел воспалением лёгких после гриппа. Кошмар! А когда он стал поправляться, доктор рекомендовал ему поехать на море на несколько недель. Но они не могли себе этого позволить. С тех пор у Тома так и остались слабые лёгкие. Теперь он работает на автозаводе (делая машины для тех самых сучек, что покупают себе шубки за двести гиней); Иллидж оплатил его обучение в техникуме — заплатил за то, вспоминал он, растравляя свой гнев, чтобы парень получил право стоять по восемь часов в сутки перед фрезерным станком. Воздух Манчестера был вреден для Тома. Про него, беднягу, не скажешь, что ему нужно сгонять избыточный жир. Прожорливые свиньи! Почему они не могут заняться полезной работой, вместо того чтобы растирать свои животы и ляжки? От работы у них мигом сошёл бы всякий жир. Если бы они поработали, как его мать... У неё не было избытка жира, и ей не нужны были металлические пружины, резиновые бандажы и ванны с «солями от полноты».

Он с негодованием думал о бесконечной скуке домашней работы. День за днём, год за годом застилать кровати, чтобы их вновь расстлали. Готовить, чтобы наполнить вечно пустые желудки. Мыть посуду, которая будет вновь испачкана за очередной трапезой. Скоблить полы, чтобы их вновь осквернили заляпанные грязью ботинки. Латать и штопать,

²³⁰ Мантеня, Андреа (1431-1506) — итальянский художник раннего Возрождения.

²³¹ Негритянский сон» и «Запашок любви» (фр.).

готовя место для новых дыр. Это был сизифов труд, работа Данаид, безнадежная и нескончаемая (если не говорить о смерти), не будь он в состоянии посылать ей два фунта в неделю из своей зарплаты. Теперь она могла нанять прислугу на самую черную работу. Но все равно она работала столько, что не нуждалась ни в каких резиновых бандажах! Что за жизнь! А в мире меховых шубок и *Songe negre* они ещё жалуются на скуку и усталость, им ещё приходится ложиться в санаторий для лечебного отдыха. Если бы они хоть чуть-чуть пожили её жизнью! А может, им когда-нибудь, с надеждой подумал он, придётся пожить такой жизнью, даже здесь, в Англии.

Иллидж с удовлетворением думал о бывших офицерах царской армии, превратившихся теперь в таксистов и рабочих; о бывших графинях, содержащих ресторанчики, кабаре и шляпные магазины; обо всех бывших богачах России, разбросанных ныне по всему миру, от Харбина и Шанхая до Рима, Лондона и Берлина, обанкротившихся, униженных, доведённых до рабского состояния рядовых людей, тех самых людей, за счёт которых они когда-то паразитировали. Это прекрасно. Так им и надо. И, может быть, это окажется возможным и здесь тоже! Но здесь они сильны, все эти страдающие от ожирения и одетые в меховые шубки; они многочисленны, они составляют организованную армию. Однако армия эта потеряла вождя. Он получил по заслугам. Воплощение животности и плутократии, он лежит за ширмой. Его рот был открыт и лицевые мускулы дёргались, пока их не покрыл носовой платок с хлороформом. Иллидж стал снова разглядывать — в надежде, что негодование отвлечёт его и принесёт чувство оправданности, — изображение молодой дамы в шубке за двести гиней, изображение молодой дамы, выходящей, стыдливо прикрывая свою наготу полотенцем, из ванны с солями от ожирения. Шлюхи и обжоры! Они принадлежат к тому классу, за который боролся Уэбли. Защитник всего гнусного и подлого, он получил по заслугам, он...

— Господи Боже мой! — вдруг воскликнул Спэндрелл, поднимая глаза от книги. Его голос, прозвучавший в молчании, заставил Иллиджа вздрогнуть от непреодолимого ужаса. — Я совсем забыл. Они ведь, кажется, коченеют, правда? — Он взглянул на Иллиджа. — Я хочу сказать — трупы.

Иллидж кивнул. Он глубоко вздохнул и усилием воли заставил себя успокоиться.

— Как же мы тогда засунем его в автомобиль? — Спэндрелл вскочил, быстро вышел из-за ширмы и скрылся. Иллидж услышал щёлканье замка входной двери. Внезапный страх охватил его: Спэндрелл сбежит, оставит его взаперти с трупом.

— Куда вы? — закричал он и стремительно бросился за ним в погоню. — Куда вы? — Дверь была открыта, Спэндрелла не было видно, а тот лежал на полу, с непокрытым лицом, разинутым ртом, и глаза его таинственно и многозначительно глядели, словно из бойниц, сквозь полузакрытые веки. — Куда вы? — Голос Иллиджа перешёл почти в вопль.

— Из-за чего столько волнений? — спросил Спэндрелл, когда Иллидж появился на крыльце, бледный и с отчаянием в глазах. Стоя у машины Уэбли, он старался отстегнуть плотно натянутый брезент, покрывавший всю ту часть открытого кузова, которая находилась позади передних сидений. — Эту штуковину невероятно трудно отстегнуть.

Иллидж засунул руки в карманы и сделал вид, будто только праздное любопытство привело его на крыльцо.

— Что вы делаете? — небрежно спросил он.

Спэндрелл дёрнул ещё раз; брезент наконец отстегнулся, и край его свободно повис вдоль борта машины. Он отвернул его и заглянул внутрь.

— Слава Богу, пусто, — сказал он и, растопырив пальцы, взял несколько воображаемых октав на борту кузова. — В ширину, скажем, четыре фута, — произнёс он, — и в длину примерно столько же. Из них половина занята сиденьем. От крыши до пола — два с половиной фута. Одним словом, места вполне достаточно, чтобы свернуться в клубочек и чувствовать себя очень удобно. А если он окоченеет? — Он вопросительно посмотрел на Иллиджа. — Сюда можно поместить человека, но не статую.

Иллидж кивнул. Последние слова Спэндрелла напомнили ему насмешливое замечание

леди Эдвард об Уэбли: «Он хочет, чтобы с ним обращались как с его собственным гигантским памятником, воздвигнутым посмертно, — вы понимаете, что я хочу сказать?»

— Нам необходимо действовать быстро, — продолжал Спэндрелл, — пока он ещё не окоченел. — Он снова натянул брезент и, положив руку на плечо Иллиджа, тихонько втолкнул его в дом. Дверь захлопнулась за ними. Они остановились перед телом. — Нам придётся согнуть ему колени, а руки прижать к бокам.

Он наклонился и прижал одну из рук Уэбли к боку. Когда он отпустил её, она приняла прежнее положение. «Как марионетка с эластичными суставами, — подумал Спэндрелл. — Гротескно и совсем не страшно: ничего трагического — просто скучно и даже смешно. В этом-то и заключается весь ужас, что все это (даже это) похоже на скверную и плоскую остроту».

— Нужно найти верёвку, — сказал он, — а то руки и ноги не будут держаться на месте. — Все это немного напоминало те случаи, когда приходится самостоятельно чинить водопровод или устраивать что-нибудь у себя на даче — занятие неприятное и глупое.

Они обыскали весь дом. Верёвки нигде не было. Им пришлось удовлетвориться тремя бинтами, которые Спэндрелл нашёл среди аспирина и йода, борной кислоты и лакричного порошка в аптечке, висевшей в ванной.

— Держите руки, пока я буду связывать, — распорядился Спэндрелл.

Иллидж повиновался. Ощущение холода от этих мёртвых рук, касавшихся его пальцев, наполнило его ужасом; он снова почувствовал себя плохо, снова начал дрожать.

— Готово! — сказал Спэндрелл, выпрямляясь. — А теперь — ноги. Какое счастье, что мы вовремя спохватились!

«Как с его собственным памятником». Эти слова преследовали Иллиджа. «Посмертно», «Посмертно»... Спэндрелл согнул одну из ног так, что колено почти прикоснулось к подбородку.

— Подержите.

Иллидж схватил ногу за щиколотку; носки были серые в белую полоску. Спэндрелл отпустил ногу, и тотчас Иллидж почувствовал неожиданный и очень сильный толчок. Мертвец пытался дать ему пинка. Чёрные пустоты возникали перед его глазами, проедаая дыры в окружающем материальном мире. И сам материальный мир закачался и поплыл вокруг краёв этих межзвёздных пустот. Тошнота подступила к горлу, невероятно кружилась голова.

— Послушайте, — начал он, повёртываясь к Спэндреллу, который, сидя на корточках, срывал обёртку с другого бинта. Потом, закрыв глаза, он отпустил ногу. Она выпрямилась, как согнутая пружина, и её носок ударил по плечу Спэндрелла. Выведенный из неустойчивого равновесия, Спэндрелл растянулся на полу.

Спэндрелл поднялся.

— Вы что, совсем одурели? — накинулся он на Иллиджа. Но гнев, вызванный внезапным испугом, быстро прошёл. Он коротко рассмеялся. — Нам только в цирке выступать, — сказал он. Мало того, что это было вовсе не трагично, это была клоунада.

К тому времени, когда они кончили связывать тело, Иллидж понял, что больные лёгкие Тома и шубки за двести гиней, избыточный жир и пожизненное рабство его матери, богатство и бедность, эксплуатация и революция, справедливость, возмездие, негодование — что все это не стояло ни в какой связи с этими полузакрытыми, остекленевшими, таинственно смотрящими глазами. Не стояло ни в какой связи и совершенно не относилось к делу.

Филип обедал один. Перед его тарелкой бутылка столового вина и графин с водой поддерживали открытую книгу. Он читал за едой, пережёвывая пищу. Это была книга Бастиана²³² «О мозге». Пожалуй, она не слишком современна, но более подходящей книги

²³² Бастиан, Адольф (1826-1905) — немецкий антрополог и врач.

для вагонного чтения он не смог найти в библиотеке отца.

Доедая рыбу, он читал об одном ирландском джентльмене, страдавшем парафазией. Случай был настолько замечателен, что он отодвинул тарелку и, вынув записную книжку, немедленно сделал в ней запись. Доктор предложил пациенту прочесть вслух параграф из устава Дублинского Тринити-колледжа. «Колледж имеет право экзаменовывать или не экзаменовывать по своему усмотрению каждого лицензиата до его принятия в колледж». Пациент прочёл: «Ехал грек через раву раву ораву дордовить или Господи помилуй покороново меново мордокилица заживо бендила до мекарного какамбукара». Замечательно! — сказал себе Филип, переписывая последнее слово. Какой стиль! Какая величественная красота! Богатство и звучность первой фразы! «Ехал грек через раву раву ораву...» Он повторил её про себя. «Я поставлю её на титульном листе моего нового романа, — написал он. — Эпиграф: текст всей проповеди». Шекспир только упоминал о сказках, рассказанных глупцом²³³, а тут глупец сам говорил, и более того — говорил, как Шекспир. «Последнее слово о жизни», — добавил он.

В «Квинс-Холле» Толли начал с «Borborgmes symphoniques»²³⁴ Эрика Сати. Филип нашёл, что эта музыка забавна, но не слишком. Часть слушателей подбавила веселья, свистом и криками выражая своё неодобрение. Толли, иронически вежливый, раскланивался с более чем обычной грацией. Когда шум стих, он принялся за второй номер своей программы. Это была увертюра «Кориолан»²³⁵. Толли гордился своим ортодоксальным вкусом и умением исполнять любую вещь. «Но Боже мой, — подумал Филип, слушая, — как плохо удаётся ему настоящая музыка! Впечатление такое, точно он стыдится эмоций Бетховена и просит за них извинения». К счастью, «Кориолана» не мог испортить даже Толли. Музыка оставалась героически прекрасной, трагической и величественной, несмотря на все его усилия.

Затихли последние звуки, в которых Бетховен выразил непобедимое величие человека и неизбежность, необходимость страдания. В антракте Филип заковылял в бар, чтобы покурить. Чьято рука потянула его за рукав.

— Разоблачённый меломан! — произнёс знакомый голос. Он обернулся и увидел Вилли Уивера, подмигивавшего с выражением одновременно благодушным, ласковым и глуповатым. — Что вы скажете о нашем современном Орфее?

— Если вы имеете в виду Толли, то я считаю, что за Бетховена ему нечего братьяся.

— Немножко слишком лёгок и фантастичен для торжественности старого Людвига? — спросил Вилли.

— Да, пожалуй, — улыбнулся Филип. — Это ниже его.

— Или значительно выше. Торжественность принадлежит допозитивистической эпохе. А Толли в высшей степени современен. Неужели он не понравился вам в этой вещице Сати? Или, — продолжал он, видя, что Филип презрительно пожимает плечами, — или вы считаете, что исполнение было недостаточно реалистичным? — И он закашлял, одобряя собственную остроту.

— Он почти так же современен, как гениальный ирландец, чьи творения я открыл сегодня вечером. — Филип вынул записную книжку и, объяснив, в чем дело, прочёл вслух: — «Ехал грек через раву раву ораву...» — В конце страницы были его замечания, сделанные

²³³ Имеются в виду строки из трагедии У. Шекспира «Макбет» (акт V, сц. 5): «Жизнь — сказка в пересказе // Глупца. Она полна трескучих слов // И ничего не значит» (перевод Б. Пастернака).

²³⁴ «Симфонические борборигмы» (фр.) Эрика Сати. — Имеется в виду музыкальное произведение французского композитора Э. Сати (1866-1925), одного из зачинателей импрессионизма, позднее — конструктивизма в музыке.

²³⁵ Имеется в виду увертюра Бетховена к драме австрийского либреттиста Генриха Иоахима фон Коллина (1772-1812).

час тому назад: «Текст всей проповеди. Последнее слово о жизни». Он не прочёл этого вслух. Сейчас он уже думал совершенно иначе. — Между торжественностью и стилем Сати-Толли такая же разница, — сказал он, — как между уставом Тринити-колледжа и этой какамбукарой.

Он явно противоречил себе. Но не все ли равно?

Иллидж хотел скорее попасть домой и лечь в постель; но Спэндрелл настоял на том, чтобы он провёл по крайней мере час или два в Тэнтемаунт-Хаусе.

— Нужно, чтобы кто-нибудь вас видел, — сказал он. — Иначе вы не сумеете доказать алиби. Я сейчас иду к Сбизе. Там будет человек двадцать, которые присягнут, что видели меня там.

Иллидж подчинился только под угрозой насилия. Он как тяжёлого испытания боялся разговора — даже с таким нелюбопытным, рассеянным, занятым своим делом собеседником, как лорд Эдвард.

— Я не вынесу этого, — повторял он со слезами на глазах. Им пришлось нести тело, связанное в позе ребёнка в утробе матери, спотыкаясь, любовно сжимая его в объятиях, за дверь, вниз по ступенькам на улицу. Единственный газовый фонарь под аркой озарял тупик тусклым зеленоватым светом; однако света было достаточно, чтобы выдать их, если бы кто-нибудь прошёл мимо арки, когда они тащили ношу и поднимали её в автомобиль. Они положили тело лицом вверх на пол; но поднятые колени торчали над бортом автомобиля. Спэндреллу пришлось забраться внутрь и переложить тяжёлое тело на бок, чтобы колени оказались на заднем сиденье. Потом они закрыли дверцы, натянули брезент и плотно прикрепили его.

— Прекрасно, — сказал Спэндрелл. Он взял своего товарища под руку. — Вам бы выпить ещё немножко бренди.

Но бренди не помог: когда они отъехали, Иллидж все ещё дрожал и не оправился от овладевшей им слабости. Возня Спэндрелла с рычагами незнакомой машины тоже отнюдь не способствовала успокоению его нервов. Началось с того, что они с размаху въехали в стену тупика, и раньше, чем Спэндрелл овладел секретом управления, он успел дважды нечаянно остановить мотор. Он облегчил душу, выругавшись несколько раз, и рассмеялся. Но Иллиджу эти мелкие неудачи, задержавшие их на какие-нибудь несколько минут около этого зловещего проклятого дома, казались катастрофами. Его страх, его тревожное нетерпение переходили в истерику.

— Нет, я не могу, я просто не могу, — протестовал он, когда Спэндрелл сказал, что ему следует провести вечер в Тэнтемаунт-Хаусе.

— И все-таки, — сказал тот, — будь я проклят, если вы туда не пойдёте, — и он повернул машину по направлению к Пэлл-Мэлл. — Я подвезу вас до самой двери.

— Ну, это уж слишком!

— А если понадобится, втолкну вас в дом под зад коленом.

— Но я этого не вынесу, я не смогу пробыть там весь вечер.

— Какая чудесная машина, — сказал Спэндрелл, не без ехидства меняя тему. — Удивительно приятно управлять ею.

— Я не вынесу этого, — хныкал Иллидж.

— Кажется, фирма гарантирует сто миль в час по ровной дороге.

Они проехали мимо Сент-Джеймского дворца и свернули на Пэлл-Мэлл.

— Вот мы и приехали, — сказал Спэндрелл, останавливаясь у подъезда. Иллидж покорно вышел, перешёл тротуар, поднялся по лестнице и позвонил. Спэндрелл подождал, пока за ним закрылась дверь, и покотился к Сент-Джеймс-сквер. Двадцать или тридцать автомобилей стояли вдоль решётки. Он заехал в ряд, выключил мотор, вышел из машины и

направился к Пиккадилли. Автобус за пенни довёз его до Черинг-Кроссруд. В конце узкого переулка между фабричными зданиями ярко зеленели в свете фонарей деревья Сохо-сквер. Через две минуты он был в ресторане Сбизы и просил Барлепа и Рэмпиона извинить его за опоздание.

— А, вот и вы, — сказал лорд Эдвард. — Как хорошо, что вы пришли.

Иллидж что-то промямлил, прося извинить его за опоздание. Нужно было встретиться с одним человеком. Деловое свидание. А вдруг, с ужасом подумал он, а вдруг лорд Эдвард спросит его, с каким человеком и по какому делу. Он не будет знать, что ответить; он потеряет всякое самообладание. Но Старик даже не слушал его.

— Боюсь, придётся попросить вас сделать для меня кое-какие вычисления, — сказал он своим низким, невнятным голосом. Математикой лорд Эдвард сумел овладеть вполне прилично, но арифметика никогда не давалась ему. Он так и не научился делать правильно умножение. Что же касается деления многозначных чисел, то за последние пятьдесят лет он даже и не пытался браться за него.

— Все цифры у меня здесь. — Он постучал пальцем по раскрытой записной книжке, лежавшей перед ним на столе. — Это — к главе о фосфоре. Вмешательство человека в круговорот вещества. Помните, мы с вами нашли, сколько P_2O_5 уходит в море вместе со сточными водами? — Он перевернул страницу. — Четыреста тысяч тонн. Вот сколько. Фактически это невозвратимо. Просто выброшено вон. А потом, как дико мы обращаемся с трупами. Три четверти кило пятиоксида фосфора в теле каждого человека! Конечно, вы можете возразить, что мы возвращаем их в землю. — Лорд Эдвард готов был принять любое оправдание, он сам выдвигал возможные возражения, чтобы тут же их опровергнуть. — Но как мы это делаем? — Он разбил все аргументы, он уничтожил своих противников. — Сваливаем трупы все в одно место на кладбище! Как же можно после этого ожидать, чтобы фосфор распределялся равномерно? Конечно, со временем он вернётся в круговорот жизни. Но для нас он потерян. Выведен из оборота. Так вот, если считать три четверти кило P_2O_5 на каждый труп, то при населении земного шара в один миллиард восемьсот миллионов и при смертности в среднем двадцать человек на тысячу, сколько мы в общей сложности возвращаем за год фосфора в землю? Вы умеете делать вычисления, дорогой Иллидж. Решите-ка.

Иллидж сидел молча, закрыв лицо рукой.

— Правда, не нужно забывать, — продолжал Старик, — что многие народы используют мертвецов гораздо рациональнее, чем мы. В самом деле, только у белой расы фосфор выходит из круговорота. У других народов нет некрополей, водонепроницаемых гробов и каменных склепов. Индусы — единственный народ, ещё более расточительный, чем мы. Сжигать тела и бросать пепел в реку! Но индусы все делают по-дурацки. Сжигают, например, коровий навоз, вместо того чтобы возвращать его в землю. А потом ещё удивляются, что половина населения голодает. Для индусов придётся сделать особое вычисление. Правда, у меня ещё нет цифр. А тем временем попробуйте-ка вывести общий итог для всего земного шара. И другой, если вам не трудно, — для белой расы. У меня где-то записаны цифры народонаселения. Причём, разумеется, смертность будет здесь ниже средней для всего мира, по крайней мере в Западной Европе и Америке. Садитесь-ка вот здесь. На этом конце стола найдётся место. — Он освободил край стола. — И вот вам бумага. А вот совсем приличное перо.

— Скажите, — еле слышно проговорил Иллидж, — ничего, если я на минутку прилягу? Я не очень хорошо себя чувствую.

XXXIV

Было почти одиннадцать часов, когда Филип Куорлз появился у Сбизы. Увидев его, Спэндрелл знаком подозвал его к столику, где он сидел с Барлепом и Рэмпионом. Филип, прихрамывая, прошёл через зал и подсел к ним.

— У меня к вам поручение, — сказал Спэндрелл, — и, что ещё важнее, — он порылся в кармане, — у меня ключ от вашего дома. — Он протянул ключ, объясняя, как он попал к нему. Если бы Филип знал, что произошло в его доме сегодня вечером... — Элинор уехала в Гаттенден. Она получила телеграмму. По-видимому, ребёнок не совсем здоров. Она ждёт вас завтра.

— Черт возьми! — сказал Филип. — Но у меня завтра целый ворох дел. А что такое с мальчиком?

— Не указано. Филип пожал плечами.

— Если бы было что-нибудь серьёзное, моя тёща не стала бы посылать телеграмму, — проговорил он, поддаваясь искушению сказать что-нибудь забавное. — Она всегда так. К воспалению обоих лёгких она относится совершенно спокойно и ужасно волнуется по поводу головной боли или расстройства желудка. — Он прервал свою речь, чтобы заказать омлет и полбутылки мозеля. «А ведь в самом деле, — подумал Филип, — у мальчика последнее время был далеко не цветущий вид». Он почти жалел, что поддался искушению. К тому же то, что он сказал, было вовсе не забавным. Стараться быть забавным — это был главный недостаток его как писателя. Его книги стали бы гораздо лучше, если бы он меньше боялся быть скучным. Он погрузился в мрачное молчание.

— Ох уж эти дети! — сказал Спэндрелл. — Стоит с ними связаться...

— И все-таки, должно быть, чудесно иметь ребёнка, — сказал Барлеп с приличной случаю проникновенностью. — Мне часто хочется...

— Но ещё чудесней самому быть ребёнком, — прервал его Рэмпион. — Я хочу сказать, когда человек на самом деле уже взрослый. — Он ухмыльнулся.

— А как вы воспитываете своих детей? — спросил Спэндрелл.

— Стараюсь обращать на них как можно меньше внимания. К сожалению, им приходится ходить в школу. У меня единственная надежда — что они будут учиться скверно. Было бы просто ужасно, если бы из них получились маленькие профессоршечки, начинённые знаниями и выводящие на прогулку, как собачек, свои маленькие абстрактные обобщеньица. Но они, вероятно, такими и станут. Назло мне. Дети все делают назло своим родителям. Не нарочно, разумеется, а бессознательно. Просто потому, что иначе они не могут, потому, что родители слишком далеко зашли в одном направлении, и природа ведёт детей назад, стараясь восстановить равновесие. Да, да, так оно и будет. Эти чертенята станут профессорами. Мерзкими маленькими учёными. Вроде вашего приятеля Иллиджа, — сказал он, обращаясь к Спэндреллу; Спэндрелла при упоминании этого имени передёрнуло, и он сейчас же рассердился на себя за это. — Мерзкие маленькие мозги, изо всех сил старающиеся подавить сердце и внутренности.

Спэндрелл улыбнулся своей многозначительной иронической и несколько театральной улыбкой.

— Юному Иллиджу так и не удалось подавить своё сердце и внутренности, — сказал он. — По крайней мере полностью не удалось.

— Конечно. Да это и никому не удаётся. Единственное, что можно сделать с этими живыми органами, — это превратить их в требуху. А зачем это нужно? Ради вороха идиотских знаний и бессмысленных обобщений.

— Которые сами по себе очень забавны, — сказал Филип, нарушая молчание, чтобы заступиться за интеллект. — Делать обобщения и приобретать знания — одно из приятнейших развлечений. Для меня по крайней мере. — И Филип принялся развивать свою гедонистическую апологию интеллектуальной жизни. — Так зачем же так ополчаться против наших маленьких забав? — закончил он. — Вы ведь не нападаете на гольф, так зачем же нападать на спорт «высоколобых»?

— Но ведь он совершенно бесполезен, — сказал Рэмпион. — Дерево познают по его плодам. Гольф вообще не приносит плодов, а если приносит, то они безвредны или даже полезны. Здоровая печень, например, — прекрасный плод. Тогда как плоды интеллектуализма — Боже мой! — Он скорчил гримасу. — Посмотрите на них. Вся наша

индустриальная цивилизация — вот его плод. Утренние газеты, радио, кино — все его плоды. Танки и тринитротолуол. Рокфеллер и Мунд — тоже плоды. Вот к чему привела организованная система профессионального интеллектуализма, господствовавшая последние двести лет. И после этого вы спрашиваете, почему я не одобряю ваших развлечений! Знаете, откровенно говоря, бой быков и то лучше. Можно ли сравнивать мучения нескольких животных и озверелое состояние нескольких сот зрителей с разрушением, гниением, гибелью всего мира? А ведь именно к этому привели вы, высоколобые, тем, что превратили свои развлечения в профессию.

— Полно, полно, — сказал Филип. — Вы рисуете чересчур мрачную картину. И даже если вы правы, все равно нельзя сваливать на высоколобых ответственность за применение, которое другие люди нашли результатам их деятельности.

— Но ответственность за это несут они. Потому что они всех остальных воспитывают в своих проклятых интеллектуалистских традициях. В конце концов, все остальные — тоже высоколобые, только в другой области. Делец — тот же учёный, только он немножечко глупей настоящего учёного. Он ведёт такую же интеллектуально одностороннюю жизнь, как учёный. Результат такой жизни — внутреннее психологическое вырождение. Плод наших развлечений — это не только внешняя аппаратура нашей индустриальной цивилизации, это также и внутреннее гниение: инфантильность, вырождение, все виды безумия и возврата к первобытному прошлому. Нет, нет, избавьте меня от ваших драгоценных умственных забав. Меньше было бы вреда, если бы вы играли в гольф.

— Но истина? — осведомился Барлеп, хранивший молчание в этом споре. — Как же быть с истиной?

— Действительно, — поддержал его Спэндрелл, — разве её не стоит искать?

— Безусловно стоит, — согласился Рэмпион. — Но не там, где ищут её Филип и его учёные друзья. В конце концов, единственная истина, представляющая для нас ценность и доступная нам, — это истина человеческая. Искать эту истину нужно всем существом, а не какой-то отдельной частью его. Учёные же стремятся к нечеловеческой истине. Конечно, им никогда не удаётся достичь её: ведь даже учёный не может перестать быть человеком. Единственное, что им удаётся, — это отвлечься до некоторой степени от человеческого мира реальностей. Подвергая свои мозги пытке, они получают некоторое смутное представление о вселенной такой, какой её увидел бы нечеловеческий глаз. Со своими квантовыми теориями, волновой механикой, относительностью и так далее они и вправду сумели отойти немножко от человечества. Но скажите, что во всем этом хорошего?

— Если даже откинуть в сторону то, что это забавно, — сказал Филип, — польза тут та, что можно сделать какое-нибудь удивительное открытие, имеющее практический смысл, вроде тайны разложения атома и освобождения бесконечных запасов энергии.

— В результате чего человеческие существа станут окончательными кретинами и рабами машин, — насмешливо закончил Рэмпион. — Знаем мы ваш рай на земле. Но сейчас мы говорим об истине. Та нечеловеческая истина, которую стараются познать своим интеллектом учёные, не имеет ни малейшего отношения к настоящей человеческой жизни. Нашу истину, человеческую истину, можно найти только в процессе самой жизни — полной, разносторонней жизни цельного человека. Результаты ваших забав, Филип, все эти пресловутые космические теории и их практические приложения — все это не имеет ничего общего с единственной нужной истиной. А нечеловеческая истина — мало того, что она никому не нужна, она опасна. Она отвлекает внимание людей от единственно ценной человеческой истины. Она заставляет их фальсифицировать их собственный жизненный опыт, чтобы реальность соответствовала отвлечённым построениям. Например, существует принятая всеми нечеловеческая истина — во всяком случае, в дни моей юности её принимали все, — что внешние признаки не имеют реального существования. Человек, принимающий это всерьёз, отрицает самого себя, разрушает всю ткань своей человеческой жизни. Дело в том, что человеческие существа устроены так, что единственной реальностью обладают для них именно внешние признаки. Отрицая их, человек совершает самоубийство.

— Но ведь в действительности, — сказал Филип, — никто их не отрицает.

— Да, полностью никто не отрицает, — согласился Рэмпион. — Потому что этого нельзя сделать. Никто не может полностью уничтожить все свои ощущения и чувства и при этом остаться в живых. Но можно принизить их после того, как они сослужили свою службу. И по существу, как раз этим занимается огромное большинство интеллигентных и образованных людей: они принижают человека во имя человека. Они руководствуются не теми побуждениями, какими руководствуются христиане, но результат получается один и тот же. Своего рода саморазрушение. Всегда один и тот же, — продолжал он в припадке неожиданного гнева. — Все попытки быть не человеком, а чем-то высшим дают один и тот же результат. Смерть, все равно какая, но смерть. Когда стараешься прыгнуть выше головы, неизбежно убиваешь в себе что-то и делаешься не выше, а ниже себя. Мне так надоела вся эта болтовня о возвышенных стремлениях, о моральном и интеллектуальном прогрессе, о жизни во имя идеалов и все такое прочее. Это ведёт к смерти. Так же неуклонно, как жизнь во имя денег. Христиане, моралисты, утончённые эстеты, блестящие молодые учёные и дельцы, живущие по Смайлсу, — все это жалкие лягушки, которые стараются раздуться в волонтеров чистой духовности, чистого идеализма, чистого практицизма, чистого рационализма, но безнадежно лопаются и превращаются в жалкие останки маленьких лягушечек, да к тому же в гниющие останки. Все это чудовищная нелепость, чудовищная омерзительная ложь. Взять, например, этого вашего вонючку святого Франциска, — повернулся он к Барлепу, который протестующе замотал головой. — Да, вонючку, — настаивал Рэмпион. — Глупый, тщеславный человечишка, который старался раздуться в Иисуса и достиг лишь того, что убил в себе всякий здравый смысл и чувство приличия, лишь того, что превратился в гнусные зловонные останки настоящего человеческого существа. Получать наслаждение от лизания прокажённых! Фу! Какая омерзительная извращённость! Он, видите ли, слишком добродетелен, чтобы целовать женщин; он хочет быть выше таких грубых вещей, как естественное здоровое наслаждение. А результат? Он убивает в себе всякие остатки чувства приличия и превращается в зловонного психопатишку, способного возбуждаться от лизания язв прокажённого. Он не лечил прокажённых — заметьте это, — просто лизал их — для собственного, не для их удовольствия. Какая гадость!

Филип откинулся на спинку стула и рассмеялся. Но Рэмпион яростно накинулся на него.

— Смейтесь, смейтесь, — сказал он. — Но не воображайте, что сами вы лучше. Вы и ваши интеллектуальные учёные друзья. Вы так же убиваете себя, как маньяки христиане. Прочтите вам вашу программу? — Он взял книгу, лежавшую перед ним на столе, и перелистал страницы. — Я как раз наткнулся на это, когда ехал сюда в автобусе. Вот оно. — Он принялся читать, тщательно и чётко произнося французские слова: — «Plus un obstacle materiel, toutes les rapidites gagnees par la science et la richesse. Pas une tare a l'indpendance. Voir un crime de lese-moi dans toute frequentation; homme ou pays; qui ne serait pas expressement voulue. L'energie, le recueuillement, la tension de la solitude, les transporter dans ses rapports avec de vrais semblables. Pas d'amour, peut-etre, mais des amities rares, difficiles, exatees, nerveuses; vivre comme on revivrait en esprit de detachment, d'inquietude et de ravenche»²³⁶. — Рэмпион закрыл книгу и поднял глаза. — Вот ваше кредо, — сказал он Филипу. — Сформулировано Мари Ленерю в тысяча девятьсот первом году. Коротко, ясно, исчерпывающе. И, мой Бог, какой это ужас! Ни тела, ни соприкосновения с материальным миром, ни соприкосновения с человеческими существами — разве только через интеллект, — ни любви...

²³⁶ «Ни одного материального препятствия; вес скорости завоёваны наукой и богатством. Полная независимость. Видеть преступление против себя в общении с любой страной и любым человеком, если это общение не намеренное. Энергия, собранность, напряжённость одиночества; перенести их в отношения с подлинно близким. Может быть, даже не надо любви, только дружба, редкая, трудная, насыщенная, нервная; жить, точно родившись снова, в состоянии отъединенности, тревоги, опустошённости» (фр.) — из дневника французской писательницы Мари Ленерю (1875-1918).

— В *этом* мы несколько ушли вперёд по сравнению с тысяча девятьсот первым годом, — улыбнулся Филип.

— Но не по существу. Вы признали беспорядочные половые общения — только и всего. Но не любовь, не естественное слияние с жизнью, не отказ от рассудочного самоанализа, не полное подчинение инстинкту. Нет, нет. Вы цепляетесь за вашу сознательную волю. Все должно быть всегда *expressément voulu*. И всякая связь между людьми должна быть чисто интеллектуальной... И жить нужно так, чтобы это была не жизнь в мире живых людей, а одинокие воспоминания, мечты и размышления. Бесперывный онанизм, как тот чудовищный шедевр Пруста. Это вы называете возвышенной жизнью. А говоря попросту, это медленное умирание. Очень многозначительно, просто символично то, что эта самая Ленерю была глуха и наполовину слепа. Внешний материальный стигмат внутренней духовной истины. Бедняжка! Её духовность была хоть как-то оправдана. А у других поклонников возвышенной жизни, которые не страдают никакими физическими дефектами, она непростительна. Они искалечили себя сознательно, ради собственного удовольствия. Как жаль, что у них не вырастают материальные горбы и бородавки на носу! Тогда по крайней мере мы сразу знали бы, с кем имеем дело.

— В самом деле, — кивнул Филип и рассмеялся с деланной весёлостью, стараясь скрыть смущение, какое почувствовал при словах Рэмпиона о физических недостатках, — в самом деле. — Никто не должен думать, что его искусственная нога помешала ему отдать должное рассуждениям Рэмпиона о физических уродствах.

Его смех был таким нарочито громким, что Рэмпион вопросительно взглянул на него: в чем дело? Но он не потрудился уяснить себе это.

— Это возмутительная ложь, — продолжал он, — и к тому же ложь дурацкая — все эти рассуждения, что мы, дескать, стали выше людей. Да, дурацкая, потому что она ни на чем не основана. Вы стараетесь стать выше человека, а на самом деле становитесь ниже его. Всегда...

Олдос Хаксли

— Слушайте, слушайте! — сказал Филип. — «Мы ходим по земле, и не нужны нам крылья». — И вдруг он услышал громкий голос своего отца, говорящего: «У меня были крылья, у меня были крылья», он увидел его раскрасневшееся лицо и лихорадочно-розовую пижаму. Смешной и жалкий старик! — А знаете, откуда это? — продолжал он. — Это последняя строка из стихотворения, которое я написал на Ньюдигейтскую премию²³⁷ в Оксфорде, когда мне был двадцать один год. Насколько я помню, тема была «Король Артур». Нечего и говорить, что премии я не получил. Но этот стих хорош.

— Очень жаль, что вы не руководствуетесь им в жизни, — сказал Рэмпион, — вместо того, чтобы распутничать с абстракциями. Но, конечно, никто так не умеет нападать на абстракции, как их поклонник: он по опыту знает, как они способны испортить жизнь. Обыкновенный человек может позволить себе пользоваться ими. Он может позволить себе иметь крылья до тех пор, пока он помнит, что у него есть и ноги. Люди терпят крушение тогда, когда они заставляют себя все время: летать. Они мечтают стать ангелами, а им удаётся стать или кукушками и гусями, или омерзительными коршунами и стервятниками.

— Но ведь это, — сказал Спэндрелл, прерывая долгое молчание, — всего-навсего евангелие животности: вы учите нас вести себя подобно зверям.

— Я учу вас вести себя подобно человеческим существам, — сказал Рэмпион. — А это не одно и то же. К тому же в тысячу раз лучше вести себя подобно зверю — подобно настоящему, честному, неодомашненному животному, — чем выдумывать дьявола и вести себя так, как вёл бы себя он.

Наступило молчание. «А что, если бы я сказал им, — думал Спэндрелл, — а что, если

²³⁷ Премия, учреждённая в 1806 г. в Оксфордском университете антикваром Роджером Ньюдигейтом и присуждаемая ежегодно за лучшую поэму на английском языке.

бы я сказал им, что несколько часов тому назад я бросился из засады на человека и треснул его дубинкой по голове?» Он выпил глоток бренди.

— Нет, — сказал он вслух, — пожалуй, я не уверен в вашей правоте. Вести себя как животное — это значит вести себя как существо, стоящее ниже добра и зла. А для того, чтобы вести себя подобно дьяволу, нужно сначала знать, что такое добро. — И все-таки все это было просто дико, мерзко и отвратительно. Да и к тому же абсолютно глупо: потрясающая бессмыслица. Под оболочкой плода от древа познания добра и зла он нашёл не огонь и яд, а только омерзительную бурю гнильцу и несколько маленьких червячков. — Все, что существует, познаётся только через свою противоположность, — продолжал он, хмурясь в ответ на собственные мысли. — Если есть дьявол, значит, есть Бог.

— Безусловно, — нетерпеливо сказал Рэмпион. — Дьявол, воплощение абсолютного зла, существует лишь постольку, поскольку существует Бог, воплощение абсолютного добра. Ну и что же из этого? Какое отношение это имеет к вам или ко мне?

— Я бы сказал — огромное.

— Это имеет к нам такое же отношение, как то, что этот стол состоит из электронов, или из бесконечного ряда колебаний в неизвестной среде, или из большого количества точек-событий в четырехмерном континууме, или ещё из чего-нибудь, что способны выдумать учёные друзья Филипа. Не больше. То есть фактически это не имеет к нам ни малейшего отношения. Ваш абсолютный Бог и абсолютный дьявол принадлежат к разряду совершенно несущественных для человека фактов. Нам приходится иметь дело только с относительными божками и чертенятами разных времён и народов, с относительным добром и злом индивидуальной казуистики. Все остальное — нечеловечно и к делу не относится; а если вы позволите нечеловеческим абсолютным построениям влиять на себя, вы неизбежно станете или дураком, или злодеем, или тем и другим вместе.

— Что ж, это все-таки лучше, чем делаться животным, — не сдавался Спэндрелл. — Уж лучше я буду дураком или злодеем, чем быком или собакой.

— Никто вас не просит быть быком или собакой, — раздражённо сказал Рэмпион. — Вас просят быть только человеком. Человеком, понятно? Не ангелом и не чёртом. Человек — это акробат на туго натянутой верёвке. Он идёт осторожно, стараясь сохранить равновесие, держа в руках шест, на одном конце которого сознание, интеллект, дух, а на другом — тело, инстинкт и все, что в нас есть бессознательного, земного, непонятного для нас самих. Он старается сохранить равновесие. Это дьявольски трудно. И единственный абсолют, которого он не способен познать, — это абсолют совершённого равновесия. Абсолютность совершённой относительности. С точки зрения разума это парадокс и бессмыслица. Но ведь всякая подлинная, настоящая, живая истина с точки зрения логики — бессмыслица. А с точки зрения живой истины бессмыслицей является именно логика. Выбирайте, что вам больше нравится, — логика или жизнь. Дело вкуса. Некоторые люди предпочитают быть мёртвыми.

«Предпочитают быть мёртвыми». Эти слова, как эхо, отдавались в сознании Спэндрелла. Эверард Уэбли, лежащий на полу, связанный верёвками, как цыплёнок. Предпочитал ли он быть мёртвым?

— И все-таки, — медленно сказал он, — есть вещи, которые всегда остаются абсолютно дурными. Например, убийство. — Он хотел верить, что происшедшее сегодня было не только низким, мерзким, отвратительным, — он хотел верить, что оно было, кроме того, ужасным и трагическим. — Убийство — это абсолютное зло.

— Не более абсолютное, чем все остальное, — сказал Рэмпион. — При некоторых обстоятельствах убийство может быть необходимым, правильным и даже похвальным. Единственное абсолютно злое действие, которое может совершить человек, — это когда он делает что-нибудь в ущерб жизни, в ущерб собственной цельности. Он поступает дурно, если извращает самого себя, фальсифицирует свои инстинкты.

— А, мы опять возвращаемся к зверям, — саркастически произнёс Спэндрелл. — Будьте хищниками, удовлетворяйте свои животные потребности, как только они появятся. И

это — последнее слово человеческой мудрости?

— Что ж, это далеко не так глупо, как вам кажется, — сказал Рэмпион. — Если бы люди удовлетворяли свои инстинктивные потребности только тогда, когда они их действительно испытывают, подобно животным, которых вы так презираете, они вели бы себя в тысячу раз лучше, чем огромное большинство цивилизованных человеческих существ. Естественные потребности и непосредственно возникающие инстинктивные желания никогда не сделали бы людей такими скотами — нет, «скотами» не годится: зачем обижать бедных животных? — такими слишком по-человечески скверными и порочными существами. Такими делают их воображение, интеллект, принципы, традиции, воспитание. Предоставьте инстинкты самим себе, и они не причинят вам никакого вреда. Если бы люди предавались любви только тогда, когда ими овладевает страсть, если бы они дрались только тогда, когда они рассержены или испуганы, если бы они цеплялись за свою собственность только тогда, когда они действительно терпят нужду или их охватывает неудержимое желание чем-нибудь завладеть, — уверяю вас, что тогда мир гораздо больше походил бы на царствие небесное, чем теперь, при господстве христианско-интеллектуально-научного либерализма. Вы думаете, инстинкт создал Казанову, Байрона, леди Кэслмэйн? Нет, инстинкт тут ни при чем: это их похотливое воображение подстёгивало их потребности, порождало желания, которые естественным порядком у них никогда бы не возникли. Если бы донжуаны обоего пола повиновались только своим желаниям, у них было бы очень немного романов. Им приходится искусственно подогревать своё воображение, иначе они не могли бы спать с кем попало и когда попало. То же самое и с другими инстинктами. Если современная цивилизация сходит с ума на почве денег, инстинкт обладания тут ни при чем. Воспитание, традиции, моральные принципы искусственно возбуждают его. Жадность к деньгам появляется у людей только оттого, что их убеждают, будто эта жадность естественна и благородна, будто заниматься торговлей и промышленностью есть добродетель, будто убеждать людей покупать то, что им вовсе не нужно, есть проявление христианского милосердия. Инстинкт обладания никогда не был настолько сильным, чтобы заставлять людей гоняться за деньгами с утра до вечера всю жизнь. Воображению и интеллекту приходится все время подстёгивать его. А подумайте о войне. Она не имеет ничего общего с произвольно возникающим воинственным духом. Чтобы люди начали воевать, их нужно принуждать к этому законом, да ещё подстёгивать при помощи пропаганды. Вы сделаете для мира значительно больше, если посоветуете людям слушаться непосредственных боевых инстинктов, чем если займётесь организацией каких угодно Лиг Наций.

— Вы сделаете для мира ещё того больше, — сказал Барлеп, — если посоветуете людям следовать Христу.

— Нет, неправда. Заставлять людей следовать Христу — это значит заставлять их быть сверхлюдьми. А на практике это приводит к обратному результату: они становятся меньше, чем людьми. Заставлять людей буквально следовать учению Христа — это значит заставлять их вести себя подобно идиотам, а в конечном счёте — подобно дьяволам. Примеров этому — сколько угодно. Возьмите старика Толстого: великий человек, намеренно ставший идиотом оттого, что он пытался быть больше, чем великим человеком. Или вашего гнусного святого Франциска. — Он повернулся к Барлепу. — Ещё один идиот. Но уже на грани превращения в дьявола. Следующий этап — монахи Фиваиды. Они перешли грань. Они дошли до стадии полного превращения в дьяволов. Самоистязание, разрушение всего разумного, прекрасного и живого — такова была их программа. Они пытались следовать Иисусу и стать сверхлюдьми; а все, что им удалось, — это стать воплощением чисто дьявольской разрушительной силы. Веди они себя естественно, в соответствии с инстинктами, они остались бы вполне порядочными людьми. Но нет, им обязательно хотелось быть больше, чем людьми. В результате они стали дьяволами. Сначала идиотами, а потом дьяволами, глупыми дьяволами. Фу! — Рэмпион скорчил гримасу и с отвращением покачал головой. — И подумать только, — возмущённо продолжал он, — что мир кишит подобными тварями! Конечно, они не заходят так далеко, как святой Антоний с его демонами или святой

Франциск с его полуидиотами. Но по существу они такие же. Разница только в степени. И всех их извратило одно: все они старались быть сверхчеловечными. Сверхчеловечно религиозными, сверхчеловечно нравственными, сверхчеловечно интеллектуальными и учёными, сверхчеловечно работоспособными и узкопрофессиональными, сверхчеловечно деловыми, сверхчеловечно алчными стяжателями, сверхчеловечно развратными донжуанами, сверхчеловечно рассудочными индивидуалистами даже в любви. Все извращенцы. Извращены в сторону добра или зла, в сторону духа или плоти, но всегда прочь от нормы, всегда прочь от человечности. Мир — это убежище извращённых идиотов. За нашим столом их четверо. — Он, ухмыляясь, посмотрел вокруг. — Извращённый Иисусик. — Барлеп всепрощающе улыбнулся. — Извращённый интеллектуальный эстет.

— Благодарю за комплимент, — сказал Филип.

— ...Извращённый моралист. — Он повернулся к Спэндреллу. — Прямо-таки маленький Ставрогин. Простите, Спэндрелл, но на самом деле вы — самый большой дурак из всех. — Он внимательно посмотрел ему в лицо. — Вы улыбаетесь, как все трагические литературные герои, вместе взятые, но ничего не выходит. Под вашей улыбкой так легко увидеть простодушного дзани ²³⁸.

Спэндрелл откинул голову назад и беззвучно рассмеялся. Если бы он знал, подумал он, если бы он знал... Но если бы он знал, разве он считал бы его меньшим дураком?

— Смейтесь, смейтесь, дружище Достоевский. Но разрешите вам сказать, что идиотом следовало назвать вовсе не Мышкина, а Ставрогина. Он неизмеримо больший дурак и куда более извращён.

— А к какому виду дураков и извращенцев принадлежит четвёртый из сидящих за нашим столом? — спросил Филип.

— В самом деле, к какому? — Рэмпион покачал головой. Его тонкие шелковистые волосы развевались. Он улыбнулся. — Извращённый проповедник. Извращённый Иеремия. Извращённый плакальщик над проклятым старым миром. И главное — извращённый болтун. — Он встал. — А посему разрешите с вами попрощаться, — сказал он. — Нельзя было говорить так, как я: так не по-человечески. Это возмутительно. Мне стыдно. Но все несчастье в том, что, когда громишь нечеловеческое и недочеловеков, невольно сам становишься недочеловеком. Это все вы виноваты. — Он на прощание ухмыльнулся, помахал рукой и ушёл.

Когда Барлеп вернулся домой, Беатриса, как обычно, ждала его. Сидя на полу у её ног — такова была милая детская привычка, образовавшаяся у него за последние несколько недель, — и прислонясь к колену Беатрисы маленькой розовой тонзурой, окружённой тёмными кудрями, он прихлёбывал горячее молоко и говорил о Рэмпионе. Удивительный человек, даже, пожалуй, великий человек. Великий ли? — усомнилась Беатриса. Она не любила, когда величие приписывали какому-либо живому человеку (умершие люди — это другое дело: они были мертвы), кроме самого Дениса. Назвать его великим было бы слишком сильно, ревниво упорствовала она. Ну что ж, пожалуй, не совсем. Но почти. Если бы не его странная невосприимчивость к духовным ценностям, эта предвзятость, эта частичная слепота. Его точка зрения вполне понятна. Рэмпион протестует против того, что мы слишком далеко зашли в одном направлении; но в своём протесте он заходит слишком далеко в противоположном направлении. Взять, например, его неспособность понять святого Франциска. Какие дикие, отвратительные вещи говорит он о нём! Это непонятно и достойно сожаления.

— А что он говорит? — сурово спросила Беатриса. Познакомившись с Барлепом, она взяла святого Франциска под своё покровительство.

Слегка смягчив выражения, Барлеп дал ей отчёт о том, что говорил Рэмпион. Беатриса была возмущена. Как он мог говорить подобные вещи? Как он смел! Это кощунство. Да, в

²³⁸ Слуги просцениума в итальянской комедии масок.

этом его недостаток, согласился Барлеп, большой недостаток. Но, милосердно заступился он за Рэмпиона, на свете так мало людей с прирождённым чутьём к духовной красоте. Рэмпион — удивительный человек во многих отношениях, но ему не хватает какого-то шестого чувства, позволяющего людям, подобным святому Франциску, постигать красоту, которая превышает красоту земной. Это чувство, по крайней мере в зачаточной форме, есть у него, Барлепа. Но как редко встречает он людей, похожих на себя! Почти все они в этом отношении чужды ему. Он чувствует себя как человек с нормальным зрением в стране, где все страдают дальтонизмом. Вероятно, и у Беатрисы бывает такое чувство? Ведь она, разумеется, тоже принадлежит к редкой породе людей с ясным зрением. Он понял это сразу, как только познакомился с ней. Беатриса с важностью кивнула. Да, у неё тоже бывает такое чувство. Барлеп улыбнулся ей: он знал это. Она преисполнилась гордости и сознания собственной значительности. А взгляды Рэмпиона на любовь! Барлеп покачал головой. Какие они грубые, плотские, животные!

— Ужасно, — с чувством сказала Беатриса. «Денис, — подумала она, — совсем не такой». Она нежно взглянула на голову, доверчиво прижавшуюся к её коленям. Она обожала его вьющиеся волосы, и его маленькие красивые ушки, и даже розовое голое пятно на темени. В этой маленькой розовой тонзуре есть что-то трогательное. Наступило долгое молчание. Наконец Барлеп глубоко вздохнул.

— Как я устал! — сказал он.

— Вам следует лечь в постель.

— Так устал, что мне трудно шевельнуться. — Он крепче прижался щекой к её колену и закрыл глаза.

Беатриса подняла руку, помедлила в нерешительности, снова опустила её, потом подняла ещё раз и принялась ласково перебирать пальцами его тёмные кудри. Снова наступило долгое молчание.

— Ах, продолжайте, — сказал он, когда она наконец отняла руку. — Мне так хорошо. Из ваших рук исходит целительная сила. Вы почти вылечили мою головную боль.

— У вас болит голова? — спросила Беатриса, и её заботливость, как всегда, приняла форму гнева. — Тогда вы просто должны лечь в постель, — продолжала она.

— Но мне так хорошо здесь.

— Нет, нет, я настаиваю. — Теперь материнская заботливость окончательно пробудилась в ней. Это была воинствующая нежность.

— Как вы жестоки! — жалобно сказал Барлеп, неохотно подымаясь с пола. Беатриса почувствовала угрызения совести.

— Я поглажу вам голову, когда вы ляжете, — обещала она. Теперь она сама жалела о той мягкой тёплой тишине, о той безмолвной интимности, которые она так грубо нарушила своей вспышкой повелительной заботливости. Она оправдывала себя: головная боль возобновилась бы, если бы он не лёг спать в ту самую минуту, когда наступило облегчение. И так далее.

Барлеп лежал в постели минут десять, когда Беатриса пришла исполнить своё обещание. На ней был зелёный халат, и её жёлтые волосы были заплетены в длинную толстую косу, тяжело раскачивающуюся при каждом её движении, как туго заплетённый хвост тяжеловоза на выставке.

— С косой на спине вам можно дать двенадцать лет, — сказал восхищённый Барлеп.

Беатриса беспокойно рассмеялась и присела на край кровати. Он взял в руки её толстую косу.

— Очаровательно, — сказал он. — Так и хочется дёрнуть. — И он в шутку слегка потянул косу.

— Берегитесь, — пригрозила она. — Я тоже подёргаю, невзирая на вашу головную боль. — И она схватила один из его тёмных локонов.

— Рах, рах! ²³⁹ — взмолился он на языке школьников. — Я отпущу. Вот почему, — добавил он, — маленькие мальчики не любят драться с маленькими девочками: девочки гораздо более безжалостны и свирепы.

Беатриса снова рассмеялась. Наступило молчание. Беатриса сидела, затаив дыхание и внутренне вся трепеща, точно с тревогой ожидая чего-то.

— Голова болит? — спросила она.

— Побаливает.

Она протянула руку и прикоснулась к его лбу.

— У вас волшебная рука, — сказал он. Быстрым, неожиданным движением он перевернулся под одеялом на бок и положил голову на её колени. — Вот так, — прошептал он и со вздохом облегчения закрыл глаза.

На миг Беатриса почувствовала смущение, почти испуг. Эта темноволосая голова у неё на коленях, твёрдая и тяжёлая, показалась ей чужой и страшной. Ей пришлось подавить в себе лёгкую дрожь, прежде чем она смогла порадоваться детской доверчивости этого движения. Она начала поглаживать его лоб, поглаживать кожу, просвечивавшую сквозь тёмные кудри. Время шло. Снова мягкая тёплая тишина окутала их, снова вернулась немая доверчивая близость. Её заботливость больше не была властной — она была только нежной. Панцирь её суровости как бы растоплялся — он растоплялся от этой тёплой близости вместе со страхами, которые заставляли её носить этот панцирь.

Барлеп снова вздохнул. Он погрузился в блаженную дремоту безвольной чувственности.

— Лучше? — нежным шёпотом спросила она.

— Все ещё побаливает у виска, — прошептал он в ответ. — Как раз над ухом. — И он переместил голову так, чтобы Беатрисе легко было достать до больного места, переместил её так, чтобы его лицо прижалось к её животу, к её мягкому животу, который подымался от её дыхания, который так тепло и податливо касался его лица.

Прикосновение его лица к её телу снова вызвало у Беатрисы приступ страха. Её плоть пугалась этой слишком большой физической близости. Но Барлеп не шевелился, он не делал никаких опасных движений, никаких попыток к более тесному сближению, и страх постепенно угас, и оставшаяся от него лёгкая дрожь только усиливала чудесную тёплую нежность, сменившую страх. Она снова и снова проводила рукой по его волосам. Она чувствовала на своём животе теплоту его дыхания. Она слегка вздрагивала: её счастье было полно страха и трепетного ожидания. Её тело дрожало, но в то же время радовалось; боялось, но в то же время хотело узнать; отшатывалось, но от соприкосновения наполнялось теплом и даже, несмотря на весь свой страх, робким желанием.

— Лучше? — снова прошептала она.

Он сделал лёгкое движение головой и ещё крепче прижался лицом к её мягкому телу.

— Может быть, довольно? — продолжала она. — Может быть, мне уйти?

Барлеп поднял голову и посмотрел на Беатрису.

— Нет, нет, — взмолился он. — Не уходите. Не надо. Не нарушайте волшебства. Оставайтесь ещё на минутку. Прилягте на минутку здесь, под одеялом. На минутку.

Не говоря ни слова, она улеглась рядом с ним. Он прикрыл её одеялом и погасил свет.

Пальцы, ласкавшие её плечо под широким рукавом, прикасались нежно, прикасались духовно, почти бесплотно, как пальцы тех надутых воздухом резиновых перчаток, которые трепетно скользят по лицу во мраке спиритических сеансов, принося утешение из потустороннего мира, принося ласковую весть от любимых, ушедших из жизни. Ласкать и в то же время быть одухотворённой резиновой перчаткой на спиритическом сеансе, заниматься любовью, но как бы из потустороннего мира — это был особый талант Барлепа. Мягко, терпеливо, с бесконечной бесплотной нежностью он ласкал и ласкал. Панцирь

²³⁹ Мир, мир! (лат.).

Беатрисы растопился окончательно. Теперь Барлеп ласкал её мягкую, девическую трепетную сердцевину, нежно касаясь её духовными пальцами из потустороннего мира. Панциря больше нет; но с Денисом было так удивительно спокойно. Страху не было, только тот лёгкий, напряжённый трепет её все ещё детской плоти, который только обострял ощущение блаженства. Ей было так удивительно спокойно даже тогда, когда после сладостной вечности терпеливо повторяющихся ласковых прикосновений от плеча до запястья и снова к плечу духовная рука из потустороннего мира дотронулась до её груди. Нежно, почти бесплотно дотронулась она до округлости тела, и её ангельские пальцы медлили на коже. При первом прикосновении круглая грудь вздрогнула: у неё были свои страхи среди охватившего всю Беатрису ощущения блаженства и безопасности. Но терпеливо, легко, безмятежно духовная рука повторяла свои ласки вновь и вновь, пока успокоенная и наконец ожившая грудь не стала томительно ждать её возвращения и пока по всему телу не распространились щекочущие ответвления желания. И вечности длились и длились во мраке.

XXXV

На следующий день маленький Фил уже не хныкал при каждом приступе боли, а громко кричал. Его пронзительные вопли повторялись через определённые промежутки, точно регулируемые механизмом, в течение долгих часов, показавшихся Элинор вечностью. Как вопли кролика в западне. Но это было в тысячу раз хуже: ведь кричал не кролик, а ребёнок, её ребёнок, попавший в западню боли. Ей казалось, что и она сама тоже в западне. В западне собственной беспомощности перед лицом его страдания. В западне смутного сознания вины, необъяснимого чувства, возвращавшегося снова и снова и постепенно переходившего в какую-то невыносимую уверенность, что все это — её вина, что судьба злобно и слепо наказывает её дитя за её грехи. Она сидела как в ловушке, а рядом с ней в другой ловушке лежал её сын, и она, словно через невидимые прутья, брала его за маленькую ручку и молча прислушивалась к его прерывистому дыханию и гадала, когда в этой напряжённой тишине снова прозвучит его ужасающий крик, снова искривится лицо и судорожно застынет все его тело от боли, которую каким-то непостижимым образом причинила ему она сама.

Наконец явился доктор с опиумом.

Филип приехал с поездом двенадцать двадцать. Он не поторопился встать, чтобы попасть на более ранний поезд. Ему не хотелось уезжать из Лондона. Его поздний приезд был своего рода протестом. Пора бы Элинор научиться не подымать шума каждый раз, когда у мальчишки расстройство желудка. Это просто глупо.

Когда она встретила его у подъезда, она была такая бледная и измождённая, в её глазах, обрамлённых тёмными кругами, он прочёл такое отчаяние, что даже испугался.

— Да это ты больна, — встревоженно сказал он. — В чем дело? В первую минуту она ничего не ответила, только обняла его, прижимаясь лицом к его плечу.

— Доктор Краузер сказал, что у него менингит, — наконец прошептала она.

В половине шестого приехала сиделка, вызванная телеграммой миссис Бидлэйк. С тем же поездом прибыли вечерние газеты; в Гаттенден их доставил шофёр. На первой странице было сообщение, гласившее, что труп Эверарда Уэбли был найден в его собственном автомобиле. Первый получил газеты старый Джон Бидлэйк, беспокойно дремавший в библиотеке. Прочтя, он пришёл в такое возбуждение от известия о чужой смерти, что совершенно позабыл о том, что ему угрожало то же самое. Сразу помолодев, он вскочил на ноги и побежал, размахивая газетой, в холл.

— Филип! — кричал он сильным, звучным голосом, какого у него не было уже несколько недель. — Филип! Иди сюда, скорей!

Филип только что вышел из комнаты больного ребёнка и разговаривал в коридоре с миссис Бидлэйк. Услышав, что его зовут, он поспешно заковылял в холл.

— В чем дело?

Джон Бидлэйк с почти торжествующим видом протянул ему газету.

— Прочти, — приказал он.

Когда Элино́р услышала новость, она едва не лишилась чувств.

— Кажется, сегодня ему лучше, доктор Краузер.

Доктор потрогал галстук, желая убедиться, что он завязан правильно. Доктор Краузер был человек небольшого роста, подвижный и одетый, пожалуй, даже чересчур аккуратно.

— Успокоился? Спит? — лаконично осведомился он. Он не любил тратить лишних слов. Важно, чтобы его понимали, и больше ничего. Он не расходовал зря свою энергию на разговор. Доктор Краузер говорил так, как работают на заводах Форда. Элино́р остро ненавидела его, но ценила именно за те качества — за самодовольную деловитость и уверенность в себе, — которые ей в нем больше всего не нравились.

— Да, вы угадали, — сказала она, — он спит.

— Ага! — Доктор Краузер кивнул с таким видом, точно он знал все заранее; да так оно, собственно, и было: болезнь протекала как обычно.

Элино́р проводила его наверх.

— А скажите, это хороший признак? — спросила она, словно умоляя о благоприятном ответе.

Доктор Краузер оттопырил губы, склонил голову набок и пожал плечами.

— Ну... — сказал он уклончиво и умолк. Он сэкономил по крайней мере пять футофунтов энергии тем, что не объяснил, что при менингите первая стадия возбуждения сменяется депрессией.

Теперь мальчик целыми днями пребывал в сонном оцепенении; правда, он не страдал (Элино́р была благодарна и за это), но зато совершенно не реагировал на то, что творилось вокруг него, словно он был жив только наполовину. Когда он открыл глаза, она увидела огромные зрачки, расширившиеся настолько, что от радужной оболочки оставалась тоненькая каёмка. Вместо озорного синего взгляда малютки Фила перед ней была лишённая выражения чернота. Свет, причинявший ему такие мучения в первые дни болезни, перестал беспокоить его. Он не вздрагивал больше при каждом звуке. По-видимому, он даже не слышал обращённых к нему слов. Прошло два дня, и Элино́р вдруг поняла — и сердце у неё болезненно сжалось, — что он почти оглох.

— Оглох? — отозвался доктор Краузер, когда она сказала ему о своём ужасном открытии. — Обычный симптом.

— Но неужели ничего нельзя сделать? — спросила она. Ловушка захлопнулась снова, ловушка, из которой она, казалось, вырвалась, когда жуткие вопли сменились полным молчанием.

Доктор Краузер энергично мотнул головой — один раз вправо, другой раз влево. Он ничего не сказал. Сэкономить лишний футофунт — это все равно что приобрести лишний футофунт.

Когда доктор Краузер ушёл, она в каком-то отчаянии взмолилась к Филипу:

— Но ведь нельзя же, чтобы он остался глухим на всю жизнь!

«Нельзя». Она знала, что он ничего не может сделать, и всетаки надеялась. Она отдавала себе отчёт в случившемся, но отказывалась верить.

— Но раз доктор говорит, что с этим ничего не поделаешь.

— И он останется глухим? — повторила она. — Глухим? Фил? Глухим?

— Может быть, это пройдёт само по себе, — попробовал он утешить её, и при этих словах втайне подумал: «Неужели она ещё надеется, что ребёнок выздоровеет?»

Когда на следующий день Элино́р, одетая в халат, поднялась ранним утром в спальню Фила, чтобы выслушать отчёт сиделки о прошедшей ночи, мальчик уже проснулся. Один

глаз, весь занятый зрачком, был открыт и смотрел прямо вверх, на потолок; другой был полузакрыт, точно маленький Фил все время подмигивал, и это придавало его осунувшемуся, сморщенному личику выражение жуткой игривости.

— Он не может его открыть, — объяснила сиделка. — Глаз парализован.

Сквозь длинные, изогнутые ресницы, которым она так часто завидовала, Элино́р увидела, как зрачок передвинулся к уголку глаза и уставился куда-то в сторону пристальным, невидящим, косым взглядом.

— Какого черта, — говорил Касберт Аркрайт тоном личной обиды, — какого черта Куорлз не возвращается в Лондон? — Он рассчитывал, что Филип напишет ему предисловие к новому иллюстрированному изданию «Мимов» Геронда²⁴⁰.

Вилли Уивер пространно объяснил, что Куорлз удалился в деревню не по собственной воле.

— У него болен ребёнок, — добавил он, сопровождая свои слова лёгким самоодобрительным покашливанием, — который, как говорят датчане, мечтает приобщиться как можно скорей к райскому блаженству.

— Что ж, остаётся пожелать, чтобы он с этим не мешкал, — проворчал Аркрайт. Он нахмурился. — Пожалуй, придётся поискать кого-нибудь ещё.

В Гаттендене дни тянулись как невыносимо долгий кошмар. Маленький Фил сначала оглох, а ещё через два дня — ослеп. Косящие глаза ничего не видели. Когда после почти недельного перерыва вернулись боли первых дней, он снова начал кричать. Потом у него несколько раз были конвульсии: точно бес вселился в него и мучил его изнутри. Дальше наступил паралич одной стороны, и его тело стало таять почти на глазах, как воск, растапливаемый каким-то незримым внутренним огнём. Чувствуя себя как в ловушке от сознания собственной беспомощности и, что ещё хуже, от сознания своей вины, усилившегося во много раз от известия об убийстве Эверарда, Элино́р сидела у постели больного ребёнка и следила, как одна стадия болезни сменяется другой, ещё более ужасной, ещё более невозможной. Да, невозможной, потому что подобные вещи не могут случаться в жизни. По крайней мере в её жизни не могут. Это неправда, что её собственный ребёнок бессмысленно мучится и становится калекой у неё на глазах. Это неправда, что человек, который любил её и которого она сама (о, конечно, этого не следовало делать; это было преступно, и это, как теперь видно, оказалось роковым) почти решила полюбить, был внезапно и таинственно убит. Подобных вещей не бывает. Они невозможны. И все-таки, несмотря на эту невозможность, Эверард был мёртв, а маленькому Филу каждый новый день приносил новые и все более мучительные страдания. Невозможное осуществлялось точно в кошмаре.

Внешне Элино́р была очень спокойна, молчалива и деловита. Когда сиделка Батлер пожаловалась, что кушанья остывают, пока их несут в комнату, и попросила готовить ей индийский чай, так как её желудок не переносит китайского, она распорядилась заваривать «Липтон» и, несмотря на страстные протесты Добс, приказала, чтобы завтрак и обед доставляли наверх в нагретых блюдах. Она пунктуально выполняла все лаконические предписания доктора Краузера, кроме одного — она отказывалась отдыхать. Даже сиделка Батлер неохотно признала, что Элино́р очень аккуратна и методична. Но Батлер все-таки поддерживала доктора — отчасти потому, что ей хотелось нераздельно властвовать в комнате больного, отчасти же просто из жалости к Элино́р. Она видела, что спокойствие даётся ей нелегко, что под ним скрывается невыносимое напряжение. Филип и миссис Бидлэйк тоже настойчиво уговаривали её отдохнуть, но Элино́р их не слушала.

— Я чувствую себя прекрасно, — уверяла она, хотя бледность и тёмные круги под глазами выдавали её.

²⁴⁰ Фрагменты произведений (маленьких бытовых сценок в стихах) древнегреческого поэта Геронда (середина 3 в. до н.э.), стали известны в 1891 г. благодаря находке папирусов.

Она охотно, если бы это было возможно, совсем перестала бы есть и спать. Перед лицом смерти Эверарда и мучений маленького Фила еда и сон казались чем-то цинически-неуместным. Но ведь самый факт наличия у нас тел представляется циничным с точки зрения души. Но этот цинизм душа, хочет она или не хочет, обязана принимать как должное. Элинор покорно ложилась спать в одиннадцать и спускалась в столовую во время еды — только для того, чтобы придать себе силы для новых испытаний. Страдать — это было единственное, что она могла: она хотела страдать как можно больше, как можно сильнее.

— Ну, как мальчик? — небрежно спрашивал её отец, поедая свой куриный бульон. И, выслушав её неопределённый ответ, он поспешно менял тему.

Джон Бидлэйк в продолжение всей болезни своего внука упорно отказывался даже подходить к детской. Зрелище страдания и болезни, все, что напоминало ему об ожидавших его мучениях и смерти, внушало ему отвращение. А в данном случае он имел особенные основания для страха: со своей способностью придумывать всякие приметы он решил про себя, что его судьба связана с судьбой ребёнка. Если мальчик поправится, то поправится и он. Если же нет... Примета сложилась, и неблагоприятное известие из детской приводило его в содрогание. Войдя в комнату, он может, совершенно случайно, увидеть подтверждение своих самых мрачных предчувствий. А может быть (кто знает?), мучения ребёнка каким-то таинственным образом перейдут в него? Он даже не хотел слышать о своём внуке. Если не считать краткого вопроса за обедом, Бидлэйк никогда не упоминал о Филе, а когда кто-нибудь заговаривал о нём, он поспешно менял тему (суеверно трогая при этом какой-нибудь деревянный предмет) или просто уходил. Вскоре все обитатели дома узнали его слабость и, подчиняясь тому же чувству, которое предписывает особенно бережно относиться к осуждённым на смерть преступникам, старались не упоминать в его присутствии о том, что происходит в детской.

Все эти дни Филип беспокойно блуждал по дому. Время от времени он подымался в детскую и, сделав тщетную попытку уговорить Элинор отдохнуть, через несколько минут снова сходил вниз. Он не выносил долгого пребывания в детской. Он огорчался, видя, как Элинор бесплодно проводит долгие часы у постели ребёнка; сам он не выносил ничегонеделания, а в теперешнем положении длительное умственное бездействие было бы просто пыткой. В промежутках между посещениями детской он читал, он пробовал писать. К тому же нужно было заниматься делом Глэдис Хелмсли. Болезнь ребёнка не позволила ему съездить в Лондон и тем самым избавила от необходимости лично вести переговоры с Глэдис. Все это дело он поручил Вилли Уиверу, который был не только самым надёжным из друзей, но также и стряпчим. Какое огромное облегчение он при этом почувствовал! Встреча с Глэдис внушала ему страх. Вилли же, напротив, эта история пришлась весьма по вкусу.

«Дорогой Филип, — писал он, — я стараюсь сделать все, что могу, для Вашего Престарелого Родителя ²⁴¹, но даже при всех моих стараниях это дело обойдётся ему не дёшево. Его дама полна юной прелести (профессиональная этика помешала мне со своей стороны несколько продолжить труды Вашего родителя), что не мешает ей быть весьма практичной особой. К тому же по отношению к П.Р. она настроена свирепо. Должен признаться, что я, по зрелом размышлении, не могу осудить её за это. Вы знаете, где он кормит своих фавориток? В «Лайонзе». Когда юная дама сообщила мне об этом, я заявил, что, видимо, лавры визиря Бармесиды ²⁴² не дают ему покоя. (Нечего и говорить, она не поняла всей соли этого замечания; поэтому я уступаю его Вам за вознаграждение в размере пяти процентов с авторского гонорара по всем тем произведениям, в коих оно будет

²⁴¹ Так называет своего отца мистер Уэммик, персонаж романа Ч. Диккенса «Большие надежды».

²⁴² Персонаж из «Тысячи и одной ночи», который пригласил к себе голодного бродягу и принялся угощать его воображаемыми кушаньями.

использовано.) Посоветуйте П. Р. тратить в следующий раз на свои развлечения немного больше денег: в конечном счёте это выйдет дешевле. Посоветуйте ему предаваться не только похоти, но также и обжорству; уговорите его сдерживать свою страсть к умеренности и экономии. Завтра я возобновлю атаку; надеюсь, мне удастся зафиксировать чёрным по белому условия мира. Искренне соболезную Вам по поводу нездоровья Вашего отпрыска.

Ваш В. У.».

Читая письмо, Филип улыбался и думал: «Слава тебе Господи! Все устроилось». Но, прочтя последнюю фразу, он устыдился испытанного им чувства облегчения. «Какой безграничный эгоизм», — упрекнул он себя. И, словно желая искупить своё хорошее настроение, он заковылял наверх, в детскую. Там он просидел несколько минут с Элинор. Маленький Филип лежал без сознания. Его лицо нельзя было узнать — таким оно стало бесплотным и сморщенным; а с парализованной стороны не сходила кривая усмешка. Его ручки все время перебирали простыню. Он дышал то учащённо, то так медленно, что казалось, будто он не дышит вовсе.

Сиделка Батлер пошла вздремнуть: ночи она проводила почти без сна. Они сидели молча. Филип взял руку жены и задержал её в своей. Время тянулось, и мерой его было слабое, неравномерное дыхание их сына.

В саду Джон Бидлэйк писал (жена наконец уговорила его попробовать) в первый раз после его приезда в Гаттенден. И в первый раз, забыв самого себя и свою болезнь, он был счастлив. «Как чудесно!» — думал он. Пейзаж состоял весь из бугров, изгибов и закруглений, как человеческое тело. Орбизм, ну конечно же, орбизм! Облака — это херувимские задницы, а вон тот пологий холм — гладкий живот nereиды; а Гаттенденская Пуншевая Чаша — огромный пупок; а эти вязы между передним планом и задним — большие пузатые силены, сошедшие прямо с картин Йорданса; а нелепые круглые кусты вечнозелёных растений на переднем плане — бесчисленные зеленые груди Дианы Эфесской. Целый урок анатомии в этих листьях, облаках и неровностях земли. Чудесно! И, черт побери, какую из этого можно сделать картину. Эти серафические ягодицы будут небесным отражением груди Дианы; орбическая тема с вариациями; ягодицы, начинающиеся из глубины полотна, идущие вкось, к поверхности; груди, начинающиеся на поверхности, уходящие вглубь. А гладкий живот, идущий поперёк полотна, по горизонтали, будет уравнивать обе эти движущиеся диагонали; а впереди — большие силены, расположившиеся зигзагами. А на переднем плане, слева, будет силуэт края веллингтонии, мысленно перенесённой сюда нарочно для того, чтобы остановить движение, не дать ему вырваться за пределы картины; а справа поместится каменный грифон; композиция должна быть замкнутой: маленькая вселенная, за пределы которой не смеет удаляться воображение. Взгляд будет смотреть словно сквозь воображаемый туннель, он не сможет удалиться от фокуса картины — от центра огромного пупка Гаттенденской Пуншевой Чаши, вокруг которой гармонично расположатся все части божественного тела. «Черт побери! — сказал Джон Бидлэйк самому себе, выражая этим ругательством подъем духа, — черт побери!» И он принялся писать в каком-то исступлении.

Блуждая по саду и неумоимо разыскивая сорные травы, миссис Бидлэйк на мгновение остановилась позади него и заглянула ему через плечо.

— Замечательно, — сказала она, выражая своё одобрение столько же по поводу его активности, сколько по поводу достигнутых результатов.

Она прошла дальше и, вырвав с корнем одуванчик, остановилась и, закрыв глаза, принялась повторять своё имя: «Джэнет Бидлэйк, Джэнет Бидлэйк, Джэнет Бидлэйк» — снова и снова, пока эти слова не потеряли для неё всякий смысл и стали такими же таинственными, бессмысленными и произвольными, как заклинание некроманта. Абракадабра, Джэнет Бидлэйк — а действительно ли она — это она? и существует ли она вообще? а эти деревья? а люди? а настоящее и прошлое? а все на свете?..

Тем временем в детской произошло нечто необыкновенное. Совершенно неожиданно

маленький Фил открыл глаза и посмотрел. Он встретился взглядом с матерью. Он улыбнулся, насколько позволяла ему жуткая гримаса лица.

— Он видит! — воскликнула Элино́р. Встав на колени у изголовья, она обняла мальчика и принялась целовать его с удвоенным жаром, потому что, кроме любви, она испытывала приступ страстной благодарности. После стольких дней слепоты она была благодарна ему за этот уже не бессмысленный взгляд, за эту жалкую попытку улыбнуться. — Мой малюток! — повторила она и в первый раз за много дней разрыдалась. Она отвернулась, чтобы ребёнок не видал её слез, встала и отошла от постели. — Какая я дура, — извиняющимся тоном сказала она мужу, вытирая слезы. — Но я ничего не могу сделать.

— Я голоден, — вдруг произнёс маленький Фил. Элино́р снова встала на колени у изголовья.

— А чего бы ты хотел, милый? Но Фил не слышал её вопроса.

— Я голоден, — повторил он.

— Глухота ещё не прошла, — сказал Филип.

— Но ведь он видит, он говорит. — Лицо Элино́р преобразилось. Несмотря ни на что, все это время она знала, что он непременно поправится: иначе и не могло быть. А теперь она убедилась в своей правоте. — Посиди здесь, — продолжала она. — Я сбегаю и принесу ему молока. — И она выбежала из комнаты.

Филип остался у постели сына. Он погладил руку ребёнка и улыбнулся. Маленький Фил улыбнулся в ответ. Филип тоже начал верить, что, может быть, и в самом деле произошло чудо.

— Нарисуй мне что-нибудь, — приказал мальчик.

Филип вытащил своё вечное перо и на обороте старого письма набросал один из тех ландшафтов со слонами и самолётами, поездами и летающими свиньями и пароходами, которые особенно любил его сын. Слон столкнулся с поездом. Маленький Фил начал смеяться, тихонько, но с явным удовольствием. Не может быть никакого сомнения: чудо совершилось.

Элино́р вернулась, неся молоко и тарелку с желе. На её щеках снова появился румянец, её глаза блестели, лицо, остававшееся все эти дни застывшим и суровым, снова приобрело прежнее живое выражение. Она вся словно ожила.

— Поди посмотри на слонов, — сказал маленький Фил. — Такие смешные! — И после каждого глотка молока, после каждой ложки желе он заставлял отца прибавлять ещё что-нибудь к сложному пейзажу — китов в море, которых кусали омары; две сцепившиеся подводные лодки и гиппопотама на воздушном шаре; извергающийся вулкан, пушки, маяк, целую армию свиней.

— Почему вы оба молчите? — вдруг спросил мальчик.

Филип и Элино́р переглянулись.

— Он не слышит нас, — сказал Филип.

Счастливое выражение на лице Элино́р на миг затуманилось.

— Может быть, завтра, — сказала она. — Сегодня он увидел, а завтра, может быть, станет слышать.

— Почему вы все шепчетесь? — сказал мальчик. Единственное, что она могла сделать в ответ, — это поцеловать его и погладить ему лобик.

— Не нужно утомлять его, — наконец сказала Элино́р. — Ему, пожалуй, следовало бы уснуть. — Она взбила подушку, поправила простыню, нагнулась над ним. — Прощай, милый малюток. — На её улыбке он по крайней мере мог ответить.

Элино́р задёрнула занавески и вышла из комнаты. В коридоре она повернулась, ожидая, когда выйдет муж. Филип обнял её за талию; она прижалась к нему с глубоким вздохом.

— А я уж боялась, — сказала она, — что этот кошмар будет продолжаться вечно. До самого конца.

Обед был похож в этот день на праздник воскресения из мёртвых, на пасхальную службу. Элино́р оттаяла, она снова стала женщиной из плоти и крови, а не каменным изваянием. А бедная мисс Фулкс, у которой признаки душевного страдания удивительным образом совпадали с признаками сильного насморка, сопровождаемого прыщами, пришла в почти человеческий вид и истерически хохотала над шутками и анекдотами возрождённого Джона Бидлэйка. Старик вернулся из парка, потирая руки.

— Что за пейзаж! — воскликнул он, садясь за стол. — Такой сочный, если вы понимаете, что я хочу сказать, такой телесный — иного слова не подберёшь. Просто слюнки текут, когда глядишь на него. Наверное, поэтому я сейчас голоден как волк.

— Вот тебе бульон, — сказала миссис Бидлэйк.

— Нет, знаете, теперь, когда я работаю, я не намерен питаться этими помоями. — И, несмотря на все протесты, он потребовал котлетку.

Его настроение улучшилось ещё больше, когда он узнал, что маленький Фил выздоравливает. (Он трижды прикоснулся к дереву обеими руками сразу.) К тому же он действительно был привязан к своему внуку. Он заговорил, он снова стал прежним Гаргантюа Бидлэйком. Мисс Фулкс так смеялась над одним из анекдотов об Уистлере, что подавилась, и ей пришлось спрятать лицо в салфетку. Даже в неясной, благожелательной улыбке миссис Бидлэйк появился какой-то намёк на жизнерадостность.

Около трех часов Джон Бидлэйк начал испытывать знакомое ему ощущение все более острой боли под ложечкой. На него напала неистовая икота. Он попробовал писать; но работа не доставляла ему никакого удовольствия. Груды Дианы и ягодицы ангелов потеряли для него всякую прелесть. «Небольшое образование в области пилоруса», — звучали в его памяти медицинские термины сэра Герберта. «Содержимое желудка... некоторое затруднение при прохождении в двенадцатиперстную кишку». Когда икота усилилась и стала невыносимой, он сложил кисти и вернулся в дом.

— Где отец? — осведомилась Элино́р, когда сошла к чаю. Миссис Бидлэйк покачала головой:

— Ему опять стало плохо.

— О Господи!

Наступило молчание. Казалось, в комнате присутствует смерть. Но ведь он уже старик, подумала Элино́р; так или иначе, это неизбежно. Пускай ему хуже, но зато маленький Фил поправляется, а это — самое важное. И она заговорила с матерью о саде. Филип закурил папиросу.

В дверь постучали. Это была горничная: сиделка Батлер просит их немедленно в детскую.

Конвульсии были очень сильны; истощённое тело было слишком слабым. Когда они вошли в детскую, маленький Фил был уже мёртв.

XXXVI

Тайна Уэбли, как немедленно окрестили это событие газеты, оставалась неразгаданной. Ключа не было. В комитете Свободных Британцев никто ничего не знал. Уэбли уехал в обычное время, пользуясь своим обычным способом передвижения. У него не было обыкновения сообщать подчинённым о своих личных делах; куда он отправился, не знал никто. Больше машину никто не видел с той минуты, когда Уэбли отпустил шофёра, до той, когда около полуночи полисмен на Сент-Джеймс-сквер начал спрашивать себя, долго ли ещё простоит здесь эта машина без хозяина. Никто не обратил внимания ни на машину, когда её ставили в ряд других машин на площади, ни на шофёра, когда он уходил. Единственными отпечатками, обнаруженными на кузове и на руле, оказались отпечатки пальцев убитого. Тот, кто правил машиной после убийства, был, по-видимому, в перчатках. Ключа не было. Полное отсутствие прямых улик. Полиция старалась извлечь все, что возможно, из улик косвенных. То обстоятельство, что убитый не был ограблен, заставляло подозревать

политическую подкладку. В комитете Свободных Британцев хранилась целая коллекция угрожающих писем. Уэбли получал их регулярно — по два-три письма в неделю. «Это моё любимое чтение», — часто говорил он. Полиция принялась искать их авторов. Наиболее угрожающие письма были посланы, как выяснилось, двумя евреями русского происхождения, проживающими в Хаундсдиче, машинисткой из Ноттингема и пылким первокурсником из Бейллиол-колледжа ²⁴³; все эти лица были арестованы и сейчас же освобождены за полным отсутствием улик.

Время шло. Убийцы оставались на свободе. Интересу публики к преступлению не давали ослабеть. Часть консервативной прессы открыто утверждала, что либерально-лейбористское правительство дало полиции приказ не слишком углубляться в это дело. «Укрывают убийц». «Социалисты боятся разоблачений». «Сначала политика, а потом уже десять заповедей». Заголовки были весьма выразительными. Для оппозиции это преступление было прямо подарком судьбы. «Дейли мейл» предлагала вознаграждение в десять тысяч фунтов тому, кто доставит сведения об убийцах Уэбли. Тем временем Свободные Британцы за неделю почти удвоили свои ряды. «Вы одобряете убийство? Если нет, присоединяйтесь к Свободным Британцам». Такие плакаты красовались на каждом рекламном щите. Толпы Свободных Британцев и в форме, и в обычной одежде рыскали по Лондону, агитируя рекрутов, устраивая патриотические демонстрации, занимаясь по-любительски расследованием убийства. Они не упустили случая избить нескольких человек, с которыми они расходились во мнениях. В Тоттенхеме и Ист-Хеме у них были генеральные сражения, в ходе которых было ранено много полицейских. На похоронах Эверарда зелёная процессия больше трех миль длиной провожала гроб до могилы.

Спэндрелл каждое утро прочитывал все газеты. Они доставляли ему неподдельное удовольствие. Какой фарс! Какая суматоха! Какое немыслимое идиотство! Иллиджу, отправившемуся к матери в Ланкашир, он послал открытку с изображением Эверарда в мундире на белом коне; эти открытки теперь можно было найти в любой лавке, на улицах их продавали разносчики. «Мёртвый лев приносит, видимо, гораздо больше вреда, чем живой пёс ²⁴⁴, — написал он на обороте. — Бог всегда был большим шутником».

Но самой большой шуткой Бога, по крайней мере для Спэндрелла, было то, что Бога вообще не оказалось. Его не было. Ни Бога, ни дьявола. Потому что, если бы был дьявол, то был бы и Бог. Единственное, что было, — это воспоминание о гнусной, омерзительной глупости, а теперь — невероятная суматоха. Сначала возня в помойке, а потом — фарс. А может быть, дьявол — это как раз и есть дух помоек? А Бог? В таком случае Бог — это просто-напросто отсутствие помоек.

«Бог не где-то в стороне, не над нами, не вне нас, — вспомнил он сказанное однажды Рэмпионом. — Во всяком случае, не та существенная, важная для человека часть божества. Но нельзя и сказать, что Бог внутри нас, в том смысле, в каком протестанты употребляют это выражение, надёжно припрятанный в наших воображении, чувствах, интеллекте, душе. Конечно, он там, в том числе и там. Но он в нас в том числе и в том смысле, в каком в нас ломоть хлеба, съеденный нами. Он в самом теле, в крови и внутренностях, в сердце, коже и чреслах. Бог — конечный продукт, духовный и физический, любой мысли и действия, обращённых к жизни, к живому общению с миром. Богом поверяются наши действия и наше общение, и это осязаемая, познаваемая опытом проверка. Во всяком случае, Бог таков для наших целей, для целей людей живущих. Потому что, конечно, для целей, поставленных знанием и философскими рассуждениями, он может оказаться и уймой других вещей. Он может быть скалой многовековой, он может быть Иеговой Ветхого Завета, он может быть

²⁴³ Один из наиболее известных колледжей Оксфордского университета; основан в 1263 г.

²⁴⁴ Парафраз библейского выражения: «...и псу живому лучше, нежели мёртвому льву» (Книга Екклесиаста, 9:4).

чем пожелает. Но какое все это имеет отношение к нам — живым, телесным существам? Никакого, от этого один только вред. Как только мы позволяем спекулятивно-рассудочной истине занять место интуитивно ощущаемой истины и начинаем руководствоваться ею, мы губим свою жизнь».

Спэндрелл возражал: должны же быть абсолюты, должны быть какие-то твёрдые точки в окружающей реальности. «Музыка, например, существует, — заключил он, — даже если вы лично не музыкальны. Вам приходится признавать существование её как некоторой абсолютной реальности, хотя бы вы сами были неспособны воспринимать её и получать от этого наслаждение».

«Философски, теоретически — да. Признавайте её сколько вам угодно. Но не позволяйте вашему абстрактному знанию влиять на вашу жизнь. Теоретически вы знаете, что музыка существует и что она прекрасна. Но не притворяйтесь, пожалуйста, что, слушая Моцарта, вы получаете высокое наслаждение: делая это, вы уподобляетесь тем дурацким снобам от музыки, которых встречаешь у леди Эдвард Тэнтемаунт. Не умеют отличить Вагнера от Баха; но стоит заиграть скрипкам, и они уже в экстазе. То же самое и с Господом Богом. Мир кишит снобами от религии. Все они не живут по-настоящему, не делают ничего, что оправдывало бы их существование, не вступают ни с кем в живое соприкосновение, не имеют ни малейшего представления о том, что такое Бог; они его не знают, не чувствуют. Но зато они мычат в церквах, они завывают молитвы, они ломают и разбивают свою жалкую жизнь, пытаясь подчиниться воле выдуманной абстракции, которую им заблагорассудилось назвать Богом. Глупое стадо! Они заслуживают только насмешки и презрения — так же как снобы от музыки у леди Эдвард. Но ни у кого не хватает духа сказать им это в глаза. Все восторгаются ими за то, что они такие добрые, и благочестивые, и примерные христиане. А на самом деле они просто мертвы; их следовало бы не хвалить, а дать им ногой под задницу да расквасить им всем носы, чтобы они опомнились и вернулись к жизни».

Спэндрелл думал об этом разговоре, посылая открытку Иллиджу. Бога нет, дьявола нет — есть только воспоминание о гнусном барахтанье в помойке, о грязной возне навозного жука. Рэмпион назвал бы его снобом от религии. Копание в навозе в поисках несуществующего Бога. Но нет же, Бог существует, вне нас, абсолютный. А то как же тогда объяснить действенность молитвы — ведь молитва несомненно действенна, как объяснить провидение и судьбу? Бог есть, но он прячется. Нарочно прячется. Вся задача в том, чтобы выгнать его из норы, из его абстрактной абсолютной норы, и заставить воплотиться в непосредственно ощущаемое и познаваемое качество конкретных поступков. Вся проблема в том, чтобы силой перетащить его извне вовнутрь. Но Бог — шутник. Спэндрелл усилием заклинал его появиться; но из магического дыма жертвенной крови возникло только помойное ведро. А может быть, эта неудача доказывает лишний раз, что Бог есть, что он «вне»? Все случающееся с человеком подобно ему самому. Помойка к помойке, навоз к навозу ²⁴⁵. Ему не удалось перетащить Бога извне вовнутрь. Но появление помойного ведра доказывает реальность Бога как провидения, Бога как судьбы, Бога, ниспосылающего благодать и отнимающего её, Бога, предначертывающего спасение или гибель. Ему, Спэндреллу, предначертаны были помойки. Подсунув ему вместо себя помойное ведро, шуточный вершитель судеб был просто последователен до конца.

Как-то раз в Лондонской библиотеке он встретил Филипа Куорлза.

— Мне было очень грустно услышать о вашем сыне, — сказал он.

Филип что-то пробормотал с таким видом, точно ему неприятен этот разговор. Он не мог допустить, чтобы кто бы то ни было касался его горя. Оно принадлежало только ему, оно было тайным, священным. Ему было больно выставлять его напоказ. Он стыдился его.

— Это был какой-то особенно бессмысленный ужас, — сказал он, стараясь перевести разговор с личной и интимной темы на отвлечённости.

²⁴⁵ Автор перефразирует слова из заупокойной службы: «Земля земле, тлен тлену, прах праху».

— Все ужасы бессмысленны, — сказал Спэндрелл. — А как перенесла это Элино́р?

Вопрос был поставлен в упор, на него нужно было ответить.

— Плохо. — Филип покачал головой. — Она совершенно разбита. — «Почему мой голос, — подумал он, — звучит так нереально, так пусто?»

— И что же вы собираетесь теперь делать?

— На днях уезжаем за границу. Как только Элино́р будет в состоянии ехать. Вероятно, в Сиену. А после поживём на берегу моря, где-нибудь в Маремме. — Было таким облегчением перевести разговор на географические темы.

— Значит, с домашним очагом в Англии покончено, — сказал Спэндрелл после небольшой паузы.

— Да, потому что теперь жизнь дома лишилась смысла. Спэндрелл медленно кивнул головой.

— Помните наш разговор в клубе? Тогда ещё были Иллидж и Уолтер Бидлэйк. Все, что случается с человеком, похоже на него самого. Обосноваться в Англии было вовсе не похоже на вас. И этого не случилось. Провидение помешало этому. Безжалостно, видит Бог! Но оно не стесняется в средствах. Бродить по свету, не пуская нигде корней, быть зрителем — вот это похоже на вас. — Он помолчал. — Тогда как, — добавил Спэндрелл, — на меня похоже жить в помойке. Что бы я ни сделал, куда бы я ни пытался уйти, я всегда попадаю на помойку. Видимо, так будет всегда. — «Да, всегда», — продолжал он размышлять. Он поставил на последнюю карту и проиграл. Нет, не последнюю: осталась ещё одна. На предпоследнюю. Неужели и на последней он тоже проиграет?

XXXVII

Спэндрелл очень настаивал на том, чтобы они не откладывали своего посещения. Им просто необходимо послушать «Heilige Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart»²⁴⁶.

— Пока вы этого не услышали, вы не можете сказать, что хоть что-нибудь понимаете в жизни, — объявил он. — Эта музыка доказывает существование массы вещей — Бога, души, добра, — неопровержимо доказывает. Она единственное подлинное доказательство, которое существует на свете, — единственное, потому что Бетховен был единственным человеком, сумевшим выразить своё знание. Вы должны прийти.

— С большой охотой, — сказал Рэмпион. — Но...

— Вчера я случайно узнал, — прервал его Спэндрелл, — что имеется граммофонная запись а-молл'ного квартета. Я немедленно побежал и купил патефон и пластинки — специально для вас.

— Для меня? Зачем такая щедрость?

— Совсе не щедрость, — со смехом ответил Спэндрелл. — Чистый эгоизм. Я хочу, чтобы вы услышали и согласились со мной.

— Но зачем?

— Затем, что я верю вам и, если вы согласитесь, я поверю самому себе.

— Ну и человек! — насмешливо сказал Рэмпион. — Вам бы перейти в католицизм и завести себе духовника.

— Но вы *должны* прийти. — Он говорил очень серьёзным тоном.

— Только не сейчас, — сказала Мэри.

— Да, не сегодня, — подтвердил её муж, удивляясь при этом, чего это Спэндреллу приспичило. Что с ним такое? Откуда такие жесты, слова, такое выражение глаз... Он страшно возбуждён. — Сегодня у меня бесконечно много дел.

— В таком случае завтра.

²⁴⁶ Благодарственное песнопение исцелённого в лидийском ладу (нем.).

«Впечатление такое, точно он пьян», — думал Рэмпион.

— А может быть, послезавтра? — сказал он вслух. — Мне это было бы гораздо удобней. Ведь не улетит же на это время ваш патефон.

Спэндрелл рассмеялся своим беззвучным смехом.

— Он-то не улетит, — сказал он, — а я могу улететь. Вероятно, послезавтра меня уже не будет.

— Вы нам не говорили, что уезжаете, — сказала Мэри. — Куда?

— Кто знает? — ответил Спэндрелл, снова смеясь. — Я знаю одно: что здесь меня не будет.

— Ну что ж, — сказал Рэмпион, с любопытством следя за ним, — тогда я приду завтра.

— Что это с ним такое? — спросил Рэмпион, когда Спэндрелл распрощался с ними и ушёл.

— А что? Я не заметила в нем ничего особенного, — ответила Мэри.

Рэмпион раздражённо махнул рукой.

— Ты не заметила бы и Страшного суда, — сказал он. — Неужели ты не видела, что он с трудом сдерживает возбуждение? Как придерживают крышку кастрюли с кипящей водой. А его театральный смех. Он вёл себя как раскаявшийся злодей в мелодраме...

— Но разве он ломался? — сказала Мэри. — Или ты думаешь, что он валял дурака для нашего удовольствия?

— Нет, нет. Он был вполне искренен. Но когда человек находится в положении раскаивающегося мелодраматического злодея, он неизбежно начинает вести себя именно как раскаивающийся злодей. Это делается помимо его воли.

— А что он такого сделал, что ему нужно раскаиваться?

— А я почём знаю? — нетерпеливо сказал Рэмпион. Мэри всегда считала, что он каким-то сверхъестественным, волшебным чутьём знает решительно все. Её вера иногда забавляла и радовала его, а иногда раздражала. — Что я, по-твоему, духовник Спэндрелла, что ли?

— Да чего ты, собственно, кипятишься?

— Ты бы лучше спросила, — сказал Рэмпион, — как тут можно не кипятиться? Конечно, легко сохранять душевное равновесие, когда живёшь все время с закрытыми глазами, в каком-то полусне. Тогда как если бы люди все время бодрствовали — Господи ты Боже мой! — они бы только и делали, что били все время от злости посуду. — И он большими шагами направился в мастерскую.

Спэндрелл медленно удалялся от Челси вдоль реки по направлению на восток, снова и снова повторяя про себя начальные аккорды лидийской мелодии из «Heilige Dankgesang». Снова и снова. Над спокойной рекой подымалась горячая дымка. Музыка была как вода в иссушенной зноем стране. После долгих лет засухи — родник, источник. Прогремела машина для поливки улиц, таща за собой искусственный ливень. Свежий аромат исходил от увлажнённой пыли. Эта музыка — доказательство, как он сказал Рэмпиону. В водосточном жёлобе маленький поток стремил смятую коробку от папирос и кусок апельсиновой кожуры к водостоку. Спэндрелл перестал насвистывать. Вот он, подлинный ужас: вывозка мусора — и больше ничего. Так же грязно и противно, как чистить отхожее место. Совсем не страшно — только бессмысленно, неопишимо бессмысленно. Музыка — это доказательство: Бог существует. Но только до тех пор, пока звучат скрипки. А когда смычки отняты от струн, тогда что? Мусор и бессмыслица — безысходная чушь.

На Воксхолл-Бридж-роуд он купил на шиллинг почтовой бумаги и конвертов. Заплатив за чашку кофе и сдобную булочку, он приобрёл право сидеть за столиком в кафе. Огрызком карандаша он написал: «Главному секретарю Союза Свободных Британцев. Милостивый государь, завтра, в среду, в пять часов пополудни убийца Эверарда Уэбли будет находиться в доме Э 37 по Кэтскил-стрит, Ю.3.7. Квартира на третьем этаже. По-видимому, он откроет дверь сам. Он вооружён и готов на все».

Перечитывая письмо, он вспомнил те анонимные письма (написанные красными

чернилами, чтобы было похоже на кровь: влияние рассказов из «Б.О.П.»²⁴⁷), при помощи которых он со своим приятелем Покингхорном-младшим, таким же девятилетним юнцом, как он сам, пытался запугать мисс Вил, кастеляншу в начальной школе. Их выследили и сообщили старшему учителю. Носастый дал им каждому по три удара по мягкому месту. «Он вооружён и готов на все» — это чистейший Покингхорн. Но если не написать этого, они не возьмут с собой револьверов. А ведь тогда ничего не выйдет. Ничего не выйдет. Ну что ж, пошёл так. Он сложил бумагу и заклеил конверт. Полнейшая глупость, не говоря уж о том, что полнейшая гнусность и бессмыслица. Он написал адрес.

— Ну, вот и мы, — сказал Рэмпион, когда на следующий день Спэндрелл открыл ему дверь. — А где же Бетховен? Где же ваше пресловутое доказательство существования Бога и превосходства христианской морали?

— Вот здесь. — И Спэндрелл провёл их в гостиную. На столе стоял патефон. Около него в беспорядке лежало несколько пластинок. — Вот это — начало анданте, — продолжал Спэндрелл, беря одну из пластинок. — Я не буду докучать вам всем квартетом. Он чудесен. Но замечательней всего «Heilige Dankgesang». — Он завёл патефон; пластинка завертелась, он опустил иголку мембраны на пластинку. Прозвучала долгая нота скрипки, потом другая, секстой выше, и ещё одна, квинтой ниже (а в это время вступила вторая скрипка, начавшая с исходной ноты первой), потом поднялась на октаву и тянула ноту два долгих такта.

Прошло более ста лет с тех пор, как Бетховен, совершенно глухой, услышал в своём воображении музыку струнных инструментов, выражавшую его затаённые мысли и чувства. Он покрыл нотными знаками несколько листов разлинованной бумаги. Столетием позже четверо венгров воспроизвели по отпечатанной копии с каракулей Бетховена музыку, которую Бетховен слышал только в своём воображении. Спиральные бороздки на шеллаковой поверхности запечатлели их игру. Материализованное воспоминание вращалось, игла скользила по бороздкам, и звучащие символы мыслей и переживаний Бетховена трепетали в воздухе, сопровождаемые еле слышным царапаньем, которое как бы передавало глухоту Бетховена. Медленно, медленно развёртывалась мелодия. Архаические лидийские гармонии наполняли воздух. Это была бесстрастная музыка, прозрачная и чистая, как тропическое море, как горное озеро. Водная гладь над водной гладью, покой, проходящий над покоем, — совершённая гармония бесчисленных необъятных равнин и зеркально-гладких огромных озёр, контрапункт безоблачных ясностей. Всюду прозрачность и свет, ни тумана, ни тусклого сумрака. Покой тихого и радостного созерцания, а не сон, не дремота. Это была та ясность духа, которая наполняет человека, выздоравливающего после горячки, когда он чувствует, что вновь рождается в безмятежно прекрасном мире. Но — жизнь было имя этой горячки, и он вновь рождался не в здешнем мире: красота была неземной, ясность духа была миром Господним. В сплетении лидийских мелодий открывались небеса.

И после того, как на протяжении тридцати медленных тактов строились небеса, характер музыки внезапно изменился. Из архаической она стала современной. На смену лидийским напевам пришла та же мелодия, но переведённая в мажорную тональность. Темп ускорился. Теперь мелодия скакала и прыгала по земным горам, а не по райским высям.

— «Neue Kraft fühlend»²⁴⁸. — Спэндрелл шёпотом процитировал программу. — Он чувствует себя сильнее; но музыка уже не такая небесная, как прежде.

На протяжении пятидесяти тактов повторялась эта новая, более быстрая мелодия; потом она кончилась скрипом иглы о пластинку. Спэндрелл снял мембрану и остановил патефон.

— Лидийский лад снова начинается на обратной стороне, — объяснил он, заводя

²⁴⁷ Сокращённое название ежемесячника для подростков «Бойз оун пейпер», издававшегося с 1879 по 1967 г.

²⁴⁸ Чувствуя новую силу (нем.).

патефон. — А потом опять идёт эта быстрая штука в a-dur'e. А затем снова лидийский лад до самого конца, с каждым тактом все лучше и лучше. Не правда ли, это чудесно? — обратился он к Рэмпиону. — Не правда ли, это доказательство?

— Чудесно, — согласился тот. — Но единственное, что доказывает эта музыка, — это что больные люди бывают очень слабыми. Это творчество человека, утратившего своё тело.

— Но нашедшего свою душу.

— О, ещё бы, — сказал Рэмпион, — больные люди живут интенсивной духовной жизнью. Но это оттого, что они не совсем люди. По той же самой причине скопцы такие мастера по части духовной любви.

— Но ведь Бетховен не был скопцом.

— Знаю. Но чего ради он старался быть им? Чего ради он возвёл в идеал кастрацию и бестелесность? Что такое эта музыка? Гимн во славу оскопления — только и всего. Конечно, гимн очень красивый. Но неужели он не мог воспеть что-нибудь более человеческое, чем оскопление?

Спэндрелл вздохнул.

— Для меня это блаженное видение, это небеса.

— Но не земля. Как раз против этого я и протестую.

— Но разве человек не имеет права вообразить себе небо, если ему этого хочется? — сказала Мэри.

— Конечно, имеет; но только не следует уверять всех и каждого, будто плод его воображения — это последнее слово истины, красоты, мудрости, добродетели и так далее. Спэндрелл хочет убедить нас, будто это бесплодное скопчество и есть последнее слово. Но меня он не убедит. Я этого не хочу.

— Прежде чем судить, прослушайте до конца. — Спэндрелл перевернул пластинку и опустил мембрану. Безоблачные небеса лидийского лада снова простёрлись над ними.

— Очень мило, — сказал Рэмпион, прослушав пластинку до конца. — Вы совершенно правы. Это действительно небо, это действительно жизнь души. Это наиболее яркий пример ухода от реальности в мир духовных абстракций. Но для чего нужен этот уход? Почему бы человеку не удовлетвориться тем, что он человек, а не абстрактная душа? Я вас спрашиваю: почему? — Он принялся шагать взад и вперёд по комнате. — Эта проклятая душа, — продолжал он, — эта проклятая абстрактная душа похожа на раковую опухоль, пожирающую настоящего реального живого человека и разрастающуюся за его счёт. Почему он не довольствовался реальностью, этот ваш старый осел Бетховен? Чего ради понадобилось ему заменить тёплую, естественную реальность этой абстрактной злокачественной опухолью, имя которой — душа? Конечно, опухоль эта, может быть, очень красива; но, черт возьми, тело в тысячу раз красивей. Не нужен мне ваш духовный рак.

— Не стану с вами спорить, — сказал Спэндрелл. Он вдруг почувствовал себя невероятно усталым и подавленным. Ничего не вышло. Рэмпион не поддался убеждениям. Или доказательство в самом деле не было доказательством? Или музыка в самом деле не говорила ни о чем, кроме самой себя и чудачеств своего творца? Он посмотрел на часы: скоро пять. — Прослушайте по крайней мере конец этой части, — сказал он. — Это самое лучшее место. — Он завёл патефон. «Даже если эта музыка бессмысленна, — подумал он, — она прекрасна, пока она длится. А может быть, она и не бессмысленна. В конце концов, разве Рэмпион непогрешим?» — Слушайте.

Снова раздалась музыка. Но что-то новое и чудесное произошло на лидийских небесах. Темп медленной мелодии ускорился вдвое; её очертания стали более ясными и чёткими; внутри пульсирующей фразы настойчиво зазвучала какая-то новая мелодия. Казалось, точно небо стало неожиданно ещё более небесным, его совершенство сделалось ещё более глубоким и абсолютным. Незречённый мир пребывал по-прежнему; но это не был больше мир выздоровления и бездействия. Он трепетал, он жил, он рос и усиливался, он стал деятельным спокойствием, страстной безмятежностью. Музыка чудесным образом примирила непримиримое — преходящую жизнь и вечный покой.

Они слушали, затаив дыхание. Спэндрелл торжественно смотрел на своего гостя. Все его сомнения рассеялись. Как можно не поверить в то, что есть, что безусловно существует. Марк Рэмпион кивнул головой.

— Ты почти убедил меня, — прошептал он. — Но это слишком прекрасно.

— Может ли быть что-нибудь слишком прекрасным?

— Это нечеловечно. Если бы это продолжалось, вы перестали бы быть человеком. Вы умерли бы.

Они снова замолчали. Музыка звучала, ведя от неба к небу, от блаженства — к ещё более глубокому блаженству. Спэндрелл вздохнул и закрыл глаза. Лицо его было строгим и умиротворённым, точно его черты разгладил сон или смерть. «Да, мертвец, — подумал Рэмпион, взглянув на него. — Он отказывается быть человеком. Он хочет быть или демоном, или мёртвым ангелом. Теперь он мёртв». Лёгкий диссонанс в лидийском напеве придал блаженству почти нестерпимую остроту. Спэндрелл снова вздохнул. В дверь постучали. Он поднял глаза. Насмешливые морщинки снова появились на его лице, уголки рта иронически дрогнули.

«Вот теперь он снова демон, — подумал Рэмпион. — Он вернулся к жизни, и он демон».

— Вот и они, — сказал Спэндрелл и, не отвечая на вопрос Мэри: «Кто они?», вышел из комнаты.

Рэмпион и Мэри сидели у патефона, слушая небесное откровение. Оглушительный выстрел, крик, ещё один выстрел и ещё один ворвались в рай звуков.

Рэмпионы вскочили и бросились к двери. В передней трое мужчин в зеленой форме Свободных Британцев стояли над телом Спэндрелла. В руках у них были револьверы. Ещё один револьвер лежал на полу рядом с умирающим. Череп Спэндрелла был прострелен, на рубашке — кровавое пятно. Его пальцы сжимались и разжимались, сжимались и разжимались, царапая деревянный пол.

— Что такое?.. — начал Рэмпион.

— Он выстрелил первый, — прервал один из людей в форме.

Несколько мгновений все молчали. В открытую дверь доносились звуки музыки. Страстность снова исчезла из небесной мелодии. Протяжные звуки снова говорили о небе абсолютного покоя, тихого и блаженного выздоровления. Протяжные звуки, аккорд, повторенный, продлённый, ясный и чистый, висел в воздухе, плыл, взлетал без усилия выше и выше. И вдруг музыки больше не стало, только царапанье иглы о вертящийся диск.

Погода была прекрасная. Барлеп шёл домой. Он был доволен собой и всем миром. «Я принимаю тебя, Вселенная» — так закончил он час тому назад передовицу для очередного номера журнала. «Я принимаю тебя, Вселенная». Он имел все основания принимать её. Миссис Беттертон угостила его прекрасным ленчем и большим количеством комплиментов. Чикагский «Христианский ежемесячник» предложил ему три тысячи долларов за право печатать из номера в номер его труд «Святой Франциск и душа современности». Он послал каблогранму, запрашивая три тысячи пятьсот. Сегодня пришёл ответ от «Христианского ежемесячника». Его условия приняты. Затем была ещё Ассоциация этических обществ Северной Англии. Его пригласили прочесть четыре доклада: в Манчестере, Брэдфорде, Лидсе и Шеффилде. Гонорар — пятнадцать гиней за доклад. Для Англии это вовсе не плохо. К тому же готовиться почти не придётся. Нужно будет только состряпать рагу из нескольких передовиц в «Литературном мире». Двести сорок гиней плюс три тысячи пятьсот долларов. Почти тысяча фунтов. Надо будет пойти и справиться у маклера о курсах и перспективах резиновых акций. Или, может быть, поместить деньги в один из трестов вложений? Они дают верных шесть или семь процентов.

Барлеп тихонько насвистывал, шагая. Мотив был «На крыльях песни» Мендельсона. «Христианский ежемесячник» и Этическая ассоциация настроили его на духовный лад. С не меньшим удовольствием он насвистывал, думая о другой победе сегодняшнего дня: он окончательно отделался от Этель Коббет. Момент был выбран благоприятный. Мисс Коббет

уехала в отпуск. По почте такие вещи делать гораздо легче, чем в личном разговоре. Мистер Чиверс, главный администратор, написал вполне официальное письмо. По финансовым соображениям представлялось необходимым сократить штат «Литературного мира». Он очень сожалеет, но... По закону достаточно было бы уплатить жалованье за месяц вперёд, но в знак благодарности за её безупречную службу он прилагает чек на сумму, равную её трехмесячному заработку. Он с большим удовольствием даст ей любые рекомендации и остаётся искренне преданным ей. Барлеп смягчил это деловое письмо мистера Чиверса своим письмом, полным сожалений, дружеских чувств, иеремиад по адресу публики, не желающей покупать «Литературный мир», и lamentаций по поводу победы Маммоны (в лице мистера Чиверса и всех-всех дельцов) над Богом (в лице самого Барлепа и его искусства). Он замолвил за неё словечко своему другу Джедду из «Еженедельного обозрения», равно как и многим другим представителям журнального мира, и, разумеется, сделает все от него зависящее, чтобы... и т. д.

Слава Богу, думал он, возвращаясь домой и с большим чувством насвистывая «На крыльях песни». Все кончено между ним и Этель Коббет. Но он не знал, что все было кончено между Этель Коббет и нашим миром. Через несколько дней, написав ему письмо на двенадцати страницах, которое он сжёг, едва прочтя первую уничтожающую фразу, она легла на пол возле газовой плиты и открыла газ. Но ведь этого Барлеп не мог предвидеть, когда возвращался домой насвистывая и в безоблачно хорошем настроении. В этот вечер они с Беатрисой играли в маленьких детей и купались вместе. Двое маленьких детей сидели друг против друга в большой старомодной ванне. А какую возню они подняли! Вся ванная комната была залита водой. Таковых есть царствие небесное.